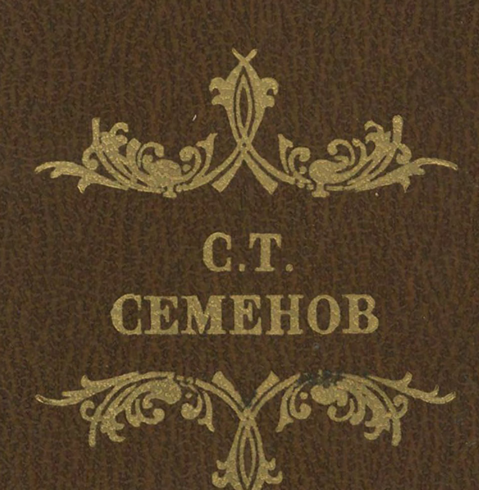
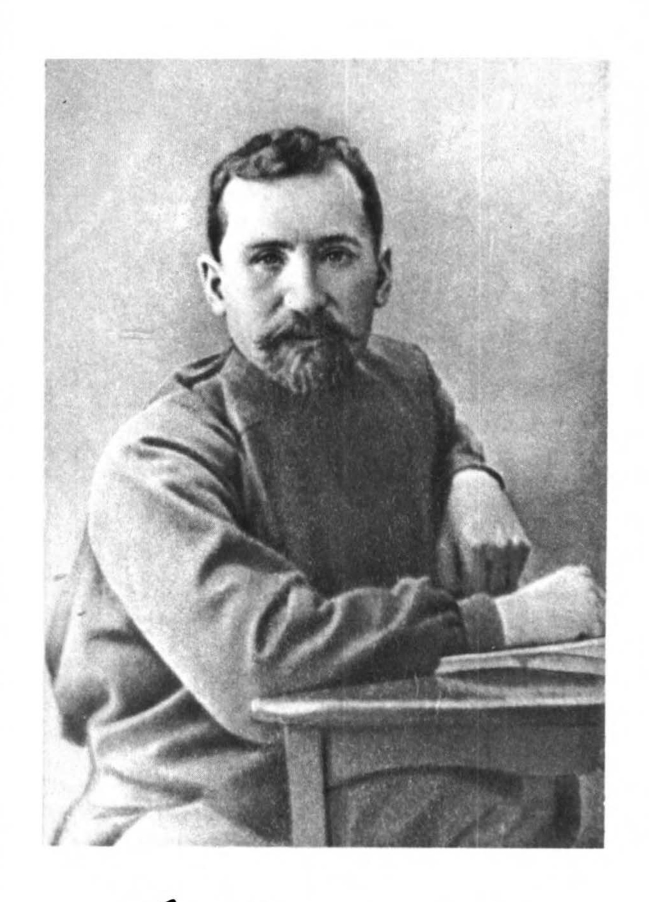

С. Т.
СЕМЕНОВ

Необъятно богата сокровищница
русской литературы.
Помимо гениев, обозначивших вехи
в духовном развитии человечества,
свой вклад в нее вносили
и многие менее известные писатели,
заслуживающие нашего внимания
и доброй памяти.
Заботу об издании таких писателей
заповедал нам Владимир Ильич Ленин:
«...мы должны вытаскивать из забвения,
собирать их произведения
и обязательно публиковать отдельными томиками.
Ведь это документы той эпохи»
(Ленин В. И. о литературе и искусстве.
6-е изд. М., 1979, с. 699)



С. Семеновъ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

С. Т.
СЕМЕНОВ

Рассказы и повести

МОСКВА
«Современник» · 1983

Р1
С30

Составление,
вступительная статья
С. П. Залыгина

Текст печатается по следующим изданиям:

Семенов С. Т. Крестьянские рассказы/С предисловием Л. Н. Толстого. М.: Посредник, 1894; Семенов С. Т. Крестьянские рассказы, 3-е изд., т. 2. М.: Посредник, 1910; Семенов С. Т. Крестьянские рассказы, 2-е изд., т. 4. М.: Посредник, 1911; Семенов С. Т. Крестьянские рассказы, т. 6. М.: Посредник, 1913; Семенов С. Т. Односельцы: Повести и рассказы. М.: Посредник, 1917; Семенов С. Т. В родной деревне. М.: Московский рабочий, 1962; Семенов С. Т.: Рассказы. М.: Художественная литература, 1970.

Семенов С. Т.

С30 Рассказы и повести/Сост., вступ. статья С. П. Залыгина.— М.: Современник, 1983.— 686 с., портр.— (Из наследия).

В пер.: 3 р. 40 к.

В сборник Сергея Терентьевича Семенова (1868—1922) вошли рассказы и повести, многие из которых печатались только до революции.

Л. Н. Толстой писал о С. Т. Семенове: «Искренность — главное достоинство Семенова. Но кроме нее у него и содержание значительно: значительно и потому, что оно касается самого значительного сословия России — крестьянства, которое Семенов знает, как может знать его только крестьянин, живущий сам деревенской тягловою жизнью».

С $\frac{4702010100-269}{М\ 106\ (03)-83}$ 8—83

ББК84Р7
Р1

О нашем наследии

Стремительность современного мира мы часто именуем «прогрессом», а это не всегда так, а часто и — совсем не так.

Стремительность — антипод памяти. Она все время занята самою собой, днем сегодняшним и моментом текущим, а то, что было вчера, какие еще вчера на нынешней земле были люди, какими они жили трудами, какими мыслями, какой нравственностью,— все это не в счет. Во всяком случае, не в серьезный счет, а понарошке, в виде личного хобби, например.

Между тем, если современность теряет память, если уже прошлое столетие и даже полустолетие представляется ей тьмою веков, такою же, как само происхождение Земли и человека на Земле, это значит, что она, современность, обретя свою цивилизацию, теряет культуру. Потому что культуры нет без истории, без исторической памяти, без понимания жизни, деятельности и устремлений многих и многих предшествующих поколений.

И дело здесь не только в знаниях фактических,— недостаточно знать, когда, где и что произошло, когда начинались и когда заканчивались войны, когда, где и кто из великих мира сего родился и умер,— дело еще и в другом: в той сопричастности к истории, которая позволяет чувствовать себя не только человеком вообще, но и человеком определенной земли, определенного языка, определенной истории.

Эта конкретность необходима нам все по той же причине: только из нее и возникает культура — и все то, что мы называем достижениями духа, и то, что мы называем гражданственностью.

Других путей к этим достижениям мы не знаем.

Нельзя ведь выучить иностранный язык, не зная языка родного, нельзя стать гражданином мира, не будучи гражданином той или иной страны, нации, нельзя хоть в какой-то степени понять и узнать человечество, не зная, что такое человек, не только в сегодняшнем, но и во всем том, что мы называем происхождением.

И какие бы трудности, невзгоды и потрясения, победы и поражения ни выпали на долю того или иного народа — это всегда он. Он сам не

только в прошлом, но и в настоящем, потому что история народа — это для него не столько понятие и представление, сколько его опыт, характер, привычка, его язык и даже — черты его внешнего облика.

И в создании, и в осознании своего прошлого особая, не сравнимая ни с чем другим, роль принадлежит искусству и литературе, причем не только классической, но и представленной именами тех писателей, которые сравнительно недолгое время живут в памяти потомков.

Да, нынче они забыты, но, во-первых, это еще не значит, будто они не сыграли своей роли в развитии отечественной литературы, а во-вторых, забывчивость по отношению к ним далеко не всегда оправданна.

Тут следует иметь в виду, что классики, положим, Толстой, Достоевский или Тургенев, создавали прежде всего картины духовного развития нации. Поэтому герои их произведений — это в первую очередь мыслители, интеллектуальная элита, и даже более того — своего рода философы, поскольку литература — это ведь еще и мышление в образах. Конечно, великие произведения тоже не обходятся без героев самых обыкновенных, без посредственностей и даже глупцов, но, само собою разумеется, не они воплощают мысль — авторскую, общественную мысль своего времени, либо какую-то еще; если они и нужны классику, то только в том смысле, который необходим для противопоставления мыслителя немыслителю или для конфликта между ними.

Разумеется, классика необходима любой литературе, нет классики — нет в полном смысле слова и литературы, нет присущего нации литературно-художественного языка, ни даже соответствующего литературного мышления, однако же при всем при том создает ли классика полную картину реальной жизни народа? Его быта и бытующих в данный исторический момент понятий и представлений об окружающем мире, о самом себе?

Думаю, что нет — классика неизбежно опускает то бытописание, без которого последующие поколения не смогут понять жизнь своего народа, его эволюцию и происхождение. А это наносит непоправимый ущерб и пониманию современности, ее убытков и приобретений, выражения ее лица.

Пьер Безухов, Андрей Болконский, Родион Раскольников, братья Карамазовы, Хорь и Калиныч, три чеховские сестры — все это герои настолько известные, что без них мы часто не представляем и самих себя, но ведь кроме них всегда существовали и такие, кто, может быть, никогда не задумывался над проблемами жизни, как их понимали Толстой, Достоевский, Тургенев или Чехов, но тем не менее осуществляли самое жизнь.

И не сложилось ли такого положения, при котором классик неизбежно возводит на пьедестал своих героев, то есть всех тех, кто так или иначе выражает его мысли, все же остальные остаются в неизвестности?

А если так, не поискать ли этих остальных у писателей не гениальных, однако же таких, к которым мы можем испытывать ничуть не меньшее доверие?

Тем более что подлинное искусство, если даже оно и не классическое, все равно способно вызывать в нас доверие, — этим оно и отличается в огромной массе книг, произведений живописи, музыки, танца.

И если на время оставить в стороне то наслаждение, все те переживания, которые вызывает в нас мастерство и магия великих художников слова, то в смысле доверия и художники не великие могут встать вровень с ними.

Тем более в том познавательном смысле, о котором мы только что говорили, тут даже и неизвестно, чьи произведения дают нам более точные представления, скажем, о пореформенной России — Федора Михайловича Достоевского или Федора Михайловича Решетникова?

Они видят жизнь как бы с разных сторон — один со стороны идейной, философской, почему его герои и становятся уже не столько обычными людьми, сколько носителями и даже символами этих идей; другой пишет самое жизнь, такую, из которой идея, может, но даже и не обязательно, проистекает.

В той или иной мере, но идея и философия свойственны любой человеческой жизни и почти на любом уровне ее развития, и писатели-бытописатели никогда об этом не забывают, усваивая такое мастерство, которое позволяло бы им точно определить то или иное присутствие в повседневной жизни идей, часто не называя их, однако, по именам, но рассматривая их как один из признаков жизни, который проявляется то меньше, то больше.

Туда, где идея стремится подчинить, а может быть, уже и целиком подчинила себе жизнь, бытописатель и не ступает, он знает, что это — не его сфера, что там царит классика и философия как таковая, но с полным сознанием своего долга, а может, даже и некоего превосходства, он повествует о жизни не безыдейной, нет, но обо всем том, что есть быт личности и общества. Он при этом стремится всегда и во всем к точности. Не представляет для него исключения и любая идея, свойственная среде, которую он знает лучше других. Это знание и не дает ему покоя, его-то он и хочет, и должен выразить в своем произведении. Он при этом как бы даже побаивается своей собственной философичности, вообще своего воображения, он лишь под великой клятвой не произнести ни слова лжи — свидетельствует. Свое свидетельство он и возводит и в искусство, и в святость, а эта святость, в свою очередь, заменяет ему творческую идею, поскольку без нее искусство вообще вряд ли возможно.

Может быть, он предпочитает фотографию живописи, но тут надо иметь в виду, что ведь давно доказано — фотография тоже вид искус-

ства, что она тоже требует выбора классических его начал: выбора места и времени действия, выбора собственной позиции.

Потребность же современного читателя в такого рода свидетельствах не вызывает сомнений, недаром нынче с особым интересом воспринимается мемуаристика, но вот проходит время и на каком-то этапе и она перестает нас увлекать, так же как это было всего лишь несколько лет тому назад. Мемуарист ведь считает, что его произведение заслуживает тем большего внимания, чем более значительных событий и людей он касается. Как правило, мемуарист не забывает при этом и самого себя в качестве участника, а иногда и вершителя этих событий, кажется даже, что иной раз ему не дает покоя классика, что он хочет стать с ней наравне, с той лишь разницей, что классик определяет судьбы героев вымышленных, а мемуарист — реальных.

Ну, хорошо, пусть будет так, а где же все-таки тот безвестный герой, без которого, что ни говори, нет жизни, нет общества, нет нации, нет ни ее истории, ни ее будущего?

Вот тут-то, задавшись этим вопросом, читатель, причем читатель не случайный, просвещенный и любознательный,— снова обращается к литературе художественной, но уже к бытописательской и свидетельской, к таким авторам, как, положим, тот же Решетников, или Глеб Успенский, или Подъячев.

Но в то время как чтение классики запрограммировано школой, а часто и вузом, в то время как мемуаристика вполне способна создать известность сама себе, будучи жанром в той же мере историческим, в какой и оперативным, бытописатель забывается нами быстро, а иногда и прочно. Изменились условия нашей жизни — социальные, культурные, бытовые,— и вот не все ли нам теперь равно, как жил русский крестьянин в годы отмены крепостного права?

Здесь мы имеем дело с тем историческим наследием, которое забыть навсегда как будто бы неудобно, ну а помнить — слишком обременительно,— своих дел и забот хватает, современных, сегодняшних.

Это то наследие, которое, в общем-то, всегда заметно утеснялось в России ее великими художниками-классиками, потому что их было много и потому что они, будучи действительно великими, требовали непрестанного внимания к себе.

В другой бы литературе, не столь грандиозной, тот же Решетников, или Подъячев естественно и заняли, и выполнили бы роль классиков,— в России этого случиться не могло, и вот у нас, как, наверное, ни в одной другой стране, велик этот ряд забытых, полузабытых, вторых и третьих, не говоря уже о пятых-десятых, которым счета вообще не ведется, но среди которых, потрудившись, тоже можно обнаружить если уже не первых, так, во всяком случае, первоклассных, а главное —

все еще необходимых для того, чтобы лучше понять и сегодняшние литературные образы, и сегодняшние события, и многие другие проявления сегодняшней жизни.

Потери того же, примерно, рода свойственны, кажется, любому богатству как материальному, так и духовному, с той разницей, что справедливость здесь в области духовной, в частности в литературе, восстановить никогда не поздно. Для этого необходимо одно обязательное условие: наличие культурного и любознательного читателя, который, как правило, испытал себя в классике, а потом уже и в мемуаристике, и теперь ищет среди забытых, малоизвестных. Ищет по вопросам развития народной психологии и нравственности, по вопросам быта — потому что как же можно составить более или менее полное представление о той или иной эпохе, о том или ином историческом периоде, если ничего не знаешь о том, как люди тогда питались, на чем ездили, какими законами управлялись, что и о чем читали? Ищут и в плане лингвистическом: какие тогда слова и выражения были в обиходе, как строилась и как звучала речь разных сословий; ищут и в эстетике, вполне логично полагая, что если имеют место несправедливые потери исторические, так потери эстетические могут совершиться едва ли не проще.

* * *

Имея в виду именно такого читателя, издательство «Современник» и предприняло выпуск серии «Из наследия».

В год будет выходить две — четыре книги, а сколько должно быть книг всего — мы не определяем. Столько, сколько их окажется — интересных и полезных. Здесь не ставится какой-либо специальной литературоведческой задачи, и какова бы ни была познавательная ценность книги, на первом плане будут стоять ее художественные качества, причем — с точки зрения сегодняшней.

Иными словами, мы хотим предоставить читателю этой серии полноценную художественную литературу, без скидок на ее познавательное, в частности литературоведческое, значение.

* * *

Первым автором этой серии стал Сергей Терентьевич Семенов. Как это часто бывает — судьба его книг близка его собственной судьбе, типичны для своего времени они, типична и она — личная жизнь писателя, который и начал, и кончил свой жизненный и творческий путь будучи крестьянином.

Сергей Терентьевич Семенов родился 16 (28) марта 1868 года в деревне Андреевское, Волоколамского уезда, Московской губернии в бедной крестьянской семье.

В 11 лет он был отдан «в люди». В поисках заработка,— вспоминал С. Т. Семенов,— «скитался по разным местам, жил в Москве, Петербурге, на юге России... Образования я никакого не получил, даже не был в сельской школе, которые в то время у нас были очепь редки, поэтому малодоступны. Читать и писать я выучился кое-как дома самоучкой. Как только я выучился читать, я полюбил чтение...» (Семенов С. Т. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. СПб., 1912, с. 3). Юному Семенову довелось узнать тяжелый труд на красильной фабрике, быть половым в трактире, растирать краски у художника-любителя, работать водопроводчиком и в сапожной мастерской, в литографии, торговать минеральными водами...

Знакомство с народными рассказами Л. Толстого заставило юного Семенова «задуматься над самыми коренными вопросами жизни». «...теперь меня потянуло к писательству серьезно. Хотелось вылить то, что определилось на душе. И я принялся писать и написал свой первый рассказ» (Семенов С. Т. Двадцать пять лет в деревне. Пг., 1915, с. 9). Это был рассказ С. Т. Семенова «Два брата», который одобрил Л. Н. Толстой и рекомендовал издательству «Посредник». Рассказ был напечатан в 1887 году.

Многолетняя дружба с Л. Н. Толстым, переписка с ним определили дальнейшую жизненную и творческую судьбу, мировоззрение писателя-крестьянина С. Т. Семенова. Л. Н. Толстой читал почти все им написанное, помогал советами, содействовал публикации его произведений в журналах и издательствах. В 1894 году Толстой написал предисловие к первому сборнику «Крестьянских рассказов» С. Т. Семенова, дал высокую оценку творчества одаренного писателя.

С. Т. Семенов — автор «Воспоминаний о Льве Николаевиче Толстом» и мемуарного очерка «На голоде у Л. Н. Толстого» о совместной работе с Толстым в 1892 году по оказанию помощи голодающим.

В 1888 году, двадцатилетним юношей С. Т. Семенов возвратился в родную деревню и стал хозяйствовать на отцовском земельном наделе. В очерках «Двадцать пять лет в деревне» он подробно рассказал, как эти долгие годы жил «в родном углу». Эта книга — не только удивительно искренняя автобиография талантливого земледельца-писателя, интеллигента из народа, но и правдивая летопись жизни русской деревни 80—90-х годов. Такой же летописью народной крестьянской жизни было по сути все творчество С. Т. Семенова.

Жизнь его в деревне была непрестанной и тяжелой борьбой за существование, стремлением объединить крестьян для отпора «общественным воро-

тилам» — кулакам-мироедам, духовенству, урядникам, поисками путей подъема земледелия, путей к знанию и свету. Писатель вел большую просветительскую работу. Обучал деревенских ребятишек грамоте. Его библиотекой, в которой были и книги русских классиков, пользовалась вся деревня. Семенов читал односельчанам книги и говорил с ними о прочитанном. Выступал против темноты и суеверий, хлопотал о школах, создавал кружки сельской интеллигенции.

Недюжинные агрономические знания, опыт земледельца-практика, интересы экономиста и социолога нашли отражение в книгах очерков и публицистики С. Т. Семенова.

В годы первой русской революции С. Т. Семенов становится активным участником общественно-политической борьбы в деревне. Он устанавливает связи с социал-демократами, участвует в организации митингов и массовок, мужицких сходок, нелегальных собраний.

Как «безбожник» он был осужден за «кощунство», в доме С. Т. Семенова был произведен обыск.

Друзья помогают С. Т. Семенову выехать в Англию, где он прожил зиму 1904/05 года.

С. Т. Семенов участвовал в организации деревенских кооперативов и обществ, был одним из самых энергичных и талантливых деятелей местного отделения Крестьянского союза, массовой революционно-демократической организации России. За революционную деятельность С. Т. Семенова дважды арестовывали и заключали в Бутырскую и Таганскую тюрьмы.

В 1906 году по приговору суда С. Т. Семенова ожидала ссылка в Олонецкую губернию. Однако она была заменена политической высылкой за границу.

Писатель пробыл в изгнании два года. По ходатайству Л. Н. Толстого в 1908 году Семенову разрешено было возвратиться на родину. О своем пребывании в Швейцарии, Италии, Франции, Англии он написал книгу «По чужим землям. (Как живут и хозяйствуют земледельцы за границей.) Очерки и впечатления».

Прежнее увлечение Семенова религиозно-нравственным учением Толстого подверглось серьезным испытаниям. С. Т. Семенов порывает с «толстовцами».

Он встречался с А. П. Чеховым, обратил на себя внимание В. Г. Короленко, испытал большое влияние творчества и личности А. М. Горького, был членом кружка демократической русской интеллигенции «Среда», игравшего заметную роль в литературной жизни начала века.

В годы изгнания С. Т. Семенов сблизился с русскими социал-демократами, жившими за границей, — с семьей Ф. Э. Дзержинского,

В. Д. Бонч-Бруевичем, переписка с которым поддерживалась долгое время.

С. Т. Семенов с огромным подъемом и воодушевлением встретил Великую Октябрьскую революцию.

«С группой местных активистов он мечтает провести телефон, электричество, шоссейные дороги по всему Волоколамскому уезду, открыть народный клуб. В то же время он готовит к изданию избранные сочинения, пишет новую комедию «Отцовский сын», читает лекции и доклады о сельском хозяйстве и животноводстве... активно ведет борьбу против кулаков и церковников, открыто и смело защищая политику Советской власти в деревне» (Памятные места Московской области, 3-е изд. М.: Московский рабочий, 1960, с. 277—278).

3 декабря 1922 года писатель, общественный деятель С. Т. Семенов был убит кулацкой бандой.

«Правда», «Известия» и многие другие газеты и журналы тех лет сообщили о трагической гибели писателя-гражданина, высоко оценив его жизнь и деятельность, отданные на благо народа.

Творческое наследие писателя богато и разнообразно. Прозаик, драматург, публицист, С. Т. Семенов привлек внимание читателей в 80-е годы рассказами, изданными «Посредником». В 90—900-е годы его произведения часто публиковались в газетах и журналах «Русские ведомости», «Вестник Европы», «Русское богатство», «Русская мысль», «Северный вестник» и другие.

Вслед за первым сборником «Крестьянских рассказов» «Посредник» выпускает шеститомное собрание сочинений, за которое С. Т. Семенов был удостоен в 1912 году премии Российской академии наук. Книги рассказов о деревне С. Т. Семенова неоднократно переиздавались до революции и в 20-е годы.

Успехом у зрителей пользовались драмы и комедии С. Т. Семенова, также отмеченные поощрительной премией. Они составили сборник «Крестьянских пьес для народных театров» (1912). Некоторые из этих пьес переиздавались в первые годы после Октябрьской революции.

С. Т. Семенов был превосходным детским писателем. В дореволюционные годы вышло несколько его книг, адресованных детям: «В деревне», «Из детских лет крестьянина», «Безответные», «Из жизни Макарки», «Машка-Домашка. Из жизни русских переселенцев в Америку» и другие. Произведения эти переиздавались у нас в 60-е годы.

И поныне представляют несомненный интерес воспоминания писателя о Л. Н. Толстом, А. П. Чехове, переписка С. Т. Семенова с русскими писателями.

* * *

Забыт же С. Т. Семенов был тем же способом, что и многие другие, по причине якобы художественной слабости его произведений, а восстанавливается нынче в нашей памяти благодаря, прежде всего, усилиям нескольких писателей и литературоведов, в частности профессора К. Н. Ломунова,— с его предисловиями несколько раз за последние десятилетия выходили небольшие книги этого автора, по существу отрешенного от художественной литературы. Вот как характеризует его в очень короткой справке «Краткая литературная энциклопедия»: «...Скромный бытописатель крестьянской жизни. Значительной художественной ценности его произведения не представляют, однако в них привлечен интересный фактический материал, разносторонне отражены сельский быт и запросы крестьянства. Его имя связано с поздним периодом деятельности Толстого; Семенов разделял иллюзии Толстого по отношению к деревне; его религиозно-моралистические тенденции. Автор «Воспоминаний о Льве Николаевиче Толстом» (1912).

Трудно представить, но ведь это так — в справке не нашлось нескольких строк, чтобы сказать о том, что в 1894—1913 годах у Семенова вышло шеститомное собрание сочинений с предисловием Толстого, которое было удостоено премии Российской академии наук.

Крестьянин — лауреат Академической премии — это ли не событие и не интересный факт?! который мог бы лечь в основу совершенно самостоятельного беллетристического или исторического произведения, который, во всяком случае, должен быть широко известным фактом, но он даже не упоминается в специальной литературоведческой энциклопедии!

Как литератор, он был энциклопедистом — явление очень редкое среди писателей-крестьян. Семенов писал очерки, публицистику, повести, рассказы, пьесы, статьи по агрономии и экономике сельского хозяйства России и других стран. Что касается его художественных произведений, так это литература в какой-то удивительной ее первозданности и естественности, когда в ней нет ни одного приема, нет, кажется, и какой бы то ни было школы, тем более нет «изма», даже осознания автором себя как художника — и того нет, не чувствуется. И все-таки это — литература художественная, тут не может быть сомнений.

Лев Толстой Семенова признал, Российская академия наук признала и наградила, он уже перестал быть явлением доморощенным, уже повидал и белый свет — правда, не по своей воле, а как политический ссыльный побывал за границей.

Но даже и помысла такого в его творчестве не заметно — назвать себя, признанного писателя,— писателем.

Он пишет? Так это только потому, что он обучен письму, потому что пишется, потому что нужно, вот и все... Если все это называется писательством, художественной литературой, беллетристикой — пусть называется, не он названия придумывал, они его не касаются.

У него — другое назначение от природы, в котором он себя безусловно признает: он крестьянский сын, и крестьянин по рождению, по окружающему его миру,— вот это понятно и сомнению не подлежит и неуверенности и наивности в этом никакой.

Он как будто даже стесняется того, что его называют писателем и платят за книги какие-то (судя по всему — совершенно ничтожные) деньги, и в неурожайный год стыдливо записывает, что ему-то смертельной беды нет, он этот год переживет и даже голодать не будет, а вот соседи...

И при всей этой доброте, застенчивости и наивности, он как бы даже величественно суров, лишь только возьмется за перо, чтобы изобразить того же соседа и свою родную деревню.

Никакой, ни малейшей идеализации крестьянина и крестьянства нет и следа в его письме, можно даже предположить, что, наоборот, он суров слишком, хотя бы потому, что вольно или невольно подчиняется тому закону искусства, по которому трагическое для него — это первостепенное.

И вот он видит бедность как результат не только причин социальных, общих, но и частных — безвольного характера, лености и праздности, нежелания думать. Он вступает в схватку с деревенскими мироедами по поводу передела земель, но, может быть, еще больше терзают его душу те бедняки, которые продают свою совесть за полведра водки и лжесвидетельствуют в судебных заседаниях («Двадцать пять лет в деревне» — книга воспоминаний).

Социальные пороки ничуть не заслоняют перед ним пороков личности, и наоборот.

Конечно, он социальный писатель, но безупречное чувство справедливости — которым он не только живет, но, если так можно сказать, которым он пишет — позволяет ему в любой ситуации совершенно точно соотнести грех и меру вины общественной с грехом и виной каждого.

В искусстве эта точность тоже называется гармонией. Сергей Терентьевич Семенов, наверное, никогда не произнес бы этого слова — «гармония» — применительно к самому себе, разве только о своем друге и наставнике Льве Толстом (что, однако же, не мешало возникновению между ними некоторых разногласий) он мог так сказать, и тем не менее...

Тем не менее этому тонкому слуху, с которым он определял соотноше-

ние личного и общественного, вину личности перед обществом и общества перед личностью, — этому чувству справедливости, так необходимому почти каждому писателю, а в иных случаях и главному для творчества, — могли бы позавидовать даже классики. Классики же всегда учились у народа. Так вот здесь-то им как раз и было чему поучиться.

Здесь-то и возникает и наше столь доверительное отношение к писателю — из нашего убеждения в том, что писатель этот — справедлив. А справедливость — это уже не только чувство, это еще и ум, и опыт. Если хотите, это еще некая святость.

Ведь не раз и не два мы читали широко признанные произведения, которые действительно обладали всеми высокими качествами, кроме одного — чувства справедливости. Тут и винить никого нельзя — необязательно для писателя волноваться справедливостью своей или чьей-то еще. Писатель — не юрист, не наставник, а его произведение — не назидание и не проповедь. Плохо другое — когда игра воображения, еще какая-то игра, выдается за справедливость, что мы забываем, что самая высокая оценка, которую когда-то давали люди то ли своим царям, то ли своим соседям, звучала так: «Человек справедливый».

Так вот, у нас нет сомнений в том, что и о Семенове в его деревне многие говорили так же, а другие — за это его ненавидели, за это и убили. Те же богатеи и убили, против которых он выступал всю жизнь. Ему от многих попадало, а от них выпала погибель. Справедливость — ведь это же подвижничество! Это умение неизменно, изо дня в день, называть вещи только своими именами.

И людям, которые склонны идеализировать русскую деревню прошлого и даже сюсюкать по поводу чего угодно деревенского, чтение Семенова поможет понять многое. Однако же следует прислушаться к нему и тем, кто упрекает нынче писателей-деревенщиков: «Да откуда же они взяли таких героев? Таких умных? Таких душевно чутких? Таких...??» А нужяо читать крестьян-писателей Семенова, Подъячева, сибирского философа Бондарева, сочинения которого, при содействии того же Толстого, издавались и в России, и во Франции, читать писателя Перова, редактора партизанской газеты «Соха и молот», издававшейся в Минусинске, нужно познакомиться со сборником А. Большакова «Крестьяне — корреспонденты Льва Толстого», а тогда и вопроса этого не возникнет — откуда?

Кроме того, я позволю себе сделать некоторое отступление, которое, надеюсь, будет иметь значение для понимания книг Семенова.

Наша так называемая деревенская проза, так же, впрочем, как и дореволюционная литература, не сумела создать художественного образа таких людей, как тот же Семенов, или Бондарев, или Василий Яковенко, организатор и руководитель Тасеевской Советской социалистиче-

ской волостной республики, впоследствии — нарком земледелия РСФСР.

В нашей литературе нет не только их, людей выдающихся, нет и образа, если так можно сказать, рядового мудреца, без которого редко-редко обходилась сколько-нибудь крупная деревня,— общинность жизненного уклада требовала, чтобы такой человек был, и он являлся, советчик каждому и всему сельскому миру, своего рода светский священник и неофициальный староста, и нередко он вступал в противоречия и с церковным священником, и со старостой официальным. Признанный лучшим по уму, по нравственным своим качествам и по своей готовности пожертвовать за интересы «обчества» чем угодно, хотя бы и жизнью, «лучший человек», кстати говоря, никогда не был ни преуспевающим, ни богатым, поскольку в народном сознании богатство повязано одной веревочкой с корыстью, а корысть — не советчик в делах душевных и мирских.

В других литературах я такие образы встречал, а в нашей — нет, она во все времена была на этот счет стеснительна — а вдруг такой герой покажется кому-то слишком положительным? — была неумела и беспечна опять-таки той беспечностью, которая свойственна очень богатым литературам.

Кроме того, ни одному крупному русскому писателю, наверное, и в голову не приходила мысль о какой-то системе, которая позволяла бы литературе охватывать более или менее последовательно все периоды нашей истории и современности. Может быть, такой системы и не может быть, не знаю, не могу судить, но результат-то тем не менее таков: оглядываясь назад, мы видим, какие огромные пробелы, как в смысле создания более или менее полной галереи народных характеров, так и в смысле событий нашей давней и недавней истории, мы имеем!

Ну вот, скажем, русско-японская война, революция, крестьянские восстания — разве все эти события 1904—1905 годов, которые оказали огромное влияние на всю последующую нашу историю, за которыми, затаив дыхание, следил весь мир,— разве они нашли сколько-нибудь полное отражение в отечественной литературе? «Мать» Горького, а еще? Что-то у Андреева, что-то у кого-то, но ведь в нашей читательской памяти эти произведения уже не живут, не находят места, значит, по существу это белое пятно! Причем — огромное, только и огромности этой мы опять-таки не представляем. А вот, положим, пореформенная Россия, ее деревня и помещичья усадьба, да и город — какое нашли они широкое литературное воплощение!

Так оно и есть — одному явлению, одному периоду нашей истории повезло в литературе, другому — ничуть, и к этим последним можно отнести и такое, как русская крестьянская община конца прошлого — начала нынешнего века.

С точки зрения обществоведения оно нам достаточно известно - пережиток крепостного права. Ну и еще: некоторые славянофилы, а позже и эсеры возлагали на нее совершенно неопределенные надежды, полагая, что община — это особый русский путь к новой государственности и да же — к социализму, путь, который к тому же минует стадию капита лизма.

Но ничего этого не случилось, все было как у людей, капитализм в России наступил, да еще какой, а в общине действительно не оказалось внутреннего потенциала, способного работать на будущее, она и сама-то в это время была при смерти.

И значительпая часть крестьянства ушла в город, на строительство железных дорог, другие — стали работать в помещичьих усадьбах, а третьи приспособились у себя дома, сменили лучину на керосиновую лампу, узнали, что такое «агроном», «ветеринар» и «кооператор», так или иначе, а пережили ту, еще эмбриональную, НТР.

И крестьянин Семенов приспособился тоже, может быть даже лучше и скорее других, и нам рассказал — как это все было, что и как происходило.

Ну да, все это давно уже стало событием хрестоматийным. Однако вот в чем дело: помимо исторического смысла и опыта, события имеют психологический смысл и опыт, который способен обогатить наши представления о тех людях, от которых мы происходили, а значит, и нас самих нынешних. В самом деле, какая это поучительная, какая драматическая коллизия, в которой люди, герои того же Семенова, и нуждаются в общине, боятся ее потерять и в то же время разрушают ее своими руками? Какие тут возникают драматические отношения между человеком и обществом? Какие сложные, иногда безвыходно-запутанные отношения между отдельными людьми, каким испытаниям подвергаются нравственные правила? Это ли не тема для великого художника? Но великого она так и не нашла. А вот свидетелей и летописцев, причем справедливых,— нашла. Того же Семенова.

Сибирское село, села Нижнего Поволжья, кубанские станицы — о тех мы, в этом смысле, не знаем ничего, их опыт канул в Лету. Можно, конечно, говорить, что сегодня этот опыт ни к чему, сегодня нам не до него, но тогда почему же современный человек продолжает интересоваться историей, самыми разными ее событиями, разными социальными типами и характерами прошлого? Должно быть, неспроста: чувствуем, что люди в прошлом жили и для нас, хотим знать все то, что они для нас нажили. К тому же он так разнообразен, тот опыт, из него можно выбирать — что годится, а что уже нет.

Если община центральных русский губерний несла на себе явственные следы крепостничества, была принудительной, то крестьянин, пере-

селившийся в Сибирь, создавал ее там добровольно и на деловых основах. Из общины сибирской вырастала кооперация, а позже коллективизация широко использовала ее опыт и навык, поскольку кооперация в сельском хозяйстве дореволюционной Сибири была не только потребительской и кредитной, не только сбытовой, но, то и дело, производственной, еще в те годы создавая ТОЗы — товарищества по совместной обработке земли. Этот сибирский опыт в самых общих чертах зафиксирован разве только что Ядринцевым, писателем-этнографом, общественным деятелем и ученым, но, во-первых, это было слишком давно, до развития кооперативного движения, а во-вторых, и сам-то автор не был в этом смысле писателем достаточно объективным, таким, каким был тот же С. Т. Семенов. (Имеется в виду художественная литература. Специальных же работ в этой области было довольно много. Назовем «Алтайскую крестьянскую общину» С. В. Швецова.)

Почему все-таки обо всем этом у меня появилась необходимость заговорить?

Потому, кажется, что здесь лежит пусть и не исчерпывающий, а все-таки ответ на другой, уже литературоведческий вопрос о том, откуда и как в России конца прошлого — начала нынешного века появились писатели-крестьяне? Ведь если до нас дошло творчество, скажем, десяти из них, то можно себе представить, сколько же их было всех, оставшихся в безвестности, не достигших того минимального художественного уровня, который обеспечил хотя бы краткую жизнь их произведениям?!

Вспоминаю, сколько раз еще в 30-х годах из заветных сундучков хозяева, у которых я «становился на квартеру», вытаскивали мне пестрые тетрадки, амбарные книги и прочие бумаги, исписанные малограмотным почерком... Там были описания тяжелых путей переселенцев откуда-нибудь из-под Курска или Пскова, куда-нибудь под Барнаул или Ачинск, и повести, и записки времен гражданской войны, и история сел, деревень и заимок, и сказки, и песни, и родословные, но... Но молодость: плохо написано, не отвечало моим представлениям о художественной литературе и потому — неинтересно. Тогда такого рода открытия были для меня преждевременны, я не понимал в них толка, если бы они произошли теперь — они произошли бы слишком поздно — ведь у каждого писателя с годами складываются свои собственные планы, которые он всячески оберегает от неожиданного вмешательства. Так и происходит — тогда слишком рано, теперь — слишком поздно, да ведь и в самом деле — труд огромный перечитать тысячи малограмотных страниц, а — результат? Еще найдешь ли в них что-то действительно интересное и значительное? Вот так он и остается за тобой, этот долг, так и умрешь с ним, и я не скрою, я счастлив читать того же Семенова еще и потому, что он в какой-то мере исполнял долг за меня.

Да, и их было много, их было множество, безвестных крестьянских писателей, и вот откуда они все пошли: от тех самых людей, которых деревня называла «лучшими». Они именно этими людьми в большинстве случаев и были — советчиками деревни, выразителями ее дум и чаяний, а если им случалось приобщиться сперва к грамоте, потом к цивилизации и к культуре, они со всей страстью уповали на книгу, на ее спасительное предназначение. У одного возникала при этом проповедь (уже упоминавшийся Бондарев), у другого — изобличение (Подъячев), у третьего — художественное свидетельство окружающего бытия (Семенов). У каждого свое, но все они пошли от «лучших людей», и никто из них эту мессианскую роль литературы не выдумывал, а все только усвоили ее, издавна присущую России, от классиков. Ведь и Гоголь, и Некрасов, и Достоевский, и, наконец, Толстой — все придавали литературе именно это значение и нашли в писателях-крестьянах своих непоколебимых последователей.

Семенов в этом ряду наиболее реалистичен, во всяком случае мы не уловим у него и тени того, что можно было бы приобщить к мессианству, так же как и страсти к возвышению, как и пафоса обличительного — вот уж реалист из реалистов! Он трезво, разумеется трезво по-мужицки, воспринимает события — мировую и гражданскую войны, революции, приход Советской власти, когда он нашел себя еще и как сельский деятель культуры, сделавшись избачом — новой фигурой в деревне и в то же время типичной для того времени.

Он при этом ничуть не изменил себе как писатель, пафос творчества которого — достоверность, читательское же отношение, которое он к себе вызывает,— это полное доверие.

Вот так: веришь каждому его слову, и только, хотя слово это и не столь уж искусно. Больше того, иногда даже радуешься тому, что оно неискусно, а только истинно. Именно это «только» бывает нам то и дело особенно необходимо, необходимо больше всего на свете, именно в этом значении оно и является нам в своем непорочном младенчестве, в первозданном своем, ничем не замутненном смысле.

И как странно, какой парадокс: читаю семеновский рассказ «Солдатка», догадываюсь о том, что ждет несчастную женщину впереди, и откладываю книгу: трудно читать, тяжело на душе. А в эту минуту приходит мысль: «Анну Каренину» — я ведь не откладывыл?! «Мадам Бовари» — не откла́дывал?! Или у меня не возникало тогда такого же душевного сочувствия?! Может быть, оно и возникало, но там меня гнал, гнал вперед интерес, увлечение искусством, магия художника, вот я и не останавливался ни на минуту.

Тут — другое, тут сочувствие живому человеку прежде всего... Может ли так быть?

Может, может! Потому что — достоверность! Потому что — доверие!

Вот и в жизни мы ведь верим не одним только великим художникам и не только они потрясают нас и пронизывают сочувствием к ближнему!

Нет, не буду и еще говорить что-то такое о рассказах и повестях Сергея Терентьевича Семенова, пусть он говорит сам за себя, скажу только, что именно ему, его книге мы доверили открыть нашу серию «Из наследия», в которой хотим представить многих и очень разных писателей.

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

Предисловие

(К сборнику С. Т. Семенова «Крестьянские рассказы»)

Я давно уже составил себе правило судить о всяком художественном произведении с трех сторон: 1) со стороны содержания: насколько важно и нужно для людей то, что с новой стороны открывается художником, потому что всякое произведение тогда только произведение искусства, когда оно открывает новую сторону жизни; 2) насколько хороша, красива, соответственна содержанию форма произведения и 3) насколько искренно отношение художника к своему предмету, т. е. насколько он верит в то, что изображает. Это последнее достоинство мне кажется всегда самым важным в художественном произведении. Оно дает художественному произведению его силу, делает художественное произведение заразительным, т. е. вызывает в зрителе те чувства, которые испытывает художник.

И этим-то достоинством в высшей степени обладает Семенов.

Есть известный рассказ Флобера, переведенный Тургеневым — Юлиан Милостивый. Последний, долженствующий быть самым трогательным, эпизод рассказа состоит в том, что Юлиан ложится на одну постель с прокаженным и согревает его своим телом. Прокаженный этот Христос, который уносит с собой Юлиана на небо. Все это описано с большим мастерством, но я всегда остаюсь совершенно холоден при чтении этого рассказа. Я чувствую, что автор сам не сделал бы и даже не желал бы сделать того, что сделал его герой, и потому и мне не хочется этого сделать, и я не испытывал никакого волнения при чтении этого удивительного подвига.

Но вот Семенов описывает самую простую историю, и она всегда умиляет меня. В Москву приходит деревенский парень искать места, и по протекции земляка кучера, живущего у богатого купца, получает тут же место помощника

дворника. Место это прежде занимал старик. Купец, по совету своего кучера, отказал этому старику и на место его принял молодого парня. Парень приходит вечером, чтобы стать на место, и со двора слышит в дворницкой жалобы старика на то, что его без всякой вины с его стороны разочли, только — чтобы дать его место молодому. Парню вдруг становится жалко старика, совестно за то, что он вытеснил его. Он задумывается, колеблется и наконец решается отказаться от места, которое ему так нужно и приятно было.

Все это рассказано так, что всякий раз читая этот рассказ, я чувствую, что автор не только желал бы, но и наверное поступил бы так же в таком же случае, и чувство его заражает меня, и мне приятно и кажется, что я сделал или готов был сделать что-то доброе.

Искренность — главное достоинство Семенова. Но кроме нее у него и содержание всегда значительно: значительно и потому, что оно касается самого значительного сословия России — крестьянства, которое Семенов знает, как может знать его только крестьянин, живущий сам деревенской тягловою жизнью. Значительно еще содержание его рассказов потому, что во всех главный интерес их не во внешних событиях, не в особенностях быта, а в приближении или в отдалении людей от идеала христианской истины, который твердо и ясно стоит в душе автора и служит ему верным мерилом и оценкой достоинства и значительности людских поступков.

Форма рассказов совершенно соответствует содержанию: она серьезна, проста, подробности всегда верны: нет фальшивых нот. В особенности же хорош, часто совершенно новый по выражениям, но всегда безыскусственный и поразительно сильный и образный язык, которым говорят лица рассказов.

Лев Толстой

1894 г.

Наследство

Рассказ

I

Жили в деревне Андреевке два брата в разделе, Алексей да Григорий Седовы. Занимались они хлебопашеством, да еще и ремесла знали: старший был кузнец, а младший портным ходил. Пить вино — пили, а хозяйство вели исправно, потому всегда копейку добывали. Родства у них было много и в деревне и в Москве, и родные были всякие — и бедные и богатые.

Узнали один раз братья, что умерла у них в Москве тетка. Баба была вдовая, бездетная и состоятельная — свой домик где-то на окраине имела. Узнали братья, всполошились. Думают: мы наследники. Засуетились, стали в Москву собираться.

Собрались, поехали. Приехали братья в Москву, стали дело разнюхивать. И прослышали они, что при смерти тетки была сестра ее — тоже тетка им, так она всем и попользовалась, остался только дом один.

Стали братья тетку просить:

— Так, мол, и так, тетушка, не грех бы с нами поделиться. Тоже ведь не чужие мы ей приходимся. Надо бы тебе на помин души ее дать нам что-нибудь.

Удивилась тетка.

— Из чего это,— говорит,— я дам-то вам? Коли от покойницы сестры и остался хлам какой, так он нейдет для деревни. А дом-то она мне при свидетелях отказала.

Опешили братья, не знают, что и делать. Посидели, помолчали, почесали затылки, пошли в трактир чай пить.

II

Пьют братья чай, разговаривают, придумывают, обсуждают, что им делать, как им быть.

Прислушался к разговору человек один за соседним столом. Человек немолодой, одет по-барски, хотя плохо. Сидит, пивцо попивает, в оба уха слушает. Слушал-слушал, обернулся и говорит:

— Спорное дело, вижу, у вас? О наследстве, что ли?

— Об наследстве,— говорит Алексей.

— С чего дело-то началось, расскажите-ка.

Рассказали братья. Говорит им человек:

— Коли завещания не осталось,— дом ваш.

— Ой ли?

— Верно говорю. Не согласна тетка полюбовно разойтись, прямо на суд подавайте. Дело беспременно выгорит.

Покачали братья головой.

— Нам,— говорят,— судиться никак невозможно. Наше дело крестьянское: свое хозяйство оставить нам никак нельзя. Хозяйство оставим — больше упустим.

Усмехнулся человек.

— Эх вы! — говорит.— То-то народ-то вы темный, необразованный. Вам тут-то и быть не надо.

— Как так?

— А так! Напишите доверенность, я вам все дело оборудую в лучшем виде.

— Ты нешто по этим делам можешь?

— Я-то? Да я только этими делами и занимаюсь, все законы как свои пять пальцев знаю. Недавно такое дело в окружном суде выиграл — шесть сотенных за труды получил.

Удивился Алексей.

— Ну? Ишь ты ведь что! А я думал, ты из холуев.

Обиделся человек.

— За кого,— говорит,— вы меня принимаете? Это даже очень оскорбительно.

— Да одет-то не больно тово...

— Мало ли что одет! А отчего я так одет-то? Как получил я тогда шестьсот рубликов и захотел спрыснуть их; да так напрыскался, что не помню, как и в части очутился. А наутро очнулся, гляжу на себя, а я чуть не голый: все обобрали люди добрые, до ниточки...

Поговорили братья, посоветовались,— решили дать доверенность. Написали доверенность, дали денег на расходы — две красненьких, собрались домой ехать.

— Поезжайте,— говорит им человек,— без сомнения. Все дела ваши поведу я в исправности.

И поехали братья домой.

III

Дорогой говорит Григорий Алексею:

— Дело, брат, затеяли, да выйдет ли прок какой?

— Абвокат взялся, значит, будет толк.

— Абвокат себе пользу ищет. Ему что? Будет да будет сок из нас выжимать, а мы отдувайся.

Осердился Алексей.

— Что ты,— говорит,— за черт за такой! С тобой никакого дела не сведешь. Ты думал так, без всякой траты дело-то выиграть? Тут, брат, не посеявши — не вырастет. Ты вот полсотни закабали, не пожалей, так и получим ста три на брата, а може, и больше. Все то и окупится.

— А как не выгорит-то?

— Тьфу ты, окаянный! Опять за свое — не выгорит, не выгорит! Выгорит, коли тебе говорят, дубина ты стоеросовая!

— Ну, дай бог нашему теленку волка съесть.

Приехали братья домой, принялись работать по-прежнему, только к водочке стали они почаще прикладываться. Иной раз нужда в доме, а им и горя мало: знай себе попивают. Начнут их жены урезонивать.

— Бесстыдники вы этакие,— скажут,— бессовестные! Хоть бога-то побоялись бы: в доме нужда, а они бражничают. На что вы только надеетесь?

— Молчите вы, мокрохвостые! — прикрикнут на баб братья.— Вот, дай срок, наследство получим, все нужды прикроем.

Прослышали в деревне о наследстве, стали завидовать.

— Вот,— говорят,— счастье бог дал мужикам! Была тетка какая-то, заживо-то, может, и не знала, что за племянники такие, а вот померла — наследство им достается. Счастье, видно...

IV

Прошел месяц и другой — получают братья письмо из Москвы. Пишет адвокат, что дело их в такой-то суд пошло,

что он на бумаги, на марки да на разные дела своих денег рублей пятнадцать израсходовал, просит поскорее выслать их ему.

Нечего делать, собрались братья, послали. Стали ждать, что дальше будет.

К весне опять адвокат шлет письмо: пишет — приезжали бы в Москву поскорей да денег побольше прихватили.

Поехали братья, приезжают в Москву. Пришли к адвокату, стали спрашивать, в чем дело.

Говорит им адвокат:

— Дело ваше в этом суде не стали разбирать. Нужно в другой подавать, и нужны деньги на расходы.

— Опять денег?— говорит Алексей.— Давать-то боязно. Ну как ничего не выйдет али и выйдет, да меньше того, что истратимся?

— Дураки вы, дураки!— говорит адвокат.— Не зря ведь потрудитесь: все назад вернете, все издержки.

Успокоились братья, дали адвокату денег, поехали домой.

Немного спустя опять получают братья письмо, опять просит денег адвокат, пишет, что мало, вишь, не хватило.

Думали-думали братья,— не знают, что и делать; прикончить жалко: истратились много; вести дело дальше — опять нужны деньги. Хоть расходы бы вернуть... Решили еще послать — будь что будет.

И оборвали наши братья свое хозяйство, кои вещи заложили, задолжались кругом.

— Ну, как не выгорит дело-то наше?— говорит Григорию Алексей.

Ничего не сказал Алексей, только рукой махнул. Помолчал-помолчал и говорит:

— Коли дело затеяли, надо вести до конца: куда кривая ни вывезет.

V

Узнала тетка, что племянники против нее дело начали,— испугалась.

«Как бы,— думает,— они у меня дом не оттягали».

Написала им письмо, чтобы в Москву приезжали, обещалась поплатиться, коли дело прикончат.

Получили письмо братья, обрадовались.

— Ну,— говорят,— слава богу! Не тут, так там выгорит наше дело.

Однако не сразу поехали: думали с работой управиться, а тогда молотьба шла и со льном убирались, да и от адвоката не будет ли какого известия. И промешкали братья до Николы-зимнего.

Наконец собрались, поехали и прямо к адвокату пошли. Видят они, переменился адвокат: гордый стал да важный такой. Пальто с барашковым воротником, сапоги с калошами и квартира получше. На наших мужиков еле глядит.

— Ну как дело-то наше?— спрашивают братья.

— Дело ваше застряло,— говорит адвокат.— Приходится в окружной подавать. Да еще вот что: нужно вас в правах наследства утвердить.

— Как так?

— Да так; по форме так следует. А то опять не примут дело-то.

— Да ты бы давно сказал...

— Я бы и раньше сказал, да тут деньги нужны, много денег. Я думал, либо и так удастся, да нет, не выходит.

Вытянулись лица у братьев. Смекнули, сколько потратили, сколько еще придется потратить, видят: не покроют, пожалуй, наследством и расходов-то. Опустили носы наши мужики.

Потолковали, потолковали, сговорились к тетке идти.

— Пойдем,— говорят,— попросим; может, и полюбовно сойдемся.

— С богом,— говорит им адвокат.

VI

Пошли братья к тетке. Говорит им тетка:

— Вы никак судиться затеяли?

— Да,— говорит Алексей,— в окружной подаем. За нас адвокат хлопотать взялся.

— Напрасно,— говорит,— ребятушки, дело это вы затеяли. И меня-то обидите, и себе-то мало корысти сделаете...

— Как мало корысти? Дом-то, чай, сот восемь стоит, коли не больше. Смекни-ка, по скольку достанется?

— Да нешто вам одним? Ведь у покойницы сестры и еще

родня есть, кроме вас. Приступитесь к дому, так налетят родные-то, как воронье.

— Ну, пущай их, а мы свое возьмем!

Подумала-подумала тетка и говорит:

— Вы вот что, ребятушки: прикончите-ка дело да подпишитесь, что вы от дома отказываетесь; а я,— так уж тому, видно, и быть,— дам вам сотенный билет.

Подумали немного братья.

— Маловато,— говорят,— будет, тетушка!

— Нет, не мало, ей-богу, не мало! — говорит тетка.— Больше вам не получить, хоть и судиться будете. Только проканителитесь больше того.

— Ну, уж так и быть!— говорит Алексей.— Прибавляй еще две красных — и дело с концом.

Согласилась тетка. Подписались братья, что от наследства отказываются, получили деньги и пошли к адвокату.

— Ну, что?— спрашивает адвокат.

— Да что,— сошлись полюбовно с теткой, отказались от дома-то.

— Сколько дала?

— Сто двадцать рублей.

— Так, значит, дело ваше прикончить?

— Видно, что так! Ты уж... того... похлопочи, прикрой дело.

— Это можно. Ну теперь позвольте получить с вас за труды.

— За какие труды?

— Да вот, что я хлопотал-то.

— Да ведь ты получал с нас...

— Я получал на судебные издержки, а не за ведение дела.

— Как же так?

— Да так. Коли не верите, я вам все бумаги покажу, на что я ваши деньги тратил.

Опешили братья: не знают, что делать.

— Ну, что бельмы-то вытаращили! Давайте деньги! Не задаром же я хлопотал за вас.

— Сколько же тебе давать-то?

— Ну, что с вас взять-то? Давайте шесть красненьких,— и бог с вами.

— Смилуйся, отец родной! — взмолились братья.— Ведь ты грабишь нас...

— Что такое? — закричал адвокат.— Ах вы, канальи этакие! А не хотите, так я с вас судом вдвое больше вытребую. Ведь не я дело прикончил, а вы; моей тут вины нет никакой. Я все равно получил бы: утвердил бы вас в наследстве и получил бы свое. А вы еще вот что выдумали — грабят вас! Я хлопотал, трудился, время терял, а они вот что... грабят! Да я вас за оскорбление...

Испугались мужики, выложили денежки.

— Ну вот, давно бы так-то! — сказал адвокат.— А то еще канитель вздумали заводить. Так-то лучше. Ну, спасибо! — говорит.— В другой раз что случится, приходите.

Ничего не сказали братья, вышли вон.

Приходят братья на постоялый двор, видят — ожидают их женщина и парень. Женщина — сноха их, брата родного жена, что в солдатах помер, а парень — сын другого брата, тоже умершего.

— Вы что? — спрашивают братья.

— Да вот что,— заговорила женщина,— слышали мы, что вы после тетки деньги получили. Так поделитесь с нами-то, братцы; мы тоже не чужие ей-то. Не грех бы!

Озлился Алексей.

— Ах вы,— говорит,— сволочи этакие! Вишь, что выдумали! Да мы, в рот вам сто возов, сами просудили по двести целковых. Из чего вам давать-то? Мы и сами с этим наследством чуть не разорились.

— Мы ваших делов не знаем,— говорит женщина.— Вы подайте нам, что по-божьи следует!

— Нет вам ничего! — крикнул Алексей да и пошел было лошадь запрягать.

— Так не годится, дядюшка! — вступился и парень тоже.— Мы вас можем в полицию стащить, коли ничего не дадите. Мы этого дела так не оставим. Вот что!

Бились-бились братья; видят, что ни крестом, ни пестом от них не отделаешься, выкинули им по пятерке.

Ушли женщина с парнем, пошли братья на прощанье с Москвой выпить. Выпили изрядно да проканителились до вечера. Уж темно было, как выехали они из Москвы. И вместо трех дней целую неделю ехали домой братья: всю дорогу пьянствовали и приехали домой как есть без копейки.

1888 г.

Дворник

Рассказ

I

Герасим пришел в Москву в самое глухое время для местов — в филипповки, потому перед праздниками и на плохом месте всякий держится — подарков дожидается. И не нападал Герасим на должность недели с три.

Все время прожил он у родственников да у земляков, и хотя нужды большой и не видал, а все-таки скучненько приходилось иногда: человек молодой, здоровый, а ходит без дела.

Герасим жил в Москве с малолетства. Мальчиком жил он на пивном заводе, бутылки промывал; а как вырос, по дворницкой части пошел. За последнее время он выжил у купца одного два года и расчелся только потому, что в деревню к солдатчине потребовали. В солдаты ему жребий не вышел, а в деревне с непривычки показалось скучно, и решился он лучше в Москве тумбы считать, чем в деревне жить.

Однако ему надоело мостовые гранить, рад бы он хоть куда-нибудь пристроиться. Просился он чуть не у каждого встречного на место, и земляки хлопотали и знакомые его, да не выходило нигде никакой должности.

Стало совестно Герасиму и землякам-то надоедать. Которым и неприятно было, что он ходит к ним, а которые и сами выговоры за него от хозяев получали. Нечего делать парню — иной раз и целый день не евши проходит.

II

Зашел раз Герасим к земляку на самую окраину Москвы близ Сокольников. Жил там земляк его в кучерах у купца Шарова и много лет уже выжил. Подделался он к хозяину так, что во всем верил ему хозяин и отличал примерно. А за-

служил он почет такой у хозяина все больше языком. Наговаривал он хозяину на людей, про все дела их доносил; отличал его за то хозяин.

Приходит к земляку Герасим, поздоровался. Принял его земляк как следует, чаем напоил, накормил, стал парня про дела спрашивать.

— Плохи мои дела, Егор Данилыч,— говорит Герасим.— Вот уже которую неделю без места хожу.

— А у старого хозяина был, где раньше-то служил?

— Был.

— Не взял, стало быть?

— Не взял: у него уже есть на моем месте.

— Вот то-то и оно-то! Все вы молодцы такие: служите у хозяев кой-как да кое-как. А как разочтетесь, так и дорожку к ним загадите. А вы служите так, чтобы хозяева-то дорожили вами, чтобы, как другой раз пришел, не отказал бы, а расчел бы того, кто на твоем месте.

— Где уж нам так-то... Нонче и хозяев-то нет таких, да и нашего брата не хвали...

— Толкуй, нету... Да я про себя скажу: уйди я за чем ни на есть в деревню аль куда да опять приди — так не только что, а ни слова не говоря, опять возьмет... да с радостью.

Потупился Герасим. Видит — хвастает земляк, и захотелось ему поддакнуть. И говорит парень:

— Да таких-то людей, как ты, Егор Данилыч, ведь не скоро и найдешь. Коли бы ты плох-то был — не держал бы тебя хозяин двенадцать годов кряду.

Улыбнулся Егор,— понравилась ему похвала.

— Вот то-то и есть! — говорит.— Если бы вы жили так, как мы живем да служим, не приходилось бы по месяцам без места шататься.

Помолчал Герасим. А тут позвали Егора к хозяину. Обернулся Егор к парню да и говорит:

— Ты погодь маленько — я сейчас.

— Ладно,— говорит Герасим.

III

Вернулся Егор, говорит:

— Через полчаса велел лошадь закладывать — в город ехать.

Закурил Егор трубочку, прошелся раза два по кучерской, остановился перед Герасимом и говорит:

— Вот что, парень! Хочешь — я попрошу хозяина, чтобы к нам в дворники тебя взял?

— Разве нет у вас дворника?

— Есть-то есть, да больно плох — стар уже стал, должность свою пополам с грехом справляет. Хорошо еще, что место у нас глухое, не очень чистоту полиция спрашивает, а то бы не справиться ему.

— Коли можно, Егор Данилыч, похлопочи, пожалуйста. Век за тебя буду бога молить. Невмоготу уж стало... без места-то.

— Ладно, попрошу. Ты наведайся-ка завтра, а пока — вот тебе гривенник, пригодится.

— Спасибо, Егор Данилыч! Так ты ж... тово... похлопочи, сделай милость.

— Да уж ладно, постараюсь.

Ушел Герасим; пошел Егор лошадей закладывать. Заложил, оделся, подкатил к крыльцу.

Вышел хозяин, сел в сани — поехали. Объездили все места, какие надобились, и поехали домой. Видит Егор: хозяин веселый — и говорит ему:

— Егор Федорыч! Хотел было я вас об одном деле попросить.

— Говори, что такое?

— У меня есть тут земляк один, парень хороший, а без должности ходит.

— Ну, так что?

— Не возьмете ли вы его к себе?

— Куда же его взять-то?

— А в дворники.

— В дворники? А Поликарпыч-то как же?

— Поликарпыч — какой дворник? Его бы и расчесть пора.

— Неловко, брат! Служил-служил — да расчесть без всякой причины.

— Что ж, что служил? Служил, чай, не задаром: небось под старость сберег копейку.

— Какой сберег! Где сберечь-то? Он ведь не один, жена на квартире, тоже пить-есть надо.

— Жена обрабатывала себя: она на поденщину ходила.

— Ну, много она там зарабатывала! На квас разве!

— А вам-то какая забота? Поликарпыч, надо прямо

говорить, работник плохой, что ж ему задаром деньги платить? Ни снег он вовремя не счистит, ни что; а с дежурства раз десять уходит,— холодно, вишь, ему. Дождетесь того, что полиция беспокоить будет; того и гляди, околоточный нагрянет. Приятно вам будет отвечать за него?

— Все-таки неловко. Пятнадцать лет у меня выжил, а на старость и обижать... Грех ведь...

— Какой грех, Егор Федорыч? Чем вы его обидите? Он все равно прокормится: он в богадельню пойдет, ему же лучше — на старости на покой.

Подумал-подумал хозяин.

— Ну, ладно,— говорит.— Приведи земляка своего. Я погляжу там.

— Уж, пожалуйста, Егор Федорыч, поместите. Больно жалко парня: человек хороший, а без места. Он, я знаю, вам заслужит. Солдатчина оторвала его от места, а то бы с ним старый хозяин не расстался.

IV

Пришел на другой день Герасим к вечеру и спрашивает:

— Ну, что, Егор Данилыч, как дела-то?

— Дела-то, кажись, хорошие. Вот попьем чайку да сходим к хозяину.

Герасиму и чай не мил стал: поскорее хотелось ему о деле узнать. Однако через силу, а выпил два стакана. И пошли они к хозяину.

Расспросил хозяин Герасима, где жил, что умеет делать, и согласился взять его к себе, велел завтра перебираться.

Идет Герасим от хозяина, ног под сбой не слышит: обрадовался месту. Вошел в кучерскую, и говорит ему Егор:

— Ну, смотри, парень, служи хорошенько, чтобы мне не стыдно за тебя было. А то знаешь, какие хозяева бывают: не угодишь раз чем-нибудь — так они попреками-то и спокою не дадут.

— Уж будь покоен, Егор Данилыч!

— То-то!

Простился Герасим с Егором, вышел из кучерской. Пошел парень через двор, подошел к воротам; у самых у ворот сторожка, в окошке огонек светится; хотел было Герасим взглянуть на свое новое жилище, да стекло морозом запушило — ничего не видать.

Слышит Герасим — идет в сторожке разговор. Остановился, стал прислушиваться.

Говорит женский голос:

— Что же теперь делать-то будем?

— И сам не придумаю,— говорит другой, должно Поликарпыч.— Одно остается — по миру идти.

— И впрямь по миру,— говорит женщина.— Эх ты, жизнь-то наша горемычная! Живи-живи, служи-служи, а как состарился — вон.

— Что ж ты будешь делать? Хозяин — не свой брат: с ним много разговаривать не станешь. Свою тоже пользу соблюдает.

— Все они такие скареды, хозяева-то: только о себе и думают. А того не понимают, что служат им честно, благородно сколько годов, измаялись на их работе, а они боятся год-другой подержать, пока сила есть. Ну, а там, когда мочи нет, и сам бы ушел.

— Хозяин не виноват: его кучер сбивает, Егор Горюнок, хочет земляка своего поместить.

— Вот тоже аспид! Только и знает, что языком виляет. Подожди ты, мохнатая морда, я до тебя доберусь! Все в глаза выскажу, как он его надувает. И как овес ворует, и как сеном обманывает — все распишу,— попомнит он, как кляузничать.

— Будет, старуха! Не греши.

— Что не греши? Не правда, что ли? Я все знаю, все и расскажу: пускай похлопает глазами. Ведь сам посуди, что нам делать, куда деваться? Ведь обездолил нас совсем.

Не вытерпела старуха, заплакала.

Услыхал Герасим,— как ножом кольнуло его. Видит он, какое горе делает старикам, и заныла в нем душа — жалко стало. Постоял-постоял он, подумал да и вернулся назад в кучерскую.

— Аль забыл что? — спрашивает Егор.

Замялся Герасим.

— Нет,— говорит,— Егор Данилыч, я вот что... покорно благодарю тебя за хлопоты и привет твой... только... я не пойду к хозяину вашему на эту должность.

— Что так?

— Так, не пойду... поищу другого места.

Осерчал Егор:

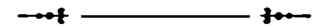
— Аль ты смеяться вздумал надо мной, дурак ты эта-

кий! То ныл: похлопочи-похлопочи, а то отказываешься. Эх ты, баранья твоя голова! Только меня-то остыдил.

Молчит Герасим, не знает, что сказать. Покраснел как рак, потупился.

Ничего не сказал Егор, только отвернулся. Надел шапку Герасим, пошел из кучерской, потом за ворота, и легко пошел он по улице. Легко и радостно было на душе у него.

1888 г.



По неправедному пути

Рассказ

I

Не только село Закутино, но весь округ считали Онисима Ильича Головачова первым богачом в околотке. И правда, был богат Головачов: дом у него в Закутине был первый в селе, земли собственной десятин пятьсот, скота разного и птицы домашней и счету не было; кроме того, у него были две лавки: одна в городе, другая в Закутине; в городе приказчик на отчете был, а в Закутине торговал сын Головачова, Леонтий.

Сам Онисим Ильич барышничал: ездил по деревням и скупал все, что под руку попадается. Хоть и несподручно стало ему это занятие, да очень к нему привык: смолоду он им стал заниматься и под старость расставаться с ним и не хотелось.

Занимался Головачов своим делом лет двадцать. Смолоду жил он в большой бедности с матерью-старухой: на лето в пастухи нанимался, а зиму дома сидел — чуняки брал плесть да валенки пенькой подковыривать; тем и кормились. Потом взял его закутинский богач-кулак, человек одинокий, к себе в работники. Прожил у него Онисим года три, и умер кулак. Отошел от него Онисим, починил избушку, земли взял, женился и стал крестьянствовать. Летом в поле работал, зимою извозом занимался, в город овес возил, а оттуда кладь захватывал. Потом завел небольшую торговлишку,— на какие деньги — никто не знал; поговаривали только, что получил их у старого хозяина. И стал торговать Головачов мукой, солью, дегтем, сельдями и всякой деревенской мелочью. А там и скот скупать стал. Дальше да больше — разбогател Головачов; разлезся мужик донельзя: всего у него было вволю, разве только, как говорится, птичьего молока не было.

Жена у Онисима Ильича умерла, и после нее осталось у него двое детей: сын и дочь.

Сын Леонтий был парень неглупый. Образовал его Головачов хорошо, и торговлю вел парень исправно. Только был за ним порок один: погулять любил с товарищами... Не нравилось это Головачову шибко, и старался он всячески отучить его от этого: и добром урезонивал, и бить принимался,— ничего не выходило. Махнул рукой старик.

— Ну, пес с ним! — думает.— В года взойдет, женю. Авось поумнее будет.

Дочь Головачова, Аннушка, была умница отменная и собою красивая. Любил ее старик — просто души в ней не чаял; думал выдать ее за купца или барина какого.

II

Исполнилось Леонтию девятнадцать лет, и надумал Головачов женить парня; начал слухи собирать, невесту подходящую искать.

Была в городе мещанка одна, сватовством занималась; услыхала она, что Головачов сына женить собирается, пришла к нему.

— Я,— говорит,— Онисим Ильич, твоему сынку невесту подыскала! Уж такая девка — цены нет: что умна, что красива, да и приданое большое.

— Из каких она? — спрашивает Головачов.

— Купецкая дочь, батюшка! В городу он торгует. Може, слыхал, Крышкин, Ефим Григорьевич?

— Знаю маленько.

— Ну, так вот! Девка, говорю, хорошая — по всему городу на редкость.

— Что же, попытай, посватай! Может, дело и выйдет.

Принялась сваха за дело, и через неделю на смотрины поехали. Понравилась невеста и Головачову, и Леонтию; не долго думая, и по рукам ударили.

На другой день сговора позвал Головачов сына и говорит ему:

— Ну, Левка, гляди! Вот забочусь об тебе, женить тебя хочу. Ежели ты теперь не бросишь глупостей своих, то смотри, парень, милости от меня не жди! Расчет с тобою будет короткий: вот бог, а вот порог! Куда хошь, туда и убирайся.

- Нет, тятенька, будьте покойны! Я, чай, не ребенок малый: небось понимаю.

— То-то смотри! Я своему слову верен буду

Пошли дни за днями. Леонтий горячее прежнего принялся за дело, хлопочет в лавке до поту весь день — так ходуном и ходит. Поедет куда — живо вернется и исполнит все хорошо и аккуратно.

«Вот,— думает старик,— коли бы всегда такой был, парню цены бы не было. Може, женатый и всегда такой будет».

За неделю до свадьбы послал Головачов сына в город к приказчику за месячной выручкой, да кстати и для свадьбы кой-чего захватить. Все это Леонтий аккуратно обделал да и зашел перед отъездом чайку попить в трактир. Думал было на скорую руку повернуться, да... застрял надолго.

Попался ему товарищ его закадычный — Митя Ленточкин. Вместе они в училище учились, вместе и кутили не раз. Ленточкин был парень веселый — в один год отцовскому наследству глаза протер. В городе его не любили — на язык востер был, всех осмеивал, а некоторых и облапошивал. При встрече обходили и звали шалопаем.

Встретились приятели, обрадовались.

— Ба, Лева! Какими судьбами? Сколько лет, сколько зим!

— Здравствуй, Митя! Как поживаешь?

— Помаленьку, брат. Живем не мотаем: чужого не хватаем и своего не даем. Кое-как свожу концы с концами. Что долго не видать тебя?

— Да все дела, брат! Слышал, чай, женюсь я?

Удивился Ленточкин.

— Что ты? Вот так штука! Не слыхал. Когда свадьба?

— Через недельку.

— А невесту где высватал?

— Здесь, городскую. Крышкина дочь.

— Знаю, знаю... Значит, отгулял молодчик! Жалко. Ну, стало, выпить нужно!

— Нет, Митя, не могу! Сейчас домой ехать.

— Вот пустяки! По единой только и пропустим.

— Нет, уволь! Лучше когда в другой раз.

— Когда тут в другой раз? Женишься — и не поймаешь тебя. Сейчас давай, благо попался!

Как ни отговаривался Леонтий, не смог отговориться; пристал Ленточкин, как с ножом к горлу,— согласился Леонтий.

Выпили сперва по одной, потом по другой. Сделались навеселе; расхрабрился Леонтий.

— Пить так пить! — говорит.

Потребовали еще вина, нашлись еще товарищи, и пошла кутежка на славу.

III

Поздно вечером поехали кататься приятели. Объехали весь город и остановились перед домом Крышкина. Пьян был Леонтий. Вылез из тарантаса, подошел к воротам. Ворота заперты. Стал стучаться Леонтий, вышел сторож.

— Кто там такой? — спрашивает.

— Хозяин дома? Хозяина нам надо! — говорит Леонтий, сам покачивается.

— Спит хозяин. Завтра приезжайте. Охмелитесь и приезжайте. Сегодня поздно, да и не в своем вы виде.

Вскипятился Леонтий.

— Как ты смеешь говорить так, дурак? Я тебе знаешь что сделаю? Прогнать велю хозяину.

— Ну, ладно, завтра и скажете! А теперь садитесь-ка да поезжайте с богом, пока целы.

Взвизгнул Леонтий — не понравились ему слова сторожа. Размахнулся, да и бац его по лицу.

— Так ты драться? Ну, так вот же тебе!

И хватил сторож Леонтия по шее.

Услыхал Ленточкин, какая каша заварилась, подошел на помощь к товарищу, и схватились они вдвоем со сторожем. Поднялся шум, крик. Услыхал Крышкин, испугался: думал, пожар. Выскочил он к воротам и узнал нареченного зятька своего.

— Что ты тут, Леонтий Онисимыч, никак скандалы заводишь? Стыдно, брат! — сказал с упреком Крышкин.

— Ефим Григорьич...тестюшка нареченный... я... видишь ли... то есть... хотел... вот тут товарищ мой... ну и хотел я познакомить... то есть товарища моего... с невестой-то моей. А он, скотина, не пускает.

— Не время, брат! — сказал Крышкин. — Да и не в таком ты виде. А товарищ-то твой кто? Никак Ленточкин?

— Он самый... прошу любить да жаловать.

— Ну друг, не ждал я, чтобы ты с такими товарищами водился да в полночь честных людей тревожил, скандалы заводил. Спасибо, брат, что показал себя! Не то я про тебя думал; а ты — вот каков. Ладно, будем знать.

— Ефим Григорьич! А все-таки можно видеть-то ее... невесту мою? А? Пусти, мы только одну минуточку.

— Нет, брат, поезжай своей дорогой, а нас не тревожь. В таком виде да в полночь мы гостей не принимаем. Прощай.

И Крышкин отвернулся от Леонтия и хлопнул калиткой. Ушел и сторож.

— Вот те клюква! — сказал Леонтий и развел руками.

— Ну и черт с ним! — пробормотал Ленточкин.— Поедем, брат.

— Поедем.

IV

Поджидал Онисим Ильич парня с нетерпением, расхаживал по горнице и посматривал в окна.

«Что это он запропастился? — раздумывал старик.— Уж давно бы пора приехать, а его нет! Должно, у тестя задержали, а то, кажись, и застрять-то больше негде... Уж не закрутил ли парень?»

Сжалось сердце у старика, и заныла душа. Шибче зашагал он по горнице, как пчелы зароились мысли в голове. Не найдет себе покоя Головачов — то по горнице пройдется, то на двор выйдет. Сердитый стал: увидал что-то на дворе, придрался к работнику, разругал его и опять ушел в дом.

Перед обедом по дороге из города показалась повозка. Не утерпел Головачов — выбежал на крыльцо. Однако не Леонтий ехал, ехал Крышкин.

— Батюшка, Ефим Григорьич! Какими судьбами?

— Да дельце есть, Онисим Ильич, вот и приехал.

— Добро жаловать, добро жаловать — рад я тебе! Ну, войди в дом-то; я сейчас самоварчик велю схлопотать.

— Не трудись, Онисим Ильич! Я на минутку.

— Что так? Посиди. Аль торопишься куда?

— Торопиться-то не тороплюсь... Признаться, нарочно к тебе приехал... Поговорить надо.

— Изволь, друг! Готов тебя послушать завсегда.

— Да видишь ли, Онисим Ильич! Дело-то не очень ладно!

Встревожился Головачов, смотрит на Крышкина.

— Что такое? — говорит.

— Хотел я с тобою породниться, да, видно... тово... не придется.

— Что так?

— Да то, что за такого молодца я свою дочку не отдам! Скандалист он и пьянчужка, с разной сволочью знается. А вчера ночью приехал ко мне пьяный с шалопаем Ленточкиным и ну ломиться в дом. Сторож не пускает, а они избили его: теперь к мировому хочет подавать.

Вытянулось лицо у Головачова, побледнел он весь; ни слова не сказал, только голову опустил.

— Не обессудь, почтенный! — сказал Крышкин.— Не я виноват, сам видишь. Прощай пока, Онисим Ильич!

— Погоди маленько, Ефим Григорьич! Чайку вот попьем.

— Нет, Онисим Ильич, спасибо, много доволен, в другой коли раз!

Поднялся Крышкин с места и пошел к повозке. Головачов проводил его и вернулся в горницу. Стал ходить по комнате пасмурный, как ночь.

«Так и есть,— думает старик.— Опять на старую дорогу попал. А я все думаю, куда сынок-то мой запропал, а он вот что. Ну, погоди же ты, молодчик, доберусь я до тебя! Я те покажу, как скандальничать да хороших людей бесчестить!»

Рассердился Головачов совсем, велел лошадь запрягать. В город за сыном поехал.

V

Приехал он в город и остановился на постоялом, где всегда останавливался. Увидал на дворе лошадь свою, стал у дворника про Леонтия спрашивать.

— Сегодня не был,— говорит дворник.— Вчера катались они, так приехали поздно; лошадь поставили, сами ушли и до сих пор не бывали.

Пошел Головачов в лавку свою и расспросил приказчика. Рассказал приказчик, как вчера Леонтий выручку забрал, товару кой-какого взял; с тех пор не видал его приказчик.

Пошел Головачов сына по трактирам разыскивать. Ходил-ходил, нашел-таки: сидит в трактире с компанией за столом, винами разными наливаются.

Как ястреб на курицу бросился Головачов на сына и вцепился ему в волосы. Завопил Леонтий.

— Тятенька... родимый...

— Ты опять пьянствовать, разбойник ты этакий! Скандальничать, подлец, начал! Вот я тебе покажу, как добрых людей позорить! Вот тебе... вот... вот!

Принялся Головачов колотить сына и руками, и ногами по чем ни попало. Барахтался Леонтий, как у волка овца, а вырваться не мог.

— Тятенька, простите! — умолял Леонтий.— Ради Христа, простите! Больше не буду, ей-богу, не буду!

Не слышит старик, озлился как зверь. Бил-бил, из сил выбился, бросил.

— Будь ты проклят, анафема, срамник поганый! Что ты наделал-то, пес окаянный? Зарезал меня, осрамил седую мою голову. С глаз моих уйди! Чтобы духу твоего в моем доме не было. И не попадайся — убью; право слово, убью!

— Батюшка, виноват! Простите, последний раз, видит бог, последний раз! Ради Христа, батюшка! Закаюсь и не буду больше!

— Знать ничего не хочу! Не сын ты мне больше! Слышь, чтоб не видал я тебя!

И обезумевший от гнева старик толкнул в грудь сына ногою и вышел вон. Повалился Леонтий на пол, плачет, ревмя ревет.

Подняли его товарищи, усадили, стали успокаивать, водой холодной напоили. Обошелся маленько парень и с горя потребовал еще вина.

VI

Возвратился Головачов домой уже к вечеру и прошел прямо в свою каморку; к ужину не выходил и пробыл там до утра.

На другой день он встал рано, вышел в сад, сел на скамейку и крепко задумался.

После вчерашнего он стал много тише; сердце его успокоилось, и он даже пожалел сына.

«Круто я поступил с ним,— думал он.— Пожалуй, парень что и начудит. Вишь, как разошелся-то я: на глаза

не велел показываться. Напрасно. Ну, побил бы там, потаскал, пригрозил бы прогнать на другой раз, а сейчас бы не следовало. Оно беда не большая — обойдется, сам придет прощения просить, можно еще поурезонить, а все-таки оставить надо».

Подумал еще немного Головачов и решился послать за Леонтием.

«Небось проспался теперь,— думал Онисим Ильич.— Кается, чай, что глупостей натворил! Эх, парень, парень! В кого он только уродился-то?.. Порезоню хорошенько, покрепче держать стану, ходу такого не дам, авось образумится. А там женю — женатый-то лучше будет, ветер-то из головы выйдет... А женить непременно надо... Эх, упустили невесту хорошую, не подыскать теперь такой! Ну, не велика беда,— похуже возьмем, победнее; нынче невест много, куда их девать-то!»

Поднялся Онисим Ильич со скамейки и пошел во двор. Попался ему на дворе работник, и говорит ему Головачов:

— Ты, Никита, позавтракал аль нет?

— Нет еще, Онисим Ильич. А что?

— Да вот что: позавтракай поскорее да поезжай в город. Поищи там Левку-то; чай, в трактире где-нибудь. Привези его домой.

— Ладно.

Поехал работник в город и возвратился к ночи один.

— Ну, что? — спросил Головачов.

— Нет его там, Онисим Ильич! Весь город обегал, у всех спрашивал — нету.

Встревожился Онисим Ильич. Уж не сделал ли над собою чего парень? И на другой день, чуть свет, поехал сам в город. Пробегал весь день, полиции заявил — нет парня, словно в воду канул.

Прошла неделя, другая, а Леонтия все нет. Скоро и осень наступила, а об нем ни слуху ни духу.

VII

Сильно грустил старик о сыне и ругал себя.

— Я сам, старый дурак, виноват во всем: до чего разошелся, проклял даже и искостил всячески. О, господи!

И он долго тужил и вздыхал о парне и наконец убедился, что этим горю не поможешь, видно, делать нечего,

чему быть, того не минуешь, а теперь надо о дочери подумать.

Женихов у дочери было много: были и купчики небогатые, и господа прогоревшие, офицер даже один присватывался, да все женихи неподходящие.

Ветрогоны все, за приданым гонятся: отдай им дочь-то да деньги убей. А промотаются, и бери дочь назад; а то и хуже что выйдет.

Стал Головачов жениха дочери подыскивать, да такого, чтобы сумел сам копейку нажить, чтобы прибавить мог к приданому, а не то чтоб размотать, чтобы и хозяйство сберег, и Аннушку счастливой сделал. Не прочь бы и в дом принять зятя Онисим Ильич, лишь бы человек был подходящий.

Сидит раз за чаем Головачов, и говорит ему кухарка, что приказчик из города приехал. Велел позвать его Головачов.

Вошел приказчик, поздоровался с хозяином. Пригласил его Головачов чай пить.

Уселся приказчик, и стал его Головачов о делах расспрашивать. Рассказал приказчик, выручку месячную сдал и осмелился попросить себе прибавки жалованья.

— Я,— говорит,— у вас, Онисим Ильич, пять лет живу честно, благородно, никакими худыми делами не займаюсь,— так не грех бы!

— Ладно,— говорит Головачов.— Подожди на кухне; я подумаю.

Остался Головачов один и стал обдумывать. И вдруг пришло ему в голову такое, что и сам удивился, как это он раньше не смекнул.

«Не взять ли в зятья этого приказчика?» — подумал он.

Показался приказчик Головачову человеком подходящим: жил он у него пять лет, торговлю вел хорошо, характер имел тихий, поведения был трезвого, бережливый и скуповатый: за пять лет скопил себе несколько деньжонок, хоть и из малого жалованья; родных у него, кроме матери, не было, знакомства не заводил,— просто золото парень.

«За ним моя Аннушка проживет как у Христа за пазухой»,— решил Головачов.

Крикнул он приказчика.

— Вот,— говорит,— Петр, какую я тебе награду дам за твою службу! Хочешь ко мне в зятья идти?

Задрожал от радости приказчик: ни слова не говоря, повалился он в ноги хозяину.

— Зачем, зачем? Богу кланяйся, не мне. Встань, брат, потолкуем хорошенько.

Поднялся приказчик, заморгал глазами, весь радостный стал.

— Что ж, согласен?

— Благодетель вы мой! Да за вас век буду бога молить — детям и внукам накажу.

— Ну, ладно, ладно! — усмехнулся Головачов.— Так если согласен, то вот что сделай: прежде найми квартирку получше, потом обставь ее хорошенько, чтобы было куда жену-то привесть, а там уж и образом благословим вас.

— Слушаю-с!

— Ну, так, так! А завтра я сам приеду, обо всем перетолкуем. Теперь ступай пока.

— Очень хорошо-с. Так прощайте, Онисим Ильич!

— Прощай, Петр Емельяныч! Счастливо доехать.

Проводил Головачов приказчика и зашагал по комнате. Ходит, руки потирает.

«Вот и отлично! — думал он.— Как это я раньше не подумал, ведь лучше-то этого и не найти! Нужды нет, что беден,— у меня зато есть. Богатому-то передай, он и начнет обороты делать, рисковать да и профуфырит все. А этот как сядет на деньгу, у него и зубом не вырвешь. Дело поведет осторожно — еще прибавит к моему, и будут век свой жить без заботы».

И пошел Головачов к дочери об женихе объявить.

VIII

Когда вошел к Аннушке, она что-то вышивала.

— Анюточка! — сказал Головачов.— Какую я тебе новость скажу!

— Какую?

— А такую — жениха тебе нашел.

Побледнела Аннушка, ничего не сказала, только над шитьем нагнулась.

— Что же ты? Аль не рада? А жених-то какой умный, рассудительный. Некрасив, зато степенный.

Аннушка опять промолчала.

— Догадалась кто?

— Нет.

— Петр Емельянов, наш приказчик!

Подняла лицо Аннушка на отца; в глазах ее слезы показались, из лица еще белее стала. Упала она в ноги к отцу и зарыдала.

— Что ты, Аннушка? Что с тобою?

— Тятенька милый! Не губите меня, не отдавайте за Петра Емельяныча!

— Что такое? — строго сказал Головачов.— Это почему?

— Не люб он мне, не хочу я за него!

— Эва! Так что ж что не люб? За кого же тебя отдать-то?

— Тятенька милый! Отдай меня за Алексея Андреича!

— За кого?

— За Алексея Андреича... за учителя здешнего.

— Так вот как! За учителя... Вот так дочка — возлюбленного себе нашла! Ловко! Нечего сказать! Без спроса да без совета родительского женишка себе выбрала!.. Молодец, девка, ничего... Ах ты негодница этакая! Да я тебе за это все косы оборву, коли ты хошь знать!

— Тятенька...

— Не смей и думать! Не быть тебе за учителишкой! И в голове не держи! Кроме как за Петра, ни за кого не отдам!

Рассердился Головачов, вышел вон и хлопнул дверью. Повалилась Аннушка на пол и заплакала горько.

«Что же это такое будет? — думал Головачов.— То сын был — от невесты отбился, пропал; а тут дочь не хочет идти, за кого я хочу! Да неужели я не родитель им? Нет, дочка! С тобою я еще поговорю, не дам я тебе воли... Гордыбачить будешь... выпорю, а отдам! Подобру-то, видно, с вами не сладишь... А учителишке этому... так сделаю, что и духу его здесь не будет! Вишь, чихач какой явился, девок смущать стал. Погоди, голубчик, я доберусь до тебя!..»

И опять стал злой Онисим Ильич. Заныло сердце, затосковало — не знает старик, что и делать, места себе нигде не найдет. Пришел вечер, стал молиться Головачов. Молился долго, поклоны клал, пока спина не заболела... Да не нашел он покоя от такой молитвы...

На другой день Головачов поехал в город. Сделал все, что нужно, с Петром Емельяновым и велел ему приезжать в следующее воскресенье по рукам бить.

IX

Ударили по рукам, стали к свадьбе готовиться. Накупил Головачов, что нужно для невесты, отдал портнихам шить. Хотел он разрядить невесту всем на удивление.

«Пускай,— думает,— смотрят люди да любуются на мою дочь. Ничего не пожалею для нее!»

Свадьбу задумал Головачов богатую: пригласил всех своих знакомых, кого только знал; снял он в городе дом под бал, подговорил музыкантов полковых и хотел в губернию за певчими посылать. Денег не жалел Онисим Ильич.

«Дай,— думает,— хоть раз попользуюсь ими. Мучился из-за них весь свой век, сколько грехов на душу принял, а ни одной путящей радости не видал».

Дня за три до свадьбы поехал Головачов в город посмотреть, как дело идет у Петра Емельянова, да и распорядиться насчет кой-чего. Пробыл в городе весь день и только к ночи вернулся домой. Не стал он и ужинать, а прошел прямо в спальню и улегся спать.

Проснулся утром Головачов и прошел в столовую чай пить. На столе самовара не было.

«Проспала, должно, старая!..» — подумал он на кухарку.

И пошел он в кухню.

— Ты что же это самовар не сготовила? — спросил он у кухарки.

— Батюшка, Онисим Ильич! Куда уж тут самовар! Горюшко-то какое!

— Что там еще?

— Да дочка твоя, не знаю, где поделась!

Испугался Головачов.

— Как так?..— говорит.

— Да так!.. Как уехал ты вчерась-то, она и вышла куда-то... узелок небольшой взяла. Я думала, она к попадье; ждала-ждала — весь день прождала. Перед вечером заснула я, заспала да и позабыла, что ее нетути. Хватилась сегодня утром, а у нее и постель не помята. Я к попадье, а та ее и не видала. Тут я и догадалась, что она куда-нибудь сбежала.

Как громом пришибло Онисима Ильича: лицо посинело, в глазах помутилось, весь зашатался — еле за косяк удержался. Постоял он так несколько времени, наконец раскачался, вышел из кухни, пошел во двор и велел работникам со-

бираться в погоню. На крыльце стоял какой-то человек.

— Тебе что? — спросил Гловачов.

— Хозяина бы мне нужно! — сказал человек.

— Я самый. Что нужно?

— Вот письмецо вашей милости.

— Откуда?

— С чугунки. Не знаю от кого: гоподин какой-то с барышней велел отдать.

Выхватил письмо Головачов, разорвал конверт и стал читать. В письме вот что было написано:

«Почтеннейший Онисим Ильич!

Когда вы получите это письмо, ваша дочь будет уже моей женою. Извиняюсь, что так поступил, но делать было нечего. Я люблю вашу дочь, она меня тоже. Вы не пожелали согласиться на наш брак, а мы не могли жить друг без друга. Приданого от вас нам не нужно было. Нам ничего и не оставалось, как поступить так, как мы поступили. Прощайте, не поминайте лихом.

Известный вам учитель *Алексей Черневский*».

Тут же была приписка от Аннушки. Она писала:

«Милый тятенька! Простите меня за то, что я ушла от вас. Если бы я не любила Алексея Андреевича, я бы не сделала так. Вы знали, что я люблю Алексея Андреевича, и потому я не могла выйти замуж за Петра Емельяновича. Когда мы устроимся, то я напишу вам обо всем, а пока прощайте».

Прочитал письмо Головачов, зашатался и как сноп повалился наземь. Посланный испугался и не знал что делать. Услыхала кухарка, выбежала, закричала работникам. Собрался народ, обступили Головачова и не знают, что делать. Кто-то надумал наконец унести в комнаты Онисима Ильича. Подняли его работники, отнесли в комнаты и положили на кровать.

X

Поехали за доктором. Приехал доктор, осмотрел больного, начал тереть ему виски каким-то спиртом и дал чего-то понюхать.

Очнулся Головачов, открыл глаза, еле язык шевелит, ослаб так, что с места сдвинуться не может.

Стали работники у доктора про хозяина спрашивать, и говорит доктор, что с ним удар приключился, что едва ли долго проживет.

Так и ахнули работники!

Поделал еще что-то доктор у больного и уехал, сказал, что к вечеру еще приедет.

Собрался с силами Онисим Ильич, попросил священника привезти. Поехали за священником.

Ждал-ждал Головачов, измучился весь. Наконец вернулся работник.

— Не застал священника,— говорит,— уехал по приходу; не раньше ночи вернется.

Застонал Головачов:

— Ох, боже мой, боже мой! Кажись, и не дождаться мне. Боюсь умереть так-то...

Полежал он еще, потом приподнялся, словно что вспомнил, окликнул работника и говорит: тяжко мне, не могу больше ждать.

— Кликни сюда всех, кто там есть... работников, приказчиков... всех, кого встретишь, зови... хочу при всех покаяться.

Кинулся работник из горницы, пошел сзывать. Стали сходиться люди. Собрался с духом Головачов и начал свою исповедь:

— Умираю я, братцы! Хочу хоть перед вами душу свою облегчить. Велики мои грехи, братцы; много я на своем веку зла наделал; с самого почти детства и до сих пор шел я по неправедному пути и... дошел... до... гибели.

Остановился Головачов, передохнул маленько и опять стал говорить:

— Много грехов легло на мою душу. Бывало, позабудешь про мирские дела свои, пораздумаешься об беззакониях своих, и тяжело станет на сердце, словно камень какой на него наляжет. Только не долго так бывало; начнешь что-нибудь делать, все пройдет, и позабудешь про грехи-то; только думаешь о том, как бы получше дело обделать, как бы побольше пользы было; а не размыслишь того, что иногда польза-то моя один грех... Давно я этот грех сделал, смолоду еще... Нечистыми путями разбогател я... обокрал... и не то что обокрал... а еще того хуже... Вспомнить страшно...

Перевел опять дух Головачов и продолжал:

— Смолоду-то я жил бедно, почти что нищим. Пастухом

бывал, а не то и милостыней кормился. А потом в работники попал к богачу сельскому Андрею Петрову. Одинокий человек был и больной к тому же. Без помощи ни встать, ни ходить не мог. Делами его приказчик заведовал. И приставил он меня за собою ходить... Три года прожил я — ничего все. Только очень мне завидно стало, глядя на его богатство. Ну и подсмотрел я раз, как он в подушку деньги зашивал. И запало мне это в голову. А тут разболелся хозяин совсем, лежит, не встает. Пришла, значит, ему смерть. Послал он за попом. А я в те поры остался с ним один на один. Ну... и соблазнил меня лукавый... Ох, грех... Господи мой... выговорить-то страшно.

Схватил себя Головачов за голову обеими руками и застонал. Долго он молчал, только слышно было, как он тяжело вздыхал, закрыв лицо руками. Наконец он открыл лицо, приподнялся и заговорил глухим голосом, вперив глаза в темноту:

— Как теперь вижу: лежит он, на подушку откинулся, глаза закрыл... В доме никого нет... Не помню уже, как я это надумал. Помутилось у меня в глазах, кинулся я на него, схватил за горло и... задушил... своими руками задушил, не дал ему умереть спокойно.

Проговорил это Головачов, протянул вперед руки и продолжал хриплым голосом:

— Вот, как сейчас вижу: открыл глаза, упер на меня, да и дух вон... Вот и теперь все по ночам вижу я эти глаза страшные... вижу, вижу...

Несчастный Головачов с ужасом глядел в темноту. Зубы его тряслись. Он дышал тяжело и прерывисто и долго не мог успокоиться. Слушатели затаили дыхание, как бы замерли в ужасе. Оправился Головачов и заговорил опять:

— Ну вот... с того и разбогател, как видите... Во как разжился!.. Только не на пользу это все, а на погибель мою. Сколько я трудов своих положил, сколько ночей недосыпал, старался все, чтобы побогаче быть, и богачом сделался. А что из того? Думал детей счастливыми сделать, а они сами себе дорогу нашли и от богатства моего отказались, На что оно мне теперь. Куда девать? Бога за деньги не подкупишь... Ох ты, господи, грешен я перед тобою! Польстился я на богатство, забыл завет твой святой, чужую жизнь погубил, да и свою тоже. Про́клятый я человек!

И заплакал Головачов, горько зарыдал и обессилел весь.

Упал он на подушку и все что-то бормотал, насилу языком ворочал.

Обступили его работники, видят: хозяин в забытьи лежит, дышит тяжко, а из глаз слезы катятся. Немного погодя очнулся больной, взглянул на работников, вздохнул и стал у них прощенья просить.

— Простите,— говорит,— ребятушки! Кого обидел я, простите, ради Христа! Немало и вам зла я делал... И наказан я за зло... попомните меня вы. Живите почестнее, не льститесь на богатство,— не в деньгах счастье!

Потом затих Головачов; все реже и реже дышать стал. К вечеру и душу богу отдал.

1888 г.

Солдатка

Рассказ

I

Агафья после свадьбы двух лет не прожила с мужем, как ей пришлось с ним разлучиться,— отдали его в солдаты, и осталась она ни девицей, ни вдовой. Давно ли, кажется, Агафья себе не верила, как она счастлива была, а теперь, ей думалось, несчастней ее человека на свете нет. Егора своего она так любила, что только он ей на свете и дорог был. И нельзя его было не любить. Он — первый парень в деревне, умница, красивый, из зажиточного дома, а не побрезговал ее замуж взять.

Агафья была сирота, бобылкина дочь.

Отец Агафьи умер, ей еще десяти лет не было. Ходила она всю жизнь по наймам: сперва в няньки мать ее отдавала, а потом в работницы, и что, бывало, ни заработает за лето, все за зиму с матерью проедят. Не было у девки ни справы настоящей, ни одежды хорошей, как у других крестьянских девок. И Егор ничуть на это не посмотрел, а полюбилась ему девка, и высватал он ее. Родители было его упирались, беднотой ее брезговали, но Егор переломил стариков.

И за это-то Агафья и любила Егора. Она на него наглядеться не могла; все она для него была готова сделать, все перенести.

II

А переносить Агафье кое-что пришлось в семье не мало. Семья свекров ее считалась порядочною. Кроме Егора, у них был еще старший сын, женатый, у него росло двое ребятишек; была еще дочь, девка лет шестнадцати. К нраву всех нужно было применяться. Всем угоди, всем услужи, на работу беги первой, а за стол последнею. Но это бы еще

ничего, а плохо было то, что в такой семье настоящего порядка не велось. Старик был человек мягкий, большевать всем любила свекровь; а бабья большина известно какая. Агафью свекровь невзлюбила с первых дней за то, что добра мало принесла в приданое. Сначала под нос себе ворчала, потом поговаривать стала, прежде в людях, а потом и в семье.

Прошла зима после свадьбы, наступила весна; захотел Егор своей молодухе к пасхе кофту новую сшить и сказал об этом отцу; согласился отец, обещал денег дать.

Услыхала свекровь, взбеленилась.

— Статочное ли дело,— говорит,— на первый год молодуху обряжать! Да вы с ума сошли, что ли? Где ж это видано?

— Что за беда! — говорит старик.— Ежели чего у ней недостает, так отчего же не справить?

— А мы чем виноваты, что у ней нет ничего? Заботилась бы о себе в девках! А то на-поди: без году неделю замужем пожила и справу с мужа спрашивает.

— Где ж ей в девках было что спрашивать? Сирота ведь!

— А за коим шутом такую брали голую? За нашего парня и достаточную дали бы...

— Ну, будет молоть-то,— сказал старик,— что сделано, то сделано, а что надо, то надо.

Не послушали старуху, справили кофту. Взъелась баба еще пуще прежнего на сноху, проходу ей не дает, все ругает да попрекает; хотелось ей Егора на нее натравить, да не слушает ее Егор. Это еще пуще разжигало бабу. И когда Егора приняли в солдаты, то она так стала обходиться с Агафьей, что та сразу почуяла, какая ей теперь жизнь будет. Провожая Егора совсем, Агафья спросила у него:

— Егорушка! Как же мне теперь с матушкой-то быть? Ведь заест она меня совсем без тебя-то.

— Не бойся, обойдется: как увидит, что некому в доме работать-то без нас, посмирнее будет.

— Хорошо, как так, а то она, пожалуй, ни на что не поглядит. Так что мне делать тогда, какой наказ от тебя будет?

— Что хочешь делай, только меня не забывай! Если меня забудешь, то плохо будет,— сказал Егор.

III

Проводили Егора, приехали из города домой. Дня два ходили как потерянные, не знали, за что теперь взяться; потом понемногу начали оправляться и приниматься за те дела, что у них не окончены были. Агафья была очень грустна, ни на что ей не хотелось глядеть; не видела она даже, какие взгляды на нее кидает свекровь,— не до того ей было. Прошло с неделю; дела все подобрались. Только был у них еще лен не смят; стали лен садить. Насадили лен, свезли воз дров к овину; стал старик собираться лен сушить.

— Овин-то больно сыр,— сказал он.— Пожалуй, и ночи захватишь.

— Эка беда! Впервой, что ли, тебе? — сказала старуха.

— Оно хоть не впервой, а жутко ночью одному-то.

— Ну, пришлю кого-нибудь для охоты.

Собрала Татьяна старику поужинать; поел тот и стал в теплышко собираться; взял лучины, спичек и пошел. Остались дома одни бабы: старший сын с овсом в город уехал, жена его с маленьким нянчилась; девка к подругам на улицу ушла, а Агафья скотине корм готовила. Наносила корму Агафья, задала, корову подоила и вошла в избу.

И говорит свекровь:

— Давайте, бабы, ужинать! Да ты, молодуха, в овин пойдешь, а то свекру-то в ночь жутко одному.

— Ладно,— говорит Агафья.

Поужинали. Накинула Агафья перешивок и пошла в овин. Спустилась она в теплышко; видит — лежит свекор на земле, перед ним огонь горит.

Остановилась Агафья, стоит, на огонь смотрит.

— Ну что, управилась? — спросил старик.

— Управилась.

— Поужинали?

— Поужинали.

— Ну, садись, в ногах правды нет, чего стоять-то!

Опустилась Агафья на землю, вздохнула. Поговорили о том, о сем.

— Как-то теперь Егор устроился? — сказал старик.

— Бог его ведает.

— Поди, чай, скучает: о доме грустится.

Ничего не сказала Агафья.

— И тебе-то, чай, не весело? А?

— Что же делать!

— А ты не грусти, авось обтерпишься: нынче служба недолгая, всего четыре года, как-нибудь проживешь.

— Оно бы все ничего, да очень я матушки боюсь.

— Ну, что ее бояться? Взбалмошная она у меня, правду; ну да обойдется... Если что, так и приструнить можно...

А Татьяна у подлаза стояла и подслушивала, не подойдет ли чего, к чему придраться можно. Услыхала она последние слова, обрадовалась.

— Это меня-то,— кричит,— приструнить? Ай да ловко! Ах ты, старый хрыч, аль к снохе подбиваешься! Да я тебе все бельмы выдеру!..

Вскочил на ноги старик, и Агафья испугалась: поняла она, чего взбеленилась старуха.

— Что ты там шумишь, беспардонная? — крикнул на бабу старик.— Чего это ты выдумываешь, аль не бита? Вот погоди, я сейчас к тебе вылезу.

— Поди, поди! Я тебе всю лысину поленом раскрою!.. Я тебе покажу, как со снохою шуры-муры заводить.

Бросился старик из теплышка, увидала Татьяна, пустилась бежать со всех ног; бежит, а сама орет во все горло, старика ругает. Посмотрел ей вслед старик: бежать за ней силы не было, плюнул и полез опять в теплышко.

— Ну и дьявол баба! — сказал он.— Ведь вот что выдумает!..

— Батюшка, что уж мне теперь делать-то! — сказала Агафья и заплакала.— Ведь она мне теперь житья не даст, заест теперь она меня совсем.

Ни слова не сказал старик, а только насупился.

Кончили сушку, пошли домой. Агафья тряслась как виноватая, когда в избу входили. Однако все благополучно сошло. В избе все спали; разделась Агафья, помолилась богу и легла спать. И долго она заснуть не могла: тревожили ее нехорошие мысли, и горькие слезы лились из ее глаз.

IV

Утром собрались к ним бабы с деревни лен мять. Пришли бабы, принялись за работу. Работают, разговаривают; не говорит только одна Агафья; стоит у мялицы как пришибленная. Стали над нею бабы трунить.

— Вишь,— говорит одна,— запечалилась как! Чай, об муже грустит... Не горюй, и без мужа проживешь: в деревне пастухов много.

Пришло время завтракать. Пришла Татьяна звать баб.

— Бог в помощь! — говорит.

— Спасибо, тетка Татьяна!

— Хорошо ли лен высушен?

— Ничего, гоже.

— То-то! — говорит Татьяна, сама ехидно улыбается.— Грех, кажись, было бы, если плохо высушить-то! Мой старик до петухов его сушил, да не один, а с солдаткой молодой. Так хорошо сушили, что любо посмотреть. Прихожу это я проведать их, а мой-то говорит: «Ты, молодуха, не робей, старуха ничего; а если что, так я ее приструню».

Не удержались некоторые бабы, засмеялись.

— Что смеетесь? Правда, хоть самое спросите, нешто от стыда не скажет.

— Да неужто правда? — спросила одна баба.

— Истинный бог! Это она тихоней-то притворяется. Подите-ко раскусите-ка ее, какая она! Недаром говорится: в тихом омуте черти водятся!

Некоторые бабы опять рассмеялись. А Агафья при речах свекрови и руки опустила, про работу забыла.

Озлобилась она донельзя, подступила она к старухе, кажется, так и вцепилась бы в нее; озлобилась и Татьяна.

— Ты что это,— говорит,— очумела, что ль? Что ты подскочила-то ко мне? Аль драться хочешь? Попробуй, я те покажу, шлюха этакая, как на свекровь руки поднимать!

Повернулась Татьяна, позвала баб к завтраку и пошла из овина. Подкосились ноги у Агафьи, опустилась она на мялицу и заплакала. После завтрака не пошла баба на работу, а стала свои пожитки собирать. Заметил это свекор и спрашивает:

— Ты что затеяла? Аль уходить хочешь?

— К матушке пойду.

— Аль опять что вышло?

Рассказала Агафья. Вздохнул старик и говорит:

— Эх ты, головушка моя горькая! Что мне с ней делать?

Собралась Агафья, закинула узлы на спину и пошла в свою деревню к матери.

V

Удивилась мать Агафьи, как увидала дочь.

— Что это ты, Агафьюшка, никак ко мне перебираешься?

— Пока к тебе, матушка.

— Что так?

— Не дает мне житья свекровушка. Заела совсем меня.

И рассказала Агафья про горе свое. Поплакали они вместе и стали обдумывать, что делать.

— Я, матушка, в Москву пойду,— сказала Агафья.

— В Москву? Да что же ты там будешь делать?

— Место какое-нибудь приищу, проживу кое-как.

— Ох, доченька, какое ты место-то искать будешь, ведь ты и порядков-то московских не знаешь?

— Что за беда, привыкну,— ведь не одни природные московские живут, а, чай, и деревенские есть. Эна, наша тетка Мавра тоже прямо из деревни, а сколько годов живет!

— Так-то так!

— А в деревне что мне делать? Ну, лето туда-сюда, в работницы можно наняться, а зиму? Что за лето наживешь, проживать?

Вздохнула старуха и говорит:

— Гляди, как лучше, доченька!

Нашла Агафья грамотея, написала обо всем мужу, выправила паспорт и отправилась в путь. Приехала она в Москву и стала тетку Мавру разыскивать. Жила Агафьина тетка у господ. Отыскала ее Агафья и пришла к ней. Удивилась Мавра, как Агафью увидела, еле узнала ее.

— Агафьюшка,— говорит,— какими судьбами?

— Да жить в Москву приехала.

— А в деревне-то что ж?

Рассказала Агафья, почему она из деревни уехала. Потужила о ней тетка и говорит:

— Ну, что делать? Знать, твоя судьба такая! Не тужи, авось, бог милостив, найдем тебе местечко получше, и будешь жить да поживать, пока муж вернется; а муж вернется, — все дела разберет.

VI

Однако не сразу вышло место Агафье; прожила она у тетки недели две, а о месте и слуху не было. Стало бабе скучно без дела. Сидят раз на кухне Мавра, кухарка и Агафья, чай пьют, и входит к ним прачка, что на господ белье стирала. Остановила ее Мавра и говорит:

— Анна Петровна, вы по разным господам-то ходите, не слыхали ли где местечка вот для племянницы моей?

— А какое местечко-то?

— Все равно, какое ни на есть, лишь бы пристроиться, она только из деревни.

Посмотрела прачка на Агафью, оглядела и говорит:

— Не знаю, не слыхала. Разве мне ее взять белье стирать?

— Все равно, Анна Петровна, возьмите, пожалуйста; она бабенка работящая, будете довольны ею.

— Хорошо, пусть приходит завтра утром.

Ушла прачка, и говорит Мавра племяннице:

— Ну, вот, Агафьюшка, и место тебе. Как скажешь, ничего?

— Ничего, тетушка, спасибо за хлопоты.

— Ну, слава богу, устроишься и живи,— работай, не ленись, не балуйся, все по-хорошему и будет.

На другой день утром свела Мавра Агафью на место, определила ее.

Стала Агафья к новой жизни привыкать да присматриваться. Прачечная была в подвале; баб рабочих было семь: три — стирали, а остальные — гладили; стирали бабы деревенские, а гладили — городские. Сначала не нравилась Агафье новая жизнь: работа не тяжелая и харчи хорошие, да не по душе ей были порядки московские — прачки все молодые да бойкие, в разговорах такие слова говорят, что и мужчине за стыд сказать; весь день песни горланят, да и песни-то нехорошие; за обедом водку пьют, между делом папиросы курят.

«Экая срамота-то, прости господи! — думала Агафья.— На что похоже! И что это за народ отчаянный собран, где он берется?»

И в первый же праздник Агафья отправилась к тетке и написала там мужу письмо.

Она писала, что вот она теперь живет в Москве и что тут нехорошо жить и как ей без него скучно. С каким нетерпением она будет ждать того времени, когда он вернется к ней! Отправила Агафья письмо и стала ждать ответа. Ответ недели через две пришел, но не такой, какой ждала Агафья.

Ей думалось, что Егор напишет ей ласковое письмо, станет утешать ее, увещевать подождать, как пройдет время,— а наместо этого пришло сердитое письмо. Писал Егор, что ему теперь ни до кого нет дела, а только самому до себя. Что он должен привыкать и к службе и к чужой стороне, думать о чем-нибудь ему теперь и времени нет.

Обиделась Агафья и ничего не написала на это письмо; стала она помаленьку втягиваться в свою жизнь, кое-как привыкать ко всему. К концу зимы Егор прислал другое письмо. В этом он уже ругал Агафью, зачем она из дому ушла. Видно, мать как-нибудь очернила перед ним Агафью, и он считал ее виноватой в уходе. Это письмо больше обидело молодуху, и она написала ему тоже не ласково и затаила обиду на мужа в сердце у себя. Прожила Агафья до весны, вела она себя по-хорошему. Товарки ее «степенной» прозвали, потому, что она не якшалась с ними; те, бывало, как праздник, так либо по трактирам, либо по пивным шляются, а она, кроме тетки, никуда не ходила. Из всех прачек ей только одна и пришлась по сердцу, Аришей звали.

Девушка она была молоденькая, веселая, песенница и плясунья, но с товарками она не водилась, а держалась поодаль. Говорили, что у ней любовник был. Спала Агафья с ней на одной постели, а иногда вместе и прогуляться ходила. Пришла пасха. Собрались прачки на гулянье под Девичий, стали и наших подруг звать, Ариша согласилась, а Агафья отнекиваться стала.

— Ну, чего ты ломаешься, Агаша?— сказала ей Ариша.— Пойдем!

— Не к чему, кажется.

— Ну вот, не к чему! Дело праздничное, не все же в конуре сидеть! Пойдем!

Уломала она Агафью; согласилась та. Оделись и пошли. Под Девичьим народу было видимо-невидимо. Были тут настроены балаганы и торговали сластями. У Агафьи глаза разбежались.

— Вот так славно! — говорила она.

— А ты упрямилась! Гляди, какое раздолье! — сказала Ариша.

Проходили они весь день, были в балаганах, смотрели Петрушку, как паяцы ломаются, песенников слушали, сластей покупали; у Агафьи даже голова закружилась. Было уже поздно, и устали-то они порядочно и проголодались, и пошли они домой вдвоем с Аришей, потому что товарки их отбились. Дорогой и говорит Ариша:

— Зайдем, Агаша, чаю напиться да закусить, а то живот подвело.

— Куда же?

— А в трактир.

— Пойдем, пожалуй.

Забежала Ариша в булочную, взяла белых хлебов, и пошли они в трактир.

Агафье неловко стало: ей казалось, что все смотрят на нее. Забрались они в уголок и спросили себе чаю. Выпили по чашке, вдруг слышит Агафья, музыка заиграла. Удивилась баба, хорошо показалось.

— Ариша, чтой-то? — спрашивает.

Засмеялась Ариша.

— Разве ты никогда,— говорит,— не слыхала?

— Нет.

— Это машина.

— Ловко как!

— Поживи-ка подольше в Москве-то, еще не то увидишь.

VII

И стало с тех пор Агафью на гулянье потягивать. Понравилось ей веселье московское, стала она пореже к тетке ходить; за работой задумывается, ждет, как бы праздник поскорее. Стали они с Аришей по бульварам да по садам гулять. Случалось, что в праздники и одна Ариша уходила, а куда — Агафья не знала; и в такой день, бывало, скучно бабе было; насилу она дождется подруги своей.

— Где ты пропадала? - спросила Агафья, когда вернулась Ариша.

— Где была, там чай пила, баранки ела, а с кем,— не твое дело,— скажет Ариша.

Пришел май месяц. Открылось гулянье в Сокольниках. Собрались раз подруги и пошли туда. Долго они ходили, все

пересмотрели, музыку послушали и собрались домой только к вечеру. Идут они, а навстречу им два молодца, на вид ребята хорошие и одеты чисто, из мастеровых, видно. Подошел один из них к Арише и говорит:

— Здравствуйте, Арина Ивановна!

— Здравствуйте, Петр Васильевич! — сказала Ариша.— Как поживаете?

— Помаленьку. Как вы? Погулять вышли?

— Да, проветриться захотелось.

— Хорошее дело. А это подруга ваша?

— Подруга, Агафья Алексеевна.

— Очень приятно! Не угодно ли чайку вместе попить?

— Благодарим, нам домой пора.

— Вот пустяки-то! Домой-то успеете, это сюда опять не скоро попадете. Пойдемте, посидим, поболтаем, вот с товарищем моим познакомитесь, с Алексеем Павловичем.

— Нет, спасибо! Нам пора!

— Ну, будет ломаться-то! Изломаетесь, в дрова не будете годиться.

Не стала больше отнекиваться Ариша — согласилась. Согласилась и Агафья. Уселись они за стол под кустиком, спросили самовар, купили у разносчиков закусок. Петр за водкой послал. Принесли водки, стали угощаться, поднесли и Агафье; стала отказываться баба, да уломали ее ребята.

Выпила Агафья рюмку-другую и повеселела. Стал ей Петров товарищ слова разные закидывать, стала пересмеиваться с ним Агафья и не видала, как вечер прошел.

Распростились молодцы с прачками и пошли в свою сторону, а прачки в свою. Пришли домой, поужинали, легли спать, и спрашивает Агафья:

— Ариша, чьи это ребята?

— Али хороши? — сказала Ариша и засмеялась.

— Ничего. Откуда они?

— Мастеровые они: где картинки печатают, так они там в машанистах живут.

— А ты почем их знаешь-то?

— Мое дело,— ответила Ариша и спросила: — Полюбился тебе Алексей-то?

— Ничего, парень, кажись, хороший.

— Хошь, подсватаю? Ну, что притворяться-то!

Осердилась Агафья.

— Что я, девка, что ли?

— Разве только девки с любовниками живут? У нас в Москве и бабы не зевают, особливо солдатки!

— Ну тебя! Лучше не говори.

— Ну, черт с тобой! Как хочешь...

Помолчали немного подруги, потом Ариша и говорит:

— А мой Петрушка хорош?

— Ничего, хорош.

— Ага! Вот какого подцепила, а ты зевай знай.

— Чудная ты, Ариша, у меня ведь муж есть.

— Где он у тебя, муж-то?

— Где? Знамо, в солдатах.

— Когда он из солдат-то придет, а ты и жди?

— Что ж делать-то? На то закон приняла.

— Закон... Где он у тебя служит-то?

— За Питером где-то, далеко.

— Вот он там закон соблюдает с чухонками, любо!

Ничего не сказала Агафья, закуталась в одеяло и отвернулась к стене.

VIII

И взяло раздумье Агафью: «Ну-ка и вправду? — думает она про мужа. — Парень он ловкий, нужды не видит; мужик не баба — скорей случай подойдет». И при этой мысли защемило сердце у Агафьи. Что больше думает, то тяжелее становится. Пришли ей на ум письма мужнины, вспомнила она, как он писал ей в них, и не дорог ей уж и Егор таким стал.

«Може, я ему и не мила уж стала», — думает. И силится она отогнать от себя дурные мысли, а они все лезут непрошеные. Измучили они бабу. И больше месяца Агафья боролась с собой, в рот не брала капли водки и не выходила никуда, только разве к тетке сходит. Каждый день опа ждала от мужа нового письма, но письма не было.

В один из весенних праздников одна прачка справляла именины, пригласила она и Агафью; на именинах выпила баба и повеселела. Ночью, как полегли все спать, у Агафьи снова забродили дурные мысли в голове, заговорила кровь молодая.

— Что ты ерзаешь, спать не даешь! — заворчала на нее Ариша.

Повернулась Агафья к подруге и толкнула ее слегка.

— Ариша!

— Ну, что?

— А как бы его увидать-то?

— Кого? Алексея-то?

— Ну да! Сама знаешь, чего спрашиваешь?

Засмеялась Ариша.

— Когда хочешь,— говорит.

— Нет, вправду!

— Я вправду. Вот пойду на неделе к Петру, скажу ему,— в воскресенье и придут.

— Ты, Ариша, на меня-то не говори, а скажи как-нибудь по-другому.

— Да уж не учи: знаю как!

В среду вечером Ариша отпросилась у хозяйки со двора и спрашивает Агафью:

— Что ж, кланяться, что ли?

— Кланяйся.

Ушла Ариша и вернулась только утром. Пришла она рано, прачки еще не вставали.

Подсела она к Агафье и говорит ей потихоньку:

— Ну, Агаша, засушила ты парня.

— Будет смеяться-то!

— Ей-богу, правда! Сам не свой стал. Как пришла я, узнал и бежит про тебя спрашивать. «Как,— говорит,— она поживает?» — «Ничего»,— говорю. «Поклона не прислала?» — «Нет».— «Экая,— говорит,— бесчувственная-то, а я от нее поклона ждал».— «На что он тебе?— говорю я и смеюсь.— Шубу, что ли, шить?» — «Какое,— говорит,— шубу, тут и пиджак-то хотя скидавай: все сердце себе растравил, об ней думавши». А я говорю: «Ты брось об ней думать-то, у ней муж в солдатах служит».— «Мало что,— говорит,— и у меня жена в деревне». Поговорили мы так, стал он выспрашивать, чья ты, откуда, давно ли в Москве, обещал прийти в воскресенье.

— Опять в Сокольники?

— Нет, в трактир наш, туда и вызовут.

Встала Агафья, принялась за работу. Не клеится у ней дело против прежнего, нет-нет да и задумается она об Алексее; не чаяла она, как и праздника дождаться.

IX

Пришло воскресенье. Сидят прачки и сговариваются, кому куда идти; вдруг входит мальчик из трактира и спрашивает Аришу.

— Велели,— говорит,— с подругой в трактир приходить.

Забилось сердце у Агафьи: поняла, кто их спрашивает. Трактир был с садом; в самом углу, в кустах, сидел Петр с Алексеем; на столе перед ними все было приготовлено: и водка, и закуска, и чай. Поздоровались прачки с приятелями, подсели к столу; стали угощать их молодцы. Агафья пила водку без отказа, и под конец в голове у ней зашумело, в глазах помутилось; слышала она только шум какой-то и не понимала, что говорили вокруг нее. Немного погодя Петр с Аришей поднялись идти. Агафья осталась с глазу на глаз с Алексеем. Алексей тоже был порядочно выпивши, пододвинулся к Агафье и обнял ее одной рукой.

— Знаешь, как я тебя люблю? — сказал он.

— Почем я знаю,— проговорила Агафья и улыбнулась.

X

На другой день проснулась Агафья рано. Товарки ее все спали, Ариши не было дома. Голова у Агафьи сильно болела, точно по ней молотком стучали, и тошнило.

Поднялась она было с постели да опять повалилась. Захотелось ей освежиться: кое-как добралась она до кадки с водой и напилась, стало ей немного полегче; вернулась она на постель, уткнулась в подушку и стала вспоминать про вчерашний день. Вспомнила, как напилась пьяная, как Алексей повез к себе на квартиру, а что было после, она и вспомнить не могла: спуталось у ней в голове все; даже не могла она вспомнить, как домой попала. Чувствовала она только, что сделала что-то скверное.

Защемило сердце у Агафьи, точно камень на грудь навалился; хотелось ей плакать, да слез не было. «Господи, что я наделала-то!.. Ну, как Егор узнает?» И разобрало ее зло и на себя за свою слабость, и на тех людей, по чьей милости в эту жизнь попала; стиснула она зубами подушку и долго так лежала.

Пришла Ариша, у Агафьи и на нее глаза не глядят; увидала, что Агафья ничком лежит, подумала, что спит она. Толкнула, не шевельнется. Толкнула еще раз, подняла голову Агафья, вскинула покрасневшими глазами на Аришу и опять уткнулась в подушку.

— Аль голова трещит?

— Смерть моя... Мочи нет.

— Вставай, давай похмелимся, у меня тоже голова болит; вот я принесла.

Вытащила Ариша из кармана бутылку с водкой да два яйца печеных; встала Агафья, выпили подруги. Стало Агафье полегче. После чая и совсем развеселилась баба.

«Что ж,— думает,— не велика беда, что согрешила! Муж-то тоже, чай, не зевает там. Гуляй, пока гуляется; остепениться время всегда будет».

XI

С тех пор Агафья стала с Алексеем часто видеться: праздники по целому дню проводила с ним и на буднях кое-когда ходила к нему. И весело она провела все лето. Под конец лета стала Агафья в Алексее перемену замечать: сделался он грубый да суровый, совсем не такой ласковый, какой был раньше. Раз в трактире спросила она у него:

— Ты что такой угрюмый стал? Иль не любо, что со мной сидишь: знать, опротивела?

Помолчал немного Алексей и говорит:

— Надо нам с тобой, Агаша, разойтись... на время только, на месяц, что ли.

Екнуло сердце у Агафьи, побледнела она.

— Что так?

— Да ко мне на побывку жена из деревни приедет, так сама знаешь... неловко...

Ничего не сказала Агафья, опустила голову и задумалась. Поняла баба, что все-таки она Алексею чужая, все-таки у него жена есть; может, он жену-то и любит, а на нее-то глядит как на забаву. Похолодело сердце у Агафьи, и заплакала она.

— Так ты и потешайся... с женой своей,— чуть не крикнула Агафья,— а обо мне уж позабудь... потешился — и будет!.. Бог с тобой, смутил ты меня, навел на грех.

Зарыдала Агафья и повалилась на стол. Испугался Алексей, стал уговаривать ее, за руки взял. Отмахнулась от него Агафья, встала из-за стола и сказала:

— Оставь, не твоя больше! — и вышла из трактира.

Удивился Алексей ее прыти, однако не стал останавливать, а только посмотрел ей вслед. Вечером сидела Агафья в грязной полпивной, перед ней стояла бутылка пива. Она была пьяна и выводила охрипшим голосом песню.

— Что за песенница! — смеялись над ней сидевшие в полпивной.— Нельзя ли с вами познакомиться?

— Нельзя,— прохрипела Агафья,— я не какая-нибудь... Я честная!

— Честная? Ну, голубушка, знаем вашу сестру... Дешева ваша честь! — сказал кто-то и грубо захохотал.

XII

Ночевала Агафья в участке: она валялась без чувств на улице, и ее подобрал городовой. Утром ее привели к хозяйке. Лицо у ней опухло, под глазом фонарь, голос охрип, еле говорит. Ахнула хозяйка, как увидела ее такой, стала расспрашивать. Рассказала ей все Агафья, покаялась и стала прощенья просить.

— Ну, первый раз я тебя прощаю,— сказала хозяйка,— а если еще такой явишься — разочту.

Побожилась Агафья, что в первый и последний раз так сделала, и принялась за работу. Стала она такая тихая да молчаливая, с товарками почти не говорила, не смеялась, на их смешки не отвечала. Вспомнила она свою жизнь: как в девках жила, как замуж выходила, как ее муж любил и что наказывал ей, как в солдаты шел. И стыдно ей становилось и разбирало ее зло на себя, что мужа забыла; думала было она написать ему про свой грех, покаяться, а как представит себе, как это огорчит Егора,— духу не хватает. «Подожду до него,— думает,— может быть, скрою, а не скрою,— пусть его воля будет надо мной». И начнет она высчитывать, сколько мужу служить остается; сочтет и подумает: «Долго еще. Ну, да все равно, терпеть буду, побаловалась, и будет; теперь, кажись, не соглашусь».

Но хотя и твердо решилась Агафья соблазнам не поддаваться, а все-таки спокойна не была. Часто ее и совесть мучила, и тоска разбирала.

Раз, в сентябре уже, когда дни короче стали и прачкам приходилось работать с огнем, устроили они засидки. Хозяйка дала им от себя на пропой пять рублей. Собрались все в трактир и пошли. Пошла и Агафья. Три недели она никуда не ходила: гулять не хотелось, а к тетке она боялась и глаза показать, и решила хоть размяться маленько. Пришли они в трактир, заказали водки, чаю. Прачки были все веселые и задорные; три дня им гулять приходилось, поэтому резвились они, зубоскальничали с половыми и с посетителями речами перекидывались.

Одна Агафья сидела как пришибленная и грустно поглядывала кругом себя — не забирало ее и веселье товарок. Принялись за водку прачки, поднесли и Агафье; замотала она головой и говорит:

— Нет, я не буду.

— Что там — не буду! Пей, лучше разгуляешься, а то, вишь, нос повесила! — сказала ей одна прачка.

— Нет, не буду!

— Будет ломаться-то, дура! Ничего не понимаешь и отказываешься. Ты попробуй-ка маленько, сразу повеселеешь.

«И то разве выпить,— подумала Агафья,— может, и вправду полегче будет».

— Ну, давай,— сказала.

— Вот давно бы так! На-ко глотни да скажи: здравствуй, рюмочка! Прощай, винцо!

Взяла Агафья стакан в руки, услыхала винный запах, замутило у ней в животе, так ей вино противно показалось. Однако через силу вылила она швырком вино в рот.

— Вот так давно бы! Теперь закуси,— сказала ей товарка.

Закусила Агафья. Налили ей еще стакан, выпила и повеселела: стала шутки шутить. Запели прачки песню, и она стала им подтягивать.

XIII

Долго сидели прачки в трактире, водку допили, стали пиво пить. Разгорелись прачки, раскраспелись, показалось им душно в трактире, и перешли они в сад: уселись за столом и запели песню. Голоса у них охрипли, песня выходила нескладно, стали над ними гости смеяться:

— Ай да певицы! Ай да хор!..

— Не смейся, горох, не белее бобов! — огрызнулись прачки.

Часов в десять пришла в сад артель сапожников; уселась она за соседним столом и стала прачек разглядывать.

— Ребята! — сказал один сапожник маленького роста.— Семь баб, и все пьяные, давайте к ним подделаемся.

— Вали! — сказали ему товарищи.

Подошел маленький сапожник к столу прачек и говорит:

— Позвольте вам понравиться!

— Нельзя ли от вас избавиться? — ответила ему одна прачка.

Захохотали сапожники и всей гурьбой подошли к прачкам и начали с ними лясы точить. Хоть и пьяна была Агафья, однако поняла, к чему сапожники клонят, и не хотелось ей связываться с ними; собралась она уходить отсюда.

— Куда ты? — спросила ее одна прачка.

— Домой,— сказала Агафья и вышла из сада.

На улице было сыро, и идти Агафье было трудно; ноги у ней скользили, она то и дело пошатывалась, в голове у ней шум стоял, в глазах рябило, и ей казалось, что кругом все прыгало: и фонари, и дома, и извозчики с пролетками. Прошла Агафья улицу, повернула в переулок, прошла два, вдруг ей встретились три человека. В темноте нельзя было разобрать, кто они, но видно было, что все они пьяные. Поравнявшись с Агафьей, они остановили ее, и один из них сказал:

— Эх, голубка, пойдем с нами.

— Пустите меня,— сказала Агафья и хотела пройти вперед.

— Что больно спесивишься! Постой!

— Пустите! — повторила Агафья.

— Толкуй еще! Поворачивай оглобли! — раздался другой голос, и Агафья почувствовала, как ее взяли под руки.

— Отстаньте, а то закричу,— погрозила Агафья и изо всех сил рванулась из рук прохожих.

— Что за шум? — раздался вдруг новый грубый голос, и перед гуляками появился дворник с бляхой на лбу.

— Вот пристают,— пожаловалась ему Агафья и всхлипнула.

— Господа, проходите, а то свисток дам, нельзя так,— твердо проговорил дворник.

— Пойдемте, братцы, черт с ней! — сказал один из пьяных, и все трое скрылись в темноте переулка.

Дворник повернулся к Агафье, чиркнул спичку, поднес к ее лицу и спросил:

— Откуда идешь?

— Из трактира... засидки справляли...

— А где живешь?

— В Кольцовском доме.

— Знаю. Из каких?

— Прачка я.

— Так идти-то, чай, трудно? Вишь, темь-то какая!

Агафья промолчала.

— Хочешь, я отведу тебе местечко, там и отдохнешь? — опять сказал дворник.

— Где это?

— У меня в сторожке, там никого нет, хоть всю ночь спи.

Соблазнила Агафью сторожка. Думает: «Там тепло, а домой-то когда придешь? А спать-то все равно: завтра ведь не работать!» И говорит она дворнику:

— Ну, пойдем.

Взял ее за руку дворник, покрыл полой халата и повел. Привел он ее на двор, отпер сторожку.

— Иди,— говорит.

Взошла Агафья и прямо на постель бухнулась.

XIV

В шесть часов утра дворник пришел с дежурства. Агафья еще спала; толкнул он ее и сказал:

— Эх, милая, вставай!

Открыла глаза Агафья и кубарем соскочила с постели. Глядит кругом и удивляется.

— Что, не узнаешь?

Промолчала Агафья. Стала вспоминать, как она попала сюда; думала-думала, почти ничего не вспомнила. Стал ей дворник рассказывать, как привел ее сюда.

Услыхала это Агафья, опустилась на табуретку и схватилась за голову.

— Надо бы поправиться тебе,— сказал дворник.— Чай башка-то трещит?

Вынул из кармана полбутылки водки, достал из столика кусок хлеба налил водкой чайную чашку и поднес Агафье. Осушила чашку Агафья одним духом и стала домой собираться.

— А опять-то придешь?

- Приду.

- Когда?

- На неделе как-нибудь.

— То-то, смотри, не забывай.

Простилась с дворником Агафья и пошла. В этот день у них совсем не работали. Прачки, которые были дома, спали: Агафья тоже завалилась спать и проспала до обеда. В двенадцать часов разбудила ее Ариша.

— Вставай, гулена! — сказала она.— Где ночь провела?

Агафья встала сердитая.

— А тебе что за дело? Где была, там нету,— сказала она.

— Ну, будет дуться-то. Я никому не скажу. Скажи, Агаша. И не стыдно тебе от подруги таиться?

Подумала немного Агафья и рассказала, где была и как попала туда.

— А он ничего, парень-то?

— Кажись, парень хороший. Да опостылела мне, Ариша, жизнь-то эта. Измучилась я совсем. Трезвая когда, так тоска гложет; пьяная напьешься — еще хуже!

— А ты пить-то брось! А дворника не бросай,— он пригодится, а то ведь одна-то оглохнешь совсем.

— Ах, Ариша, коли б я незамужняя была, тогда бы горя мало, а то ведь у меня муж есть. Грех!..

— Э!.. Грех! Кто без греха живет! А ты живи потише, не пьянствуй, и все по-хорошему будет.

— Все не ладно.

— Ну, пустяки!.. Давай мы с тобою вот что сделаем: пообедаем да сходим прогуляться, а там пойдем чай пить в трактир, вызовем туда твоего душеньку нового: посмотрю я, что за птица такая...

Подумала она и согласилась.

XV

После обеда пошли подруги на бульвар.

На бульваре народу было много; все разряженные, рас-

франченные, сновали взад и вперед; были тут и чистые господа, и простой народ, и девицы гулящие. Смотрела кругом Агафья и примечала. Прошлись подруги раз по бульвару, вернулись назад. Попалась им навстречу девушка молоденькая, одета по моде, лицо набеленное. Подошла она к Арише, остановилась, улыбается. Взглянула на нее Ариша да так и ахнула:

— Неужели это ты, Катя?

— Я... Что, не узнала? Как поживаешь?

— Ничего! — говорит Ариша.— Как ты?

— Видишь как! Живу в свое удовольствие: ем, пью, одеваюсь во что хочется и нужды никакой не знаю. Сейчас, Ариша, мне некогда; другой раз я тебе все расскажу, а теперь в «Эрмитаж» спешу.

Ушла девушка, и спрашивает Агафья:

— Ариша, чья это барышня?

Засмеялась Ариша.

— Такая же барышня, как и мы, грешные! Подруга она мне: вместе в ученье жили.

— Что ж она нарядная такая? Знать, богатая?

— Будешь богатая, коли ко всем тороватая! Попалась к одному купчику на содержание, ну и расфорсилась! Очень просто — всю молодость барыней проживет.

Задумалась Агафья над словами подруги и долго шла молча. «Вот как здесь молодость да красоту-то ценят!» — думалось ей.

— Ну, будет! — говорит Ариша.— Пойдем чай пить.

Пришли они в трактир и послали за дворником. Немного погодя пришел дворник, увидел Агафью, улыбнулся.

— А,— говорит,— мое почтенье!

— Здравствуй! — сказала Агафья.

Поздоровалась и Ариша с ним.

— Очень приятно,— говорит,— с вами познакомиться. Слышала я, что вы мою подругу от темной ночи прикрыли. Спасибо. Как ваше имя?

— Звать-то нас Макар Андреевич, а насчет прикрытия, это мы завсегда можем.

— Ну, благодарим вас. Агаша, заказывай полбутылки!

— Нет, уж зачем же-с! Мы и сами можем угостить-с. Спасибо, что не побрезговали моей сторожкой.

— Нет, уж прежде нам позвольте, а там уж как хотите.

Компания загуляла, когда порядочно выпила. Расхрабрился дворник, обхватил Агафью и начал целовать.

— Я,— говорит,— ни в жизнь тебя не оставлю! Ходи ко мне, когда хочешь: надейся на меня, как на каменную стену!

Немного погодя компания разошлась; Ариша пошла домой, а Агафья с дворником — опять в сторожку.

XVI

С этих пор Агафья частенько стала похаживать к дворнику. Макар ее сначала принимал охотно, а потом стал отговариваться.

— Нельзя, голубушка,— говорит он,— я ведь не сам по себе, а у хозяев живу. Сохрани бог, заметят,— беда!

Стала Агафья пореже ходить,— только по праздникам; и с месяц так тянулось дело. Один раз стало скучно Агафье, так и ныло сердце у ней. И надумалась она к Макару в будни сходить, рассеяться. «Авось,— думала она,— не прогонит!» Пошабашили прачки, и пошла Агафья.

Приходит она к Макару, видит — в сторожке огонек. Взглянула она в окно и остолбенела. Сидит Макар у стола, напротив него девушка какая-то, и он весело с нею разговаривает. Горько и обидно стало Агафье, и страшное зло взяло ее. Подошла она ближе к окну и с размаху ударила кулаком в раму. Зазвенели стекла, выскочил дворник из сторожки. Видит — стоит Агафья бледная и вся трясется. Подумал с минуту дворник и говорит:

— Ты что же это, сволочь, затеяла?

— Бессовестный ты! Обманщик! Узнала я твои штуки! — крикнула Агафья, повернулась и пошла.

Посмотрел-посмотрел ей вслед дворник, махнул рукой и пошел опять в сторожку.

Идет Агафья и думает: «Так вот они какие! Должно, все на один лад скроены!» Дошла до трактира, завернула в него, потребовала водки и выпила ее одним духом. Вышла из трактира и опять пошла. Куда шла баба — и сама не знала: не чувствовала она и не видала, что вокруг нее творится, была как шальная.

Было уже поздно, и на улицах пусто стало. Лавки закрыли, только в трактирах да в пивных горели огни. По-

встречался Агафье человек какой-то, немного выпивши, одет чисто. Поравнялся с ней и говорит:

— Куда спешите так?

Оглянулась на него Агафья, улыбнулась, а сама опять пошла.

Воротился человек, догнал ее, взял за плечо и говорит:

— Куда идете-то?

Ничего не сказала ему Агафья.

— Пойдемте со мной! Хотите?

— Пойдем! — тихо сказала Агафья.

Утром проснулась Агафья в номере.

Было уже светло. Вчерашний незнакомец стоял перед ней одетый. Вынул он трехрублевую бумажку и говорит:

— Это вот тебе, а за номер я заплатил.

Ничего не сказала Агафья, только с боку на бок перевернулась.

Ушел человек, осталась Агафья одна и задумалась. Долго думала Агафья о своей жизни и решила просить у хозяйки расчет. «Не работница уж я больше!» — думала она. И, решив так, Агафья вскочила с постели, оделась, взяла со стола деньги и пошла домой.

Удивилась хозяйка, когда Агафья расчет попросила, однако удерживать не стала.

— С богом,— говорит,— час добрый!

Стала Ариша спрашивать Агафью:

— Что это ты задумала, Агаша? Аль место нашла?

Ничего не сказала Агафья, только отвернулась.

Получила Агафья расчет от хозяйки,— семь рублей ей пришлось,— простилась с товарками и пошла. Наняла она себе каморку и поселилась в ней.

XVII

Несколько дней Агафья никуда не выходила: все лежала на кровати и все думала, как она жить будет. Раскидывала она мозги так и так — ничего не выходило.

За это время она мало ела, плохо спала. Похудела, осунулась, из лица бледная стала, только глаза огнем горели. Подошла она как-то посмотреться к зеркалу, показалось ей, что она красивей прежнего стала. Вздохнула Агафья и стала наряжаться.

Вышла она из квартиры, уж вечер был, огни зажгли; постояла, подумала, куда идти, и пошла к тому бульвару, где с Аришей гуляла. Прошла она раз-другой по бульвару, села на скамейку, стала на прохожих смотреть. Прогуливалась тут публика самая разнообразная, нарядная, веселая. Смотрела-смотрела Агафья и видит — подсаживается к ней парень какой-то, толстый, краснорылый, из артельщиков видно и закуривает папироску. Повертелся-повертелся парень и говорит Агафье:

— Не угодно ли. душенька, покурить?

Взглянула на него Агафья.

— Давайте,— говорит.

Дал ей парень папироску. Закурила Агафья, закашлялась, на глазах слезы выступили. Засмеялся парень. Помолчал немного. Потом начал парень слова разные закидывать, стал ее с собой звать. Согласилась Агафья.

XVIII

С этих пор Агафья каждый вечер отправлялась на бульвар или набивалась собою прохожим. Сначала она робела и совестилась, ожидала, когда ее сами позовут, а потом попривыкла и сама стала навязываться. Она зашибала когда пятерку, когда больше. Сделалась она развязная, пила, ела хорошо и жизнь вела веселую. Водки пила она много и так привыкла, что без нее и дня не могла быть; приучилась и папиросы курить как следует.

Раз в трактире пригласили ее с другими гулящими бабами в артель мастеровых и стали угощать. Всех больше увивался около Агафьи один мужчина, рыжий и рябой. Пьян он был шибко и озорной такой. Рюмку за рюмкой наливал он Агафье и говорил ей масленые слова. Хоть и пила Агафья водку, но не по душе был ей рыжий и неохотно она говорила с ним. Были в этой артели и получше ребята. Особенно показался Агафье один паренек, молоденький, почти мальчик; попал он, видимо, первый раз в эту компанию, поэтому робел страшно и стыдился. Заметила его Агафья и стала выжидать случая, чтобы разговориться с ним. Немного погодя поднялся парень из-за стола и пошел вон

из зала. Догнала его Агафья в другой комнате и говорит:

— Эх, голубчик, постой-ка!

Остановился парень.

— Что тебе? — говорит.

— Пойдем со мной гулять ужотко!

Покраснел парень.

— Хорошо,— говорит,— через полчасика!

Вернулась Агафья к столу и села поодаль от рыжего.

— Эй, милая! — крикнул ей рыжий.— Куда ушла-то? Садись ко мне!

— Убирайся к лешему, не хочу! — сказала сердито Агафья.

— Ну, будет тебе кирпичиться-то, иди!

— Не пойду,— сказала Агафья и отвернулась.

Покосился па нее рыжий таково злобно и замолчал. Вернулся парень и сел к столу. Подошла к нему Агафья и говорит:

— Купи, миленький, пивца бутылочку!

— Изволь,— говорит парень и спросил пива.

Подсела к нему Агафья. Подали пива, взяла стакан Агафья и говорит:

— За здоровье того, кто любит кого,— и выпила.

Подошел к пим рыжий и говорит:

— Ты что ж, сволочь, меня опила и ушла к нему?

Взглянула на него Агафья и говорит:

— От сволочи слышу! Не закажешь,— кого хочу, того люблю.

— Так мое угощенье даром? Да я тебя!..

И он схватил ее за косу.

— Не трожь! — взвизгнула Агафья.— Не смей, рябой урод. Я на тебя и глядеть-то не хочу!

— А, ты так! — крикнул рыжий и ударил Агафью по лицу со всего размаху.

Пошатнулась Агафья, полилась у ней кровь из носа. Ударил ее рыжий с другой руки, повалилась Агафья на пол. Начал ее рыжий ногами и руками бить. Насилу уняли товарищи рыжего и подняли Агафью; все лицо ее было в крови и платье залито кровью. Усадили ее мастеровые на стул, а сами поспешили уйти от греха. Осталась Агафья одна в трактире. Посидела немного, пошла в кухню, умылась и отправилась домой.

XIX

Проснулась утром Агафья и схватилась за лицо. Лицо у ней сильно болело, и чувствовала она, что оно распухло. Спустилась она с постели, подошла к зеркалу да так и ахнула. Разнесло у ней лицо, ни на что не похоже: глаза как щелки, нос распух, на щеках ссадины, и во рту двух зубов нет. Опустилась Агафья на постель и окаменела.

Заныло у ней сердце, подступили слезы к глазам, страшное отчаяние охватило душу ее. «Что я буду делать теперь? Куда покажусь? Вот наказанье-то!» Повалилась на подушку и зарыдала. Через час она окуталась платком и пошла к хозяйке.

— Марья Ивановна, пошлите, пожалуйста, за водкой кого-нибудь; вот деньги.

Взяла хозяйка деньги, посмотрела на Агафью и покачала головой.

Ушла Агафья опять в свою комнату и стала водку ждать. Принесли Агафье водку, выпила она целую сороковушку и завалилась опять в постель. Дней десять Агафья делала так: лежит на постели, спит; встанет, напьется допьяна и опять спать. Одурела баба совсем он сна и от водки, стала чуть не на стену бросаться.

Наконец вышли и деньги все. Стала она с себя кое-что закладывать. Перезаложила все, осталось только то, что на ней было...

Стало у ней лицо подживать; фонари исчезли, только ссадины еще заметны. Другой день у ней не только водки, а харчей не было, и взять негде. Думала-думала Агафья, что ей сделать, и решилась у хозяйки взаймы попросить. Но только Агафья заикнулась об этом первая, как та сказала, что сама хотела просить денег за квартиру.

— Где я возьму-то? — сказала Агафья.

— Поступай на место куда-нибудь,— посоветовала ей хозяйка.

— Куда мне поступать, Марья Ивановна? Разве вы не знаете мои дела?

Хозяйка будто сжалилась над ней.

— Постой! Есть у меня одна знакомая добрая барыня; может быть, она не побрезгует и такую возьмет.

— Марья Ивановна, голубушка!..

На другой день, действительно, хозяйка свела Агафью к какой-то барыне. Та поглядела не нее, спросила, за сколько заложены вещи ее и сколько она хозяйке должна, и когда Агафья рассказала, она взяла у ней квитанцию от за ложенных вещей и обещала выкупить, потом заплатила долг хозяйке и велела перебираться к ней. Агафья поблагодарила барыню и, не помня себя от радости, начала перебираться. Перебралась, барыня подарила ей два нарядных платья и велела примерить их, а вечером что она должна делать показала. Увидела Агафья, что она попала из огня да в полымя. Не взвидела свету Агафья, сгоряча-то хотела уходить, так и хозяйке объявила. Та сказала, что она ей не препятствует, только пусть она заплатит ей, что она потратила на нее.

Агафья поняла, что она попала в кабалу.

«Ну,— подумала она,— отгуляла я теперь на вольной волюшке, не вернуться мне теперь отсюда никогда!» И как вспомнила она про мужа, про свою мать-старуху, про тетку Мавру, то такая тоска ее охватила, хоть руки на себя накладывай.

Новые подруги Агафьи видят, что она грустит очень, стали ее всячески развлекать, велели почаще со двора ходить, да и здесь ни в чем не отказывать.

Хозяйка на первых порах все ей допускала брать: и вина, и папирос, и со двора позволяла ходить; только писали все это ей в счет втридорога. Но дальше — больше, хозяйка стала скупей, не стала, чего просила Агафья, отпускать, ворчала, что дела плохи, что девушки плохо стараются о том, чтобы гости денег побольше в заведении проживали.

Прошло несколько времени. Однажды утром стали куда-то справляться все девушки, велели и Агафье одеваться.

— Куда это мы пойдем? — спрашивает Агафья.

— На смотр,— сказала ей одна девка.

Агафья сначала не поняла.

— На какой смотр? — спросила она.

— А ты не знаешь? Вот тебе расскажу. Соберут нас со всех заведений, выведут на площадь, будет нас глядеть принц заморский. И какая понравится, ту он за себя замуж возьмет и в свою землю увезет.

Все девки так и прыснули со смеху.

Видит Агафья, что смеются над ней, не стала больше допытываться.

Оделись девки, вышли на улицу и пошли через бульвар, к части. Видит Агафья, что много таких же артелей идут, и стала догадываться, куда их гонят.

Пришли девки в часть, столпились в одной комнате. Стали они одна за одной уходить в соседнюю комнату, а потом опять уходить. Дошла очередь до Агафьи.

— Ну, ступай! — сказала ей одна девка.

— Куда?

— К доктору, дура!

— Зачем?

— На смотр, не больна ли ты?

— Я ничего, слава богу, здорова.

— Да все-таки покажись, дьявол, чего уперлась-то? — и девка толкнула ее в дверь.

XX

Пришла Агафья с осмотра, бросилась на постель да так и замерла. «Господи,— думает она,— до чего дошла-то я, до чего дожила! Сраму сколько! Весь век так!..»

Заметили девки, что не в себе Агафья, стали смеяться.

— Вишь,— говорят,— баба-то как заробела, испугалась доктора.

Стала одна девка утешать Агафью:

— Будет, Гаша, оставь! О чем плакать-то? Привыкай! Ау! Знать, судьба наша такая. Все и мы честными были — да сплыли... Не плачь,— перемелется, мука будет. Поди лучше выпей.

Прошла неделя, месяц и год. Обжилась Агафья в заведении, стала, как и товарки, отчаянная; научилась она у них всему, что они знали; узнала, как гостей сонных обирать. Придет гость какой-нибудь пьяненький, займется с ним Агафья, подпоит его и поведет к себе. Как заснет гость, начнет Агафья одежду его обшаривать, немного денег оставит, а остальные возьмет себе. Встанет гость, хватится денег, начнет спрашивать; забожится Агафья, заклянется:

— Знать не знаю, ведать не ведаю, это ты сам где-нибудь пьяный истратил...

Большею частью сходили с рук девкам такие проделки. Все деньги, которые они отбирали от гостей, шли на пропой или на прогул. Отпросятся они со двора, нарядятся и закутят так, что насилу домой попадут.

Заглохла душа у Агафьи, позабыла она все прежнее хорошее, и если ей вспоминалось что, то старалась она прогнать эти воспоминания и заглушить их водкой.

Был какой-то большой праздник, гостей в заведении было много. Толпились они с утра до вечера и не давали покоя девкам. Только на рассвете стало просторнее. На другой день проснулась Агафья поздно; стала вставать с постели и почувствовала, что ей нездоровится что-то.

XXI

А в деревне, где жил Агафьин свекор, жизнь шла своим чередом. Правда, в доме свекра произошли некоторые перемены; но такие перемены были обычны.

От них отделился старший сын, потом они выдали замуж девку. Людей стало меньше, но и расходов меньше, а как у них хозяйство было хорошее, то они концы с концами сводили легко.

Уже прошло четыре года, как Егора отдали в солдаты. Один раз осенью, в праздник, перед вечером, только сели старики за чай, слышат — кто-то подъехал ко двору. Поглядел Степан в окно, видит — солдат с повозки слезает. Узнал старик сына, обрадовался, вышел встречать его. Вошел Егор в избу, помолился на образа и стал здороваться. Поздоровался, помолился и сел за чай. Стали его отец с матерью расспрашивать, как служил, что видел. Обо всем рассказал Егор. Наконец спросил он об Агафье.

Вздохнул старик, нахмурилась старуха и проворчала:

— Охота тебе, сынок, о ней спрашивать! Еще когда я говорила, что негодница она,— по-моему и вышло: в Москве живет, в разгульный дом попала!

Бледный стал Егор, опустил голову на руки и заплакал.

— Ну, спасибо вам, батюшка и матушка! Одолжили! Сберегли своему сыну жену честную! Аль я вам не радетель был? Аль не почитал вас? Неужели хлеба пожалели?

Стала утешать его Татьяна:

— И-и, будет тебе, сынок, убиваться-то! Не стоит она этого! Сама виновата, не тужи, родимый!

— Ох, матушка! Легко тебе говорить-то, да мне каково? Знал бы, лучше не женился.

— Знамо, лучше не жениться. Подождал бы до сих пор,— може, первый сорт девку взял бы, а то погорячился, поспешил да и наехал с ковшом на брагу...

Еще больней было Егору слышать это обвинение. Зарыдал он:

— Не виновата она, матушка! Ничем она тут не виновата!..

XXII

Захотелось Егору в Москве побывать, с женой увидаться. «Пойду,— думает,— все ей выскажу. Скажу ей, что сгубила она меня, позабыла, как ее любил, какою замуж взял, как от матери защищал,— все выскажу. Стану хлопотать разводную: она пущай живет как хочет, а я на другой женюсь!»

Поехал Егор в Москву, справился, где живет Агафья, и пошел туда. Приходит к заведению и просит дворника жену вызвать. Пошел дворник звать. Выбежала девка какая-то и спрашивает:

— Кто Агафью Алексеевну спрашивает?

— Я,— говорит Егор.

— Нет ее здесь: она в больнице с месяц уже.

— В какой больнице?

Растолковала ему девка, где больницу найти и как разыскать ее там, и ушла.

Пошел Егор в больницу, разыскал, спросил, где в такую-то палату пройти.

Указали ему.

— Где тут Агафья Алексеевна лежит? — спросил он у сиделки.

— А тебе что? Ты кто такой?

— Я муж ей. Как она у вас?

— Совсем плоха: горячка прикинулась. Сегодня, верно, кончится.

Подвела сиделка Егора к кровати и показала ему головой на больную.

Взглянул Егор и остолбенел. Лежит на кровати навзничь женщина. Глаза кровью налились, смотрит как помешанная; руки голые откинуты за голову.

Не верил Егор, что это Агафья.

Посмотрел на черную доску над постелью; видит — ее имя написано.

Сжалось сердце у Егора, стало ему жалко жену так что слезы к горлу подступили.

— Агафья! — окликнул он больную.

Не шевельнулась она.

Крикнул он погромче:

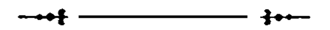
— Агафья!

Вздрогнула всем телом Агафья, стала вглядываться в него. С минуту она как будто не узнавала его, потом вскрикнула, рванулась вперед и повалилась опять на постель.

Подскочили сиделки, стали ощупывать.

Агафья умерла.

1889 г.



Немилая жена

Рассказ

I

Я у отца с матерью был один сын; жил в Питере на заработках, на хорошем месте. Два года уж исполнилось, как я дома не был, и сильно хотелось мне домой побывать; чуть ли не каждый день собирался у хозяина отпроситься, да все смелости не хватало. Вдруг раз, средь поста, получаю я письмо из деревни от матушки: пишет она, что отец приказал долго жить, и наказывает, чтобы я немедля домой приезжал, «а то,— пишет,— мне одной тут делать нечего».

Потужил я об отце, да растуживаться-то некогда было. Стал я домой собираться, взял расчет у хозяина, купил в подарок матушке ситцу на сарафан да еще кой-чего, сел на чугунку и поехал.

Приехал домой, вошел в избу; встретила меня матушка, бросилась она ко мне на шею и заплакала. Плачет матушка, а сама приговаривает:

— Сынок ты мой милый, соколик ты мой ясный! Остались мы с тобою горькие сироты, не стало нашего кормильца-поильца, не стало нашего заступника от обидчиков...

Стал я утешать матушку:

— Ну, что ж делать,— говорю,— видно, его час пришел, а нам пора своим умом пожить. Все от бога ведь.

— Так-то так,— говорит матушка,— да каково нам будет прожить без него! Ты еще человек молодой и неопытный, а я — баба... Что мы сделаем? Как хозяйство поведем?

— Ну, как-нибудь поведем помаленьку,— говорю я.— Чего недомыслим сами, людей попросим указать,— люди добрые укажут.

Поговорили мы так; успокоилась немного матушка.

Стал я потом свои вещи разбирать, что из Питера привез: вынул из сумки одежду свою городскую, потом достал подарок для матушки и отдал ей. Еще отдал ей денег трид-

цать рублей. Просветлела из лица матушка. Посмотрела на мою одежду, па подарок и говорит:

— Вижу я, что ты сынок старательный. Старайся всегда так, тогда и хозяйство отцовское не упустишь.

А я и говорю:

— Зачем упускать, нужно прибавлять стараться.

— Ну, хоть такое-то, как сейчас, велось,— говорит матушка,— и то слава тебе господи! Довольно было бы.

Пошел я на другой день хозяйство осматривать: правда, хорошее хозяйство у отца было,— за что ни возьмись, все было заведено и все в исправности.

II

Весна только начиналась. Снег таял, по улице текла вода. Дел никаких не было, и стал я вокруг стройки похаживать да присматриваться — где что лежит, в случае если что понадобится, чтоб не искать.

Разыскал я соху, борону, колеса, приметил, где шкворень, где подъем и другое, что весной понадобится.

И так прошло время до пасхи. На пасхе пришел к нам мой крестный, увидал меня и говорит:

— Ишь ты, какой мой крестник-то выровнялся молодец. Пора женить его небось. Как думаешь, кума?

— Вестимо, чего ж еще,— говорит матушка.— Вот лето подходит, работать некому, нанимать нужно.

— Зачем нанимать, даровую приводить нужно. Все равно жениться не миновать, так лучше тенерь, кстати. Так, что ли, крестпик? — спрашивает меня крестный и по плечу меня ударил.

— Не знаю,— промолвил я нехотя.

— Как пе знаешь? Кто же знать-то будет? Нет, брат, теперь тебе самому о себе знать нужно; ты сам хозяин.

Растерялся я и не знал, что сказать. Матушка взглянула на меня и заговорила:

— Что ж, крестный правду говорит, сынок. Надо подумывать о женитьбе. Вот погляди девок. Примечай хорошенько. Какая понравится, ту и носватать можно.

А я стою и молчу.

— А то сам посуди,— продолжала матушка,— мне от дому отойти нельзя будет, а тебе одному всего не пере-

делать. Хоть бы ты и настоящий был работник, и то тебе бы на тягле не управиться. А как ты еще крестьянские дела плохо знаешь, то и замаешься совсем. Больше ничего не выйдет.

— Верно, что и говорить,— подтвердил крестный.

Подумал-подумал я и сказал:

— Неохота мне еще жениться-то сейчас. Главное дело, работать я еще не совсем горазд, пожалуй, люди смеяться будут. «Эва, скажут, какой детина женится, а работать не умеет». Потом, еще какая жена попадет: пожалуй, такая будет, что и сама на смех поднимет.

— Ну, на то, что смеяться будут, глядеть нечего,— сказал крестный,— посмеются-посмеются да и перестанут. А нужно то рассчитывать, что выгодней. Хоть и подороже осеннего теперь свадьба-то станет, зато на лето нанимать никого не нужно. А это чем пахнет-то? Тремя красными — вот что.

— Да, сынок, ты об этом подумай, ты теперь сам хозяин,— сказала матушка.

Задумался я, опустил голову и размышляю: «Что я теперь женюсь? Ни погулял, ни что... Закабалю себя сразу на целый век, обмужичусь, а чего ради? Нет, не надо сейчас жениться, нужно подождать».

И уперся я.

— Нет,— говорю,— погожу до осени. Лучше ежели что,— наймем.

Видит матушка, что не охочусь я жениться, не стала напирать шибко.

— Ну, как хочешь,— говорит,— до осени, так до осени.

III

И остался я холостым пока. Пахоту и сев надеялся я один управить, а на покос нанять думали.

Прошла пасха. Началась пахота. Принялся я за мужицкую работу. Не по шерсти пришлась сначала мне эта работа после питерского-то житья; тошно мне бывало частенько. Только то меня с ней мирило, что я сам хозяином был. Пойдет староста на сходку вестить, заходит ко мне и кричит: «Эй, Павел Степанов, на сходку!» Или нужно мирской приговор подписать,— опять и меня, наравне со стариками, заставляют. Или придется кому попросить что у нас,— опять

ко мне обращаются. Ну, и любо мне было то, что я такой молодой и такой почет имею.

Трудно было работать мне в будни, зато хорошо в праздники. Недалеко от нашей деревни был барский дом; жил в нем только один барин. Около дома лужайка была,— так, с десятину вокруг. И собирал управляющий на эту лужайку из ближних деревень молодежь хороводы водить, барина веселить. Собиралась туда молодежь деревень с шести, девок пропасть, а ребят мало, да ребята-то все неказистые. Ловчей меня да справней и по одеже никого не было. За справу-то мою да красоту уважали меня девки больше всех и гонялись за мной шибко. Разведут, бывало, хоровод, и выйду я в середину, затяну песню и окину весь круг глазами. Вижу — каждой девке хочется со мной в хоровод, а взять только одну можно. Какую взять? Та хороша, эта хороша... И беру я, бывало, самую дурную, чтоб хороших не раздразнить. Наводимся мы вдоволь хороводов, пляску затеем или еще какую игру. И так все лето прошло.

Вдоволь погулял я. Много народу узнал, много девок переглядел, а ни одной мне по душе не пришлось.

Пришла осень, стала меня матушка спрашивать:

— Ну что, сынок, выбрал себе, что ли, девку по мыслям? Говори — какую, да и сватать время.

А я говорю:

— Нет, матушка, ни одна что-то не приглянулась. Нужно где-нибудь на стороне посмотреть.

— Ну что ж,— говорит матушка,— поездим, посмотрим, нам бояться нечего: наш дом такой, что в околотке поискать.

И начали мы слухи собирать и расспрашивать, где есть девки хорошие. Стали к нам люди ходить и невестами навязываться: там, говорят, хороша, а там еще лучше. И разбили нас так, что не знали, в какую сторону удариться.

IV

Один раз, уже после рождества богородицы, сидим мы вечером с матушкой да сговариваемся, куда бы нам лучше ехать невесту глядеть.

Вдруг входит к нам баба одна, матушкина подруга, Анна Сверчкова. Поздоровалась и говорит:

— Что же не едете невесту-то сватать? Аль не думаете свадьбу играть?

— Как не думаем,— говорит матушка,— думаем, только не знаем, куда лучше удариться-то невесту смотреть.

— Вот еще — куда! Словно на белом свете невест нет,— говорит Анна.— Да куда ветром потянет, туда и поезжайте. Посмотрели в одном месте,— в другое поезжайте: за это по уху не ударят.

— Так-то так...— говорит матушка.

— Ну так что ж думать-то? Поедемте, коли хотите, завтра. Я вам одну невесту покажу,— не понравится ли.

— Где это?

— В Коптилове, где моя золовка отдана. Давно у меня на нее зуб играет, хочется в свою деревню затащить. За деверя хотелось нам ее взять, да не привел бог,— в солдаты отдали. Теперь попытаем счастья, к вам не возьмем ли.

— Чем же она тебе понравилась-то очень? — спрашивает матушка.

— А тем, что родни хорошей и сама-то недурна, нравом тихая да одна дочка у отца с матерью; а отец-то старательный, непьющий, живут хорошо; девку-то справляют изо всей деревни лучше: сколько платьев у ней нашито, платков шелковых, одежды разной,— без горя на пять лет хватит не справлямши... А работать-то, говорят, любого молодца за пояс заткнет. Земли-то три души у них, да еще на стороне принанимают, и все это сами обрабатывают,— и покос и жниво, все одни.

— Что ж,— говорит матушка,— посмотреть не беда; пожалуй, поедем.

— Поедем, поедем, посмотрим,— сказала Анна.— Там что будет, а хоть людей-то поглядим, пусть хоть ветром-то обдует.

— Ну, ну,— согласилась матушка,— ладно.

Поговорили еще кой о чем, ушла Анна домой, и остались мы опять с матушкой вдвоем.

— Ну что, Павел? — сказала матушка.— Я думаю съездить — не беда. Как, по-твоему?

— Ну что ж,— говорю я,— попытаться можно. Авось головы не снимут.

— Если не врет Анна-то, невеста-то хороша должна быть.

— А вот там увидим,— сказал я.

V

Собрались мы на другой день, запрягли лошадей и поехали невесту смотреть.

До Коптилова от нас верст двенадцать будет. Поехали мы после обеда, а приехали уже в сумерки. Остановились мы у Анниной золовки.

Сказали мы, зачем к ним приехали, и попросила Анна золовку сходить туда, где невеста была, и о нас сказать.

Пошла золовка. Вернулась назад и говорит:

— Ну ступайте. Велели приходить.

Оправили мы на себе одежду и пошли.

Как ни боек я был, а оробел, как стали к невестину двору подходить. Вошли мы в избу, помолились богу, стали здороваться.

— Здорово живете, хозяин с хозяюшкой! Как вас бог милует? — проговорили Анна с матушкой в один голос.

Поднялся с передней лавки хозяин избы и сказал:

— Добро жаловать, люди добрые, добро жаловать! Садитесь...

Уселись мы на долгой лавке; стал я по сторонам оглядываться: вижу — изба чистая, просторная, стол белой скатертью накрыт, а над столом лампа с зонтом висит; у стола сидит хозяин с рыжей бородой, не старый еще, одет в ситцевую рубашку, а у чулана, прислонившись, хозяйка стоит, тоже в ситцевой рубашке и кубовом сарафане.

Посидели несколько времени молча. Потом заговорили. Начала Анна:

— Вот что, милый человек, Егор Митрич. Приехали мы к тебе не языком болтать, а об деле толковать. Наслышали мы, что у тебя есть дочка-невеста, а у нас есть паренек-женишок,— так вот и приехали мы посмотреть вашу невесту. Если можно, покажите, а если нельзя — откажите.

— Отчего нельзя,— сказал Егор Митрев,— все можно. Поди-ка, жена, позови дочку-то.

Вышла хозяйка из избы вон, а через минуту вернулась опять, за нею невеста. Вошла невеста в избу, поклонилась всем нам и села на лавку, неподалеку от отца. Уставились мы на нее во все глаза. Вижу я — одета невеста в кумачное платье с казакином; напереди подвязан люстриновый фартук, а на голове — синий полушалок кашемировый.

Хорошей мне показалась невеста, сразу понравилась.

Посмотрели-посмотрели,— нагнулась ко мне матушка и шепчет:

— Пойдем, выйдем в сени.

Вышли мы в сени, и спрашивает матушка:

- Ну что, как?

— Кто ее знает? — говорю.— Кажись, ничего.

— Нравится тебе девка-то?

— Нравится.

— Смотри, хорошенько гляди, чтобы после не каяться.

— После нечего каяться,— говорю,— тогда уж поздно будет.

— Вот то-то и есть-то!

Помолчали немного, подумали. И говорю я:

— Что ж думать-то?.. Давай девку сватать. Чего же еще искать-то,— не барыню же?

— Как хочешь,— говорит матушка.— Если нравится, так давай эту: тебе с ней жить, а не мне.

И пошли мы в избу.

Только мы вошли,— повели невесту отец с матерью выспрашивать. Выспросили, вернулись опять в избу, уселись по местам.

И говорит матушка:

— Ну как, Егор Митрич, понравился ли вам и дочке вашей жених? Можно ли об деле начинать говорить?..

— Ваш жених всем нам понравился,— сказал Егор Митрич.— Не знаю, как вам наша дочка.

— Понравилась, очень понравилась,— сказала матушка.

— А коли так,— сказал Егор,— тогда другая речь пойдет. Ну-ка, баба, самоварчик...

Занялась хозяйка самоварчиком, а хозяин с невестой стали на стол ставить вино и закуски разные. Потом раздели нас и посадили всех за стол.

Началось угощение; стала Анна с матушкой про наше житье-бытье рассказывать и стали звать Егора Дмитриевича к нам приезжать — дом глядеть.

Согласился Егор, обещался на другой день приехать.

VI

На другой день, после обеда, приехали к нам дом глядеть. Осмотрели все, понравилось им наше хозяйство, и стал Егор с матушкой дело кончать.

Уговорились насчет приданного, и когда рукобитью быть и когда — свадьбе; и стали мы моего нареченного тестя с тещей чаем угощать.

Угостились как следует, распрощались с нами и поехали домой.

Рукобитью быть уговорились в первое воскресенье.

Наступило воскресенье; пришел к нам в этот день крестный мой да приехал из другой деревни материн брат двоюродный; стали они лошадей лентами убирать да к телеге пристяжь прилаживать. Приладили все, как следует, запрягли в телегу пару лошадей, сели мы — и поехали. Приехали мы в Коптилово, встретили нас как нужно и за стол усадили. Ударили по рукам; невеста с матерью в чулане плач подняли, а крестный стал вино разливать да всем гостям подносить.

Как ударили по рукам-то да завыла невеста-то — грустно мне как-то стало. Сижу это я да думаю, как я гулял прошлое лето, как веселился, и говорю сам себе:

«Прощай, холостая жизнь, расстаюсь я с тобой навсегда,— отгулял я на вольной волюшке, напотешил сердце молодецкое...»

И заныло мое сердце,— кажись, рад я заплакать был, только стыдно...

И насупился я, гляжу по сторонам; вижу — сидят за столом все с веселыми лицами, говорят, посмеиваются,— и досадно мне на них стало. «Ишь,— думаю,— весело им тут, а мне-то каково! Может быть, с этого дня я себе и радости не увижу, а они веселятся...»

Вышла из чулана невеста и подошла к столу; налили нам с ней по рюмке водки, выпили мы, подсластили, и села невеста со мной рядом.

Взглянул я на нее раз, взглянул другой — и показалась мне моя невеста много хуже, чем в первый раз: старообразная такая, темнокожая, грудь тощая. «Вот так краля!» — подумал я. Однако через минуту успокоил я себя. «Это оттого,— говорю я себе,— она мне такая кажется, что выла сейчас она, да и платок-то этот не к лицу ей,— вот она старше и показывается».

И мало-помалу разогнал я грусть, заговорил с невестой, стал смеяться с ней, а к концу беседы и совсем развеселился,— все позабыл. Когда поехали домой, невеста пошла провожать меня. На прощанье стали целоваться мы, и она

меня так поцеловала, что у меня кровь закипела. «Должно, полюбился я ей»,— подумал я.

VII

Дня через три после рукобитья поехал с гостинцами я к невесте, а в другое воскресенье наша свадьба была назначена.

В хлопотах-то да в суетах и не заметил я, как день свадьбы подошел. Нарядился я утром в этот день и сижу в уголке — ожидаю, когда поезд справится, гляжу я на родных, что вокруг меня суетятся, и вдруг опять такая-то тоска меня взяла, грустно мне, тошно стало, не глядел бы на белый свет.

Насилу-то, насилу я дождался, когда за невестой ехать справились.

Поехали за невестой. Угостили там поезжан наших, потом посадили невесту со мной рядом в телегу и повезли нас венчать. Подкатили к церкви, стали нас с телеги ссаживать и в церковь повели.

Ввели нас в церковь, раскрыли невесту и поставили со мной рядом на холстинку. Взглянул я на невесту сбоку,— и дрожь меня проняла, хуже, чем в рукобитье, показалась мне невеста; стояла она без платка, лицо сморщила, шея в рубцах, от золотухи, что ли...

Пришел поп, начал венчать нас, стал читать он:

— Обручается раба божия Феодосия рабу божию Павлу.

Слышу я слова эти и думаю: «Что я делаю? Кого я беру за себя, с кем свою жизнь связываю?..» А тут еще слышу — народ разговаривает да мою Федосью хают, и помутилось у меня в голове,— не помню я, что дальше было со мной...

Очнулся я только тогда, когда услыхал над своим ухом: «Поцелуйтесь»... Ткнулся я своими губами в Федосьины губы, и повел нас дружка из церкви. И посадили нас на телегу, и поехали мы домой.

Приехали мы домой, повели нас обедать в горенку, стали к нам родные подходить, с законным браком поздравлять да любви да счастья желать. Благодарю я их за пожелания, а сам думаю: «Ну, уж едва ли это сбудется...» Потому, сразу мне жена не по сердцу пришлась.

За обедом стали нам вино подносить; навалился я на вино и напился допьяна.

На другой день тоже с утра пьян напился, на третий — тоже, и так вся свадьба прошла как в тумане. Не помню я, что я делал и что говорил.

Отошла свадьба, перегостились мы с новой родней и стали за дела приниматься. Скинула моя Федосья праздничный наряд, надела будничную справу и стала еще хуже. Стали до меня слухи доходить, что по деревне мою жену не хвалят, дивятся, говорят мне: на что я польстился, что такую взял, словно, говорят, ему лучше невест не было.

Услыхал я это, и заскребло у меня на сердце, и возненавидел я жену.

VIII

Стал я с женой обходиться не так, как нужно; нападать я на нее не нападал, и насмехаться мне над ней духу не хватало, а просто холоден я был к ней: ни ласки показать не хотел я, ни пошутить, ни посмеяться, а говорил я с ней только о деле, а больше ни о чем.

Зато на улице я был совсем другой. Выйду, бывало, в праздник и прямо к хороводу. Войду в круг и затяну песню, песню за песней весь вечер прокричу, бывало; а то пляску заведу, на гармонике заиграю, народу соберу — индо улица ломится. Всех развеселю, только мне не легче от этого. Разгуляюсь— словно ничего, весело, а вспомню, отчего я так веселюся-то, так опять сердце защемит.

Так прошла вся осень. В филипповки не стал я на улицу ходить,— стало мне еще тоскливее. Стал я молчаливый такой да угрюмый: говорить ни с кем не хочется, хочется уйти куда-нибудь подальше. Порой и уходил я,— уйду в сарай или к овину, забьюсь в уголышек да так и просижу часа два, а то и больше.

И все это время я вздыхаю и на судьбу жалуюсь. «Господи,— думаю,— за что ты меня наказал, что с такой женой на целый век связал? Чем я так согрешил пред тобою?» И час от часу, день ото дня все противнее и противнее моя Федосья кажется,— стало мне на нее и глядеть тошно.

Мясоедом у нас несколько свадеб сыграли: двух девок отдали да одного парня женили. Парня женили из бедной семьи и некрасивого, а молодую взяли — так глядеть любо: высокая, грудастая, из лица кровь с молоком; первый раз

на улицу вышла, так все диву дались — что поговористая, что песельница, куда моей Федосье до ней: как земле до неба, так и ей до этой молодухи. И взяла меня зависть к этому парню, что такую жену себе привел. Стал я подумывать, как бы мне ухитриться у него жену отбить.

«Отобью,— думаю я,— у него бабу, напотешусь с ней, а там все равно... все равно, не радость меня с моей женой впереди ожидает».

И стал я похаживать в тот дом, где эта молодуха была. Посматриваю на нее, любуюсь, а в душе моей все больше и больше страсть разгорается. Стал я с ней шуточками перекидываться, а случится, где наедине встречу, заигрывать начну. Только не поддавалась она заигрыванью. Один раз так меня осадила, что я всякую охоту потерял. И перестал я с этих пор к ним в дом ходить...

«И зачем,— думаю я,— я к бабе пристаю? Ну, хоть и подговорю я ее со мной связаться, так что ж из этого выйдет-то? Видаться тайно нужно, дрожать всякий раз, как бы не увидал кто. Грех один!.. Нет. Вот хорошо бы было, если бы у меня жена такая была,— вот тогда бы я счастлив был».

Только об этом и думал я. Дело ль делаю, без дела ль сижу,— все одно в голове.

IX

Видит Федосья, что все задумчив я, и тоже стала грустить; догадывалась баба, что она мне не по сердцу пришлась. Еще с самого начала примечала она это, все, должно быть, думала, что привыкну я к ней, поласковее буду. Но дальше — больше... и все холоднее и холоднее стал с ней. Видит баба — дело не радует, затосковала.

Стала и она угрюмая и молчаливая, в избе сидит — слова не проронит, а на улицу пойдет — молча стоит. Другие бабы смеются, тараторят меж собой, а моя стоит как оплеванная. За это еще пуще невзлюбил я ее.

Один раз в праздник как-то сидел я у одного приятеля. Просидел я часа два и пошел домой. Вхожу я в избу и вижу — матушки нет в избе, а сидит одна Федосья, грустная такая, на глазах слезы блестят. Видно, плакала она. Стал я спрашивать ее:

— Что это ты такая?

— Какая такая? — говорит она.

– Да грустная-то. Глаза заплаканы. О чем ты?

— Так, ни о чем,— говорит Федосья, а сама усмехнуться старается.

— Ну как так ни о чем, а я не вижу словно? О чем-нибудь да плакала?

Припала Федосья ко мне на грудь и говорит:

— Да вот гляжу я на тебя, вижу, что ты невеселый все ходишь, ну и грустно мне стало...

Засмеялся я.

— Чего ж,— говорю,— тебе груститься-то, дура этакая? Что тебе до того, что я невеселый?

— Как что мне? Знаю я, отчего ты невеселый-то такой...

— Отчего?

— А оттого, что не по душе я пришлась тебе,— вот отчего.

Нахмурился я, ничего не сказал.

Вздохнула Федосья, заплакала и заговорила:

— Милый ты мой, сошлись мы с тобой не на радость, не на счастье. Как только нам будет век прожить?

— Как-нибудь проживем,— сказал я,— что ж делать, нужно привыкать.

— Привыкать? А каково привыкать-то? Ох, уж лучше умереть бы!

Опять засмеялся я и говорю:

— Так что ж, кто тебя держит? Вон возьми вожжи да и... А то в воду нырни; нынче прорубь большая... по крайней мере, меня-то развяжешь.

Взглянула на меня Федосья и ничего не сказала, только тяжело вздохнула. И стала она с этих пор еще грустнее и задумчивее; в разговорах разве только что спросишь, ну, ответит, а сама никогда ничего не заведет.

Стала она худеть: в один месяц лицо опало, словно после болезни какой. Гляжу я на нее, вижу, что она еще дурнее делается,— и противнее мне становится.

X

Мясоед к концу подходит,— мало веселился я за праздники. Не до веселья мне было, когда на сердце темная ночь лежала.

И все чернее думы мои становились. Взбрели мне на ум уж такие мысли: стал я подумывать, как бы мне с Федосьей развязаться.

Один раз в праздник надоело мне в избе сидеть, и вышел я на улицу, а на улице погода была — снег хлопьями валил, дальше крыльца некуда было носа высунуть. И опустился я на крыльцо, сижу, на улицу поглядываю.

Вдруг слышу я неподалеку от себя разговор чей-то. Вслушался: разговор девичий. И догадался я, что это девки у соседова двора в шалашку от погоды спрятались да и разговаривают.

Стал я прислушиваться, про что говорят девки. И говорит одна девка:

— Да, что ни говори, а женишься — переменишься, правда истинная это. Уж то ли не молодцы наши ребята были, то ли не весельчаки, а как женились — все как рукой сняло.

— Да,— говорит другая девка,— верно: вот хоть Павел Степанов, уж то ли не удалец был, а теперь и хвост прижал.

— Как есть хвост прижал... Где-то он теперь?

— Где? Небось сидит около своей Фенечки либо спать завалился. Ихнее дело теперь хорошее...

— Да, уж и Фенечка, господи боже мой, вот турка-то? — сказала третья девка.— И где только такие родятся-то? Ни разговорится она, ни рассмеется, ходит нос повеся, точно отца с матерью похоронила...

— Говорят, он не любит ее, ну, вот она и невеселая такая.

— А за что ее любить-то? Ни кожи, ни рожи, шут знает что...

— И то — на что это он польстился-то? Какую замухрышку взял. Такую ль ему надо!

— Може, полюбилась.

— Так что ж это он с ней так живет-то? Если полюбилась бы, то он и жил бы с ней поладнее...

— Это вот отчего так вышло,— заговорила еще одна девка,— тут колдовство было — вот что.

— Какое колдовство?

— А такое: понравился девке-то парень, ну и приворожила она его к себе — вот и все.

— Так что же она на короткое время его приворожила-то? Она уж навек бы постаралась.

— Ну, что же, снадобье такое попалось, что на корот кое время только...

— Какое же это снадобье-то?

— А кто его знает? Разные ведь есть: то порошок, то травы, а то еще что-нибудь.

— А где ж его достать-то можно?

— Эва! Где достать!.. А у колдунов или колдуний сколько хошь.

Услыхал я этот разговор девок и подумал: «А что, как правда они говорят, что Федосья приколдовала меня». И стал я вспоминать, что было тогда, как первый раз я Федосью увидал; хоть и пе вспомнил я ни одного такого случая, чтобы видно колдовство было, а все-таки я думал, что не без греха тут. А то отчего же это первый раз Федосья понравилась мне? И как вздумаю я, что Федосья обошла меня, так и закипит во мне сердце,— так бы я ее на мелкие части изорвал.

От этого-то и стал я подумывать, как бы избавиться от нее.

XI

Однако что ни думал я, как ни ломал мозги, а все ничего не мог придумать, как бы жену избыть. От этой неудачи еще пуще разгоралась во мне злоба на Федосью,— стал я поколачивать ее.

Придерешься иной раз из пустого к ней, пырнешь в бок или по уху засветишь,— ничего баба, смолчит, только слезы из глаз градом посыплются.

Поколачивал я ее наедине все — либо на дворе где, либо в сарае, а дома при матушке боялся, потому что матушка очень любила ее и не раз мне колола глаза, что, дескать, вот ты какой, уж первый год так с женой обращаешься, что же дальше будет?

На вербной неделе ушла матушка в село говеть, остались дома мы вдвоем с Федосьей. Федосья за стирку принялась, а я начал кнут вить, к пахоте готовить. Прокопались так до обеда. После обеда стала Федосья на речку собираться — белье полоскать.

Речка в то время вскрылась уже. Вдруг вспомнил я, что скоро будет можно верши ставить, а у меня ни одной

верши нет, и надумал я сходить за прутьями на верши и стал собираться.

Надел я кафтан, подпоясался. Видит Федосья, что я собираюсь куда-то, спрашивает:

— Куда это ты идешь-то?

Промолчал я, а она опять:

— Что ж это ты, онемел, что ли? Скажи, куда справляешься-то?

— А тебе что за дело?.. Ну! — сердито крикнул я.

Подошла ко мне Федосья, взглянула в глаза мне и говорит:

— Паша, милый мой, что ты все сердишься-то? А? Когда ты переменишься? А? Неужели так всегда будет?

И хотела было обнять меня; но опротивели мне ее ласки.

— Что еще выдумала-то? — сердито сказал я и оттолкнул ее от себя прочь.

Пошатнулась Федосья, ударилась головой о косяк, да больно, должно быть, так что опустилась она на коник и заплакала.

Досадно мне стало, что она заплакала; закричал я:

— Захныкала! Ишь, какая недотрога, и дотронуться нельзя.

И замахнулся я кулаком, хотел было ударить ее; вдруг поднялась Федосья с коника, выпрямилась и заговорила отчаянным голосом:

— Бей, что ж... доколачивай... Теперь во мне немного силы-то... всю высушил... так добивай. Теперь весна... земля оттаяла, могилу не трудно рыть будет... колоти, что ль...

— А то что ж,— сказал я,— и доколочу. Ты думаешь — житья тебе дам? Нет, матушка, не надейся.

И толкнул я ее в грудь, и вышел из избы, и стал в сенях подпоясываться.

Стою, подпоясываюсь и слышу: вдруг зарыдала в избе Федосья, да так горько, что у меня индо сердце перевернулось, и стало мне жалко ее. Только не дал я жалости в своем сердце расходиться, хлопнул я калиткой и зашагал к болоту, где думал прутьев нарубить.

XII

Болото было за овином у нас, среди поля; снегу малость уже оставалось в поле, на межниках сплошная травка кой-где

проглядывала, солнце грело сильно, жаворонки заливались; так хорошо было кругом, что у меня дух от радости захватило.

Только недолго продолжалась моя радость; вспомнилась мне жена, и опять во мне все мысли помутились.

«Господи,— думаю,— что это за наказание ты мне послал? Долго ль она будет так мучить меня, неужели всегда?»

И начала мне будущая жизнь представляться. «Вот,— думаю я,— пасха скоро придет, все будут радоваться, веселиться, а я как веселиться буду, когда у меня такой черт под боком; ни в люди с ней выйти, ни дома в радость побыть. Потом работа начнется, будешь ломать — работать, а она как бельмо на глазу будет торчать, а при работе разве хорошо? Это при работе хорошо, если с кем поговорить по душе, посмеяться, чтобы усталости так не чувствовать, а не так дуться...»

И защемило мне сердце, вздохнул я и принялся прутья рубить. Рублю прутья, а сам думаю о своей жизни.

И стало представляться мне, что Федосьи у меня нет и не было, а есть у меня другая жена — красивая, статная, веселая. И люблю я ее и живу ладно. Пойду ль я с ней на работу — все с шутками да с веселым разговором. Отдыхать придет время — все с ласками да с любовью.

И еще сильнее защемило мое сердце, еще тоскливее мне стало. «Все это думы только,— думаю я,— а на деле-то никогда не сбудется так. Живи вот с нею да мучайся».

С такими мыслями и не заметил я, как прутьев нарубил; вижу, что такую охапку накорежил, еле донесть, и стал я домой собираться.

Вышел из болота, увязал прутья, взвалил на плечи и пошел ко дворам.

Пришел я на улицу и вижу: бежит народ вдоль деревни под гору. Пробежал один человек, пробежал другой, удивился я и стал спрашивать:

— Куда это вы бежите-то?

— Да на реку, кто-то утопился там,— отвечают мне.

Взглянул я в конец деревни, к реке, и вижу: на берегу большая толпа народу собралась. Бросил я топор и вязанку и побежал туда.

Прибежал я на берег, гляжу: стоят люди кругом, а посреди лежит что-то. Остановился, стал дух переводить, а то на бегу запыхался очень.

Вдруг подходит ко мне старуха одна, бабушка Степанида, и говорит:

— Батюшка, Павел Степанович, ведь это твоя Федосья утопилась!

Затряслись у меня руки и ноги, потемнело в глазах.

— Как так? — спрашиваю.

Заговорила что-то бабушка Степанида, но я и слушать не мог. Кинулся я в толпу и стал проталкиваться вперед.

Протолкался я сквозь народ и взглянул на Федосью. Лежит она навзничь, помертвела уже; губы синие и живот вздулся. Морозом подрало меня, как взглянул я на нее, и я отошел прочь.

Принесли веретье, взвалили на него Федосью, стали откачивать.

А я опустился на землю, закрыл лицо руками — да так и замер.

И не знаю, что со мной творилось в эту пору: жалко ль мне жены было или радовался я, что развязался с ней,— только прыгало во мне сердце так, что кафтан шевелился, а в голове ни думки, ни полдумки не было.

XIII

Покачали-покачали Федосью — ничего не помогло,— видно, уж поздно было, и понесли ее домой.

Несут ее на руках люди, стали ее к нам на крыльцо вносить. Взошли на мостенки передние мужики, а задние еще внизу были; от этого поднялась голова Федосьи, и вдруг открылись глаза у нее, и мутный взор ее прямо в меня уперся...

Страшно мне стало от этого взора, индо мурашки по коже пошли. Не пошел я за людьми в избу, а пошел в горенку. Бросился я на сундук, закрыл лицо руками и так и замер.

И думаю я: «Отчего это Федосья утопилась? Поскользнулась ли как и упала в воду или нарочно бросилась?» И захотел я разузнать хорошенько об этом; вышел из горенки в сени, увидал бабушку Степаниду и стал ее расспрашивать, как было.

— Да не знаю доподлинно-то как...— заговорила Степанида.— Видела я ее, как она на речку с бельем пошла, а у меня тоже белье настирано было; увидала я ее-то и

говорю своей Машутке: «Дочка, поди выполоскай белье-то; вона, Федосья, Павлова жена, пошла; с ней тебе охотно будет». А Машутка-то мне и говорит: «Сейчас, матушка»,— и стала собираться. Собралась и пошла. Только не успела я по избе повернуться, гляжу — бежит моя Машутка назад. «Что ты?» — спрашиваю я. «Да что, говорит, ты давно видела Федосью-то?» — «Сей минутой, говорю, а что?» — «Да не видать ее там на реке-то. Белье на берегу валяется, а ее нету». Что за притча, думаю, уже не позабыла ль она валек дома? «Може, за вальком пошла. Поди-ка погляди...» Сбегала Машутка. «Нет, говорит, дома не видать ее: заперто у них». Встревожилась я. «Не случилось ли что?» — подумала и стала людей сзывать. Собрались люди, пришли к речке, видят, правда: белье лежит, а бабы нет. Стали следы разглядывать, и видно по следам, что пришла баба к реке, а назад не ворочалась... нет следов... Сбежались еще люди, стали багром по реке шарить и ее...

Гляжу я старухе в глаза, слушаю, что она говорит, и вспомнилась мне вся жизнь Федосьи с самого начала: и то, как я с ней обращался, и как опомнясь сказал, чтобы она утопилась или удавилась, и что сегодня было, и догадался я, что не нечаянно она утопилась, а нарочно, и зашевелились волосы на моей голове.

Пошел я опять в горенку, затворил дверь за собой. «Это я ее довел до этого, через меня она с собой покончила».

Сперлось дыхание у меня в груди, точно камнем навалило... Тяжко мне, не продохну я... Насилу-насилу продышался, и представились мне все страдания Федосьи, и жалко мне ее стало,— так жалко, что невесть что бы я не пожалел, лишь бы вернуть Федосью.

Заплакал я как ребенок и бросился в избу. Народу была полна изба; протолкался я вперед, вижу — Федосья под божницей лежит; кинулся я к ней, опустился перед ней на колени и завопил:

— Милая ты моя Фенечка, дорогая ты моя, очнись ты хоть на минуточку, открой свои очи ясные, дай мне вымолить прощенье у тебя. Я тебя довел до этого... чрез меня ты погубила себя без поры без времени.

Рыдаю я, головой о лавку бьюсь, но что дальше, то лютее мне делается,— кажись, была бы здесь борона, бросился бы на ее зубья и изорвал бы все свое тело в куски, - вот как мне было тогда тошно.

Видят люди, как я убиваюсь, взяли меня под руки и вывели из избы и оставили меня в сенях: и долго я бился там, пока мочи не стало.

И не знаю я, что после тут было: как хоронили Федосью, как что... Нашло на меня вроде помрачнения какого,— ничего не чувствовал я.

XIV

Долго я после этого хворый лежал. Схватила меня горячка и шесть недель в постели держала. Оправился я, вернулось ко мне здоровье и сила, но не вернулась прежняя веселость,— не тот уж стал я.

Хожу я, хожу — все ничего, а как вспомню, чего я по своей дурости лишился, какое сокровище потерял, так и поворотит мне душу и солнце, кажись, потемнеет.

Стали было мне говорить матушка и люди, чтобы я женился опять, а я куда тут!.. Да разве найти мне еще такую, как Федосья была; мне думается, как она, по всему свету не найти...

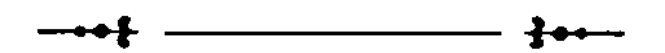
Только поздно я узнал-то ее, поздно оценил ее сердце ангельское...

И живу я вдовцом вот уже сколько лет, работаю один. Матушка и поворчала было сначала на мое вдовство, но потом видит, что не клонит меня на женитьбу,— замолчала.

В деревне немало дивились тому, что я решился не жениться никогда. «Что это он, говорили, с ума сходит? Разве можно, говорят, такому молодому да без жены прожить? Лучше жениться уж».

Но я на эти речи думал только: «Видно, не понимают того, что я теперь ни о какой женщине, кроме как о покойнице Федосье, подумать не могу».

1890 г.



На свою голову

Рассказ

I

В серенький февральский день, в предобеденную пору, по дороге из маленькой деревушки Павлочиной к селу Сорокину шла молодая бабочка. Несмотря на то что погода была нехорошая и дорогу заносило мелким скрипучим снегом, она шла скорым шагом и, видимо, торопилась. Бабочка эта была жена одного крестьянина деревни Павлочиной — Анисья Штучкина. Шла она в село к торговцу, за баранками для своего маленького мальчика, которого она родила только осенью. Анисья могла и не ходить сама, так как еще утром муж ее Кондратий вызывался сам сходить за этим,— но она побоялась, как бы он вместо торговца-то не зашел в кабак да не пропил ее пятиалтынного; с ним это бывало,— и Анисья соврала, что ей нужно еще зайти к одной бабе, чтобы спросить, какое ей средство лучше употребить маленькому от грыжи,— и пошла сама.

«Эх нужда, нужда! — думала Анисья, идучи дорогой.— Вот крестьянами зовемся, а саней своих нету... Если бы были, то я бы запрягла лошадь и живою рукой доехала сюда; лошадь теперь не в работе, только промялась бы, а то вот таскайся пешком, да еще по такой дороге. Фу!» И с этими думами Анисья подошла к селу...

«Вот и задворки! Что бы дома застать Илью Федоровича! а то ну-к нету? придется ждать,— а там Ванюшка расплачется, Кондратий заскучает с ним...»

Вошла в задворки баба. Торговец жил на середке села; потому баба пошла прямо по дороге; миновала она двора два, вдруг из одного двора выскочила желтая, косматая собачонка и бросилась на Анисью... Не успела Анисья и повернуться, как собака вцепилась в подол ее крашенинного сарафана и начала трепать. Анисья вскрикнула, хотела оттолкнуть собаку ногой, но пошатнулась, сбилась с дороги, попала ногой в сугроб и повалилась. Собака, торжествуя,

начала рвать ее с большим остервенением: она уже не удовольствовалась подолом, а схватила за голенище валенка и укусила ногу... Баба заблажила во все горло... На крик Анисьи и лай собачонки из двух дворов выбежали мужики и бросились отгонять собаку. Отогнав собаку, один мужик стал подымать Анисью.

— Ах ты пес! Стерва этакая! Что ж ты наделала-то,— ругалась Анисья, разглядывая разорванный сарафан.

— А ты и оборониться не могла? Такую бабу и такой зверь осилил! — трунил над Анисьей один мужик.

— Да хорошо тебе говорить-то! Самого бы тебя потрепать.

— Ну что ж, попробуй!

— Я не собака; что мне пробовать?..

— А говоришь!

Мужики отправились к себе в избы, а Анисья пошла своей дорогой.

Пришла к торговцу в избу Анисья, помолилась и стала здороваться...

— Здорово,— молвил торговец.— Что это ты в снегу вся?

— Да что, вишь ваше село-то какое, собака было заела.

— Чья?

— Шут ее знает! Во втором дворе от вас.

— А, Машухина! Это его, такая-то стерва собачонка. Больно укусила?

— Да под жилку тяпнула, сарафан вот изорвала да голенищу. Ведь с ног долой сшибла.

— Гм... Ишь окаянная... И чего он ее держит? Словно добра много... Я вот побогаче его, да и то не держу.

— На бабу напал он,— проговорила Анисья.— Попался бы мужик хороший, он бы выучил...

Илья Федорович откашлянулся.

— Оно, положим, и бабе, коль захочет, получить можно.

— Ну, баба что сделает?..

— Подай на волостной суд, вот его и поучат; взыщут все убытки, и вот будет знать.

Баба, насторожившая было уши, печально сморщила лицо и, махнув рукой, проговорила:

— Это-то где ж!.. Не с нашим рылом лезть туда...

— Отчего?

— Ведь туда нужно с деньгами: прежде судьев угостить, а потом просить-то.

Илья Федорович погладил бороду.

— Ну нет, это неправда; это при старых порядках, действительно, так, а теперь по-новому. Теперь без всякого твоего угощенья, по чести-совести разберут. Я ономнясь сам в волости-то был и слышал: всякую твою мелочь принять должны.

— Ну да?

— Право!

Баба задумалась; подумав немного, она спросила:

— А как это будет пойти-то, как сказать-то?

— А так, поезжай в волость и заяви: «Так, мол, и так, искусала меня собака,— хочу ублаготворения я получить...» Вот и все тут...

— Разве и вправду так сделать? — вслух подумала баба.

— Знамо, сделай, поучи его, подлеца; он ведь такой пес, гордый, на улице встретится — никогда первый шапки не снимает...

Анисья взяла баранки, завязала их в узелок и отправилась домой.

II

Выйдя из Сорокина, Анисья опустила голову и пошла уже тише, чем сюда. Она вся погрузилась в свои думы и размышляла, как ей будет лучше устроить, на суд пойти. Она обдумывала слова, которые она на суде скажет; представляла, как суд выслушает ее и будет судить Михайлу. В глубине души что-то подсказывало ей, что Михайло не виноват, что виновата собака, но слова Ильи Федоровича: «Коли держишь собаку, привязывай»,— твердо стояли у ней в памяти и затемняли все.

«Что ж, ведь правду,— говорила она сама себе - коли собаку держишь зря не распускай. А то это ни ног, ни подолов не напасешься».

«А что как правда, велят заплатить,- мелькнуло у ней в голове,— вот хорошо-то было бы...»

И она чувствовала, как сердце у ней поднимается выше и бьется сильнее. «Надо идти...» - твердо решила она и с таким решением пришла домой

— Ты что так долго шлялась? Малый-то обревелся совсем,— встретил Анисью муж.

Анисья бросилась к люльке, вытащила оттуда ребенка и приложила его к грудям...

— Что? — плаксиво заговорила она.— Сходил бы сам скорее.

— И сходил бы, давеча сама не пустила.

— Мне нужно самой было по делу.

— Что ж сделала?

— Куда к шуту сделала! со мной там беда случилась, собака чуть не разорвала...

— Жалко, что совсем не съела...

— Да, тебе можно разговаривать-то; самому бы пришлось, тогда узнал бы...

— Чем же ты ей не пондравилась?

— Кому?

— Собаке-то?

— Шут ее знает! только вошла я в улицу, как она набросится и давай трепать; ногляди, что сделала...

— Гм... Ловко! Вот, чай, заблажила-то?

— Смейся, смейся! А ты вот послушай, что добрые люди-то говорят: велят в суд подавать.

— На кого, на собаку?

— Не на собаку, а на хозяина ее. Подай, говорит: там ему прикажут все убытки заплатить.

— Это что ж у тебя кошелек растолстел?

— Ну вот мелет.

— Да как же? В суд-то что надо? Деньги, а без денег как пойдешь?..

— Вот в том-то и дело, что нет. Илья Федорович говорит, что нонче все по чести-совести: без всего приди, выложи,— и рассудят.

Кондратий почесал затылок.

— Ишь ты!

— Право... Я думаю вот что: съездить пожаловаться.

Кондратий взглянул на бабу, бросил валенок, что подковыривал, пошел к приступке и стал курить.

— Что ж говорить-то не об деле? Я вижу, тебе покататься захотелось...

— Не кататься. Илья Федорович говорит, что беспременно все убытки заплатить велят; може, рубля полтора присудят...

— Пожалуй, держи карман-то! Что ж там, дураки разве сидят-то, что будут за бабий подол по полтора рубля присуждать?

— Не за один подол, голенищу ведь разорвала, поджилку вот укусила. Разве мало делов-то...

Кондратий молча выкурил трубку, выколотил ее и проговорил:

— А пожалуй, поезжай, только на чем? Саней-то ведь нету?

— Ну к дяде Андрею сходи, попроси для этого дела...

— А как пискун-то этот расплачется?

— Я его покормлю да перевью; может, до меня-то и помолчит, ведь до волости-то не бог знает сколько...

— Ну ладно, давай обедать!..

Пообедали. Анисья стала кормить маленького, а Кондратий пошел добывать сани и запрягать лошадь.

Заложив лошадь, он вошел в избу и проговорил:

— Ну, поезжай! Да только там живей, лишнего не болтай...

— Ну вот, я не знаю; только расскажу, как было дело, и все тут...

— Ну, ну, ступай!

Анисья вышла из избы и поехала в волость. Часа три ездила баба взад и вперед и вернулась сияющая. Подъехала она ко двору и, не выпрягая лошадь, вбежала в избу.

— Ну что? — спросил Кондратий.

— Вот! — воскликнула Анисья и показала две белых бумажки.— Одевайся скорей, да вези в Сорокино: это — повестки, послезавтра на суд...

— Ну да?..

— Право слово! как сказала я, они и начали эти повестки писать; ну на, говорит, отдай старосте, если Михайла не согласится мириться, то судить его будем.

— Судить?

— Да, так и сказали: мы его судить будем. Послезавтрого и суд.

Кондратий промолчал, он только про себя подумал:

«Н-да... Вот что! За бабу судить! Вот времена-то настали».

И он стал натягивать на себя полушубок, чтобы ехать в Сорокино...

III

Проводив Кондратия, Анисья обогрелась немного и стала подумывать, как бы ей поделиться всем, чем были исполнены душа и сердце, с соседками. Она стала придумывать, зачем бы ей толкнуться к кому-нибудь, чтобы иметь предлог завести разговор. Вдруг, как на ее счастье, дверь в избу растворилась,— и в нее вошла одна подруга Анисьи. Анисья несказанно обрадовалась и уставилась на подругу, ожидая, что та скажет.

— Здорово, касатка! Зачем это твой давеча у Андрея сани брал?

— Да нужно, родимая, нужно...

И она рассказала обо всем подруге и особенно подчеркнула те слова, которые ей сказали в волости: «Если не помирится, то судить будем»...

Подруга, слушая это, немало охала и качала головой. Она, как и Анисья, была убеждена, что суд — серьезная штука; с такими пустяками, как собака потрепала, туда нечего и соваться, а особливо бабе,— и вдруг такая новость!

Поговорив еще кое о чем, подруга ушла от Анисьи и зашла кое к кому поведать только что услышанную новость.

В одной избе, как на грех, собралось несколько баб и мужиков, все они, услыхав слова ее, тоже немало охали и качали головами...

— Ведь вот не знатное дело-то,— сказала баба,— летось моего Проньку кобыла Савостьянова улягнула, я и пошла ему попенять; так он так пугнул меня, что я не чаяла, как из избы выскочить. А вот бы на суд-то!

— Поэтому самое подходящее дело! Собака укусила — и то вот, а кобыла улягнет — чего ж! — сказал один мужик.

— А если волк укусит, можно будет просить? — спросила одна баба.

— На кого ж ты будешь просить-то? Вот чудачка! — молвил другой мужик.

— Это вот если чужая блоха на тебя прыгнет да укусит, еще можно, хозяина найдешь, а волком кого упрешь? — сострил первый мужик.

Все засмеялись. Кто-то выразил сомнение — еще будет ли толк из Анисьиной жалобы.

— А вот увидим: послезавтра не за горами...

Все ожидали с нетерпением послезавтрашнего дня. Анисья накануне суда даже ночи не спала. Она думала, что суд непременно присудит Михайлу заплатить ей, и мысленно распределяла те деньги, которые должно было ей получить. Наступил и судный день. Кондратий опять пошел к Андрею за санями. Запряг лошадь и отправил Анисью на суд...

Приехала в волость Анисья, поставила лошадь к стороне, дала ей сена и пошла в контору...

В волостной конторе все было приготовлено к суду. Стол стоял на нужном месте, судьи в сборе; в сборе были и тяжущиеся; между ними Анисья заметила и сорокинского Михайлу.

Через полчаса начался и суд; разобрали судьи два дела и вызвали Анисью.

— Ну, баба, говори, в чем просишь? — сказал председатель.

— А вот, отцы родные,— заговорила Анисья,— шла, значит, в село к Илье Федоровичу за баранками, и напала, значит, на меня собака и прямо за подол...

— Ну? — сказал председатель.

И Анисья рассказала подробно, как трепала ее собака, как повалила,— и показала, какие изъяны ей нанесла. Судьи выслушали рассказ и обратились к Михайле:

— Твоя собака?

— Моя...

— Что ж ты ее без привязи держишь?

— Сорвалась, право слово, сорвалась...

— А, сорвалась, так, батюшка, нельзя. Как статья гласит?

Отыскали статью, прочитали, и председатель обратился к Михайле:

— Ты виноват.

— То есть как? Стало быть, чем же?

— А тем, привязывай!

— Да, право, на привязи была, да сорвалась.

— Глядел бы да не допущал.

— Да разве углядишь? ведь не думано.

— Ну коли не думано, так вот заплати ей... два целковых будет?

— Будет,— отвечали судьи.

— Ну вот, два рубля и выложь...

Михайло опешил.

— Два рубля? Да что вы, родимые? пожалейте!

— Это вот ее попроси, она не смилуется ли,— указали судьи на Анисью.

— Родимая! — обратился Михайло к Анисье.— Ослобони, ну что тебе доспелось?

Но Анисья, услыхав о двух рублях, твердо решила не сдаваться...

— Как что доспелось? Ишь ты. Если бы тебя так искусать, тогда узнал бы...

— Да на, кусай! Откуда хочешь начинай, только не тревожь, ради бога.

— Что ты, бог с тобой? Чего я тебя буду кусать? Что зря болтать, я убытки взыскиваю...

— Да что же, неужели у тебя на поджилках на два рубля добра выкусила? Побойся бога-то!

— Я не о поджилках говорю, у меня вот сарафан разорван да голенище испортил, за это заплати...

— Да не два же рубля? Да стоит ли этого собака-то?.. А то вот что, если уж на то пошло, то возьми ее себе... Что хочешь над ней делай!

— Что ты, бог с тобой, куда она мне? — отбивалась Анисья.— Мне деньги подай!

Михайло понял, что бабу не упросишь, и махнул рукой. Председатель, видя, что примиренье не состоялось, велел писать приговор...

— А как же мне с него получить? — обратилась Анисья к судьям.— Поучите!

— Ты отдай ей, не канителься,— сказал Михайле председатель,— а то худо будет. Через старосту стребуют.

— Ладно уж, дома отдам, сейчас нету,— сказал Михайло и горько вздохнул...

Анисья поняла, что делать больше нечего, и поехала домой.

Домой приехала Анисья торжествующая; только она вошла в избу, как, обратившись к мужу, затараторила:

— Ну вот, ты еще думал, ничего не выйдет... Ан и вышло: два целковых присудили...

Получила?

— Нет, не получила, а завтра поеду получать.

— Вот как-с,— проговорил Кондратий и замолчал.

Вот получу деньги, куплю себе ситцу, новый сарафан

справлю, да, може, еще Ваньке на рубашку выгадаю,— загадывала Анисья.

Услыхали павлочинцы, чем дело кончилось, удивились; некоторые бабы даже позавидовали Анисье.

— Ишь ведь счастье какое! собака укусила, и два целковых... Дела!

Анисья, видя это, еще больше торжествовала. На другой день она, истопивши печку, поехала получать деньги. Михайло не упирался; он отдал два целковых и только обругал ее вдогонку.

— Ишь, дьяволы! таскаются тут, распустивши хвосты-то, а там и плати им.

Анисья не обратила внимания на эту ругань и, завернувши бумажки в узелочек, живо поехала домой.

Приехав домой, Анисья отпрягла лошадь, велела Кондратью отвезти сани к хозяину, а сама пошла в избу. Кондратий отвез сани, пришел домой, и только хотел начать уговаривать жену — полученные деньги истратить вместо сарафана на сани, как в избу вошел дядя Андрей.

— А я не спросил тебя, когда ты мне дровни-то подвез: что, получили деньги?

— Получили.

— Неужели правда?

— Правда, два рубля...

— Значит, не задаром мои сани ездили?

— Нет.

— Ну так угощение с вас?

— За что?

— Да вот за то, что сани мои брали, ведь три дня ездили.

— Да что им сделалось-то, дядя Андрей? — сказала Анисья.

— Мало что, а тебе что сделалось? А вот два целковых заплатили.

— Мне-то присудили.

— Ишь ты какой жадный, дядя Андрей,— не вытерпев, проговорил Кондратий.— Как тебя на чужое добро зависть-то мучит!

— Он сроду такой сквалыжник! — сказала Анисья.

— Кто, я сквалыжник? Ах ты шлюха, смеешь ты мне эти слова говорить!

— Постой, ты не ругайся,— ощетинившись, крикнул Кон-

дратий,— я в своем доме не дам...

— Велика ты фря в своем доме,— побирушка!

— А ты чужеспинник: сноху работой замаял, а сам на печке лежишь,— крикнула Анисья.

— Врешь, стерва! — закричал Андрей и подступил к Анисье.— Это ты на муже верхом ездишь да за нос, как дурака, водишь!

Кондратий взял за плечи Андрея и вытолкнул его из избы. Андрей остановился в сенях и хотел было упереться, но Кондратий вытолкал его и из калитки.

— А, ты так-то, разбойник? Постой! Я с тобой расправлюсь; вы думаете, для вас одних суд-то устроен? Нет! И мы найдем дорогу,— грозил Андрей.

— Ищи, дьявол тебя задери! — крикнул ему вгорячах Кондратий.

Действительно, на другой день староста привез Кондратию повестку, которой его вызывали через две недели на суд в качестве обвиняемого в оскорблении действием Андрея Бакулина. Получив повестку, он почувствовал, как сердце его заныло, и ему стало очень нехорошо.

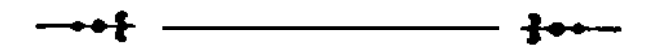
«Вот так попался,— подумал он,— теперь беда: за то, что собака укусила, на два рубля осудили, а мне, значит, и не так еще нагорит».

Когда староста ушел, Кондратий со злобой накинулся на жену.

— Вот, стерва, указала дорогу на свою голову: не заводила бы тогда канители, може, ничего бы не было, а то вот!..

И он ткнул ей под нос повесткой и отвернулся. Анисья хотела заплакать, но, поняв, что она действительно во всем виновата, только сморщилась и низко опустила голову.

1893 г.



«Шпитонок»[1]

Рассказ

I

Было очень раннее утро. Ночная темнота чуть-чуть поредела, как одна из заботливых хозяек деревни Пуриковой, Маланья Гарина, уже вскочила с постели, накинула на вскосмаченную голову платок, пошатываясь подошла к окну и выглянула на улицу.

На улице было темно и тихо. Хотя на востоке загоралась заря и звезды начинали тускнеть, но в Пуриковой все еще спали.

Время было — вторая половина августа. Везде шло яровое жнитво, во время которого в поле рано не ходят, а дожидаются, когда сойдет роса, поэтому вставать и не заботились.

Видит Маланья, что светает уже, решила больше не ложиться и отошла от окна, подошла к рукомойнику и стала умываться.

Пока умывалась и молилась Маланья, делалось все светлее и светлее. В избе уже можно было все разглядеть: и постланную на полу широкую соломенную постель, на которой спали большой косматый мужик, муж Маланьи, и двое ребятишек — девочка лет десяти и мальчик лет пяти; и стол, и лавку, и коник, где лежала куча разного тряпья. Помолившись, Маланья подошла к постели и стала толкать мужа ногой.

— Аксен, а Аксен!

— А-а? — заспанным голосом промычал Аксен и, не открывая глаз, начал почесываться.

— Будет дрыхнуть-то, вставай!

— Что такое там? — пробормотал Аксен и, поднявши голову, стал протирать глаза.

— Что? Вставать пора, чай, косу бить надо.

[1] Так зовут в деревне питомцев воспитательного дома.

Аксен ничего не сказал, а молча поднялся с постели, подошел к конику, сел на него и стал набивать трубку. Маланья пошла доить коров.

Когда Маланья, подоивши коров, вернулась в избу, Аксен все еще сидел на конике и курил. Маланья осердилась.

— Ишь надымил, дышать нельзя...

— А ты не дыши, кто тебя заставляет? — выколачивая трубку, проворчал Аксен.

— Не дыши,— вот горазд ты незнамо что молоть-то, а нет того, чтобы поскорее за дело взяться.

— За какое? Коров доить? Пожалуй, без привычки-то все соски пооборвешь.

— Тебя коров доить не заставляют.

— А печку топить — бороду спалишь; это вам потому и бороды-то не дано, что печку топить положено.

— Вот и поговори с дураком,— уже совсем разозлившись, сказала Маланья и, процедив молоко, подошла к постели и стала толкать спавшую там девочку.

— Дашка, а Дашка! Дашка!

Девочка что-то промычала, но не очнулась.

Маланья взяла ее за плечо и стала трясти.

— Дашка! Тебе говорят-то, вставай!

Девочка опять что-то промычала, но не просыпалась. Маланья совсем из себя вышла.

— Да что ж ты не встаешь-то, дрыхня этакая! — крикнула она.— На вилах, что ли, подымать? Вставай!

И Маланья так тряхнула девочку, что та сразу вскочила на ноги и заплакала.

— Что захныкала? Спать бы тебе все, крапивница! А нет заботушки, чтобы пораньше встать да что-нибудь матери пособить! У, выпороток.

Девочка сразу замолчала и как-то съежилась. Постояв минуту на одном месте, она подошла к рукомойнику и стала умываться.

- Ворочайся проворней да за грибами ступай, обеги места-то, пока другие не захватили,— крикнула Маланья.

Дашка нагнулась под лавку и стала что-то шарить там.

Ты что там еще лазишь?

Да обуться во что бы, а то холодно,— как-то жалобно пропищала Дашка.

Я те дам холодно,— крикнула Маланья.— Ишь какая

нежная, знать, правда все шпитонки-то на дрожжах замешены. Так ступай: нечего без поры безо времени обувь трепать.

Дашка еще больше съежилась, личико ее сморщилось, глазки слезами заволокло. Ничего не сказала она, а взяла корзинку и вышла из избы.

Маланья стала топить печку. Аксен умылся, обулся и пошел отбивать косу. Отбивши косу, он опять вернулся в избу. У Маланьи дымился горячий картофель в котле. Заметив это, Аксен проговорил:

— А, и завтрак готов?

— Готов,— промолвила Маланья,— садись!

Аксен вымыл руки, вытер их об утирку и стал молиться на иконы. Помолившись, он взглянул на спящего на постели мальчика и спросил:

— А как же Николку-то,— будить?

— Пущай его, ишь как крепко спит,— сказала Маланья и с нежностью поглядела на мальчика.

— Да поел бы вместе.

— Ну после поест. Я ему оставлю.

Аксен сел за стол, отрезал себе хлеба, вынул из стола солонку и стал чистить картофель. Маланья поставила чашку на стол и налила в нее молока. Стали завтракать.

Не успели Аксен с Маланьей и по одной картошине съесть, как Николка зашевелился на постели и поднял голову. Увидав, что отец с матерью завтракают, он протер глаза и пролепетал:

— Мама, поесть.

— Поди, поди, маленький, поешь, только умыться надо. Поди — умою.

И Маланья взяла Николку на руки, поднесла к рукомойнику, умыла, утерла и посадила за стол. Мальчик взял кусок хлеба.

— Картошеньки хошь? — сказал Аксен и подал Николке картошину.

Мальчик покрутил головой.

— Не хочу картошки, коку хочу,— пролепетал он.

— Коку? о, миленький, сейчас,— сказала Маланья и, погладив по голове мальчика, вышла из избы и принесла из горенки яйцо. Открыв заслонку, она положила его в печку и проговорила:

— Вот сейчас испечется, подожди маленько.

Мальчик стал хлебать молоко.

Позавтракали. Маланья живо собрала все со стола и вынесла из избы. На столе осталась только небольшая горбушка хлеба и несколько картошин. Это Маланья положила в стол и сказала Николке:

— Николушка! это вот няньке вели поесть, когда из лесу придет, да вели ей скорей перебирать грибы да в поле к нам приходить с граблями.

Маланья одним духом убрала постель, вынесла пойло поросенку, нацедила кувшин квасу и вышла из избы. У крыльца сидел Аксен и прилаживал к косе грабельки.

— Ну, пойдем,— сказала Маланья.

— Пойдем,— сказал Аксен и, поднявши косу на плечо, пошел через улицу.

— А ведь роса-то сегодня очень холодная, девке-то нашей знобко будет,— сказал он.

— Ну, авось не околеет, живая душа,— молвила Маланья, шагая за мужем.

II

Даша только вышла из избы и сошла с крыльца, как почувствовала, что роса так холодна, что босиком идти трудно; но воротиться в избу и сказать об этом матери (как звала Маланью Дашка) она не решилась. Она знала, что все равно Маланья не даст ей обувки, а еще, пожалуй, пинком наградит; поэтому она, не раздумывая, прямо побежала в лес.

Лес от деревни был не более как в версте, но Дашка не пробежала и половины пути, как почувствовала, что ноги ей совсем охватило холодной росой: их и щипало, и кололо. Дашка, чтобы согреть их, побежала из всех сил.

Когда девочка прибежала в лес, то ноги ее прозябли до костей. Они так больно ломили, что Дашка еле могла сдержаться от слез. Добежавши до первой елки, она бросилась под нее. Под елкой травы не было, а был насыпан игольник, поэтому не так холодно было. Дашке стало полегче, и она села под елкой, поджала под себя ноги и теплотой своего тела стала согревать их. Ноги согрелись немного, но Дашке не легче стало от этого: они «разошлись с пару» и так защемили и заломили, что Дашка уже не могла сдерживаться больше и заплакала в голос.

— О, батюшки! ой, больно! — хватаясь за ноги ручонками и корчась всем телом, голосила Дашка.— У-у, родные мои.

Но ноги от этого не переставали ломить. Они как в огне горели. Сердечко Дашки от этого разошлось. Ей стало и больно, и досадно на Маланью, что она ее разутую в лес выгнала. «Ишь, ей обувки жалко, а не жалко меня-то. Небось Николку так не выгнала бы», — подумала она.

И Дашке стало так горько и обидно, что она еще больше расплакалась.

Ей вдруг представилось, как обходились с ней все время Аксен с Маланьей и все люди, и это еще больше надрывало ей сердце.

III

Вывезли Дашку из воспитательного дома в небольшую семью; взяли ее потому, что свой ребенок умер, на его место и взяли. Там ее думали и вырастить, но вскоре кормилица Дашки опять родила, потом через год еще. Ребята остались живы, и Даша стала в тягость, и стала кормилица ей место приискивать...

Отдали ее Маланье. Девочка горько плакала и кричала, когда ее взяла Маланья и повезла к себе. Привезла ее Маланья домой, хотела приласкать, дала ей баранку, но Дашка вывернулась от Маланьи, не взяла и баранки, а бросилась к двери и закричала, обливаясь слезами:

— Мама, мамушка... Мама!

Маланья, видя, что девка не на шутку разошлась, велела Аксену попробовать унять ее.

— Ты что ж это орешь-то, а? — притворно сердито крикнул Аксен.— А хочешь прутом? Замолчи лучше.

Дашка испугалась, затряслась и сразу притихла.

Маланья посадила ее на печку. Дашка долго там всхлипывала, пока не обессилела; потом она крепко заснула.

Проснулась Дашка, огляделась кругом, вспомнила, где она, и опять в слезы. Маланья стала было опять утешать ее, но Дашка и слушать ее не хотела; отпихнула она прочь ее и закричала:

— О мама, о родная!

Маланья рассердилась.

— Я тебе дам маму, какой там еще маме кричишь, я тебе мама, слышишь! А будешь плакать — волку отдам.

Дашка опять забилась в угол, но не перестала плакать. Стала понемногу привыкать она к новому месту. Но так привыкнуть, как к родному, она не могла, все ей вспоминалась прежняя матка, и она тосковала по ней, на Маланью же с Аксеном волком глядела. Они также к ней ни любви, ни жалости не чувствовали: взяли они ее, как и почти всех «шпитонков» берут, из выгоды. Они только что отделились тогда от отца, нужды у них было много, ну и взяли, чтобы деньгами за нее нужде помочь. Сразу заложили они Дашкин билет, удовлетворили кое-какие нужды свои, а про Дашку и забыли, ни рубашонки, ни одежонки ей порядочной не справили. Держали они ее в чем попало, а кормили впроголодь. На то, что она тосковала, никто не обращал внимания. И сидела она в уголке где-нибудь или на печке. Помешает она Аксену или Маланье, дадут ей подзатыльник, перейдет она в другое место. Так и слонялась она целый день из угла в угол.

На первых порах, как привезли Дашку, стали было забегать в избу к Аксену ребятишки и девчонки, забегут и станут Дашку или на улицу звать, или в избе затеют играть, но Маланья живо отучила их.

— Куда вы пришли-то? — крикнет она на них.— Ребенка смущать? Убирайтесь, наша девка вам не товарка, у вас-то отцы и матери есть, они вас и балуют, а наша шпитонок, кто ее справлять-то будет? Ступайте вон.

Так росла Дашка загнанная и запуганная. Слезлива она была так, что от малейшей причины плакала. Больше всего за это ее не любила Маланья.

— Эх ты,— говорила она,— нюня этакая, все сердце надорвала; когда ты только поумнеешь-то?

Пошел третий год, как Дашка у Аксена с Маланьей жила, нужды у них поубавилось за это время, и они стали думать отдать Дашку кому-нибудь, да случилось так, что Маланья сама забеременела и родила. Дашка ей стала нужна как нянька. После того, как родила Маланья, жизнь Дашки еще хуже пошла. До этого с нее хоть ничего не спрашивали, а тут заставили ее нянчить маленького, качать его, жевать соски, бегать на речку с пеленками. Зимой еще не так трудно было: Маланья сама дома сидела, больше сама с ним занималась, но настало лето, начались работы,

стала Маланья из дома уходить,— и пришлось девочке по цельным дням с Николкой сидеть. Мальчик был уже порядочный, разойдется, расплачется, не знает что и делать с ним Дашка. Как его утешить? И в люльку-то его положит, и опять вынет,— начнет по избе с ним ходить, он плачет, и она с ним, и таскать-то его тяжело, и досадно, что не уймет ничем, и боится, чтобы мать не узнала, что орал у ней. А Маланья если узнавала, то не давала спуску: ты что ж, скажет, дура, не можешь ребенка уходить? и даст ей или тумака хорошего или за волосы дернет.

Чем больше вырастал Николка, тем хуже становилось Дашке. Мальчишка балованный, гневливый, от всякой малости раскричится так, что не унять его. Только Дашка отвернется на минутку, из люльки после него убрать или пеленку замыть, а он уж разорался.

Не любили Дашку ни ровесники, ни большие; все видели, какое житье ее, и все думали, что так и надо. «Что ж,— думали многие,— чего ж еще ей? Ведь она шпитонок».

Николка стал подрастать, начал кое-что смыслить, стал ходить, говорить. Дашка думала,— чем больше Николка будет, тем легче ей станет. Не тут-то было: мальчик вышел капризный, избалованный, нянькой стал всячески помыкать; разозлится иногда, царапает ее, начнет кусать. Маланья глядит на него и только посмеивается.

— Так, так ее, сынок, хорошенько, вперед умней будет.

Маланья говорила это в шутку, а Дашке было больно; но отбиваться от Николки она боялась и волей-неволей должна была все переносить на себе. Стал больше подрастать Николка, стало Дашке еще хуже с ним, приучился он драться с нею, стал матери на нее наговаривать: то бьет она его, то объедает. Дашке это не спускали.

Один раз Николка под беду ее подвел. Пошла она раз весною с Николкой к пруду. Стали бегать там на бугре, цветы рвать. Вдруг Николка вздумал взойти на кладки, с чего белье полощут, и оттуда ноги помыть. Дашка побоялась, как бы не свалился с кладок, стала его уговаривать не ходить туда. Николка обозлился, рванулся от нее и от этого не удержался на досках и упал в воду. Дашка как увидела это, так чуть не обмерла от испуга. Бросилась она на кладки и закричала во всю мочь:

— Николка утопился! Николка утопился! Батюшки мои!

Крик Дашки услыхала одна баба, подбежала к пруду, поймала Николку за рубашонку и вытащила. Николка был без памяти. Баба отнесла его домой. Маланья как увидела мальчика мокрого и недвижимого, так чуть на ногах удержалась. Бросилась она к нему и вместе с бабой начала приводить его в чувство. Когда Николка опамятовался, то Маланья стала расспрашивать, как он в воду попал. Николка сказал, что его нянька столкнула.

— Это что ж, он надоел тебе, что утопить его хотела? — набросилась Маланья на Дашку.— Ах ты, подлая тварь, вот я тебе покажу дворянство.

Дашка поняла, что ей теперь немало вольется, пощады ей нечего ждать, и сердечко ее похолодело.

Стала она думать, как бы избежать наказания, и решила убежать из дома.

Выждав, когда Маланья вышла из избы в горенку за сухой рубашкой Николке, Дашка потихоньку тоже вышла из избы, пробралась на огороды и оттуда через поле бросилась в лес. Прибежав в лес, Дашка забралась в густой чащарь и засела там. Долго она сидела, ничего не думая, и только дрожала от волнения. Потом в голове ее зародились мысли, стала она думать, что дома делается:

«Небось там ищут меня, мамка сердится; пущай поищут, а я не пойду туда, буду здесь сидеть».

И она дальше забилась в чащарь и свернулась калачиком. Ей было приятно, что она избежала наказания, а что дальше будет, ей еще не приходило в голову.

Долго сидела Дашка довольная, что так сделала, пока ей не захотелось поесть. Она долго крепилась, но голод взял свое, и Дашка вышла из чащаря, побрела по лесу и стала рвать ствольняк и щавель на лужайках и есть. Наелась Дашка до оскомины и нарвала было в запас себе, и хотела опять спрятаться в чащарь, как на нее наткнулись мужики, которых выгнали искать ее. Они схватили ее и повели в деревню.

Маланья встретила Дашку с перекосившимся от гнева лицом. Она молча схватила ее за руку и потащила за двор, где у них был небольшой садик. Там она наломала прутьев из крыжовника и стала хлестать ее. Дашке никогда так больно не приходилось. В ее тельце впивались острые шпильки крыжовника и, отламываясь, оставались там. Она благим матом кричала, что она не виновата, но Маланья

ничего не слыхала. Она оставила ее только тогда, когда прутья все измочалились и она сама устала. Дашка повалилась на траву и, корчась от боли и рыданий, осталась тут. Когда Маланья стегала Дашку, то за загородкой стояли мужики и бабы и глядели на это. Все они стояли молча, жалости к девочке ни у кого не было. Маланья всем рассказала, что Дашка нарочно толкнула парня в воду, поэтому все и считали, что стегают за дело. Только одна старуха не вытерпела и пожалела было Дашку. Она бросилась к Маланье и хотела у ней отнять девочку, но Маланья тут уж сама бросила и ушла из садика. Ушли за нею мужики и бабы; старуха осталась одна с девочкой.

— Эво как бьется, сердечная,— сказала старуха, глядя на Дашку.— Небось сердечко зашлось. Дорвалась до тебя эта ведьма-то. И что это за люди, что у них к чужому дитю жалости нет?! — И старуха хотела было поднять Дашку с земли, но Дашка не вставала.

— Вставай, дурочка. Пойдем, в избу сведу,— сказала старуха.

— Никуда я не пойду, я умру тут,— захлебываясь от рыданий, пролепетала Дашка.

— Не умрешь, коли бог смерти не пошлет,— сказала старуха.— Хоть бы лучше помереть тебе, потому что уж что твоя за жизнь? Как ты сама не законная, так и жизнь твоя такая...

Дашка и тогда и после думала, отчего она незаконная и отчего ее такая жизнь? — но своим умом она еще не могла решить, и только после эта же старуха разъяснила ей, кто такое она и почему зовется «шпитонок». Дашка узнала, что у ней, может быть, есть родная мать и, может быть, еще живет в Москве богато. Она очень удивилась этому.

— Что ж она не возьмет меня к себе? — спросила она старуху.

— Как же ей взять тебя, может быть, она тайно тебя родила, чтобы никто не знал. А может, она в чужих людях живет, так где ж ей держать тебя? — сказала старуха.

Девочке это было понятно.

— Так, знать, ей не жалко меня, коли так?

— Где жалко! Она, чай, о тебе и не думает: родила, стащила, и ладно. Може, она после тебя еще пятерых родила да также сволокла.

— Так зачем же она родит-то?

— Так, родится...— сказала старуха.— Впрочем, не все одинаковые, бывают и жалостливые, находят своих деток.

— Матери находят?

— Да, разыщут, или с собой возьмут, или сюда наезжают, проведывают.

— И батьки находятся?

— Нет, не слыхала, да разве у шпитонок есть отцы? Они небось и не знают и не думают, что у них дети есть.

Узнавши это, Дашка стала часто думать и желать, чтобы ее мать нашлась. Приехала бы и увезла куда-нибудь, где жизнь Дашки не такая была бы. И в таких думах Дашка забывала свою горькую долю. Зато еще тяжелее ей было, когда приходили эти думы. Видела она, что этого никогда не исполнится, что только думать об этом можно...

IV

Сидит Дашка в лесу и перебирает в памяти свою горькую жизнь. Ноги у девочки давно отошли, но сердце ее больно щемило, в горле у нее пересохло от рыданий, а она все плакала, плакала. Глаза у ней опухли и покраснели. Голова сильно болела, знобило. Однако Дашка вспомнила, зачем пришла в лес, и быстро вскочила на ноги. В голове ее еще сильнее застучало, но подумала, что это от слез, и пошла по лесу. Солнце давно уж обогрело землю, роса осталась только в тени деревьев. Дашка уже не чувствовала холода и проворно бегала от елки к елке и нагибалась под них, ища грибов.

Но грибов ей на это утро мало попадалось. Должно быть, их выбрали, пока она сидела под елкой. Дашка испугалась, как ей прийти домой с пустой корзинкой. Опять сердечко ее заныло, голову еще сильнее заломило. Дашка пошла тише. Озноб прошел, но вдруг все тело ее в жар бросило, руки у ней онемели, коленки задрожали, она еле могла идти.

«Домой надо идти,— решила девочка,— что ни будет, что ж ходить?» И ее тянуло домой, захотелось прилечь, и она пошла вон из леса.

Пришла Дашка в избу, поставила корзинку под лавку и легла на коник. Николка, игравший около печки, увидав ее, крикнул:

— Нянька, мама тебе поесть велела да в поле приходить, грабли с собой взять!

Дашка ничего не сказала, а накрылась зипуном с головой. Ее опять бросило в озноб, и голову страшно ломило.

— Что же не идешь-то, дура? — лепетал Николка.— Она те, мама-то, задаст!

Дашка всхлипнула и застонала. Николка замолчал и удивленно вытаращил глаза.

Между тем время приходило к половине дня. Аксен с Маланьей в поле уже докашивали третью полосу овса. Маланья то и дело обертывалась на деревню, поджидая Дашку, но ее было не видать. Маланья сначала удивлялась, отчего нейдет до сих пор девка, потом стала злиться.

Когда докосили третью полосу, Маланья завязала последний сноп и сказала Аксену:

— Ну, ты тут таскай снопы да крестцы клади, а я пойду домой за обедом да узнаю, что там энта дура-то делает.

— Ладно, ступай,— молвил Аксен.

Маланья побежала ко двору. Ее разбирала досада, что девка не пришла в поле. Она представляла себе, что ее могло задержать дома, и ничего не могла придумать.

«Разве грибов много принесла, ну и не перебрала еще»,— подумала Маланья, и при этой мысли досада ее маленько поулеглась, и она спокойнее зашагала к деревне.

Придя домой, Маланья быстро окинула избу взглядом и вдруг заметила валявшуюся на лавке пустую корзинку и самое Дашку, лежавшую на конике под зипуном. В один миг Маланью охватила сильная злоба, голос у ней сразу пресекся в горле, и на лице краска выступила.

— Ты что же это, подлая, валяешься тут? Тебя в поле ждут, а ты дома дрыхнешь. Ах ты лежебока проклятая! — хрипло проговорила она.

И Маланья подошла к лавке и сдернула зипун с Дашки. Девочка подняла голову, испуганно взглянула на мать и хотела было сказать, что у ней голова болит, но Маланья не дала ей и рта разинуть, а схватила ее за косенку и стащила с коника. Дашка запищала.

— Молчать, отродье поганое,— крикнула Маланья,— живо собирайся в поле... Ах ты, дармоедка чертова.

И она дала Дашке пинка в спину и пошла к Николке. Дашка, шатаясь и обливаясь слезами, пошла из избы за граблями.

Приласкав Николку, Маланья полезла в печь и достала горшок щей и только что хотела вылить их в глиняный кувшин, чтобы нести в поле, как ей послышался колокольчик. Маланья поставила горшок и подошла к окну. Колокольчик слышался недалеко. Выглянув в окно, Маланья увидела едущего вдоль улицы на паре рыжих сытых лошадей, запряженных в тарантас, полного господина в очках и в фуражке с кокардой и живо отскочила от окна.

— Батюшки, объездной! [1] — воскликнула она, опрометью бросилась к двери и закричала: — Дашка, а Дашка! Иди скорее в избу!

Дашка вошла с опухшим лицом и еще всхлипывая.

— Умывайся скорей, к объездному пойдем,— крикнула Маланья, бросилась к небольшому сундучку под лавкой и стала вытаскивать из него белье для Дашки.

— Ну, умылась, что ли? — спросила она, и когда девочка подошла к ней, то Маланья живо стащила с нее грязный набойчатый сарафанчик, накинула чистое ситцевое платьице и повязала желтенький платочек. Платьице было коротко и узко Дашке, но еще крепкое. Сшито оно было давно и надевалось на Дашку, когда приезжал объездной да разве в большие годовые праздники.

Нарядивши девку, Маланья велела глядеть ей повеселее, взяла за руку и повела к объездному.

Объездной надзиратель объезжает округ в два месяца раз и осматривает питомцев сам, взрослых спрашивает молитвы, учащихся грамоте проверяет в ученье и, найдя все в порядке, подписывает билет, по которому получается жалованье за питомцев. Если он находил что-нибудь не в порядке, то мог не подписать билет и этим оттянуть получку, или оштрафовать, или совсем отнять питомца и передать в другие руки. Поэтому все, у кого были питомцы, старались так сделать, чтобы объездному не к чему было придраться. Они приносили и приводили питомцев чистенькими, хорошо одетыми, больших подбадривали и научали, что отвечать. Большею частью объездной беспрепятственно подписывал билет, но этот раз он был почему-то очень придирчив. Одну бабу разругал за соску, другой не подписал билет за то, что семилетний мальчик у ней не знал ни одной мо-

[1] Чиновник, который собирает сведения о питомцах воспитательного дома.

литвы. У Маланьи сердце дрожало, как бы не придрался и к ней. Хоть Дашка и умылась, но все еще было заметно, что она плакала. Да и вид-то у ней такой грустный был. Маланья вздрогнула, как объездной крикнул:

— Дарья Петрова!

Она подпихнула девчонку к объездному и стала глядеть, что будет. Объездной взглянул на Дашку и спросил:

— Богородицу знаешь?

— Зна-а-ю,— не сразу и шепотом сказала Дашка.

— Читай!

Дашка потупила голову и стала читать молитву, растягивая слова. Голос ее был сиплый, объездной плохо разбирал.

— Громче читай,— сказал он.

Дашка вдруг остановилась и всхлипнула. Объездной сердито взглянул на нее и взял за подбородок.

— Это что такое? Да ты плакала?

Дашка разрыдалась совсем.

— О чем? Кормилица, ты ее обижаешь?.. Как ты смеешь казенного ребенка обижать? Тебе за него жалованье платят.

— Я, барин, кажись, ничего, ей-богу,— стала оправдываться Маланья.

— Как ничего? Я вижу. Я и раньше слышал, что ты дурно с ней обращаешься...

— Что, она тебя бьет? — спросил объездной Дашку.

— Б-б-бьет! — еле вымолвила девочка и еще пуще разрыдалась.

— Ну вот! Ах ты, негодница! Да я тебя под суд отдам. Я тебя выучу, как питомку обижать. Три рубля штрафу. Слышишь?

— Барин, простите, Христа ради: это она вам сдуру наболтала.

— Ни слова, а то больше запишу. Ах, каналья, да я тебя...

Маланья взяла Дашку за руку и вышла из избы, где объездной остановился. Только она очутилась на улице, как стиснула изо всей силы руку девочки и, сверкая глазами, прошипела:

— А-а, ты жалиться на меня? Постой, я те задам!

И она чуть не волоком потащила Дашку вдоль деревни, к своему двору.

Войдя в избу, Маланья, не выпуская из рук ручонку Дашки, сняла с колышка висевший на нем ременный чересседельник, с железным кольцом на одном конце.

Дашка, увидавши это, вдруг вся затряслась и посинела от испуга. Сегодня и то немало пришлось ей вынести. Она и так была вся больна. Дрожа как в лихорадке, она опустилась на колена перед Маланьей и завопила:

— Мамушка, милая, прости, Христа ради... не трожь меня... лучше еще когда, мамушка, милая.

Она вся обливалась слезами, на нее жалко было глядеть, но Маланья остервенела и, кроме своей злобы, ничего не хотела ни видеть, ни слышать. Она взмахнула чересседельником, и конец с кольцом впился в худенькую спину Дашки...

Когда Маланья вернулась в поле, то Аксен был такой сердитый, что только она подошла к полосе, как он крикнул:

— Какого ты черта шлялась там до этих пор? Ты бы уж вовсе не приходила...

— Ты бы поскорей сходил, коли шустер больно. Там небось объездной приезжал, к нему ходила.

Аксен сразу осел и уже мягким голосом спросил:

— А Дашка-то что ж не пришла?

Маланью повело от вновь вспыхнувшего гнева.

— Дашка... Надейся на нее. Ведь она, дрянь, что сделала! Объездному пожалилась на меня, что я бью ее. Теперь штраф на нас записали.

— Ну, ты?

— Ей-богу. Ведь такая-то негодная девчонка, кажись, взяла бы да убила ее. Вот как она меня доняла.

— Да отдать ее кому-нибудь, шут с ней совсем; теперь Николка один посидит, не маленький.

— Отдать как? Жалко ведь, работница год от года. Маленькую держали, а теперь и того нужней.

— Да греха-то с ней что.

— Ну, теперь, може, поумнее будет,— поучила я ее, забудет, как жалиться.

— Хорошенько бы ее надо... вот погоди, я до нее доберусь,— сказал Аксен и принялся за обед.

V

Но Аксену добраться до Дашки не пришлось. Когда они вечером пришли домой из поля, то Дашка лежала без памяти и бредила. От нее пышало как от печки. Дыханье из груди вылетало с хрипом. Она то и дело металась по полу, где она лежала, и колотилась. Аксен перенес ее на лавку. Всю ночь Дашка почти не спала. Она бормотала бессвязные слова, просила пить и стонала. Утром, когда Маланья топила печку, Дашка спала. Спала она тоже беспокойно. Маланья и Аксен сурово глядели на нее, но ни слова между собой о ней не говорили.

К тому времени, как идти в поле, Дашка проснулась, но подняться с лавки не могла. Маланья взглянула на нее и спросила:

— Есть-то будешь, что ль?

Дашка покрутила головой.

— Ну, не хошь, как хочешь,— сурово проговорила Маланья и, спрятав все, как вчера, пошла в поле. Николка тоже пе захотел дома сидеть и побежал на улицу. Дашка осталась одна в избе.

Долго лежала она неподвижно, глядела в потолок и ничего не думала, только отгоняла рукой мух с лица. Потом спина у ней занемела, ей стало больно, и она перевернулась было на бок. Но тут она почувствовала, как все тельце ее ломило, в голове шумело, а рубцы от вчерашней стежки как огнем зажгло. Трудно стало Дашке, и она громко застонала.

— О, батюшки мои, о-о! — причитала Дашка, и горькие слезы катились из глаз ее.

Боль в теле как поднялась, так и не унималась.

Дашке что дальше, то тяжелее было, она все громче и громче стонала...

Только к вечеру будто бы немножко полегче стало, перестала она стонать, начала думать:

«Господи! нет у меня ни одной души родной... Да как же это жить-то так? Ведь это хуже собаки. Уж лучше бы умереть, коли так. Вот если бы, как у других, были бы отец с матерью, братья, сестры, или хотя одна мама была бы, нашлась бы, приехала из Москвы и взяла меня, ну тогда бы... А что вдруг правда бы моя мать нашлась,— мелькнуло в голове Дашки.— Приехала бы, взяла меня,— вон как бабуш-

ка Марья про Настьку Федосееву рассказывала: приехала, привезла ей гостинцев, одежину, платье, взяла в Москву и держит у себя, жалеет, говорят, грамоте учит. Вот бы и меня так, вот тогда хорошо бы было...»

И Дашка так замечталась, что и про болезнь забыла; хорошо и радостно ей было, счастливая улыбка играла у ней на устах.

Между тем тельце ее горело в жару. По временам поднималась невыносимая боль в голове и в избитых членах, и вдруг все ее думы и мечты рассеивались как дым.

Вечером, когда Аксен с Маланьей пришли из поля, Дашке совсем было плохо.

Ее положили под образа.

— Пожалуй, не отмотает девка,— проговорил Аксен.

— Ну, не отмотает, так нечего делать, убытку немного,— молвила Маланья.

— Да вот, как ты говорила,— работница-то год от года.

— Ну, понадобится, так другую возьмем, этого добра много.

— Так-то так,— сказал Аксен и задумался. Подумав немного, он вздохнул и стал набивать трубку.

Ночью Дашка лежала смирно, только раза два принималась тихо стонать. Утром, со светом, она кончилась.

День, когда Дашку везти хоронить собрались, был праздничный. К Аксенову двору собралось много народа глядеть, как повезут покойницу. Аксен запряг молодую сытую лошадь в новую телегу, наклал сена и покрыл его рогожкой; потом он пошел в избу и вскоре, вместе с одним мужиком, вынес оттуда новую домовинку с телом Дашки, которую они поставили в телегу. За гробом вышла из избы Маланья. Она была сердитая и ни на кого не глядела. Подойдя к телеге, она положила в нее узелок с хлебом и сказала Аксену:

— Ну, трогай.

Аксен взялся за вожжи, народ закрестился, и многие вслух проговорили:

— Ну, дай бог ей царство небесное, рай пресветлый.

Лошадь тронулась. Маланья пошла за телегой пешком, с кувшином в руке, в котором была кутья на помин Дашки. Ребятишки и взрослые помоложе отправились за ней.

— Бабушка, а бабушка,— спрашивал одну старуху маль-

чик лет четырех, сидевший у ней на руках,— куда это ее повезли-то?

— На погост,— отвечала старуха.

— Как нашу Аксютку?

— Да.

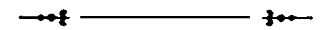
— А что ж по нашей Аксютке-то плакали, а по ней-то нет?

— Наша-то родная была, а это шпитонок, что по ней плакать, благо бог прибрал.

— А что это шпитонок, бабушка?

— Ну, много будешь знать, скоро состаришься,— сказала старуха и пошла прочь от Аксенова двора. Прочие, стоявшие тут, тоже стали расходиться.

1893 г.



Страшное дело

Рассказ

I

На берегу небольшой речки Кузы стояло село Бараново. Одним концом оно выходило в самую речку, так что крайние строения села лепились на самом краю берега над крутым обрывом, который поднимался высоко над рекой.

Барановцы были крестьяне государственные, испокон века они занимались черным трудом — хлебопашеством. Лето с землей ворочались, а с приходом зимы нанимались в помещичьи рощи, бывшие неподалеку от Баранова — работать: кто лес пилить, кто бревна в костры скатывать, у кого были хорошие лошади, брались лес на берега возить, а весной нанимались плоты в Москву сгонять. Тем и кормились барановцы и все домашние нужды покрывали. Богатеть не богатели, а жили без большой нужды.

Вблизи от села было еще несколько деревень, только бывшие барские. Там народ жил совсем иначе, в рощах — мужики не работали и земледелием не занимались, а жили больше по городам: кто в Москве, кто в Питере, кто еще где; дома же оставляли баб да стариков. Крестьянское хозяйство у них велось плохое — сеяли мало, да и то плохо родилось. Барановцы, глядя на их житье, шибко дивились: вот, говорили, глупцы-то, оставили дома, забросили хозяйство и разбрелись незнамо куда, ради чего.

Но вот прошло несколько лет, стали барщинские с чужой стороны домой приходить; кое-кто из них разжился там, стали дома городские порядки заводить: завели самовары, нашили нарядов на городской лад, дома стали по-новому строить. И в короткое время переменились деревни.

Тут уж и барановцы стали им завидовать, у многих зародились завистливые думы в голове, многим также захотелось по чужой стороне счастья попытать.

Одним из первых среди барановцев, кому захотелось свою жизнь на новый лад переменить, был крестьянин Фи-

липп Тарасов. Жил он на нижнем конце села, была у него жена и сын — парень лет семнадцати. Занимался он, как и все в Баранове, хлебопашеством, а зимой в роще работал. Концы с концами он кое-как сводил, но трудно ему это доставалось. Жена Филиппа Настасья была баба хворая: с тех пор как она Андрюшку родила, она больше не рожала и все недужила и ни за какую тяжелую работу приняться не могла. Только у печки управлялась. Когда Андрюшка маленький был, Филиппу трудно приходилось: каждое дело он должен был сам справлять; особенно летом трудно ему было. Хотя здоровый он был и работать горазд, а за лето, бывало, так уходится, что еле ноги таскает. Сколько раз собирался Филипп дом бросить и наняться либо в пастухи, либо в сторожа куда-нибудь в рощу. Одно его останавливало — мысль об Андрюшке. «Ну, сойду я с дома,— размышлял он,— вырастет парень, что он будет? Как есть бобыль, а это уж на что хуже, нет уж, потерплю, как-нибудь потяну лямку».

И старался Филипп изо всех сил, ворочал один за двоих и перебивался кое-как. Стал подрастать мальчик, стал кое в чем отцу пособлять, и стало полегче Филиппу. Но вот вошел малый в года, и напала на Филиппа новая забота. «Вон,— думал он,— парень женихом становится, а у него ни одежонки, ни обувки настоящей нет, и справить не на что; опять же и хозяйство наше куда годится? Придет время — невесту сватать надобно, а кто хорошую отдаст в такой дом?» И сильно томила эта забота Филиппа.

II

За последнее время пришлось Филиппу по разным делам в барских деревнях побывать, пригляделся он к жизни бывших барских крестьян, и завидно ему стало: и достаточней, и чище у них, и работы-то меньше. И стал он выспрашивать, отчего им легче живется? И говорит ему один мужик:

— Оттого, что у нас люди поумней ваших. Как у вас живут? Никогда просвета себе не видят. А какая польза? Вот хоть лес возить или на плотах ходить — и сам маешься, и лошадей маешь, и сбрую рвешь, и на себе все паришь. А у нас, брат, не так: у нас, если захочет человек деньги зашибить, пойдет в город, определится на какое-нибудь место и живет; и тепло ему, и сытно, и денежно. Потому-то и живут у нас против вашего богаче и народ свежее. А у вас

что? Ни света, ни радости. Копаетесь всю жизнь, как жуки в навозе.

— Да, это правда,— согласился Филипп и задумался, и еще больше разобрала его зависть к хорошему житью.

«Разве попытать счастья, пойти пожить в Москву,— подумал он.— Может, что и хорошее выйдет».

Стал он раздумывать, только видит: неподходящее это дело. Ему в Москву идти — нужно дом бросить, парню одному никак пе управиться. Вот разве парня послать? И только подумал Филипп об этом, так сразу и ухватился за эту мысль. «И то, парня,— решил он.— Он молодой и грамотный, ему и место скорей дадут и жалованье дороже положат, а дома-то без него дела не станут, я уж как-нибудь один потяну». И решил Филипп непременно парня в Москву отправить. Объявил жене о том. Ни жена, ни сын не перечили ему. Стал Филипп искать попутчика Андрею. Узнал Филипп, что из соседней деревни отправляется один мужик скоро в Москву, пошел к нему и стал просить его взять Андрея с собой. Согласился мужик, и когда пришел срок отправляться ему, привез Филипп Андрея к нему, дал на дорогу денег, и отправился малый с мужиком в город. В Москву шел охотно Андрей, он даже радовался. «Вот и слава богу,— думал он,— попаду на место хорошее и себя обряжу, и дома кое-что исправим, только бы удачу мне бог послал». Всю дорогу парень расспрашивал попутчика своего про житье московское, про людей тамошних. Рассказывал ему земляк, что знал, и советы давал, как жить надо. Сам он, должно быть, хорошо знал порядки московские, потому советы такие давал: с людьми особенно не дружиться, помнить, что все друзья и приятели до черного дня,— и не упускать никакого случая, от которого польза есть, в карман положить что можно. «Если и обидится кто, на это плевать, с ними не детей крестить»,— говорил он... Пришли в Москву, стал Андрей про места разузнавать, повезло ему. Нашелся такой приятель у его попутчика, который за угощение выхлопотал ему место в дворники в один дом.

III

Поступил Андрей на новое житье. Первую неделю с непривычки трудно ему показалось: должность хлопотливая

и суетная. Но вот узнал малый все порядки, и полегче ему стало. А к концу месяца узнал Андрей все доходы свои. Жалованья ему назначили восемь рублей, да еще кое-какие доходы от жильцов оказались. Доходы эти были не всегда чистые. Сначала он добросовестно исполнял поручения и отдавал сдачи с покупок, а потом, глядя, как делают другие: швейцар, кучер, кухарка,— и он соблазнился, стал понемножку утаивать деньги. К концу второго месяца скопилось у него денег рублей пятнадцать. Обрадовался парень и послал из них отцу десять рублей, а па остальные купил себе пиджак.

Вскоре подошло рождество, тут посыпались к Андрею деньги со всех сторон: и хозяева подарили, и жильцы, и гости, что в дом ходили, на чай давали. Прошли святки, получил жалованье Андрей, сосчитал все деньги, оказалось без малого тридцать рублей. Обрадовался парень. «Ведь это что,— думал он,— ежели все так пойдет, то мы, бог даст, и не увидим, как поправимся, заведем сбрую новую, и лошадь, и все, что нужно, а там и невесту сосватаем!» И разошелся парень и на радостях отослал отцу на хозяйство сразу двадцать рублей. «Управляйтесь там,— писал он,— если денег мало хватит, еще пришлю, счастье такое валит, что и во сне не снилось».

IV

Филипп, когда отправлял сына в Москву, не думал и не гадал, что ему так посчастливится. Он еще побаивался, как бы малый зря не пропал в городе. И сначала было загрустил. Настала зима, барановцы нанялись на берег лес возить и задатки получили, а Филиппу нельзя никуда было и оторваться от дому: Настасья все хворала. И заскучал Филипп.

«Вот, люди добрые на заработки отправились, деньги добывают,— думалось ему,— а я сиди дома да точи веретена. Шестая неделя, как ушел парень, а нет от него ни слуху ни духу».

Подождал еще мужик немного, не вытерпел и решился в волость сходить.

Пришел в волость Филипп, спросил, нет ли письма в Бараново. Порылся старшина па столе и говорит:

– В Бараново? Есть, с деньгами, Филиппу Тарасову десять рублей.

Филипп даже остолбенел от неожиданности.

— Филиппу Тарасову? – переспросил он.— Это мне, из Москвы, сын прислал.

— Ну, так получи,— говорит старшина,— только гривенник за расписку давай.

— А нет у меня гривенника!

— Ну так из этих вычтем,— и старшина распечатал конверт, достал бумажку и дал сдачи Филиппу.

— Кстати уж и письмо прочитайте,— попросил Филипп.

Прочитал письмо старшина, узнал Филипп, как повезло Андрею в городе, и когда бежал домой из волости, то от радости ног под собой не чуял.

Пришел домой Филипп, рассказал жене обо всем, обрадовалась и Настасья...

Прошло рождество. Весело встретили праздники Филипп с женой, а после крещенья еще письмо от Андрея пришло и целых двадцать рублей при нем.

— Вот, старуха, благодать-то нам с тобой вышла, чуяло ли твое сердце?

— Где чуять, и во сне не снилось.

— А через кого это так вышло? Все от меня. Не вздумай я тогда его в Москву послать, ничего бы и не было.

И начал Филипп деньги к месту определять. Половину отдал на подати, а на другую кое-что по дому справил. До пасхи Андрей ему рублей тридцать переслал. Совсем ободрился Филипп, избу починил, по хозяйству справил, чего недоставало. И стал Филипп на заправского крестьянина смахивать. «Вот и мы в люди годимся,— говорил он жене,— не хуже кого другого. Теперь вот только лошадь получше завести, а там и женить парня можно. Эх, и невесту же подхватим. Не будем в нашей вотчине сватать, а возьмем из барских. Чтобы наряд разный был. Пущай тогда добрые люди посмотрят да позавидуют».

— Ну, начал загадывать, смотри не осекись,— говорила Настасья.

На весну Филипп приглашал Андрея домой, но Андрей отвечал, что домой приехать никак не может, может места лишиться, а с местом ему жалко расставаться. И велел он кого-нибудь нанять за себя.

— Ну, ладно, нанять так нанять,— сказал Филипп.—

Теперь пока один управлюсь, а на покос наймем. Пусть живет, коль хорошо живется.

V

Прошло лето. Исполнился год, как Андрей стал в Москве жить. Совсем привык Андрей к городской жизни и от деревенских привычек отставать стал. Деньги он берег попрежнему, кое-что домой посылал, а часть себе оставлял.

Наступила другая зима, и перед заговенами получает Андрей письмо из дому. Пишут ему, что дома, слава богу, все идет по-хорошему. С работой управились совсем. Хлеба в этом году много и другого всего вволю. Теперь только бы свадьбу играть, спрашивают, как на то согласие будет? Задумался Андрей, и жутко ему стало. Однако подумал-подумал и написал, что жениться он не прочь, пусть приищут невесту, тогда он и сам приедет. После рождества пришло письмо из деревни; пишут, что невесту нашли, что им она очень понравилась, теперь дело за ним. Велели отпрашиваться у хозяев и приезжать. Забилось сердце у парня, как получил он это письмо. Робость взяла его, когда пошел он отпрашиваться у хозяина в деревню, раза три он от двери ворочался, все духа не хватало. Наконец превозмог он себя и вошел в комнату. Спросили его хозяева, что ему надо, рассказал им Андрей,— и говорят хозяева:

— Ну, что ж, с богом, только на свое место кого-нибудь подыщи, пока вернешься.

— Это я подыщу,— говорит Андрей.

— Ну и отлично.

Подсчитал хозяин, что ему приходилось из жалованья, и дал еще в подарок на свадьбу десять рублей.

— Поезжай,— говорит,— женись, дай бог всего хорошего.

Поблагодарил Андрей хозяина, собрал вещи и поехал в деревню. Приехал домой парень, родители встретили его радостно и стали расспрашивать, как он жил, что делал. Рассказал Андрей и стал в свою очередь расспрашивать про их житье, а потом об невесте спросил.

— Об невесте, брат, и толковать нечего,— говорит Филипп,— правда, нет у ней ни отца, ни матери, живет она у брата старшего,— но такая девка — хоть куда годится.

Что красива, что умна, а наряду-то, наряду,— и-и ты, батюшки! В нашем селе ни у одной того нет!

— Справа-то и у меня хороша,— сказал Андрей и стал показывать, что он в Москве нажил.

— Ну вот, значит, и мы в грязь лицом не ударим,- заметил Филипп.

Отдохнул с дороги Андрей, а на другой день запрягли они лошадь и поехали невесту глядеть. Приехали они к невесте, встретили их с большим почетом и прямо за стол посадили. Подали на стол самовар, закуски, вышла и невеста к ним. Поглядел на нее Андрей, и застучало в нем сердце — хороша ему показалась девка. А девка и впрямь была хороша: роста среднего, статная, лицо кровь с молоком, брови черные дугой. Уставился на нее Андрей, сидит глаз не сводит. Посидели немного, вывел Филипп сына из избы и спрашивает:

— Ну что, сынок, какова девка-то?

— Ничего,— молвил Андрей,— девка хорошая.

— Так кончать дело?

— Кончайте.

Вернулись в избу Филипп с Андреем, ударили по рукам, уговорились насчет свадьбы и поехали домой...

VI

Через неделю и свадьбу сыграли. Потом с неделю перегащивались, а там и за дело взялись. Стал Филипп после свадьбы все в порядок приводить, а Андрей к молодой жене приглядываться: как-то она на дела и как с молодым обходится. Во всем хороша была Ольга. У Андрея, глядя на нее, сердце радовалось. Полюбился и он Ольге. Стали они свыкаться друг с дружкой. Вскоре пришел срок Андрею в Москву отправляться. Нехотя стал он собираться в дорогу. Не хотелось ему от молодой жены уезжать. Загрустила и Ольга. Стал уговаривать ее Андрей:

— Не печалься, Оленька, ненадолго расстаемся. Вот придет пасха, приедешь ко мне в гости.

— До пасхи-то далеко,— говорит она,— а до тех пор скучно, чай, будет.

— Ну, что ж делать, потерпи. И мне тоже нелегко.

И поехал Андрей. В этот раз он невесело ехал. Мос-

ковская жизнь уже надоела ему. Стал он завидовать тому, кто всегда в деревне живет. «То ли дело тому,— думал он,— сам себе хозяин. А ты на вот, погоняй. Только женился, по-настоящему и отлучаться никуда не нужно, а оно вот что. Эх, жизнь наша!»

Угрюмый приехал парень в Москву. Невесело поздоровался с прислугой, оделил их деревенскими гостинцами и пошел хозяевам явиться. Поднес он хозяевам два полотенца женина рукоделья, пообещали хозяева ей за это на платье подарить. И взялся Андрей за свою работу, только уж не с такой охотой, как прежде. Бывало, он работал веселый, с песнями да с шутками, а теперь стал сумрачный и задумчивый.

«Эх, если бы у нас было хозяйство-то исправней,— думалось Андрею,— была бы лошадь другая, ни за что не пошел в Москву жить, стали бы дома побольше присевать, а то и лес возить. Хошь и похуже здешнего, а все бы жить можно...»

Наступил пост, повеяло весной, начал снег таять. Пришла самая горячая пора для дворников. Нужно было каждый день снег счищать и убирать. За работой Андрей немного забыл свою досаду на судьбу. А тут наступила и страстная неделя, послал Андрей отцу письмо с просьбой, чтобы тот отпустил к нему жену на праздник. На самое светлое воскресенье приехала Ольга. Обрадовался ей Андрей. Краше прежнего показалась она ему. И хозяева, и прислуга хвалили ему жену; льстило это Андрею, и шибко радовался он.

Стал придумывать Андрей, как он с женой праздники проведет. Собирался он с ней в гости к землякам пойти и Москву показать, и на гулянье под Девичье повести. Праздничных он много получил и думал, что нагуляются они с женой вдоволь. Только не так вышло на деле-то, как думал он.

Наступили праздники, наступила суета, и пошли тормошить Андрея туда и сюда, то хозяева, то жильцы: то сбегай куда-нибудь, то на кухню иди помогать, работы по горло было — дрова носить, самовары ставить, ножи чистить; по утрам сапоги и калоши перечистить, пока господа спят еще, поздно вечером гостей выпустить да почти каждую ночь па дежурстве у ворот простоять надо было. С женой Андрею не приходилось даже поговорить толком. Она сидела целый день в каморке и скучала, а делать было нечего.

«Каторга, а не жизнь,— досадуя, говорил Андрей, у людей праздник, веселье, а у тебя самая работа. Последний год живу, - твердо решил он.- Будет, пожил, и довольно. Вот купим еще лошадь другую, и переберусь в деревню».

Провожая Ольгу домой, он передал ей двадцать пять рублей денег для отца, а к осени обещал еще накопить. Тогда и лошадь купить к осени подешевле, решил он.

VII

А Филипп с Настасьей встретили и проводили пасху так, как им никогда не приходилось,— счастливые и довольные они были. Бывало, нужда или горе какое мешало им порадоваться, а теперь ничто не тревожило их. Филипп точно помолодел, раздобрел даже, стал веселый, разговорчивый; с кем встретится, шутки шутит; на сходке тоже стал голос иметь; бывало, стоит — слова не проронит, а теперь даже в спор вступать стал.

Радовал сын мужика, радовала и молодуха, такая моторная она была — за дела берется охотно, и все у ней в руках так ловко выходит. К старикам была почтительная, с людьми не болтливая. Весь пост приглядывался к ней Филипп и ни одного дела не нашел, за что бы ее упрекнуть было можно.

— Золото баба,— говорил он жене про нее,— за прежнее терпение нам бог послал такую.

Прошла пасха. На фоминой приехала Ольга из Москвы; отдала она гостинцы свекрам, что Андрей прислал, и деньги.

— Велел телегу новую купить да хомут,— сказала она.

— На что же ему другая телега-то понадобилась? — молвил Филипп.

— Говорит, осенью другую лошадь купим; сам дома жить хочет...

— А что ж, хорошее дело. Знать, надоело в Москве-то?

— Надоело. Уж он в пасху-то горячился-горячился,— так бы взял да и ушел, говорит.

— Лошадь другую купить, и в деревне жить можно,— сказал Филипп.

— Чего ж не можно,— поддакнула Настасья,— теперь у нас, слава богу, все заведено.

Началась пахота. Отпахались, заборонoвали. Пришел Ни-

кола-вешний. Стал Филипп в этот день на рынок собираться — телегу покупать, стал и жену с собой звать.

— Ох! уж я и не знаю как,— сказала Настасья,— кажись, делать-то там нечего. Мне что-то недужится очень.

— Тебе все недужится! — сказал Филипп.— Поедем, хоть разомнешься маленько, може, полегче будет.

Справились и поехали.

Рынок от них был верстах в десяти, в селе Черенкове. Приехали они туда перед отходом обедни, выпрягли лошадь, задали корму ей и пошли по рядам ходить. Прошли по всем рядам и повернули в тележный ряд. Облюбовал там себе Филипп телегу, сторговал и перетащил ее к своей лошади. Потом пошли кое-что из мелочи закупили.

И говорит Филипп:

— Ну, старуха, теперь нужно нам с тобой покупки спрыснуть, ты что будешь: сладкое или горькое?

— Ну те к богу с горьким-то; отроду не любила.

— Значит, сладкого. Ну, ладно.

И пошел Филипп, купил пару калачей больших, фунт меду и полштоф вина. Поставил он все это на траву и говорит:

— Ну, ешь, старуха, вот тебе.

И придвинул он ей мед с калачами, а сам достал кошель из телеги, вынул оттуда два яйца печеных да хлеба краюху и стал водку пить и закусывать.

Выпил Филипп и рассолодел: лицо его раскраснелось, глаза осовели, расплелся он, как плеть, повалился на траву и запел песню.

Настасья стала тормошить, чтобы домой ехать. Насилу-насилу Филипп запряг лошадь и ввалился в телегу. Всю дорогу он то песню пел, то над женой трунил. Лошадь он гнал шибко. Настасья от такой езды даже охать начала.

— И чего гонишь,— говорила она,— как цыган какой. Ведь так всю душу вытрясешь!

— Небось. Чай, она крепко сидит-то,— говорил Филипп и опять погонял лошадь. Приехали домой. Был вечер уже, скотину из поля пригнали. Ольга овец загоняла. Увидела она, что свекор пьяный, бросилась лошадь выпрягать.

— Ай да молодуха,— похвалил ее Филипп,— так и надо, похлопочи, похлопочи... А то я... вишь, тово... клюнул маленько...

И он вывалился из телеги и поплелся в избу...

VIII

Выпрягла лошадь Ольга, убрала хомут, вошла в избу. Вынесла она пойло телятам и стала ужинать собирать.

После ужина постлала Ольга постель свекрам и пошла в сени, где у ней постель пристроена была, и легла спать.

Улеглись и Филипп с Настасьей... Настасья как довалилась до постели, так и заснула как убитая: шибко уходилась она в этот день. Но Филиппу что-то не спалось, разные думы заполонили его голову и сон отгоняли. Начались думы с того, что вот он телегу другую купил; стало представляться ему, как он другую лошадь купит и будут у него две лошади со сбруей; и будет их двор из первых в селе. И мерещилось мужику, что ему уже почет другой ото всех и уважение, и поп с ним стал ласково обходиться, компанию водить: то к нему придет, то к себе пригласит. И ведет он с ним разговоры задушевные.

Вспомнилось Филиппу, как он прежде жил и как теперь. И весело стало на сердце у него. «Ведь вот,— начал рассуждать он,— что значит догадка. Не догадайся я тогда парня в Москву послать, може, и теперь так жили бы, ничего и не было бы, а то вот и поправились, и скоро, и хорошо. Хошь на старость в довольстве пожить приходится, а то что я жил-то: весь век в нужде да в горе, никогда просвета себе не видал и видеть не чаял. И не пришлось бы, если б не Андрюшка; он, спасибо ему, нашу жизнь переменил».

И вспомнилась Филиппу вся его жизнь с самых молодых лет. Жил он с отцом. Мать его давно умерла. Жили они бобылями, отец корзинки да верши плел да продавал, тем и кормился, а он на мельнице жил в работниках. Когда пошел Филиппу двадцатый год, то раз приходит к нему отец, велит ему у хозяина домой отпроситься. Отпросился Филипп, пошли они домой. Дорогой и говорит ему отец, что женить его надумал. Есть у него в соседней деревне один приятель, а у приятеля есть дочь-девка, вот эту-то девку и сосватал он. «Девка-то не больно, тово,— говорит отец Филиппу,— ну, да это не беда, зато с ней отец дает все хозяйство, лошадь с запряжкой, соху, борону да десять целковых деньгами. Плевать, что она не красива, зато крестьянами будем; хотя плохими, да все не бобылями: возьмем земли, будем работать. Хоть потруднее будет, да в своем углу».

Филипп не противился воле отца, и хоть невеста ему не по душе пришлась, он все-таки согласился взять ее. Скоро и свадьбу сыграли...

Получил приданое Филипп, взял земли, стал крестьянство устраивать. Трудно ему было. Отец его вскоре помер. Настасья его была баба не совсем здоровая, на работу неподатливая. Землю ему дали вытрясенную, работать пришлось вдоволь, а толку мало было. А тут еще затяжелела его баба да родила, а потом и совсем расхворалась. Пошло Филиппу житье хуже каторги.

«Эва, что я муки-то перенес,— подумал Филипп, когда ему все это припомнилось.— Да после этого мне еще не так надо под старость-то жить, а совсем ничего не делать. Кому так маяться-то приходилось? Андрюшка мой, что ли, так потерпел?..» И представилась ему сыновняя жизнь: совсем не то ему на долю досталось, без нужды и горя жил малый,— разве в детстве что приходилось, так он тогда не понимал. С семнадцати лет пошел он на волю, на место на хорошее попал. Харчи сытные, деньги вольные, подавай только отцу, а отец все управит. Опять, женился он, свадьбу хорошую справили, молодуху отхватил всему селу на удивленье. Что хороша, что нарядна и на делах молодец баба. Такая ли ему доля?

«Чтобы мне такое счастье, как Андрюшке,— вот бы ладно было; а то что?»

И ему вдруг стало завидно, на сына глядя. «И за что это он, сопляк, только пользуется этим? Эва жена одна какая!»

И в хмельной голове Филиппа забродили нечистые мысли. Представилась ему сноха статная, красивая да здоровая. И забурлила в нем кровь, заворочался мужик на постели, начал вздыхать и охать...

«С такой бабой, кажись, все горе забудешь, не то что я с своей; бывало, работаешь, работаешь, придешь домой, поглядишь па нее, с души воротит...»

И вздохнул опять Филипп, поднялся с подушки и взглянул на жену. Настасья лежала, как колода, руки раскинула, нос кверху подняла и свистела им и храпела на всю избу. Филиппу противно стало глядеть на нее. Плюнул он, встал с постели и подошел к окну и высунул голову на улицу.

IX

Ночь была тихая, теплая. Сильно пахли молодые листочки березы. Хорошо пахли. Где-то пощелкивал соловей. С верхнего конца села доносились песни.

Смотрит кругом Филипп, прислушивается, а сердце бьется все сильнее и сильнее, и кровь в голове молотом стучит. А дикие, греховные мысли так и копошатся, так и гонятся одна за другой, не может он отогнать их от себя...

«А отчего бы мне не отведать сыновнего счастия? кто мне закажет? — размышлял мужик.— Чем я виноват, что моя баба такая старая да ледащая, а я еще в силе? Я сам себе хозяин, и что хочу, то и делаю, никто не закажет, да и разве узнает кто?»

И представил Филипп опять себе Ольгу: лежит будто она, разметалась, косы толстые по подушке раскинуты, полная грудь высоко поднимается, лицо красотой и здоровьем пышет. И еще сильнее забурлила кровь в мужике, в груди закипела, ударила в голову и отуманила ее совсем.

«Не могу... не пересилю я себя... Что мне мучиться... А! Была не была. Попытаю, что ни будет!» — решил Филипп и, захлопнув окно, встал с лавки; поглядел на спящую жену и потихоньку на цыпочках покрался из избы.

Вышел он в сени, прислушался, слышит: шевелится Ольга. Захватило дух у Филиппа. Однако сразу не хватило смелости у него, и прошел он на навоз, постоял там немного, собрался с духом и уже храбро подошел к кровати снохи...

— Кто тут? — с испугом спросила Ольга.

— Молчи, это я! — задыхаясь, прошептал Филипп.

— Что это ты, батюшка? Куда? — еще более испугавшись, проговорила Ольга и вскочила с постели.

— Молчи, не разговаривай,— прошипел Филипп...

Ольга рванулась, но ей было не по силам бороться с дюжим, осатанелым мужиком. Она хотела было крикнуть, но он зажал ей рот...

Наутро совесть было проснулась у Филиппа, но он представил себе всю сладость своего греха, и она угомонилась. Только одно тревожило его: не вздумала бы баба жаловаться... Но, подумав немного, он решил: а да пущай попробует, я отопрусь, скажу, во сне приснилось ей, и вся недолга.

И он стал совсем спокойный, как будто ничего и не бывало.

X

Ольга же была совсем неспокойна; когда она опамятовалась и поняла, что произошло с ней, то задрожала от ужаса и отвращения и залилась слезами. Ей так горько стало, что, кажется, разорвала бы она от злости проклятого старика. «А еще отец! — лепетала она, захлебываясь от слез.— Что он только наделал-то? О, батюшки! Сейчас пойду свекрови скажу или домой уйду да напишу Андрею. Пусть он тогда разделывается с ним...» И она стала обдумывать, что лучше ей сделать: свекрови объявить или уйти к брату и оттуда мужу написать, но долго ничего решить не могла. Свекрови объявить ей было стыдно и страшно: знала она, что чрез нее сейчас же узнают все люди и то заговорят, что не дай бог и про другого кого слышать; к брату идти ей казалось тоже нельзя, брат мужик, как ему все рассказать? А на невестку и надеяться нечего: она не любит ее и, пожалуй, еще на смех поднимет.

«Эх, была бы у меня матушка родимая,— подумала Ольга,— размыкала бы я с ней горе, и научила бы она меня, как быть, а без нее и надеяться не на кого; на мужа разве, да напиши-ка ему об этом, он с ума сойдет и, пожалуй, вот какой беды наделает».

«Помолчать разве, скрыть грех,— стала думать Ольга.— Может, это он спьяну, старый дурак, тверезый не посмел бы... А обозлится он как, если я объявлю про грех, не будет мне совсем житья от него».

И всю ночь прометалась баба на постели, обдумывая, как ей лучше поступить, чтобы от людей грех утаить, но ни на чем остановиться не могла. Измучилась она душой и телом и всю ночь не могла глаз сомкнуть... Настало утро, поднялась Ольга с постели и пошла в избу. Настасья уж печку топила, Филипп сидел на лавке и обувался. Он исподлобья взглянул на сноху и, заметив, что платок у нее на лицо надвинут и глаза наплаканы, отвернулся, крякнул и со страхом, невольно вдруг охватившим его, стал ожидать, что будет. Пока баба у печки возилась, он не знал, в какой угол смотреть и что делать. Только когда сели за завтрак, Филипп несмело проговорил:

— А надо бы опохмелиться маленько, а то со вчерашнего угара башка что-то трещит...

— Ишь что выдумал, погулял, и будет,— сказала Настасья.— Сегодня вот картошку садить надо, пора уж.

— Ну, картошку так картошку,— согласился Филипп...

Позавтракали, запрягли лошадь, поехали в поле и пробыли там целый день. Перед ужином Филипп, однако, не вытерпел, ушел в кабак и выпил. Вернулся он веселый, за ужином много говорил. А как улеглись спать, то вчерашние мысли опять забродили в его голове. А ведь ничего не сказала баба,— знать, боится... А може, и не хочет говорить-то, може, опа рада еще, подумалось ему. И он с нетерпением стал дожидаться, пока уснет Настасья...

Уснула Настасья, осторожно встал с постели Филипп и на цыпочках покрался из избы. Пробрался он в сенцы. Услыхала Ольга его шаги и перерывистое хриплое дыханье и вскочила с постели.

— Куда прешь-то, бесстыдник этакий! Бога в тебе нет! — крикнула она дрожащим голосом.

— Цыц, не разговаривай! — прошипел Филипп, задыхаясь и хватая ее за плечи.

— Господи! Батюшка, смилуйся над моей головушкой,— всхлипывала Ольга.— За что погубил ты меня, беззаконник ты окаянный.

— Молчи, дура, не то плохо будет.

— Я матушке крикну, если не отвяжешься,— говорила она, отпихивая его кулаками в грудь, все еще надеясь прогнать его.

— Как же, попробуй. Я тебя тогда до смерти замаю, жрать не буду давать, лупцевать буду каждый день, как собаку, изведу совсем,— хрипел он со злостью.

Ольга задохнулась от отчаяния и ничего не могла сказать.

На другой день Ольга ходила как шальная, так что и Настасья заметила и спросила:

— Что это на тебе лица нет? Иль неможется.

Ольга затряслась как в лихорадке.

«Сознаться разве?» — мелькнуло у ней в голове, но, взглянув на Филиппа, заметила, что тот так страшно глядит на нее, что она поняла, что он исполнит свои угрозы, и прикусила язык, не зная сама что промямлила она на вопрос свекрови и отвернулась от нее.

Филипп нарочно весь день вертелся в избе и не оставлял баб с глазу на глаз. Когда же вечером приметил, что Ольга боится выдать тайну, ободрился и сказал сам себе:

«Ну, теперь уж вовсе моя будешь»,— и ухмыльнулся себе в бороду.

Ночью он опять пошел к ней и уже мягче обошелся. Он говорил ей:

— Ну, чего ты, дура, противишься, чего боишься? Плюнь ты на все, никто не узнает: все шито да крыто будет. А что насчет ответа, так кто же ноне без греха?.. Да и до смерти далеко: авось покаяться успеешь... Право, лучше покорись, тебе же лучше будет: всего, что твоя душенька захочет, того и требуй от меня. Наряду, коли хошь, куплю, на работе облегчать стану. Право слово... А то на-ко, вздумала брыкаться, пугать, глупая ты, думаешь, тебе поверит кто? Отрекусь, скажу: рехнулась ты, вот и все. За порченую еще прослывешь. А мужу если повинишься, все равно хорошего не жди... потому скажет: баба всегда в таком разе виновата... Не поддайся сразу, так не вышло бы того... А мне-то он ничего и сделать не может... Так-то, голубушка,— продолжал он,— как ни вертись, а грех наш сообща, это я даже очень понимаю, так уж давай вместе и нести его, вместе и концы хоронить. Так-то лучше будет.

XI

С тех пор Филипп уже не отставал от снохи. Он зажил с ней, как с женой. Днем на работе он ухаживал за ней, помогал в работе, норовил даже заигрывать и ластиться к ней, когда старухи не было вблизи. Но Ольга неласково принимала его заигрыванья, нет-нет да и прикрикнет на него или так отпихнет или огреет чем попало. «Отойди, постылый, не наводи на грех»,— скажет, и он отходил, посмеиваясь. Он знал, что эта смелость у пей только днем, что ночью он опять на своем поставит, потому что она боится его больше, чем он ее. Но чем дальше, тем настойчивее он становился в своих ласках, ему уже мало того было, что завладел ее телом, ему хотелось и душу ее заполонить. «Пожалей ты меня,— говорил он,— полюби хоть на короткое времечко. Вот по осени вернется твой Андрюшка, ты с ним наживешься, а теперь хоть бы малость меня приласкала. Ведь я как тебя люблю-то. Разве придется мужу твоему так любить? Он тебя еще ценить-то как следует, сопляк, не умеет. Если бы у меня такая жена-то была бы... я бы тогда, кажись, на что хошь за нее пошел бы».

Ольге такие речи не всегда противны были, ей приятно было видеть, как мужик увивается вокруг нее, и она иногда улыбалась, глядя на него. Но только редко: кроме того что он противен ей был, она боялась, как бы люди не узнали ее тайны. При одной мысли об этом сердце у ней замирало и по коже мороз ходил.

Но как ни старались они скрыть свой грех от людей, мало-помалу люди стали догадываться, что между Филиппом и молодухой дело неладно. Сам того не замечая, Филипп и голосом и взглядом выдавал себя, когда говорил что снохе. Он всегда как-то слащаво улыбался, щурил глаза, и всюду ходил по пятам за ней... А молодуха с лица спала, ходила невеселая, сумрачная, и ни прежних песен, ни прибауток от нее не слышно было. Нашлись любопытные кумушки, которые стали зорко следить за ними. Видели раз, как она его кнутовищем огрела, и он отпрыгнул от нее усмехаясь, видели, как на работе он услуживал ей во всем, ровно мальчик на послугах. «Не пристало это как-то старику»,— шептались между собою они и покачивали головами...

XII

Между тем Андрей жил себе в Москве и ничего не подозревал. С тех пор как проводил он жену после пасхи, недели три пришлось ему пожить в суете. Потом подошел май месяц, и стали сначала жильцы, а потом хозяева на дачи выезжать — и поубавилось у него дела.

«Вот кабы так на праздниках было,— думает Андрей,— вот бы хорошо, а то избегаешься как собака, покою не знаешь».

И он чуть не по целым дням то в каморке валялся, то за воротами торчал.

Как-то раз под вечер вышел Андрей за ворота и сел на лавочку. Немного погодя к нему подошел один человек с котомкой и остановился. Взглянул на него Андрей и обрадовался: человек был знакомый, их, барановский, видно, побывать к кому в Москву пришел. Поздоровался с ним Андрей и повел в свою каморку, потом опять вышел за ворота и мигом вернулся с водкой и закуской. Потом он поставил самовар и стал потчевать земляка.

— Вот хорошо, что ты зашел-то,— говорил земляку Анд-

рей.— Я очень рад, а то что-то из дома вестей нет. Ну, как они там поживают?

— Ничего, живут помаленьку,— отвечает земляк не совсем охотно.

— С работой-то управились? — опять спросил Андрей.

— Управились, только огород остался.

— Ну, слава богу,— сказал Андрей весело.— Теперь можно жене наказать, чтобы приехала на троицу.

— Что ж, не худо, если отец отпустит,— сказал земляк.

— Чего ж ему держать ее, коли делов нет?

— Кто его знает там, что впятится в голову старику,— скажет не езди, вот и все.

— Ну, наш не такой, кажись, этого не скажет,— молвил Андрей, не понимая загадочных слов земляка.

— Не такой! Толкуй, брат, еще почище кого другого. Скажет: праздники одному скучно будет — ну и не пустит,— не глядя на Андрея, проговорил захмелевший земляк.

Вспыхнул Андрей.

— А она-то что же, развеселит его, что ли? — сказал он, и сердце его тревожно забилось.

— Все может быть, и повеселит, и позабавит,— продолжал земляк.

Андрей молчал, он сидел весь красный, тяжело переводя дух. Земляк взглянул на него в упор и проговорил:

— Ты, я вижу, парень, ничего не знаешь, не слыхал разве, какие дела дома творятся?

— Ничего не слыхал,— молвил Андрей с усилием.

— Ведь отец-то твой жену у тебя отбил, живет с ней.

— Что ты?! — вскрикнул Андрей и вскочил с места...

— Ей-богу, правда, все село знает.

У Андрея подкосились ноги, он грохнулся на скамью и схватился за голову. Перед глазами у него все завертелось, помутилось. А земляк, не замечая этого, рассказывал ему, как один мужик застал их в лесу. Андрей слушал это, и страшная злоба душила его, он весь затрясся и заскрежетал зубами.

— Неужели все это правда! — хрипел он.— Да как это? Что они выдумали-то? У-у, проклятые! Окаянные!.. Убить их мало!

Глаза его налились кровью, лицо исказилось, дыханье в груди шибко сперлось. Он грохнулся головой на стол и пуще прежнего затрясся и зарыдал, как малый ребенок.

Земляк испугался и стал его уговаривать.

— Что ты, бог с тобой! Чего так убиваешься? Слезами горю не поможешь.

Андрей все плакал.

Выплакался Андрей, сделался поспокойней, отер он лицо и проговорил:

— Да что же это они сделали-то? Ждал ли я от них этого? Ведь он-то, он-то — отец родной! О-о!!!

Опять лицо его исказилось, крепко сжал он кулаки и встряхнул ими.

Земляк, увидав, какое действие произвели слова его, жалел уж о том, что и рассказал-то. Он долго сидел понурив голову, потом встал и начал собираться. Андрей, заметив это, проговорил:

— Вот что, брат, скажи ты там, дома, чтобы жена ко мне беспременно на троицу приехала, я с ней тут поговорю.

— Что ж, пожалуй, мне все равно,— промолвил земляк.

— Потрудись, пожалуйста.

— Ладно, будь спокоен.

И земляк ушел, оставив Андрея с горькими, тяжелыми думами.

XIII

Больше недели Андрей ждал жену. Первый раз в жизни пришлось ему переживать такие мучительные дни и ночи; то ненависть, то ревность и отчаяние охватывали его и терзали без пощады и жалости. «Как это могло случиться? Неужто добровольно баба пошла на это? — задавал он себе вопросы и ничего не мог на них ответить.— Если добровольно,— думал Андрей,— то что мне с ней делать тогда? Смерти мало ей за это, ведь это что: на первом году после свадьбы мужа на старика променяла! Чем я ей насолил очень? я ей слова грубого не говорил за все время, не то что что... А любил-то как! О, проклятая, что она со мной только сделала!»

И Андрей придумывал, как бы ему проучить жену за измену. Но только он придумает какое-нибудь наказанье и представит его себе, как сейчас же ему сделается жаль и жены, и того счастья, которое ждало его без этого дела. И он невольно начинал находить извинения ей. «Может, она невиновата,— размышлял он,— может, он ее насильно заставил.

Беспременно это так. Он все это, злодей! И что он только со мной сделал. Я ли ему не покорный сын был, я ли не старатель? А он...»

И вся злоба Андрея переносилась на отца и еще страшней его мучила.

Накануне троицына дня приехала Ольга. Увидал ее Андрей, и застучало в нем сердце. И радость, и гнев сразу поднялись в нем.

— Здравствуй, Андрей Филиппыч,— сказала Ольга и подошла к мужу.

— Здорово,— сквозь зубы тихо процедил Андрей и впустил жену в каморку.— Отпустил тебя свекор-то? — вдруг злобно и ядовито спросил он, весь дрожа от волнения и в упор глядя ей в лицо.

— Чего ж ему не пустить? Слова не сказал,— ответила Ольга, стараясь не встречаться с ним взглядом.

— Как это он расстался? А я уж и не надеялся,— допрашивал Андрей с усмешкой, злобно перекашивая губы.

— Чего ж ему не расстаться? Я, чай, ему не очень приболела,— отшучивалась Ольга, между тем внутри у ней холодело.

— Толкуй, не очень, словно я не знаю,— прохрипел Андрей и затрясся весь.

Уставилась Ольга на мужа и побледнела вся. «Узнал все,— мелькнуло у ней в голове.— Теперь уж не жди милости. Царица небесная, пособи!»

И она решилась во что бы то ни стало, а отклонить беду. «Отопрусь, что ни будет»,— подумала она и как можно спокойнее спросила:

— Что ты знаешь-то? — при этом она взглянула мужу в глаза как ни в чем не бывало.

— Все знаю! — воскликнул он.— Ты думаешь, шило в мешке утаишь? Нет, матушка, не утаишь.

— Какое шило? Что ты? Бог с тобой!

— А такое, что я все знаю про твое дело со свекром... Полюбовницей его стала!..

— Что ты? С чего это ты взял-то? Да очнись...

— Что очнись-то? я не пьяный! нечего дуру-то строить! признавайся!

И он, рассвирепев, замахал руками, застучал кулаками по столу, еле сдерживаясь, чтобы не наброситься на нее и не истоптать ногами.

Ольга догадалась, что беда собирается над ее головой, и не то от страха, не то от обиды затряслась, заплакала и, закрыв лицо руками, припала головой к столу.

— Что нюни-то распустила? У! у!.. проклятая! — проворчал Андрей и дернул жену за руку.— Скажешь, неправда это?

— Ей-богу же, неправда,— сквозь слезы, с отчаянием проговорила Ольга.— Из чего это ты взял? Если бы я знала, что ты обо мне думаешь, я бы не поехала,— продолжала она, всхлипывая.— Думала, на радость приеду, а ты вот как меня принял.

— А разве неправда? — уж не так уверенно допрашивал Андрей.

— Знамо нет. И как это у тебя язык поворотился сказать,— уж совсем смело заговорила Ольга.— Кто ж за меня заступится, бедную? — И она заголосила еще громче.

Андрей стоял как ошеломленный, гнев его спал; слезы жены растрогали его? «А что, как неправду земляк сказал? Позавидовали, может, люди, что хорошо живем, и наплели на нее, чтобы расстроить нас».

— Ну, будет, не реви,— проговорил Андрей более мягко.— А вот коли неправда, побожись на икону, тогда поверю.

Ольга, утирая слезы и всхлипывая, уставилась на икону, перекрестилась и сказала:

— Вот, не слезть мне с этого места, не дожить до завтрашнего дня...

Голос ее прервался от волнения, но Андрей этого не заметил, ему хотелось верить, что она говорит правду, лицо его просветлело, он улыбнулся и сказал:

— Ну, уж так и быть, давай помиримся,— и подошел к жене.

Ольга бросилась к нему на шею и снова зарыдала, ей и стыдно было, и жаль Андрея, и рада она была, что пронеслась туча над ее головой...

На другой день Андрей повел жену Москву показывать, побывали они и на гуляньях в Сокольниках, слушали музыку, глазели на народ, угощались в трактире с машиной. Показал ей также все замечательные места. А на прощанье повел ее в ряды и накупил ей наряду и гостинцев.

Целую неделю прожила Ольга у мужа и так нежно увивалась круг него и ласкалась к нему, что Андрей так и таял

от счастья. «Ишь ведь, как она меня любит, и где же это видано, чтобы такая жена да неверна была!»

Наконец пришло время и расставаться. Дал Андрей денег Ольге для передачи отцу и проводил ее до заставы. Но как только Ольга выехала из Москвы, так охватила ее тоска, защемило сердце, и расплакалась баба, на этот раз искренними, горькими слезами...

XIV

Почти всю дорогу Ольга не осушала глаз, и совесть ее мучила, и жаль было мужа оставить. С ужасом думала она, что свекор опять будет приставать к ней. Измучилась баба, придумывая, как бы избавиться от старика и как бы так концы схоронить, чтобы муж не узнал. А как это сделать?.. «Ох, быть беде, погубила я свою голову...— плакалась баба.— Вернется Андрей в деревню, все равно узнает, что тогда будет делать? И нечистый меня дернул отпереться! Что бы лучше сразу покаяться, в ногах прощенья попросить, может быть, взмиловался бы, простил; а не простил бы, тоже все одно: двух смертей не бывать, а одной не миновать, по крайней мере, не мучилась бы так».

Исстрадалась вся за дорогу Ольга, побледнела и похудела, точно после болезни. Приехала она домой, передала гостинцы старикам, нехотя ответила на расспросы их и, отговорившись нездоровьем, ушла в горенку.

Филипп встретил сноху угрюмо. Все время, пока она была в Москве, он ходил пасмурный, в его голове бродили ревнивые мысли. «Небось потешается она теперь с ним,— думал он,— чай, не как со мной обходится. Эх-хе-хе... Молодой к молодому и льнет, а я ей под пару ль?»

Он вспоминал, как она всегда отбивалась от него, и горько ему было. «Правда говорится, насильно мил не будешь,— так и есть»,— думал он. И иногда ему приходило в голову бросить непристойное дело; как ни на есть, а нехорошо,— но когда он увидал Ольгу, то все это вылетело из головы, и он сказал сам себе:

«А, черт их дери, все равно, любит ли, не любит, а уж не брошу ее, что будет, то и будет». И в этот же вечер решил по-прежнему к снохе пойти.

Про Настасью Филипп думал, что она ничего про его дела не знала. Правда, Настасья долго ничего не подозре-

вала. Несмотря на то что непристойное обращение ее старика со снохою всем в глаза кидалось, она и подумать не могла, что Филипп на такое дело способен. Наконец нашлась какая-то кумушка, которая намекнула ей на это дело и посоветовала построже приглядывать за стариком с снохой. Настасья так и обомлела. «Не может этого быть»,— говорит. «Правда истинная,— божилась баба,— неужели тебе самой невдомек»,— и выложила баба ей все, что знала про это дело. Настасья так и завыла. «Ох матушка моя, царица небесная! Ох, горе-то какое. Думано ли про такой грех». Сгоряча Настасья тут же хотела накинуться на мужа, но, подумавши, решилась подождать, когда сноха из Москвы вернется, тогда, может быть, подойдет и такой случай, что на месте преступленья застать их будет можно...

XV

В тот вечер, как приехала из Москвы, Ольга не стала и ужинать. Филипп тоже ел плохо и все поглядывал на сноху. Настасья заметила это и решилась сторожить их: для этого она притворилась больной, легла спать на печке и вскоре сделала вид, что уснула. Филипп заметил это, потихоньку встал с лавки, где он спал, и юркнул из избы. Настасья подняла голову и стала думать, что ей делать теперь.

Подумавши немного, Настасья быстро соскочила с печки, взяла спичек и, подбежав к двери, приложила ухо к скважине и стала слушать. Ей ясно послышался шепот, возня около постели снохи, тогда она не вытерпела, отворила дверь и притворно испуганным голосом стала звать мужа:

— Филипп, а Филипп, где ты? Вот тут кто-то возится, не залез ли кто?

Филипп не отзывался. Тогда Настасья зажгла спичку, подошла прямо к снохиной постели и откинула полог. Она увидела Филиппа, державшаго за горло Ольгу; хриплый стон вырвался из груди бабы. Увидя жену, освирепевший старик соскочил с кровати и встал перед ней.

— Ты что тут делаешь, злодей? Ах ты бесстыдник! Что ты затеял-то! — кричала Настасья, наступая на мужа.

— Молчать! Не твое дело, пошла на свое место! — крикнул Филипп и кулаком отшвырнул жену прочь.

Настасья взмахнула руками и ударилась об стенку.

— Ой, батюшки мои! да что же это такое? — заголосила Настасья.— Я народ созову, разбойник этакий!

Филипп схватил ее за плечи, впихнул в избу и шипя проговорил:

— Убью, если пикнешь!

Но Настасья не унималась.

— Не боюсь я тебя, разбойник, снохач проклятый! Жаловаться на тебя буду, в волость пойду, перед всеми осрамлю!..

Филипп опять было подошел к кровати, на которой лежала Ольга с посиневшим лицом и почти без сознания, но в это время он услыхал, как растворилось окно на улицу и Настасья закричала в него: «Караул!» Он вскочил в избу, отдернул старуху от окна и так ударил ее, что она покатилась на пол без чувств.

Дрожа от гнева, Филипп вышел из избы, сел на завалинку под окном и из боязни, что старуха опять начнет кричать в окно, не решился сойти с места вплоть до утра.

XVI

Когда опамятовалась Настасья, начало уже светать. Кряхтя и охая, поднялась она с пола и села на лавку и вплоть до утра просидела в раздумье, что ей делать, как отомстить мужу,— и решила твердо пойти жаловаться.

Потихоньку вышла она из избы на задворки и пошла огородами.

Не прошла она и половины огорода, вдруг слышит, бежит кто-то за ней, оглянулась она и остолбенела от страха: за ней гнался Филипп.

— Ты куда это собралась?

— А тебе что за дело?

— Пошла домой!

— Не пойду, отстань от меня, беззаконник этакий!

Филипп схватил ее за шиворот и ударил в спину кулаком.

— Пошла, коль говорят!

— Ой, ой! — завыла Настасья.— Да что же ты делаешь-то? Или думаешь, на тебя расправы не найдется? В волостную пойду, все расскажу.— И она, собрав все свои силы, кинулась было бежать через огород.

– А, а! в волостную! Жаловаться? — хриплым голосом кричал Филипп, хватая ее сзади. Обеими руками он вцепился ей в косы и повалил на землю.

— Жаловаться? Я тебе покажу, как жаловаться, вот тебе... вот...— И он стал бить ее куда ни попало.

Настасья кричала отчаянно, он свирепел все больше и больше и наконец стал бить ее сапогами. На крик Настасьи стал сбегаться народ. Бросились было отнимать ее, но Филипп так разошелся, что долго никто не мог подойти к нему. Когда наконец оттащили Настасью от Филиппа, она уже не подавала голоса. Лицо ее все было в крови, мокрые пряди волос разметались вокруг шеи. Не было слышно ни вздоха. Люди, собравшиеся вокруг нее, переговаривались вполголоса и покачивали головами.

— Вишь что наделал, душегуб, как изувечил бабу, теперь едва ли отойдет.

— Отойдет ли, нет ли, а глядеть зря нечего,— сказал один мужик.— Беритесь за нее да давайте понесем в избу ее.

Настасью подняли на руки и понесли в избу, уложили ее на долгой лавке и стали ждать, что будет.

Понемногу пришла в себя Настасья, стали у нее расспрашивать, за что ее так избил Филипп. Вздохнула Настасья и тихо проговорила:

— Ох! грехи тяжкие... поминать тошнехонько!..— и закашлялась Настасья, застонала, из глаз слезы брызнули.

— Ох! уходил он меня... Не переживу... Смерть моя!

Люди молча глядели не нее, бабы всхлипывали. Заметила Настасья среди мужиков кума своего и подозвала его к себе.

— Куманек, батюшка! — заговорила она.— Будь друг, напиши ты Андрюше письмецо. Пропиши ему, что умираю я. Хотелось бы перед смертью взглянуть на него. Не приедет ли домой?

— Ладно, напишу,— сказал кум.

— Ты поскорее, голубчик мой.

— Сейчас пойду, напишу и сам в контору снесу, будь спокойна.

— Ну ладно... потрудись... Ох, кабы увидать мне его!..

К вечеру ей стало хуже. «Словно у меня там внутри оторвано все»,— говорила она и к ночи совсем в забытье впала. Она стала бредить, метаться. И только к утру пришла в себя. Очнулась она, обвела глазами кругом и, заметив

около себя одну старуху, подругу свою прежнюю, проговорила:

— Помираю, родная... Хотелось бы проститься... с нашими... позови их сюда.

Старуха кинулась из избы, нашла Ольгу и почти насильно впихнула ее в избу.

Ольга, рыдая и дрожа от страха, бросилась на пол перед постелью Настасьи, ударилась головой об пол и начала причитать, захлебываясь слезами. Настасья прежде молчала, а потом заговорила, тяжело переводя дух:

— Ну, бог с тобой, не мне судить, все мы грешные... смерть моя близка, не держу я больше зла ни на кого... Смотри, поладь с Андреем... покайся во всем...

Ольга припала к ней головою, вся вздрагивая от рыданий. Настасья перекрестила ее дрожащей рукой, и спросила:

— А где ж старик-то?

Старуха пошла искать Филиппа, но нигде найти его не могла...

Так и умерла Настасья, не увидав его.

Филипп пришел домой только к вечеру и пьяный. Узнав, что Настасья умерла, он и в избу не вошел, а пошел в сарай и лег там спать. А наутро опять в кабак ушел.

С этих пор он стал пить без передышки, домой являлся он только затем, чтобы взять, на что пить. Когда хоронили Настасью, он и дома не был. Хлопотали обо всем Ольга да добрые люди. А он словно избегал и встречаться с людьми. И люди мало-помалу стали бояться встречать его. Очень переменился он за это время, лицом страшный стал, глаза как у безумного. Пуще всех боялась Ольга: завидя его, она пряталась куда ни попало или совсем убегала из дома...

XVII

Не с одним свекром боялась встречаться Ольга. Избегала она и людей. Она видела, что на нее глядят насмешливо, говорят шепотом, как увидят ее,— одно слово, считают, что она заодно со стариком была, и ей страшно тяжело делалось. «Господи, зачем я такая несчастная зародилась? — думала она.— За чьи грехи так мучаюсь? Скоро ли кончатся мои муки?»

И она с нетерпением ждала мужа. Она знала, что он, как получит письмо от крестного, не вытерпит, приедет до-

мой. И со страхом и трепетом она ждала того дня, когда он приедет.

Прошло с неделю после похорон Настасьи. Встала Ольга рано поутру и подошла к окну; погода была пасмурная, мелкий дождь сыпался на землю. Как-то тяжело чувствовала себя баба, сердце ее больно ныло, грудь давило тоской. Стала она глядеть в окно. Вдруг вздрогнула она всем телом и отшатнулась от окна, сердце в ней часто-часто застучало.

С огорода шел прямо к избе тот, кого она с нетерпением ждала и боялась. Шел он медленно и слегка пошатываясь. Несмотря на холодное утро, одет был Андрей в один пиджачок, руки его были засунуты в карманы, картуз на затылок съехал. Взгляд у него был нехороший, рот как-то перекосившись. Не успела Ольга очнуться, как Андрей широко отворил дверь и вошел в избу. Скинув картуз и бросив его на лавку, он обвел избу помутившимися глазами и, не глядя на Ольгу и не здороваясь с ней, сурово спросил:

— Где же отец?

— Не знаю,— чуть слышно ответила Ольга, дрожа вся как в лихорадке.

— А мать?

— Умерла матушка,— сказала Ольга и всхлипнула.

— Умерла?! — вскрикнул Андрей и подскочил к Ольге.— Через вас, проклятые! — зарычал он.— В гроб вогнали, беззаконники окаянные.— И Андрей кинулся на Ольгу и вцепился ей в волосы...

— Андрей, голубчик, прости, Христа ради...— взмолилась Ольга и бросилась ему в ноги.

— А, теперь прощенья просишь?! А в Москве что говорила? Тогда знать не знаю, ведать не ведаю, а теперь прости! Нет, врешь... Крестись!

Андрей размахнулся и со всей мочи ударил жену в висок. Ольга пронзительно вскрикнула и вскочила на ноги и бросилась было к двери. Словно сотнями игл кольнул Андрея крик Ольги, в голове его помутилось, и, не помня себя, схватил он лежавший на приступке топор, и не успела Ольга отворить двери, как он взмахнул топором над головой ее и опустил его. Раздался крик резкий, отрывистый... Что-то страшно хряснуло. Что-то густое и горячее брызнуло в лицо и глаза Андрею. Ольга покачнулась, грузно рухнула на пол. Все затихло. Только и слышно было, как

тяжело дышал Андрей. Постоял он над телом, будто не понимая, что случилось, потом подошел к лавке, сел и бессмысленно вперил глаза в то место, где лежало тело.

В сенях кто-то застучал, отворилась дверь, и в избу вошел один мужик, но, увидав, что случилось в избе, он с ужасом попятился назад и с криком выбежал на улицу.

Скоро все село собралось к Филипповой избе. Народ теснился у двери, с ужасом глядя на труп Ольги с раскроенным черепом. А Андрей все так же молча сидел на лавке и, казалось, ни на что не обращал внимания. На него нашел столбняк. Вскоре пришел староста, протолкался через народ, поглядел на убитую и покачал головой.

— Ну, малый! Тебя за это дело не похвалят,— сказал он Андрею.— Ты что же это наделал? А? Андрей, тебе говорят-то?! — И он потряс парня за плечо.

Андрей перевел не него тусклые глаза и вдруг пришел в себя.

— Убил!.. убил!..— закричал он дико и жалобно и повалился ничком на лавку.

XVIII

В то время как дома стряслась такая беда, Филипп лежал в соседнем лесу и спал. Накануне этого дня он был сильно пьян и сам не помнил, как забрался в лес и заночевал под кустом. К утру пошел дождь и промочил Филиппа до костей. Тогда только очувствовался Филипп и вскочил на ноги. Его пробила дрожь, в голове сильно шумело, хотел было мужик опять в кабак вернуться, пошарил в карманах, но не нашел там ни гроша и решил домой сбегать и что-нибудь взять на выпивку. Каждый раз, как Филипп отрезвлялся, воспоминания о том, что он наделал, начинали сильно мучить его, и он торопился поскорей напиться, чтобы затуманить память и заглушить тоску. Прибежал Филипп домой, хотел взойти на крыльцо, но вдруг остановился: видит он, калитка отворена и в сенях народ толкается.

— Что тут такое? — спросил Филипп и почувствовал, как сердце у него забилось, как бы что недоброе предчувствуя.

— А вот поди, погляди...— сказали ему и дали дорогу...

Подошел Филипп к двери, протискался сквозь народ,

оглядел избу и в ужасе отшатнулся назад. Народ, заметив это, загалдел:

— Что, не любо?

— Погляди хорошенько!

— Что скоро удираешь?

— Твое ведь дело.

— Сам до этого довел.

Слышит Филипп, что народ кричит что-то, но понять не может. В висках у него застучало, в глазах красные круги завертелись, сердце в груди замерло. Шатаясь, вышел он со двора в огород; дошел до обрыва над речкой, опустился на траву и сжал голову обеими руками.

— Господи, да что же это такое? — простонал он.— Что это я только наделал-то?! Боже милостивый!! Жену заколотил, сноху без поры безо времени погубил. Сына родного убийцей сделал... Мать сыра-земля, проглоти меня живьем, окаянного. О-о-о!!!

И он вдруг ударился головой о землю, заметался и завыл... Жгучие слезы полились из глаз его, мысли в бес порядке замелькали в голове.

— Как мне теперь с людьми жить? Камнями меня стоит побить! Живого в смолу бросить! Куда я глаза покажу? Проклятый я, проклятый!..

И Филипп отчаянно стиснул зубы и вдруг вскочил на ноги и оглянулся кругом. Было пусто и тихо кругом, только прибывшая от дождя река Куза шумела волнами. Постоял Филипп немного и вдруг шагнул к самому обрыву берега и взглянул вниз. Внизу, пенясь и наскакивая одна на другую, быстро неслись мутные волны. Оглянулся Филипп еще раз кругом и, отступив шага три назад, с разбега бросился с обрыва, зацепился за край, отшиб несколько комков глины и с ними вместе с шумом упал в воду и пошел ко дну. В нос и уши ему полезла вода — невольно стал он отдуваться, заметался и вынырнул наверх. Не успел он духа перевести, как на него набежала большая волна и перекувырнула его... захлебнулся несчастный, и понесло его вниз по течению...

XIX

На другой день было ведро. Дождь перестал еще вечером, вода в реке, прибывшая от дождя, за ночь спала. В версте от Баранова Куза круто поворачивает на полдень, и от этого

поворота вода, ударяясь в берег, делала большую вымоину. При полной воде вымоина заливалась водою, а когда вода спадала, то дно ее обсыхало и только посередине оставалась большая лужа или «заводина». К этой заводине прибегали мальчишки и вылавливали из нее мелкую рыбу, которая оставалась здесь после паводка. Так было и в этот день. Только солнце обогрело, как из села высыпала артель ребятишек с решетами и маленькими сачками из мешковины и побежала к заводине. Некоторые из них было уж влезли в воду, как один мальчишка заметил на песке, недалеко от берега, лежащего человека в полукрасной рубахе и синих портках. Ребятишки остановились, притихли и робко обступили утопленника. Один из них решился дотронуться до него ногой, мертвец не шевельнулся, тогда ребята шарахнулись в сторону, стрелой взлетели в гору и понеслись в село с криками:

— Утопленник, утопленник на реке!..

Услыхали мужики, высыпали на улицу, стали расспрашивать. Потом позвали старосту и гурьбой двинулись на реку. Подошли к вымоине мужики, взглянули на утопленника и тотчас же узнали его.

— Филипп Тарасов! — воскликнул один мужик.

— Он и есть,— молвил другой.

У всех пробежал мороз по коже. В ужасе мужики обступили утопленника и молча уставились на него...

— Господи батюшка, вот напасть-то открылась; вся семья прикончилась,— тяжело вздыхая, молвил один старик.

— Видно, беда-то одна не ходит, а и других за собой приводит,— сказал другой.

— И в какое время,— проговорил, покачивая головою, староста.— Только было оправился мужик, на путь стал, зажил по-людски, и вдруг такое дело.

— Да еще какое дело-то, невиданное и неслыханное,— сказал первый старик...

— Страшное дело,— молвил староста и замолчал, молчали и другие.

Постояв еще несколько минут и потужив о Филиппе и его семье, мужики один за одним стали отходить от утопленника и, поднявшись на берег, поплелись к селу...

1894 г.

Девичья погибель
(*Рассказ крестьянки*)

Повесть

I

Много на белом свете с людьми разных делов бывает — и мудреных и простых. То, глядишь, с человеком случится такая беда, что не придумаешь, как выпутаться из нее, а потом, смотришь, пройдет, как ничего не бывало; а то приключится просто пустое что-нибудь, ан, глядь,— погиб человек. Такие дела, чай, всякому известны. Видала и я в свою жизнь их.

Только больше всего одно мне помнится. И дело-то просто вышло, а сколько горя из-за него перетерпели! Сейчас вспомнить, и то сердце болит, а тогда-то и говорить нечего.

Случилось дело это, когда я еще в девках была. В ту пору на девок у нас урожай был: много их росло, да и девки-то все хорошие, но первой из всех считалась Настасья Большенина. Из семьи она была небольшой, а исправной; были у нее отец да мать, а больше никого.

Отец ее, дядя Василий, был мужик тверезый, работящий; мать, тетка Марина, тоже хлопотунья, оттого они хорошо и жили, всего у них вволю было. Настасью они баловали — работой не мытарили, а наряжали ее лучше всех. За наряды да за красоту свою она первою и считалась. И характером хороша была Настасья; другие чуть что, сейчас и нос задерут, а она всегда одинакова была и со всеми просто себя держала. Из девок ни одной не было, чтобы кто ее не любил или говорил про нее худо; все ее любили и водились больше всех с ней; другой какой не скоро такое счастье и выпадет.

Вот с этой-то девкой история и случилась. Началась она вот как:

Пришли святки, а святки для девок, знамо,— самое веселое время. Чего только не делают! И у нас они весело проходили. Откупали мы на святках избушку и собирались

в ней каждый вечер, и мало ли что за это время у нас в ней делалось: и гаданье и гулянье,— все шло; приходили ребята, мы с ними и в карты играли, и во «вьюны», и в «соседи». До самого крещенья у нас дым коромыслом стоял. Надеялись мы так проводить святки и в этот год; тоже откупили избушку и собрались в ней в первый же вечер. Собрались одни, ребят не позвали.

Сидели-сидели мы,— скучно нам стало.

— Давайте что-нибудь делать,— говорим.

— Что ж делать? — говорит Настасья.— Песни петь для первого вечера, кажется, нехорошо, в карты играть без ребят не стоит, да мне что-то грустно сегодня.

— Давайте гадать,— надоумила одна девка.

— И то, давайте,—и начали мы советоваться, как лучше погадать.

— Вот как,— сказала одна девка,— давайте наставим на лавку горшков или кринок и положим в один кусочек хлеба, в другой луковицу, в третий кольцо чье-нибудь, в четвертый ножницы, а пятый так оставим; и вот завяжем комунибудь из нас глаза, и пусть девка эта отходит к двери, а оттуда идет на горшки,— в какой горшок она попадет, такой и муж у нее будет. Если в первый, то домохозяин, во второй — горький пьяница, в третий — щеголь и богатей, в четвертый — мастеровой, а в пятый — пустодом.

Нам всем очень это понравилось, и принялись мы уставлять горшки. Уставили и стали выбирать, кому идти первой.

Первой выбрали Настасью. «Пусть,— говорим,— она погадает: может, скорей и грусть-то пройдет».

Настасья не отказалась. Завязали мы ей глаза, отвели на другой конец избы и пустили на горшки.

Подошла Настасья к горшкам, сунула руку наугад и попала в тот горшок, где кольцо лежало.

Увидали мы это, закричали:

— Ай, ай! За богатого попадешь да за форсуна, вот счастье-то!..

Улыбнулась Настасья и говорит:

— А ну-ка, другой раз!

Завязали мы ей глаза, переставили горшки и пустили другой раз. Опять Настасья попала в тот же горшок. Мы все диву дались.

— Это что ж,— говорим,— в другой раз!.. Батюшки мои!..

Раззадорилась Настасья, развеселилась.

— Давайте,— говорит,— в третий раз.

Пустили мы ее в третий раз; подошла Настасья опять к горшкам, сунула руку — и опять в тот же горшок. Мы так и ахнули.

— Голубушки! Вот диво-то! Три раза, и все одно.

Другие говорят:

— Знамо, не зря. Быть тебе, Настасья, нонче замужем за справным да за богатеем.

Сорвала Настасья платок с глаз.

— Посмотрим,— говорит.

И видно, что ей по сердцу было, что нагадала она: вся она раскраснелась, грусти как не бывало, веселая такая сделалась.

Стали другие гадать, но никому не удалось так, как Настасье,— всем разное выходило. Перегадали все мы, надоело уж. Подошли к Настасье и говорим:

— Какая ты счастливая, ишь как тебе задалось!

— Ну,— говорит Настасья,— это, може, так случилось. Неужели вправду сбудется все, что нагадала?

— Сбудется ли, нет ли, а дивное дело,— никому так не подошло.

Задумалась девка, отошла к стороне и весь вечер молчала. Поиграли мы еще кое-как в тот вечер и разошлись по домам.

II

С другого дня веселье у нас пошло настоящее. Только смерклось, как забрались мы в избушку и опять гадать стали, песни петь. Ребят наших еще не было в избушке. У нас под боком была деревушка Маликово; в этой деревушке девок почти никого не было, а ребят — много; а у нас ребят мало было. Вот маликовские и приходили по праздникам гулять к нам; и так мы к ним привыкли: бывало, как не придут они к нам, то словно и скучно станет. Вот, чтобы повеселее святки-то начались, мы и послали своих ребят за маликовскими. И долго они что-то не приходили. Нам уже надоело одним. Мы и в окна стали глядеть, и на улицу выскакивать — не идут ли? А их нет и нет... Зазевали мы, головы опустили... Вдруг, слышим, застучали

в сенях. Отворилась дверь, и входят наши ребята. Мы было бросились к ним, хотели обругать их, что долго не приходили,— глядь, а ребята-то не одни наши и маликовские, а пришел с ними еще какой-то молодец, какого мы и не видали никогда: справный, словно не из мужиков, в суконном тулупе, шапке барашковой. Как увидали мы его, отскочили назад да и плюхнулись всякая на свое место.

Стали ребята раздеваться, скинул тулуп и незнакомый молодец. Глядим,— под тулупом у него кожаная курточка; достал он из кармана беленький платочек, утерся им, весело таково поглядел на нас и говорит:

— Здравствуйте, красные девушки!

Мы так опешили, что на его слова и сказать не знаем что. Поклонились ему молчком да и сидим, не зная что делать.

Долго мы так сидели. Ребята с нами разговаривают, а мы и слово-то молвить боимся. Насилу-то осмелились, и когда один парень запел песню, ребята ему подтянули, подхватили и мы. Мало-помалу стало посмелее нам, пошли мы со «вьюном».

В этой игре всех смелее Настасья была. Она бойко таково обходилась со всеми, не боялась и этого форсуна-гостя, выбирала его к себе в пару, садилась рядом с ним. Он тоже больше всех с ней занимался, а один раз, как сидел с нею рядом, что-то шепнул ей такое, отчего она как маков цвет покраснела вся, а глаза так и загорелись... В этот вечер веселились мы до петухов. Только после петухов стали ребята ко дворам собираться.

На прощанье незнакомый молодец сказал:

— Ну, милые кралечки, очень рад знакомству вашему. Позвольте мне другой раз прийти.

— Мы,— говорим,— это никому не запрещаем.

Он сделал со всякой девкой рукотрясенье и ушел с маликовскими ребятами.

Только он ушел, мы сейчас обступили своих ребят и начали пытать:

— Ребята, чей это? Где вы его взяли?

— А что,— говорят ребята,— хорош парень?

— На что лучше! Чей он?

— А он,— говорят ребята,— из Безгрошева; там новый управляющий теперь,— так это его сынок. Зовут его Николай Васильич. Приехал-то было он к ребятам в Маликово,

а как стали маликовские к нам собираться, и он увязался. Довольны вы им?

— Довольны,— говорим.

— Так смотрите, хорошенько обходитесь, а то он и ходить не будет.

Стали мы собираться ко дворам, вышли из избушки, но долго не расходились. Дольше петухов на улице стояли и все судили да рядили про нового молодца.

III

На другой день чуть не с утра мы опять на улицу вышли, слонялись, шутили, играли и не заметили, как день прошел,— пришла пора в избушку идти.

Разошлись мы по домам, принарядились и пошли в избушку. Не успели мы придумать, какую игру сперва начинать, как — бац! — опять маликовские ребята идут, и с ними Николай Васильич этот. На этот раз он пришел с гармонией-тальянкой. Поздоровались ребята, разделись.

Поговорили мы кой-что.

И заиграл Николай Васильич на тальянке песню, хорошо заиграл; запели все, и петь-то легко как-то было. Спели одну песню, ударил Николай Васильич плясовую,— плясовая еще лучше вышла; ребята ударились плясать.

Поплясали ребята, вдруг поднимается наша Настасья.

— А ну-ка,— говорит игроку,— почаще!

Да как пошла, индо нам всем завидно стало,— и где только она научилась!

Порядком поплясала Настасья и отошла к стороне. Николай Васильич как бросит гармонию, а сам в ладоши.

— Ловко, ловко! — говорит.— Молодец! А я думал, тут все монашки; ан есть и живые люди. Спасибо!

И сейчас подошел он к Настасье и рукотрясенье с ней сделал.

После пляски в карты стали играть. Играли в короли. Николай Васильич как бывал королем, то как его спросят: «Король, король, куда пошлешь?» — так он такую штуку загнет, что у всех индо животики от смеха надорвутся.

Надоело играть в короли — бросили; Николай Васильич спрашивает:

— А кто знает фокус — как сухари со стола пропадают?

Настасья говорит:

— Я знаю.

— Молодец! на все горазда,— похвалил ее Николай Васильич.— А кто не знает?

Все молчали. Только одна девка, всех помоложе, Малашкой звали, говорит:

— Я не знаю.

— Хошь, покажу?

— Покажи.

— Слушай сперва, как делается это. Вот положу я на стол два сухаря, накрою двумя шапками, а они пропадут.

— Куда же они денутся-то?

— Вот куда хошь и думай!

Опешила Малашка, собрались мы в кучу, смотрим, что будет. Взял Николай Васильич две шапки. Сходил в чулан за сухарями, положил их на стол, накрыл шапками и говорит Малашке:

— Перевернись три раза.

Перевернулась Малашка.

Взял одну шапку Николай Васильич и ей подал, а другую взял сам и спрашивает:

— Сухари тут?

— Тут,— говорит Малашка.

— Так шапкой нос трут.

И он стал своей шапкой тереть себе лицо и Малашке велел то же делать. Стала Малашка тереть нос, а он в это время взял одной рукой сухари и хотел спрятать их; заметила это Малашка, бросила шапку и говорит:

— А!.. ты их спрятать хочешь, ишь какой ловкий!.. Хитер!..

Засмеялся Николай Васильич, положил свою шапку.

— Что ж делать,— говорит,— не удалось. Ишь ты, и бедовая какая! Тебя не проведешь.

Обрадовалась Малашка, что не далась в обман, повернулась к нам; взглянули мы на нее да так и покатились со смеху: все лицо у Малашки было черное-пречерное,— в саже выпачкано. Это когда он ходил в чулан за сухарями, то там повозил шапкой в трубе; этой шапкой Малашка и терла свое лицо.

Малашка сразу не догадалась, чему мы смеемся. Взяли ее тогда за руку, подвели к зеркалу; взглянула она на себя да как взвизгнет,— еще пуще засмеялись все.

После этого еще по-разному играли. Потом стали домой собираться маликовские и Николай Васильич. Обещался он как-нибудь еще к нам побывать. Мы его очень желали.

IV

После этого до Нового года не был у нас Николай Васильич. В Новый же год приехал; приехал он один на хорошей лошади, в маленьких саночках. Привязал лошадь у избушки и вошел к нам. Мы все ему обрадовались, а он и говорит нам:

— Сегодня ведь Новый год. Надо повеселее его встретить, старый проводить. Нельзя ли самоварчик поставить? Чайку вместе попьем.

Занялись мы самоваром, а Николай Васильич вышел к санкам и принес оттуда два штофа с вином (в одном было зеленое, а в другом — красное) и два узла с чем-то; стали развязывать узлы, глядим — в них всякие гостинцы: пряники, орехи, конфеты, баранки сдобные... Разложили все на стол. Стал Николай Васильич всех усаживать и угощать, кого красным вином, кого зеленым... По одному выпили, потом по другому, а там по третьему, раскраснелись все, развеселились... Попили чаю, давай опять играть по-всякому. Потом Николай Васильич и говорит:

— Ну, пора мне! Спасибо за добро да за компанию.

Сколько мы его ни упрашивали: «Что ты, куда ты?» — не тут-то было. «Некогда»,— говорит.

Сел он в саночки, тронул лошадь. Мы опять в избу пошли; только одна Настасья не пошла с нами — домой отправилась.

— Что ты,— говорили мы ей,— рано так? Погуляем еще!

— Нет, мне не хочется.

— Ну, как хочешь.

Взошли в избу мы; ребята стали насмехаться над Настасьей:

— Ишь, Настасья-то! При купчике гуляла, а без него с нами и займаться не хочет!

— Ну пущай она теперь на печке сидит, а мы вот повеселимся,— сказали мы.

И пошло у нас веселье, какого больше во все святки до самого крещенья не было.

Николай Васильич после этого что-то не приезжал, словно его бабушка отворожила. Мы шибко дивились этому. «Что за притча?» — думаем. Думали было — в крещенье не приедет ли, и в крещенье не был, да и маликовские не приходили: скучные такие все были в этот вечер, а скучнее всех Настасья: ни песен не пела, не говорила почти ни с кем. Запели было мы песню. Так она такая сделалась, словно вот расплакаться хочет. Мне ее индо жалко стало.

«Что она? — думаю.— Не втюрилась ли в этого форсуна, что грустит так?»

V

В крещенье хоть и грустна была Настасья, да с нами все-таки была, а после этого она на люди и глаз не стала показывать. Бывало, и к подругам бегала и ко мне хаживала, а тут засела дома, и не выманишь ее никак.

Да не только к другим ходить, а к ней-то когда придешь, кажись, не рада была: сидит молчит, ни слова путем не скажет, не улыбнется, а уж то ли не поговористая была. Шибко мы дивились этому.

После крещенья стали по деревням сваты ездить: то к той девке заедут, то к другой завернут. Заехали и к Большениным. Сваты были из села, дом богатый, и жених ничего, только одет серо. Стали Настасью сватать; отец с матерью с радостью отдают, а девку и в оглобли не введешь: не идет, да и только. Так и отказали сватам.

Узнали об этом на улице. Иные девки стали смеяться.

— Куда,— говорят,— она пойдет за такого сиволапого? Она за какого-нибудь щеголя выйдет! Эна она что нагададала! — говорят.

Пришло время к масленице; на масленице мы тоже вроде святок повеселиться хотели; только не в избушках, а на улице в эту пору все гулянье идет. В последние дни сговорились мы кататься ехать в село. Наняли у одного мужика двух лошадей, запрягли их ребята гусем, насело нас полные дровни, и поехали. Настасья тоже согласилась кататься ехать.

В этот день что-то она разгулялась, развеселилась — бойкая, как бывало, стала. Выехали за деревню, запели

песню — Настасья на затяге. С песнями-то мы не заметили, как и к селу стали подъезжать.

Как увидали село, подбодрились мы, оправились, откашлялись, и только хотели новую песню запевать, вдруг, глядим, из села нам встречники выезжают, молодежь, и тоже гусем на паре, народу полные дровни, тоже песни поют. Доехали мы друг до дружки, стали разъезжаться, глядим на них и видим: сидят девки и ребята, все красные, видно выпивши, и так-то заливаются-поют; а в середине их, обнявшись с одной девкой, сидит тот молодец, что у нас в святки бывал, Николай Васильич, и тоже шибко выпивши.

Как увидали наши ребята его, закричали Николаю Васильичу:

— Что же это ты нас забыл?

Николай Васильич сперва словно было не узнал нас, вытаращил глаза, глядит.

Оглядел всех, вспомнил, видно, да как крикнет:

— На кой-то вы мне такие хорошие! — и отвернулся.

Ребята и девки в тех санях так и загоготали как лошади.

— У-у-у!..— орут.— Что, нарвались? Хо-хо-хо!..

И ребятам и нам стыдно стало. Разъехались, ударили по лошадям да скорей в село.

Проехали раза три по селу, ребята и говорят:

— Надо в трактир заехать, чайку попить. Будете, девки?

Кто говорит буду, кто — нет.

— Э, да вас не поймешь! Кто не хочет, оставайся на дровнях, а кто хочет — в трактир пойдем,— говорят ребята, и подъехали к трактиру. Знамо, в санях никто не остался, все пошли в трактир. Уселись за стол, заказали чаю. Опять ребята спрашивают:

— Девки, вино будете пить?

Настасья поглядела на ребят, качнула головой и говорит:

— Эх вы! Это все равно что «сват, ночуй, а то вот твоя шапка». Вы, если хотите попотчевать, закажите да поднесите. А то: «Будете вино пить?» — а вина-то еще и нет...

— За вином дело не станет,— говорят ребята,— только хотим узнать, сколько заказывать.

— Заказывайте больше, чай, не скиснется, все разойдется.

Заказали ребята два полштофа, стали сами пить и нас угощать. Из нас кто выпил помаленьку, кто не стал. Дошел черед до Настасьи.

— Я не откажусь,— говорит девка и сейчас взяла стакан и кувырк его в рот.— Налей-ка еще,— говорит.

Мы индо переглянулись друг с дружкой — очень нам дивно стало, что это с ней стряслось. Стали глядеть, что дальше будет.

Выпили еще кой-кто из девок; ребята по одной пропустили. Пришел опять черед до Настасьи; опять она целый стакан выпила. И стала она еще веселее: над всеми трунить стала, смеяться, всех пересмеяла. Некоторые девки даже обиделись.

— Ишь,— говорят,— зубоскалка какая!.. Надсмехается над всеми... над тобой надо бы посмеяться.

— Смейся кто хошь, не заказано! — говорит Настасья.— На чужой роток не накинешь платок.

Посидели в трактире, вышли вон, сели в дровни, опять поехали кататься, опять песни загорланили.

Катались вплоть до вечера; приехали домой, стали вылезать из дровней, ребята лошадей стали отпрягать, а мы по дворам пошли. Мне с Настасьей в один конец было идти. Идем мы дорогой, я и говорю:

— Ты вечером на улицу выйдешь?

— Выйду,— говорит,— заходи за мной.

— Ну, ладно.

Пришла я домой, скинула уборы, поужинала и пошла на улицу. Зашла я к Настасье, а она в чулане сидит; в избе никого нет, скотину убирают. Как была она нарядная, так и сидит, вся бледная такая, а глаза красные, опухли, словно плакала она. Удивилась я.

— Что ты,— говорю,— Настасья?

Обхватила меня Настасья за шею обеими руками да как зальется слезами, а сама причитает:

— Милая моя подружка, знала бы ты мое горюшко лютое, пожалела бы меня, бесталанную! А то никто моего горя не знает... никто не ведает...

И долго так плакала она, пока не выплакалась; отклонилась она от меня, стала лицо утирать.

Стала я ее на улицу звать, а она говорит

— Нет, не до того мне; ступай одна.

Пошла я одна на улицу; но уже невесело и на улице

мне было. Думала я все о Настасье, но как ни кидала мыслями, никак не могла разгадать, что это с ней приключилось.

VI

Постом нам уж, как и водится, редко приходилось видеться: то холсты допрядаешь, то ткешь; разве в праздник когда соберешься на улицу, да и то ненадолго: так стоять не хочется, песни петь нельзя. Не видалась я с Настасьей за семь педель и семи раз путем; только в последние дни на страстной потолковали мы.

Зашла я к ней, чтобы спросить, пойдет ли она к обедне в светлый день. Сказала, что пойдет. Стала я спрашивать, во что нарядится.

— Во что придется,— говорит.

Спросила, пе справила ли она себе чего-нибудь к празднику. Поглядела на меня Настасья, вздохнула и говорит:

— Рубашку с длинными рукавами справила.

— Вот те раз! — говорю.— К святой-то? Это на пост к причастью да если кто помирать думает такие рубашки-то справляют.

— Бог знает! — говорит Настасья.— Может, и помрешь.

— Ну, что зря болтать-то, в такие-то года!

— А что ж, и в такие года помирают за милую душу...

— Ну,— говорю,— мы с тобой еще поживем. Вот святая придет, погуляем; а там весна наступит. Пора-то какая: живи да радуйся! Как подумаешь, так сердце замирает.

— А мне,— говорит Настасья,— и это время встречать словно не хочется. Ничто не мило.

— Да что ты,— говорю,— Настенька? И что с тобой поделось? Тебя и слушать чудно, говоришь незнамо что.

— Я знаю, что я говорю. Погоди, скоро, может быть, узнаешь. Кому другому не скажу, а тебе скажу. Жалеешь ты меня?

— Вот как жалею,— говорю,— все сердце у меня выболело, на тебя глядя. Только не знаю, что у тебя на душе лежит; скажи сейчас,— может, тебе полегче будет.

— Нет, сейчас не скажу... нельзя, погоди маленько.

— Ну, погожу... Только ты уж не очень кручинься-то.

Проводи, как бывало, пасху-то, а то ты, пожалуй, и на праздниках такая будешь.

— Как придется...— говорит.

В первый день на святой, после отдыха, пришла я к Настасье и потащила ее на улицу. Нарядилась девка и пошла. Гляжу я на нее,— наряд ее, а облик словно не ее: худая, белая, глаза в синих кругах, губы как-то побелели. Бывало, она по красоте первой девкой была, а теперь никакой и красоты в ней нет. Опять я задумалась, что зто с ней приключилось, и смерть мне хотелось узнать, что у ней на душе таится... Так бы я и заглянула к ней в нутро и прочитала все, что там деется.

Всю пасху Настасья на улицу ходила, а веселья прежнего от нее никто не видал; как ни приставали к ней девки, не поддавалась она: так, бывало, все и держится в стороне да поодаль.

Ко мне она больше всех девок жалась, на улицу и с улицы все со мной ходила, когда зайдет ко мне посидеть или к себе затащит.

В отставное воскресенье моя мать ушла к тетке в другую деревню семян попросить; отец со старостой пошел в волость насчет разбора магазеи хлопотать; братишки и сестренки мои на улице бегали, осталась я одна в избе. Сижу я так и думаю: «Дома ль сидеть или на улицу идти?» — как, глядь, идет ко мне Настасья.

— Никак ты одна? — говорит.

— Одна,— говорю.

— Прими меня к себе домовничать.

— Просим милости,— говорю.

Разделась она, села на лавку, стала говорить о том, о сем. Долго она у меня просидела, вдруг, гляжу, идет мать ее.

— Настюшка, иди домой!

— Зачем? — говорит Настасья.

— Нужно, иди скорей!

— Скажешь — так пойду...

Помялась-помялась ее мать и говорит:

— Сваты приехали...

— Откуда?

— Из Черепкова Мешковы. Дом хороший и жених славный; подика, погляди...

— Не пойду,— говорит Настасья.

Мать индо осердилась.

— Будет,— говорит,— дурить-то! Ты погляди-ка, за кого сватают-то! стоишь ли ты еще этого места!..

— Стою ль, не стою ль, а не пойду. Так и скажите им: мол, не хочет идти.

— Ну, ладно, смотри! — говорит тетка Марина.— Вот я отцу твои слова скажу!

— Говори кому хошь.

Ушла тетка Марина. Гляжу я на Настасью, думаю: «Что скажет?» А она сложила руки на груди, уперлась глазами в пол и ни слова. Посидели мы молчком маленько, глядим — дядя Василий сам идет, и сердитый такой. Только вошел он, как закричит на Настасью:

— Ты что ж это, такая-проэтакая, к сватам нейдешь? Аль век в девках сидеть думаешь?

Настасья, как вошел отец, бледная такая сделалась, а в ответ отцу не сробела.

— Може, век и просижу, вам-то что? — говорила она.

Ощетинился дядя Василий еще пуще:

— Что ж, ты все думаешь нашу шею глодать? Нет, будет! Мы и до этих пор измучились, справлявши и наряжавши тебя...

— А теперь не заставлю, ничего не спрошу. Чай, я не маленькая, сама себя могу оправить.

— Да ты замуж-то иди!

— А замуж не пойду.

— Я тебе все косы выдеру...

— Хоть голову отрежь, я все не пойду...

Плюнул дядя Василий и ушел из избы.

Вскоре, глядим, и сваты из деревни поехали. Как приехали-то, мы не видали, а тут видим, лошадь хорошая, сбруя новая с бляхами; на тележке сидят трое: старик — отец, должно,— в суконной поддевке, старуха-мать и жених. Жених тоже нарядный: в чуйке, в малиновой рубашке шерстяной.

— Дура ты! — говорю я Настасье.— Что не идешь? Это что, какой парень!..

— Наплевать мне на него! — говорит Настасья.— Ты вот что: пойдем мы с тобой завтра в Безгрошево...

— Зачем это такое?

— Спросим, работки какой нет ли, пока за свою не принимались. Там именье,— може, что и есть...

— Да зачем же это?

— Ты себе на наряд или еще на что заработаешь, а я тоже себе на справку...

— Да что тебе за нужда?

— Нужда. Отец с матерью теперь будут хлебом попрекать, а я покажу им, что я свой хлеб могу достать.

Чудно мне было слушать Настасью; словно на дело похоже, что она говорила-то, и не верилось, будто за другим чем она шла.

А она пристает:

— Пойдем, Параша.

— Ладно,— говорю,— пожалуй, пойдем...

Сговорились мы пораньше из дому выходить, и пошла моя Настасья домой...

VII

Утром рано поднялись мы и пошли в Безгрошево. Пришли мы туда, подошли к управителю.

— Вот,— говорим,— поработать чего нет ли.

Поглядел на нас управитель и велел идти сад огребать.

Дали нам грабли, показали, с чего начинать и куда сгребать. И принялись мы за дело.

Огребаем мы листья, старые сучья, а Настасья моя все по сторонам глядит... Я ее спрашиваю:

— Настя, что тот парень, что к нам в святки приезжал, здесь живет?

— Здесь.

— Это что ж, отец его — управитель-то?

— Да,— говорит Настасья, и неохотно таково, сквозь зубы.

Проработали мы полдня, поели хлебца, лепешек, что из дома взяли, отдохнули и опять принялись за дело. Нагребли мы кучи две, глядь, идет к нам парень какой-то. Пригляделись, а это Николай Васильич... Подходит не спеша, папироску покуривает. У меня отчего-то сердце так и забилось... Гляжу на Настасью, а та и грабли бросила... стоит, опустя руки, а в лице хоть бы кровинка...

Подошел к нам Николай Васильич, остановился и говорит:

— Здравствуйте, красные девушки! Откуда вы?

Пошевелила губами Настасья, откашлялась, глянула на него так востро и говорит:

— Ишь ты, и не узнаешь!.. Коротка же у тебя память!

Вгляделся в нас Николай Васильич и узнал.

— Вы луховские? — говорит.

— Луховские.

— Это Настасья?.. А, моя милая... как ты переменилась-то!..

— Вот когда узнал-то,— говорит Настасья.— Еще полгодика прошло бы, и как звать позабыл бы. Что ж ты плохо навещаешь нас?

— Дороги нет... ишь — все распутица...

— Тебе, видно, куда распутица, а куда все путь...— говорит Настасья, а сама так и уперлась в него глазами.

— Как придется...— говорит Николай Васильич.

— То-то, как придется... следовало бы навестить нас...

— Когда же? То пост был, то святая,— гулять нельзя было...

— Тебе бы все гулять... А за делом-то не хошь ехать?

— За каким? Кажись, делов-то туда нет...

— Ты уж забыл... А что в Новый-то год говорил?..

Съежился Николай Васильич, глаза такие нехорошие сделались,— как у мышонка бегают... На нас и не глядит и уйти неловко...

— А я тебе, беспутному, поверила... думала — ты правду говоришь... исполнишь свое обещание...

— Мало ли что мы говорим, а вы и верьте нам; в таком разе чего не скажешь.

— Так зачем же обманывать-то? Сказал, так и будь верен слову! Зачем же такие дела-то делать? Губитель ты этакий! Зачем надругаться-то над нашей сестрой! — закричала Настасья, а слезы так и брызнули из глаз.

— Кто над вами надругается, коли вы сами того не пожелаете... Никто бы не тронул вас. Держали бы ухо вострей да пословицу помнили бы: на то и щука в море, чтоб карась не дремал...

— Больше ничего не скажешь?

— Ничего.

Сразу осеклась Настасья, съежилась как-то.

— Так бог с тобой! Дай бог тебе счастья...— сказала она словно не своим голосом.

Повернулся Николай Васильич и пошел от нас прочь как ни в чем не бывало.

Отошел он. Настасья как зарыдает — и грохнулась оземь. А я стою как обухом пришибленная: не знаю — ни что говорить, ни что делать. «Батюшки мои,— думаю,— вот какие дела-то делаются! Да как же это, господи боже мой!»

И поняла я, отчего Настасья так переменилась после святок и упиралась замуж идти, и грустила все, и гуляла так в масленицу, и зачем сюда работать пришла. Жалко, жалко мне ее стало!

Опамятовалась я маленько, подошла к Настасье, стала ее поднимать да уговаривать.

Обошлась маленько девка, перестала плакать, принялась за дело...

Дело у нас после этого плохо клеилось; кое-как добили мы до вечера, пошли к управителю, разочлись и отправились домой.

— Настя, да неужно правда,— говорю я дорогой,— с тобой такой грех случился?

Вздохнула Настасья и тихо говорит:

— Случился... Ты и не думала?

— И во сне не видала и не чаяла... Ведь это диво дивное... Да как же это, когда?

— На святках нонче. Помнишь, чай, он со мной больше всего занимался-то? Мне это по душе пришлось; как ни говори, а парень завидный. Я с первого дня стала об нем думать... Догадался он про это, должно, да в Новый год, как с вином и гостинцами-то приехал, и шепнул: «Нужно, говорит, мне с тобой два слова сказать наедине. Как, говорит, это сделать лучше?» — «Говори здесь»,— сказала я. «Нет, говорит, здесь неудобно, услышат».— «Ну, на улице».— «Нет, говорит, и на улице не складно,— увидят другие, начнут судачить... Мы лучше вот что сделаем: я поеду домой, выеду за деревню да поворочу по дороге за сараи, а ты выйди туда, там и потолкуем».— «Да об чем толковать-то?»— «Дело важное есть да хорошее,— вот увидишь». Поверила я, думала, что правду говорит он, вышла, а он подхватил меня в саночки, да и марш. Хотела я закричать, а он говорит то да се: «Я женюсь на тебе, будешь моя навеки». От его слов-то, от вина-то, что выпили тогда, помутилось у меня в голове, да вспомнилось, что нагадала-то я в первый вечер. Сбывается, думаю,— и сделалась сама

не своя... Думала я, что на другой день или на третий меня сватать приедет или пришлет кого, а от него и слуху нет: не шлет никого и сам не показывается. Эх, Парашенька, знала бы ты только, что у меня тогда на душе творилось! Ад кромешный,— хуже, чем сейчас.

— Плохо дело,— говорю я.— Да авось, бог даст, обойдется все.

— Нет,— говорит,— не обойдется.

— Отчего? Замуж выйдешь...

— Как же я замуж пойду, когда я с ним совсем связана?

— Как же связана,— говорю,— когда он вон что говорит?

— Пущай что хошь говорит, а у меня от него под сердцем бьется.

— Неужели правда?

— Ей-богу, так!

Как услыхала я это, не знаю, что и сказать; подрал меня мороз по коже, а язык в горле колом стал.

Пришли домой мы уже поздно — и прямо по домам. Поужинала я, легла спать и долго-долго об Настасье думала, и что ни мекала, все выходило — плохие ее дела.

VIII

На другой день мы не пошли на поденщину — незачем было. Дома сказали, что работы там больше нет, и занялись домашними делами: я стала платки строчить, а Настасья шить что-то.

Дня два прошло уж и фоминой недели. На третий к Настасье опять приехали сваты, опять из хорошего дома, и шибко сватали ее; выговоров, каких хотела, давали, но Настасья ни на что не глядела,— уперлась, да и все тут.

Так и уехали сваты ни с чем.

Только уехали сваты, пошла я проведать Настасью. Вошла в избу, смотрю — сидит она в чулане, угрюмая такая. Дядя Василий по избе ходит злой-презлой, а тетка Марина под окном сидит и тоже невеселая. Только вошла я в избу, она и говорит:

— Погляди: твоя подруга-то сдурилась, да и все тут. Никак не уговорим замуж идти. И чего она только хочет?..

— Сам дьявол не поймет, до чего она добивает,— сказал дядя Василий.— Дураками нас, что ли, хочет оставить.

— Да что вы об этом очень хлопочете-то? Ну, не пойду, и все тут. Что же вы очень горюете-то об этом?

— Да ведь тебе добра желают, дура, ты пойми это! Ведь не миновать замуж идти? Чего ж хорошие места-то упускать!

— Да, може, я совсем не пойду замуж...

— Да отчего? Скажи на милость!

Настасья соскочила с места, вышла вон из чулана; глаза у нее так и горят, румянец по щекам разошелся.

— Оттого я нейду замуж, что тяжела я!

Дядя Василий как остановился у стола, так и плюхнулся на лавку, а тетка Марина всплеснула руками и заголосила:

— Батюшки мои, родные мои! До чего мы дошли-то, до чего дожили!

И заплакала она горько-горько и головой об стол ударилась.

Дядя Василий перевел дух маленько, поглядел на Настасью сердито так и сказал:

— Так вот что!.. Вот как!.. хорошо... спасибо, дочка! Разуважила!

И не стал он больше в избе сидеть, а вскочил с места, схватил шапку да вон...

А тетка Марина как набросится на Настасью и начала ее ругать:

— Ах ты, плеха этакая, паскудница, что ты наделала сама с собой? Загубила ты свою головушку... и нас совсем осрамила! Разве на то мы тебя растили?.. Для того заботились?..

Опустила голову Настасья и пошла опять в чулан. Вижу я, что мне тут уж делать нечего, вышла от них и пошла домой.

«Ну, что-то будет! — думаю.— Подняла бурю Настасья, и как это у ней смелости хватило...»

Весь день до вечера у меня сердце ныло, ждала я чего-нибудь плохого после этого. Пришел вечер, легла я спать, и уж успела уснуть,— думаю, что петухи уж тогда пропели,— вдруг слышу, в окно стук-стук.

— Прасковья дома?

Слышу — тетки Марины голос.

— Дома,— говорит моя мать.

— Вышли ее ко мне.

Накинула я на себя зипун, вышла к ней.

— Что такое? — спрашиваю.

— Настюшка у тебя не была недавно?

— Нет,— говорю.

Заплакала тетка Марина.

— Куда ж это она делась-то?

— Батюшки мои! А что,— спрашиваю,— или дома ее нет?

— Да,— говорит,— нету.

— Давно ли?

— Вскоре, как скотину убрали, ушла.

— Куда же?

— Не знаю. Пойдем со мной, я тебе расскажу, как было дело.

Пошла я с теткой Мариной, и стала она мне рассказывать:

— Василий-то после того в кабак прямо пошел, выпил там и пришел домой пьяный и сердитый такой, каким я его сроду не видала. Как вошел в избу, я его и не узнала даже: лицо страшное, глаза как у волка. Только он через порог переступил, как заревет: «Где наша шалава-то?» Я было хотела схоронить куда-нибудь, сказать, что нету,— пока обойдется-то он,— а она, как на грех, вышла сама из чулана: «Что тебе, батюшка?» Заревел мужик еще пуще: «Ты что наделала-то? А?!» Да как набросится на нее, как вцепится руками в косы, да как грохнет ее об пол головой,— и давай тузить: и кулаками-то, и сапогами. Бросилась я было к ней — заступиться хотела,— а он как саданет меня наотмашь — я так горошком и отскочила... Уж так-то он ее бил, так-то бил, а она хоть бы пикнула: валяется это на полу, зубы стиснула, побелела вся, из глаз слезы катятся, а голосу не дает. Наколотился он досыта, схватил за руку ее и потащил из избы вон. Я за ними — гляжу, что будет. Притащил он ее через двор да в заднюю калитку на огороды и выпихнул. Хотела я к ней выскочить, а он запер калитку, схватил меня да тоже отдул,— отдул да в омшаник под горенкой и запер, а сам ушел, не знаю куда. Уж я билась-билась там, и кричала-то, и молила — никто меня не услыхал. Как мне выбраться? Стала потолок пробовать; расшатала одну потолочину да в горенку и вылезла да на огороды. Прибегла я туда, а там Настюшкиной и духа нет. Хотела было

я по соседям пойти, спросить, нет ли у кого ее, да побоялась: будут придираться, спрашивать, почему ушла да зачем. И что я буду рассказывать? До того ли мне!.. Так и решилась тебя позвать на помогу к себе. Поди, родимая, по соседям, послушай; може, она у кого-нибудь у них сидит.

IX

Пошла я по дворам, по заоконью, думаю: «Если у кого сидит Настасья, то, верно, не спят те, а разговаривают». Обошла дворов десять — ни у кого ни гугу: все спят. Так и воротилась ни с чем к тетке Марине.

— Ну, что, нету? — спрашивает.

— Должно, нету,— говорю,— ни у кого не слыхать.

— Ах ты, батюшки! Где же это она делась-то?

— Давай,— говорю,— за дворами поищем; може, она где в овине сидит или в половне.

Заплакала тетка Марина.

— Давай, давай! — говорит.— И что же это такое делается-то, батюшки мои!

Пошли мы по овинам, обошли в нашем конце все — нигде нет Настасьи. Пропели вторые петухи, месяц взошел, видно таково стало.

Говорю тетке Марине:

— Пойдем, поглядим следы за двором; земля сырая — видны, чай, они. Може, скорей найдем.

— Пойдем, пойдем! — говорит.

Пошли мы ко двору, стали глядеть следы: сперва незаметно было, потом — смотрю — ступня на земле, другая, да часто так, и в разные стороны разбиты; видно, тихо шла девка и пошатывалась. Кое-где от рук следы видны,— знать, падала она. Пошли мы по следу,— за овины вел он, а там по полосам да как раз в лесок, что за полем был. Догадались мы об этом... Тетка Марина еще пуще заплакала.

— Никак она в лес ушла? Это раздевши, разувши-то!.. Да она зазябнет там совсем; ведь гляди, какой заморозок сегодня!

Тогда, правда, заморозок большой был.

— Так надо скорей идти туда,— говорю.— Побежим!..

Пустились мы чуть не бегом в лес, за полем уж следа не видно было. По луговине разошлись мы по лесу науда-

чу, стали по кустам шарить. Хожу я круг елок, приглядываюсь — ничего не видать. Долго ходила я так; вдруг слышу — тетка Марина кричит мне:

— Прасковья!

Откликнулась я, побегла на ее голос; прибегаю к ней, гляжу, а она у одной елки на коленках стоит, а под елкой на земле Настасья лежит, растрепанная, глаза закрыты и не движется — без памяти совсем.

— Батюшки мои! — говорит тетка Марина.— Никак она неживая!

Нагнулась я к Настасье, слышу — дышит; только прознобило, должно, очень ее: холодная как лед.

— Надо домой тащить ее поскорей,— говорю.

Взяли мы ее за руки, подняли, подхватили под мышки и понесли. Несем мы Настасью, а она плеть плетью: ни головы не держит, ни руками не шевельнет; только отогреваться стала.

Принесли мы ее в избу, положили на лавку, а она и совсем разгорелась: лицо красное сделалось, от головы как от печи запышало. Вдруг открыла она глаза, установилась на нас и глядит.

— Настюша, милая,— говорит тетка Марина,— худо тебе?

Ничего не сказала Настасья, только простонала да повернулась лицом к стене.

Стали щупать мы ее тело, чуем — опять простывать стала... Вдруг ударило ее в дрожь, да в такую сильную. Стали мы ее одевать, на ноги валенки надели, шубой накрыли, под голову шубу положили, а ее все трясло.

Согрели мы маленько Настасью, прошла дрожь у нее, вроде заснула она немного. Отошла я от нее, прилегла на лавку и тоже заснула и проспала до самого света...

Утром, только открыла глаза я, вижу: Настасью перенесли на долгую лавку и положили под божницу. В ногах ее сидит тетка Марина, а перед ней стоит дядя Василий. Не узнала я дядю Василья, с похмелья ли он был или ему так уж горько на дочь было глядеть, только был он совсем на себя не похож: лицо белое-белое, морщины на нем большие легли, много старше он стал, чем вчера был. Зашевелилась я, повернулся он ко мне; гляжу, а у него на глазах слезы стоят. Поняла я, что не с похмелья он такой, и досадно мне стало. «Вот так, думаю,— вчера мытарился как ни попало,

а сегодня жалко стало. Эх, что это за народ такой безрассудный, мужики эти!»

Поглядела я на Настасью: лежит она, чуть дышит.

— Что, ничего она не говорила? — спрашиваю тетку Марину.

— Нет, ничего,— говорит.

Пошла я домой к себе.

После обеда опять пришла к Большениным. Настасья все так же лежала; к вечеру она было пришла в себя, да ненадолго; а ночью вступил в нее сильный жар: стала она бредить, метаться, ни отца, ни матери не узнает. Поняли все, что не отходить ее, стали понемногу готовиться к ее кончине.

X

На другой день я и домой не ходила, все около Настасьи была. Дядя Василий с теткой Мариной совсем с ног сбились от горя и ничего уж путем и сделать не могли. Отбились они от еды совсем. И Настасью-то жалко, и на них глядеть живот замирает.

А Настасья так переменилась... совсем не та девка: из лица осунулась, нос большой стал, глаза в ямах. То мечется она, то спокойнее сделается. Лежит, дышит, а в груди у нее переливается, словно оторвалось что. К обеду она вдруг очнулась, открыла глаза, долго-долго в потолок глядела, потом перевела их на меня и вздохнула.

— Настя,— говорю я,— ну, как тебе? Нехорошо?

— Нет, ничего,— говорит тихонько Настасья.

— Как ничего,— говорю,— на что ты похожа-то стала? Таких в гроб кладут.

— И меня в гроб скоро положат.

— С этих-то пор! — говорю.— Эх, Настя, жаль мне тебя! Жить бы нам с тобой да радоваться.

— Что ж делать,— говорит.— Видно, такая доля моя.

— Неужели тебе не тяжело умирать-то!

— Нет. Мне лучше смерти и ждать нечего было бы. Куда я гожусь? Вековухой век мыкаться радости мало, а замуж идти — чужой век заедать...

— Зря ты так думаешь,— говорю.— Може, во какое счастье выпало бы.

— Нет, потеряла я свое счастье. Потеряла, не воротить бы... Эх, Параша!

И прослезилась Настасья, отвернулась к стене, а меня слезы прошибли. Думаю: «Господи, за что девка гибнет? Эх, жизнь наша!»

Ударило ее после этого опять в жар, опять забредила она, заметалась, стала об стену руками и ногами биться,— видно, очень лихо-то ей было. Дядя Василий с теткой Мариной пытались ухаживать за ней, и то и это делали,— ничего не помогли, пока сама она из сил выбилась.

После этого Настасья и в себя не приходила; все хуже и хуже ей делалось. К вечеру она совсем ослабла, а на другой день утром и богу душу отдала.

Готовились к этому дядя Василий с теткой Мариной, а как увидали, что кончилась она, стали они около долгой лавки, обнялись друг с другом да завыли обои в голос:

— Милая наша дочка, цвет ты наш алый, на то ли мы тебя растили и лелеяли, на то ли берегли и холили? Думали мы — ты наши глаза закроешь, а пришлось — сама закрыла вперед ясные очи. Зачем мы до этого дожили? Зачем только это увидали?

Собрался народ, девки, бабы... Набилась полна изба, и все поголовно плакали, глядя на них, а я в этот день просто свету божьего не видала,— так мне горько было.

Обмыли Настасью, положили в гроб, поехали могилу рыть, и все добрые люди, а сами Большенины словно обезумели от горя: ни сделать ничего не могли, ни распорядиться ничем.

XI

На третий день вынос назначили.

Приехал диакон поднимать Настасью, отслужил панихиду. Стали прощаться. Дядя Василий опять так плакал, как прощался с дочкой, как редко мужик плачет, а тетку Марину насилу от гроба оттащили. Навалилась она на него да и не поднимается. Стали ее уговаривать, а она как грохнется на пол, да так без памяти и покатилась.

Из избы по деревне и через поле несли Настасью девки; оделись все по-великопостному — косы распустили... Сердце замирает, как вспомнишь, как несли ее. И сколько слез тогда все пролили, просто страсть!

Пронесли свое поле, захватили чужого, и тут-то и простились с покойницей. Могильщики поставили гроб на телегу и повезли ее на кладбище, а мы всей гурьбой домой пошли. Грустные все такие были мы,— жалко нам было подругу.

Только стали мы подходить к перекрестку, глядим — по большой дороге едет кто-то на дрожках на хорошей лошади. Приостановились мы, видим — Николай Васильич, этот губитель-то Настасьин. Как увидала я его, так и затряслись у меня руки и ноги. Так бы и бросилась бы я на него да все глаза ему повыцарапала бы. Подъехал к нам он, остановил лошадь и говорит:

— Вы никак луховские?

— Луховские.

— Откуда, красные девицы? Никак провожали кого? Приходите-ка в это воскресенье в Безгрошево на гулянье,— со многих деревень девки соберутся. Пряниками угостим.

Тут уж не вытерпела я, как закричу:

— Чтоб тебе подавиться твоими пряниками. Через твои пряники да гулянки мы одну на тот свет сейчас проводили.

— Что ты мелешь! Кого вы проводили?

— Настасью Большенину.

Переменился он тут в лице и говорит:

— Ничего я не знаю. Ни при чем я тут.

Да как ударит по лошади, только его и видели,— одна пыль на дороге осталась.

Уж не знаю, не догнал ли он похоронников или в сторону где своротил, только не видали его они.

1894 г.

В благодатный год

Рассказ

I

Никакое время в течение целого года не встречается с таким волнением, беспокойством и нетерпением в серенькой деревенской жизни, как осенняя пора. К этой поре с полей все собирается, хлеб обмолачивается, узнается, сколько чего уродилось, за что трудились лето, происходит продажа излишков. У крестьян являются хоть на короткое время деньги в руках, с которыми можно и вопиющие нужды удовлетворить, и если останется что — и душу отвести: кому в семье — накупив для этого гостинцев, калачей, меду, кому в одиночку — за бутылкой водки в трактире. Недаром и пословицы про эту пору говорят: «Осенью и у воробья пиво»; «Осень-то матка — кисель да блины, а весною-то гладко — сиди и гляди».

Но самыми важными днями изо всей этой поры считаются те дни, когда происходит продажа урожая или на сельских ярмарках или на базаре. И перед этими днями и в самые эти дни деревенские хозяева переживают столько волнений, тревог и беспокойства, что долго после вспоминают о них, иногда с болью в сердце и тяжелым вздохом, а иногда с удовольствием и светлою улыбкой на лице...

Для хозяев небольшой деревушки Горшешни таким днем считается праздник покрова. В этот праздник в большом соседнем торговом селе открывалась ярмарка, и горшешенцы, наравне с соседнедеревенскими мужиками, сбывали на ней все, что набиралось к продаже из хлеба и скота, собирали выручку и узнавали наверное результаты своих трудов и, смотря по тому, каковы они оказались, так себя и вели, так и чувствовали.

В этот год урожай в нашем месте был порядочный, уборка хорошая, все почти окончательно убрались к этому дню, и все увидели, что добра получилось достаточно.

У многих зародилась надежда, что в этот год они мало того что с нуждами и долгами разберутся, но и еще сверх этого останется кое-что, а это в крестьянской жизни редко когда случалось. Даже самые забитые и загнанные судьбой хозяева и те обольщали себя подобными надеждами и необычайно бодрились. Они мысленно высчитывали, сколько у них может остаться излишку, и распределяли, куда его можно употребить... Едва ли не больше всех мечтал несколько поправиться в этом году один из горшешинских нужняков Клим Скрипачев.

«Уродилось, бог дал, уродилось! — размышлял он, думая про нынешний урожай.— Можно будет поправиться — отвести душу, не все же недостатки видеть, пора отдых узнать».

И он сразу точно помолодел, ходил бодро и весело и во всяком деле стал поворачиваться пошустрей. Бывало, он делал все не спеша, мешкотно, а теперь откуда прыть взялась.

В самый же праздник, в который должно было выясниться, каков «приполон» получится у него от урожая, он даже и проснулся раньше жены. Утренний рассвет только что забрезжился в тусклых окнах его закоптелой избушки, и выползшие из щелей на ночную кормежку тараканы не успели еще убраться по своим местам, а он уже соскочил с своей соломенной перины и, быстро умывшись, стал обувать заскорузлые ноги в кожаные сапоги. И когда, обувшись, он подошел к окну и начал расчесывать лохматую голову трехзубым гребешком, тогда только проснулась и его жена. Она соскочила с печки, протерла руками глаза и, широко зевнув, заспанным голосом спросила мужа:

— Справляешься?

— Да... Хочется пораньше попасть,— молвил Клим,— и место получше займешь, и продашь, може, подороже.

— Знамо, так. Поезжай, поезжай! — одобрила его жена.

— А ты-то придешь на базар? — спросил ее Клим.

— Пожалуй, приду; вот истоплю печку, управлюсь и прибреду.

— Приходи: что покупать-то — вместе лучше.

— И Николку с собой взять нужно, он сам себе свою покупку-то и выберет.

— Бери и Николку...

И, сказав это, Клим поднялся с лавки и стал натягивать на себя худенькую шубенку; жена его, достав с полки подойник, пошла доить корову.

Выйдя на двор, Клим стал обратывать лошадь; баба, усевшись под корову, крикнула ему:

— Ты смотри, не загуляй там, подержись, ради Христа... Знаешь — нужды-нужды... Лучше справь себе что-нибудь.

— Ну, вот! А я не знаю,— молвил Клим и вывел лошадь за двор на огороды.

Утро едва занималось. Яркое солнце только что показалось на востоке и рассыпало свои золотые лучи по посеребренной легким морозцем земле и по соломенным крышам построек. Клим поднял глаза на голубое небо, в котором высоко плавали небольшие перистые облака, взглянул на покрытую инеем траву, на жерди загородки, на покрасневшие листочки крыжовника — и ему вдруг стало так легко и весело, как давным-давно не бывало. «Вот и жданный день наступил, что-то бог даст сегодня!» — улыбаясь, прошептал он и, бодро подняв голову, подвел свою лошаденку к сараю, лихо повернул ее на месте и, крикнув «тпрру», закинул ей на шею повод и, отперев ворота сарая, стал вывозить из него телегу.

С телегой Клим бился долго: она была полна мешками, и поэтому мужику вывезти ее сразу как-то не удавалось. Насилу-то насилу он направил ее на путь, повернув заднее колесо и потом ловко спиной и головой упершись в передок; от этого усилия телега, хотя нехотя и не спеша, но выползла из сарая.

Только Клим натянул супон, как по дороге загремели. Мужик обернулся и увидал, как, сидя на новой, хотя и немудрой, телеге, так же как и у него, полно накладенной мешками, ехал его кум Селиван. Поравнявшись с Климом, Селиван придержал лошадь, высоко поднял картуз над головой и крикнул:

— Здорово, кум! На рынок, что ли?

— На рынок, на рынок!

— Справляйся проворней, вместе поедем.

— Сейчас! — крикнул Клим и засуетился вокруг лошади.

Он быстро подвязал повод, взвожжал, запер сарай, поспешно три раза перекрестился и, взявши лошадь за повод, дернул ее вперед.

— Готово? — спросил Селиван.

— Готово,— отвечал Клим и стал садиться на воз.

— Ну, едем,— сказал Селиван.

— Трогай! — молвил Клим.

Лошади тронулись.

II

Базар был всего в двух верстах от Горшешни, в большом и богатом селе Чередовом. Проехав небольшой огорок, возвышавшийся сейчас же за сараями, кумовья увидели село. Лошади их шли тихо, поэтому приятели могли и разговаривать меж собой и разглядывать издали, каков-то нонче базар.

Базар был, видимо, большой, несмотря на раннее утро. Со стороны его доносился уже глухой и протяжный шум, из которого всего яснее выделялись писк поросят, мычанье коров и телят, блеянье овец, выведенных для продажи на конную, расположенную как раз на выгоне при самом въезде в село. Целый лес оглобель, поднятых кверху, виднелся издали и этим доказывал, что народу съехалось на базар достаточно еще накануне.

— А базар, должно, здоровый нонче,— оборачиваясь к куму, сказал Селиван.

— Небось, что не маленький, эна что народу-то наехало,— молвил Клим.

— Торговцев-то ехало, ехало вчерась, кажись, никогда столько и не собиралось.

— Торг будет, только бог дал бы на хлеб цены подороже.

— Может быть, и до́роги будут... Ты что везешь продавать-то?

— Семя льняного мер двенадцать да куль овса.

— Двенадцать мер семя! — удивился Селиван.— Где ж ты его столько набрал-то?

— Уродилось, бог дал,— восемнадцать мер наколотил, три меры на семена оставил, три на масло, а это вот продавать.

— Сколько же ты его сеял-то?

— Две меры.

— Хорошо! Выручишься ты нонче: цена ему нонче по-

рядочная, я еще в воздвиженье по рублю с четвертью продавал, а теперь, гляди, дороже будет.

— Давай бог! Чем дороже, тем лучше,— молвил Клим.— Хотя мало-мальски отряхнуться бы.

— Нонче отряхнешься: год просто на редкость.

— Год благодатный. Семя-то — семя, о овса-то сколько вышло: четыре куля ономнясь Власу Павлову свез — на семена у него брал,— да вот продать везу, да дома куля четыре осталось; думаю — не уберегу ли на семена...

— Вот и слава богу! На семена своего убережешь — всего дороже,— прямо другой свет увидишь: и весной без заботы, и осенью есть что ждать, хоть и плохо уродится, а все твое; а то работаешь, работаешь, а барыши все кулак обирает.

— Верно! Я вот пятый год семена-то занимаю, так просто никакой пользы от работы-то не вижу. Ведь за одолжение-то что лупят? Хошь не хошь, а подай ему меру овса на куль да рубль денег; а он сплошь и рядом родится-то сам-друг, ну и останется за все труды солома да мякина.

— Что говорить, надо бы хуже, да нельзя. Горе наше заставляет только с кулаками-то знаться, этим они и пользуются. Да ведь какие стервецы: дерут-то дерут с тебя, да еще надораживаются. Когда я с Михайлом Семеновым знался, какие дела бывали! Приедешь это к нему сольцы или деготьку взять, так он еще сразу и не почешется отпустить-то, а пошлет тебя воз соломы привезть либо мешков десять овса насыпать,— а уж цену-то лупит, какую вздумается.

— Что уж говорить! Если бы привел бог не якщаться с ними, кажись, обеими руками перекрестился бы.

— Что ж, выручай больше денег да и справляй все нужды — и незачем будет ходить к ним.

— Сколько-то выручишь?

— А тебе много надобно-то?

— Да как сказать! Рублей пятнадцать выручил бы — обошелся: заплатил бы оброк, пастушню, да купил бы рукавицы с валенками, да для харчей кой-чего, да на мельницу с маслобойней осталось бы, вот и обошлось бы дело.

— Пятнадцать рублей все выручишь,— немного подумав, сказал Селиван.

— А выручу,— молвит Клим,— значит, и остатный овес

не трону; будут еще какие нужды — леп, когда улежится, продам да исправлю, как-нибудь обернусь.

— Что ж, помогай бог, кто себе добра не желает.

— Да, вот что еще нужно купить,— вдруг вспомнил Клим,— крышку па седелку да Николке своему доску грифельную с букварем,— шибко просил, шельмец.

— Что ж, учиться хочет?

— Просто отдыху пе дает: все в училище просился,— отдай да отдай, тятька, в училище. Я говорю: глупый, если бы училище-то в своей деревне было, ну тогда бы можно, а то почесть три версты, ведь тебе там надо фатеру приискивать, харчи возить, да в чужих-то людях, как ни на есть, нужно и обувку, и одежонку, и бельишко получше, а где нам на это взять?.. «А как же,— говорит,— другие-то ребята выучатся, а я так неграмотный и буду?» — а сам в слезы ударился. Ну, жалко мне его стало. «А ты,— говорю,— коли хочешь — у них учись. Приедут они на праздник-то домой, а ты и попроси кого из них показать тебе». Послушался мой парень. Ономнясь пришел Вихарного мальчишка, Петюшка, из школы,— он и пошел к нему, просидел утречко, бежит сам не свой: «Тятька, тятька! Я семь слов узнал. Петюшка говорит, что мне букварь нужно покупать да доску: он меня кажинный праздник будет обучать».— «Ну, ладно,— говорю,— вот на базар поеду, куплю».

— Ишь ты,— улыбнувшись, молвил Селиван,— что значит мальчишка-то — и похозяйственней; а у меня твоя крестница все только насчет нарядов и заботится; такая ведь мразь, под стол не согнувшись пройдет, а вчера вечером лепечет: «Тятька, на базар поедешь?» — «Поеду».— «А мне какого гостинца купишь?» — «Какого же,— говорю,— плетку ременную».— «Нет,— говорит,— плетку не надо, а купи мне платье золотистое да платок французский».

— Ишь ты, паршивая! — молвил Клим и весело рассмеялся.

— Огари-и-стая девка! — протянул Селиван и еще шире улыбнулся.

III

Через полчаса кумовья въехали в Чередовое, пробрались стороной да закоулками на середину села и остановились около двора одного знакомого сельчанина. Выпрягши ло-

шадей и задав им корму, они остановили воза и пошли глядеть, что делается на базаре.

Базар, действительно, собрался большой, все село было запружено им. По сторонам дороги вдоль улицы были раскинуты палатки торговцев. В палатках было навалено в огромном количестве и бакалея, и красный и теплый товар, и разная посуда. На площадках расположились ссыпщики и скупщики хлеба. Между палатками на проулках пестрою толпою кишел народ, а в народных толпах толкались разносчики с калачами, спичками, замками, крестиками и всякой мелочью, ходили бабы со связками грибов, слонялись кошатники, забирая конский волос, щетину и шкуры опойков, льняные закупщики метались, отыскивая продажный лен. Толкотня, шум, гам, ругань и колокольный звон переливались в холодном осеннем воздухе, резали уши, били по вискам и наводили на свежего человека какую-то одурь, от которой он сразу не мог и опомниться. Кумовья раза два прошли по рядам, скользя по всему глазами и тщетно стараясь уловить что-нибудь путное слухом. Но этого им не удавалось: торговая волна еще только бурлила перед их глазами, но не захватывала их. И только очутившись на одной площадке, на которой широкой рекой текла закупка хлеба, они очувствовались и остановились и стали глядеть, как идет закупка. Постояв с минуту, кумовья увидели, что хлеб берут с большим разбором, цену дают невысокую и, несмотря на это, от продавцов отбою нет: так их много понаехало. Уж целые груды мешков лежали, насыпанные как только можно завязать, несколько десятков возов стояли, нагруженные полным-полно, а хлеб все везли и везли.

— А дело-то не хвали,— чмокнув губами и тряхнув головой, сказал Селиван.— Цена-то на хлеб упала.

— Что ж ты поделаешь? — сказал Клим и, как-то грустно сморщив лицо, поправил шапку на голове.

— Пойдем поглядим, что в другом месте деется,— проговорил Селиван.

В другом месте было то же, а еще в одном уже кончили закупку: все мешки и воза у торговца были заняты и все деньги израсходованы.

— Надо скорей продавать, а то и брать, пожалуй, не будут,— молвил Селиван.

— Нужно поторопиться,— сказал Клим.

— Пойдем,— проговорил Селиван.

И они пошли к своим возам, взяли на спину по мешку и разошлись в разные стороны, каждый в такое место, где забирали его хлеб.

Подойдя к торговцу, забирающему семя, Клим опустил свой мешок на подстилку, развязал его и крикнул:

— Эй, почтенный! Погляди-ка семечко у меня.

Торговец нехотя повернулся к нему, взял в горсть семя, поглядел на него, подул, взвесил на руке и отрывисто проговорил:

— Много ли его у тебя?

Клим сказал.

— Почем?

Клим оторопел и, сбитый с толку тоном торговца, не знал, сколько запросить: он боялся назначить дорогую цену — как бы не отбить торговца, и думал, как бы себя не обидеть. Подумав с полминуты, он как бы несмело проговорил:

— По рублику бы не грешно.

— Без гривны,— отрезал торговец и отвернулся от мужика.

— Прибавь по пятачку хоть еще! — взмолился Клим.

Торговец больше не разговаривал.

Клим почесал затылок, нагнулся к мешку, хотел было поднять его и идти к другому заборщику, но, увидев, что и у других толпится немало народу, и вспомнив примету старинных людей, что если не продать первому, то не выгадаешь и у второго,— крякнул, опустив опять мешок, и проговорил:

— Ну, ладно, держи; сейчас еще принесу.

И, положив мешок у ног торговца, Клим стал таскать к нему другие мешки.

Когда Клим перетаскал мешки, торговец взял низенькую широкую мерку и гребло и, поставив ее на подстилку, велел мужику насыпать ее. Клим насыпал меру, ему пришлось досыпать из другого мешка: дома он насыпал в каждый мешок по три меры и еще с прибавкой, а тут целой четверки не хватило. Клим остановился.

— А ты, почтенный, должно быть, шибко верхи пускаешь,— заметил он торговцу.— Семя-то не хватает.

— Мерил как следует,— грубо проговорил торговец,— и мера законная. Видишь печати?

— Вижу, да только что-то не того... Я дома ровно по три меры в мешок-то насыпал.

— Я не знаю, по скольку ты дома насыпал и чем ты насыпал; ты, може, дома вместо меры-то жениным чупяком мерил. А мы покупаем на свою меру; хочешь, отдавай, а не хочешь, убирайся,— не нуждаемся.

Клим прикусил язык и стал высыпать другие мешки; в тех тоже не хватило. Из двенадцати мер еле-еле набралось одиннадцать.

Получив деньги за семя, Клим пошел продавать овес. Овсом он хоть и отмерялся, но цену получил самую дешевую: всего два рубля с четверью.

Стал считать, сколько всех денег получил мужик. Вместо пятнадцати рублей, которые он так рассчитывал получить, едучи дорогой,— насчитал двенадцать с копейками. Клим низко опустил голову и закручинился.

«Вот тебе раз,— сказал он сам себе,— почти трех рублей не хватает до того, что загадал давеча. Как же это быть-то?»

Он стал снова перечислять свои нужды и разгадывать — хватит ему этих денег на покрытие их или нет. Для этого он забрался па телегу и по пальцам стал высчитывать, сколько на что ему нужно. Долго он то загибал, то отгибал пальцы на левой руке и, высчитавши все, проговорил сам с собою:

«Если на оброк пойдет меньше семи рублей, да валенки с рукавицами подешевле купить, да на мельницу денег не оставлять, а отдать мукой, а крышку к седелке совсем отложить покупать, то, може, и натянешь, а если не так, то ни за что не хватит...»

И он почувствовал, как в сердце его вливается жгучая горечь и быстро наполняет его; вот она заполнила всю грудь ему, вытеснила воспоминание о той радостной надежде, с которой он ожидал этого дня и с которой так стремился на этот базар, и помутила свет в глазах.

— Тьфу ты, черт! — сердито отплюнулся Клим и соскочил с телеги, подпихнул к морде лошади клок сена, ткнул ее кулаком в бок и проворчал: «Ну, жри, что ли!» — отошел от повозки и пошел опять по базару...

IV

Опять раза три прошел по рядам Клим, но ни перед чем не остановился, ни к чему не приценился. Он не знал,

на что ему потянуть деньги, с чего начинать покупать. Он хотел было идти по ряду четвертый раз, как на повороте ему встретился ихний староста и проговорил:

— А, живая душа! С выручкой, что ли?

— С выручкой,— угрюмо молвил Клим и заправил пальцы за кушак.

— Ну, так давай, пока горяченькие-то, а то истратишь на что и не расплатишься.

— А сколько тебе? — спросил Клим.

— Сколько! Чай, сам знаешь: семь рублей шесть гривен оброку да два рубля десять пастушни.

— Как семь шесть гривен? Прежде ровно по семи сходило! — удивился Клим.

— И по шести с четверью с половины брали, да то время ушло,— сказал староста.— Нонче как раскладка, так и прибавка.

— Отчего же это? — спросил Клим.

— Оттого... Начальства больше стало. Больше начальства, больше и сбору, такой порядок.

Клим тяжело вздухнул, достал деньги, отдал старосте и пошел прочь от него.

— Два рубля семь гривен осталось, что на них делать, куда их потянуть?

И горечь, появившаяся в его сердце, все шире и шире разливалась в груди. Он опустил голову, нахлобучил шапку и медленными шагами двигался по ряду. Долго он шел, не замечая вокруг себя ни суетни проходивших по рядам мужиков и баб, ни клянченья торговцев у палаток, только на конце села он очнулся, и очнулся потому, что его окликнули. Клим поднял голову: перед ним стоял Селиван.

— Ну, что, расторговался, что ли? — спросил его кум.

— Расторговался.

— И я все продал. Только что, брат, за бесценок почти.

— Не говори,— махнул рукой Клим и тяжело вздохнул.

— И ты, знать, продешевил?

— И продешевил и промерился, одно к одному.

— Не выручил что загадывал-то?

— Куда тут!

— Значит, и с нуждами не справишься?

— Остатный овес продам, справлюсь.

— А на семена опять займать?

— Что ж ты поделаешь-то! Ничего не попишешь.

— Так надо бы в трактир идти,— сказал Селиван.

— И я так думаю,— молвил Клим.— Денег осталось столько, что только пропить их и следует.

И кумовья отправились в гостеприимное заведение.

После обедни управившаяся жена Клима, вместе с своим девятилетним сыном, прийдя на базар, долго ходила по рядам, отыскивая мужа, но Клима нигде не было видно. Она спрашивала про него у попадавшихся ей однодеревенцев, но те никто давно не видал его. Баба разыскала свою лошадь и нашла в ней только пустые мешки. Сердце в ней тревожно забилось.

«Все продал, а ничего не купил. Где ж он делся-то?»

И, подумав с минуту, она ответила самой себе:

— Не в трактир ли ушел с продажей чайку попить? Николка, пойдем.

И она вместе с сынишкой отправилась к трактиру.

Подойдя к высокому двухэтажному зданию, в котором помещался трактир, баба только было хотела подняться на лестницу, как из дверей показался ее муж. Он вышел, распахнувши свою шубенку; лицо его было красное, веселое, шапка сдвинута на затылок. Правой рукой он обнял, тоже распотевшего и раскрасневшегося, кума Селивана и о чем-то горячо рассуждал с ним. Сердце у бабы замерло: «запил», мелькнуло у нее в голове, и ноги ее подкосились.

— То есть... я тебе говорю... во всякое время... и больше ничего...— лепетал коснеющим языком, шибко пошатываясь, Клим, спускаясь с кумом по лестнице.— Если бы ты был мне... не кум, не друг, не приятель, тогда... дело девятое... а то ведь ты мне — во кто!.. Эх!.. Давай поцелуемся.

И кумовья, снявши шапки, стали лобызаться.

— Что это вы, по рукам, что ли, об чем ударили, что целуетесь-то? — подходя к ним, спросила баба.

— А, кумова жена! — воскликнул Селиван.— И ты на базар прибрела?

— Не вам одним гулять-то, надо и нам черед справить,— сказала баба.

— Следует, право, следует! — пробормотал Клим, скашивая один глаз на жену, и вдруг запел хриплым голосом и довольно несвязно:

Погуляем и попьем,
Во солдатушки пойдем,—

Во солдатушки пойдем,
Мы и там не пропадем.

— Не возьмут в солдаты-то, куды ты там годишься: из-под пушек гонять лягушек? — проговорила баба.— А ты вот что скажи: что же это ты не кончимши дело гулять-то пошел?

— Какое дело?.. Что не кончимши?.. У нас все дела покончены.

— Все покончено, а ничего не куплено: ни рукавиц, ни валенок, ни еще чего. Эх ты, хозяин!

— Ну, купим, об чем толковать-то?.. Все купим: и рукавицы, и валены, и печены, и жарены...

— Ну, так пойдем, чего же прохлаждаться-то?.. Уж пора... А то давай деньги, я одна все куплю, а ты ступай на телегу, где уж тебе таскаться со мной.

— Деньги? Изволь... получай деньги,— проговорил Клим и, порывшись в кармане, вытащил оттуда рублевку и несколько медяков, которые и подал жене.

— А еще-то? — спросила баба.

— Еще?.. Спроси еще у богатого мужика, а у меня нет больше: старосте отдал.

— Да как же так, родимый! — чуть не взвыла баба.— Что на них покупать? Мне почесть целковый дома отдать нужно: ономнясь, когда были попы, на молебен полтинник занимала да за лето-то копеек на тридцать мыла набрала. Куда их потянуть-то?

— Куда хошь, туда и тяни, а нам некогда,— сказал Клим.— Едем, кум!

— Едем девятый день, десяту версту...

И кумовья, снова обнявшись, зашагали по базару; баба осталась на месте и, зажав в руку полученные от мужа деньги, уперла глаза в землю и остановилась как окаменелая...

— Мама! а мама! — дергая ее за рукав, проговорил Николка.— А букварь-то с доской вы купите мне?

— Убирайся ты к шуту с букварем-то своим! — вдруг окрысилась на мальчика баба.— Какой грамотник выискался! На что тебе грамоту-то знать? Сбирные куски, что ли, записывать? Небось и так не растеряешь...

Мальчик вдруг как-то съежился и вздохнул; две крупные слезы показались в его голубых глазах и как горошины скатились по румяным от мороза щекам наземь. С этими сле-

зами из его головы вылетели и те надежды, которыми он жил эти дни.

А народ, не переставая, двигался по базару толпою, входил в трактир и выходил их него. Шумные разговоры, веселые крики, брань, песни вылетали из уст людей и, сливаясь с божбой торговцев, пиликаньем гармоник гуляющих рекрутов и пением слепых и убогих, тянущих с самого утра по десяти раз подряд одни и те же стихиры,— уносились далеко ввысь и, разливаясь в свежем осеннем воздухе, бесследно исчезали там.

1898 г.

Непочетник

Рассказ

Июльское солнце только что поднялось из-за леса и ярким светом облило просыпавшуюся природу. Золотые лучи его весело заиграли разноцветными переливами на каплях росы, покрывавших густую низкую траву и темно-зеленые листья черемух и рябин, которые росли по улице деревни Хапаловой. В окнах же изб деревни эти лучи начали переливаться какими-то огненными клубками, так что при одном взгляде на них резало глаза. От света лучей даже дым, выходивший из печных труб, изменил свой сероватый цвет и стал казаться нежно-розовым.

Утро начиналось прекрасное. Это чувствовали и птички, весело щебетавшие в утреннем воздухе, и куры, с громким кудахтаньем выползавшие со дворов на улицу целыми кучами. Чувствовали это и люди, только что проснувшиеся и выходившие из изб с измятыми, заспанными лицами. Это было видно по тому, что только стоило им показаться на улицу и увидеть солнечный свет, как лица их разглаживались, сон отлетал прочь, и взгляды всех мгновенно делались добрыми и веселыми.

Но люди на улице оставались недолго, — вскинув на плечи по косе, они пестрою толпой побрели вон из деревни, на покос. Вскоре деревня опустела; в избах остались только стряпухи да ребятишки, да на улице торчали два человека: Левоныч, сторож при волостном правлении, и один из хапаловских стариков, по причине своей дряхлости не принимавший участия в работах. Они сидели на крыльце правления и тоже любовались красотой утра, изредка перекидывались словами.

— Утречко-то, утречко-то каково, — говорил с легким вздохом старик, — сердце радуется!

— Это верно, утро славное! — молвил Левоныч, набивая трубочку.

— Благодать! — сказал старик и, втянувши в себя струю свежего воздуха, замолчал.

Левоныч тоже замолчал; он закурил трубочку и стал затягиваться ею, изредка сплевывая сквозь зубы.

Прошло несколько времени. Старик и Левоныч досыта налюбовались красотой утра, и старик уже хотел подняться с места и идти к своему двору, как к крыльцу подошла еще одна душа. Это была невысокого роста пожилая баба в черном понитке и с палкой в руках. Видимо, она была из другой деревни. Низко поклонившись Левонычу с стариком, она проговорила:

— Здорово, родимые, с добрым утром!

— Спасибо... Откудова ты? — спросил Левоныч.

— Из Пятлова.

— А куда путь держишь?

— Да в контору. Есть тут кто из начальства-то?

— Никого нет: старшина не приезжал еще, а писарь спит.

— О! Что ж он так долго нежится? — сказала баба, входя на крыльцо и усаживаясь рядом с Левонычем и стариком.

— Что ж ему не нежиться: постель мягкая, катайся да блох корми,— заметил Левоныч.

— Только что,— проговорила баба и вздохнула.

— А тебе на что начальство-то? — спросил ее старик.

— Да жалобу хочу принести, повестку взять,— сказала баба.

— На кого ж такое?

— На кого ж,— и баба опять вздохнула,— знамо, в нынешние года на соседа или еще кого вперед жаловаться не пойдешь, а скорей на своего кровного... На сынка родного подать жалобу хочу.

— Вот как... Что ж он у тебя, пьяница, что ли?

— Нет, этого нельзя сказать, не пьет.

— Знать, так дурашлив?

— И этого не скажу, парень умный, грамотей, в училищу когда ходил, похвальный лист получил, и теперь писать, читать первый из деревни; одно нехорошо: не оказывает мне никакого почтенья,— грубит, грубит, да все тут, просто совсем от рук отбился.

— Из ученых-то все такие выходят,— сказал старик,— не твой первый, не твой и последний.

— А один он у тебя? — спросил Левоныч.

— Один как перст. Ведь то-то и горе-то, что одно дитя, и то незадашное вышло. Ведь вы поглядели бы, как я его растила-то, как берегла да лелеяла. Вдова ведь я, с семи лет он на моей шее остался, а я его ведь выходила, хозяйство сберегла и его вырастила, справила как следует, женила и в голове не держала, что он непочетником-то выйдет, а он вот вышел, да еще каким...

— А ты видишь, что он незадашный, не хлопотала бы так о нем, не женила. Зачем было и тратиться на такого грубияна? — сказал старик.

— Да он до женитьбы-то совсем не таким был, я от него полслова худого тогда не слыхала, а как женился, так и переменился.

— Знать, жена хороша попала? — молвил Левоныч.

— Хороша, расхватило бы ее приткой! Она-то всему делу и есть затейница, из-за нее весь сыр-бор-то и загорелся.

— Как же это так? — спросил старик.

— А так: я говорю, он у меня холостым-то смиренник был; за все время, как я его растила-то, он так вьюном и вился вокруг меня: пойдет ли он куда, сделать ли что задумает, все-то он меня спросит, во всем посоветуется, а как женился, так это словно его чем отрезало от меня, словно черная кошка между нами пробежала. Не то что советоваться в чем, а попросту говорить и то редко стал.

— Как же это, сразу после свадьбы началось? — спросил Левоныч.

— Нет, не сразу,— молвила старуха,— а спустя немного, только что вскоре. Женила-то я его, стало быть, на красную горку, а с покоса уж у нас неприятности пошли. Первые-то дни после свадьбы все по-хорошему шло. Парень в поле работал, молодуха около двора: то усадьбу разгребала, то дрова рубила,— знаете, что весной по крестьянству у двора нужно делать бывает. Принялась молодуха за все хорошо; чтобы понекаться или пролукавить,— грех сказать,— и не пыталась. И ко мне ласкова на первых порах была. А на Николку-то, кажись это, наглядется не могла: идет ли он с поля или из лесу идет, она так и бросается к нему навстречу, ну, и он с ней ласково обходился, так ласково, что я, кажись, сроду не видала, кто бы в крестьянстве так с женами обходился... И чем дальше, тем он умильнее на нее глядел. Пришло время к покосу, начинается самая горячая пора,. а мои молодые и

не чуют этого, посмеиваются меж собой да воркуют, словно голубки, а меня-то словно и не замечают, словно меня нет около них. Дальше да больше, и мне, глядя на них, индо досадно стало: что это они, думаю, никак меня-то ни во что не считают? Хороши детки! Особливо, думаю, Николка-то: пуда соли с женой не успел съесть, а уж от матери-то совсем откачнулся, прилепился к одной жене, да и ладно. Нет, думаю, это не порядки. Ты жену-то люби, да и мать-то почитай — она тебе кормилица. И надумала я попытать, насколь вправду он к жене прилепился: дороже матери ее считает или нет? Думала-думала я, как лучше это сделать, и выдумала вот как.

В покос, сами знаете, пора какая: все встают рано, а стряпухи раньше того,— нужно скорее коров подоить, печку топить, завтрак готовить. Вот в одно утро и порешила я Федосью поднять себе на подмогу; разбудила ее и послала коров доить да творогу к завтраку наводить. Сделала она это и потом уж на покос пошла. Подняла я ее и на другой день и на третий. На третий день к вечеру вернулся мой парень с луга сердитый такой, сели ужинать, он и говорит:

«Ты бы, матушка, погодила Федосью по утрам-то рано будить, дала бы выспаться; у нас семья небольшая, завтракать-то и одной не трудно приготовить, а ей не доспамши-то тяжело весь день на лугу ворочать».

Как услыхала я это, так меня и взорвало. Так и есть, думаю, жену больше меня жалеет, забыл все мои попечения-то, уж ни во что стал считать. Хорошо!.. Так и надо!.. И такое меня горе взяло, опостылело мне все, и сын и молодуха. Словно они вороги какие моему сердцу сделались. Послушалась я сына, не стала себе на помогу по утрам молодуху поднимать, зато не стала и заботиться об них: бывало, к завтраку-то того и этого приготовишь, а тут что попадется, то и сунешь.

И это сынку не понравилось. «Что ж ты,— говорит,— ехидничаешь; ты делай по порядку, а так будешь делать, хорошего мало будет».

«Я, говорю, не ехидничаю, а делаю как следует».

«По-твоему, говорит, так следует, а по-нашему не так».

«Мало что, говорю, по-вашему-то нехорошо, да вы мне не указ; моя воля, что хочу, то и творю».

«А коли так будет, то добра нечего ждать».

«Что будет».

С этого и пошло. Сынок мой стал на меня волком глядеть: придет ли с работы, за стол ли сядет — все молча; с женой и то и се, а на меня точно бык косырится. Еще пуще меня зло разобрало,— постой, думаю, если на то пошло, посмотрим, кто кого допечет скорее: ты на меня волком, а я на тебя медведем.

Пришло жнитво, нужно жать идти, а я взяла да и не пошла. «Идите, говорю, попрыгайте там одни, а я на лавке полежу,— мое дело немолодое, будет с меня, поработала на свой век».

Ни слова не сказали мои молодые, пошли одни; пожали день-другой, от других не отстают и друг с дружкой веселые такие, только на меня глядят-хмурятся: я что ни заговорю, а они мне либо «да», либо «нет»,— видно, что сердятся. Еще пуще меня зло разобрало: какую, думаю, праву они имеют сердиться на мать, разве можно это, да я им за это, кажись, вот что сделаю.

Стала поджидать я такого случая, при котором придраться бы можно, отчитать их как следует. Отошло это жнитво; в одно утро Николка и говорит:

«Люди картошку роют, попробовать бы и нам сварить,— чай, поспела».

Ни слова я не сказала и картошки рыть не пошла; стала ждать, что дальше будет.

На другой день, гляжу, встала Федосья, нарыла картошки, намыла, наклала в котел, и только я затопила печку, ставит ее на шесток. Я думала, они мне поклонятся, попросят меня, а они ухом не ведут, сами хотят делать все. Обидно мне стало, закричала это я: «Куда ты, говорю, прешь-то, чего не спросясь ломишься! Може, говорю, у меня нет места для твоего котла-то, а ты лезешь... Аль большину хочешь перебить?» — «Мне, говорит, Николай велел».— «Николай велел, да я не велю: кто, по-твоему, больше-то?» И что ж, не зажмурилась да и отрезала прямо в глаза мне: «Для меня, говорит, Николай бо́льшой, я его вперед и слушаться буду». Затряслись у меня и руки и ноги, так бы, кажется, набросилась я на нее с ухватом и весь до рук обломала. «Паскуда ты этакая, кричу, а над Николкой-то кто бо́льшой? Ведь я. И для тебя я больше его должна быть. Слышь ты: если ты со мной будешь супротивничать, я с тобой вот что сделаю, чего и не думаешь».

Я думала, она от этого смирится, а она, ни слова не говоря, шасть из избы да к Николке, а он в это время к косе грабельки пристраивал, овес косить. Гляжу, идут они оба, и у Николки это глаза как у волка горят. Только он переступил порог, да как закричит: «Что ж это ты сконбои заводишь, что тебе мирья-то нет, чего ты придираешься-то к нам?» Кричал, кричал, а она это стоит сзади него да плачет. Обидно мне сыновние слова было слушать, но еще обиднее на ее слезы глядеть. Ах ты, недотрога, думаю, тебе и слова нельзя сказать, ты уж и нюни распустила да к мужу с жалобой пошла,— постой!.. Накричался это Николка-то, замолчал, я и говорю: «Не я сконбои завожу, а ты с своей шкурой-то. Ишь вы матери-то никакого почтения оказать не можете, рыло от нее в сторону воротите, меж собой у вас всякие шмоны, а на меня и глядеть не хотите». Он и говорит: «Если ты так будешь, то все так и будет; ты первая затеяла все дело, значит, ты и виновата во всем».

— Вот тебе раз!— сказал Левоныч и стал выколачивать свою трубочку.

— Старики всегда во всем виноваты,— проговорил старик и вздохнул.

— Именно,— вздохнув, молвила баба и продолжала: — Я думала, что это он в сердцах сказал-то, потом обдумается, обойдется, переменит себя,— ан не тут-то было: время прошло, а он все по-прежнему на меня смотрит. Заныла во мне душа, отбивается мое детище, совсем отбивается, думаю, и все из-за этой шкуры, жененки своей,— прилепился он к ней одной, от этого и на мать-то по-людски глядеть не хочет.

А к ней он, правда, прилепился вот как, я и не видала в крестьянской жизни. Видела, жалеют мужья своих жен, да все не так: когда приласкают, а когда и побранят и в зубы съездят, всего бывает, а тут не то что в зубы, а и слова-то грубого не скажет никогда. Чем это она его приворожила так? думаю. Ничего в ней и особенного-то нет — бабенка как и бабенка.

Дальше — больше. Мне на такое обхождение их и глядеть-то противно стало; стала я подумывать, как бы расхолодить их, стала случая такого подбирать.

Один раз, около покрова уж, ушла молодуха в гости к своим родным, осталась я одна с Николкой и говорю ему:

«Ну, сынок, долго ли у нас такие порядки будут?»

«Какие?» — спрашивает он.

«Да твоя-то плеха до кех пор будет тобой верховодить?»

«Как верховодить?»

«Да так, ишь она какую власть взяла, мне ей слова никакого нельзя сказать и ты ничего не говоришь. Разве хорошо это?»

«Да что ж мне говорить-то ей, коли она ни в чем не виновата?»

«Да чтоб власть свою показать, что ты муж ей,— говорю,— а то она зазнается так, что с ней после и не сообразишь».

«Так что ж мне теперь, по-твоему, делать?»

«Да что другие мужья делают»,— говорю.

«Другие-то дерутся с женами, так и мне теперь драться со своей?»

«А что ж за беда, снесь сбить не мешает. Не хрустальная она, чай, от кулака-то не развалится».

Так и выступил из лица весь Николка, а на глазах слезы заблестели.

«Спасибо,— говорит,— не ждал я от тебя, матушка, этого. После этого какая же ты мать?»

«А что ж такое?»

«А то,— говорит,— я таких слов от лихого ворога слышать бы не желал, а не то чтобы от матери».

Не знала я, что сказать ему на это, только вижу, обиделся мой парень шибко, так шибко, что никогда я его до этих пор таким обиженным не видала: и плачет, и трясется весь, и лепечет незнамо что.

— Ишь какой привередливый,— молвил, тряхнув головой, старик,— из молодых, да ранний!

— Чудак какой-то! — сказал Левоныч и опять сплюнул по-своему.

— Наступила зима,— опять продолжала старуха.— Ну, думаю, не переменят ли мои молодые своего обращения: целый день в избе, целый день на глазах друг у друга, може, что и выйдет. Но не тут-то было, все по-прежнему пошло. Меж собою у них смехи да шуточки, а я все у стороны, да еще мало того,— молодуха-то все больше и больше на меня косыриться начала,— бывало, хоть молчала, а теперь и поварчивать начала да огрызаться. Вижу, дело из рук вон, один раз и говорю я Николке:

«Что это только у нас творится в доме, господи боже! Так ли нам жить-то надо? Ведь нас всего-навсего три зерна, нам бы надо такой порядок вести, чтобы люди, глядя на нас, радовались».

«А кто же, - говорит Николка,— виноват этому?»

«Да уж, знамо, не я», – говорю.

«Погляди хорошенько».

«Что глядеть, видно, уж если я и проштрафилась чем, так с меня и взыскивать нельзя: я мать ваша и всему дому голова».

«Ты так и думаешь?»

«Так и думаю»,— говорю.

«Вот в том-то и беда вся,— говорит Николка.— Старшой грешит и думает, что он имеет праву на это, а меньшой, глядя на него, считает, коли старшой блудит, а мне сам бог велит; от этого все горе-то и выходит».

«Так что ж теперь делать мне?» — спрашиваю.

«Побольше молчать да поменьше ехидничать».

«Так и подняло меня всеё. Это мне-то перед вами молчать? Ах вы, такие-проэтакие, да мне из-за этого и от бога грех и от людей стыд будет! Нет,— говорю,— это далека песня».

Так мы ни до чего и не договорились в этот раз, и жизнь наша ничуть не изменилась. Молодухе нужно было скоро родить; Николка еще больше стал перед ней расстилаться; глядишь-глядишь, бывало, на них, плюнешь да отвернешься в сторону.

Прошла так зима, наступила нонешняя весна. Молодуха последнее время ходила; Николка так за ней и увивается, делать ничего не дает, все сам: и пашет сам, и боронует сам, а она сидит в избе да то рубашечки шьет, то одеяльце собирает, все это к родам-то готовится. Гляжу я на нее, так меня досада и разбирает. Что это за новости, думаю, разве в крестьянстве так полагается? Это господам туда-сюда, а нашему брату разве можно: у нас бабы всегда до последнего времени работают, особливо в старину, тогда не разбирали; бывало, и с косой и в жнитво раживали. Моя мать, покойница, умерла в лесу от родов-то: приехала за дровами, стала накладывать, а ее час в это время пришел, ну и отдала душу богу. Я сама за сохой в поле выкинула да шесть недель после этого вылежала, а опа что за фря такая, что работать не хочет... Один раз поехал Николка

горох сеять, и опять один; вижу я это и говорю: «Ну-ка, будет тебе барыней-то сидеть, давай-ка картофель на семена разберем...» Послала я ее в подпол мешки подавать да насыпать мне, а сама стала принимать их. Вытаскали мы мешки. вылезла моя молодуха из подпола да как пошатнется. Я гляжу что это она, а она валится, валится да на коник как плюхнет и заохала. Я думала, ее время подходит, за бабкой сбегала; пришла бабка, оглядела ее. «Нет еще,— говорит,— родить ей рано».— «Чего ж это ты,— спрашиваю я у молодухи,— раскисла-то?» — «Да на животе нехорошо больно»,— говорит она, как больная словно, да только не верится мне это, кажется, что притворяется она, да и все тут.

Пришел вечер, не встает молодуха и все охает. Приехал Николка с поля, увидал ее, стал расспрашивать, что такое. Рассказала Федосья. Как ощетинился мой парень да как набросился на меня и давай костить: ты и съедуга-то, и злая-то, и тебе человека-то нипочем со света сжить. Читал-читал да говорит: надо за фершалихой ехать, беспременно привезти надо, а то как бы чего худо не сделалось.

Как услыхала я это, так индо руками всплеснула. «Ах ты, дурак,— говорю,— этакий, да что ты с ума-то сходишь? Она, шкура, притворяется, хочет тебя на меня за то, что я ее работать потревожила, науськать хорошенько, а ты ей и поверил? Не фершалиху ей надо, а хороший кнут на спину, чтобы она не прикидывалась казанской сиротой-то да не водила бы тебя за нос»...

Парень меня и слушать не стал. Только прошла ночь и рассветать стало, он шасть из избы да за оброть да за лошадью. «Да неужто правда, говорю, ты поедешь?» — «Беспременно»,— говорит. «Да такое ли время теперь разъезжать: рабочая пора, один день чего стоит».— «Мне, говорит, человек дорог, а не день».— «Ах, дуй те горой, самоуправщик ты окаянный, да что ж мне с тобой делать-то?» И сейчас это я живым манером шасть в сарай, собрала там всю сбрую в кучку и ворота на замок, а ключ в карман. Поезжай, думаю, куда хошь. Приводит Николка лошадь из ночного, ткнулся в сарай, видит замок; он ко мне: «Где ключ?» — «Далеко»,— говорю.

Повернулся мой малый и из избы вон. Я думала, он к соседям, за сбруей, жду, вот покажется, вот поедет, а его

и не видать, и не слыхать. Пошла я на огород, подхожу к сараю, а у него и ворота настежь. Как так, думаю, где же он ключ взял? Взглянула я хорошенько, вижу — замок сломан. Подкосились у меня ноги: что он, думаю, сделал-то?

— Ишь какой настойчивый,— проговорил старик,— напролом прет!

Левоныч качнул головой, как бы говоря: «чай, видишь», и опять сплюнул по-своему.

— Ну, я сейчас к старосте,— не обращая внимания на замечания, продолжала баба.— Так и так, говорю, парень от рук отбился, бесчинствует, ни на что не похоже. Староста и говорит: «Ступай в волостную, там с ним что тебе хочется, то и сделают». Сгоряча-то я тогда хотела было идти, да попался мне один человек, стал разговаривать меня: «Ну, куда ты пойдешь, чего ради срамиться будешь, ведь на всю округу тогда слава пойдет, лучше обожди — и так обойдется. Знаешь, молодо — задиристо, а вот поумнеет маленько и помягче будет».

Послушала я сдуру-то, не пошла тогда,— думаю, что дальше будет.

К обеду привез фершалиху Николка, лечила она и по бабьей части сведуща была; осмотрела она Федосью: «У ней, говорит, живот стронут, все на низ свалилось, роды трудные будут».

Николка так и завыл.

«Что ты наделала-то, говорит, неужто не грех тебе будет?»

«Враки все это,— говорю,— притворяется твоя барыня, больше ничего. Ничего ей не доснелось».

Отвернулся от меня Николка, ничего не сказал, только зубами этак скрипнул.

Правда ли, нарочно ли, только молодуха до родов не вставала; лежала она па боку день целый да охала. Николка, глядя на нее, индо высох весь.

Перед петровым днем пришло время ей родить. Как начало ее схватывать-то, как принялась она блажить, на что только похоже! Родят бабы, кричат, да все не так, а уж эта так-то занозисто, господи боже мой! Правда ли ей трудно очень было или надо мной она покуражиться захотела, бог ее знает. Почти сутки она металась. Николка весь измотался за это время, смотрит оп на нее, а сам плачет, зубы

стиснет, уши сожмет, на что только похож сделается, индо мне жалко его станет. Перемежится это маленько молодуха, подойду я к ней, стану уговаривать: «Ты потише ори-то,— говорю,— чего ты парня-то мытаришь».

«Трудно,— говорит,— матушка».

«А трудно, вот обручика три сгонишь, полегче будет,— сперва-то все трудно».

Схватит ее опять, опять что есть силы-мочи заорет.

Уж перед концом совсем подскочил ко мне Николка, схватил меня за шиворот да как тряхнет.

«Из-за тебя,— говорит,— она мучается так».

Словно эти слова меня варом обдали. Такой-проэтакий, думаю, да что ты сказал-то только?.. И хотела было я ему в волосы вцепиться, протянула было руки к нему да как взгляну ему в лицо, так руки-то у меня и опустились. Никогда я не видала такого страшного лица ни у него, ни у кого другого: глаза съесть хотят, губы трясутся, щеки синие. Взяла меня оторопь, побегла я вон из избы... Пошла я к подруге одной, у ней и ночевала и на другой день все время пробыла. Сижу я, говорю или молчу, вдруг вспомнятся мне сынковы словеса, так и зальюсь я, заплачу. Господи боже, чего я дождалась-то, чего от своего детища достукалась! Царь небесный, да за что же это, за какие грехи!

Ночевала я у товарки и другую ночь, а вчерашний день, перед обедом, вдруг приходит ко мне бабка и говорит:

«Ну, ступай на крестины домой, будет тебе по чужим домам-то колоколить, тебе бог внучка послал».

«Не нужно,— говорю,— мне никакого внучка, я и сынком, слава богу, довольна».

Говорю это я, а сама от слез проговорить не могу. Стала меня бабка уговаривать: «Ну, что ты, да чего ты, все обойдется, перемелется, иди, там обед идет, поп только уехал, без тебя сиротливо как-то».

Не вытерпела я — пошла. Прихожу домой, а в избе полная застолица: Николка, кум, кума, приятеля два Николкины сидят, чай пьют, баранки едят, веселые такие все.

Поклонилась я, хотела сказать: «Мир честной компании»,— да, язык не поворотился. Прошла в чулан, сижу, жду, что будет.

Отошла застолица, разошлись все по домам, остался Николка да бабка в избе, стали меня к столу звать.

Вышла я, взглянула на молодуху, лежит веселая да румяная; посмотрела дитю, — и дитя здорово.

«Ну, что ж ты, — говорю, — сынок родимый, горячился да бесчинствовал без поры да без толку, ведь все по-благополучному вышло?»

«По-благополучному».

«А ты метался как собака в мешке, и себя намучил и меня разобидел. Понимаешь ли ты, какое мне прискорбие нанес иль нет?»

Вспыхнул он это весь, поднял голову да и говорит:

«А ты-то понимаешь, что ты нам зла-то наделала?»

«Какого зла?»

«Так ты и понять не хошь?»

«Нет».

«Ну, и говорить с тобой нечего, — у тебя в душе-то рогатый сидит».

Обидней мне ономешних эти слова показались.

«Да что ты только говоришь-то? Да смеешь ли ты матери так язык отверзать? Ах ты, подлец этакий!..»

Схватила я сковородник и давай им его охаживать. Ударила я раз, другой и третий его... Только вдруг он как выпрямится да схватит меня за руку со сковородником да как вырвет его да об угол. А сам повернул меня да в чулан и втолкнул. «Я, — кричит, — тебе не мальчик и над собой мытариться не дам! Не моги, — говорит, — отверзать руки на меня».

Я опять из избы вон да ночевать в люди. Собрался ко мне народ, староста, рассказала я им, как со мной сынок обошелся, все говорят: «Ступай в контору, жалуйся на него, там что захочется тебе, то и сделают». Думала-думала я, вот и пришла.

— И умно сделала, у нас за это не похвалят, — молвил Левоныч. — Только захоти, а то так взъерепенят сударыню-то, что до новых веников не забудет.

— За такие дела нельзя похвалить, — поддакнул ему старик. — Божью заповедь нарушает; сам бог сказал: «Чти отца и мать», — а он что делает?

— Ну, вот я и пришла, — продолжала, переходя в плаксивый тон, старуха. — Думаю, что в обиду не дадут, а если не обсудят, то что ж тогда будут делать? Уж родное детище из власти выбивается, тогда на свете и жить нельзя.

— Обсудят... как тебе хочется, так и обсудят, — внушительно сказал Левоныч и стал снова набивать трубку.

В это время окно в волостной конторе отворилось и из него высунул взъерошенную голову только что проснувшийся писарь и крикнул:

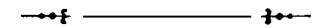
— Левоныч, ступай, ставь самовар!

— Сейчас! — молвил Левоныч и, поспешно спрятав трубку в карман, поднялся со ступенек.

— Ну. вот,— обратился он к бабе,— и повестку тебе напишет и расскажет, когда приходить.— И, сказав это, Левоныч пошел в контору; баба последовала за ним.

Старик, проводивши их, зевнул и, видя, что тут больше делать нечего, кряхтя, тоже поднялся с крыльца и не спеша побрел к своему двору.

1898 г.



Турки

Рассказ

I

В один год моего раннего детства в нашей местности выпал плохой урожай. Хлеба собрали очень мало, и цена на него так поднялась, что многим беднякам из крестьян приходилось круто, и они не знали, как им провести зиму и дождаться нового урожая. Приходилось бедствовать и нам. Чтобы перенести эту нужду, мой отец с матерью решили отправиться на зиму в Москву, на заработки, и весь дом оставить на бабушку и меня. Нам двоим всего было нужно немного, и если чего недостало бы, отец с матерью при случае легко могли выслать это из Москвы. Бабушка на это согласилась, и отец с матерью выправили паспорта, простились с нами и отправились.

Мы с бабушкой сначала поскучали без них, а потом привыкли и стали вдвоем коротать короткие зимние дни и длинные темные вечера. Бабушка пряла и рассказывала мне сказки и истории. Много любопытного узнал я за эту зиму, но самое важное мне пришлось узнать на пасхе.

В ту зиму в Москву от нас много поуходило. К святой некоторые возвращались домой. Ждали и мы отца с матерью, но они не приехали, а прислали весть, что решили пока бросить хозяйство и жить в Москве сколько поживется. Места им попались хорошие. Они прислали нам денег на подати, на хлеб и целый короб гостинцев. В коробе между всякой всячиной лежали свернутые в трубочку бумаги. Мы развернули их. Бумаги оказались литографскими картинами. Они были сделаны в несколько красок и очень ярко. На картинах изображались святые, какие-то начальники, а две из них были непонятного содержания: на одной была нарисована деревня с горящими дворами, из домов бежали мужики и бабы с ребятишками, а за ними гонятся какие-то люди и бьют их; много побитых валяется кругом;

какого-то мужичка вешают на дереве, а там ребенка бросают с крыльца. На другой картине было сражение.

Ни я, ни бабушка не знали, что означали эти картины, и они остались для нас неразъясненными до середины святой. Посреди святой к нам приехала в гости бабушкина дочь, тетка Афимья. Она была выдана замуж в селе Левашеве. Левашево это стояло на большой дороге, и туда всегда приходили всякие новости раньше, чем в другие деревни. Тетка Афимья всегда привозила их нам целую кучу, и знала она больше, чем наши деревенские люди. Бабушка рассказала ей про наших, про то, что они домой на лето не придут, помянула про гостинцы, а я показал ей картины. Тетка долго разглядывала картины.

Бабушка спросила ее:

— Что это такое тут? Мы никак не поймем.

— Это-то? Чего ж тут не понимать,— сказала тетка,— это турки.

— Какие турки? — спросила бабушка.

— Да вот нехристи; живут, где старый Ерусалим стоит.

— Кого же это они бьют?

— А это они сербов мытарят. Есть такой народ — сербы; они под ихним владением находятся, дань им платят, а веры — нашей, христианской. Ну, вот туркам-то и не любо это. И хочется им, чтобы они в ихнюю веру перешли, а сербы не хотят.

— Ах, басурманы этакие! — воскликнула бабушка.

— Еще какие басурманы-то! — сказала тетка.— Намедни нам лавочник в «Ведомостях» читал, как они измываются-то над сербами: приедут в деревню, войдут в избу — старым головы долой, а молодых приколют да в ямы... А то начнут ремни из спины выкраивать, суставы на ногах да руках вывертывать; очень уж озорничают...

У меня от этого рассказа мурашки по спине забегали, бабушка тоже заахала.

— Вот разбойники-то! — опять воскликнула она.

— Только теперь, слава богу, скоро ихнему бесчинству конец придет. Хочет наш батюшка царь за сербов заступиться; уж солдат в ихнюю землю погнали.

— Что ж, воевать будут?

— Воевать будут.

II

Я не утерпел и в этот же вечер побежал на улицу и рассказал своим товарищам, как озорничают турки и как их будут усмирять.

Скоро действительно стали говорить, что война началась, что были уже сражения. Наши солдаты перебра́лись за их реку Дунай и вошли в турецкую землю. Говорили, что в городе как-то раз целый день флаги висели и в церквах пели молебны, потому что нашему войску над неприятелем бог даровал победу.

Летом наши снова кое-чего прислали. Между гостинцами опять было несколько картин. На этих картинах изображалось уже совсем другое: тут уж наши солдаты побеждали турок, а турки падали, как чурки. Наши колют их, бьют прикладами, а турки падают убитыми или бегут. Глядя на такую картину, нам делалось очень весело, и мы с злорадством говорили:

«Ага, некрещеные! Вот как наши вас треплют! Это не то что сербы: они вам покажут кузькину мать...»

После стали носиться слухи, что на войне бьют и наших. Осенью к нам в деревню пришло письмо, и в нем писали, что один парень, взятый года два тому из нашего места на службу в гвардию, убит на войне. А еще в одной деревне из четырех один убит и один ранен. Выходило, что не зевали и турки. После этого стали говорить, что турки очень сильны, храбры и отчаянны. Очень просто, они и русских покорят: придут в Россию, заберут нас в плен и переведут в свою веру. Нам поддаваться туркам не хотелось, и мы, бывало, соберемся в артель и думаем, гадаем, как мы будем отбиваться от турок.

III

Прошла еще зима. Подходил великий пост. Потом явилось известие, что в наш город пригнали целую партию турок, взятых в плен, и разместили их по разным домам на постой. Такими партиями, говорили, их расселяли по всей России. В деревнях всполошились; особенно закопошились мы, ребятишки. Мы опасались того, как бы они не ушли да не забежали к нам. Перепугают они всех до смерти. Взрослые выражали неудовольствие, зачем турок к нам пригнали:

«Они наших бьют, а их здесь хлебом кормить будут». Это неудовольствие росло, и вскоре, как пригнали турок в наш город, пронесся такой слух, будто бы в город привели сколько-то турок в баню мыться. В бане были и русские. Один торговец тоже пришел с толпой и при виде турок так озверел, что нацедил полную шайку кипятку, подошел к одному турку и вылил ему его на голову. У нас кое-кто и осуждал торговца, но многие говорили, что «он — молодец, что турок так и надо».

Под конец зимы пришло известие, что с турками заключили мир, и стали говорить, что пленных скоро угонят домой и что не всем туркам хочется идти; один, говорят, даже в крещеную веру перешел и хотел остаться в нашем городе совсем. Мне так сильно хотелось хоть напоследок увидать турок, что они начали во сне мне сниться.

Однажды, после святой уж, я сидел у амбара и делал шалаш из палочек. Вдруг подбегает ко мне мой ровесник Гришутка Бурмистров и лопочет:

— Сала-малак, кула-балак.

Я оглянулся и сразу в себя не мог прийти. По лицу — Гришутка, а наряжен каким-то шутом: рубашонка забрана в штанишки, на ногах какая-то кофточка, на голове шапка, вывернута так вот, как на картинках у солдат: спереди — здравствуй, а сзади — прощай.

— Ты что это? — говорю я Гришутке.

А он опять:

— Сала-малак, кула-балак.

— Что ты, с ума спятил?

— Нет,— говорит,— это я в турку играю.

— Нешто турки так говорят?

— Точь-в-точь так.

— Где же это ты их слышал?

— А в городе,— говорит.

— Как же ты туда попал?

— Я с дедушкой ездил: тятьку в Москву подвозил — ну и видел.

Меня так и подняло всего.

— Гриша, миленький, расскажи!

Гришутка стал рассказывать:

— Все они черные-пречерные, ровно загорели очень, носы у них большие. Ходят они по городу, как будто так и надо...

— А страшные они?

— Нет... не очень.

— Ты их близко видел?

— Около них стоял.

— И они тебя ничего?

— Ничуточки.

После того мне еще больше захотелось увидеть турок. Я было стал приставать к бабушке и звать ее в город, но она меня и слушать не хотела:

— Вот еще что выдумал! Зачем нам в город тащиться? Лучше не приставай!

IV

И вдруг, на мое счастье, к нам опять приехала тетка Афимья. Я всякий раз радовался ее приезду, потому что она всегда привозила новости. Бросился я к ней навстречу и теперь.

Тетка поздоровалась с нами и проговорила:

— Слышали? Завтра турок из города мимо нас погонят.

— Куда?

— Да в Москву, а там в ихнюю сторону; отдохнули досыта небось.

— Ну что ж, и слава богу,— сказала бабушка.

— Известно, слава богу,— согласилась и тетка,— а то все под страхом ходишь.

Я не выдержал, бросился на шею тетки и стал просить:

— Тетя, миленькая, возьми меня с собой! Я турок погляжу.

— Ну что ж, поедем,— говорит тетка и сама смеется.— Только смотри... Ну-ка они схватят тебя да с собой и увезут!

— Так я и поддамся!

— А не поддашься, так поедем.

Тетка пообедала у нас, посидела с часок и стала справляться домой. Поехал и я с ней.

В Левашеве я был сам не свой. Пришел вечер, легли спать, я и заснуть не мог, все думал, как я завтра турок увижу. И что мне только не лезло в голову! До третьих петухов я не смыкал глаз. Зато и заснул как убитый. Утром тетя Афимья стала меня будить, но я и голоса ее не слышу. Едва разобрал, что она мне говорила; и только я разобрал, что она

поднимает меня турок глядеть, я, как кошка, спрыгнул с постели и бросился со всех ног к трактиру, мимо которого шла большая дорога. Когда я подбежал к трактиру, то оказалось — турки были там уж. Их было довольно много, больше ста человек. Одни из них ехали на подводах, другие шли пешком. У трактира сделали привал, и они — кто стояли, кто лежали, раскуривая табак, и разговаривали между собой. Их окружали провожавшие их наши солдаты. Гришутка говорил правду: турки были не очень страшны, только смуглые и черноволосые, и носы у них были большие. Одеты они были так же, как и наши солдаты, только все у них было похуже. Но старшие были много щеголеватее наших солдат: мундиры на них как врезапы, а головы их украшали красные фески с кисточками. У меня разбежались глаза, и я не знал, кого вперед рассматривать. Я вошел в их круг и глядел то на одного, то на другого. Наконец я остановился около одного солдата, большого такого, плечистого, тоже с большим носом, причем этот нос был еще с горбинкой. Он мне показался очень веселым; глядит кругом, посмеивается — должно быть, радуется, что в свою сторону идет. Увидал он меня, схватил под мышки и высоко-высоко поднял на воздух и говорит понашему, хотя очень плохо:

— Хошь, к нам пойдем, а? Хошь?

Сердце во мне так и затрепетало — и жутко мне, и весело.

— Пусти! — взвизгнул я изо всех сил и заболтал ногами.

Спустил меня турок на землю, отскочил я от него, а он все глядит на меня и все смеется.

— Как зовут? Ванька звать? — спрашивает.

— Нет, врешь, Петюшка! — говорю я.— А тебя как?

— Идрис. Идрис-Хурдшуд меня звать,— говорит турок, а сам все скалит зубы.

Народу собралось вокруг множество. Из села и из соседних деревень пришли; некоторые вышли из трактира: глазеют все на турок, дивуются и рассуждают меж собой. Вдруг из трактира выступил не известный никому высокий, сухощавый мужик, порядочно выпивший. Он подошел прямо к туркам, остановился против того, что меня на руки брал, и закричал звонким голосом:

— Ишь, нехристи, душегубы!.. Отъелись нашего хлеба-то!.. Теперь опять будете крещеных людей мучить?!

И он быстро развернулся и со всего размаху ударил Идриса в ухо. У того и кепка с головы соскочила.

Подскочили к расходившемуся мужику наши солдаты, оттолкнули его прочь; а большой турок поднял кепку, стряхнул с нее пыль и сквозь слезы проговорил:

— Мой не виноват; твоя солдат — твоя начальств велит; моя начальств — моя солдат велит, и война делаем.

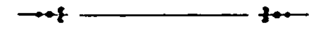
— Верно, верно! — загалдели в народе.

Но высокий мужик пропустил слова турка мимо ушей. Он все ругался и порывался еще ударить какого-нибудь турка, но ему не дали ходу. Большой турок надел кепку и отвернулся, а лицо его уже не смеялось, а стало грустное-грустное.

Вскоре вышли из трактира старшие из сопровождавших солдат и велели готовиться в путь. Собрались турки и наши солдаты и пошли вон из Левашева.

С тех пор я настоящих турок и не видал уже ни разу, зато таких, вроде этого высокого мужика, видел и слышал много раз.

1899 г.



Бабы

Повесть

I

В понедельник на фоминой ранним утром, когда в Хохлове еще не во всяком дворе проснулись, Влас Мигушкин вышел из своей избы. Это был мужик лет тридцати, среднего роста, прямой и крепкий, с светло-русой бородою и чистым взглядом голубых глаз. Помолившись на четыре стороны, он не спеша надел на голову картуз и пошел от своего двора вниз по селу к речке, отделяющей их владения от наделов других деревень. В одной руке у него было железное ведро, и он, слегка погромыхивая им и помахивая другой рукой, спускался под гору, не оглядываясь ни направо, ни налево.

Было настолько рано, что на улице стояла полная тишина, только на одном дворе слышалось мычание коров, просивших корма, да в крайних окнах некоторых изб виднелись огоньки затопляющихся печей. Из людей на улице никого не было видно, но Влас не обращал ни на что внимания не потому, — он был очень озабочен, и эта забота охватывала все его существо. С пасхой кончилась гулевая пора, нужно было покидать зимний угол избы и выходить на волю — ко двору, на усадьбу, в поле. Дело это было очень обыкновенное, если бы у него в семье не произошло перемены. Он взял бы, как прежде, свою Иринью и пошел с ней, куда бы повели дела. Но прошлой осенью у них умерла мать, которая, бывало, оставалась дома, копалась у печки и пестала их ребятишек, и Иринье приходилось ее заменять. На место же Ириньи поступал новый человек: они наняли работницу. Это случилось первый раз во всей их жизни, и эта-то новость озабочивала Власа как нельзя более.

Заботу Власа разделяла и его Иринья. Оба они немало поволновались, прежде чем нанимать кого-нибудь. Они соображали, кого лучше взять: старуху, девочку или заправскую «батрачку». Заправская пугала тем, что при пло-

хом урожае она могла прийти внаклад. У Мигушкиных все доходы были только от полей. Правда, они работали старательно; Влас вина почти не пил, притом в Хохлове было много земли. Их бывший помещик, умирая, отказал им на общество, кроме надела, триста десятин. Что получалось от этой земли, многие на себя не потребляли и пятой части, но все-таки... Просудивши весь пост, Мигушкины решили нанять заправскую, с которой все бы можно было спросить, и они наняли одну бабу-солдатку из деревни другого прихода.

Большаком в доме считался Влас, но нанимать работницу ходила Иринья. Влас как-то не умел обходиться с бабами. Он рос один сын у отца с матерью, не видал вокруг себя ни невесток, ни сестер. Еще будучи холостым, он водился только с соседскими ребятами и к девкам испытывал врожденную робость. Когда его собирались женить, то Влас испытывал такие муки, точно шел на пытку. Для него страшно трудно было вести разговоры с невестой в рукобитье, с гостинцами и в самую свадьбу, и когда он собирался ехать туда, то чуть не плакал. Когда же кончилась свадьба, он понемногу привык к своей жене, привязался довольно крепко и, помимо ее, ни на какую бабу и глядеть не хотел. С другими бабами он не умел как следует говорить и плохо понимал. Мысль, что должна прожить у них в доме целое лето другая баба, даже пугала его, и он не знал, как ему помириться с ней.

Работница должна была прийти сегодня, и сегодняшнюю ночь Влас даже плохо спал... Обдумывая, как они с женой ее встретят, как будут обходиться, Влас прошел село и очутился за околицей. Река была недалеко, и над ней густым паром поднималась обильная роса. Вода, еще мутноватая от распустившейся земли, наполняла всю речку и, струясь мелкой рябью, образовывала па середке струю, как девичью косу. На повороте было заметно, как быстро вода стремилась вниз. Откуда-то доносилось глухое журчанье ее. Росший на другом берегу смешанный лесок стоял точно облитый от росы; в нем кое-где белел снег, и роса от него шла еще гуще. Влас подошел к речке, размахнул воду и, почерпнув ведро, вытянул его и тотчас же зашагал обратно. Когда он пришел в избу, Иринья, высокая, худощавая, немного сутуловатая, с начинающим морщиться, но все еще миловидным лицом, хлопотала около печки. Она тоже,

как и Влас, казалась озабоченною. Принявши от мужа воду, она проговорила:

— Сейчас, что ли, самовар-то ставить или подождать?

— Ставь сейчас, небось и она скоро подойдет.

Действительно, только поспел самовар и Влас поставил его на стол, как в избу вошла работница. Она была высокая, плотная, с окутанной дешевой, линючей шалью головой, в поношенной карусетовой кофте и новой, домотканой, полубумажной юбке, которая еще совсем не обносилась и сбегала к подолу прямушкой, неохотно сгибаясь на складках. На ногах ее были большие нескладные сапоги; из-под платка светились темные глаза. Войдя в избу, работница помолилась, поклонилась хозяевам и спросила:

— Здесь мои хозяева-то живут?

— Здесь, здесь! — высовывая из-за угла печки лицо и ласково улыбаясь, проговорила Иринья.— Ишь ты, как позаботилась, как раз к чаю; вот и славно... раздевайся-ка.

— Позаботишься...— сказала работница приятным грудным голосом.— Нанялся человек — продался; надо дела делать.

Она оглянула избу, отыскивая место, куда бы ей положить свой узел, и сунула его на полати. Потом она сняла платок и кофточку и тоже убрала их. Влас и только что проснувшиеся и забравшиеся за стол ребятишки, восьмилетний Мишутка, здоровый, красивый, похожий лицом на отца, и Дунька, черненькая егоза, четырех лет, глядели на нее во все глаза. По лицу ей можно было дать лет двадцать пять. Оно было довольно правильное и налитое, как яблоко. Красные, без морщин губы, дрожащие тонкие ноздри. На низком гладком лбу красиво поднимались черные брови. Из-под ситцевой прямой накидки обрисовывалась высокая грудь. Но Власу она не понравилась. «Больно мешковата,— подумал он,— верно неповоротень». Однако он постарался быть с ней поласковей и проговорил:

— Ну, как звать-то тебя?

— Сидора.

— Эко имечко-то! — невольно усмехнулся Влас.

— Какое поп дал.

— Ну, Сидора, не ходи близко забора, садись за стол,— пошутил Влас.

Сидора усмехнулась как-то одним боком и проговорила:

— Нанималась работать, а как пришла, так прямо за стол, словно бы это не дело.

— Ну и работы дадим, небось у нас узнаешь кузькину-то мать...— погрозил Влас.

— Я работы не боюсь,— совсем просто, без всякой хвастливости проговорила Сидора и села за стол.

— Да без череду и не заставим,— как бы желая ее успокоить, тоже подсаживаясь к столу, проговорила Иринья.— Что люди, то и ты; во всякий след бегать не придется. Лошадей в стадо свесть у нас есть вон малый; попить в поле он тоже принесет; коров я сама дою и дома и на полднях.

— На полдни-то и я схожу,— сказала Сидора, наливая в блюдечко чай.

— Нет, зачем же! Нешто что не поздоровится, сохрани бог, а то у меня ног, что ль, нет; я ведь не старуха, мне всего тридцатый год, а тебе какой?

— Мне двадцать девятый.

Влас и Иринья в одно время взглянули в лицо работницы; их удивило то, что Сидоре двадцать девятый год: по виду ей было с чем-нибудь за двадцать. Иринья сравнила ее с собой и невольно вздохнула: она позавидовала ее здоровью и свежести.

— Сколько же ты годов замужем? — спросила она.

— Пятый год.

— Муж-то, стало быть, моложе тебя?

— На четыре года моложе.

— Он ничего, что ты вот старше-то?

— А что ж ему?

— Ты еще не рожала?

— Ни разу.

Иринья вздохнула опять.

— А мы-то с первых годов начали, вот от того-то скоро и состарились.

— Ну, ты, старуха! — пошутил Влас и опять перевел глаза на работницу.

Он следил, как она принимается за чай, кусает сахар. Хотя она и сразу налила себе чашку, но пила его без видимого удовольствия. «А может, она есть хочет»,— мелькнуло вдруг в голове Власа, и он проговорил:

— Ты бы закусить чего дала!

— Я не знаю чего.

— Хоть свининки солененькой.

— Пожалуй, принесу.

Работница не выказала особого удовольствия и при еде. Она всех вперед накрыла чашку и полезла из-за стола.

— Что ж ты, пей!..

— Не хочется...

И она, взявши в руки полотенце, сейчас же стала перемывать посуду; спросила, когда у них выносят поросятам, чем поят телят, когда будут запахивать. Ей это объяснили. Убравши посуду, Сидора оправила платок на голове и проговорила:

— Ну, теперь что делать?

— Пойдем дрова рубить.

— Ну, так пойдем,— сказала Сидора и стала одеваться.

II

День обещал быть ясным. Солнце поднималось на безоблачное небо и распаривало влажную землю, выделявшую из себя множество испарений, стоявших в низких местах легким туманом. На высоких местах воздух дрожал, и в глубине его заливались жаворонки; сверкали, чирикая, недавно прилетевшие ласточки; кишели вызванные теплом толкушечки; гудели пчелы, пытаясь взять первую взятку с покрытых золотистым пухом вербочных барашков и на распустившихся шишечках срубленной ольхи, лежавшей в кучке дров, на ветлах. Дышалось так легко, и теплота ласкала со всех сторон. Никогда с таким удовольствием не делалось дело. Влас, сверкая топором, рубил дрова проворно и ловко. Сидора не отставала от него. Она сбросила шаль и кофту и, легко взмахивая топором, ловко перерубала толстые сучья. Влас работал сначала молчком. Он не любил бабьих разговоров и удивлялся, как это они всегда находили материал для бесед: ему гораздо приятнее было что-нибудь думать про себя. На этот раз ему пришлось изменить своему обыкновению и завести разговор. Ему неловко было на первых порах быть букой перед Сидорой: он боялся, чтобы она не сочла его очень нелюдимым, и он спросил ее:

— А в вашей деревне дрова-то вольные?

— Нет, горевые...

— Почему ж, лесов нет?

— Были и леса, да вывелись, одни пни торчат.

— Сами мужики вывели?

— Известно сами, а то кто ж?

— Небось у вас в деревне стройка хорошая?

— У кого как,— у кого хорошая, а у кого развалилась.

— Лес-то небось па стройку шел?

— На стройку, да не самим. На белом свете так ведется, что сапожник без сапог, портной без одежины, а у кого леса много, тот без стройки.

— Нет, нехозяйственный народ, а то стройку-то все бы можно завесть.

— А где он, ваш брат хозяйственный-то, може, из десяти один, а то все ни богу свечка, ни шуту кочерга.

— Ну, уж ты очень... Мало ль и хозяйственных мужиков. Кем же и деревня-то стоит, как не мужиками?

— Стоит, да как? Если бы по-настоящему, нешь бы так надо стоять! Наш вон лес-то, говорят, большие тыщи стоил, а мужики так свели его, что все скрозь руки прошло,— и лесу нет, и нужды не поправили.

— Може, они пьянствовали,— так это конешно.

— И пьянствовали немного,— ни один леший не опился, а продавали его по корешочку, да так весь и продали. А по-настоящему-то его продать бы сразу, и конец делу, отхватил деньги и командуй ими, а они этого не могли.

— Неужели у вас и с рассудком людей нет?

— Есть два-три человека, да что ж они могут; тех-то ведь сила, ну они и повернули.

Власу захотелось пошутить, и он проговорил:

— Ну, бабы на сходку вышли бы, может, они бы вразумили?

— Послушаете вы баб: у вас криво, да прямо, а бабья прямота кривой кажется,— дело известное.

— Ну, и у баб тоже прямоты много; говорится пословица: соберутся две бабы — базар, а три — Нижегородская ярмарка. А отчего? Оттого, что у них настоящего рассудку нет: визгу много, а толку мало.

— Это вам так думается.

— Не думается, а в самом деле; допусти бабу к какому-нибудь делу, она наклокочет — в мешок не покидаешь, а до дела не доберется.

— А ваш брат этим не грешен? Выйдут на сходку, и дело-то плевое, а наорут, нашумят, переругаются друг с дружкой, шут их побери! И в доме так же: другой считает

себя распорядителем, а какой он распорядитель — наработают ему, а он поедет куда да пропьет; а нешь баба проживет дом? Слышал ли ты когда, что вот такая-то баба весь дом свела, а мужики сплошь да рядом.

— Бабе такой воли нет, а то бы она рукавами растрясла. Знаем тоже вашу сестру,— не зря ее считают хуже кошки; кошки в алтарь в церкви ходят, а баб не пускают.

— Кто это так устроил-то? Мужики. А если бы бабам дали такую праву? А то можно им верховодить-то без всякого спору.

— Значит, старики-то были не дураки, знали, отчего так установили.

— Какие старики: были хорошие, а были такие же, как и молодые.

Власу показались все рассуждения работницы правильными, и его первоначальные впечатления стали рассеиваться. «А она ничего,— подумал Влас,— на словах-то дельная, как-то будет на работе».

В этот же день Власу пришлось увидеть, что Сидора и на деле не ударит себя лицом в грязь. Вечером, кончивши рубить дрова, перед тем как идти домой, они зашли в сарай, чтобы уставить на лето дровни, уже ненужные теперь. Власу хотелось поставить их одни на другие, но он боялся, что двоим их не поднять, и хотел позвать Иринью. Сидора удивилась.

— На что?

— Да пособить нам.

— Вот еще! Заходи-ка к головяшкам!

И она, поплевавши в руки, взяла за железные отводы от подрезов и подняла зад саней.

Влас этому очень удивился; он крутнул головой и подумал: «Нет, она не на одних словах, а и на деле».

III

Прошло несколько дней. Сидора за эти дни так привыкла к порядкам Мигушкиных, точно она жила тут по крайней мере год. Она уже знала все, что нужно, и ей не приходилось спрашивать, что теперь делать. Вставши утром, она помогала чем-нибудь Иринье, ворочавшейся у печки, потом шла из двора. Она нигде не застаивалась, не зазе-

валась. Убравшись с дровами, Сидора огребла огород, подобрала валявшуюся костру и солому у овина, помогла Иринье разобрать к лету в омшанике и в горенке; дело в руках у нее так и кипело.

Однажды был дождь, и на улицу нельзя было выйти. Все сидели в избе, и многим нечего было делать. Сидора позевывала от скуки и наконец, обратившись к Иринье, проговорила:

— Хозяйка, пошить бы дала что-нибудь, что так-то сидеть.

— Сшить-то надо бы Дуньке платьице, только еще не скроено. Вот погоди, я к попадье схожу.

— А сама-то что ж?

— Где ж самой! Я вон ворот у Власовой рубахи не прорежу, нешь мы учены?

— Какое ж тут ученье: раз поглядел, и довольно, а то всякий раз к людям бегать; давай-ка ситец-то сюда.

— А ты не изгадишь?

— А там увидишь.

Иринья принесла ситец и подала его Сидоре. Та положила его на стол, поставила перед собой Дуньку, примерила, как что пускать, и начала кроить ситец. В этот же день она сметала платьице на живую нитку. Платьице вышло такое, каких у девочки никогда не было.

— Как же это, ведь у тебя своих маленьких нет, на кого ж ты шила-то?

— А нешь мы от маленьких что учимся? — сказала Сидора и засмеялась.

Запахали в Хохлове уже на третьей неделе. День стоял веселый. Мигушкины пахать поехали на двух: на одной Влас, на другой Сидора. Влас присматривался, как пашет работница. Она была все в той же юбке и кофте, в которой пришла, и с тем же платком на голове, но только совсем сдвинутым на глаза. Ноги ее были босы, и она свободно шагала за плугом. Любила ли она эту работу, или в ее памяти возникли какие-нибудь счастливые воспоминания, только она шла за плугом, точно на какой-нибудь праздник, спокойно опираясь на его ручки, плавной, красивой поступью. Влас еще никогда не видал, чтобы в деревне кто-нибудь держал так себя за пахотой. Большинство баб и девок только безобразили себя. Влезут в сапоги, подоткнутся и идут нескладно, виляя корпусом, срываясь в борозду и

изгибаясь то туда, то сюда. Но Сидора шла, как на картине, и Влас всякий раз, встречаясь с ней, невольно оборачивал в ее сторону голову и любовался ею. Чем дальше, тем больше он убеждался, что он мало таких баб еще видал. Об этом он раз сообщил Иринье. Иринья, должно быть, не была согласна с ним.

— Ну, а то что ж,— сказала она,— деньги-то взяла да сидеть будет; она и должна работать.

— Работать, да как.

— Как другие работают.

— В том-то и дело, что другие работают, да не так.

— Ну, и она не лучше других.

— Нет, лучше во всем...

Иринья в этом не согласилась, но вскоре ей пришлось покорить свое упрямство и признать, что Сидора действительно много лучше других и во многом.

IV

Пришел весенний Никола. В Хохлове из старины велся обычай, чтобы в этот день бабы праздновали. Они покупали красного вина, распивали его и веселились. Еще с утра одна баба обегала избы, собирая по пятачку с каждой бабы на вино и по два яйца на закуску. Влас дал денег на двоих. На гулянье собирались и Иринья и Сидора. Гулянье должно было начаться после полден. Мигушкины напились чаю, наелись горячих лепешек с творогом и стали справляться. Иринье пришлось прежде справить ребятишек на улицу, но работница, убравши посуду, взяла с полатей свой узел и пошла с ним в горенку. Вернулась она через несколько минут нарядная. Наряд ее был очень прост: голубое ситцевое платье с баской, черный люстриновый фартук и легкий шерстяной платок сиреневого цвета; на ногах ее были шагреневые полусапожки; но и этот простенький наряд совершенно изменил Сидору,— эта же баба, да не та.

Она стала необыкновенно стройною и статною. У нее яснее вырисовывалась крепкая грудь, талия, правильные руки. Лицо ее из цветной рамки платка казалось нежнее, глаза получили особый блеск, и в них было уже что-то такое, что, раз взглянувши на это лицо, невольно хотелось повторить этот взгляд.

Поскрипывая полусапожками, она подошла к зеркалу и стала оправляться перед ним.

Влас, пораженный явившейся перед ним красотой, вытаращил на нее глаза и с изумлением, смешанным с восхищением, уставился на нее, а Иринья, взглянувши на Сидору, отчего-то сразу покраснела и кинула тревожный взгляд на Власа. Подметив выражение его взгляда, в ее глазах блеснула тревога, и она лишилась способности прямо глядеть в глаза и мужу и работнице. Глаза ее забегали туда и сюда, на лице выступала краска, и в руках, оправлявших Дуньку, появилась дрожь. Вдруг она опять мельком взглянула на Власа и украдкой вздохнула.

— Ну я пойду, коли! — сказала, отвертываясь от зеркала, Сидора.

— Ступай, ступай! — сказала Иринья, стараясь попасть в свой обычный ласковый тон, но у нее на этот раз это не вышло.

Влас по уходе работницы поднялся с места, потянулся, зевнул и проговорил:

— И мне, что ль, на улицу пойти,— в избе-то скучно одному.

— Иди, а то вместе пойдем; я вот только наряжусь,— сказала Иринья с особенной лаской в голосе и во взгляде.

— Ну, наряжайся...

Иринья надела па себя шерстяное платье, повязала шелковый платок и шерстяной передник и тоже подошла к зеркалу. На ней все было богаче, чем на работнице, но наряд пе только не придал ей виду, но, как показалось Власу, она в нем выглядела хуже, чем в будни.

Платье, сшитое еще к свадьбе, когда она была стройнее и полнее, казалось мешковатым, розовый цвет шелкового платка бросал на ее лицо такие тени, которые ярко обнаруживали блеклость ее лица. Морщинки на лице не только не скрывались, но вырисовывались яснее, и глаза казались необыкновенно тусклыми. Все это было, конечно, едва заметно, но Влас это видел очень ясно. Иринья перед зеркалом и сама увидала все это, глубоко вздохнула и с виноватым выражением поглядела на мужа:

— Ну, вот я готова, пойдем.

— Пойдем,—сказал Влас и, снявши с колышка пиджак, стал надевать его.

V

Бабы собирались на середке села, у двора Якова Финогенова, богатого и веселого мужика, любившего около своего двора всякие сходки. Они собирались одна за другой, разряженные как только возможно. Влас внимательно приглядывался к ним и заметил, что не одна его Иринья, а многие из них от нарядов пе выигрывали, а теряли и что никому так наряд не шел, как к его работнице. В Хохлове было немало красивых баб. Влас глядел на них, сравнивая с Сидорой, и ни одна из них не могла с нею сравняться. Все не стоили ее, у всех были какие-нибудь недостатки; но тут было все в должной мере и полноте.

Бабы стрекотали, как сороки, каждая стараясь говорить и точно боясь, что ей не придется принять участие в разговоре. У всех чувствовалось и в голосе и во взглядах неудержимое оживление, какая-то радость, чувство жизни, и это чувство красило их, делало пригляднее. Взгляды Власа всех чаще останавливались на лице Сидоры, и чем больше он глядел на нее, тем отчетливее подмечал в себе смутное, неясное чувство, которое охватывало все его существо легким туманом, и мучительным и сладостным. Скользнув глазами по толпе баб, Влас встретился со взглядом жены, но его глаза ничего не выражали; Иринья заметила это. Для нее это было ново и неожиданно: прежде, когда они бывали на людях, при взгляде друг на дружку всегда в их глазах вспыхивал одинаковый огонек, и глаза их точно сообщали что-то друг другу. Теперь же от взгляда Власа веяло холодом. Взгляд Ириньи выразил тревогу, но Влас этого не заметил.

Вино скоро принесли, и бабы приступили к распределению его по столам. На столах появились бутылки, откуда-то взялись сковороды с яичницами, мятные пряники. Началось питье вина...

Шум, смех и прибаутки разгорались с каждым выпитым стаканом, и когда черед обошел всех, бабы решили затянуть песню. Долго сговаривались, какую запеть, наконец старостина Катерина взмахнула платком и затянула:

У-у-у-ж ты, Ва-а-а-ня...
Ра-а-зу-у-да-а-алая го-о-олова...
Да-сколь да-а-ле-е-че...
У-у-уезжа-а-ешь о-о-от меня...

Песню подхватили все и запели с таким одушевлением, с каким редко певали. И когда составился хор, то из хора выделился необыкновенно сильный, звучный и красивый голос, покрывавший все голоса и отличавшийся от других особенным чувством, проникавшим в сердца других и сообщая его и им... Чувство это было — тайная грусть. Влас встрепенулся: он любил песни, всегда слушал их с удовольствием, знал все голоса в селе, но этот голос слышал впервые. Он ему был еще незнаком. Он стал вглядываться, кто же это пел, и увидал, что это Сидора.

Сердце его усиленно застучало; он с тайною радостью уставил па нее глаза и, пока пели песню, не отрывал от нее своего взгляда.

По окончании песни бабы опять застрекотали. Кто говорил, что надо промочить горлышко, кто настаивал еще спеть одну. Внимание Власа привлекло то, что в толпе баб раздался детский плач. Он очнулся, взглянул туда, где слышался плач, и увидал, что его Иринья тормошила Дуньку, а та блажила во все горло. Влас горошком скатился с крыльца и подбежал к жене.

— Что ты, что ты, с ума сошла! — воскликнул он, отнимая от разъярившейся жены плачущую девочку.

— А она что!.. Так ее и надо,— с необычайным раздражением крикнула Иринья.— В кои-то веки вырвешься из кромешной тьмы, а она пристала, как с ножом к горлу, домой зовет. Что мне с ней дома-то делать?..

— Так и надо ее бить? Эх ты, мать...— с укором сказал Влас и, взявши на руки девочку, стал ее утешать.

— Ну и целуйся с ней, коли сладко, а я не хочу.

Влас видел, что его баба необыкновенно разошлась, захотел смягчить гнев жены шуткой и проговорил:

— Вон как, немного выпила, и то разошлась, а если бы побольше, ты тогда бы все подряд почала...

Окружавшие их бабы засмеялись, но у Ириньи и эта шутка не разогнала раздражения.

— Не видала я твоего добра, вина-то,— проговорила она,— очень оно мне сладко!..

— А сама пришла.

— Я пришла к людям за компанию; хотела, чтобы ветром обдуло, а то живешь-то словно в Сибири какой...

В голосе Ириньи послышались слезы.

У Власа неприятно защемило сердце: он первый раз

слышал от жены жалобу на свою жизнь и понять не мог, что же это ее так расстроило.

— Что это ты? Вот те на! — озадаченный спросил он.— Не домой ли тебе лучше идти,— и Дуньку-то успокоишь и сама себя.

— Ты будешь гулять, а я дома сиди!..

— И я пойду, дура!..— уже сердито проговорил Влас и, отвернувшись от толпы, направился к дому; Иринья тоже побрела за ним.

Дома Иринья прямо стала разряжаться.

— Ты что ж, не пойдешь больше?

— Не пойду.

— Отчего?..

— Видно, отошла наша пора на улице гулять!

— Ну, так-то спокойнее,— сказал Влас.

Иринья ничего не сказала. Она убрала свой наряд, подошла к постели и ткнулась в нее.

С ней творилось что-то такое, чего она и сама не могла объяснить; это случилось с ней в первый раз. При встрече с мужем глазами на народе и при виде того, что его взоры больше обращаются на Сидору и он глядел на нее вовсе неравнодушно, особенно когда она пела песню, у Ириньи вдруг заныло сердце так, как оно у ней никогда не ныло. Ей почувствовалось, что ее Влас переменился, и ее это пугало. Она его очень любила. До свадьбы она его совсем не знала; сосватали их чужие люди. Она была молода и глупа; ей не нравилось его имя, ее подруги подтрунивали над ним: «У нашего Власа два кваса — один как вода, а другой пожиже». Ей было обидно, и она втихомолку плакала. Но когда она вошла в семью, узнала его хорошенько, то все исчезло из ее головы, и она с каждым годом привязывалась к нему больше и больше, и он любил ее. И вот только теперь он так глядит на другую, как прежде не глядел никогда. Ей показалось, что она будто что теряет невозвратно, и это чувство навеяло на нее страшную тоску. Она лежала, но сердце в ней ныло и щемило и подкатывало к горлу,— ей хотелось плакать. Влас меж тем совсем успокоил Дуньку и проводил ее на улицу. Чувствуя, что с бабой творится что-то недоброе, он подошел к ней, подсел на кровать и спросил:

— Ты что это?..

— У меня голова болит.

— Эх, твоя голова,— сказал Влас, кладя руку на лоб жены,— оторвать ее да на рукомойник повесить.

Иринья молчала. Она лежала с нахмуренным лбом и глядела тусклым взглядом в сторону; она тяжело и учащенно дышала,— это было заметно по раздувавшимся ноздрям.

— Давно она у тебя разболелась-то?

— Сегодня...

— Я знаю, что сегодня, да когда?

— Я на часы не глядела.

— Эх ты, костра! Никак ты в одиночестве-то хуже становишься?— вздохнул Влас и сделал было попытку отойти от жены.

Иринья беспокойно повернулась к нему, подняла голову и сквозь зубы проговорила:

— Что ж, тебе теперь около жены-то и посидеть не хочется?

— Что же около тебя сидеть, когда ты со мной и разговаривать не желаешь?..

— Почему ты знаешь?

— По голосу.

— Стало быть, ты плохо понимаешь.

Влас нагнулся к ней и, широко улыбаясь, спросил:

— Будешь разговаривать?

Иринья вдруг обвила его шею руками, притянула к себе его голову и впилась в его губы горячим поцелуем.

— Ого-го-го! — весело загоготал Влас.— Вот ты как!.. Что это на тебя нашло?..

Иринья не отвечала.

— Дура ты, прямая ты баба,— разнежившимся голосом проговорил Влас.

VI

В эту ночь Иринье приснился примечательный сон. Ей виделось, что ее Власа выдавали замуж, и она очень удивлялась, как это мужика выдают замуж. Потом, когда его отдали, она жалела о нем и горько плакала во сне, так горько, что вся подушка ее оказалась смоченной слезами. Когда она проснулась, то сердце ее больно заныло. А что, если в самом деле она его как-нибудь потеряет? Что же ей тогда делать? Он один у ней надежда и опора, поилец

и кормилец всей семьи; без него она пропадет, как червяк. Сердце ее не утихало; мысли ее становились черней; все перед ней возникало в туманном, тяжелом и безотрадном свете. И только когда ей пришло в голову, куда он денется, в мыслях у ней слегка просветлело. Она обругала себя лутонюшкой и стала думать, что ей нечего тужить. Власу пока деваться некуда, ни в солдаты, ни в ратники ему уж не идти, и она совсем было уж разогнала окутывавшую и давившую ее тяжесть, навеянную сном, но тут ей представилась работница. Вот кто может угрожать ей. Отобьется Влас от нее, и тогда его веревками не притянешь.

И растаявшее было чувство уныния опять поднялось; под давлением его заработала голова Ириньи.

«А нешто это не может быть? Эна, он уж как стал на нее поглядывать, дальше да больше, распалится его сердце, а ей что ж? Она вольный казак; над ней набольшого теперь нет... Вот придет покос, другая работа — все вдвоем, все вместе, все будет ихне... И как это меня натолкнуло на эту работницу, словно другой негде было взять, где у меня голова-то была?..»

С каждым днем она делалась угрюмее. На Власа с Сидорой она глядела исподлобья; нередко при взгляде на работницу в ее глазах вспыхивал враждебный огонек.

Однажды, во время сева, когда Влас и Сидора утром отправлялись в поле, Иринья спросила:

— Завтракать-то туда, что ль, приносить-то или домой приедете?

— Когда ж нам разъезжать, знамо туда,— сказал Влас.

— А где будете пахать-то?

— На дорожном огорке, а ежели там спашем, приходи к лесу.

Иринье показались ненавистными все ее домашние работы. Ненависть ее стала еще жгучей, когда она вспомнила, как, бывало, за каждым следом шла за Власом, как они всюду были в паре, этот обед в поле, отдых где-нибудь под кустом, а теперь это миновало для нее; пользуется этим незнамо кто, а она сиди дома, Ерема, точи веретена.

Яровой сев был кончен. Ранние овсы взошли так, что в них мог спрятаться цыпленок. Выкинули листочки льны. Рожь давно выколосилась, и на ней висели светло-зеленые сережки цвета. От легкого ветерка над ржаными полосами поднималась пыль, и ребятишки, не понимая этого, в недоу-

мении спрашивали: что это? что это?.. Полевой работы не было до навозницы, а навозница должна была наступить не раньше как через две недели.

Пользуясь свободным временем, в Хохлове разделили полянку березняка на дрова. На другой день после дележки Влас стал собираться рубить березняк. Он предполагал взять с собой и Сидору, но Иринья запротестовала.

— Что ж ты, Сидору возьмешь, а с кем я буду гряды поливать, лук полоть? Возьми вон Мишутку.

— А что я с Мишуткой там сделаю?

— Ну, а я тут одна что сделаю?

— Как же матушка, бывало, оставалась и управлялась?

— Как она управлялась-то, знаем мы это; от того-то одно, бывало, выгорит, другое зарастет.

— Будет грешить, у ней все чередом шло.

— Чередом, когда, бывало, урвешься да пособишь ей. В одной избе сколько делов!

Власа это раздражало.

— Ты уж дела стала считать, как же постарше-то тебя управляются?

— И я немолода: молодая-то, та с тобой во всякий след ходит, а я уж на старушечье место поступила.

В голосе Ириньи зазвучали слезы. Влас с недоумением глядел на нее.

— Кабы я на ее месте-то была, я бы, може, не так летала: там одно дело, а у меня сотни, все их управь, ко всякому поспей; легко ей краску-то наводить.

— Да чего ты локочешь-то, полоумная, образумься!..

— Я знаю чего; тебе уж жалко с нею расстаться. Жена тут, как лошадь, вези, а он с ней пойдет.

Иринья больше не могла сдержать себя и расплакалась.

— А чтоб тебе типун на язык, окаянной! — с невыразимой досадой крикнул Влас и, плюнув, вышел из избы.

VII

Лесок, где разделили дрова, находился за полем и был раскинут на большом огорке. С этого огорка открывался красивый вид на село, на ближайшие деревни, на пестревшую такими же лесами даль. Прежде Влас, особенно в середине лета, когда поспевали грибы, любил ходить в этот

лес. Он испытывал, ходя тут, неизъяснимое довольство. Теперь лесок был красивее, чем летом: свежая листва еще была ярко-зеленою; трава только росла, и в ней кое-где горели разноцветными головками цветы. Птички носились в воздухе, ловя мушек и мошек, чтобы накормить только что вылупившихся птенцов. Воздух был чист и прозрачен. Зелень травы и кустов стояла орошенная еще не высохшей влагой росы, разливая вокруг приятные ароматы. Из него открывалась красивая картина вдали. Хохловская колокольня резко белела в синеве воздуха, и совсем на горизонте, на юго-востоке и к западу, виднелись еще две колокольни; их белые контуры значительно украшали и без того удивительный пейзаж. Влас же ничего этого не чувствовал. Вся душа его была возмущена, и он шел, повесив голову и положив топор на плечо, придавленный неприятностью, осевшей у него на сердце от сцены с женой, которая все больше разрасталась в нем.

«Вот она, баба,— думал он,— что только вздумала! У меня и думки этой не было, а она уж незнамо что сплела. Ну, с чего это? Что я, таковский, что ли? Раньше, что ли, она за мной замечала... Фу-ты, стерва этакая!..»

Влас чувствовал себя обиженным. Мало того что его обижало это подозрение, от этого сама Иринья потеряла в его глазах. Он думал, что она лучше, и поэтому не ожидал ничего такого от нее; теперь же он видел, что она нехороша, и это еще более разжигало его сердце.

Он подошел к своей полосе. Она стояла еще непочатая. Другие полосы уже пестрели работавшими; слышался стук топоров, визг пил, шум падавших подрубленных деревьев; изредка доносились восклицания, говор. Влас «подал» бог помочь тем работавшим, мимо которых проходил, положил на землю топор, оправился, поднял опять топор, перехватил его из руки в руку, поплевал в ладони и, подойдя к одной березе, наискось ударил ее топором. Острие врезалось в сочный ствол березы; береза дрогнула, из раны брызнул сок, но Влас, не замечая ничего, стал наносить молодому, только что пробудившемуся к жизни дереву удар за ударом.

Береза вздрагивала все сильнее и сильнее. Вдруг она, скрипнув в надрубленном месте, как немазаная ось в колесе, пошла на землю. Она с шумом ударилась о землю, покрытую редкими листьями лесной травы, подпрыгнула и тотчас же съежилась и замерла. Влас отрубил некоторые

нити, связывавшие ее с пнем, и, отступив к соседнему дереву, принялся и его подрубать. Одновременно с работою рук работала и голова Власа. Он все старался разъяснить себе, что стало с его женой, почему она взводит на него такие подозрения. Он тяжело вздохнул и вслух проговорил:

— Блажь в голову пришла, больше ничего; взяла зависть, что та лучше ее, и подумала бог знает что.

Что работница лучше его жены, Влас теперь был уверен как нельзя более. Это была первая баба, которая казалась лучше его Ириньи. До сих пор всякая встречавшаяся женщина была хуже его жены; пусть она моложе, здоровее, красивее, но в них не было того, что было у Ириньи для Власа, и он никогда ни взором, ни мыслями не останавливался долго на них. Сидора первая была из баб, при взгляде на которую он стал делать сравнение со своей женой, и чем дальше, тем больше открывать в ней такие качества, каких не было в Иринье, и теперь уж у него была полная уверенность, что Сидора далеко превосходит его жену. Он ясно представлял себе все ее превосходства и не без удовольствия делал эти сравнения.

Он видел, что Сидора, помимо своей красоты, превосходит его жену и характером. Иринья поистрепалась во всем, а в этой еще всего непочатый угол; и ему стало грустно. Он глубоко вздохнул, бросил рубить, лег на траву и, закинув руки за голову, долго лежал не ворохнувшись.

Он долго лежал. Воображение его совсем расстроилось, и в голову полезло такое несуразное, что ему стало стыдно и досадно. Он очувствовался, быстро вскочил на ноги, взял топор опять в руки и, поплевав в ладони, принимаясь снова рубить, проговорил:

— Тьфу, паскудница, на что только навела; чего никогда не думал — подумаешь...

К обеду Влас вырубил половину полосы. Он устал и проголодался. Солнце поднялось высоко и жарило во всю мочь; кругом звенели комары, жужжали слепни и надоедали своей неотвязной прилипчивостью. Влас решил идти домой; возникшие было в нем чувства усилились, и он подумал: «Куда нам об этом... Скоро будешь еле ноги таскать, и года, и все... Нечего зря и голову забивать». Но когда он пообедал и лег в полог отдохнуть, его опять охватили те мысли, что давеча зародились у него в первый раз, и он уже не мог сдержать их.

Управившись после обеда, пришла Иринья, но Влас тотчас же отвернулся от нее и зажмурил глаза.

— Что отвертываешься, аль не любо? — грубо проговорила баба.

— Я спать хочу! — притворно-сонным голосом проговорил Влас.

— Ишь ты, какой до сна-то стал...

VIII

Иринья ясно видела, что Влас с каждым днем глядел на Сидору внимательней. Он любовался ею за работой, за обедом, и когда он останавливал на ней глаза, во взгляде его зажигался огонь страсти.

Чем дальше, тем огонь становился заметней. Иринью от этого начинало жечь другим огнем, и она страшно мучилась. Сидора делала свое дело и не обращала внимания, что происходит кругом. Влас иногда закидывал ей какую-нибудь шутку, и Сидора беззаботно смеялась на нее. Она иногда пела песни, и пела для себя, но Влас при звуке ее голоса делался сам не свой, и огонек, временами зажигавшийся в его глазах, разгорался все больше и больше. В первый праздник после навозницы Сидора ходила домой. Она воротилась оттуда очень веселая, оживленная. Влас, глядя на нее, сам сделался веселее и стал ждать, не заговорит ли она.

Сидора расправилась с дороги и, обращаясь к Власу, проговорила:

— Ну, хозяин, я хочу у тебя деньжонок попросить...

— На что это тебе? — улыбаясь, сказал Влас.

— Мужу послать, прислал письмо, пишет, что если лагери нонче пройдут благополучно, осенью в побывку придет

— Ишь ты!..— сказал Влас, стараясь не менять голоса, но меняясь в лице.— А ты рада небось?

— Еще бы, мужу да не радоваться! Кому же мне и радоваться, как не мужу.

— Какая ж он тебе родня? - постарался пошутить Влас.

— Какая ни на есть, а вот дороже его и человека на свете нет.

- Что ж он, хорош у тебя очень?

– Как кому, а по-моему, хорош.

— Ну, что ж, пошли, он там гульнет за твое здоровье.
— Пущай куда хочет деёт, это не мое дело.
— А если он с другой прогуляет твои деньги?
— Ну, так и с другой! — усомнилась Сидора.
— Очень просто! Солдаты-то, они какие!..
— Ну, это дело темное.

Влас дал денег Сидоре; он казался очень спокойным. Но когда он вечером лег спать, то ему стало стыдно своих дум и поведения. «Что я думаю, дурак! — стал сам себя ругать он.— Она жена своего мужа; она так любит его, а я томлюсь по ней в грехах и хочу, чтобы она со мной на грех пошла, к чему же это поведет? Вон еще ничего не было, а Иринья-то уж в дугу свелась, а если на самом деле пойдет, тогда что ж ей делать?»

Ему стало жалко Иринью, детей, того безмятежного покоя, который был в их семье до этой весны, и он с удивлением начал думать, что это ему втемяшилось в голову при виде Сидоры. Ну, хороша она, красива, да мало ли что: хороша Маша, да не наша. Надо все это выкинуть из головы да на старый путь находить; пошалил в мыслях, да и баста.

На другой день Влас совершенно спокойно глядел на Сидору; прежние мысли уже не возникали в его голове. Власу чувствовать это было очень отрадно, и он с каждым днем делался довольнее собой и веселей.

Запахали навоз; стали подготовляться к покосу; бабы спешили до покосу еще раз выполоть гряды. Влас сидел в сарае, налаживал косы, чинил грабли. Около него вертелись Мишутка и Дунька. Влас с любовью поглядывал на них и этим будто бы старался загладить тот недостаток отцовской ласки, который они испытывали за последнее время. Ребятишки пристали к нему, чтобы он сделал им отдельные грабли.

— На что же вам грабли, сопляки?
— Мы будем на юг ходить,— лепетала Дунька.
— А там ногу наколешь!..
— А я обуюсь.
— Обумши-то тяжело...
— Ну, на ёшадь сяду!..
— Там тебя мамка сеном закладет.

Мишутка следил за освобождавшимся инструментом у отца, и как только отец откладывал что-нибудь в сторону и

брал в руки другое, он хватался за него и силился что-нибудь или выстругать, или затесать.

Власу были очень милы дети, дорог каждый звук их голоса, и он удивлялся, как это он мог прилепиться мыслью к другому и забыть вот это счастье. «Мог же я так потерять голову!» — думал он.

IX

Иринье было неизвестно, что происходит у мужа в душе, поэтому она по-прежнему мучилась ревностью.

Пришел петров день. Сидора опять отпросилась у Власа и пошла посылать мужу деньги. Влас отпустил ее, ни слова не говоря, но по уходе ее Иринья взбеленилась: она хотела в этот день разобраться с работницей в горенке, пока до покоса, а по уходе работницы ей приходилось делать это одной.

— Что это за порядо́к! — крикнула она мужу.— Каждый праздник домой уходит; в иванов день ходила, сегодня ушла. Мы ее нанимали-то по домам ходить?..

— Так что ж такое, ведь праздник сегодня...

— Мало что праздник, а в праздник делов нет? Мы и в праздник пить-есть хотим, чай, понимать должна.

— Ну вот, она сходит да, може, и долго не пойдет.

— Аккурат так: им только повадку дай, их тогда и не удержишь.

— Я думаю,— без дела никто трепаться не пойдет.

— У них все будет дело; их только слушай.

— Ну что ж теперь поделаешь; говорила б раньше, а то ушла, а ты разговор подняла; все равно ее этим не воротишь.

— Тебе хоть раньше, хоть позднее скажи, ты все равно не послушаешь; она из тебя лыка и мочала вьет.

Это был намек, задевший Власа за живое. Он страшно вспылил, уставился на бабу злобным взглядом и проговорил:

— Ох, язык! Вытянуть бы его да отрезать, чтобы он незнамо что не молол.

— У нас знамо что! — проникаясь таким же чувством и со злобой в голосе и взгляде, проговорила Иринья.— Нешто не правда это?..

— Что правда-то? Что? — пересевшим голосом крикнул Влас.

— Знаю что! — крикнула Иринья.

Влас почувствовал, как в нем все ходуном заходило. Но он сдержал себя и вышел из избы. Опустившись на завалинку, он глубоко вздохнул и с отчаянием подумал:

«Господи, ты думаешь, как лучше, а она все твердит свое. Что ж такое за создание?»

И ему так стала ненавистна жена, что глядеть на нее не хотелось; он забыл, чем жил последние дни, и почувствовал на душе такую тяжесть, какой он давно не испытывал и от которой он не знал, как избавиться.

— Эх ты, жизнь моя разнесчастная! — вздохнул он, поднялся с завалинки и пошел без цели за сарай, прошел на реку и пробродил там до самого вечера.

Вечером хотя ему стало легче, но на душе его все еще лежал свинец и ему ни на что не хотелось глядеть.

Сидора воротилась рано. Она была, как и тот раз, веселою; щеки ее пышали румянцем и глаза горели огнем.

Влас, увидев ее, почувствовал в своем сердце острую боль, и его душа омрачилась еще более.

«Вот от такого человека и перенесть что не обидно, а то что!..» — подумал он.

Опять его охватило донимавшее перед тем чувство, и он уж не мог совладать с собою. Наплыв последнего был так силен, что он никак не мог противостоять ему. Влас не забыл, что он думал и чувствовал эти дни, как решил не поддаваться обуявшим его помыслам, но он был совершенно бессилен, и это сознание действовало на него угнетающе. «Неужели я не в силах бороться с собой?» — и ответ был: «Да, не в силах».

X

Влас очень плохо спал ночь и вышел на покос вялый и угрюмый. Покос только что начинался. Мужики стояли на выгоне и поджидали, когда соберутся все, чтобы приступить к дележке. Кругом сараев расстилалось целое море высокой, густой и сочной травы, пестреющей яркими цветочками и смоченной обильной росой. Мужики поглядывали на это в короткое время появившееся перед ними богатство и перекидывались по этому поводу разными словами.

— У бога-света всего доспето и всего к своему времени много. Давно ли тут лежали сугробы; землю было ломом не возьмешь, а теперь ишь что!

— Благодать, одно слово!..

Все были очень хорошо настроены. Когда собрались все, разделили по первой полосе и друг перед дружкой принялись за работу.

Загремели косы, зажужжала трава, Влас и за работу принялся вяло. Нескладно размахиваясь, он сбивал, а не срезал траву. Зато Сидора отличалась: она делала такие ловкие движения, брала широкие прокосы и косила чисто и гладко. Влас, как ни был плохо настроен, не мог не залюбоваться ею. Но это не успокоило его, а еще более растравило в нем его чувство, и в конце концов он совсем расплелся. Люди кончили эту полосу и пошли на другую, закричали к жеребью, но у Власа оставался еще нескошенным сшибок, Сидора зашла к нему наперед и проговорила:

— Ступай уж дели там, а я здесь докончу!

Влас перешел на другую полосу, но дело у него в руках и тут не спорилось. Он сам себя не узнавал: такой ли он был прежде косец? Это его раздражило, и он крепко выругался.

— Что это ты такой сегодня? — удивленно глядя на него, спросила Сидора.

Влас взглянул на нее пристальным взглядом. На лице его играли краски и глаза горели безумным огнем. Он, однако, отвернулся от работницы; медленно нахлобучил картуз, нагнулся, взял клок травы и стал вытирать им косу.

— Сказал бы я тебе словечко, да здесь не место и не время,— сквозь зубы проговорил он.

— Какое словечко?

— А такое,— таким же тоном добавил Влас и, вскинув косу на плечо, поплелся на другой конец полосы.

Сидора проводила его изумленным взглядом и, не поняв ничего из его слов, стала разбивать подкошенный вал травы.

По окончании первого утра хохловцы решили спрыснуть начало покоса и послали за водкой. Влас, до этого редко пивший водку, говорил, что не понимает в ней скусу; но на этот раз он всю приходившуюся на его долю выжег, как огнем, и сделался навеселе. Он почувствовал, как давившая его тягота рассеялась,— ему стало легче и веселей. И он уж

шел домой не то что на работу. Иринья, увидав его, удивилась.

— Никак ты вина натрескался?

— Ой, пить будем и гулять будем, когда смерть придет, умирать будет! — пропел Влас, щелкая пальцами, и весело засмеялся.

— Этого еще недоставало,— угрюмо пробурчала Иринья.

— А что ж такое, нам не пить, а кому же пить-то? — бормотал все более и более раскисавший Влас.— Живем хорошо, а ожидаем лучше.

Он опустился на лавку, подозвал к себе Дуньку, поднял ее на руки и начал ее целовать.

— Дочка моя милая, эх ты, моя черноглазая!

Он пообещал Мишке в первый рынок купить складной ножичек. Пошутил с Сидорой. Сидора, видевшая его первый раз пьяным, громко смеялась:

— Батюшка, какой ты чудной-то, вот чудной-то!..

Влас тоже смеялся на ее смех; но когда он после обеда улегся в полог отдыхать, Иринья услыхала, что он всхлипывает. У нее на сердце стало еще тяжелее.

XI

Покос был в самом разгаре. Погода стояла хорошая, и уборка шла без остановки. Работали все еще весело. Иринья продолжала глядеть на мужа с работницей с беспокойством. Она следила за каждым их шагом. Откуда бы они ни приходили, она сейчас окидывала их испытующим взглядом. Часто она ночью спохватывалась и, думая, что Власа нет, торопливо шарила руками вокруг себя, и чем дальше, тем она враждебнее глядела на обоих. Влас видел, что и Сидора догадывалась, в чем ее подозревают, но ее, кажется, нисколько это не угнетало, а скорее приводило в веселое настроение. Она с улыбкой поглядывала на ревнивые взгляды хозяйки и, кажется, готова была ее подразнить.

Однажды, придя с луга, Сидора проговорила:

— А сегодня на лугу что смеху-то было.

— На что? — спросил Влас.

— Иван Петрович свою жену раздразнил.

— Чем же? — улыбаясь загодя, уверенный, что услышит что-нибудь веселое, повторил вопрос Влас.

— Огребали они вместе; после огребки стала она его домой звать, а он не пошел. «Я, говорит, около девок посижу». Она и забрюзжалась: «Тебе только с девками, а на жену-то глядеть не хошь?» Он ее дразнить, а она в слезы.

Сидора весело захохотала. Ее смех поддержал Влас. Иринье это было не по душе, и она угрюмо пробурчала:

— Ишь как вам любо это!

— А то что же теперь, плакать над ней, когда она такую дурь оказывает.

— Да еще на людях,— поддакнул работнице Влас.

— И муж-то тоже умен — от жены да к девкам.

— Ведь оп шутя!

— Нашел тоже чем пошутить.

— Чем-нибудь себя развеселить, а то от нее-то, видно, ни песен, ни басен, ни добрых слов.

— Что же она, нешь не человек?

— Человек, да не настоящий.

— Ваше теперь счастье, что вы хороши, не всем таким быть, надо кому-нибудь и похуже.

Иринья сказала это с таким раздражением, что у ней покраснело лицо и засверкали глаза.

Сидора перестала смеяться и насупилась.

— Мы про себя не говорим.

— Ну и другим нечего бока промывать, а то ишь хороши очень — никто, по-вашему, и жить-то не потрафит.

— Баба, не горячись! — шутливым тоном окрикнул жену Влас.

— Что же мне молчать-то, я не в чужом доме, кого мне бояться-то?

— Стыда бойся, дура! — уже серьезно сказал Влас.— Что из пустяков себя-то надрывать.

— Другие ничего не боятся — ни совести, ни стыда, а мне была нужда опасаться!

— Кто это не боится ни совести, ни стыда? — принимая намек на свой счет и в свою очередь ощетиниваясь, проговорила Сидора.

— Да хоть бы ты!

— Что же это я такое без совести делаю?

— Сама знаешь!..

— Я ничего не знаю, ты скажи.

— Нечего мне тебе сказывать-то, не маленькая!

— Нет, говори! — уже свирепо крикнула Сидора и на-

ступила на Иринью.— Что это мне слова становится нельзя сказать, все пересмешки да пересуды. Чем я тебе не услужила? Не по нраву, рассчитывай, а так измываться нечего.

— Работаешь-то ты хорошо, да делаешь нехорошо.

— Что такое, докажи! Я за собой худа не знаю, а ты знаешь!

— Нет, и ты знаешь!

— Нет, не знаю!

— Нет, знаешь, шкура ты этакая!— невзвидев света, взвизгнула Иринья, и в голосе ее послышались отчаяние и слезы.— Ты меня с мужем разлучила, разлу-у-чница!..

Сидора, как кошка на мышь, бросилась на Иринью, схватила ее за волосы, хлопнула об пол и насела на нее. Влас кинулся на Сидору, обхватил ее обеими руками под мышки и стал оттаскивать от жены. Он запыхался и, не помня себя, кричал:

— Что вы, что вы, дьяволы! Да как вы смеете? Я вас водой оболью!

— Хоть кипятком ошпаривай! — пересевшим голосом и отходя в сторону, тяжело дыша, проговорила Сидора.— Я позорить себя незнамо кому не дам. Какая шкура, какая разлучница? Что я, какая-нибудь? Я, слава богу, в девках жила честно, благородно до двадцати четырех годов, замужем — никто ничего не скажет, а ты меня позорить?

— Негодница ты, негодница!..— выла Иринья, сидя на полу, растрепанная, с оцарапанным виском.— Со двора тебя грязной метлой прогнать.

— Нет, не пойду, а коли пойду, то за весь срок деньги вытребую, а за бесчестье на суд на тебя подам. Я те покажу, как честных баб срамить.

Сидора так разошлась, что Иринья, несмотря на полученную ею обиду, чувствовала, что ее подозрение на нее напрасно. От этого ей стало еще горше, и она, не поднимаясь с пола, продолжала плакать.

Влас с сокрушением посмотрел на Сидору и Иринью и, злобно плюнув, вышел из избы.

Вернулся домой Влас только вечером; он был пьянее, чем в первое утро покоса, но не был так шутлив. Войдя в избу, он уставился на Иринью свирепым взглядом и проговорил:

Жена, погляди на своего мужа да простися — был он к тебе хорош, да весь вышел.

Иринья сидела в это время в углу и что-то зашивала; она молча взглянула на него и, вставши с места, повернулась в угол.

— Зарезала ты меня, совсем с пахвей сбила. Понимаешь ты это дело или нет?

В избу вошла Сидора; она была необыкновенно угрюма. При виде работницы пьяный Влас расцвел в улыбку и проговорил:

— Сидора, милая ты моя, дай я тебя поцелую!

— Милая, да не твоя,— грубо проговорила Сидора и стала собирать на стол.

— Дай я тебя, говорю, поцелую!

— У тебя эна хозяйка есть, целуйся с ней, сколько душа желает.

— А если я тебя желаю?

— Мало что ты-то желаешь, да я-то не хочу.

Влас принужденно засмеялся и проговорил:

— Ой ли!.. Ну и наплевать; мы коли с хозяйкой поцелуемся.

Он подошел к Иринье и хотел ее обнять. Та отвернулась и вышла из избы.

XII

Целую неделю Мигушкины не глядели друг другу в глаза, хотя от утра до вечера были вместе, работая на покосе и убирая высушенное сено. Травы в этом году уродилось так много, что они за день еле успевали управляться с ней. Все страшно уставали: ели наскоро, спали по четыре часа в сутки. Один шутник сказал как-то на лугу:

— Я думаю, теперь ни один плясун хорошо не спляшет.

Был уж конец июля. Жары, стоявшие все время, стали перемежаться; по небу забродили облачка; роса несколько дней не выпадала — ожидали дождя. Дождя все желали, потому что все замерло от жары и жаждало влаги. Хорошие травы были выкошены и добивали уже так кое-что. В один день раскинули полосы для косьбы, разделенные для подъемки. Подыматься они должны были на будущий год, а в этом году положили расчистить росшие на них кусты и пользоваться каждому травой. Влас с Сидорой скосили полосу утром, а после чая пошли ее огребать. Еще когда они выходили из дома, облака в одном углу неба собирались в

огромную тучу, когда же они пришли на полосу, до них донеслись глухие раскаты далекого грома. Влас и Сидора только что было принялись сваливать траву в валы, как зловещий гул заставил их поднять глаза кверху. Над ними быстро неслась к востоку сплошная туча; она закрывала половину неба и подбиралась к солнцу; хвост тучи был белый, и он соприкасался с землею уже заметным издали дождем. Вскоре крупные капли дождя начали падать и на них.

— Намочит! — сказал Влас и обернулся кругом; неподалеку от них на чьей-то полосе стоял еще невырубленный куст. Влас решил под ним пока спрятаться от дождя.— Пойдем,— сказал он Сидоре и бегом побежал к кусту.

Сидора не отставала от него. Влас оглянулся на нее, и сердце его сильно забилось. Подойдя к кусту, он нагнулся и полез в его чащу. Сидора последовала за ним. Сучья молодых елок в одном месте сходились шатром, но шатер был очень небольшой; Влас расположился под ним. Сидора осталась с краю. Но только они разместились, как пошел дождик, очень крупный и очень теплый. Сидору стало доставать дождем; она невольно подалась вглубь и придвинулась к Власу.

Сердце Власа продолжало стучать без умолку; голова его горела; в горле першило; в руках и ногах чувствовалась дрожь. Мысли путались в его голове, и если бы он задумал что сказать, то едва ли бы его язык легко ему повиновался.

Вся сила чувства, которую он испытывал к Сидоре, поднялась из глубины его сердца и охватила его всего. Он видел, что подошел случай решить все, и страшно хотел им воспользоваться и боялся его упустить.

«Если на этот раз пропущу, ну, тогда и ждать нечего»,— подумал он и почувствовал, как его обуял какой-то страх. В мыслях решимость была полная, но язык его не слушался.

Вдруг он набрался смелости и сказал сам себе:

«Ну, видно, двух смертей не бывать, а одной не миновать»,— и, откашлянувшись и постаравшись овладеть голосом, проговорил:

— Подвигайся сюда, а то прольет!..

— И то,— сказала Сидора и чуть не ползком стала подвигаться к Власу.

— Вот сюда, совсем ко мне,— сказал Влас и дрожащими руками взял ее за локти и подтащил к себе.

Сидора молча высвободилась из его рук и, поднявши голову, села неподалеку от него, поджимаясь, как курица, и стараясь, чтобы на нее не попала ни одна капелька.

Влас уже окончательно не мог владеть собой при такой близости ее. Он протянул к ней руки, постарался обвить их вокруг ее шеи и прерывающимся голосом проговорил:

— Сидора!..

— Ну? — сказала Сидора, взглянула к нему в глаза и взялась своими руками за его руки.

— Моя баба грешит на нас... напрасно. Так пусть уж это будет не напрасно.

Сидора нахмурила брови, быстро оторвала его руки от себя и проговорила:

— Что это ты выдумал?

— Не сейчас я это выдумал, давно хотел сказать тебе, да все случая не выходило.

— Лучше бы его и не выходило.

— Отчего?

— А оттого... пустые это речи.

— Сидора! — умоляюще воскликнул Влас.— Пожалей ты меня!..

— Жаль тебя, да не как себя.

— Что ж тут тебе-то, господи!

— Ну, уж это мое дело...

— Сидора!..

— Перестань, не трепли зря языком... все равно ничего не выйдет

— Сидорушка! — чуть не со стоном крикнул Влас и опять хотел обнять ее и притянуть к себе. Сидора увернулась от него и отстранила его руки. Глаза ее засверкали.

— Лучше не приставай! Как тебе не совестно: ты человек женатый, у тебя дети, а что ты задумываешь? Ишь ты, осатанел...

— Сидора, я на что хошь для тебя пойду!

— На кой ты мне! Очень ты мне приболел! — с дикой злобой воскликнула Сидора.— Ах вы, паскудники! Все вы, мужики-то, такие. Летось один проходу не давал, нонче другой... Вы для того работниц-то нанимаете, женам на смену?

Власа охватило отчаяние. Он никак этого не ожидал. Да неужели это правда? Он не верил себе.

— Нет, ты послушай! — задыхающимся голосом шептал Влас.

— Нечего мне слушать... Отстань, сиди смирно да молчи, а то я тебя вот на дождь выпихну.

— Так пихай! — крикнул, не помня себя уж, Влас.— А не уйдешь ты от меня!— И он набросился на Сидору, обвил ее стан обеими руками и стиснул его изо всей силы. Он очутился к ней лицом к лицу в такой близости, в какой никогда не бывал. Он уже намеревался впиться в ее губы своими губами, как вдруг заметил, что вся она побагровела, глаза ее загорелись безумным огнем, и вслед за этим он почувствовал, как горло его сдавили жесткие, сильные пальцы. В его глазах забегали круги, к вискам прилила кровь, и он чуть не потерял сознание. Руки его сами собою распустились; он выпустил стан Сидоры из своих рук и грохнулся ничком на игольник. Горло его в это время освободилось, но его самого свернули в комок и сильно толкнули из-под куста; сейчас же он почувствовал под собою не игольник, а траву, и сверху на него посыпался дождик; он открыл глаза и увидал, что он уже не под кустом. Он вскочил на ноги, горя безумным желанием продолжать борьбу и во что бы то ни стало быть победителем; с таким намерением он бросился опять в глубь чащаря. Но он не рассчитал, как ему пригнуться, и ткнулся лицом в еловый сук, уколовший его и обдавший его дождем. Влас схватился за лицо, провел по нему рукой и почувствовал, что охватившее его безумие исчезает и он уже входит в полное сознание. Но он все-таки полез под куст, сел неподалеку от Сидоры и с печальным укором проговорил:

— Что же это ты со мной делаешь?

— А ты со мной что делаешь! — звенящим голосом, в котором слышались слезы, проговорила Сидора.— Что ты ко мне пристаешь, аль я от тебя добиваюсь чего? Господи боже, зачем ты меня зародил такую несчастную!

И она закрыла лицо руками и всхлипнула.

Влас сидел совершенно отрезвевший и застыл в своем положении. Он представил себе, что здесь случилось, и вдруг жгучий стыд, какого он никогда не испытывал, охватил его; он не мог уже находиться вблизи Сидоры: выскочив из-под куста, он бросился ничком на траву и лежал так долго, совсем не замечая, что над ним гремит гроза и льет дождик. И когда его всего промочило до нитки и его охватила дрожь, он поднялся с места и, поднявши на плечо грабли, зашагал ко дворам.

XIII

После этого Влас проснулся среди ночи, и вдруг в его памяти с поразительной ясностью встало то, что случилось с ним в прошедший день. По его спине пробежал мороз, и он с ужасом подумал: «Господи, неужели это не во сне?» Случившееся было не во сне. В сердце Власа поднялась глухая, ноющая боль. Он лег ничком, стиснув зубами подушку, и долго лежал так, пока сон не охватил его.

На другой день косить не пошли, и Влас провалялся в пологу все утро. Ему не спалось, но и не хотелось вставать. Ну как он взглянет в глаза Сидоре, жене, как будет отвечать на невинный детский лепет,— он, этакий дурак, остолоп, орясина! Он, свалявший такого дурака накануне. Эх, да можно ли ему теперь на свет глядеть, да стоит ли?

Однако, как ни скверно было его положение, Влас нашел ему выход: он опять решил напиться. Прямо из полога он через заднюю калитку ушел со двора и пришел домой только к обеду — пьяный, как грязь.

Через три дня кончили покос, и, чтобы обмыть косы, хохловцы опять взяли ведро вина, и Влас опять выпил всю свою долю и опять сделался пьян. Иринья плакала, глядя на то, что делается с мужем, и говорила, что им не миновать теперь пропадать. Не радовалась и Сидора: она ходила угрюмою и заметно стала худеть. Работала она попрежнему, но от нее уж не слыхали ни шуток, ни песен; порой она по целому дню не выпускала и простого слова. Время пошло побыстрее. Солнце попозже всходило и раньше садилось. Ночи стали длиннее. Работа из лугов перешла на поле. В этих работах больше приходилось участвовать всей семье, и Влас был этим очень доволен. Он боялся оставаться с Сидорой с глазу на глаз и избегал этого. При воспоминании о том, что между ними произошло, он чуть не вскрикивал, и какое бы то дело ни было у него, оно валилось из рук. Он совсем изменился, стал угрюмый, осунувшийся, подурневший. Работал он машинально; говорил только по делу и при каждом случае напивался. Напивался он так часто, что уж Иринья перестала этому удивляться; она только все чаще и глубже вздыхала и делалась темней и в лице и во взгляде.

XIV

В начале сентября ко двору Мигушкиных подъехала подвода. На телеге сидела девка, небольшая, худощавая, белокурая, с редкими веснушками по лицу. Мигушкины в это время обедали. Сидора, заметив подводу, вдруг преобразилась; ни слова не говоря, вдруг поспешно вылезла из-за стола и выскочила из избы.

Влас и Иринья переглянулись в недоумении; потом Иринья выглянула сквозь окно на улицу.

— Целуются,— знать, родная ей! — говорила она, видя, что делается на улице, и вдруг воскликнула: — Батюшки, да это ее золовка, а я не узнала сразу!

Сидора и ее золовка вошли в избу. Девка помолилась и поздоровалась. Мигушкины ответили ей на приветствие. Сидора, необычайно возбужденная, сказала:

— Ну, хозяева! Вот вам вместо меня сменка, а я от вас уволюсь.

— Надолго ль? — спросила Иринья.

— Да уж, может, до отставу: муж в побывку пришел.

Она казалась такою цветущею и радостною, какою ее давно не видали. Иринья глядела на нее и изумлялась совершившейся в ней перемене. Ей чувствовалось, как дорог бабе муж, и опять ее подозрения колебались. Неужели она, коли так мужа любит, баловаться будет, а впрочем, чужая душа — потемки. Она взглянула на Власа. Тот сидел опустившийся, и во взгляде его сквозила тяжелая грусть; эта грусть, видно, камнем давила ему грудь. Он вдруг тяжело вздохнул и отвернулся в сторону. В сердце Ириньи опять заточил обычный червяк, и она с злорадством подумала: «Вздыхай не вздыхай, а теперь уж не твоя».

— Ничего, хозяева, что я вместо себя другого человека-то поставлю? — спросила Сидора.

— Ничего, ничего! — весело проговорила Иринья.

Сидора не стала и дообедывать, а быстро собрала свое добро, оделась и уехала.

Золовку Сидоры звали Александра. Она только еще выравнивалась в девку. У ней не было ни такой силы, ни сноровки, как у Сидоры, но Иринья глядела на это сквозь пальцы; она была с нею ласкова, как с гостьей, всегда говорила с ней, рассказывала, расспрашивала: она точно ожила. Но Влас с каждым днем все ниже опускал голо-

ву. Ему безотвязно лезли в голову мысли о Сидоре, об его чувствах к ней, о схватке ее с женой, о своей неудаче. Он представлял ее с мужем, их взаимную любовь и чувствовал себя, что он самый несчастный человек на свете. Ему тогда делалось непонятным, зачем он живет, хозяйствует, растит детей: для чего все это? И такие мысли преследовали его чем дальше, тем больше. Заглушал он их только тогда, когда напивался.

Напиваться он стал все чаще и чаще. Пьяный он не буянил, но держался так, что все его стали бояться: и Иринья и ребятишки. Но всех больше его боялась Александра. Она признавалась Иринье, что она еще не видала таких нелюдимых мужиков. Иринья вздыхала и соглашалась с ней. Она сама до этих пор его не знала.

XV

В осенний сергиев день в уездном городе была ярмарка. Влас повез туда продавать воз льняного семя, уродившегося в этом году хорошо, и предполагал там купить кое-что для ребятишек. Воз он направил с вечера, и едва перевалило за полночь, он встал и стал справляться в путь. Ночь была ясная, звездная; взошел месяц, и хотя его осталось не больше половины, но от звезд и месяца было довольно светло. Дорога, по случаю стоявшей сухой погоды, была гладкая; лошадь тянула воз свободно. Влас забрался на мешки, перекинул ногу через грядку и сидел так, покачиваясь от толчков телеги.

Он, как и всегда последнее время, думал о Сидоре и с душевной болью старался разгадать, что же это его притягивает так к ней. Он хорошо сознавал и сначала, а теперь тем больше, что ему ею не обладать. У ней есть муж; притом же она к нему совсем равнодушна. Она, должно быть, любит своего мужа, и «баловать» она не пойдет; самое умное, ему выкинуть ее из головы. Но он этого не может. Он разбился мыслями во всем: его оттолкнуло от жены и от детей. Уж не колдовство ли это? Но Влас сейчас же прогнал эту мысль: разве он колдовал? А без этого какой оно могло иметь смысл? Другое дело, если бы баба хотела его приколдовать. Влас терял голову и чувствовал, как у него заходит ум за разум.

— Если бы нашелся такой человек, отворожил бы меня от нее, ничего бы, кажись, не пожалел,— вслух подумал Влас,— ей-богу!

И он опять стал убеждать себя, как это не идет ему заниматься любовью. Вот он запил, за одно лето оказал в себе такую прыть, какой никто в нем не ожидал. А в какое гадкое положение он ввел жену и себя. При воспоминании об этом наедине у Власа захватило дух и краска залила лицо. Что это? К чему это?

Но вместе с тем образ Сидоры продолжал стоять в его воображении и все, как всегда, в притягательном виде. Власу стало от этого больно до слез, и он горько вздохнул.

Когда он стал подъезжать к городу, уж рассветало. Ярмарочный гул, как шум высокого леса или журчанье далекой реки, стоял над городом, несмотря на ранний час, и тем самым втягивал всякого, попавшего в этот водоворот в деловое настроение. Влас тоже оставил свои мысли и думал о другом. Он задумался о том, где ему лучше встать на базаре, почем просить за семя, как продавать его. И чем ближе он подъезжал к городу, тем больше делался обоз въезжавших в него и тем отчетливее становился ярмарочный шум. Теперь уже доносились отдельные голоса, мычали продаваемые коровы, блеяли овцы, люди галдели во все горло. Несмотря на раннее утро, купля-продажа шла вовсю.

Власа встретили на дороге и не дали ему стать на место, как начали покупать товар. Влас, не любивший никогда калякать, продал семя с двух слов, и его повели ссыпать семя.

Ссыпав семя и получив деньги, Влас уставил лошадь, задал ей корму и вышел за ворота. Только он очутился на улице, как в ближайшей церкви ударили в колокол. Влас снял шапку и перекрестился. Колокол, потрясая воздух, прогудел еще и еще, и вдруг полились звучные и мерные удары; у Власа что-то дрогнуло внутри. Он проникся умилительным настроением, и вдруг потянуло в церковь: «Пойду я помолюсь святому угоднику, не поможет ли он избавиться мне от моего попущения. Больше ничего делать не остается,— надо как-нибудь бороться». И он пошел в церковь. Церковь была не то что в Хохлове: иконостас ее горел резьбой и позолотой. Везде были зажжены сотни свечей; толпа народу валила во входную дверь и разбредалась

по разным углам вместительного храма. На клиросе дьячок читал часы.

Влас взял две свечки; сам поставил их на канун к спасителю и, ставши в уголок, истово стал молиться.

Он выстоял всю обедню, подошел ко кресту и вышел из церкви с серьезным, несколько вытянувшимся лицом и умиленным взглядом. Он прошел на постоялый двор, поправил у лошади корм, осмотрел ее и направился к трактиру пить чай.

XVI

Трактиры все были переполнены, и Влас едва выждал себе место за небольшим столиком. Люди пили водку, но Влас решил ничего не пить, кроме чаю, закусить, а потом напоить лошадь, закупить что надо и отправляться домой.

После стояния в церкви он чувствовал внутри себя мир и тишину, давно ему незнакомые, и наслаждался этим. Давно он не испытывал такого состояния, и оно ему было страшно приятно, он упивался им. Он сидел, не обращая никакого внимания на других, и спокойно пил чашку за чашкой. Допив последнюю чашку, он отправил в рот оставшийся кусок калача и поднял глаза от стола, чтобы подозвать к себе полового. Глаза его уперлись во входную дверь, и в этой двери в это самое время мелькнуло что-то знакомое, близкое, причем только было успокоившееся сердце его опять затрепетало. Он вгляделся и увидал, что в трактир входит Сидора. Власа точно ударило обухом; голова его закружилась, в глазах замелькали огни. Он, однако, не мог отвести их от входившей и впился в нее, не отрываясь.

Сидора была разодета по-праздничному. На ней была суконная жакетка; легкая шаль лежала вокруг шеи; голова была покрыта шелковым платком. Она вся сияла радостью и довольством. Вслед за ней показался долговязый, сутуловатый солдат, державшийся одной рукой за небольшие белокурые усы, как бы боясь, чтобы они не отвалились. Влас стал вглядываться в солдата, и тот ему не понравился. Он никак не ожидал, чтобы у Сидоры был такой муж. У него был четырехугольный лоб, мутные светло-серые глаза,

сидевшие очень близко друг к другу. Красные веки его были воспалены, и на лбу его совсем не было заметно бровей. Нос был невелик, но он очень вытянулся книзу. Все лицо его имело грязноватый цвет и было покрыто редкими рябинами. Угловатый подбородок он брил. Застегнувши серую шинель на все пуговицы, он щеголял военной выправкой, хотя она к нему не очень шла. Свободных мест в трактире не было, и Сидора с мужем зорко выглядывали себе порожний стол. Влас не утерпел, чтобы не выслужиться перед работницей, и крикнул:

— Эй, земляки! Места, что ль, не найдете,— идите, я вам свое уступлю!

Сидора, увидевши Власа, всплеснула руками, сделала смеющееся лицо и проговорила:

— Батюшки, кого я вижу-то? Иван,— обратилась она к солдату,— погляди, это мой хозяин!

Сидора и Иван протискались к Власу и стали здороваться.

Влас ответил на их приветствие и пытливо взглянул на солдата, желая угадать,— сказала ему Сидора про их кутерьму или нет.

Солдат стоял перед ним вытянувшись, и Власу показалось, что и в позе его и во взгляде нет того высокомерия и сознания собственного превосходства, которые непременно должны бы быть, если бы Сидора посвятила его в свою тайну. А стало быть, она ему ничего не говорила. Власу сделалось веселей, и он проговорил:

— Подсаживайтесь,— лучше этого не найдете!

— Могим; здесь, так здесь,— сказал солдат, и Влас стал подниматься.

— А ты куда ж? — опять смеясь, спросила его Сидора.

— На базар; я уж кончил.

— С нами компанию разделите! — предложил ему солдат, занося ногу через скамейку.— Чай на чай ничего, это палка на палку — плохо.

— Знамо дело, а то мы его и отпустим,— проговорила Сидора.

Влас немного помялся, взглянул на Сидору и проговорил:

— Можно, отчего же!..

— Ну, вот так-то,— все смеясь, сказала Сидора,— а то работали все лето вместе, а погулять ни разу не пришлось.

— Давай погуляем,— заражаясь ее весельем и чувствуя, что только что нашедшее на него состояние опять исчезло, сказал Влас и велел подать им чаю.

— А холодное что кушаете? — спросил Иван.

— Есть грех,— на мгновение запнувшись, сказал Влас.

— Так давай прежде холодненького!

Солдат в свою очередь постучал и приказал подать бутылку водки.

— С кого начинать? — спросил солдат, когда водку подали.

— А вот с нее,— нежно глядя на Сидору, сказал Влас,— как, значит, она, так и мы.

— Ну, смотри! — сказала Сидора и выпила весь стакан.

Когда выпили эту бутылку, другую спросил Влас. Опорожнивши эту, Влас спросил третью. Пили все поровну, и все захмелели. Все говорили, стараясь что-то сообщить друг другу, но понимать сообщаемое никто не был способен; поэтому все слова шли в воздух. Солдат то и дело повторял:

— Это я в полку солдат, а тут я енерал-фильдмаршал,— и, хватая пробегавшего полового, он останавливал его и велел вытягиваться перед собой во фрунт.

— Кавалер, кавалер, одно слово! — лепетал заплетающимся языком Влас.— Ты кавалер, а жена твоя кавалерша. То ись такая она работница, одно слово золото, а не человек! Так, что ли, Сидора?

— Ничего я не знаю,— говорила Сидора, вздыхая и раскрасневшись, с умилением глядя на своего Ивана.

— Что ты на него глядишь? Ты на меня гляди! — беря ее за руку, кричал Влас.— Я тебя хвалю и всегда хвалить буду.

— А ты говори: рада стараться!.. Дура,— поучал жену Иван.

— Она и старается: если бы она была моя хозяйка, а не работница, я бы в три раза лучше жил... Вот ей-богу!..

— Так ты прибавь ей... прибавь ей на платье, коль доволен.

— Прибавить, отчего ж? Сколько хочешь; мне все равно, хоть пять, хоть десять рублей. Вот оне, деньги-то!..

Влас вынул кошелек и достал из него две монеты.

— Вот оно, золото-то! Хошь, подарю?.. А? Хошь?

Сидора молчала. Прислонившись к мужу, она забыла все на свете.

— Хошь, озолочу, спрашиваю? — бормотал Влас и опустил золотые на дно винного стакана; налил его водкой и поставил перед Сидорой.

— Пей и пользуйся, слышь!

Сидора отрицательно замотала головой.

— Пей, дура! — сказал ей Иван.— Хошь я помогу.— Он взял стакан, отпил из него половину и поставил остатки перед женой.

— Остатки-то сладки, попробуй!

Сидора выпила водку, опрокинула стакан, взяла в руку золотые и проговорила:

— Куда же мне их?

— Давай я спрячу,— сказал Иван,— а там отдам.

Он достал из кармана кошелек, положил туда деньги и проговорил, обращаясь к жене:

— Ну, теперь благодари!

— Покорничи благодарим,— проговорила Сидора и протянула Власу руку.

— Не так, в губы, дура! — поучал муж жену.

Сидора поцеловала Власа в губы. Влас, оторвавшись от Сидоры, изо всей силы застучал чайником и необыкновенным голосом крикнул:

— Эй, еще водки, закуски подавай!..

XVII

Александра на два праздника отпросилась домой, и Иринья была одна с ребятами. День прошел; наступил вечер, Власа из города все не было. Иринья то и дело выходила из избы, поглядывала, не едет ли муж. Влас не ехал. Все соседи уж приехали; Иринья пошла спрашивать про него у одного мужика.

— Не видал ли ты моего в городе-то? — спросила Иринья.

— Видал.

— Продал он семя-то?

— Давно продал.

— Что же он там шьется-то?

— В канпанию попал, ну и загулял. Ты бы поглядела, какая канпания-то: работница ваша прежняя, муж ее - ку-

тят разлюли малина; весь стол бутылками уставлен, колбаса на закуску, сухари.

— Что же он, пьяный?

— Лыка не вяжет.

Иринью точно полоснуло ножом. «Дорвался! Теперь пойдет писать. Господи батюшка, да что же это такое, ее с мужем угощает, где у него совесть-то делась?»

Иринья почувствовала, как около глаз закололо и в них пошли круги.

— Пес он страмной!..— пролепетала она и, залившись слезами, пошла ко двору.

Дома она обхватила в охапку ребятишек и стала плакать в голос. Она плакала с причитаниями, и из этих причитаний можно было разобрать, на что она жаловалась перед судьбой. Она вспомнила прежнее безмятежное время и сожалела о нем. Она думала, что оно никогда теперь не воротится, а прошло оно бесследно и безвозвратно. Нашел на нее Касьян-высокос, поглядел на их дом и унес счастье и покой, точно вихрь злой. Погиб ее муж, добрый и ласковый, радетель для жены и детей; пропал их поилец-кормилец на вечный век. Придется ей теперь горе мыкать да кукушкой куковать.

Ребятишки тоже плакали. Дунька ревела во весь голос, а Мишутка пробовал уговаривать мать. Иринья охрипла от плача; голос ее пересел; глаза опухли,— тогда только перестала она.

Был уже вечер. Иринья приготовила на ночь воды, принесла дров и опять пошла на выгон поглядеть, не возвращается ли муж. Она долго стояла за околицей, прислушиваясь, и понемногу ее слух стал различать, что где-то гремела телега. Давно уж смерклось; разглядеть, где едут, было нельзя. Иринья решила ждать. Если едет не Влас, то она и у этого спросит про него. Подвода приближалась. Лошадь бежала полной рысью и уж была недалеко от села. Вот понемногу вырисовалась дуга, потом голова лошади; лошадь была их. Сердце у Ириньи забилось; она ближе подошла к дороге и внимательнее стала вглядываться в темноту. Седока было не видать. Иринья перегородила лошади дорогу, остановила ее и заглянула в телегу.

В телеге на мешках лежал Влас, свернувшись в комок. Он крепко спал, и от него несло перегорелой водкой. Иринья взяла вожжи, села на грядку телеги и тронула коня.

Подъехавши ко двору, Иринья соскочила с телеги и стала выпрягать лошадь. Убравши лошадь, она растолкала Власа и стала стягивать его с телеги.

— Сидора, Сидора...— бормотал Влас.

— Сидора! Арапником хорошим тебе Сидору-то задать, вот ты будешь знать! Ах ты, беспутная твоя голова!

Она дернула его с телеги. Влас торчком ткнулся в землю, тотчас поднялся на четвереньки и хотел было встать на ноги. Иринья подхватила его под руки и потащила домой.

В избе Влас тотчас же растянулся на полу, повернулся навзничь и громко захрапел, задрав нос кверху. Ребятишки в темноте забрались в угол и со страхом прислушивались к храпу: они никогда не видали отца в таком состоянии.

— Миска! Тятя помилает?..— спрашивала Мишутку Дунька.

— Не... пьяный! — отвечал Мишутка.

— Отчего?

— От вина, знамо, натрескался!

— Тятя холосый, засем лугаешься?

— Ну, поди, поцелуй его.

— Я боюсь.

— А говоришь — хороший.

Иринья между тем выбрала все в телеге, и там, кроме пустых мешков да веретья, ничего не было. Они сговаривались, чтобы Власу купить ребятишкам: материи на крышу шубы Мишке, чулки Дуньке и еще кое-что, но там ничего не было и следа. «Загулял и забыл»,— подумала Иринья и, убравши все в сенях, вошла в избу.

В избе Иринья зажгла огонь и стала раздевать Власа. Влас ругался и отмахивался, но Иринья все-таки стянула с него поддевку и разыскала кошелек; ей хотелось узнать, сколько он прожил денег. Но в кошельке денег почти ничего не было. Иринья не поверила глазам: денег у него должно быть много, неужели он все прогулял? Она выворотила кошелек, обыскала все карманы, но ничего не нашла. Она опять опустилась на лавку и долго сидела, не сдвинувшись с места. Ей опять хотелось плакать, но слез уже не было. Ей в ту ночь не было и сна: она чувствовала, что прежнее счастье разбито окончательно, жизнь вступает в другое русло, и как она потечет по этому руслу,— бог весть.

Утром она встала как разбитая, и даже не знала, что ей теперь делать.

XVIII

Влас проснулся позже ее. Он прошел на лавку и долго сидел на ней как ошалелый; потом он протер глаза и стал шарить у себя в кармане. Не найдя ничего в одном, он отыскал поддевку и полез в нее, но и там ничего не было. Охрипшим голосом он спросил у Ириньи:

— Где кошелек?

— На что тебе? — с невыразимою ненавистью глядя на мужа, спросила Иринья.

— Где кошелек? — не отвечая на вопрос жены и возвышая голос, спросил Влас.

— Да на что тебе кошелек-то, в нем ничего нет!

— Врешь!

— Что мне врать-то, на, погляди!..— И она, взявши кошелек с полки, кинула его мужу.

— Врешь! Ты обобрала деньги!

Иринья вышла из себя и закричала:

— Ах ты, забулдыга этакий! Прогулял все с своей сударушкой да на меня сваливает. Ах ты, непутевый!..

— С какой такой сударушкой? — зыкнул Влас, и глаза его свирепо сверкнули.— Ты опять свое.

— Где же ты их дел-то? Где ж ты напился-то, как стелька? Ну, скажи...

— Где бы ни на есть, да не смей ты меня порочить! Я тебе все ребра переломаю.

Влас был неузнаваем: он совсем озверел; глаза его точно хотели выскочить; руки дрожали; голова тряслась; в таком состоянии от него всего можно было ожидать.

— Подавай деньги!..— гаркнул Влас.

От его крика проснулся спавший на полатях Мишка и вскочил оттуда горошком. Влас стал наступать на жену. Иринья оробела и выглядывала место, где бы ей поудобней ускользнуть от него. Она бросилась было около печки, но Влас сметил это, шагнул туда и загородил ей дорогу. Иринья взвыла. Влас схватил ее за плечи и повалил на пол; потом он сел на нее верхом и прорычал:

— Нет, не уйдешь, врешь...

Иринья было рванулась и вскрикнула. Мишка заблажил во все горло и бросился вон из избы. Тотчас же послышался его голос: «Тятя мамку бьет» — и разнесся по улице.

Влас, не помня себя, повторял:

— Нет, врешь! Ты скажи мне, где деньги, да кто у меня сударушка?..

Иринья снова заблажила благим матом. Власа от этого крика точно чем хлестнуло по вискам. Он зажал ей рот рукой, а другой рукой, размахнувшись, ударил в ухо. Иринья, как змея, извернулась на месте и освободила из-под руки мужа рот. Она заметалась туда и сюда, и вдруг ей под руку попалось что-то железное. Иринья машинально сообразила, что это косарь, и он в одну минуту был у нее в руках:

— Пусти!..— провизжала Иринья.

Влас не слышал ее крика. Он схватил ее обеими руками за голову и стукнул затылком подряд три раза. Не удовольствовавшись этим, он занес было руку и хотел еще ударить ее в ухо, но в это время Влас неожиданно получил удар в грудь чем-то твердым и острым; он вздрогнул; удар повторился в плечо и в бок. В бок удар пришелся всего сильнее. Власа это точно обожгло: он схватился рукой за бок и почувствовал, что оттуда бьет что-то горячее. Он растерялся, пошатнулся. Иринья выскользнула из-под него; теперь уж он очутился внизу, и Иринья, вцепившись ему в волосы, прохрипела:

— Будешь? Будешь бесчинствовать? Сейчас убью!..

В лице Власа выражался ужас и боль. Он держался рукою за бок и лепетал:

— Иринья!..

Иринья отбросила косарь, вскочила на ноги и, задыхаясь и покачиваясь, пошла к столу. Влас очнулся на полу в сидячем положении; он все зажимал рукою бок; лицо его продолжало выражать ужас и боль, а под ним стояла лужа крови.

В сенях застучали, и в избу, вслед за Мишкой, вбежал один мужик.

— Что у вас тут такое? — спросил он, пугливо озираясь кругом. Ему не отвечали.

Мужик вдруг побледнел и вскрикнул:

— Караул! Смертоубийство!.. Караул!..

Вслед за этим он бросился вон из избы. Мишка кинулся к матери, не переставая плакать.

XIX

Стояла полная зима. Хохлово, как и тысячи русских сел, было занесено снегом. Только узенькие дорожки шли от дворов к пролегавшей по селу большой дороге, как рукава мелких рек, входивших в одну большую. Не было ни того движения, ни оживления на улице, как летом. Кроме как во время уборки скота, редко когда и показывался человек. Однажды, перед вечером, на улице Хохлова показался староста. Он был в новом полушубке, подпоясанный кушаком и в серых валенках. Борода его заиндевела; видно было, что он откуда-нибудь только что приехал. Он шел от своего двора к середине села, где стояла изба Мигушкиных. Дойдя до их двора, он свернул с дороги и направился к нему.

Пройдя крыльцо и сени, он вошел в избу. Сразу с холода он ничего не мог разглядеть, но мало-помалу глаза его пригляделись, и он стал в состоянии различать все находящиеся в избе предметы. Первым ему бросился Влас. Он сидел у стола с шубой на плечах, обросший волосами, с бледным, очень похудевшим лицом и тусклым взглядом. Около него помещался Мишка с школьным букварем, и Влас растолковывал ему непонятные школьные мудрости. Иринья, сгорбившись, с лицом без кровинки, пряла около суденки, а около нее делала из тряпок куклу Дунька.

Иринья остановила свою самопрялку и загоревшимися от любопытства глазами взглянула на вошедшего старосту. Влас тоже повернул голову навстречу ему; оба они ожидали, что тот скажет.

Староста перекрестился на иконы и проговорил:

— Здорово живете!

— Добро жаловать!

— А я вам весточку принес.

— Что такое?..

Староста полез в карман, вынул оттуда два лоскута бумаги и подал их Власу.

— На волостной вас вызывают, по вашему делу.

— А к следователю-то?

— Следователь больше не потребует, он переслал все бумаги к земскому, а земский в волость. В волости, если хотите друг на друга искать, то можете судиться.

Влас глубоко вздохнул и проговорил:

— Ну, мы не пойдем!..

— Это — ваше дело, а мое дело, вам повестку отдать, а там как хотите. А ты все-таки распишись на другой повестке; мне ее отослать надо.

Влас подошел к божнице, взял оттуда заржавевшее перо и пузырек с чернилами и написал на повестке свое имя. Староста взял ее обратно и спросил:

— Ну, как твое здоровье?

— Ничего, теперь все зажило, только вот слабость во всем... Много крови вытекло.

Староста добродушно засмеялся и поглядел на Иринью.

— Вон как она тебя угостила.

Иринья бросила прясть и взглянула на старосту грустным взглядом.

— Ах, дядюшка Степан, а мне-то что через него сколько досталось этим летом,— я того за десять годов не видала.

— А кто ж тебе велел так все к сердцу принимать, ты бы похладнокровней!..

— С сердцем-то не совладаешь!..

— Тогда зачем такую хорошую нанимала? Выбирала б, что на всех зверей похожа.

— Я ведь нешто этого думала? Он прежде-то такой смиренник был, а тут вот и растаял... И что он только в голову забрал?

— Это, видно, не в нашей власти! — сказал, глубоко вздохнувши, Влас.

— Будешь охочь до сласти, на все не будет власти,— сказал староста и опять засмеялся.

Влас немного подумал и проговорил:

— Было бы понятно, если долго с человеком проживешь, а то вот только появилась и оплела.

— «Во сне нечайно мне явился, на сердце искру заронил, блеснул, как молонья, сам скрылся, навек спокойствия решил»...— словами песни ответил староста и опять засмеялся.

— Может быть, не навек, а надолго,— сказал Влас.— И как мы с бабой друг перед дружкой себя оказали; не будь этого случая, може, вовек этого б не узнали.

— Ну, в ком что есть — рано или поздно выплывет; я это от хороших людей слышал.

— Так зачем же это, зачем? — спросил Влас.

— Може, судьба пошутить захотела. Ну-ка, скажи, что

это за молодцы на свете живут, пусть-ка они хорошенько себя обозначут.

— Все это от самих себя...— вздохнув, сказала Иринья.— Судьба тут ни при чем.

— Может быть, и от себя,— согласился староста и, вставши с места и вертя в руках шапку, готовясь ее надевать, добавил: — Так, значит, вы не поедете на суд?

— Нет, не поедем.

— Да, я еще забыл вам сказать,— спохватился староста,— ваша работница-то паспорт брала, к мужу едет.

Влас насторожился.

— Зачем же? — спросил он.

— Пишет, говорит, что он ей там место нашел; все равно, говорит, в людях-то жить, так по крайности около мужа... Веселая такая!

— Ну и скатертью дорога,— сказала, точно обрадованная этим, Иринья.

— Дай бог час,— вздохнув, добавил Влас.

— Так прощайте пока,— добавил староста,— живите-ка по-старому, а что было, то забудьте.

— Хорошо, кабы забылось! — снова вздохнувши, сказал Влас, встал из-за стола и перешел к приступке.

Староста еще раз пожелал им всего хорошего и вышел из избы. Иринья опять пустила в ход свою самопрялку, а Влас перешел к конику, взял с полатей подушку и лег на нее на лавке.

— Тятя, что ж ты мне еще покажешь? — спросил Мишка.

— Погоди, брат, успеешь: выучишься, все узнаешь, что нужно и что не нужно, не спеши!..

Он проговорил это таким тоном, по которому ясно чувствовалось, что на душе его смутно. Мишутка закрыл книжку и убежал на улицу. Иринья пожалела мужа; она перестала прясть и подошла к нему; нагнувшись над ним, она проговорила:

— Будет тебе кручиниться-то; пострадал, и довольно, пора забывать!..

Влас медленно повернулся к ней и растроганным голосом проговорил:

— Я не кручинюсь; одна моя кручина теперь, отчего я себя не сдержал... Сдержал бы я себя маленько, ничего бы этого не было.

— Ну, вперед будешь умней, може, не будешь так без умствовать. Не будешь?..

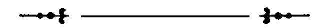
Иринья! Если бы ты заглянула внутрь ко мне... Ну, да что тут говорить-то... Не поминай ты никогда только о том, что было.

— Я то не помяну, ты-то забыл бы!..

— Забуду, все забуду! Вот тебе свят бог! — воскликнул Влас, и в голосе его послышались слезы.

У Ириньи тоже закололо около глаз, но это не от горя, как до сих пор, а от радости... Ей чувствовалось, что нахлынувшая на нее беда совсем прошла, и для нее опять начинается прежняя жизнь, тихая и безмятежная, как до прошедшей весны. И это счастье для нее было теперь дороже, чем прежде: его было с чем сравнить.

1901 г.



Отчего Парашка не выучилась грамоте

Рассказ

I

В осенний иванов день рано утром по подоконью каждой избы прошел староста и, постукивая палкою в наличники, зычно выкрикивал:

— Эй, хозяева! Ведите ребят в училище записывать, коли будете учить,— из волости приказ пришел.

Училище только открывалось в селе Ящерине, верстах в двух от Моховки. До этого школа была раз в пять дальше, и в ней изо всей деревни могли учиться только два-три человека. Теперь открывалась возможность ходить в школу всем. Деревня заволновалась. Ребятишки начали перебегать из избы в избу и спрашивать друг у друга, пойдет ли оп в училище. В деревне, имеющей около сорока дворов, набралось таких охотников душ пятнадцать. После обеда все они собрались гурьбой и пошли в Ящерино. Дорогой ребятишки шли тихо. Между ними пе было обычной шумливости. Одни робели, другие трусили, в каждом сквозила тревога и охватывало опасение: а ну-ка что-нибудь...

В училище их встретила учительница, молодая девушка, небольшая, стройная, с черной косой, с несколько смуглою кожей на лице, сквозь которую густою полосой пробивался яркий румянец. Она сразу расположила к себе пришедших записываться учеников, каждому сказала что-нибудь приветливое, была очень добра и ласкова, и ребятишки пошли в обратный путь далеко не такими, как сюда шли: все сделались веселые, бойкие. В душонках их поднялись новые чувства, расположение к незнакомому человеку, и каждому из них думалось, что он не только будет учиться, но и стараться изо всех сил.

Когда ребятишки пришли из школы и вышли на улицу, то у них только и разговору было о том, как и что у кого учительница спросила, что кому сказала.

На шумящую и болтающую ватагу ребятишек наскочила

артель девчонок. Они ходили в болото за клюквой и, услышав, как ребятишки в проулке между двух дворов о чем-то с жаром разговаривают, подбежали к ним и стали прислушиваться. Из горячих восклицаний и отдельных слов они не поняли, о чем разговаривают, и отвернулись. Только две девочки, Парашка Еремкина, белокурая, с густою косой и большими голубыми глазами, да Анютка Степанова, рыженькая, весноватая, заинтересовались рассказами ребят. Обе пожевывали еще жесткую и зеленую клюкву.

Один мальчишка подошел к ним и сказал:

— Девчонки, дайте, что едите-то!

— А ты нам скажи, про что говорите? — спросила Парашка и протянула ему горсть с клюквой.

— Эка беда! Как записывались, говорим!

— И какая, девки, учительница-то хорошая! Вот хорошая, вот хорошая, страсть!..— Мальчик даже зажмурился и крутнул головой.

У девчонок загорелись глаза, и Парашка опять спросила:

— Когда она вам велела приходить-то?

— Послезавтра!— И мальчик отправил в рот всю полученную от Парашки клюкву, немилосердно хрустя зубами.— Брр... кисло! — тряхнул он головою, покраснел и сузил глаза.

— На вот, и я дам,— протянула ему горсть Анютка.

— Не надо! — крикнул мальчик и, отвернувшись от девочек, схватил за плечо одного сидевшего на земле товарища и перепрыгнул через его голову.

Девочки задумчивые отошли от ребят. Слух, что в новой школе будет учительница, притом такая хорошая, произвел на них сильное впечатление.

Парашка, вздохнув, проговорила:

— Какие ребята счастливые!

— А что?

— Да вот учиться их отдадут. Что бы нас отдавали...

— А нам на что учиться?..

Вопрос был действительно довольно трудный, и Парашка не смогла его разрешить.

— Все-таки...— сказала она и глубоко вздохнула.

II

Мать Парашки звали Ненилой, а отца Григорием. Им обоим было за тридцать. Ненила смолоду была красивая,

высокая, складная, но, проживши одиннадцать лет замужем, она потеряла всю свою красоту. На правильном овале ее лица щеки поблекли и впали, нос выдался, подбородок сделался хрящеватым. Попортился и стан, исчезла талия, опала грудь.

Все это было от нужды, от плохого питания и беспрестанной серой и грязной работы, однообразно тянувшейся изо дня в день. Она топила печку, обшивала и обмывала мужа с девочкой, ходила за овцами, за теленком. Летом она должна была поспевать в поле, зимой, когда муж уходил на сторону, возить воду, носить корм, дрова. Ей нельзя было захворать или отойти куда-нибудь от дома хоть на день. Поэтому она в гости ездила редко, поповскую службу слушала в годовые праздники, когда попы приходили к ним в деревню с молебном.

Кроме беспрерывной работы, Ненила поневоле делила и заботы с мужем. У них было много забот. При разделе им досталось кое-что — и постройка, и скотина, и сбруя. Им хотелось все это исправить; но при тех доходах, какие давала им земля, нечем было развернуться. Первое время после раздела Григорий брал паспорт и уходил в город. Приискивал какую-нибудь работу, кормился и зарабатывал денег. Деньги были небольшие, но он покрывал ими все платежи и покупал жене с девочкой какую-нибудь обновку. Но одну зиму ему не задалось. Он жил возчиком у мучника. Его послали с возом муки в пекарню. Он свез. Но в книжке было поставлено на два мешка меньше. Хозяин велел приказчикам разузнать дело. В пекарне говорили, что он привез только восемь мешков, в лабазе божились, что отпустили десять. Хозяин положил вычесть с Григория двадцать рублей, а так как он был этим недоволен, то ему предложили обратиться к мировому судье, но при этом пригрозили, что его будут преследовать за растрату.

С этого раза на него пошли все беды. Обыкновенно Григорий по приходе домой платил подать, отдавал долги, которые жена задолжала за зиму, но в этот раз ему нечем было расплатиться, и все тягости повисли у него на шее. Старосту у них на этот год только выбрали. Это был грубый, самолюбивый мужик; у него в губернском городе жило три сына, занимавшихся разносной торговлей. Зарабатывали они много, помогали отцу хорошо. Отец кичился своим до-

стоинством и искренно презирал бедноту. В это лето на покосе староста упрекнул Григория за то, что он не заведет себе хорошей косы. Григория взорвало, и он проговорил:

— Можно тебе, дядя Илья, на сыновней шее-то ездить, а ты бы один развернулся,— вот мы бы тогда и поглядели.

— Кто, я-то?..— закричал староста.— Да я куда хошь... Неужель я по-вашему? Господи!..

И он начал выставлять свои достоинства. Он долго перечислял их, но Григорий упрямо проговорил:

— Калина говорила, что с медом хороша, а мед-то говорит, что без нее скусен.

Старосту это глубоко обидело, и он сказал сам себе: «Ну, погоди ж, я тебе припомню...»

Припомнил он тем, что когда осенью Григорий пришел к нему за отпуском для получения паспорта из волости, староста ему отпуска не дал и потребовал уплаты всех бывших на нем недоимок. Григорий пошел с жалобой к земскому. Земский поручил разобрать дело волостному старшине, а старшина, разумеется, нашел требование старосты законным.

Нужно было заплатить недоимку или сидеть дома. Платить было нечем, пришлось оставаться дома. На Григория еще больше наросло недоимок и мелких долгов, совсем связавших его по рукам и ногам.

III

Парашка бродила по избе и не находила себе места. Мать приглядывалась к ней и, замечая, что девчонке не по себе, спросила:

— Да ты что, прозябла, что ль, в болоте? Ишь, сама не своя!

— Нет,— смущаясь, ответила Парашка.

— Так что ж ты такая?

Парашка, как кошка, подбежала к матери, обвила ее шею руками и проговорила:

— Матушка, отдай меня учиться!

— Учиться? Что это тебе, дурочка, вздумалось? — удивилась Ненила.— Нешто в школу девчонки идут?

— Нет.

— Так что же это тебе взбрело в голову?

Парашка не могла выразить своего побуждения, у ней не находилось слов для этого, и она проговорила:

— Да так.

Ненила задумалась. Подумав, она проговорила:

— Не по силам это нам. В училище тоже немало нужно: и платьице почище, обувь, одежу крепкую,— а где нам это взять?

Парашка затуманилась, на глазах ее навернулись слезы, она отошла в угол и уселась там, пригорюнившись. Нениле стало ее жалко, и она проговорила:

— Вот погоди, я отцу скажу, что он думает,— може, и отдаст.

Григорий пришел совсем поздно. Это был высокий, крепкий мужик, прежде, должно быть, бодрый, но теперь опустившийся, осунувшийся, движенья его сделались неуклюжими. У него было широкое лицо, с копной волос на голове, и лохматая борода; из-под нависших бровей светились серые глаза, сверкавшие больше нелюдимо. Он был весь покрыт овинной пылью, и от него пахло дымом. Сняв с себя кафтан, Григорий стал мыть руки. Ненила тотчас же заговорила:

— Ты знаешь, что наша дочка-то выдумала: учиться просится!

— Делать-то ей нечего, вот она и выдумывает незнамо что,— угрюмо проговорил Григорий и даже не взглянул на дочь.

У Парашки замерло сердечко, она с тревожным вниманием следила за отцом и прислушивалась к тону его голоса. Отец пока был совершенно безучастен; по его первым словам нельзя было и ожидать, как он дальше может отнестись к этому делу.

— А что ж, если ей хочется, пущай идет,— замолвила за дочь слово Ненила.— Сами мы, как пни горелые, пусть хоть дети побольше узнают.

Григорий вытер об утирку руки, поцарапал рукой в затылке, сел на лавку и проговорил:

— Когда ходить-то? Вон еще картошка не рыта, а там будут другие дела.

— Ну, велика ее работа! Управимся и без нее,— что ее с этих пор заневоливать-то? Наработается еще.

— Да на что ей грамота-то?

Парашка по тону отца заметила, что он сдается, и сер-

дечко ее забилось. Глазенки радостно засверкали, и она стала следить, куда дальше поведет разговор.

- Бог знает на что, сказала Ненила,— очень просто, и пригодится. Девичья судьба темное дело, может, наука ей будет на пользу.

Григорий зевнул и проговорил:

На это справу нужно, а из чего мы ей соберем: поди-ка, хлебов-то сколько останется?

Ну, може, на ее счастье подороже продадим.

Григорий как будто задумался, потом почесал под мышкой, опять зевнул и проговорил:

Ну, что ж, коли охота есть, пущай походит, только, пожалуй, сама заленится.

Нет, не заленюсь! — весело и уверенно воскликнула Парашка.

Отец с матерью заразились ее весельем. Григорий засмеялся.

— А вот поглядим — увидим. Если заленишься, силой будем водить.

Парашке показалось, что точно в избе все стало светлей; изнуренные лица отца с матерью сделались красивей, милей, и ей захотелось броситься к ним на шею.

IV

Утром Парашка была разбужена громким говором. Ненила с кем-то переговаривалась через окно. Парашка разобрала следующие слова, произнесенные на улице:

— Так это правда?

— Правда,— ответила Ненила.

— Ну, пусть зайдет за нашей, и мы свою пошлем.

— Ладно,— сказала Ненила и, обратившись к дочке, добавила: — Слышишь, Парашка? Товарка тебе находится.

— Кто? — с забившимся сердцем спросила Парашка.

— Анютка Степанова, ее мать сейчас была.

— Вот нам охотно-то будет! — радостно воскликнула Парашка, вскочив с постели, натянула на себя юбчонку и пошла умываться. Ненила принесла дочери новое платьице, платочек и старенькие полусапожки, купленные еще в третьем году.

— Про года спросит,— учила она,— скажи, что девятый, прозвище Еремкины, зовут Прасковьей, а не Парашкой.

— Ладно,— сказала Парашка.

Через час из Моховки вышли две девочки и направились по дороге в Ящерино.

— А ну-ка нас не примут? — говорила Парашка.

— Отчего? — молвила Анютка.

— Скажет, малы еще.

— А мы хорошенько попросимся.

— Я ей в ножки тогда поклонюсь! — сказала Парашка.

— Много ль ребят будет?

— Ребят все больше, их почти всех отдают, а нас-то вот только двоих.

— Счастливые эти ребята! Обучают их больше, а там куда-нибудь в люди пошлют. Сколько они свету-то видят, а мы все дома да дома!

— Зато их на войну угонят да убьют, а нас-то нет.

— Ну, когда еще война-то будет!

— А какая это война?

— А кто же ее знает?!

— Вот еще холера есть; говорят, много народу ломает.

— Мало ли что есть! Мне бабушка говорила, что есть турка такая, она с живых людей кожу сдирает, а маленьких жарит да ест. Вот страшная-то!

Учительница встретила их с ласковой улыбкой на лице и проговорила:

— Что скажете, девочки? Зачем пришли?

— Записываться,— не своим голосом пропищала Парашка и опустила глаза вниз. Ей было и страшно и жутко, так что она совсем растерялась.

— А, вот как. Умницы! — сказала учительница и потрепала Парашку по щеке.— Откуда вы?

— Из Моховки.

— Ну, пойдемте сюда.

И она повела девочек в класс.

Так вот какое училище-то! Это совсем не то, что Парашка себе представляла. Большая, высокая, светлая изба, заставленная такими чудными столами, каких она никогда не видала. Во всей комнате только и был один стол, похожий на настоящий, за который сейчас же села учительница и взяла лист бумаги. Около этого стола стояла большая черная доска, рядом с ней какая-то рама и в ней медные палки с костяшками, потом шкаф с книгами, на шкафу большой голубой шар на ножке, на стенах разные картины.

— Ну, как же вас зовут, мои милые? — спросила учительница.

Девочки рассказали ей все, что требовалось.

— Ну, вот и отлично, послезавтра можете совсем приходить. Тогда начнем и заниматься... Ступайте с богом.

Девочки вышли из училища очарованные. Учительница так расположила их к себе, как никто.

— Анютка, какая она простая-то!

— И красивая и ласковая,— согласилась Анютка,— ее ничего не страшно.

— Я думаю, она и сердиться-то не умеет.

— Нешь такие сердятся!

V

Через день в Моховке с раннего утра вся детвора взволновалась. Одни отправлялись учиться и забегали друг за другом, другие выскакивали из дворов и глядели, как они собираются. У одних глядевших выражалось на личиках чувство зависти, у других сквозило тупое довольство; они как будто говорили: «Ступайте, позаботьтесь, а мы дома побудем, нам тут не пыльно». Те, что отправлялись учиться, видимо мало боялись предстоявших им забот; по крайней мере, все они были хорошо настроены, особенно девчонки. Умытые, принаряженные, с серьезным выражением личек, они пестрели среди ребят и приятно разнообразили эту живую толпу своим присутствием.

С верхнего конца бежал белокурый мальчишка, в больших отцовских сапогах, измятой шапке. Он нес под мышкой что-то завернутое в засаленный платок.

— Афонька, что это?

— Хлеб.

— Что же так много.

— Будет с меня! — сказал Афонька, и вся толпа разразилась хохотом.

— Да ведь тут на троих хватит.

— Я и один съем.

Снова хохот. Лаврушка старостин сказал:

— Ну, все собрались,— двинемся, ребята!

— Вон пошли баловаться,— ворчали им вслед старухи.— Нешто тут ученье будет!.. Одно баловство!

В школу пришли ребята в семь часов; учительница только встала и собиралась пить чай; она вышла в прихожую и проговорила:

— Вы очень рано пришли, когда же вы поднялись?

— Что за рано: у нас скотину давно выгнали,— бойко ответил один мальчик.

Учительница ввела их в класс, велела располагаться здесь, но не очень шуметь и не возиться.

То и дело приходили новые и новые ученики. Приходили со всех окружающих деревень, и к тому времени, как учительнице выйти совсем, набралось около пятидесяти душ. Учительница сказала, чтобы они встали, а потом сообщила ребятам, что ее зовут Елизавета Дмитриевна, разъяснила, как ее нужно спрашивать, если кому что-нибудь нужно, как вообще вести себя. Потом она раздала им доски и грифели, рассказала вкратце, откуда берутся эти доски, научила, как держать грифель, и предложила им что-нибудь написать. Ребятишки кто изобразил кружок, кто квадратик, кто оконную раму. Потом учительница показала, как нужно линовать. Прочитала им небольшой рассказ и отпустила всех домой.

VI

По вечерам, когда у Еремкиных зажигали огонь, Парашка обыкновенно подсаживалась к столу или развертывала книжку и читала по ней, или выводила что-нибудь на доске. Сначала она затверживала звуки, потом стала сливать звуки в слова. Выходили или человеческие имена, или какие-нибудь названия. Нениле очень приятно было слышать, как Парашка произносила: «Си-ла», «мы-ло» и т. п. Иногда к девочке подсаживался и отец и одобрительно приговаривал:

— Так, так, умница! Ну, а скажи-ка, вот это что за слово? И он показывал пальцем в книжку.

— Ка-ша,— читала Парашка.

— В книжке-то каша? Да кто ж ее сюда наклал? Вот поди ж ты! Знают, что больше ребенку идет, тем и приманивают... Дома-то не скоро дождешься: крупа-то в городе, а деньги-то в ворохе, а тут вон оно и есть. А это что? — И он указывал другое слово.

— Са-ло,— читала Парашка.

— Каша с салом. Вот это славно. Ай да девка, ты лучше нас живешь: мы работаем, да и то пустые щи да картошку мнем, а ты только в книжку глядишь — и то что кушаешь! Не найдем ли мы еще что, ну-ка, прочти вот тут!

— Ма-ли-на.

— Ого! После каши-то с салом малина на закуску! Больно хорошо. А тут?

— Ко-сарь косит.

— Вот так чудеса! Что значит ученье-то: и каша с салом, и косарь косит; у нас косарем-то только и можно лучину щепать, а у них косит!

В такие вечера все приходили в благодушное настроение, забывали свою неприглядную жизнь. Бывало, вечером Григорий или сидит насупившись, или что-нибудь делает молчком, но теперь, после таких развлечений, он оживлялся, прибадривался, начинал вспоминать молодость, рассказывал, что он встречал, когда в отходе был. Время шло незаметно, и после таких вечеров крепче спалось и веселее вставалось.

Только Еремкины кончили молотьбу, как пошли осенние дожди. Небо заволокло тучами, дорога испортилась, везде образовалась грязь, лужи, канавы наполнились водой. При ходьбе в школу в полусапожках Парашки всегда чавкала вода. Когда она приходила в избу, то мать стаскивала ей скорей башмаки и вытирала ноги. Парашка стала чувствовать головную боль и насморк, но крепилась, не говорила матери, а только по вечерам не сидела за книжкой и больше лежала на печке.

Григорий стал разбираться с урожаем. Он отвез семена в магазин, расплатился с теми, у кого занимал рожью и мукой, и перемерил, что оставалось на продажу. Вышло немного. Григорий чувствовал, что ему опять не расквитаться со старостой, значит, опять дома сиди, готовый хлеб ешь. Еще что продать? Нечего, все в обрез. Занять? Кто поверит,— да и нет у них в деревне денежных людей. Тьфу ты, пропасть проклятущая!.. Да когда же все это только кончится?

VII

Наконец ударили морозы. Землю заковало так, что она сделалась точно мостовая, и когда ехали на колесах, то еще издалека слышался глухой грохот, который молотками от-

зывался в мозгу. Мужики из Моховки стали справляться в город; с ними решил поехать и Григорий.

— Ты смотри там что,— наказывала мужу Ненила,— а Парашке купи сапожки, чулочки да полушалок теплый.

— Коли выгадаю что, куплю, а как не на что будет, где ж я возьму?

— Выгадай как-нибудь, что ж обижать девку! Она у нас одна.

— Ладно,— сказал Григорий и тронул лошадь.

Парашка в этот день пришла из школы со слезами. Ее истоптанные башмаки, при ходьбе по замерзлой земле, окончательно развалились, и ноги у ней очень озябли. Когда мать разувала ее, то они были красные, как у гуся. Мать послала ее на печку, но там ножонки «разошлись с пару». Девочка плакала сначала тихо, а потом заревела.

— Ой, матушка, больно! Милая, еще больнее стало! — выла Парашка.

— Что ты, дура, что ты? Перестань! Сейчас утихнут. Ведь это все так. Вот маленько обойдутся, и пройдет.

Парашка замолчала не скоро: видно, ноги не проходили. Потом она успокоилась, но с печки не слезала. Мать решила ее немного поразвлечь и полезла к ней.

— Ну, что ты сегодня во сне видела?

— Ничего.

— Так ничего не видала?

— Нет.

— А как же, тебе сегодня отец сапоги привезет, чулки, полушалок — ты нешто не рада этому?

— Рада.

Парашка еле ворочала языком. Ненилу это встревожило. Уж не захворать ли хочет девчонка? И ее кольнуло в сердце. Она ощупала у дочки голову и спросила:

— Што же это у тебя, аль што очень болит?

— Нет,— отвечала Парашка.

— Так отчего же ты такая невеселая-то?

— Так.

Ненила вздохнула.

— Ах ты, моя ученица! Тебе, знать, учиться не хочется,— заленилась.

— Нет, хочется, штой-то ты? — оживилась Парашка, подняла голову и хотела слезать долой.

— Куда это ты?

— Урок учить.

— Ну поспеешь, выучишь! Полежи еще маленько, и я с тобой полежу, а то не хочется с печки-то слезать.

Парашка опять легла. Ненила уже не в первый раз стала спрашивать, как у них там в школе, хорошо ли с ними обходится учительница, кричит ли на них, не сердится ль? Кого всех больше любит? Парашка говорила, а Ненила вспоминала свои детские годы. Ничего тогда об этом у них и слухов не было.

— Вам лучше будет жить! — вздохнув, сказала Ненила и стала слезать с печки.

Были полные сумерки. Ненила зажгла огонь. Парашка соскочила вслед за ней и полезла за стол. Только Ненила зажгла лампочку, как в окошко застучали.

— Кто там?

— Эй, хозяйка! Выйди на минутку сюда,— послышался мужской голос.

— Что там такое? — проговорила Ненила встревоженная и вышла из избы.

Парашка слышала, как у двора зашел какой-то разговор, ее мать ахнула; потом разговор перестал, хлопнула калитка, скрипнула дверь, и в избу вошла Ненила. Парашка взглянула на нее и не узнала матери. На ней не было лица. Только она переступила порог, как не своим голосом заговорила:

— Вещун твое сердце, дочка! Отца-то в городе в будку забрали.

— В какую будку?

— А такую, куда пьяных сажают.

— Што же, он пьяный напился?

— Выпил, говорит, в трактире с буфетчиком повздорил. Бутылкой, говорит, в трактирщика-то запустил.

— А что ж ему там сделают?

— Изобьют, да как бы деньги не вытащили... В трактире-то, говорит, и то тузили, тузили! Ох ты, мое горюшко!

Ненила горько заплакала. У Парашки тоже застлало в глазах. Ей уже не хотелось ни учить уроков, ни сидеть тут, она забилась под божницу и съежилась там. Ненила между тем причитала:

— Говорила мне родная матушка: «Не радуйся, дочка, замужеству. Бабья судьба — во всем худоба». Словно она мне напророчила! Не вижу ни счастия, ни радости, захо-

жу я словно в темный лес, чем дальше иду — темней впереду. Когда ж это только кончится?

Парашка подскочила к ней, обняла за плечи и тоже заревела.

VIII

На другой день только после обеда Григорий приехал домой. Лошадь его всю ночь стояла голодная, бока у ней обвисли, резко обозначились ребра, и она, понуро опустив голову, едва передвигала ноги. Григорий ее не погонял. Он сидел, нахлобучив шапку, и глядел как будто вперед, причем глаза были тусклы, как свинец. Это был тот же мужик, да не тот. Что-то новое, небывалое явилось в выражении его лица. Он был не пьян. Лошадь, подойдя ко двору, повернула к воротам морду и тихо заржала. Григорий медленно вылез из телеги и, размявшись, нехотя стал выпрягать ее.

— Ты бы еще там ночку ночевал! — с упреком сказала Ненила, выходя навстречу мужу и на ходу натягивая кафтан.

— И ночуешь! С этими дьяволами только схватись — и домой дорогу не найдешь!

— А тебе нужно было схватиться?

— А то что ж, теперь на них богу молиться? — проговорил Григорий, и голос его задрожал.— Они во всем нас жать будут, а мы и пикнуть не смей. В лавке обдирают, на базаре обдирают, в трактире на обман идут. Что у нас, деньги-то нахальные? Мне моя копейка-то тоже дороже всякого приходится, а они за нее вместо добра — дерьма! Я им покажу!

— Эх, мужик, мужик! — вздохнув, проговорила Ненила.— Сказано: с сильным не борись, с богатым не судись.

— Вот еще старосту, корявого черта, нужно распотрошить. Если только он мне пачпорта не даст, я ему не знаю что сделаю!

— Нагруби еще ему, он те не так доймет.

Ненила стала выбирать из телеги; там, кроме веретья и пустых мешков, ничего не было.

— Что ж ты, знать, ничего не купил? — с испугом спросила она.

— Нечего покупать-то, и не купил!

Ненила заплакала.

— Что мы теперь Парашке-то скажем; ведь обревется совсем, в чем ей в училище-то будет ходить?

— Походила, да и ладно, не нашему, видно, рылу в пономарях быть,— угрюмо проговорил Григорий и вывел лошадь из оглобель.

Наступило молчание.

Григорий сорвал с лошади хомут и увел ее на двор. Ненила снесла в сени веретья с мешками. Потом они стали убирать телегу. Убрав телегу, Григорий сказал:

— Ну, я пойду к старосте.

— Не озорничай ты там, ради бога!

— Помалкивай! — процедил сквозь зубы Григорий и пошел прочь со двора.

Ненила пошла в избу. Только она переступила порог, как заметила, что от окна отошла Парашка и проворно пошла к приступке, чтобы лезть на печку. Ненила поняла, что девчонка видела, что ей ничего не привезли, что в ее душонке гнездится глубокое горе, и ее собственное горе усилилось. Она не ошиблась: только Парашка перекинулась на печку половиной туловища, как из ее груденки вырвался горестный звук. Ненила постаралась ее утешить.

— Ну, полно, дурочка, велика беда! Ну, дома будешь учиться, попрошу учительницу, чтобы она не брала у тебя книжку с доской, и будешь ты читать и писать.

— Д-да, а кто мне по-о-кажет-то? — рыдая, лепетала Парашка.

— Ну, на нов год опять пойдешь: на нов год все справим тебе, что нужно. Неужели так и будем разутыми, раздетыми сидеть?

Ненила говорила это и чувствовала, как у ней душа холодела. В самом деле, что им принесет новый год?

Парашка уже ничего не могла говорить, ее всю подергивало от рыданий. Ненила, как и вчера, полезла к ней на печку и стала ее успокаивать; но уж нечем было ее разговорить, и она только просила ее перестать, нежно гладила ее и целовала. В сенях послышались шаги, в избу вошел Григорий. Он положил шапку на стол, подсел сам к нему и, облокотившись рукой, устремил взгляд в окно. Ненила слезла с печки и спросила:

— Ну, как дела?

— Как дела! Нешто с дьяволом споешься? Ты ему про

Фому, а он про Ерему. Все деньги отобрал, а отпуска опять не дал.

— Значит, опять дома жить?

— Ну, куда ж я теперь пойду? Сама посуди, куда пойду? Без пачпорта, что без глаз!.. Ах ты, проклятая сила! Ах ты, судьба разокаянная! Где на тебя только управы искать!..

Григорий соскочил с места, рванул на себе полушубок так, что на нем отскочили две петельки, скинул с себя и швырнул на коник, потом схватил со стола шапку, забросил ее на полати и сел на лавку. Ненила вздохнула.

— Ты, може, поесть хошь?..

— Убирайся ты... с едой-то!

— Аль в городе ел?

— Ничего не ел.

Ненила опять вздохнула. Григорий встал, взял свою шубенку, свернул ее в комок, сел за стол и растянулся на лавке.

— Просто, я говорю, воровать или в омут полезай, вот какое дело-то дошло,— вдруг проговорил Григорий и, повернувшись на месте, уставился глазами в стену и замер там.

— Будет болтать-то что не дело! — сказала Ненила.

— Ну, ты скажи дело. Скажи, коль умна!..— зыкнул на жену Григорий.

Ненила вышла из избы, задала лошади сена, приготовила корму на ночь, принесла к завтрему дров. Григорий лежал все в одном положении, но не спал. Только с печки слышался легкий храп: там уснула Парашка.

IX

На другой день, истопивши печку и убравшись в избе, Ненила пошла в Ящерипо, чтобы выпросить у учительницы доску с книжкой. В школе шло занятие, ребята целым классом гудели, как шмели, изредка выкрикивая громко отдельные слова. Сторожиха провела ее на кухню. Разговорились. Сторожиха уверила Ненилу, что Елизавета Дмитриевна очень добрая барышня и, наверное, позволит оставить и книжку и доску. Ненила насчет этого успокоилась. Сторожиха продолжала восхвалять барышнину доброту:

— Такая хорошая! Обо всем заботится, хочет вот на филипповки приварок устроить, чтобы похлебку да кашу чужим деревенским на обед варить. А так, всухомятку-то, им голодно.

— Известное дело,— согласилась Ненила и подумала: «А моя Парашка-то не будет ходить. Ох, господи!» — Только из чего ж варить-то? Не у всякого найдется на кашу-то...

— А она вишь что надумала: тут теперь барин гостит, из-за границы в Питер едет, ну, по пути заехал на порядки посмотреть, а он опекатель над училищем-то; вот и хочет у него выпросить и круп, и котлов, и еще там чего.

Наступила перемена. Ребятишки гурьбой высыпали в раздевальню и, толкаясь, зашумели там. Елизавета Дмитриевна окрикнула их и вошла в кухню. Ненила поднялась к ней навстречу и поклонилась.

— Кто это? — спросила Елизавета Дмитриевна.— Откуда ты, голубушка, что тебе нужно?

— Из Моховки я,— снова кланяясь, сказала Ненила, и в голосе ее против желания послышался просительный тон, такой, какой обыкновенно слышится у просящего под окном милостыню.— Еремкина я, Парашки Еремкиной мать... принесла вот книжку с доской.

— Что ж, она не будет больше ходить?

— Нет, родимая, не будет.

— Отчего?

— Да видишь ли, родимая... Нужда наша не дозволяет... Надо обуть, одеть, головку повязать в холода-то, и не во што... Думали хлеб продать да выгадать, ан ничего не выгадали...

— Очень жаль! — проговорила учительница.— Она очень способная девочка, я ее было полюбила.

— Мне и самой ее жаль... Я б с себя что можно сняла да ее одела, да нечего... А как она-то плачет! Я вот что к вам, милая барышня, пришла: нельзя ли эту книжку-то с доской нам дома подержать, она по ним там, что может, поучится.

— Конечно, можно, только дома какое уж занятие! — сказала учительница. Она глубоко вздохнула и проговорила: — Какая у вас тут сторона, вот уж сколько перестали ходить, и все по одной и той же причине!

— Не с чего лучше-то быть... Сегодня сыты, а завтра бог весть!

— Ну, хорошо, оставляй книжку и доску, а когда не нужны будут, принесешь.

Учительница прошла в свою комнату, а Ненила отправилась домой.

X

Дома было, как и вчера. Григорий сидел хмурый и исподлобья глядел в окно. Парашка лежала на печке и, кажется, не слезала с нее все время. Чтобы ее утешить немножко, Ненила поспешила ей сообщить:

— Ну вот, я опять назад принесла и книжку и доску.

Но Парашку это не обрадовало; после обеда она попробовала было пописать и почитать, но сидела за этим недолго, а положила все на божницу и опять ушла на печку.

«Грустует»,— со вздохом подумала Ненила.

Прошел этот день, наступил другой, но и он не принес Еремкиным ничего радостного.

Перед вечером, когда ребятишки возвращались из школы, их голоса послышались недалеко от избы Еремкиных. Соседи Еремкиных увидали, что все ребята гурьбой направляются к их двору, и между ними идет учительница. Она была в драповой жакетке с высоким воротником, калошах и теплом платке. Лицо ее от ходьбы стало еще румянее, и глаза еще ярче блестели. Она подошла к самому двору Еремкиных и спросила:

— Эта их изба?

— Эта, Лизавета Дмитриевна! — ответили ребятишки.

— Ну, спасибо! Теперь ступайте, я одна войду!

— Прощайте, Лизавета Дмитриевна!

— Прощайте, прощайте!

Елизавета Дмитриевна вошла в избу к Еремкиным и проговорила:

— Здравствуйте! Здесь Прасковья-то живет?

Ненила и Парашка встали навстречу учительнице; они недоумевали, зачем она пришла.

— А я соскучилась по тебе,— весело говорила учительница, подходя к Парашке и беря ее за руку.— Походила-походила в школу и бросила. Так, голубушка, нельзя.

Она села на лавку и привлекла к себе девочку и, погладив ее по голове, опять заговорила:

— Хочешь, чтобы тебе опять учиться, или нет?

— Хочу,— еле слышно пролепетала Парашка.

— Ну, так на вот, дай маме или папе эту монету, и пусть они тебе купят и сапоги, и чулочки, и теплый платок, а когда они тебе купят, то ты приходи опять, хорошо?

И учительница положила в руки Парашки пятирублевый золотой. Парашка взяла монету и, ошеломленная, не знала, что с ней делать. У Ненилы в это время радостно вспыхнули глаза, и все лицо оживилось.

— Ах ты, наша родимая! — воскликнула она.— Парашка, дура, кланяйся в ноги! Что ж ты стоишь?!

— Совсем не нужно! — сказала Елизавета Дмитриевна.— Зачем это в ноги?

— Да как же нам благодарить-то тебя, благодетельница наша? Да что ты для нас только сделала-то? — причитала Ненила.

— Я ничего не сделала,— живо и радостно проговорила учительница,— деньги не мои, я их у попечителя выпросила.

Ненила восхищенными глазами глядела на эту милую и добрую девушку и не знала, какими словами выразить поднявшиеся в ее душе чувства. Была взволнована и учительница. Только Григорий, очевидно, не разделял этих чувств. Он поднялся из своего угла, подступил к Парашке, взял у нее из руки золотой и, возвратив учительнице, глухо проговорил:

— Нам денег не надо,— возьми назад, барышня!

— Как не надо? Что ты, опомнись! — воскликнула Ненила и подскочила к мужу.

— Так, не надо... Не надо и не надо! — Он запнулся и стал переводить дыхание. Потом он оправился и продолжал: — Не денег нам нужно у господ просить... Деньги что!.. Ты погляди хорошенько кругом... Или посмотри на нашего брата! Нам дохнуть нельзя. Земли мало. Для нас никаких правов нет. Куда ни пойдешь, все по уши в воду. Вот что для нас нужно! Вы, люди ученые, попытайтесь-ка головой пораскинуть!..

Ненила никогда не видала таким своего мужа. Он весь дрожал. Глаза его горели, на висках и на лбу выступили набухшие жилы, все его лицо залило краской. Он силился, должно быть, многое сказать, но не мог: волнение сковывало ему язык, и он только странно и неуклюже двигался всем телом.

— Жить!.. По совести жить нельзя! Промышляй грабежом или мошенством, тогда ты и человек будешь! Ну, хорошо, как можешь так, а если не можешь? Я не виноват, что у меня так голова затесана! За что же нам мучиться-то? Ты мне дай вольготу, вот что!..— Он опустился на приступку и уперся в нее руками. Лицо его стало еще краснее, язык не совсем повиновался ему, и он только выкрикивал:

— Всем дорогу нужно! Всем дорогу нужно! Нужно, чтобы по-людски можно жить!..

Последние слова он уже дико выкрикивал. Обессиленный, он замолчал и уставился на учительницу злобным взглядом.

— Боже мой... разве я это предвидела? Я думала... Я никак не предполагала...— лепетала испуганная девушка. Она поднялась с места, съежилась и была готова расплакаться.— Мне хотелось помочь, разве я что знала.

— Не можешь ты нам помочь, гробовая доска нам помощь! — крикнул Григорий.

Ненила стояла ни жива ни мертва.

— Тогда простите! Я уйду. Я совсем этого не ожидала!

И она как будто стала меньше ростом, на глазах ее показались слезы; чтобы скрыть их, она, поникнув головой, повернулась к двери и медленно вышла из избы.

— С богом! — крикнул ей вслед Григорий, подошел к двери и хлопнул ею, как бы желая покрепче притворить ее.

— Идол ты! — взвизгнула Ненила, грохнулась на лавку, положила голову на стол и зарыдала. Парашка подскочила к ней и тоже заревела.

— Замолчать! — зыкнул Григорий и затопал ногами.— Вы чего так разошлись? Я вам глотки-то заткну!..

— Что ж, убей! Один конец-то, по крайности мучиться не будем! — выпрямляясь перед мужем, изо всей силы тоже визгливым голосом крикнула Ненила.

Григорий, развернувшись, наотмашь ударил ее кулаком. Ненила покатилась на пол. Парашка бросилась к ней и заблажила во всю мочь:

— Мама... мама... Мамушка-а!

Григорий схватил шубенку, накинул ее на себя, накрыл голову шапкой и, шатаясь, вышел из избы.

XI

Ночь была темная, как и следовало быть осенней ночи. Стояла невообразимая тишина.

Время подходило к петухам. Вся деревня спала. Только Ненила никак не могла успокоиться. Сон бежал от ее глаз. Она столько сегодня пережила, столько перечувствовала, что в ней все перевернулось внутри, и она никак не могла войти в свою колею, стать на старое место. Григория не было. Ненила не знала наверное, куда он ушел, но догадывалась, что он запьянствовал. Ниле было все равно. Лишь бы скорее перебесился. А то он бог знает до чего дошел!..

На улице что-то послышалось. Не то запел петух, не то кто-то крикнул. Крик повторился. Ненила подняла голову, и сердце ее упало. Ее поразило то, что окна вдруг вырезались в ночной темноте и, как зловещие глаза, взглянули на нее. Мало того, на фоне непроглядной темноты отчетливо выделялся весь двор, что был напротив. Ненила катышком скатилась с постели и бросилась из избы. Дрожащими руками и стуча зубами, она кое-как отворила калитку и выскочила на улицу. Очутившись на середине ее, она увидала, как к нижнему концу деревни над одним двором поднялся столб мутно-красного дыма. Столб быстро разрастался в вышину и ширину. Он подымался огромными бледными языками пламени, которое все более и более рассеивало сгустившуюся темноту. Вскоре свет пламени залил всю деревню.

Из окон избы, над которой поднимался пламенный столб, выбрасывали на улицу одежду, утварь. В отворенные ворота выскочили лошади и, пугливо фыркая, гребнем поднимая гривы, понеслись вдоль деревни; за лошадьми с безумным ревом вырвались коровы, появились было овцы, но, заметив метавшихся по улице людей, опять шарахнулись во двор. У угла горевшей избы какая-то фигура, засунув руки между колен и опустившись на корточки, ревела что было силы. Ужасающие крики, стоны и тени человеческих фигур быстро росли и захватили всю середину улицы. Началась страшная суетня.

Ненила сидела на земле с помертвевшим лицом, с глазами, выражавшими боль и ужас, и не могла сдвинуться с места. Если бы на нее наскочили разгоряченные лошади, мчавшаяся подвода, все равно она не сдвинулась бы ни на

пядь. Ветра не было, пламя, все более увеличивавшееся и уже захватившее второй двор, неслось прямо к небу. Дым густел, и вместе с искрами в нем поднимались целые хлопья пылавшей соломы. Это было далеко, избе Еремкиных не грозило никакой опасности. Но Ненила чувствовала, что ее жизнь дошла до какого-то предела, за которым она уже пойдет по другому направлению. Лучше ли будет, хуже, но прошедшее от нее удалялось, может быть, безвозвратно.

— Во-о-ды! — ревели па улице.— Оттаскивай добро-то! Скотину выпускай! Выпускай скотину-то!.. Дьяволы!..

Вой поднимался все больше и больше. Огонь, как напавший на добычу до безумия голодный зверь, захватывал попавшуюся ему добычу с неописанной быстротой и с треском, шипеньем и воем уничтожал ее. Повети двух дворов были поглощены им, и он хватался за заборы, за потолки, соскакивал на землю и судорожно уничтожал солому в навозе, мох в щелях дворов, точно боясь, что от него отнимут и он не успеет попользоваться им.

— Оттаскивай, вам говорят! — слышались крики, и все суетились, задыхаясь в дыму и жарясь в пламени, стараясь унести подальше, что только попадалось в руки.

— Господи! За что такое наказанье? За что? — лепетал, захлебываясь от слез, бегая вокруг двора в одной рубашке и в валенках, высокий бородатый мужик, моховский староста.

На проулке, усевшись в кучу и обнявшись друг с дружкой, выли его бабы. Неподалеку от них, у загородки, держась за кол, стоял Григорий. Он был пьян. На лице, освещенном пламенем пожара, было заметно, что черты его смягчились и в почти бессмысленном взгляде его светилось довольство, точно видимое теперь страдание мирило его с его собственным.

Он долго глядел на все молча, потом издал какие-то звуки. Этот звук обратил на себя внимание старосты, тот обернулся на него и вдруг выпрямился и опустил руки.

— Братцы! Братцы! — задыхаясь, закричал староста.— От поджога у меня загорелось, а вот кто меня поджег!.. Голову кладу на плаху, что это его дело... Он мой разоритель! В огонь его, дьявола!..

И он, как кошка на мышь, бросился на Григория, схватил его за шиворот и рванул к себе. Григорий не выстоял и упал лицом в землю. Староста ткнул его ногой в бок. Хозя-

ин другой горевшей избы, сосед его, маленький плешивенький старичок, тоже в одной рубашке и без шапки, подскочил к нему, схватил из тына кол и, высоко взмахнув им над головой, опустил его на спину Григория.

— Поджигателя поймали! — разнесся крик.

На проулок выбежали еще мужики. Одни бросились бить Григория, другие заступались за него. Заступники одолели, отняли Григория от разъярившейся толпы, потащили его в сторону и стали вязать.

— Нешто можно своим судом! — резонерствовал один из защитников, затягивая Григорию руки на спину.

— Коли поймал, представь его по начальству: начальство лучше нас знает, как его проучить...

Наутро в Моховку приехал урядник производить первое дознание. К нему подвели подозреваемого поджигателя. Григория нельзя было узнать. Лицо его было распухшее и подернутое синевой. На месте глаз были узенькие щелки, левая рука висела, как плеть, и он не мог ею пошевелить.

— Ты поджег? — спросил его урядник.

Григорий ответил с трудом, совершенно охрипшим голосом:

— Я.

— Ах ты, мерзавец этакий! — выругался урядник.— За что?

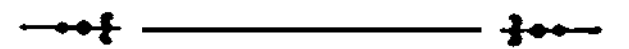
— Старое зашло...

Больше он ничего не хотел говорить. Урядник отправил его в стан, а потом в город.

Весною Григория судили окружным судом и осудили на четыре года в каторгу. Ненила продала лошадь и корову и отдала ему на дорогу все деньги, а сама заколотила избушку и нанялась на господский двор в птичницы. Ее приняли туда вместе с Парашкой, но поставили условием, чтобы Парашка помогала ей. Жалованье им обеим положили при господских харчах два рубля в месяц.

Так и не пришлось Парашке больше учиться.

1901 г.



Дедушка Илья

Повесть

I

После смерти моего дедушки старшею в доме осталась бабушка. Дедушка мой был третий сын одного крепостного. После смерти своего отца он оказался выродком из всех братьев. Братья отличились и выделились из других мужиков: первый — тем, что был без зачета отдан в солдаты, а другой — достиг завидного положения первого человека в деревне. Дедушка же мой кончил так, как кончают почти все обыкновенные мужики.

В солдаты попал первый брат дедушки — Илья. У него умерла жена спустя три года после свадьбы. Этим, говорили, дедушку Илью точно пришибло: из дельного и бодрого большака он сделался вялый и задумчивый, все хозяйство он передал своему второму брату, дедушке Григорию, а сам начал собираться в монастырь. Но в монастырь он не попал. Походивши года полтора по святым местам, он не нашел там, чего искал, вернулся домой, обзавелся Священным писанием и стал жить дома.

В солдаты дедушка Илья попал за ослушку перед барином. Во время ярового сева барин шел гулять по усадьбе. В это время в саду работали девки. Одна девка не в меру разболталась за работой. Барин окликнул ее. Девка, вместо того чтобы смолчать, что-то сказала на ответ. Барин был горячий. Услыхавши слово от девки, он взбеленился и захотел ее наказать. Дедушка Илья в это время привез из поля пустые мешки. Барин увидел его, подозвал к себе и приказал дать девке тридцать розог. Дедушка Илья сказал: «Я приехал работать на барщине, а не девок стегать». Барин распалился еще больше, и когда подъехали другие мужики, он тотчас же велел им связать его и отправить в город и там забрить ему лоб. С этих пор дедушка Илья для наших мест точно в тучку пал.

Дедушке Григорию выпала другая судьба. Он был не

такого характера и готов был повиноваться не только каждому слову барина, но быть слугою всякого дворового. За это он скоро добился, что его поставили старостой, а потом и бурмистром. В бурмистрах он ходил до самой воли. После же воли он отделился от моего дедушки, вышел на новое место, отстроился за первый сорт, купил своему сыну, Ивану, в Москве место в биржевой артели, а сам завел небольшую торговлю среди мужиков. Откуда у него взялись на это деньги, никто пе знал, хотя поговаривали, что перед волей ему удалось устроить управляющим выгодное дело. На господском дворе стоял магазей, в который ссыпался на всякий случай со всей вотчины крестьянский хлеб; его, как говорили, было там четвертей с тысячу. Когда же был прочитан освободительный манифест, то пришлось весь хлеб раздать крестьянам. Но когда стали его раздавать, то еле-еле набрали двести четвертей. Куда девался остальной, так и концов не нашли. Мужики долго злобствовали на дедушку Григория и под горячую руку попрекали его; но к дедушке Григорию приставало это, все равно что к гусю вода.

После раздела с братом мой родной дедушка остался в старой стройке и начал быстро беднеть. У него был полон стол детей и один одного меньше. Взрослым был только мой отец, но он вышел незадачным. Дедушка послал его в Москву на фабрику для посторонней добывки, но отец в Москве втянулся в водку, и что ни зарабатывал, все оставлял там. Его тогда женили, но он и женатый не поумнел, пришлось жить одною землей, но земли и прокормить семьи не хватало. Чтобы добыть что-нибудь где еще, дедушка метался туда и сюда. Он работал без отдыха лето и зиму, нанимался на поденщину, ездил в извоз. От этого он и помер. Он ездил по найму в свой город. Дело было в распутицу, дорогой дедушка сильно промок в весенней воде, простудился, слег и отдал богу душу.

II

В то время у бабушки было пять человек детей: мой отец и еще четыре дочери. Жизнь в доме после дедушки пошла еще хуже. Отец хотя и сделался хозяином, но старательней от этого не стал. Подраставшие дочери требовали

справы да выдачи замуж, а на это нужна была трата. К тому времени, как мне исполнилось восемь лет, бабушка развязалась со всеми дочерьми. Трех она выдала замуж, а одна умерла в девушках. Из замужних одна умерла тоже на первом году после свадьбы. Едоков в доме убавилось, но нужды не убавлялось. Она с каждым годом разрасталась и захватывала нас в свои когти. Во всем нашем обиходе она сквозила на каждом шагу. Все у нас было как нельзя хуже. У двора со всех сторон стояли подпорки. Изба уже накренилась набок, крыша на ней поросла мохом. Тес на коньке расщелился, потемнел, и в ветреную погоду он неприятно дребезжал. Углы избы с улицы отгнили, и мы, бывало, прежде чем загораживать избу на зиму, замазывали их глиной.

И изнутри изба была не лучше, чем снаружи. Печка без трубы, поэтому когда, бывало, топили ее, то отворяли дверь. Летом это было ничего, а зимой холодно. На это время все, бывало, одевались в теплую одежду. Пол у нас никогда не мылся, потолок же от дыма был настолько черен, что или днем в солнечный день, или вечером, когда горела лучина, он даже лоснился, точно вычищенный ваксой сапог.

Кроме этого, у нас был кое-какой сараишко, но ни амбара, ни овина, ни других построек у нас не водилось, и мы даже тогда не надеялись завести их.

Жили в то время на этом добре, кроме бабушки,— моя мать и я. Отец постоянно жил в Москве. Он приходил домой на пасху, но после пасхи опять уходил до покоса. Но на покос отец приходил не каждый год. Случалось это оттого, что, как говорила мать, отец «не находил заставы». Получавши расчет, он прокучивал все деньги по трактирам и портерным и возвращался опять на фабрику.

Мне наша бедность тогда была мало страшна, но матушка часто горевала. «Вот завалится изба,— говорила она,— куда мы денемся? Новую поставить не на что, люди к себе не пустят — где будет голову приклонить?»

Бабушка всегда ее утешала. «Ну,— говорила она,— вам-то со Степкой будет приют: пойдете в Москву, там вам каменные дома будут, а мне на рынке хоромину купим да еще новую долбленую; помещусь я в нее, никакой заботушки не буду знать».

III

Бабушка глубоко верила в бога. Эта вера мирила ее со многими встречавшимися ей несчастиями. А несчастий она перенесла не мало: история с дедушкой Ильей, незадачник муж, раздел с дедушкой Григорием, бедность, судьба дочерей, смерть двух дочек, несчастный сын. И как эти испытания ни были тяжелы, она все-таки ропот на них считала грехом и думала, что ей не хватит и жизни, чтобы искупить эти грехи. И готова была все сделать для этого. Из нашего имущества делиться с кем-нибудь было нечем, но если за нею приходили попросить походить за больным, обмыть и оправить покойника, принять ребенка у родухи, бабушка никогда не отказывалась и шла охотно и радостно и во всякое время, и в полночь и в непогоду, и если ей что за это предлагали, то она не всегда это брала, если же брала, то называла таких людей своими благодетелями и долго поминала их в своих молитвах.

— Ты, бабушка Прасковья, праведница,— говорила бабушке какая-нибудь из баб.— У тебя всегда на первом месте бог, никогда ты его не выпускаешь из головы.

— Как же иначе-то,— говорила бабушка.— Без бога-то нам шагу нельзя, без бога ни до порога, а с богом хоть за море; недаром ведь пословица-то говорится.

И такое отношение к богу она рада была внушить всем. Она не давала забыться ни матери, ни мне и сейчас же напоминала о нем. Она нередко сдерживала порывы моей ребяческой фантазии, которую я пробовал развивать вслух, и круто останавливала меня. Иногда наслушаешься материних жалоб на нужду, на бедность и начнешь мечтать: вот вырасту я большой, пойду в Москву и буду наживать там деньги; наживу их много-много и стану делать то-то и то-то. Бабушка тотчас меня остановит:

— Болтай, что ни дело, глупый. Деньги нажить — надо совесть забыть, а ты моли бога, чтобы здоровья дал да разум светлый, тогда и без денег проживешь, нужды не увидишь.

— А денег больше, все бы лучше.

— А душу ты загубишь? Душа дороже всего.

— А я тогда свечки буду ставить, попам денег дам, они за меня молиться будут.

— Если не от трудов деньги, то никакая молитва ни

во что. От правого сердца ты только вздохнешь, тебя бог услышит, а то хотя в сто колоколов звони, все нипочем.

— Отчего так?

— Оттого, что богу нужно усердие твое да праведные труды.

— Матушка, откуда ты все это знаешь? — спросила раз бабушку мать. — Другие хоть в книгах вычитают, а ты и грамоте не умеешь, а говоришь как по-писаному.

— Я грамоте не умею, другие умели — читали, а я запомнила все.

— Кто же это?

— Илья, деверь...

— Знать, он хороший был человек?

— Хороший.

— Что же это он, как угнали его в солдаты, слуху-то о себе не давал?

— Бог его знает! Може, его далеко угнали, а може, не хотелось и вспоминать о своем месте, чтобы сердце свое не тревожить.

— А може, он давно уж помер?

— Кто его знает-то! После одного сраженья на войне, когда очень много народу побило, раздумалась я о нем; пришло мне в голову, что, верно, и он воевал там и убит, и стала я говорить на молитве: «Помяни, господи, воина Илью, отпусти ему все прегрешения». Помянула я так раз, другой, третий, только в одну ночь и приснился мне этот Илья и говорит: «Зачем ты меня, Прасковья, к покойникам причисляешь, я ведь еще жив». С тех пор и перестала я его за упокой поминать.

Из себя бабушка была высокая, худая. Лицо ее было в морщинках, маленькие глаза слезились, у нее уже не было зубов, из-под старенького темненького платка торчали реденькие седоватые волосы, но для меня не было лучше, милей и красивей человека, чем моя бабушка. Для меня она была не только дороже на свете отца, но и матери, которая меня очень любила.

IV

Моя мать была среднего роста, с небольшим бледным, худощавым лицом. Лицо у ней было красивое, но глаза све-

тились как-то печально, и она глядела ими всегда больше вниз. На подбородке у ней чернела родинка — знак несчастливого человека; ее и нельзя было назвать счастливой. Я редко видел ее веселою или спокойною, а больше печальной и озабоченной. Она была взята из другой деревни, у ней никого не было близких родных: ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер. Она на это нередко жаловалась. «Были бы у меня живы батюшка с матушкой,— говорила она,— хоть бы с ними я горе размыкала, а то пропадаю одна». Чем дальше, тем она становилась грустнее, а за последнее время она отчего-то стала покашливать и говорить, что у ней ноет грудь, не то от простуды, не то от того, что, как она говорила, отец один раз сильно ударил ее кулаком между плеч.

Один раз, около петрова дня уж, сидели мы и ужинали,— ели зеленый лук с квасом. Квас был жидкий, и матушка сказала, что надо бы к покосу сделать новый квас. Бабушка на это вздохнула и проговорила:

— Сделать-то ничего, да сделать-то из чего? Солоду ни пылинки и муки на хлебы хватит либо нет.

Матушка опечалилась:

— Староста с оброком пристает, сборщик пастушню требует. Что это наш москвич никакого слуху не дает, хоть бы маленько что прислал.

— Може, сам принесет,— сказала бабушка,— все к покосу-то, чай, придет.

— Как же не прийти-то,— промолвила матушка,— с кем же нам тогда косить будет?

Я только было хотел сказать, чтобы меня взяли косить, как под окном что-то мелькнуло, потом, слышим, скрипнули ворота и кто-то застучал по мосту. Дверь отворилась, и в избу вошел невысокий костлявый мужик в казинетовой поддевке и с небольшой сумкой за плечами; войдя в избу, он помолился на образа, ни на кого прямо не глядя, поклонился всем нам и сквозь зубы проговорил:

— Здорово живете!

— Ну, вот он, легок на помине! — проговорила бабушка.

Мужик был мой отец. Он поздоровался, снял с себя прежде сумку, потом поддевку и нетвердыми, не то от усталости, не то от робости, шагами подошел к окну и сел на лавку.

— Ну, как вы тут живы-здоровы? — спросил отец, и та-

ким тоном, по которому легко можно было судить, что ему нет никакого дела до того, как мы живы и здоровы.

— Ничего, живем,— сказала бабушка.— Садись с нами ужинать-то.

— Спасибо, не хочу,— сказал отец.

Я поглядел на мать. У матери на лице заиграли краски и в глазах заблестел тревожный огонек. Я понял, что это значит. Это значило, что отец пришел «не слава богу», ничего не принес опять. Об этом можно было догадаться по тому, как он вошел в избу и как держал себя. Он не поцеловался даже со мной. Я помню, как он раз пришел к пасхе «слава-то богу». Он был веселый, казался выше ростом, ступал твердой поступью; меня он обнял и поднял на руки, тотчас же развязал сумку и достал мне баранок, а бабушке ситника, потом мне картуз, а бабушке мягкие башмаки из покромок, а теперь, видимо, ничего у него не было.

Ужин наш пересекся, разговор не клеился. Матушка глубоко вздохнула, вылезла из-за стола, помолилась богу и взглянула на отцову сумку. Потом она вышла из избы и через минутку вернулась. Она несла в руках три баранки. Войдя в избу, она подала баранки отцу и проговорила:

— На, дай мальчонку гостинца-то. Небось из Москвы пришел.

— Дай сама,— угрюмо проговорил отец,— коли у тебя есть, а у меня нечего давать.

— Что ж так: али в Москве баранок нет? Знать, не успели напечь к твоему отходу?

Отец промолчал; мать вдруг опустилась на лавку и взвыла в голос. Бабушка стала ее уговаривать:

— Ну, что ты, будет тебе, чего ты?

А мать меж тем причитала:

— Породушка моя матушка, зачем ты меня на свет породила? Лучше бы ты меня несмышленой в темный лес отнесла, оставила ты меня, сироту горькую, горе горевать, век кукушкой куковать.

Отец вдруг встал с лавки, подошел к приступке, скинул сапоги и вышел из избы. В сенях у матери был полог, где она спала; он забрался в этот полог и лег там.

Выплакавшись, мать поднялась с лавки, вздохнула и проговорила, обращаясь к бабушке:

— Ну, вот и радуйся! Загадывали то и это, обирай те-

перь сайки с квасом! Да можно ли на него когда надеяться?

И она опять всхлипнула. Бабушка глубоко, прерывисто вздохнула и проговорила:

— Что ж теперь поделаешь-то?

Мать утерла лицо и ушла из избы; бабушка убрала со стола и стала молиться богу на спанье. Я спал вместе с бабушкой, и мне хотя в этот вечер долго не спалось, но все-таки я не дождался, когда она кончит молиться,— так я и уснул.

V

Я спал крепко и проспал долго, но отец еще не вставал. Не показывался он и к обеду. Бабушка, собирая на стол, сказала матушке:

— Мавра, ты бы Тихона-то позвала.

— Ну его к шуту! — ругнулась матушка.— Мне с ним и говорить-то не хочется.

— Болтай! Что ты, его не знаешь? Не впервой, чай!

— Знамо, не впервой, это-то и тошно. Сколько раз он наши слезы-то видал, а все ему нипочем. О чем он только думает?

— Ни о чем он не думает, а так живет и живет, как дерево какое. О чем ему думать?

Обед прошел невесело. После обеда мать куда-то ушла, меня никуда не тянуло, бабушка тоже почти не выходила из избы; так прошло время до самого вечера. Отец весь этот день провалялся, не вылезая из полога. На другое утро его тоже было не видать. Время подходило к полдню, день был ясный и тихий, стояла сильная жара. Скотина задолго еще до полден прибежала из стада домой и, забившись по уголкам, тяжело дыша, яростно махая хвостами, отбивалась от мух. Люди казались какими-то осовелыми. Бабушка и мать были в избе; бабушка цедила молоко от только что подоенной коровы, а мать чинила мне ситцевую рубашонку. Вдруг в сенях кто-то затопал, дверь отворилась, и через порог переступил коренастый мужик с русыми курчавыми волосами, большою светлою бородой, в домотканой рубашке и сапогах. Он вошел, не спеша снял картуз, помолился, оглянул избу и, кивнув головой, проговорил:

— Здорово живете!

— Добро жаловать, Тимофей Арефьич! — сказала бабушка.

Матушка ничего не сказала; она только быстро взглянула на него, когда он вошел, и сейчас же низко нагнула голову к шитью. Когда же вошедший замешкался несколько посреди избы, она проговорила:

— Проходи вот, на лавку садись,— и она разобрала ему место на лавке.

Пришедший был наш деревенский староста. Он ходил в этой должности давно и вел свое дело исправно. Он был хозяйственный, крепкий мужик. Нрава был сурового; дома все его боялись, боялись некоторые и в деревне: он никому не любил «давать потачки».

У меня похолодело на сердце, когда он появился у нас в избе. Он прошел на указанное матушкой место и сел. Оглядев еще раз избу, он спросил:

— А где же у вас хозяин? Я слышал, он из Москвы пришел.

— Пришел, пришел, еще третьего дня,— сказала бабушка.

— Вот и хорошее дело. Так где же он у вас, нельзя ли будет его поглядеть?

— Ох, не знаю,— вздохнув и улыбаясь, проговорила матушка.— Как бы тебе не сглазить его, он по временам у нас дичится чужих-то людей.

— Авось ничего,— тоже улыбаясь, проговорил староста.

Матушка встала и вышла из избы. Бабушка все копалась в своем углу; староста прислонился спиной к косяку и, молча уставив глаза прямо, видимо о чем-то задумался. Я сидел и глядел во все глаза на старосту; меня разбирала какая-то тревога: мне думалось, что староста пришел неспроста. Бабушка тоже не была спокойна. Она хотя и делала свое дело, но руки у нее дрожали, на лице выступил слабый румянец: видно было, что она внутренно сильно волновалась.

Матушка опять вошла в избу. Она была очень бледна, и глаза ее горели необыкновенно. «Сейчас идет»,— сказала она, подходя к своему месту, и только она села, как в избе показался отец.

Отец был шершавый, всклокоченный, с сильно измятым лицом. Он как лежал в пологу, так и вошел босиком. Ворот его рубашки был распахнут. Войдя в избу, он поклонился старосте и сел в уголок.

— Здорово, здорово, удалая голова! — проговорил старо-

ста.— Что же это ты, братец мой, домой пришел, а людям не кажешься? Или боишься, как бы не загореть на деревенском солнце?

— Очень просто,— ни на кого не глядя, проговорил отец.— Ишь у вас тут какая жара — и спрятаться от нее негде.

— Верно, брат,— ухмыляясь, проговорил староста,— у нас тут не то, что в Москве: ни погребков, ни подвальчиков нет и холодного ничего не найдешь. Что верно, то верно... А скажи на милость,— вдруг переменил свою речь староста,— нет ли в Москве чего новенького?

— Мало ли что в Москве нового,— всего не расскажешь...

— А у нас тут такие слухи прошли,— продолжал староста,— что там будто бы ежели кто идет домой, так того деньгами оделяют. Дадут ему кучу и говорят: на вот тебе, уплачивай дома все подати и недоимки.

— Я что-то этого не слыхал,— проговорил отец.

— Ну-у! Вот поди ж ты! — снова ухмыляясь, проговорил староста.— Значит, не всякому слуху верь. А у нас ведь как об этом заверяли! Я, признаться, нарочно и пришел за этим: думаю, верно, и ему перепало, пойду и получу прямо горяченькие, а выходит — ошибся.

— Должно, что ошибся,— угрюмо проговорил отец.

Староста при начале разговора казался очень спокойным, на губах его играла улыбка, но дальше улыбка исчезла, глаза его начали разгораться, в голосе появились дрожащие нотки; он хотя и усиливался сохранить хладнокровие, но, видимо, не мог.

— Хм...— досадливо крякнул староста,— а ошибаться-то не хотелось бы. Намедни мы на сходке твою милость поминали: высчитывали, сколько тебе надо платить: приходится вот тридцать рублей. Старых двенадцать целковых, страховка да весь оклад за первую половину. Время уж вот другой оклад объявлять: петров-т день вот он.

Отец промолчал; староста больше и больше начинал горячиться: ноздри его раздувались, выражение лица становилось другое.

— Время-то идет, оброк копится, а у тебя, брат, и заботушки нет; ведь так нарастет, что и потрохов твоих расплатиться-то не хватит!.. Что же это ты хочешь на мир хомут повесить? Ведь с мира это будут спрашивать-то, а ни с кого! А чем мир причинен? Он вот подведет сейчас

старшину, продаст у тебя последнюю лошаденку и коровенку, он ведь ни на что не поглядит.

— А что ж ты ему этим угрозишь? — заметила матушка.— Его этим не обездолишь, а обездолишь только нас. Ему в Москве ни лошади, ни коровы не нужно.

— Пожалуй, и в Москву не попадешь, оставят миром дома, вот и поживешь.

— Будет грозить-то, дядя Тимофей,— вдруг угрюмо взглядывая на старосту, проговорил отец.— Что ты меня стращаешь-то, ведь я не ребенок.

Староста вдруг распалился и вскочил с места.

— Верно, что не ребенок, а хуже ребенка, потому ребенок что-нибудь чувствует и понять может,— а ты ничего. Ни о ком ты не понимаешь, ни об себе, ни об семейных своих. Есть у тебя голова-то на плечах?

— Есть.

— Так как же она у тебя работает-то?.. К чему это все клонит?.. Нет, мужик, пора и черед знать!.. Будет, подурил, не маленький. Одевайся-ка, пойдем на улицу: я сейчас мужиков позову, мы с тобой всем опчеством потолкуем...

— Мне на улице делать нечего.

— Тебе нечего, так мы найдем что; может быть, взбрызнуть тебя сговорятся...

— Ну это ты погодишь,— сказал отец.— Нонче, брат, не прежние времена; теперь, брат, господ нет, государь-анпиратор отобрал нас и от телесного наказания избавил.

— Кого он избавил-то? Таких, как ты, что ль? Будет он о таких подлецах заботиться! Про таких исправник одну речь ведет: мори их в холодной, пори их как ни попало, а он ведь тоже царем поставлен!..

Отец сразу осекся и будто оробел. Он промолчал. Нечего ли ему было говорить или не хотелось. Староста входил все в больший и больший азарт.

— С вами ничего больше делать не остается, хоть в омут полезай... От начальства выговоры, и от вас грубость... Нет, на это терпения не хватит... Справляйся, справляйся проворней!

— Ступай, что же ты сидишь как стукан? — сказала на отца мать.— Иль думаешь, для тебя зря слова терять будут!

Я думал, отец рассердится и зыкнет на мать; но вышло совсем по-другому. Он даже не кинул на нее сердитого взгляда, а, опустив голову и съежившись, он встал с места,

нагнулся под коник, достал сапоги и начал обуваться. Обувшись, он застегнул ворот рубахи и, обратившись к старосте, проговорил:

— Ну, ступай, сейчас и я приду.

— К Рубцову двору выходи, да поскорей,— сердито сказал староста и, нахлобучив на глаза картуз и не сказав даже «прощайте», толкнул левой рукой в дверь и, нагибаясь под косяк, вышел из избы.

VI

По уходе старосты в нашей избе наступила тишина. Бабушка села у судинки, подперла щеку рукой и пригорюнилась. Мать продолжала шить, изредка поглядывая, как справляется отец; в ее глазах светилось не то торжество, не то злорадство. Отец же ни на кого не обращал внимания. Обувшись, он подошел к окну, нашел на полке гребешок, расчесал им волосы; потом подошел опять к конику, надел свою поддевку, картуз и, ни на кого не глядя, ни слова не говоря, вышел из избы.

— Поди, поди, послушай, как тебя отчитывать будут, а може, еще просиборят,— сказала ему вслед матушка.

— А ты и рада этому! Ах, дура! — с упреком проговорила бабушка.

— Не рада. Чему тут радоваться! Только что же нам теперь остается делать? Камень на шею да в воду? Ведь, правда, у нас последних животов отберут, тогда куда нам деваться? Вон вчуже понимают, что это нехорошо; я только дяде Тимофею-то заикнулась, а он уж догадался, что сделать надо.

— Так это ты привела старосту-то?.. Эх, Мавра, неужели в тебе жалости нету! — с упреком сказала бабушка, и голос ее задрожал.— Я думала, он сам пришел...— Бабушка вдруг умолкла. Мать хотела что-то сказать, но, взглянув на бабушку, прикусила язык. Я тоже поглядел на бабушку и не узнал ее. Господи, как она сразу переменилась! Как быстро сморщилось и постарело ее лицо и как потускнели ее глаза! Мне сделалось ее страшно жалко. Я хотел было броситься к ней и приласкаться, но в это время на улице раздался зычный звон чугунной доски, сзывающий мужиков на сходку. Потом мимо наших окон эти мужики один за одним

потянулись вдоль улицы. Я помыкнулся было тоже бежать на улицу, но бабушка меня остановила.

— Постой, куда пойдешь-то? Посиди дома,— окрикнула меня она.

— Я на улицу.

— Нечего тебе там делать, посиди дома,— настойчиво повторила бабушка, и у меня не хватило духу воспротивиться ей.

Я воротился на свое место, и мне сделалось очень скучно. Мать отворила окно и высунула в него голову. На улице слышались мужицкие крики. Мать захлопнула окно и опять взялась за шитье. Бабушка вдруг поднялась с места и нетвердою поступью вышла из избы.

Вернулась она так через полчаса. Вошла она в избу белая, как мука, только вокруг глаз ее покраснело, и сами глаза блестели необыкновенно. Мать кинула на нее вопросительный взгляд. Бабушка глухим голосом проговорила:

— Повели в контору.

Потом она села на лавку у судинки, закрыла лицо руками, склонилась всем корпусом и всхлипнула; у матери тоже показались слезы на лице, и она вдруг бросила шить и выбежала из избы.

VII

Отец пришел домой вечером. Он был в картузе, сапогах, но без поддевки. Поддевку отец заложил в кабаке и напился пьяный. Он старался казаться веселым: вошел в избу шумно, высоко подняв голову, проворно сбросил картуз с головы и бойко тряхнул волосами. Мать, глядя на него, насмешливо спросила:

— Что, с легким паром, что ль?

Отец поглядел на нее и задорно сказал:

— С легким паром.

— Деревенская баня-то лучше московской?

— Лучше.

— Так, дай бог, чтобы тебя почаще в нее водили.

— Что ж, тебе это желательно?

— Да как же не желательно-то, рада-радешенька была б.

— Ах ты, ты такая-проетакая! — вдруг зыкнул отец, и выражение лица его сразу стало жесткое и свирепое.— Вот тебе

что любо, стерва этакая! — И он подскочил к матери, схватил ее за косы и изо всей мочи дернул к себе. Мать взвизгнула, я заплакал во все горло, бросился к отцу, вцепился ему в руку и заблажил:

— Тятька, что ты делаешь, тятька!

— Сокрушу! — реванул отец и опрокинул мать на пол.

На наш вой прибежала в избу бабушка. Она подскочила к отцу, схватила его за руку и, задыхаясь, прокричала:

— Что же это ты делаешь-то, непутевая голова! Брось, отстань, мерзавец ты этакий!

Отец казался очень рассвирепевшим. Он походил скорее на разъяренного зверя, чем на человека. Я думал, что он матушку в порошок изотрет, но один вид бабушки и ее слова подействовали на него необычайно. Он сразу изменил свой вид, свирепости в нем как не бывало, сила исчезла, он сразу весь опустился и ослаб. Это было очень удивительно, тем более удивительно для меня, что я замечал это не один тот раз, но и прежде и после. Бабушка, худенькая, тщедушная, была для него, должно быть, силой непреоборимой: как только он чувствовал эту силу, так терял свою собственную. Лишь только бабушка выкрикнула эти слова, отец выпустил из рук материну косу; мать катышком откатилась из-под ног отца и, проворно вскочив на ноги, выбежала из избы. Я отошел в угол и ревел там во всю мочь. Бабушка, задыхаясь, начала отчитывать отца:

— Ах ты, пес, худой человек! Сам виноват по уши, а на других зло срывает. Кто тебе, беспутному, велит так жить-то? Ты бы вел себя как люди, тебе и дома б был привет и на людях почет, а то ведь сам своими делами этого достукался!..

Отец сидел на лавке и был точно разбитый; его уже нельзя было назвать ни пьяным, ни буйным, а чувствовалось, что просто человек размяк. На бабушкины слова он забормотал:

— Верно, что сам... Я сам не прав, матушка... Не прав, верно... Только что же я с собой поделаю, скажи мне на милость?

— На путь находи, вот что!.. Пора образумливаться-то... не молоденький... на четвертый десяток идет!.. Ты только подумай это!..

— Как я на путь найду? Как? Коли я с собой не совладаю. Я, матушка, рад бы в рай, да грехи не пускают...

— Врешь! Сам на себя слабость напустил. Верить не хочу, чтобы с собой не совладать. Совладаешь, коли захочешь...

— Матушка, вот тебе истинный бог, не вру... ничего не поделаю... Ведь я не завсегда пью... Работаешь иной месяц, иной больше,— капли его в рот не берешь и горя мало... Табашникам, вон, говорят, без табаку полдня тошно провесть, а это и не думается... А как подойдет случай, выпьешь стакан, ну тогда и пошел, ничем уже себя не сдержишь... Я, може, сколько зароков не исполнил, сколько клясьб нарушил. Я бы сам рад отстать от него, да не могу... Не могу, матушка... пропащий я человек!..

Он вдруг вытянулся по лавке лицом вниз и заплакал горькими пьяными слезами. Он плакал горько, навзрыд. Бабушка, глядя на него, тоже всхлипнула и утерла слезу.

— Ах ты головушка моя горькая! — лепетала бабушка.— Ах я мученица беспросветная! Когда я развяжусь-то только с вами! Снимаете вы с моих плеч буйную головушку!..

Рыданья отца делались тише и тише; потом они смолкли, и стали слышны одни всхлипыванья, при которых сильно вздрагивали его плечи. Потом и этого не стало заметно; послышалось ровное сопенье, а потом легкий храп — отец заснул.

VIII

Его не тревожили до утра. Утром был праздник, петров день. Из деревни почти все поехали в наш город на ярмарку. В эту ярмарку, у кого был лишний, продавали скот, покупали новые косы, бруски, серпы, грабли, провизию на покос. Пора наступала кипучая, нужно было и еды побольше и получше запасти, но нам не с чем было ехать, хотя и было зачем. Праздник встретили не по-праздничному. Особенно угрюмым казался отец. Он сделался много суровей и старше из лица. До обеда он ни с кем не говорил ни слова, хотя из избы никуда не выходил, а или сидел или лежал с задумчивым видом. Да и все наши в то утро мало говорили.

После обеда мать и бабушка послали отца готовить косы на покос. Он пошел и до вечера пробыл у сарая. Отец справил две старые косенки, выбил их, смастерил несколько грабель и к вечеру уже казался повеселевшим.

Присматриваясь к характеру отца, я не мог не заметить такой в нем черты: когда отец работал в покос или в поле или молотил в овине, он редко когда был весело настроен, а всегда был сердитый, точно он выполнял какую немилую, ненужную ему совсем обязанность. Совсем другое дело было, когда ему приходилось работать топором. Он оживлялся, угрюмость исчезала, его охватывало веселое настроение, делавшее его способным шутить, мурлыкать песни. Работу топором он очень любил. Все лето, все свободное время он сидел в устроенном им шалашике около сарая и мастерил что-нибудь. Мне он делал тележку, салазки к зиме, особые грабельки, особый цеп. Матери с бабушкой он устраивал новые станы к гребню, кросны. Вытесывал оси к телегам, грядки к саням. Еще любил он ходить за грибами. Лишь только в лесах покажутся грибы, он в первый праздник или в будни в ненастный день вставал рано утром и отправлялся в лес. Он возвращался оттуда усталый, весь промокший, но той печали на лице, которая ложилась на нем при какой-нибудь хлебной работе, и в помине не было.

IX

До самого ильина дня жара стояла из дня в день. На небе не появлялось ни тучки, ни облачка. С раннего утра поднималось красное солнышко и палило своими лучами сухую растрескавшуюся землю. Даже ночью не выпадала роса, и косцы жаловались, что очень трудно брать траву: и так-то она плохая, без росы же ее половина оставалась на корню.

Пошли слухи, что кое-где загорелись леса, болота. Горели они далеко, но дым доходил до нас. Иное утро дым стоял как туман, пахло гарью, тяжело было дышать. Все просили бога о дожде, но дождя все не было и не было.

Я спал очень крепко и вдруг почувствовал во сне, что наша изба точно встрепенулась и что-то страшно грянуло. Я поднял голову, и по моим слипшимся ото сна глазам вдруг резнуло ярким, ослепительным светом и грянуло еще раз. Потом на улице сильно зашумело и начало барабанить нам в окна. Я хотел с испугу схватиться за бабушку, но бабушки на постели не было; я окликнул ее, она отозвалась около печки,

и тотчас же я увидел, как из печки вздулся огонек: бабушка зажигала лучинку. Я спросил ее, что это? Бабушка отвечала:

— Гроза собралась — не слышишь, нет?

Вслед за этим раздался такой оглушительный раскат грома, что изба опять вздрогнула, стекла задребезжали. Бабушка с лучиной в руках пошатнулась и тотчас истово перекрестилась и прошептала:

— Свят, свят, свят, господь бог наш!

С меня соскочил сон, я спрыгнул с постели, подбежал к окну и стал глядеть сквозь стекла на улицу; на улице шел такой сильный дождь, что стекла заливало водой и сквозь них минутами ничего не было видно.

Гроза продолжалась до света только. Перед восходом солнца она стала утихать; гром гремел реже и глуше, дождик ослаб, буря перемежилась. После солнечного восхода прочистилось и небо. На улице сразу все повеселело. Трава точно выросла и стала ярко-зеленою. Листья на деревьях весело смеялись, воздух освежился. У нас в избе все стало хуже. Что делалось внутри ее — грустно было глядеть: стены взмокли; на лавках, на шестке, на судинке, на полу стояли грязные лужи, из щелей потолка висели огромные капли побуревшей от сажи воды, которые, обессилев держаться вверху, обрывались и падали, шлепая, на пол, а на их месте тотчас же образовывались другие. Наша с бабушкой постель, разное тряпье — все было смочено. На брусу размокла краюшка хлеба, и только бывший в столе хлеб уцелел. Пролило все и в сенях и в горенке. У бабушки сундук был с дырявой крышкой, так вода прошла даже в сундук и смочила там все, так что бабушке и перемениться было не во что. Наши все ходили нахмурившись, грустные. На работу в этот день не ходили, и отец с матерью все утро были дома. Затопивши печку, бабушка вдруг не выдержала и, обращаясь к отцу, сказала:

— Ну вот, сынок, порадуйся, какие у нас дела. Видишь, у нас решето, а не изба; как же нам будет зимой в ней время коротать? Подумай-ко хорошенько?

Отец ничего не сказал; мать проговорила:

— Он там в Москве этой нужды-то не видит, вот и не понимает.

— Аккурат так! — угрюмо пробурчал отец.

— Знамо, не понимаешь,— продолжала мать,— если бы

понимал, то не так бы старался, а ты только о своем мамоне знаешь.

— Ну, опять пошла! — недовольным голосом крикнул отец.

— И пойдешь, нешто не пойдешь, как достанет-то.

Отец вышел из избы, сердито хлопнув дверью. Мать прикусила язык и глубоко вздохнула.

— Ну, как он только не чувствует этого, батюшки!

И она опять прерывисто вздохнула; бабушка на это ничего не сказала.

Началось жнитво, но оно в тот год не затянулось, рожь была погонистая. Стали молотить. Кто намолачивал две меры с сотни, кто и того меньше. Наши наколотили двадцать мер, из них двенадцать нужно было посеять, а остатком отдать долги да кормиться зиму. Решили убавить посева. Ярового получили только отдать в магазей, за работу попользовались лишь соломой да мякиной. На подати и на что другое продать было нечего на грош. Дело подходило совсем плохо.

— Что ж нам теперь делать? Что делать? — говорила матушка и всю грудь надорвала вздыхая.

Бабушка молчала, молчал и отец.

Осенняя работа подобралась скоро. Нужно было что-нибудь решать на зиму. Отец однажды проговорил:

— Если нам, матушка, вот что сделать?

— Что? — спросила бабушка.

— Обоим с Маврой в Москву-то идти, приделиться где-нибудь на одной фабрике; выработаем-то побольше, да и я-то с ней поддержусь.

Бабушка задумалась. Подумавши, она проговорила:

— А что ж нам-то со Степкой будет делать? Останемся мы старый да малый, нас снегом занесет, не откопаешься.

— Бог милостив, как-нибудь все проживете, а мы вдвоем-то и на иструб скорей выживем и подати покроем.

— Как ты думаешь, Мавра? — спросила бабушка у матушки.

— Что ж думать, надо как лучше! — вздохнув, вымолвила матушка.

— Знамо, как лучше, кто про это говорит, только лучше-то как?

— Я, пожалуй, поехала б и в Москву.

Бабушка опять задумалась; подумавши, она вдруг решительно поднялась с места и проговорила:

— Ну, коли поехала б, и поезжайте. Дай бог час! Только гляди, Тихон, не дурить тебе там. Пора опомниться!.. Ни для кого это, а для себя... У тебя вот малец растет; если будешь блажить, то и от него тебе не будет почета и от меня моего родительского благословения!

Бабушка прослезилась и утерла концом платка глаза. Отец и мать, насупившись, молчали; было и грустно и тягостно.

X

После этого отец с матерью принялись усердно ухищать нам на зиму избу. Они замазали углы ее глиной и обгородили завалинкой. На потолок натаскали костры, дыры в повети затыкали пуками соломы, навозили нам дров и лучины и пошли просить у старосты паспорта.

Они пошли оба, так как ни отец, ни матушка отдельно не хотели идти: боялись ли? Стыдились ли? Оба они очень робели. Матушка говорила: «А ну-ка он не даст паспорта»,— и сейчас же изменялась в лице. Они пошли; и много времени прошло, пока они не воротились. Воротились они с теми же тревожными лицами, как и пошли, но с ними пришел и староста. Он вошел в избу суровый, медленно перекрестился, поклонился бабушке и проговорил:

— Вот, тетка Прасковья, мы к тебе на рассудок пришли. Они вот в Москву хотят, а кто же подати, ты, стало быть, будешь платить?

— Коли пришлют денег, и я заплачу,— молвила бабушка.

— Вот то-то и оно-то, если пришлют! А если не пришлют, тогда с кого требовать? Я тебя в контору не могу весть, что ж мне тогда, яловому телиться?

— Да ведь и дома они ничего не высидят — все равно ведь... проживут зиму, все подъедят, подобьют, а ничего из этого не прибудет. Ну, что у нас из дому взять?

— Что верно то верно!.. Только то, по крайности, будет кого в волость стащить, а то и того не будет, ты это рассуди!

Староста долго думал и, вздохнув, сказал:

— Я отпущу, мне что ж, только вот что: десяточку вы мне уплатите.

Матушка всплеснула руками.

— Да где ж нам взять-то, батюшки вы мои? Десяточку! Да что ты, дядя Тимофей, сказал-то?

— Это десятку тебе, да на пачпорта, да на дорогу, много денег нужно,— угрюмо проговорил отец.

— Это ваше дело, ваша и забота, а без того я отпустить не могу. Сами посудите, вы хорошо знаете, сколько за вами? Да вот к новому году еще прибавится. Когда мне их с вас выручать-то?

Староста встал с места и стал надевать шапку.

— Нам десятки негде взять,— проговорила мать,— хоть живых в землю закопай.

— Поищите, може, найдете,— вымолвил староста и вышел из избы.

Дело нужно было решать, и этому помогла бабушка. У нас было две овцы и четыре ягненка. Мать лелеяла думку — зарезать ягнят и из овчин сшить мне шубу. У меня еще до сих пор не было теплой одежонки. Когда же решили отцу с матерью ехать в Москву, тогда надумали продать и больших овец, а вырученные деньги употребить отцу с матерью на паспорта да на дорогу. Бабушка сказала, коли продавать, так всех овец продавать, старых и молодых, а чтобы не обидеть меня, то мне на шубу уступила свою старую шубенку.

— Ну, а как же ты-то? — сказала матушка.

— Ну, а я кое в чем пробьюсь.

Отец с матерью не сразу согласились на это, но бабушка настойчиво разъяснила им, что это самое хорошее дело, и убедила их. И как только в деревне появился мясник, так наши показали ему овец и продали их; продали также и бывшего у нас теленка.

— Ну, вот — так-то лучше,— сказала бабушка, поглядывая па оставшихся у нас всего-навсего двух животов и криво усмехаясь,— и забот меньше: ходи тут за ними, зиму зимскую-то, а то со двора долой и из сердца вон!

Из вырученных денег снесли пять рублей старосте; староста хотя и поломался, но и за пятерку дал отпуск. Тогда наши стали справляться в Москву.

Было осеннее утро. Я крепко спал и не думал еще подыматься. Вдруг слышу, как меня кто-то дергает; я открыл глаза, вскочил на месте и стал протирать глаза. Передо мной стояла мать. Она была обувшись, одевшись, голова была повязана теплым платком. Голосом и нежным и грустным она говорила:

— Степа! а Степа! Вставай прощаться, мы сейчас уйдем.

Мне стало и грустно и жалко расставаться с матерью. Я взглянул на отца, тот подтягивал кушаком недавно выкупленную поддевку. На приступке лежала котомка. Бабушка стояла у простенка и глядела печальными глазами, как наши собирались в путь.

— Смотри, Степочка,— сказала мать,— не балуйся тут, пособляй бабушке в сарай ездить за водой; береги тут ее, слушайся, на улице не озорничай; приведет бог устроиться нам, гостинца тебе будем присылать.

Я ничего пе сказал. Матушка обернулась к отцу и проговорила:

— Ну, совсем ты?

— Совсем.

— Ну, давай богу молиться. Господи благослови!

Все стали перед иконами и начали молиться. Затем отец поклонился бабушке и проговорил:

— Ну, матушка, прости, Христа ради.

— Бог простит, бог благослови, дай бог час!

И бабушка поцеловалась с отцом, потом она попрощалась с матерью. Отец подошел ко мне и тоже поцеловался. Матушка обняла меня и прослезилась.

— Ну, сынок, помни, что я тебе наказывала.

Я заревел. Наши вышли из избы, бабушка пошла провожать их; когда она вернулась, я не помню, так как опять уснул.

XI

Осень подходила к концу. Деревья все уж почти оголились, скотину перестали гонять в стадо; стояли заморозки; бледное, холодное, точно оно вылиняло за лето, солнце выглядывало редкий день. Больше ходили облака, и шумел ветер. Ветер при небольшом морозе нагонял столько холоду, что не хотелось выходить на улицу, и я не выходил, пока мне не справили одежину.

После михайлова дня закрутила погода, пошел снег и покрыл всю землю. Корм и воду мы с бабушкой стали возить на салазках. Бегать с ребятишками мне приходилось только по улице; за сараями и в лесочке за овинами снег лежал на пол-аршина, и в нем вязла нога. Вскоре и по улице стало можно бегать только посредине, где протира-

лась санями дорога, да по дорожкам у двора. Навалило сугробов. Установился санный путь. Наш староста поехал на двух лошадях с овсом в Москву.

— Не привезет ли он нам какого слуху об отце с матерью.

Староста привез слух. Он видел отца у нашей заставы. Он сказал, что оба они поступили на место. Отец отдал старосте еще пять рублей в оброк, а нам с бабушкой прислал мешок муки. Хотел было и гостинца прислать, да денег не хватило.

— А не выпивши он? — спросила бабушка.

— Нет, трезвый.

— Слава тебе господи! — сказала бабушка и истово перекрестилась.

И с этих пор дни для нас с бабушкой пошли как-то веселей. Мы ходили за скотиной, убирались в избе. Днем я убегал на улицу или к товарищам. Она тоже куда-нибудь ходила: или в повитухи, или к корове, которая не растеливалась, а не то еще куда. Вечером к нам кто-нибудь приходил. Бабушка с ними разговаривала, я слушал, пока не засыпал. Если никого не было, то бабушка рассказывала что-нибудь мне про старину, про то, как у нас француз воевал, как литва приходила и как в нашем городе оборонялись от нее. Наш город стоит на горе. Когда литва к нему подступила, то горожане забрались на вал, наварили горячего киселя и обливали им неприятеля; этим будто бы они и прогнали литву.

XII

Одинаково мы проводили дни, одинаково вечера. И, верно, этак бы прошла вся зима, если бы совсем нежданно-негаданно среди нас не появился бы новый человек и не внес в нашу жизнь неожиданную перемену.

Дело было около масленицы. Стали ясные дни. Солнце при восходе ударяло в нашу избу и как-то оживляло все. Думалось, что оно делается сильнее и сильнее, светит ярче и резче. Выйдешь, бывало, на улицу, взглянешь на снег, и у тебя зарежет глаза. Проснешься утром, увидишь этот луч — и на сердце чувствуется веселей. В одно утро я проснулся уже поздно. Бабушка истопила печку и закрыла

и дверь и дымовое окно. Было тепло. Я подошел, еще не умывшись, к окну и стал глядеть на улицу.

Я долго сидел так. Вдруг дверь отворилась, и в избу вошел высокий худощавый старик. Он был в лохмотьях, обут в чуни, с палкой в руках. Короткая, курчавая с сильной проседью борода его вся обмерзла сосульками. Заиндевели даже веки, оттенявшие черные, выразительные, как у молодого, глаза. Он помолился богу и, околачивая одну ногу о другую, проговорил:

— Мир этому дому! Здорово поживаете? Как вас милует бог?

При этом он с тревогой в глазах остановился на бабушке. Бабушка с удивлением уставилась на старика. Я тоже глядел на него, разинув рот. Мы ни таких нищих, ни странников не видали, и оба недоумевали, откуда только взялся он.

Старик долго околачивал ноги, потом сдавленным голосом, словно кто его держал за горло, проговорил:

— И ты меня не узнаешь, и я тебя не разберу. Ведь это дом Братцевых?

— Был когда-то Братцевых.

— А ты-то из этой семьи?

— Из этой.

— Кто ж ты такая? Неужели Прасковья?

— Прасковья,— сказала бабушка.

— Теперь вижу, что ты,— молвил старик, обрывая на бороде сосульки.— Ну, теперь скажи мне, кто я?

Бабушка растерялась и изменилась из лица. Она долго стояла, не двигаясь ни одним членом, ни одним мускулом; вдруг она всплеснула руками и воскликнула:

— Илья! Да неужто это ты?..

У старика сразу появились на лице краски, и глаза подернулись слезой.

Я тут же смекнул, что это был дедушка Илья, тот брат дедушки, которого отдали в солдаты.

— Вот узнала, бог дал! — сказал он.— Знамо, я ваш Илья,— и он подступил к бабушке и потянулся к ней целоваться. Бабушка обвила его шею руками и поцеловалась с ним крест-накрест три раза.

— А это кто же такое, чей он? — взглянувши на меня, спросил старик.

— Это Тихона, сына моего, сынок,— вымолвила бабушка, и я видел, как у ней тряслись руки и ноги. Она до того была

взволнована, что не знала, ни что делать, ни что говорить.

— Да откуда это тебя бог принес-то? — сказала бабушка с невыразимым удивлением и вдруг всхлипнула. Старик круто отвернулся и стал скидывать с себя лохмотья.

— С того света, должно,— глухим голосом сказал он.— Небось меня и в живых-то не считали?

— Как же считать, коли об тебе ни слуху ни духу? Ведь больше тридцати годов прошло, как тебя взяли-то от нас, сам посуди!

— Да, времечка прошло немало! Я и сам уж не думал, что сюда попаду: думал косточки положить на чужой стороне, да вот пришлось и на родное пепелище попасть.

Голос старика стал тверже, но в нем звучала такая грусть, что и я тогда легко это подметил. Он замолчал и начал медленно потирать руки, видимо чтобы отогреть их.

— Да откуда ты только пришел-то?

— Погоди, мать, расскажу, дай маленько очувствоваться да озноб прогнать; я хоть на своем двоем ехал-то, а порядком продрог. Я сегодня из города припер, верст пятнадцать, чай. Мороз, да к солнцу-то, а бобры-то на мне вишь какие!

И он стащил с себя кацавейку и положил ее на приступку; под кацавейкой на нем была овчинная прижимка и синяя рубаха.

— Груди-то у меня тепло, только вот коленкам холодно, да ноги вот словно затекли, крепко я их оборами стянул.

— Разуйся; на, я тебе свои валенки достану, а чуни-то на печи посушу.

— Давай, это дело хорошее, ногу в тепло, славно.

Старик сел па коник и стал развертывать оборы. Бабушка послала меня на печку за валенками ему, а сама села на лавку и, качая головой, заахала:

— Ведь вот дивушко-то дивное!.. Где бы кто подумал, что ты как снег на голову свалишься? Другое время сны какие-нибудь видишь, а теперь и во сне-то ничего не снилось... Ах ты, батюшки мои!..

— Не стукнул, не брякнул, а гость подошел! — пошутил старик.

— Как ты только нашел нас, али спросил кого?

— Никого не спрашивал, а шел прямо, и все тут. По липе напротив да по коньку на избе и узнал. Новые-то избы все с захмылом, а эта на старинный лад.

— Все она у нас та же, из которой ты пошел. Григорий

вон отделился и новую выстроил, Ликсей тоже в другую хоромину переселился... а нас в старой оставил.

Бабушка всхлипнула и расплакалась.

— Что ж, помер?..— спросил старик.

— Годов восемь уж, с весны девятый пойдет.

— Царство ему небесное! А дядя Парфен?

— Тоже богу душу отдал.

Старик стал поминать еще какие-то имена, мне совсем неизвестные. Бабушка отвечала ему. Старик, вздохнув, проговорил:

— Знать, моя только смерть заблудилась. Эх-хе-хе!.. И он глубоко вздохнул и сразу опустился весь.

Опять наступило молчание. Немного спустя старик снова поднял голову и стал расспрашивать:

— Сколько у тебя было детей?

Бабушка стала рассказывать, старик слушал ее, понурив голову. Вдруг бабушка спохватилась и воскликнула:

— Что ж я тебя словами-то угощаю, о другом-то забыла. Ты небось поесть хочешь?

— Да, пожевать чего, пожевал бы: я сегодня еще ничего не ел.

— Садись к столу-то, я тебе сейчас соберу. Степка, умывайся и ты садись с дедушкой. Это ведь дедушка тебе, родной дядя твоему отцу.

Я умылся и сел за стол, но мне совсем не хотелось есть. Я глядел на пришедшего к нам неожиданно дедушку, слушал его слова,— вспомнил рассказы про него про молодого, и, сам не знаю почему, в сердце мое закралось чувство небывалой грусти. Чувство это все более и более росло и так сжало мое сердечко, что я уже не видел свету. Бабушка, заметив, что я не ем, вдруг проговорила:

— Что ж ты-то, дурашка?

Вместо того чтобы мне приняться за еду, я вдруг горько заплакал. И бабушка и дедушка Илья очень этому удивились. Дедушка Илья проговорил:

— Это он меня боится, глупый! Погоди, меня нечего бояться, мы с тобой такими приятелями будем, что нас водой не разольешь.

Поевши, дедушка Илья полез на печку и улегся там.

— Вот это хорошо,— сказал он,— погреются мои косточки... Ох косточки, косточки, много они видели на своем веку!..

— Ты давно из солдат-то? — спросила бабушка.

— Давно...

— И на войне был?

— В Севастопольскую войну был, только не в Севастополе сидел, а с туркой дрался.

— Что ж ты после солдат-то домой не пришел?

— Не время было, должно: захотелось свет поглядеть да себя показать.

— Много ты видел на свете?

— Будет с меня, по степям ходил, в казатчине жил, в остроге сидел, всего тяпнул, только добра не нажил, а остался под старость яко наг, яко благ.

У дедушки пересекло в горле, и он умолк. Он молчал несколько минут, потом глубоко вздохнул и стал кидать коекакие слова бабушке. Он спрашивал, какие были в последнее время господа, как объявили волю, как устраивались после воли. Бабушка все ему говорила. Дедушка наконец спросил:

— Что ж народ-то, какой жистью больше доволен: что прежде была али теперь?

— Теперь, знамо, вольготнее, что говорить, только угодья нет. Если бы тогдашние угодья...

— Нешто не всю землю-то отдали мужикам?

— Где всю! Больше чем третью часть отхватили, да еще самые хорошие места. Помнишь мелкий лес, мы ведь весь его косили? А княжий-то лужок да дорожный огорок? А теперь все это господам отошло, а у нас осталась на поле глина, а по ручьям острец. Бывало, в покосы-то и сараи набьют кормом и копен накладут, а нонче накосят и видеть нечего; кто купит нешто, у того побольше.

— А за землю плату-то положили?

— Как же, неужели задаром?

— Это значит волю дали!.. Ха-ха-ха!..— злобно засмеялся дедушка Илья и поворотился навзничь. Он перестал задавать бабушке вопросы и умолк.

— Ты, може, спать хочешь, так усни,— сказала бабушка.

— Пожалуй, усну,— молвил дедушка и глубоко вздохнул.

Бабушка приумолкла и отошла в угол; я оделся и побежал на улицу.

Когда я вернулся с улицы, дедушка Илья все еще спал, бабушка сидела на лавке и починяла отцовскую рубашку. Я спросил, на что это рубашка; бабушка отвечала, что дедушке Илье.

— Что же этот дедушка-то, у нас будет жить?

— У нас.

— Что же он будет делать?

— Тебя грамоте учить.

— А он не сердитый?

— Как будешь стараться.

Бабушка вдруг поднялась с места и проговорила:

— Ну, ты посиди маленько дома, а я к дедушке Григорию пойду, скажу им, какой к нам гость-то пришел; може, придет навестить.

— Ну, ступай.

Бабушка накинула на себя одежину и ушла. Она ходила долго; когда она пришла, то видно было, что она не в духе.

— Что ж ты дедушку Григория не привела? — спросил я.

— Пойдет твой дедушка Григорий! Только услыхал, затрясся весь: боится, на его шею не навязался бы; пе бойся, не навяжется: проживет как ни на есть у нас.

Вскоре после этого дедушка Илья проснулся; оп поднял голову, свесил ноги и закашлялся. Он долго кашлял, насилу перевел дух и сказал:

— Вот он сколько годов так мучит: то ничего-ничего, а то вдруг как нахлынет, того гляди глаза на лоб выпучишь.

— Где же ты его подхватил?

— Где-нибудь простудился. Ноги, руки вот ломят, да он донимает...

Дедушка Илья тяжело дышал. Он весь опустился. Давеча оп казался бодрее и крепче, а теперь стал вялым, с тусклыми глазами. Кряхтя, он спустился с печки, подошел к конику, сел и опустил голову.

— Что это, мне слышалось, вы Григорьево имя поминали? — спросил он.

— Поминали; я ходила к нему, о тебе сказывала.

— Ну, что ж он?

— Ничего. Бабы говорили, чтобы ты пришел к ним.

— Ты, говоришь, они хорошо живут?

— Первыми из деревни. Он бурмистром ходил, а теперь сын в Москве в артели, а он по дому торгует.

— Вас-то он не покидает?

— Нам он теперь чужой. Что ж ему об нас заботиться, мы ведь разделились по согласию.

Бабушка, видимо, старалась, как бы не сказать про дедушку Григория чего-нибудь дурного; но дедушка Илья по тону догадался про все. Он вздохнул и спросил:

— Неужели не выручает?

— Кой-когда не оставляет, знамо в долг.

— Ну, еще бы! Торговому человеку нешто можно помочь оказывать,— в убыток. Эх, хе-хе! Вот все так... Наш брат как залез в богатство, так забыл и братство... Все так...

Бабушка оборвала неприятный разговор и стала собирать обедать; после обеда дедушка Илья сказал:

— Ну, что же, малый, веди меня к дедушке Григорию, показывай, где он живет.

— Сходите, сходите! — проговорила бабушка.— Только не принимай ты к сердцу, если он худо с тобой обойдется. Бог с ним, видно, он уж такой человек.

— Да уж перенесу все, мы не такие виды видали,— проговорил, горько улыбаясь, дедушка Илья.

XIII

Дедушка Григорий жил на том конце деревни, который упирался в речку. У него было две избы, между ними широкое тесовое крыльцо. Крыты избы были хотя и соломой, но под щетку, прочно и гладко. Дедушка держал много скота, и скот у него был отменный изо всей деревни. Все у него было лучше, чем у людей. Полосы его в том же поле породили против людей вдвое-втрое; куры неслись чуть не круглый год, овцы скорей плодились. Дедушка хозяйство любил и только и занимался что им, хотя сам мало работал. У него круглый год жили работник с работницей, а в покос и жнитво работали толокой или за какое-нибудь одолжение или просто за вино. Работнику с работницей у него доставалось. Никто у него больше года не жил. Жаловались на строгость и скупость его. Скупы в семье дедушки Григория действительно были все на подбор. Они боялись, как бы работники у них не прогуляли часу, не съели лишнего куска. Из-за этого они и хлеб пекли невкусный. Они каждый день пили чай, но работникам выдавали к чаю только по одному пиленому куску сахару и чай наливали такой жиденький, про который говорили в шутку, что сквозь него Москву видно. В избах у них

стояла грязь, в теплушке бродили ягнята, телята, хрюкал поросенок. Тут же на стенах висели хомуты, кисла лохань с помоями для скотины. Тараканов и клопов у них всегда было хоть пригоршней греби. Только передний угол отличался тем, что был уставлен образами и под праздник перед этими образами горело несколько лампад,— так только во всей деревне водилось у них одних.

Жена дедушки Григория, бабушка Татьяна, была не совсем здорова. Она никаким делом не могла заниматься, а только ходила за ребятишками — внучатами. Хозяйствовала вместо нее их сноха, тетка Авдотья. Бабы были дедушке под стать: суровые, скупые и требовательные к другим. В деревне они никого не уважали и полагали, что лучше их, пожалуй, никого в округе нет.

Когда мы пришли к дедушке Григорию, то и сам он и бабы были дома. Дедушка Григорий сидел за столом и перелистывал большую, должно быть долговую, книгу. Бабушка Татьяна помещалась с одним из мальчишек у окна и чесала ему голову, а тетка Авдотья сеяла муку в теплушке. Дедушка Григорий был небольшой, сутуловатый старичок с реденькою бородой и поседевшею головой; он был в новой полукрасной рубахе, подпоясанный плетеным поясом, на носу его сидели очки. Когда мы вошли в избу, он медленно снял очки, положил их на книгу, оперся правой рукой на лавку и уставился на нас. Пока дедушка Илья молился и раскланивался, здороваясь со всеми, он пристально глядел на него, как будто на какого незнакомого, и, должно быть, вид дедушки Ильи ему не понравился, так как на лице его появилось недовольное выражение.

— Здорово, здорово! — сказал дедушка Григорий каким-то приторным тоном.— Этот новоявленный-то? Тебя, Ерошкина мать, и не узнаешь!

Бабушка Татьяна тоже поглядела на дедушку Илью с большим любопытством. Тетка Авдотья бросила сеять муку, вошла в эту половину избы и остановилась у стены.

— Проходи вот сюда, садись! — сказала бабушка Татьяна, снимая с лавки и отпихивая от себя мальчишку.

Дедушка Илья прошел и сел. Он чувствовал себя, должно быть, неловко от этого холодного приема. Ничего родного и душевного не высказалось при встрече его; будто бы он всем им был совсем чужой, ненужный, скорей лишний человек.

— А мы тебя, Ерошкина мать, и в живых не считали,— сказал дедушка Григорий,— как угнали тебя, так словно ты в воду канул: ни письма, ни грамотки.

— Далеко был, думал, что никакая весть не дойдет,— сквозь зубы проговорил дедушка Илья.

— Где ж ты побывал, где послуживал?

— Везде побывал, исходил земли не мало... Видел горького и сладкого...

— С твоим ндравом, Ерошкина мать, этого и нужно было ждать,— сказал дедушка Григорий и покосился на лохмотья дедушки Ильи.

Дедушка Илья вздохнул, по губам мелькнула чуть заметная улыбка, и он, делаясь бодрее, проговорил:

— Понятная вещь, кто правду возлюбит, тот всегда себя погубит,— такой порядок. Ты вон небось и не знаешь, что такое за горькое па свете?

Тон речи дедушки Ильи сделался резкий, хотя он, кажется, и старался скрыть его. Дедушке Григорию не по нраву пришелся этот тон, и он заговорил:

— Видали всего и мы. Что ж мы, Ерошкина мать, нешто не люди? И нам приходилось стараться и заботиться. Меня, как покойный барин, Ерошкина мать, взыскал милостью, назначил в бурмистры, так нешь легко было?.. Опять, как воля вышла, нешто, примерно, сладко? Бывало, за барином — как за каменной стеной, а тут, брат, Ерошкина мать, на себя надейся, сам себе помогай. Отделился-то я,— не бог весть что досталось, а я вот, Ерошкина мать, все завел и все вот держу.

— А Ликсеевым, вон, и держать нечего осталось! — с горечью сказал дедушка Илья.

— Вольно ж!.. Вольно ж, Ерошкина мать! — вдруг загорячился дедушка Григорий.— Они от себя упустили. Кто ж виноват, что у Ликсея башка-то не работала? Али, Ерошкина мать, Тишке-то зачем такую волю давать? Он лодыря строит, а на него и глядеть? В солдаты его без зачета!.. Он такой-проэтакий, даром что лодырь, а тоже, Ерошкина мать, гордость имеет. К дяди-то покосить или овин обмолотить пе придет,— а что у него, руки отвалились бы? Жрать, Ерошкина мать, нечего, а спины согнуть боится. А как стукнет нужда-то — идут скучать! А что мы, свое добро-то во щах вытянули? Нам оно тоже достается, а другие на него, Ерошкина мать, глаза пялят.

Дедушка Григорий так взволновался, что покраснел, и голос его сделался тонкий и резкий. Дедушка Илья с усмешкой поглядел на него и молвил:

— Не горячись! Никто у тебя твоего не оспаривает, твое у тебя и останется, только других не осуждай: у тебя своя линия, а у тех своя. Такая, знать, судьба!

— Я не осуждаю... а я, Ерошкина мать, только дело говорю. Кто заботу имеет, тот и просвет видит и все такое, а кто не старается, тот всегда в нужде колупается, это брат, Ерошкина мать, верно.

— Не стараньем люди добро наживают... Пословица-то не зря говорится: от трудов праведных не наживешь палат каменных.

— Мы и не в палатах, Ерошкина мать, живем, ишь у нас хоромы-то не лучше других,— сказал дедушка Григорий.

— Не про тебя и речь идет,— опять с усмешечкой молвил дедушка Илья.— Ты, може, работать горазд, вот у тебя во всем и достаток, а я про тех в уме держу, кто сам ничего не делает, а к нему валится со всех концов.

Дедушка Григорий густо покраснел, и глаза его загорелись такой ненавистью к дедушке Илье, что он уж не мог скрыть ее. Незнамо для чего он взял свою книжку, раскрыл и уставился в нее. Мне заметно было, как у него дрожали руки. Поглядев в книгу, оп вдруг захлопнул ее, отпихнул в сторону и сказал:

— По нынешним временам в деревне кому хошь, Ерошкина мать. трудно жить. Времена не те стали. Нонче всякий, кто ни на есть, Ерошкина мать, храп имеет, и нет с ними никакой справы. Бывало, хорошему человеку-то не то что грубое слову, а все почет отдают, а нонче какой-нибудь прощелыга, а уж тебе, Ерошкина мать, глаза колет.

— Так поди в волости и пожалься, може, и теперь хорошего человека послушают? — насмешливо вымолвил дедушка Илья.

— Куда мне жалиться, на кого мне жалиться, что ты, Ерошкина мать, говоришь?

— Я знаю, что я говорю, и понимаю, авось не маленький,— сказал дедушка Илья и громко вздохнул.— Чудное дело! Пришел я к Прасковье — нищета, убожество, уж и видно, что плохо, ан и обласкала тебя и обогрела тебя, и на судьбу не очень жалится. Пришел к тебе, все видно хорошо, а ты ноешь и не знаешь, как от меня отделаться! Отчего

это? Или это вот как пословица говорится: иного человека употчуешь кусом, а иного не употчуешь и гусем?

— Не знаю, Ерошкина мать, я про себя говорю, а как там другие, не знаю...

Дедушка Григорий замолчал. Он или не находил, что говорить, или ему не хотелось уж и говорить с дедушкой Ильей. Замолчал и дедушка Илья. Бабушка Татьяна поглядела на них и молвила:

— Ну, что это вы так сидите? Ты бы, Григорий, сказал Авдотье,— она бы самоварчик поставила, да чайком бы брату погрел косточки.

Дедушка Григорий нехотя взглянул на дедушку Илью и проговорил:

— Ну, не велик барин-то; оп, чай, Ерошкина мать, скусу в чаю-то не понимает. Ему бы вот винца стаканчик, да на грех, Ерошкина мать, вина-то у нас нету.

— Небось есть...— заикнулась было бабушка Татьяна.

— Нету! — твердо отчеканил дедушка Григорий и так поглядел на бабушку Татьяну, что та сразу прикусила язык.

— Угостит, когда-нибудь,— с напускною веселостью сказал дедушка Илья,— не в последний раз, чай, видимся-то!

Дедушка Григорий пытливо взглянул на брата, как бы желая понять, что значат эти слова, и отвернул глаза в сторону и стал глядеть в окно. Бабушка Татьяна хотела что-то спросить дедушку Илью, но он поднялся с места и проговорил:

— Ну, нам, видно, и идти пора. Прощайте, пока!

— Прощай! — сказал дедушка Григорий и не поворотил даже в нашу сторону головы.

— Опять ходи,— сказала бабушка Татьяна,— пригадывай к обеду когда, а то у них-то, чай, голодно.

— Голодно да просто,— сказал дедушка Илья,— а где просто, там ангелов со сто.

С этими словами мы вышли из избы.

XIV

Когда мы пришли домой, дедушка Илья был печальный, опустившийся. Он разделся, сел на лавку и заговорил:

— Ну, милая невестушка, Прасковья Ефимовна, скажи мне на милость, с чего это наш братец разлезся так?

— Торгует он, ну, чай, барыши получает,— уклончиво ответила бабушка.

— Да ведь это ж какие барыши, небось они не сотнями к нему валятся? А потом, торговлю-то с чего он начал? С одними блохами ведь ничего не заведешь.

— Иван хорошо в Москве живет, он ему подает.

— А Иван-то живет в артели, а в артель-то поступить тоже нужно деньги. А он еще в то время отделился и новую стройку заводил?..

Бабушке волей-неволей пришлось намекнуть на господский магазей. У дедушки Ильи загорелись глаза.

— Ну, вот это дело ясное! — воскликнул он.— Это теперь понятно...

После этого он глубоко вздохнул, впал в печальный тон и продолжал:

— Нет у пас на белом свете ни одного дела, чтобы люди до него правдой дошли. Не туда, видно, дорога идет. К кому ни приглядись, кто отменно от других живет, кого ни колупни, кто если и выделился из других, то верно штуку какую-нибудь устроил, чужбинки захватил. И это везде так, по всей святорусской земле. Нагляделся я, милая невестка, много на своем веку, и что я ни видал и что ни слыхал, если хорошенько разобрать умному человеку, одни слезы. Нет ходу правде святой,— нет привету чести и совести,— не ко двору они ни у вышних, ни у нижних. Кто нахален да смел, тот все и съел, а правильный человек хоть живой в гроб ложись, никто для тебя и пальцем не шевельнет, вот ей-богу правда!

Стало это мне открываться еще в молодости моей, с тех пор, как я барский приказ не исполнил. Из-за чего я не исполнил?.. Свою мужицкую кровь пожалел; а эта же мужицкая кровь по барскому приказу так мне руки скрутила, что я думал, и лопатки-то в спине не уцелеют... Словно я их обидел-то... И потом на службе-то что я перевидел!.. Эх, и вспоминать-то не хочется!.. Как забрили меня тогда, определили в полк и погнали меня в город Обоянь: там в то время наш полк стоял. Стояли солдаты по деревням, и так-то плохо держали солдат. Амуницию дают кой-какую, провианту мало. Назначили меня рекрутом, а к рекруту приставили дядьку, а всякий дядька только тем друг перед дружкой выхваляется, кто кого собачей. Ты ему подвластен, он и рад этому и норовит над тобой помытариться.

Господа бывают подлецы, а свой брат, как повыше поднялся, норовит подлей подлеца быть. Ты у него, бывало, пикнуть не смеешь, даром что ты знаешь и понимаешь-то, может, больше его. Перво-наперво амуницию ему вычисть, а бывало, какая амуниция-то: ремни па тесак и у ранцев белые, их нужно мелом натирать, потом ружье, кивер пуговицы. Сапоги в обтяжку, ученье долгое, сам-то себя едва уходишь, а тут еще дядька! Малость чего не потрафишь, он тебя в зубы, взводный в зубы, фитьфебель в зубы. Искры из глаз сыплются, а ропотать не смей. А тут еще грабеж провианту: по третьей части до тебя не доходит, через сколько рук-то они проходят и все прилипает. Дойдет до тебя так-то, а ты и не знаешь: есть ли его или воробьям скормить?

Год так прошел, другой, третий, взяло меня отчайство. Невмоготу жить с такою совестью. Видишь — кто понапористей да побессовестней, тот и табачок покуривает, и водочку пьет, и сдобниками питается, и говядинки частичку урвет, а как с совестью — так хоть пропадай: ни украсть, ни попросить. У других друзья-приятели ведутся, а ты все один: потому ни к кому подделаться не сумеешь... Объявили поход, думаю: ну, вот теперь получше будет, послободней. Война; люди почуют смерть, помягче будут, перестанут друг дружку грызть... Ан не тут-то было! Кто подлецом был, подлецом и остался, а зверь зверем, никак еще лютее... Говорили, что и рационы нам больше пойдут — харчи получше, ан еще к границе не подошли, а уж у пас сухарей не хватает. Многие идут в сапогах, а подметок-то нет. Ход быстрый, кто отстает, того в палки, а нешто по доброй воле отстаешь?

Крепился, крепился я, помнил, помнил бога, и стало мне невтерпеж. Бывало, взмолишься: господи, я ли тебя не почитаю, я ли не помню тебя, все мое сердце к тебе, зачем же ты меня оставляешь?.. Или уж я такая букашка, что тебе меня не заметить, а если, думаю, так — и худые дела не заметит он. Дай, думаю, как другие буду жить; видно, недаром говорится: «на бога надейся, а сам не плошай». Пришли мы в Румынию, сделали привал, скомандовали нам вольно. Отощали мы страх как и ударились все на добычу: кто в лесок, кто на реку, кто в село. Пойду, думаю, и я в село, что-нибудь, може, попадется. Иду это я с одним солдатом, подходим к пруду, видим это — гуси

лежат. Один вытянул голову, бросился на нас: га-га-га! Помутилось у меня в глазах, кинулся я на него, схватил за голову, отрубил ее тесаком; голову в пруд, самого под полу да назад. Пришли, очистили, в манерки да на огонь, наелись до отвала. Вот он, думается, бог-то где. С тех пор стал и я как другие...

Подошли мы к туретчине, начались сражения, в моей душе тоска, хоть бы голову положить. Не нарвусь ли, думаю, на штык турецкий, и, бывало, как сражение, так ты и прешь как медведь какой, остервенеешь, ничего не видишь, работаешь штыком и прикладом. Сколько мы неприятелев побеждали, вышла нам награда. Отчислили на нашу роту двадцать Егорьевских крестов; стал ротный оделять и всех оделил, кто его сердцу любезней, денщику своему даже повесил, а мне шиш в нос; уж я ли не храбрился в сражениях, а обошли. Так и сломал весь поход ни за что, хоть бы ранили куда, може, пенсию дали бы, а я и раны не получил...

Пришли с войны, стали нас отпускать в бессрочный. Куда мне идти? Домой не к кому, насолило мне там все. Пойду, думаю, на Дон, там, говорят, земли жирные, хлеба обломные, народ меньше нужды несет, може, и живет лучше. Иду день, другой, третий. Думаю, где я устроюсь, как буду жить, пытаю, где какая вотчина, в которой можно бы было пристать. Пришел в Воронежскую губернию, остановился ночевать в одной слободе, попал я на ночлег к одной вдове казачке. Живет вдвоем с девочкой. Куда, говорит, москалю, бредешь? Я говорю, счастья пытать. Слово за слово, разговорились, задумалась она; утром встал, а она принесла водки, нарезала сала,— пей, говорит, да оставайся у меня. Я, говорит, одна, и если будешь стараться, сделаю я тебя за хозяина. Подумал, подумал я, какого ж, думаю, еще мне рожна?

Остался, втянулся в дело, повел все чередом. И работу и заботу, все на себя взял. И прожил я тут десять годов. Дочка ее в невесты выровнялась. Понравился ей на вечерницах один парубок, снюхалась она с ним, мать их благословила, поженились. Гостит зять после свадьбы у тещи и говорит: «Прими меня, мамо, к себе жить и хозяйствовать». — «Иди!» Ну, как вошел зять в дом, и пошел другой разговор. Ты и не так ходишь, не по-нашему говоришь, и то нехорошо, и это неладно. Забирай худобу да уходи. «Уйду,— говорю,— заплатите мне за эти десять лет».— «За

что платить? Ты к нам в дом ничего не принес».— «Я не принес, да я работал».— «Ты работал, ты и пил, ел». Я — на суд, а суд, знамо, ихний, казацкий, повернул в ихнюю сторону и вытурили меня ни с чем. Ну, постойте, думаю, я вам дам о себе попомнить; подобрался я к мельнице вдовиной, которую я сам почти и собрал, и запалил. Меня поймали, да в тюрьму, да в суд, да в острог. Высидел я, пошел опять по белу свету шляться. Колесил, колесил, може двадцать губерен прошел, и все одно, все одно... Схватил вот только этот кашель да ломоту в костях, а ходу правде нигде не нашел: кто правдой живет, тот все волком воет; а кто кривит душой, тот надо всеми большой...

Бабушка покрутила головой и сказала:

— Что-то чудно, а как же пословица говорится, что «за богом молитва, а за царем служба не пропадает»?

— А ты слышала тоже говорится: что «жалует царь, да не жалует псарь», а в этом-то и все и дело...

XV

Дедушка Илья остался жить у нас. На другой же день он велел мне показать ему наш сарай и пошел в него за кормом. Корму у нас было немного, всего, может быть, по возу сена и соломы. Дедушка Илья покачал головой и проговорил:

— Ну, с этого скотина не зажиреет. По много ль же вы им даете?

Я сказал; дедушка Илья проговорил:

— И постолечку не натянешь. Придется крышу раскрывать. Аль у вас и на крыше свежей соломы-то нет?

— Нету, у нас старая, копченая.

— Эка беда! Что ж вы травки летом не купили, дорогая трава, а все сходнее дешевого корму, а то вот и возьми...

— Не на что было...

— То-то не на что, вы с отцом только самих себя любите-то! Нешто вы крестьяне? Дармоеды вы, одно слово...

— Дедушка, я еще маленький,— попытался оправдаться я.

— А если бы большой был, я бы не так с тобой поговорил: я бы тебе показал кузькину мать с горбинкой, а то скоты-то небось голодают.

Скотине у нас, действительно, было не сытно, особенно кобыле; корове еще перепадало когда помои, когда она сама

забьется в сени и съест куриный корм, а кобыла питалась одним сеном, сено было несъедобное, и давала ей бабушка помаленьку, поэтому она сильно переменилась за зиму. На ней выросла длинная шерсть, выдались ребра и сильно отвис живот. Бывало, выйдешь на двор, а она стоит понурив голову; почует тебя, взглянет, облизнется, потом глубоко вздохнет и отворотит голову. Бывало, как ни весел сидишь в избе или играешь на улице, а как увидишь скотину — сожмется сердце, и веселость твоя пропадет.

Дедушка Илья с этого раза стал сам ходить за скотиной, кормить и поить ее. А когда пришел праздник, он выпросил у бабушки сумочку и пошел по деревне побираться. Бабушка пыталась его отговаривать, но он и слушать не хотел ее.

— У вас самих хлеб горевой,— сказал он,— а я буду его подъедать. Прихлебочкой-то попользуюсь, и то спасибо.

На первый раз он принес полную сумку кусков. Вытряхнув их на стол, дедушка Илья начал их сортировать: получше он отбирал в решето для себя, похуже откладывал в сторону. Когда он разобрал все, то дал мне несколько кусков и сказал:

— На-ко, вот, Степка, снеси кобыле это, погляди, как она их скушает.

Днем дедушка или учил меня азбуке, или куда-нибудь ходил, а по вечерам сидел дома и что-нибудь говорил. Он очень любил поговорить. Бывало, рассказывает разные истории, сказки, случаи из своей жизни, когда веселые, когда грустные. Иной раз они схватятся с бабушкой спорить, и чем дальше, тем споры делались чаще; иной раз они заспорятся до петухов, и нередко бабушка как будто гневалась на него и упрекала его в том, что он совсем запутался.

Пришла масленица. Наши прислали нам из Москвы денег, муки гречневой и сельдей. Бабушка пекла нам блины. Мы, бывало, с дедушкой набьем ими животы и пойдем в сарай или на колодец. Потом я побегу на гору кататься с кем-нибудь. Вся неделя прошла весело, но наступил пост, все сразу как отрезало. Веселье пропало, переменились харчи.

Как-то раз бабушка сказала:

— Надо о тебе в Москву написать, хозяевам нашим, а то живет у нас жилец, а они и не знают.

— Ну, что ж, давай я сам напишу; вот добыть бы бумаги да перо, я и накатал бы,— сказал дедушка Илья.

— Сбегай, Степка, к дедушке Григорию.

Я побежал и принес, что требовалось для письма. Дедушка Илья долго писал письмо, мелко-намелко исписал всю бумагу, и когда староста пошел в контору, отослал с ним это письмо.

Недели через три пришел ответ. Отец и мать очень радовались, что у нас появился такой человек. Они просили его пожить у нас и, если можно, поработать весной, а мы, писали они, ко святой домой не придем, а проживем до петрова дня. Места нам попались хорошие; если бог даст все по-хорошему, то к тому времени накопим денег на избу. А пока они посылали нам еще десять рублей и гостинцев. Все этому письму очень обрадовались, даже дедушка Илья сделался веселый.

— Что ж, я поработаю,— говорил он.— Соха из рук не выпадет и за лошадью в боронью поспею, не особо ремок живот-то... Только обувочка у меня плоха.

— Сапоги тебе справим,— сказала бабушка,— головку приделаем к Тихоновым голенищам, и будешь носить.

Дедушка Илья обрадовался еще больше, и когда нам с ним справили по сапогам, он, кажется, помолодел.

— Теперь мы куда хошь, хоть в болото уток стрелять, только вот ружья нет, а то бы мы с тобой пошли на охоту. Вишь, весна наступает, птица теперь всякая налетит...

Действительно, наступила весна. С каждым днем делалось теплей, снег лежал только в кустах да оврагах, с полей же его давно согнало. На Колотнушке лед сошел, и вода текла мутная наравне с берегами. Поля и луга начали зеленеть, и на них весело было глядеть, точно это что-то было новое, диковинное. Бывало, выйдешь на улицу, на деревьях поют скворцы, галдят грачи и вьют себе гнезда, в поле заливаются жаворонки, на лугах носятся луговки и просят пить у бога. Совсем это не то, что в глухое зимнее время. И сердце твое бьется, и ты неописуемо радуешься, что ты живешь, чувствуешь и видишь всю эту снующую, пробуждающуюся прелесть жизни и забываешь все будничные невзгоды и суетные мелочи ее...

XVI

Весна распускалась все больше и больше. Давно раскинулись деревья; отцветали вишни и яблони, по лугам желтели первые цветы. Лошади паслись в ночном и досыта

наедались свежей молодой травы. Весь скот отубенел: коровы прибавили молока, телята уже не бегали домой безовременно, а приходили вместе со стадом. В лесу появились грибы, колосники, во пнях наливались первые ягоды. Мы, ребятишки, почти не жили дома, а носились по лугам и лесам и прибегали домой поздно на ночь.

После такой беготни нам по утрам спалось долго. В одно утро, уже около навозницы, проснулся я и увидал, что в избе никого нету, а на улице слышен шум; я катышком скатился с коника, подскочил к окну и высунулся в него. Посреди деревни собралась толпа, и все волновались, кричали и размахивали руками. Я нырнул в окно, очутился на улице и в одну минуту был около мужиков.

— Это верно, как свят бог, потому им больше деваться некуда,— кричал дядя Липат, приземистый бородатый мужик в синей рубахе.

— Да неужто? Кто же это? — послышалось в толпе.

— Мало ли таскается чертей: либо цыгане, либо еще кто.

— Как же чередовые-то не увидали?

— Чередовые что ж, небось спали без задних ног. Пасутся и пасутся, нешто это думано.

— Батюшки, вот оказия-то!

— Лошади на подбор, рублей по семидесяти стоят.

— Сколько она ни стоит, а хозяину-то дорога.

— Как еще дорога-то!

— Ах, черти проклятые, вот поймать-то бы!

— Лови ветра в поле!

Тут я узнал, что из ночного увели двух лошадей — одну у Рубцова, другую у Захаровых. Хватились их только тогда, когда лошадей пригнали из ночного в общее стадо. Заметил их пропажу впервые пастух и известил об этом хозяев. Когда это сделалось — никак нельзя было определить. С вечера их видели хозяева, а потом уж никто ничего не знал. Все ахали и обсуждали случившееся; от говору стоял шум на всю деревню. Рубцовы и Захаровы выли в голос, но никто хорошо не знал, что теперь лучше делать, чтобы как-нибудь поправить беду. И только уже много спустя староста догадался отрядить несколько человек и погнал их в погоню по разным дорогам. К обеду погонщики воротились и объявили, что про лошадей нигде ни слуху ни духу, и нигде нет никакого следа.

Староста пошел в волостную и донес о случившемся старшине. Старшина послал старосту с объявлением к становому. Становой сказал, что он сам приедет в деревню и произведет дознание: какие лошади, куда они пошли и на кого имеется подозрение.

В деревне думали на молодого подпаска, который пас у нас первое лето и которого никто хорошо не знал.

В ночь, когда сделалась кража, оказалось, его не было дома, он куда-то уходил, не спросясь у большого пастуха.

Когда об этом узнали, то старик Рубцов глубоко вздохнул и проговорил:

— Вот оно какое дело-то! Чем мы ему, подлецу, согрубили, что он нас обездолил так. Коли задумал он нас подкузьмить, пришел бы и сказал: дайте мне пять рублей, мы бы слова не сказали — выкинули!..

— Ан нет!.. — сказал дедушка Илья.

— Ей-богу, выкинули бы! — побожился старик.

— Ей-богу, нет бы!.. А схватил бы за шиворот, накостылял бы, накостылял по шее и выпихнул бы! А если бы так люди делали б — и воровства не было бы.

Становой обещался приехать на другой день к полдням. Он сдержал свое слово. Только собрали прибежавшую из стада на полдни скотину, как на нижнем конце деревни послышались звуки далекого колокольчика. Звуки неслись с дороги от деревни Яковлевки, бывшей с нашей деревней поле с полем. Когда вгляделись туда, то тотчас же заметили, как от Яковлевки отделилось что-то черное и покатилось по дороге к нам. Сначала колокольчик звучал чуть слышно, потом он делался явственнее и явственнее. Можно было уже разглядеть, что катилось. Это был большой тарантас, запряженный в пару лошадей; еще минута — и стало видно и седоков, помещавшихся в тарантасе. Их было двое, впереди перед ними на козлах сидел кучер. Кучер криками погонял лошадей. Они уже спускались по уклону, идущему с яковлевского поля к нашей Колотнушке; вот они въехали на мосток, слышно было, как лошади коваными ногами застучали по мостовинам. Колокольчик было перехватило, но потом он опять залился.

Мужики были собраны у двора Захаровых. У большой избы Захаровых тянулась широкая завалинка; стояла телега. Мужики кто сидел на завалинке, кто забрался на телегу

и переливали из пустого в порожнее. Среди мужиков находились и пастухи. Старший, по имени Андрей Печенкин, плешивый, худой, с реденькою черною бородкой, с кожаною сумкой для рожка и табаку и кнутом, завитым колесом и надетым через плечо, как солдаты носят летом шинели,— был необыкновенно спокоен. Он о чем-то тихо разговаривал с дедушкой Евстифеем и, видимо, совсем и не думал, что такое предстоит всем собравшимся. Его подпасок, белокурый, весноватый, держался ото всех поодаль и стоял с лицом бледным и осунувшимся и глядел вниз, думая какую-то думу. Когда становой показался у околицы, то мужики заволновались, повстали с мест и, сбившись в кучу, отошли от избы. Только дедушка Илья, стоявший облокотившись на грядку телеги, не двинулся с места. Он был на сходу как любопытный, поэтому и не обязан был участвовать во встрече пристава.

Лошади станового вошли на огорок шагом, хотя шли бодро, позвякивая бубенцами. Поравнявшись с толпой, кучер отпрукнул лошадей, мужики все до одного обнажили головы, один дедушка Илья не снял картуза и не сдвинулся с места. Становой и письмоводитель его, одутловатый рыженький человек, в сером легком сюртуке и с книгой под мышкой, вылезли из тарантаса, потоптались на месте, разминая ноги, и, повернувшись медленно, стали приближаться к мужикам. Кучер тронул лошадей и поехал шагом дальше, чтобы немного промять их. Мужики стояли не шелохнувшись; в толпе тишина была такая, что слышно было, как мухи летали. Становой шел, высоко подняв голову, и не глядел ни на кого. Это был коренастый, плотный, черный, усатый человек. Лицо у него было пухлое и багровое, нос красный. Войдя в середину мужиков, становой откинул голову назад и строго зыкнул:

— Староста!

— Вот я здесь, ваше благородие,— дрожащим голосом проговорил дядя Тимофей и без шапки, со знаком на груди, с развевающимися от ветра волосами, торопливо подступил к становому.

Становой, сощурившись, взглянул на него. Когда он глядел на кого-нибудь, он всегда щурился. Должно быть, он считал, что мужик недостоин полного на него взгляда. Поглядев на старосту, он проговорил:

— Что тут у вас случилось?

— Н-несчастие, ваше благородие,— заплетающимся языком говорил староста,— двух лошадей увели из ночных.

— Хозяева лошадей здесь?

— Здесь.

— А пастухи, что пасли, здесь?

— Пастухи не пасли, а чередовые.

— Где они?

— Здесь.

— Кто увел лошадей?

— Не можем знать.

— Как не можешь знать, дурак! Ты сам мне доносил, что подозрение на кого-то имеете.

— Грешить грешил на молодого подпаска, это верно, его дома не было в эту ночь, только никто руки, ноги не положил...

— Где подпасок?

— Здесь... Мирон, подходи!

Становой повернулся туда, где стоял Мирон. Тот побелел еще пуще, у него даже губы потеряли краску, голова его чуть заметно дрожала. После вызова старосты он шагнул два раза к становому, хотел было взглянуть ему в глаза, но не мог. Он остановился и вытянул вниз руки, в правой руке его был картуз.

Пристав теперь уже не щурился; он выкатил глаза, и в них сверкнул какой-то огонек, и всего его передернуло. Ни слова не говоря, он размахнулся левой рукой и ударил Мирона в правое ухо. Мирон пошатнулся; в это время он получил справа удар, потом опять слева и опять справа. Он не удержался на ногах и упал на землю. Пристав начал охаживать его сапогами.

— Это тебе задаток!.. Это задаток!..— задыхаясь, сыпал становой.— Я те покажу, мерзавцу!.. Я те!..

Он бросил бить подпаска и стал махать в воздухе левою рукой: должно быть, он ее зашиб о Мироновы скулы. Мирон валялся в пыли, окровавленный. Мужики стояли ни живы ни мертвы. Староста то и дело мигал глазами, ожидая, что вот-вот и ему влетит. Некоторые мужики отодвигались подальше. Только дедушка Илья оторвался от телеги и судорожно подступил поближе к приставу; глаза его горели, на лице выступили пятна, и ноздри сделались шире.

— Мерзавцы! Все вы!..— дрожа всем телом, крикнул становой.— С вами только мука одна!..

— А може, и не все! — вдруг раздался в толпе дрожащий голос дедушки Ильи.

Мужики, как один, услыхавши этот голос, вздрогнули и заволновались. Становой повернулся как на пружинах Увидав стоящего перед собою взволнованного старика с картузом на голове, он быстро шагнул к нему и сделал движение рукой, чтобы схватить его за шиворот.

— Ты кто такой, что разговариваешь?! А?! Ты кто такой? — заблажил пристав.— Шапку долой!..

— Кто бы ни на есть,— отстраняя руку станового и таким грубым голосом, какого я никогда не слыхал, проговорил дедушка Илья,— а охальничать нечего. Ты делай дело, за каким приехал, а не озорничай!..

Становой взвизгнул и, размахнувшись изо всей силы, хотел съездить дедушку Илью по скулам, но дедушка быстро пригнулся, замах пристава пролетел мимо, так что он сам перевернулся и невольно очутился перед дедушкой спиной. Дедушка Илья выпрямился и вдруг толкнул пристава в спину обеими руками. Становой упал ничком наземь, дедушка размахнулся и правою ногой, как он перед этим Мирона, поддал становому в зад. Становой ткнулся лицом в пыль и пропахал по земле носом. Фуражка его в это время свалилась, и он издал неопределенный звук; дедушка Илья, тоже задыхаясь, проговорил:

— Вот как с вами нужно обходиться! А то вы зазнались очень! — и отошел от пристава за телегу.

Мужики стояли, как пораженные громом. Они не знали, делать ли им что, бежать ли куда. Всех прежде нашелся письмоводитель; он махнул рукой кучеру и испуганным голосом крикнул:

— Сюда! Бьют! Скорей!..

Кучер, возвращавшийся уже с того конца деревни, услыхав возглас письмоводителя, быстро подкатил к толпе, соскочил с козел, кинул одному мужику вожжи и подскочил к барину. Вдвоем с письмоводителем они взяли его под руки и стали поднимать с земли, приговаривая: «Ваше благородие, ваше благородие!»

Его благородие нельзя было узнать. Куда девался его грозный и свирепый вид. Он размяк, как мокрая курица, и даже чуть не всхлипывал...

— Вот тут как!.. Вот тут как!..— выплевывая изо рта землю и проводя рукой по покрытому пылью лицу, бормо-

тал он. Руку на меня поднимать!.. Хорошо же!.. Хорошо же!..

— Ваше благородие... будь отцом! Мы не виноваты! — воскликнул дядя Тимофей, разводя руками.

И каждый готов был упасть перед приставом на колени...

— Как не виноваты? Как не виноваты? — захлебываясь и тряся правою рукой, закричал пристав.— Я же к вам, чертовы выродки, приехал следствие производить, а вы же на меня нападаете? Я же об ваших делах хлопочу!.. Я с вами еще поговорю... Я с вами посчитаюсь!..

Он уж не находил слов, его всего коробило, и он шатался на ногах. Лицо его было синее, жилы на шее напружились. Поддерживаемый кучером и письмоводителем, он подошел к тарантасу, с трудом взобрался в него и оттуда уже опять обратился к мужикам:

— Я сейчас же в город еду, исправнику обо всем донесу. Он сам к вам приедет. Если ты, староста, упустишь этого старого черта, то ты головой мне за него отвечаешь! В холодную его запереть! Приставить к нему сторожа и не давать ему, анафеме, ни пить, ни есть.

— Слышу, ваше благородие,— ответил дядя Тимофей.

— Так смотри же! — крикнул еще раз пристав и велел кучеру ехать.

Лошади подхватили, колокольчик залился, тарантас помчался в другой конец деревни.

Дедушка Григорий поглядел на всех мужиков, проводя рукой по бороде, и проговорил:

— Ну, вот мы, Ерошкина мать, и с праздником!..

Мужики друг перед дружкой набросились на дедушку Илью и так ругали его, как я никогда не слыхивал, чтобы кого так ругали. Дедушку Илью схватил в это время сильный кашель и стал бить его. Многие ругательства поэтому он, на свое счастие, вероятно, не разобрал.

— Старый ты черт, сокрушитель ты наш! — кричал дядя Тимофей, хватая дедушку Илью за плечи и направляя его к магазее.— Тебя не то что в магазею, а в омут бы пихнуть да осиновым колом припереть, чтобы ты не вылезал оттуда. Что ты только над нашими головами сделал-то!

— Дурачье! Бараны! — отругивался дедушка Илья.— Вам же от этого будет лучше! Вам же от этого будет лучше!

— Где оно будет лучше-то, с ума ты, старый дьявол, сошел? И зачем тебя только на сходку-то вынесло?..

XVII

Когда я сказал бабушке, что случилось на сходке, то она помертвела из лица, всплеснула руками, ахнула и опустилась на лавку.

— Неуемная головушка!.. На что он только отважился? Загонят его туда теперь, куда и солнце не светит...

Она встала с лавки, подошла к переду и опять села. Я никак не ожидал, что это известие произведет на нее такое действие. Точно ее пришибли самое; она опустилась и, глубоко вздыхая и охая, долго просидела так.

Перед вечером к нам пришла бабушка Татьяна.

— Прасковья, слышала, что паш деверек-то наделал?— изменившимся голосом спросила она.

— Ох, не говори! — глухо молвила бабушка и махнула рукой.

— Григорий-то земли под собой не видит. И зачем его только шут принес к нам?!

— Что же Григорию-то, нешто он очень приболел?

— Да он не из-за него, а о себе тужит. Теперь, говорит, всей деревне побудет, таскать станут, а то еще расселят.

— Куда расселят?

— Развезут по разным местам — вот и все тут. Скажут: вы бунтовщики, против начальства идете; надо будет грех унять.

Бабушка изменилась в лице еще больше и не могла уже ни одного слово сказать.

— Мужики теперь гужуются, ходят, себя не помнят. Приедет исправник, будем, говорят, просить, чтобы своим судом с пим расправиться.

— О господи! — простонала бабушка...— И что это его проняло? Словно молоденький!..

Долго сидели они, перекидываясь словами о том, что случилось; наконец бабушка Татьяна ушла. Бабушка вдруг встала и проговорила:

— Надо сходить к нему.

— К кому?

— К дедушке Илье.

— Бабушка, и я пойду.

— Что тебе там делать-то?

— Мне одному дома страшно.

— Ну на улицу ступай.

— Мне не хочется на улицу.

— Ну, иди, пес с тобой! — с досадой сказала бабушка, отрезала ломоть хлеба, положила его за пазуху и пошла из избы.

Я побежал за нею.

Магазея была на выгоне за чертой деревни, вдали от всяких построек. Это был большой амбар с поседевшим от времени деревом, крытый соломой. На двери его висел огромный винтовой замок, а около двери на мостинках сидели два мужика, караульные дедушки Ильи: один с дубиной в руках, другой с топором. Мне стало жутко, глядя на эту стражу, но бабушка ничего не испугалась. Подойдя к ним, она проговорила:

— Здорово живете?

— Здорово! — ответил Захар Рубцов, высокий сутуловатый мужик, рыжий и весноватый. Он снял картуз и, не глядя на бабушку, опять надел его.

— Где тут у вас буян-то сидит?

— Буян под запором. Ему там спокойно: сидит небось да мышей считает! — безо всякого выражения проговорил Захар.

— Нужно бы мне поговорить с ним.

— Нешто это можно? — уж как будто испугавшись, спросил Захар.

— Нам велено стеречь его, тетка Прасковья,— сказал другой стражник, Сидор-кузнец, худенький, черноватый мужичишка, которому иногда в шутку говорили, что его цыган с повозки потерял.— А пускать ли, не пускать — мы не имеем права.

— Что ж не пустить, иль вы меня не знаете? Что я, с каким злым умыслом? Я вот поговорю с ним да уйду, а вы его опять запрете.

— А кто отвечать будет? — спросил Сидор.

— Да за что тут отвечать? Нешто я его с собой уведу? Он ведь все здесь останется.

Бабушка говорила спокойно и так убедительно, что мужики уж не нашлись, что ей возражать, и замялись. Бабушка проговорила:

— Ну, отпирайте, отпирайте. Что вы, правду, съем я его? Экие вы чудные!

Захар почесал в затылке и, обратившись к Сидору, сказал:

— Ну, коль отпирай, что ж с ней делать!

— А може, старосты спросить?

— Чего его тут спрашивать?

Захар поднялся на ноги, вынул из кармана ключ и отпер замок. Дверь скрипнула и отворилась, бабушка поднялась на мостенки и вошла в магазею. Я поспешил переступить порог, чтобы не отставать от нее.

Лучи заходящего солнца ворвались вместе с нами и осветили длинный узкий промежуток, бывший между закромов. В конце этого промежутка поперек его, около самой стены, лежал дедушка Илья. Он лежал навзничь, закинув руки за голову и глядя вверх. При нашем появлении он только слегка скосил глаза на нас, но в этих глазах выражалось полнейшее к нам равнодушие.

В магазее было прохладно сравнительно с улицей; пахло слежавшимся хлебом и пылью. Около дедушки Ильи стояла железная мерка, которою принимали и отпускали рожь. Бабушка взяла мерку, опрокинула и села на дно.

— Ну, что, удалая голова,— достукался? — с гневным укором скзала она.— Эва тебя, словно зверя какого, в клетку посадили...

— Ну, что ж, посадили и посадили,— грубо проговорил дедушка Илья.— Эка ведь страсть, подумаешь!

— Да ведь тебя за это в каменный мешок запрячут.

— Велика беда... Страшен он мне, твой каменный мешок-то!

— Не отчайствуй, знамо, большая беда. Этак и головы скоро на плечах не удержишь.

— Что об моей голове тужить, об ней плакальщиков мало! Пусть всякий об себе горюет.

— И об себе погорюешь, из-за тебя-то теперь и другим достанется...Ты думаешь, ты это малое дело-то сделал?

— Чем больше, тем лучше!..

— Чем лучше-то?.. Чем? Скажи ты мне, ради бога? Эка, какое хороштво накинуться на человека...

— А то что ж на него глядеть? Он тут будет бесчинствовать, а мы ему зубы подставлять,— нешто это закон? Он противу закону идет, не разобравши дела, человека бьет... Он и меня бы так ударил, и другого, и третьего?.. На кой он нам такой хороший!.. Мы, може, не дешевле его стоим-то! Я сколько годов на свете жил, царю-отечеству служил, в походы хаживал, другой тоже как-нибудь потрудил-

ся а он всех сволочит... требует, чтобы шапку перед ним снимали... Нет, ну-ка выкуси... вот возьми теперь!.

Дедушка Илья поднялся с места, сел, поджавши ноги под себя, и необыкновенно оживился. Лицо его загорелось румянцем, глаза заблестели, и у него, как давеча, опять широко раздвинулись ноздри. Бабушка глубоко вздохнула.

· Да ведь его такая собачья должность — надо на всех лаять: сегодня с одним, завтра с другими...

— Так ты языком лай, а рукам воли не давай... вот что!

— А ты-то зачем своим рукам волю дал?

— Сердце не вытерпело...

— И у него сердце не вытерпело...

— Так он сдерживай себя...

— А ты-то отчего не сдержал себя?.. Эх, Илья, Илья!.. беремся мы других учить, а сами над собой еще не совладеем, сами с собой справиться не можем. Какой же толк будет от этого ученья?..

— А такой толк,— упрямо продолжал дедушка Илья,— коли бы их побольше окорачивали, так они бы все у нас шелковые были. А то их избаловали тем, что перед ними баранами стоят да глазами хлопают...

— А этим их не выучишь, а только больше обозлишь. Безответный человек скорей своего добьется, если с понятием, а супротивник их только больше распалит... Ты думаешь, их этим сломишь? Нет, они будут только возвышаться, калян, скажут, народ, нельзя с ними кротостью, нужно над ними палку держать; а под палкой всем плохо, хорошему и худому, правому и виноватому...

— Кому плохо, тот и отбивается от ней.

— Как от нее отобьешься,— она о двух концах... Один отворотил, другой приворотил.

— Ну, вырви ее да переломи...

— Тогда будут две палки... опять не слаще...

— Так что же, по-твоему, делать-то?

— Терпеть надо; Христос терпел да нам велел...

— Он мог терпеть, а у нас силы не хватает. Да отчегой-то нам одним терпеть? А они не такого же закона? Коли терпеть, так всем терпеть... а одним-то перед другими и прискучит...

— Кому прискучит, тот сам себя измучит... Злую собаку чем больше тревожить, то она злее становится.

— А я говорю, что нет: съездишь ее разок, другой по зубам, она и хвост подожмет. Образумится да скажет: надо так гнуть, чтобы гнулось, а не так, чтобы лопнуло.

Бабушка досадливо отвернулась в сторону и проговорила:

— С тобой и говорить нельзя... Ты лопочешь незнамо что и над своими словами подумать хорошенько не хочешь. От упрямства своего ты погибнешь.

— Ну, а ты вот в раю живешь,— опять ложась на свое место и с сильным раздражением в голосе проговорил дедушка Илья.— Ишь как тебя бог награждает хорошо: всю жизнь прожила, нужды не видала, детками бог талантливыми наделил... ни забот, ни хлопот, знай только радуйся...

— Радоваться и должно: этим, говорят, бог испытывает человека; а если испытывает, то милость свою оказывает. Нешто это плохо?

— Эх, эта милость! Зачем она только явилась? — сказал дедушка Илья и злобно засмеялся.

Бабушка поднялась с места и сурово проговорила:

— Замолчи уж, с тобой нешто сговоришь! — Она вынула ломоть хлеба, положила его на меру и добавила: — Как допрашивать-то будут, не очень хрондучи, держи язык-то покороче, молчаньем скорей отойдешь...

— Ну, уж меня учить нечего,— опять грубо сказал дедушка.— Не учи ученого, а учи дурака.

XVIII

На другой день после обеда опять в нашей деревне загремели колокольчики, появились редко бывалые люди, но уж не на одном, а в двух тарантасах. Один был вчерашний, запряженный в пару станового, другой — тройкой, и в нем сидел исправник, высокий жирный старик с седыми баками, в шинели, под которой был белый сюртук; с ними были двое сотских.

Мужики опрометью выскакивали из дворов и собирались около дома старосты. Они становились в плотную кучу и толпились, прячась за спины друг к другу, как овцы перед волком; дядя Тимофей помертвел от испуга и не мог отчетливо выговорить тех слов, которых от него допытывались.

Исправник потребовал, чтобы вынесли на улицу стол. Все подсели к нему, и писарь станового разложил на нем бумаги и приготовился писать. Исправник спросил, кто такое дедушка Илья. Староста сказал его имя. Стали спрашивать дальше, и когда узнали, что дедушка Илья николаевский солдат, исправник вдруг спросил:

— А билет у него есть?

Староста опешил.

— Какой билет? — спросил он.

— Солдатский билет, какой ему полагается вместо паспорта.

— Не могим знать,— пролепетал испуганный староста.

— Как не можем знать, мерзавец,— заблажил исправник, ударив кулаком по столу.— А если он бродяга? Ежели он без письменного вида из Сибири убежал? Ты ведь должен следить за этим!..

Староста бледнел и краснел. Он, как медведь, переминался с ноги на ногу. Исправник крикнул:

— Где он у тебя?

— В магазее.

— Привести.

Мужики пошли в магазею, за ними встал и пошел становой.

Дедушка Илья лежал в магазее так же, как и вчера. Ломоть хлеба валялся около него несъеденным. Становой увидел ломоть, вышел из себя и заблажил:

— Это кто ему принес? Кто распорядился? Сказано было, чтобы не давать?

— Мне и дали, да я не ел. Чего же вы кричите-то? — сказал дедушка Илья.

Стали разбирать, кто мог принести ему хлеб, добрались до бабушки. Становой вызвал ее.

— Ты, чертовка, ведьма киевская, как смела приносить ему хлеба? — закричал становой.— Ему не приказано было есть давать, а ты дала?! Я тебя в стан отправлю!..

Бабушка побелела как мука, и у ней дрогнула голова, но она спокойным голосом проговорила:

— Я не чертовка и не ведьма, а у меня есть христианское имя: меня зовут Прасковья. Отправлять ты меня куда хошь, батюшка, отправляй, а ругаться ни шло ни брело нечего...

— Как на тебя не ругаться, тебе зубы выбить следует!..

— У меня их нет давно, батюшка, нечего выбивать-то.

Бабушка, видимо, была оскорблена и огорчена: глаза ее потускнели, и голова сильно тряслась.

— Ведите ее туда! — крикнул становой; сотские повели бабушку к тому месту, где был исправник.

Начался допрос... Они долго вычитывали, заставляли подписаться под бумагами, кто умел подписываться. У дедушки Ильи спросили билет. Он сказал, что его у него нет. Судился ли он когда? Он отвечал: «Об этом сами узнаете». Исправник заругался на него, на бабушку. Грозил старосте за то, что он в деревне без паспорта держал, и велел сотским вести дедушку Илью в стан, а старосте с бабушкой сказал, что их потребует к себе следователь.

XIX

Бабушке вышел такой день, что ее все ругали. Когда уехали исправник и становой, на нее набросились мужики и староста и на чем свет стоит стали пробирать ее за то, что она приютила у себя дедушку Илью.

— Нищая! Ведь нищая ты такая-проэтакая! — кричали на бабушку мужики.— Самой есть нечего, изба, того и гляди, развалится, а она пускает к себе жильца. Григорий-то вон поумнее тебя: даром что родного брата, и то не пускает на глаза, он и чист молодец! А ты, хрычовка глупая, раздобрилась. Зачем ты его приняла?

— Это уж мое дело, это уж мое дело,— бормотала, не поднимая головы, бабушка.

— Бродягу ты приняла! Ведь бродяга он? Вишь, и паспорта не знает где сказать; может, он по большой дороге гдѐ гулял? Мы за тебя отвечать не станем! Все на тебя свалим! Все!

— Валите, как-нибудь перенесу,— сказала бабушка и, отвернувшись от толпы, направилась домой.

Домой пришла бабушка совсем неузнаваемая. Она, казалось, очень ослабла. Войдя в избу, она легла на коник и долго лежала так. Мне ее стало необыкновенно жалко, и я заплакал. Бабушка поглядела на меня.

— Что ты? — спросила она.

— За что они, дураки, ругались? Их самих за это...

— Это я так насолила им, вот они и напали на меня. И следует, мне уж пора умирать, а то я по старости лет

уж разбирать не могу, какое дело хорошее, какое худое. Не думавши, мир под беду подвела.

— Это не ты ведь, а дедушка Илья.

— А я дедушку Илью приютила. Ох, грехи, грехи! Правда, уж ничего не разберешь, лучше бы теперь умереть. Сходи-ка ты за дедушкой Естифеем, надо нам отцу с матерью письмо написать — пусть приезжают домой.

Я сходил за дедушкой Естифеем, и мы написали письмо; я отнес его к старосте, чтобы отправить его в контору. Когда я был у двора старосты, к нему прибежал сотский, что провожал дедушку Илью. Он сказал, что при переправе через реку Кузу у них оборвался канат на пароме, и дедушка Илья спрыгнул с парома и выскочил на берег, с которого они отправились, и убежал в лесок, и пока они метались на пароме да пристали к берегу и прилаживали канат, его уж и взять было негде. Теперь одна деревня ищет его там облавой, а он приехал сказать, что в случае если дедушка Илья появится у нас в деревне, то чтобы немедленно его задержали и дали знать в стан.

Деревня всполошилась, кажется, больше, чем прежде. Стали говорить, что это дедушка сам перерезал канат, что он очень отчаянный; кто-то сболтнул, что он был в разбойниках и погубил много душ. На деревню напал страх: а ну-ка он подкрадется да пустит красного петуха? Всех больше встревожился дедушка Григорий. Он настоял, чтобы по ночам усилили караул, да и днем не мешает обходить почаще вокруг дворов. Староста с ним согласился и стал отряжать мужиков па караул.

Я обо всем подробно рассказал бабушке, и она, лежа, как пришла с улицы, на конике, выслушала это очень спокойно и ни словом не отозвалась. Видимо, она занята была другим. Она лежала, но не спала: глаза ее были открыты и взоры устремлены вдаль. Изредка она шевелила губами. Прогнали скотину, нужно было доить корову. Бабушка поднялась было с коника, но тотчас же привалилась к стене и оживленно заговорила:

— Что это изба-то как кружится? Батюшки! Батюшки!..

Она умолкла и вздохнула, потом слабым голосом проговорила:

— Степка, сходи к тетке Марине Большенипой, попроси ее корову подоить, мне что-то неможется...

И она опять легла на конике.

XX

На другой день бабушка совсем не поднимала головы. Печку топила тетка Марина, и тетка Марина, не говоря бабушке, послала одну девчонку в Левашево позвать к нам тетку Анну. Мое сердце ныло от какого-то тяжелого предчувствия. Я сидел все время в избе, и мне было очень грустно.

— Степка, ты бы на улицу пошел,— слабым голосом проговорила мне бабушка.

— Не хочется.

— Что ж не хочется, там повольготней, здесь и мухи и жарко.

— Ну что ж?

— Да что ты такой невеселый?

Я припал к бабушке и высказал, что мне жалко ее. Бабушка через минуту усмехнулась и сказала:

— Ах ты, глупый! Что ж меня жалеть? Да только бы меня бог прибрал, я бы милость его в этом увидала. Что ж мне теперь жить? Человек я бессильный, слабый, только в тяжесть другим. Пожила, и довольно, пора костям на место.

— А как же я-то?

— Что же ты, живи да расти, да жить хорошенько старайся. Не забывай бога, больше всего не забывай бога. Ни на кого, кроме его, не надейся, ничего больше, как от него, не жди, и самому будет хорошо и на других легче глядеть...

Вечером приехала тетка Анна; она вошла в избу, тревожно озираясь, истово помолилась, поклонилась и проговорила:

— Здорово живете! Как вас тут бог милует?

Она проговорила эти слова спокойно; когда она попристальней взглянула на бабушку и увидела ее лицо, то голос ее вздрогнул, она выступила из лица и прослезилась.

— Родимая моя матушка, печальница, желанница, что это ты только задумала-то?

— Ничего, ничего,— слабым голосом проговорила бабушка, пытаясь улыбнуться.— Свалилась вот, размякла... видно, к концу... И слава тебе господи... слава тебе...

— На кого ты только стала похожа-то? — уж в голос вытягивала тетка Анна слова.

— Все на себя, на кого же? Чего ты разревелась-то? О, дура...

Тетка Анна перестала плакать; бабушка слабым голосом намекнула ей на все, что у нас произошло, но добавила:

— К допросу, говорят, меня позовут. Каково мне, старому человеку, к начальству в город тащиться? Ну, судья-то небесный и взмиловался, ведет меня к другому опросу. И это лучше мне: я знаю там, что сказать и как себя держать. А тут, у этих-то господ, и слов, пожалуй, не найдешь...

Бабушка как будто поразмялась, стала поживее; она поднялась и немного посидела, прислонясь к стене.

— Что у тебя больно-то? — спросила ее тетка Анна.

— Ничего особо не больно, а только ослабла, все будто во мне оборвалось, и в руках и в ногах нет мочи, да и только вот, и дышать трудно...

— Если за сестрицей послать?

— Ну что ж, пошли. И с ней бы повидалась я... Вот московских-то уж не дождусь.

— Авось бог милостив.

— Нет, не дожить — когда они письмо-то получат...

Утром пришла и тетка Надежда. Они перенесли бабушку под образа, зажгли лампадку и стали резать холстину, готовить на саван ей. После полден пришел дядя Тимофей и проговорил:

— А нас с ней в стан тревожат... Как же нам теперь быть?

— Нет, уж ей теперь, видно, не до стана,— сказали тетки в один голос.

Дядя Тимофей постоял, почесал затылок, поклонился бабушке и вышел вон.

Бабушка часто забывалась, но ненадолго; опять приходила в себя и все говорила с своими дочерьми.

— Хорошо летом умирать-то,— сказала она,— могилу-то легко рыть.

Под образами она пролежала целые сутки. Утром она забылась и больше не приходила уже в сознание; к полдням она отошла.

Она отошла очень спокойно. Не металась, не стонала, а только глубоко дышала и несколько раз широко раскрывала глаза, как будто от изумления. Дальше — больше, дыхание становилось реже и реже и прекратилось наконец совсем...

Тетки закрыли ей глаза, позвали смывальщиц, положили

ее на стол, обступили ее с обеих сторон и стали плакать в голос. Они плакали горько и искренно. В избу к нам набился народ. Все вздыхали, проливали слезы, говорили об обряде, о домовине, о могилке, спрашивали, будут ли поминки. Я все это видел и слышал, и мне казалось, что все это очень просто, так было надо. Мне стыдно стало своего спокойствия, и я стал укорять себя за то, что я так равнодушно переношу ее кончину. Но я поспешил упрекнуть в этом себя.

Мое горе пришло на другой день. Проснувшись утром, я прежде всего вспомнил, что у нас случилось. И меня охватил такой ужас, какого я еще до сих пор не испытывал. Стопудовою сталью давило мою грудь, я не мог свободно дышать, я не хотел видеть свет и не хотел жить без бабушки. Мне хотелось, чтобы разверзлась земля и поглотила меня, или бы меня чем-нибудь расплющило. Но это было безумное, неосуществимое желание, и мне не оставалось делать иначе, как рыдать. Я рыдал горько и громко; мне хотелось как можно дальше разлить мое горе, как можно больше пространства захватить им.

Мне чувствовалось, что угас первый огонек, который освещал путь моей жизни; встретится ли еще такой луч в будущем на житейской дороге? Не придется ли мне довольствоваться одним отблеском этого тихого света? И многое-многое приходило мне в голову и угнетало меня.

После похорон уже из Москвы приехали отец и мать. Отец был неузнаваем: он был справный, раздобрел; мать говорила, что он теперь ничего не пьет, и говорил, что пить не будет, так как теперь он настоящую жизнь только узнал. Оба они завыли, как узнали, что бабушка умерла. Тотчас же они поехали на могилку. Приехавши с могилки, они подробно расспрашивали меня о всей нашей жизни с бабушкой. Я рассказывал, а отец говорил:

— Он виноват всему. Не сделай он такой передряги, може, она пожила бы еще, а то вот... Если бы он зашел к нам как-нибудь, я бы ему напенял...

Но дедушка Илья к нам не заходил. Он пропал, как в тучку пал.

1902 г.

Сюрприз

Рассказ

I

В первых числах сентября, поздно вечером, когда всякие работы прекратились и люди забрались в свои избы и приготовлялись к ночному покою, за околицей деревни Труховки послышались звуки дорожного колокольчика.

Сначала эти звуки раздавались неясно и были скорее похожи на дальнее тявканье собаки. Но дальше — больше, они стали слышаться все отчетливей, и вскоре не было уже сомнения, что в деревню кто-то ехал, и ехал из людей власть имущих. Труховский староста жил на самом краю деревни; он вышел из избы на улицу, чтобы убрать сбрую из телеги, и, услыхав колокольчик, насторожился и с замирающим сердцем стал прислушиваться. Старосту взял страх. Ехал кто-нибудь из начальствующих, но кто — становой или земский начальник? Чем ближе подъезжала повозка, тем тревожнее сжималось его сердце; он уже стал чувствовать, как по телу его начала пробегать обычная, никогда не покидавшая его в присутствии начальства, дрожь, и как будто его кто-то подталкивает под салазки.

«Батюшки, вышел ли ночной сторож? — промелькнуло вдруг в голове старосты.— Небось нет, подлец! Очень просто: устал за день-то, и не до сторожи. Да за кем черед-то? Вот грех-то, и из головы вон».

И дрожь и страх все усиливались. Колокольчик слышался все ближе и ближе. Вот повозка въехала в околицу, повернула ко двору старосты, и послышался возглас «тпру». Староста подскочил к повозке и, подавляя страх, с напряжением стал вглядываться, кто в ней сидел.

— Ишь темень-то какая, хуже, чем в поле. От огня, что ли, это? — послышался из тарантаса недовольный голос.

— От огня... В деревне всегда темней, чем в поле,— ответил довольно развязным тоном кучер.

По этому разговору староста догадался, что приезжий — не бог знает какая особа, страх и робость в нем вдруг исчезли, и он уже смело подступил к самому тарантасу.

— Кого бог принес? — громко спросил он.

— Это староста? — послышался вместо ответа вопрос со стороны приезжего.— Ну, встречай нас.

И из тарантаса выскочил и вышел в полосу света, лившегося из избы старосты, пожилой, одутловатый человек, в осеннем пальто и фуражке с большим кожаным козырьком. Под мышкой был не то портфель, не то папка.

— Просим милости, просим милости, Тихон Логиныч,— проговорил веселым голосом и уже окончательно оправившись староста, узнавший в приезжем письмоводителя своего «барина», как они звали земского начальника,— в избу пойдете? Я сейчас посвечу.

И староста бросился было к избе, но приезжий остановил его.

— Нет, в избу-то не пойду, некогда, а вот на-ка, я тебе здесь передам.

И он открыл свой портфель, вынул оттуда какую-то бумагу и передал старосте.

— Прочти ее на сходке и скажи всем мужикам и бабам, чтобы они приходили в рождество богородицы все на барский двор. Наряжайтесь все получше, а ребята с девками, те даже бесплатно могут приходить, кто песни петь умеет.

Староста недоумевающе, во все глаза глядел в темноте на письмоводителя и ничего не мог понять. Наконец у него развязался язык, и он спросил:

— Это зачем же приходить-то?

— Да там увидишь, в бумаге написано. Мне пекгда тебе объяснить-то: еще в две деревни ехать... Да постой, одного-то листа мало, на вот несколько, другим отдашь кому!

И он вынул из папки еще несколько листов и, подав старосте, добавил:

— Да смотрите, собирайтесь, не отлынивайте, а то «барин» обидится: для вас же он старается.

И, сказав это, письмоводитель влез опять в тарантас, закурил папироску и велел кучеру трогать, а староста все стоял и пе знал, ни что ему сказать, ни что спросить.

Пока письмоводитель останавливался и говорил со ста-

ростой, из ближних изб выскочили кое-кто из соседей и стали прислушиваться. По отъезде письмоводителя к старосте подошли два мужика да парень и с любопытством стали расспрашивать, что такое сообщил ему приезжавший.

— А шут его знает что! Надо поглядеть,— с сердцем сказал староста и направился к себе в избу. Мужики и парень пошли вслед за ним.

II

Войдя в избу, староста сердито отогнал от стола собиравших ужинать баб, положил листки на стол и полез было к образам за очками, но паренек, вошедший за ним в избу, схватил листки и вызвался прочитать их. Староста согласился.

Паренек подошел поближе к привешенной к потолку лампе; мужики и староста с семейными окружили его.

— Ну-ка, прорежь нам, что тут за штука? — сказал один из мужиков.

Парень стал читать:

«Село Каменское. Имение земского начальника Федора Александровича Безукрасова. С дозволения начальства 8 сентября сего года в имении устраивается народное гулянье. Во время гулянья будет хор певцов, музыка, хороводы, бега и лазанье на столб с призами. На открытой сцене имеет быть спектакль. Представлено будет: Посади свинью за стол, она и ноги на стол. Деревенские сцены в двух действиях, сочинение Ф. А. Б. После спектакля будут гореть бенгальские огни. Начало гулянья в 4 часа вечера, окончание около 9 часов, цена за вход 5 коп., особые места на спектакле по 1 рублю. Билеты можно получать в волостном правлении, в канцелярии земского начальника, а также на месте, перед началом гулянья».

Староста, его семейные и мужики стояли, хлопая глазами, ясно не понимая, что же это значит; паренек же чуть не взвизгнул от восторга и захохотал:

— Вот так славно! Ай-да выдумал барин! Гулянье устраивает, вот ловко-то!

— Какое такое гулянье? Что это, я не пойму,— спросил недоумевающий староста.

— Заправское, говорю, как в городе устраивают; молодец барин, хочет повеселить нас. И как это он только догадался?

— Как же это он веселить-то будет?

— Да вот как тут написано: и бег будет, и хороводы, и хоры, и представление.

— Для кого же это?

— Да все для нас, слышал — всем велел приходить, а ребятам с девками бесплатно даже.

— А какое же это представление-то ты говоришь?

— Представление-то? А вот какое...

И паренек, видимо видавший виды, начал объяснять, что такоё представление и что может быть хорошего на гулянье. Мужики и бабы внимательно, с серьезным видом слушали его, стараясь не проронить ни слова. Когда парень кончил объяснения, все они чуть не в один голос стали осуждать эту затею.

— И догадает же его, прости господи, что не дело выдумать!

— Нечего делать-то, вот и затевает незнамо что в рабочую пору.

— Верно, от нечего делать.

Мужики, а за ними и парень пошли вон. Староста велел своим бабам собирать ужинать.

III

На другое утро собралась сходка. Староста, несколько смущенный, долго мялся, прежде чем объяснить, зачем он собрал сходку, как будто поджидая, когда мужики соберутся все. Наконец мужики собрались, и некоторые прямо потребовали, чтобы староста не задерживал их. Староста, запинаясь и как-то неловко топчась на месте, начал:

— Да видите ли, вот «барин» гулянье затевает в рождество богородицы, всем, значит, собираться велел, чтобы и ребята, и девки шли, и мы все...

— Какое гулянье? Что за гулянье? — раздалось сразу больше десятка голосов.— До гулянья ли теперь, в осеннее время.

— Стало быть, что до гулянья, когда вот объявку привезли,— сказал староста и вынул из кармана свернутую в трубку афишу.

— Форменное дело-то, ишь даже отпечатано, значит, как следует,— сказали мужики в несколько голосов.

— Так по пятаку с рыла готовить?

— Беспременно, а то не пустят,— сказал староста.

— Ну, так мы не пойдем.

— Никак нельзя, сам письмоводитель вчера привозил и говорил, чтобы беспременно все приходили.

— А выставка-то [1] там будет? — спросил молодой бойкий мужик, Гаврюха Ферт, большой любитель выпивки...

— Будет; если кто зашебаршит, того так выставят, что он сажени три носом пропашет,— сострил тот парень, который вчера в избе старосты объяснял сущность гулянья.

— А без выставки какое ж гулянье, ничуть и весело не будет,— решил Гаврило с ноткой уныния в голосе.

— Не робей, воробей, почирикаем,— сказал в утешение Гаврюхи его закадычный друг Павел Штык,— там не будет, с собой захватим да в барском саду-то и раздавим,— славно выйдет.

— Только что.— сказал Гаврюха.

— А то что ж, зевать будем небось!

— А как же теперь овины-то, загодя сушить надо, в этот день нельзя? — спросил один мужик.

— Какое тут овины сушить, и думать не смей.

— А я хотел на мельницу в этот праздник съездить,— сказал еще один мужик.

— И что это у нас за народ несогласный! — вдруг вспылил староста.— Сказано, чтобы на гулянье все собрались, ну и дело с концом, нечего и языком трепать. Неужели мы уж одного праздника-то не можем без какого-нибудь дела пропустить?

— Да ведь одиночество, не растянуться же во все концы в будни-то,— пробовал возразить мужик, что хотел ехать на мельницу.

— Ну, одиночество, одиночество. Кому до этого какое дело? Тут ни на что не смотрят; коли приказывают, так не супротивься.

На минуту все приумолкли, потом начали совещаться, как им с этим делом поступить, и после долгого спора и шума труховцы постановили, чтобы мужикам на гулянье

---

[1] Выставкой называется винный буфет, открываемый во время ярмарок и базаров.

идти всем, а бабам — кто захочет, а так как деньги на плату за вход не у всех были, то велели старосте выдавать взаймы, кому сколько нужно, из общественных сумм; ввиду же того, что расходиться домой по окончании гулянья придется поздно, что будет совсем неудобно, особенно молодежи, то нарядить для этого десять общественных подвод.

На этом кончили сходку и стали расходиться домой.

Такие же или приблизительно такие же распоряжения насчет гулянья происходили и в соседних селах и деревнях, окружающих село Каменское.

IV

В самом же селе Каменском, на барском дворе, по случаю предстоящего гулянья шло необычайное оживление. Несколько дней там происходили суетня, беготня, кипела работа: утверждали столб для лазанья на призы, устраивали палатки для торговцев сластями и театр. О театре были заботы больше всех. Сначала было думали обратить в театр каретный сарай, но нашли, что сарая для всей публики мало, и решили сараем воспользоваться лишь для сцены, а публика должна находиться на открытом воздухе, только перед открытыми воротами сделать несколько особых мест и обнести их барьером. Эта выдумка была очень хороша; но одно препятствие было: а ну, как пойдет дождь? Посмотрели на барометр; судя по нему, дождя не предполагалось, и все знакомые Федора Александровича решили, что лучшего театра и выдумать нельзя.

Сам Безукрасов, молодой еще человек, полный, белолицый, с черными усами и слегка отвисшими, как у бульдога, щеками, сдвинутой на затылок фуражкой с красным околышем, хлопотал больше всех. Он целый день метался по двору, то следил за устройством столбов, то распоряжался о посылке за материалом, то забегал в садовую беседку, где несколько молодых людей разучивали роли для спектакля, и объяснял им, как такое-то место нужно исполнять. Пьеса была на этот случай написана им самим, в обличение крестьянских нравов. И конечно, как автор и устроитель гулянья, он руководил исполнителями и был увлечен этим до самозабвения. Один раз к нему подошел было приказчик и сказал:

– Федор Александрович, приехал прасол Ивушкин, спрашивает, что будете продавать из скота, потрудитесь поговорить с ним.

— Пошлите его к черту,— вспылил Федор Александрович,— какие переговоры о скоте, когда видите — во!..

Еще раз к нему ткнулся было письмоводитель по служебным делам:

— Федор Александрович, пятловские мужики, что землю у князя покупают, пришли, просят бумаги посмотреть.

— Выбрали время теперь, где они раньше-то были? Гоните их к дьяволу!

А когда однажды, за завтраком, против затеи Федора Александровича выступила его жена и сказала, что дело, которое теперь занимает Федора Александровича, более прилично гимназистам в каникулярное время, чем земскому начальнику и кандидату в предводители, то он прочитал ей целую нотацию.

— Ты, матушка моя, судишь очень односторонне,— сказал Федор Александрович.— Видеть деловых людей только за будничными занятиями и только в этом полагать обязанности их,— очень узко. Ведь мы не удовлетворяемся одними утилитарными целями; надо нам заглянуть иногда в иные области? В область поэзии, искусства и т. п.? Почему же у народа отрицать эти потребности? А раз это так, то почему же за удовлетворение этих потребностей прилично браться только гимназистам? Напротив, по-моему, чем солиднее лицо берется за проведение в народе разумных удовольствий и развлечений, тем больше шансов на самое широкое развитие их. Народ всегда имеет и имел право на здоровый и приятный отдых. Он так много трудится, так много болеет душой и телом, что простое участие в его судьбе может быть сочтено за серьезную заслугу.

— Я согласна с этим,— сказала было супруга Федора Александровича.— Но участие к положению простых людей, по-моему, должно бы выражаться прежде всего именно на почве будничных интересов, а потом уж...

— Во всем-с, во всем-с,— перебил ее Федор Александрович. И он начал горячо доказывать, что, пока вкусы народные так грубы и ему неизвестны искусство и эстетические наслаждения, никакое материальное благоустройство не может скрасить его жизни. А когда жена попробовала было заявить, что мы не знаем, насколько способен народ к

пониманию прекрасного, что, может быть, у него на этот счет существует более определенный взгляд, то Федор Александрович не стал и слушать дальнейших ее соображений, а поспешно выпил свой кофе и убежал наблюдать за приготовлениями к гулянью.

V

Наконец наступил и самый день гулянья. Участвующие в спектакле и распорядители съезжались в Каменское с самого утра, и после вкусного и обильного завтрака кто пошел на генеральную репетицию пьесы, кто стал готовиться к другим номерам гулянья: делать спевку с хором, распределять призы, подготовлять бенгальские огни и иллюминацию; все хлопотали чрезвычайно энергично, спорили, ругались и хохотали.

С полудня приехал торговец, который должен был торговать в палатке сластями, начали собираться блюстители порядка: урядник, сотские и старшина с писарем из ближайшего волостного правления для продажи билетов, часов с трех начали собираться и крестьяне.

— Молодежь-то, молодежь-то где у вас? — спрашивал главный распорядитель гулянья, уездный член, метавшийся по двору из угла в угол и распоряжавшийся и тем, и другим, и третьим.

Молодежь выступала из прибывающих групп и отводилась в сторону; главный распорядитель разъяснял, где они должны становиться, по скольку в круг и когда начинать хороводы.

— Вы того, подружнее начинайте-то, да знаете, повеселее пойте-то, а то вы, может быть, стесняться вздумаете,— наставлял он парней и девок.

Те слушали его, конфузливо улыбаясь и обещаясь «поддержать коммерцию».

Час начала гулянья приближался. Участники хорового пения собирались к предназначенному для них кругу и становились в ряд, музыка, вызванная из уездного города и состоявшая из пяти подозрительного вида человек, начинала налаживать свои инструменты. Народ все прибывал и прибывал.

Из дальних деревень собрались всех прежде; целый ряд подвод настроился за чертой села и занял чуть не десятину места.

Многие подводчики, задав лошадям корма и привязав их самих, входили в барский двор и, присоединившись к своим односельчанам, расхаживали с ними по двору и приглядывались ко всем штукам, которыми баре вздумали развлекать крестьян.

Пожилые мужики и бабы ходили чинно, боязливо озираясь, и если мимо них пробегал какой-нибудь распорядитель из «господ», то они торопливо сторонились. Мужики при этом не забывали снять шапки. Бабы если вздумывали что заметить друг другу, то делали это шепотом. Некоторые из молодых баб «от скуки ради» запаслись у торговца подсолнушками, но еще опасались грызть их по обыкновению, и если грызли, то не позволяли себе бросать шелуху, а бережно собирали ее в горсть и освобождались от нее только тогда, когда горсть делалась полная...

Труховские пришли на гулянье одни из первых. Парень, который раньше объяснял у старосты что такое представление, летал со своими товарищами по всему двору и объяснял им, что для чего устроено. Он отказался от участия в хороводах и выразил желание лезть на столб за призом. Другой парень намеревался перейти по вертящемуся бревну.

Гаврила Ферт и Павел Штык ходили по двору особливо от всех, вдвоем.

Лица у них были румяные, и глаза горели веселым огоньком, по всему было заметно, что они успели уже заложить в себя кое-что, веселящее сердце человеческое. Кроме того, у Гаврюхи как-то подозрительно топырились в бок карманы у карусетовой поддевки, что, видимо, очень соблазняло Павла. Он несколько раз направлял глаза на правый карман приятеля, наконец не вытерпел и сказал:

— А не приложиться ли нам к этому?

— Ну, вот, чудак, успеешь,— говорил Гаврила.— Гулянье начнется, и мы его начнем, а то что без поры безо времени, еще, пожалуй, заметит кто,— ишь их сколько здесь тонконогих-то шляется.

— Ну-ну,— соглашался Павел,— так-так-так, обождем, когда начнется.

— Знамо, да и бутылка плевое дело — приложился три раза, и дух вон.

— Для двоих-то хватит.

Один мужик, вздыхая, приговаривал:

— Эх, овин остался не высушен, завтра помолотки хотел справить да другим делом заняться, ан не успеть.

— Ну, вот еще об чем толкует! Коли престольный праздник подходит, то и не такие дела бросаешь и не тужишь, а тут из-за одного дня затужил,— уговаривал его приятель.

— К празднику-то так и готовишься, а тут нежданно-негаданно.

Толстая попадья с семью дочками терлась около сцены и, обращаясь к сопровождавшему ее чиновнику с почтовой станции, кисло пеняла ему:

— Ну, какой же вы называетесь кавалер, когда не можете выхлопотать бесплатные билеты на особые места.

— Честное слово, никак не могу,— уверял почтарь,— у меня никакой руки тут нету, как же я выхлопочу?

— А как же вон писарь выхлопотал дьячковой дочери?

— Да ведь писарь лицо, зависимое от господина Безукрасова, сплошь и рядом в различные отношения с ним входит, а я что ж поделаю.

— Так теперь что ж, прикажете нам вместе с мужиками и бабами торчать?

Чиновник пожал плечами, как бы говоря: «Что ж я теперь поделаю!..»

VI

Наконец посреди двора раздался звонок, возвещавший в обыкновенные дни начало и конец работ, время завтрака и обеда, а теперь открытие гулянья... Минут пять спустя в одном углу завизжала музыка, и вся толпа бросилась к кругу, где помещались музыканты, и плотным кольцом окружили их. Музыканты на разнокалиберных инструментах пронзительно выводили звуки вальса «Дунайские волны». Мужики и бабы сначала молча прислушивались к музыке, потом лица их стали проясняться, и на них ясно засветилось удовольствие, знакомые стали подмигивать друг другу и кивать головами, как бы говоря: «А ведь это славная штука-то».

Музыка сыграла одну пьесу и умолкла. Тогда запел хор певцов, и толпа бросилась туда, где помещались певцы. Хор был самый разношерстный: тут были и два учителя из ближайших школ, дьячок из каменской церкви и еще какие-то

лица. Пели «Вниз по Волге-реке», и пели довольно стройно и красиво, хотя дьячок, певший тенором, чтобы выжать из себя приятные звуки, не стеснялся сдавливать горло рукой. Когда кончили пение, в толпе уже послышались громкие возгласы, выражавшие удовольствие. По окончании пения один из сотских, приставленный к столбу с призами, замахал руками и закричал:

— Сюда, сюда ступайте, сейчас начинается! — И толпа направилась к столбам.

Охотники до призов, одни полезли на столб, другие пошли по перекладине, и толпа долго любовалась ими, причем удачников награждали криками восторгов, а неудачников — громким насмешливым хохотом. После того как у столбов стало делать нечего и призы все были разобраны, замахал руками сотский, стоявший у музыки, и стал зазывать народ в свою сторону... Толпа пошла опять к музыке; после музыки опять запел хор. Народ оживленно переходил с места на место, и чем дальше, тем его больше охватывало веселье и довольство. Будничные интересы должны были отойти на задний план, и всех, очевидно, занимало только настоящее. Даже у пожилых людей с лица сошла печать заботы, и мало кто уже сетовал теперь на то, что у того остался овин не сушен, у другого должна быть отложена поездка на мельницу. Общее веселье, должно быть, помирило их.

Распорядители гулянья, сновавшие по двору между толпами, замечали это и при каждой встрече с Безукрасовым радостно докладывали ему:

— Народ доволен, чрезвычайно доволен, вы посмотрите, какое выражение на лицах, вы прекрасную вещь выдумали.

— Я и раньше это предвидел,— тоном, преисполненным важности и достоинства, басил Безукрасов.

И он, распорядившись, чтобы собирались хороводы, направился к сараю, заменяющему театр, и, пригласив других участников в пьесе, объявил, что пора одеваться и готовиться к представлению.

Пьеса была в двух действиях. Содержание ее было таково: ничтожному мужичонке случайно попали в руки небольшие деньги. Конечно, он задумал их приумножить и бросился в разные обороты, начал душить своих же мужиков, надувать помещиков и дошел до того, что напал на родного брата и кровно обидел его. Про это узнало начальство и подвело его под законную ответственность.

Главную роль мужика-кулака взял на себя сочинитель пьесы Федор Александрович Безукрасов и, судя по репетициям, должен был провести ее мастерски.

— Облачайтесь, облачайтесь, господа, поскорей! Не нужно затягивать представление: деревенские — не городские жители, они не привыкли поздно расходиться по домам,— говорил Федор Александрович и начал одеваться и гримироваться для роли сам. Остальные, участвующие в пьесе, не отставали от него.

VII

Гавриле с Павлом не пришлось начать бутылку, как только начнется гулянье, потому что сейчас же за звонком началась музыка, и им захотелось послушать ее, а потом они вместе с другими перешли к певцам, а там не хотелось оторваться от столбов, и так дело начина бутылки оттянулось до тех пор, когда затянули хороводы. Считая, что хороводы дело знакомое и смотрение их не особенно интересно, приятели решили, что можно приняться и за бутылку, и, удалившись в сторонку к забору, отделяющему господский двор от сада, подсели к нему. Гаврюха достал из одного кармана бутылку, а из другого — пирог с морковью, и приятели начали угощаться. Когда они достаточно угостились, то времени прошло не мало, на дворе как-то притихло, и вся толпа сосредоточилась у каретного сарая и, сбившись в кучу вокруг огороженных мест, на которых сидели кое-кто из гостей самого Безукрасова и некоторые посторонние, кто имел достаток заплатить за эту привилегию рубль, глядели в освещенную пасть внутренности сарая, откуда доносились то ровный, спокойный голос, то какое-то выкрикивание.

Приятели осмотрелись с недоумением, взглянули друг на друга, и один из них спросил:

— Что это там?

— А черт его знает.

— Пойдем, поглядим?

— Знамо, пойдем, что они, деньги платили, а мы щепки? Что они, что мы — чай, все равно.

И приятели, пошатываясь, направились к сараю. Посредине, напротив открытых ворот сарая, народ столпился очень

тесно, и через головы их ничего не было видно. Им пришлось пробиться к стене, где сбоку около самого забора было просторно, но оттуда было видно только то, что делалось в одном противоположном боку. Гаврила с Павлом не обратили на это внимания, решили стать тут, а так как выпитая бутылка прибавила им силы и храбрости, то они оттеснили кое-кого, тут прежде стоявших, и протискались к самому барьеру.

На сцене в это время шло уже второе действие. Герой достиг полного благополучия, он уже подбил себе партию, которая должна выбрать его в старшины; к нему пришел отделенный старший брат и стал просить у него на похороны умершего ребенка. «Кулак» начал важничать перед ним; тогда, разгоряченный его бессердечием, брат начал осыпать его упреками и бранью. Оскорбившийся этим, паук набросился на брата с кулаками. В это время среди замершей в молчании публики вдруг раздался совсем неожиданный возглас:

— Братцы, что ж вы глядите, ен безобразничает, а вы допущаете, нешто это можно!

Публика оторопела, заволновалась и устремила свои взоры туда, откуда послышался возглас. Но многие не успели хорошенько разобрать, в чем дело, как с левой стороны из-под барьера вынырнул с сверкающими глазами и весь красный Гаврила и в три шага очутился на сцене, перегороженной от публики только одной вставленной подворотней, и вытянулся перед кичащимся «кулаком». «Кулак» перестал «измываться» над своим несчастным братом и с удивлением уставился на выступившее не по ремарке на сцену действующее лицо.

— Ты чего это распетушился? — пересевшим голосом зыкнул пьяный Гаврила на «кулака».— Тут вся честная компания, народ гуляет, значит, а ты...

И он вцепился в ворот «кулака» и рванул его к себе; хватаясь за ворот, он прихватил и кусок бороды «кулака». «Кулак» рванулся от него; в это время от этого движения с головы свалился надетый на него парик, борода осталась в руках Гаврилы, и перед взорами многих изумленных зрителей предстал совсем неожиданно сам Федор Александрович Безукрасов.

— Батюшки, барин!

— Сам земский начальник!

— Родные, что Гаврила-то наделал! — послышались возгласы в толпе.

Ужаснулся и сам Гаврила. Как ни был он пьян, но, увидя перед собою земского начальника, он вдруг сразу сообразил что он сделал что-то такое, чего не следовало делать, и вдруг, точно его ударили по ногам палкой, он опустился на колени и пробормотал:

— Ваше благородие, ваше...— но притупившийся язык стал у него колом и не действовал, и он не мог уж дальше пошевелить им.

Из-за кулис выскочил суфлер; другие, участвующие в пьесе, все с изумлением глядели на происходившую сцену и не знали, что делать.

— Занавес! — крикнул рассерженный Федор Александрович, и перед изумленными и испуганными зрителями опустился занавес. Занавес прервал как продолжение пьесы, так и дальнейшую судьбу Гаврилы.

VIII

Публике объявили, что продолжение пьесы отменяется до следующего раза. Следующий раз гулянье повторится, наверное, в покров. Но предупреждалось, что в следующий раз никто бы не смел ни заявляться на гулянье пьяным, ни захватывать водки с собой, так как всякий входящий будет освидетельствоваться. Выслушавши это объявление, публика стала расходиться.

— Все было хорошо, все хорошо, а под конец подгадилось дело! — говорилось среди расходившейся публики.

— Один пьяница все дело испортил.

— Паршивая овца-то одна, а все стадо мутит.

— А как он был нарядившись, барин-то, кто бы это узнал, что зто он?

— Дивное дело, вон до чего доходят!

— А чей это мужик-то был?

— Говорят, труховский.

— Ну, теперь он жди себе награды.

— Да, небось достанется на орехи.

— И как его догадало броситься-то туда?

— Знать, думал, не игра это, а в самом деле так.

— Должно быть, что так...

Попадья с дочерьми громко сетовала вслух:

— Эка жалость, не дал до конца досмотреть, разбойник! В кой-то век пришлось представление увидать, и то не путем.

И, обратившись к почтовому чиновнику, она проговорила:

— Смотрите, к следующему разу непременно раздобудьте нам билеты на особые места.

— Хорошо, постараюсь, может быть, достану,— уныло проговорил чиновник.

Но больше всех недовольны были происшедшим урядники, сотские и старшина с писарем. Они обращались к расходящейся публике с едким пренебрежением и говорили:

— Эх вы,дурачье пустоголовое! Вам же хорошего желают, а вы вон что выделываете. По-настоящему бы вам не гулянье устраивать, а праздники-то справлять запретить.

Недовольны происшедшим были и соучастники Федора Александровича. Они громко осуждали народное невежество, неразвитость, непонимание самых простых вещей и думали, что на их стороне и сам Безукрасов. Но Федор Александрович хотя и был взволнован, но казался вовсе не сердит; раздеваясь и освобождаясь от остатков гримировки, он пробовал насвистывать что-то веселое...

— Что это, вас, кажется, ничуть не опечалил этот инцидент? — обратился к Федору Александровичу уездный член.

— Нисколько! Напротив, я очень рад.

— Чему же вы радуетесь?

— Как чему? Так подействовать на публику — до полнейшего забвения чувств, это кого угодно порадует... А мне, как неопытному автору и случайному актеру, такой сюрприз стоит лаврового венка. Ведь до такой иллюзии довести зрителя можно только с немалыми силами. А они, наверное, все так же чувствовали как этот каналья, только ни у кого не хватило духу выразить так своего чувства.

— Так что же теперь делать с ним?

— Конечно, отпустить домой, не ужинать же его приглашать с собой. Я, пожалуй, накормил бы и ужином, да он, подлец, еще что-нибудь такое отколет,— сказал Федор Александрович и громко засмеялся.

1903 г.

Гаврила Скворцов

Повесть

I

Гаврила Скворцов был сын самых достаточных мужиков в Грядках. В их роду все отличались трудолюбием и заботливостью. Когда объявлена была воля, Скворцовых было три брата, и был еще в силе старик, их отец. Но потом один брат отделился, другой пошел в солдаты и попал под пулю на войне в Турции. Старик тоже вскоре свалился; во всем доме остались только Илья с Дарьей, родители Гаврилы. Первые дети у них не жили, все умирали от плохого ухода. Но последним мальчиком они очень дорожили. Он у них был «поскребыш», Дарья после него перестала родить и им хотелось вырастить его на утешение под старость. Гаврила выжил и стал подниматься на ноги. Год от года он креп телом и умом, делался смышлененьким, любознательным. Едва он научился выговаривать слова, как стал закидывать отца с матерью вопросами на каждом шагу. В особенности он надоедал с расспросами, когда его куда-нибудь брали: на мельницу, на базар, в город. Он допытывался, как зовут встречную деревню, много ли есть деревень, есть-ли такие города, как их город. Ему отвечали, что знали: что деревням всем несть числа, что из городов есть Москва, в которой одних церквей сорок сороков; есть город Питер, где живет царь, который все равно что земной бог. Есть другие царства, в которых люди и говорят-то не по-нашему и которые в нашего бога не веруют, а молятся незнамо кому. Наш бог живет на небесах с ангелами и угодниками, а их — незнамо где; и такая вера не одна, а их на свете семьдесят семь. Говорили мальчугану, что земля так велика, что ей конца-края нет; стоит она на трех китах, и если один кит хвостом вильнет — солнце взойдет, другой вильнет — солнце сядет, а как третий кит шевельнется — тогда начнется «светопреставление». На месяце — говорили — видно, как Каин Авеля убивает. Звезды — это людские души; как человек помрет, так и его звездочка угаснет. Мальчик до школы очень доверчиво относился ко

всем этим рассказам, но когда он походил в школу, послушал беседы учителя об устройстве мира, почитал книжек, то он понял, что многое, что ему сообщалось, были просто басни. И когда он после этого слышал эти рассказы, то он уже оспаривал их, доказывал вздорность и с жаром говорил, что знает это достоверно. Иной раз он убеждал тех, кто его слушал, иногда же его речи были — что в стену горох; тогда он раздражался и начинал глядеть на того, кто оказывал такое упрямство, с неприязнью: или едко вышучивал его, или же говорил какую-нибудь грубость.

В работе старательностью он задался в стариков. Он без понужденья брался за все, что ему было подсильно, и так во все втянулся, что к восемнадцати годам по крестьянству он мог сделать что угодно. Когда не было работы в поле, он копался на задворках. Там он развел небольшой сад. Натаскал из лесу диких яблонь, смородины, малины, ореховых кустов; все это насажал рядами. Когда яблони прижились, он сам их привил. Он прививал яблони и другим, кто пожелает, и делал все это всегда охотно. Отличался он способностью и в других делах: ему ничего не стоило составить какой нибудь приговор, смекнуть любой расчет, разверстать в покосе клин травы, уставить расстроившийся плуг. Илья головой был слаб; отчего он всегда изумлялся, как это парень так легко соображает. Он думал, что сын с такими способностями далеко пойдет. Такие головы нужны. Вот войдет он в годы, уж непременно его выберут в старосты, а тогда ему придется ходить в волость, там увидят его смышленость многие, как-нибудь заметит начальство, и ему придется верховодить не одним крестьянским миром. Старуха держала в голове свое. Она ничего далеко не загадывала, а думала только, какую из сына извлечь пользу. Ее прежде всего занимала забота о женитьбе сына. Думала она об этом по двум причинам. Во-первых, ей нужна была теперь помощница: как-никак, а она уж человек немолодой, во всякий след ей уж трудно соваться, у ней хлопот полон рот в будни и в праздник; другая баба будет им далеко не лишняя. Во-вторых, ее соблазняла самая свадьба. Она думала, что они свадьбой заставят говорить весь округ. Они живут, слава богу, хорошо; жених из себя любо-дорого посмотреть, притом один сын, в солдаты ему не идти, невесту можно взять какую захочешь; на свадьбу раскошелиться им тоже есть из чего. Нужно хоть раз в жизни себя показать да людям в глаза пыль пустить.

И она часто представляла себе длинный веселый поезд, нарядных «ублаготворенных» гостей с веселыми песнями, по целым дням толпящийся у их двора народ. А какую невесту-то они отхватят, а какой сундук добра-то от нее привезут! «Напрасно вы ластитесь, родимые матушки деревенских невест: не бывать нам с вами родными по целый век. У вас еще для этого кишка жидка!»

II

Скворцовы мало кого уважали в своей деревне. Таких, как они, в Грядках было две-три семьи, а остальные стояли гораздо ниже по старательности и достатку. К Скворцовым часто ходили кланяться с нуждой: кто шел перехватить мучки, кто крупиц, кто занять денег, кто попросить соломки, колоску, сенца постом изголодавшейся скотине. У Скворцовых все это можно было найти, но они неохотно делились своим добром; особенно расчетлива была старуха. «Что же мы, родные, нешто на людей готовим? У нас все на себя, кто же вам самим не велел заботиться? Ведь и мы тоже такие же хрестьяне, не с неба звезды хватаем, а с такой же полосы горбом все добываем». Просивший стоял в это время, понурив голову, и читал про себя: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его». Старик во всем полагался на старуху. И Гаврила соглашался с тем, что говорила мать. Он знал, кто у них просит, и видел, отчего они доходят до этого. В Грядках были такие мужики, которые пили при каждом случае: и на мельнице, и на базаре, и в праздник. Пропивали такие деньги, на которые можно многое бы сделать, а потом, когда приходила нужда, поневоле многое упускали. В покосе они везли в город лучший воз сена и отдавали его за гроши; осенью за бесценок шел хлеб, а потом у самих же голодала скотина, хлеб покупался весною за двойную цену или же из-за него люди закабалялись на какую-нибудь невыгодную работу. Другие терпели от лености. Сладка была им печка-матушка. Лежит мужик всю зиму; придет весна, нужно ехать пахать, а он посылает в поле бабу или девку, а сам принимается вострить колышки или прутья на плетень вертеть. Бабья или девичья пахота, конечно, уж была не та, из-за этого плохо родилось, хотя причиной неурожая считали, что бог не дал,— а при чем тут бог? Гаврила часто возмущался на таких хо-

зяев. Он не жалел даже, если мать им резко отказывала. Ему жалко было, только когда в таких семьях страдали малыши. Все они большею частью были тонконогие, большеголовые, или с вечным кашлем, или со струпьями от золотухи. Их плач доставал его до души, и у него всегда сжималось сердце. Также неспокоен он был, когда на первой пашне он видел лохматых, с выдавшимися ребрами, с осовелыми глазами лошадей, которые потные, с дрожащими мышцами, тащились бороздой. Ох, как им тяжело было, а их еще стегали кнутом!

Гаврила изо всей семьи меньше всех был способен отнестись с почтением ко многим из односельчан. Его отталкивало от них больше всего то, что они как-то легко смотрят на жизнь. Этим отличались старые люди, в этом грешны были и молодые. Никто ничего особенно не любил, никто ничего не желал. У Гаврилы часто зарождались такие вопросы: зачем это люди так не одинаковы, а сколько голов, столько умов? Он пробовал задавать такие вопросы и пожилым и своим сверстникам, но ему никогда никто не дал удовлетворительного ответа, а по большей части люди выражали самое тупое равнодушие или отделывались шуточками. В Грядках вся молодежь только и склонна была позубоскалить, потрепаться, повеселее провести время. Стоило им очутиться где-нибудь вместе, на какой-нибудь работе, сейчас у них первое занятие — песни. Если они не плясали и не пели, то говорить старались так, чтобы каждое слово их вызывало смех. Шутили иногда так, что его от этих шуток коробило. Если же они говорили серьезно, то только о том, что попадалось на глаза. В покосе они говорили о покосе, в жнитво о жнитве, осенью о рекрутах, зимой о свадьбах. Если девки в праздник ходили к обедне, то ни о службе, ни о проповеди у них никогда не было и речи, а говорилось только о том, какая из девок была всех нарядней, кому на ком понравился рисунок платья, чьи были ребята у обедни, какие из них хороши, какие худы. Такие разговоры перемешивались какой-нибудь сплетней. Вот и все, что интересовало деревенских девиц.

Гаврила знал, что его женитьбу долго оттягивать не будут. Иногда он задумывался о том, с кем-то ему бог приведет соединить свою судьбу, но когда он вспоминал всех знакомых девок и представлял себе, что вот из них ему нужно будет выбрать себе подругу,— он торопливо начинал отма-

хиваться. «Нет, нет, не дай господи, лучше неженатым проходить». Он даже недолюбливал и бывать с молодежью. В праздник зимой он просиживал за книжкой, а весной и летом уходил куда-нибудь из деревни: или бродил по бежавшей их полем речке, выслеживал рыбу, уток и ловил их, или забирался в лес, прислушивался к дуплистым деревьям, стараясь найти в них любопытное гнездо. Он часто следил за какой-нибудь птичкой, зверьком, а то просто разваливался на опушке под березами и лежал, уставясь в голубое небо, глядя на разгуливавшие там облака или прислушиваясь, как перешептываются между собою дерево с деревом. Когда же за ним увязывался кто-нибудь из товарищей или просто ребятишек, тогда день для него проходил очень интересно.

Сказать, что Гаврила совсем не любил веселиться, было нельзя. Его часто охватывало такое желание пойти на люди разгуляться, что он сдержать себя не мог. Тогда он шел на улицу, начинал дурачиться, сыпать шутками или заводил хороводы и сам затягивал песню. В хороводе он иногда ходил до того, что у него пересыхало в горле от песен. В это время никто из деревенских ребят не мог тягаться с ним в удали.

III

Такой стих на него нашел весною в одно из воскресений. С утра он занялся устройством себе шалаша в саду для спанья летом. Все утро провозился он за работой и утомился. Когда он окончил работу, то ему стало скучно, и его потянуло разгуляться. Он вышел на улицу; в деревне из молодежи уже никого не было. Гавриле сказали, что все ушли гулять на барский двор. Барский двор был при имении, верстах в пяти от Грядок. К нему прежде и принадлежала деревня. Туда всегда по веснам собиралась гулять молодежь из окружающих деревень. Этот обычай велся со старины, с барщины. Молодежи всегда собиралось очень много, и гулянье шло такое, какого, разумеется, ни в какой деревне было устроить нельзя. Гавриле пришлось одному отправляться туда. Он надел хорошие сапоги, пиджак, новый картуз. Когда он пришел на господский двор, то веселье было в полном разгаре. Посреди двора раскинулся огромным кругом широкий хоровод, похожий на венок из всевозможных цветов самых ярких окрасок. В нем участвовали и знакомые и незнакомые,

но, несмотря на это, песня пелась дружно, стройно. Кругом хоровода пестрели кучки собравшихся просто из любопытства. Тут были молодые и пожилые бабы, мужики, парни и девки, которые не хотели почему-нибудь принять участие в хороводе. Была тут и чистая публика. Из окон господского дома, старого и обширного, всегда оживавшего на лето, выглядывали какие-то барыни. Два барчука и нарядная девочка-барышня стояли поодаль на лужке и, смеясь, говорили что-то между собой, глядя на хоровод. В другом месте виднелась кутейничья семья из села. Гаврила немного растерялся, очутившись перед такой пестротой. Нетвердыми шагами подошел он к хороводу и снял картуз. Ему кто ответил, кто нет. Он приблизился к одной кучке и издали стал оглядывать хоровод.

В хороводе мелькали все больше знакомые лица. Гулянье собиралось каждый год, и ребята пригляделись уже к тем, кто на них ходил. Были очень нарядные девки, развязные парни, лица красивые, миловидные и уродливые. Гаврила хотел было перевести глаза на сторону, как вдруг мелькнуло совсем новое девичье лицо, которое сразу притянуло Гаврилу к себе. Он впился в это лицо взглядом, и когда рассмотрел его, то почувствовал, что у него что-то шевельнулось в сердце. В выражении лица, во взгляде девушки было что-то необычное. Другие девки наперерыв старались выставлять свои особенности: одна щеголяла своим платьем, другая — платком, третья выезжала на голосе. Эта же держала себя необыкновенно просто. Она, видимо, не думала ничего ни о себе, ни о других, а унеслась мыслью куда-то далеко-далеко. Она не отличалась ни нарядом, ни особой красотой. Внешность ее была ничем не выдающаяся. Небольшого роста, смуглая, с правильными чертами лица. Хороши у ней были только большие темные глаза да частые сверкающие зубы. Но Гаврила не мог уже оторвать от нее своего взгляда.

Круг медленно двигался, девушка приближалась к тому месту, где стоял Гаврила. Поравнявшись с этим местом, она вдруг вышла из хоровода и направилась к его кучке. У Гаврилы дрогнуло сердце. Она остановилась чуть не рядом с ним и, улыбаясь и слегка вздохнув, поправила платок на голове.

— Что ж ты бросила? Допевала б песню-то,— обратилась к девушке другая, видимо ей знакомая, тоже улыбаясь и уступая ей место рядом с собой.

Девушка улыбнулась опять и проговорила:

— Будет, и то чуть не две песни проходила.

— Може, какой парень в хороводы вывел бы.

Девка перестала улыбаться и уже другим голосом сказала:

— Эка невидаль, подумаешь.

И она окинула глазами кругом и остановилась взглядом на Гавриле; скользнув по нем, она отвела взгляд и стала глядеть на хоровод.

Гаврила думал, что он, наверное, от ее взгляда переменился в лице. Лишь только она отвернулась, он отошел от кучки, медленно обошел весь хоровод и набрел на толпу, в которой стояли девки и бабы из их деревни. Гаврила приблизился к одной бабе и, показывая на заинтересовавшую его девку, спросил, не знает ли, откуда она. Эта баба не знала, но другая, стоявшая рядом с нею, рассказала Гавриле и откуда она, и кто она, и у кого живет.

Девушка оказалась из села. Звали ее Аксиньей. Она была сирота и жила в селе с осени у дяди. До этой поры она росла в другой деревне, под городом, у тетки, которую звали монашкой за то, что она знала грамоте, любила ходить по богомольям, читала по покойникам Псалтырь. Перед покровом она умерла, оставив Аксинью одну. Тут девушку взял к себе дядя, и она жила у него теперь работницей.

Гаврила опять подошел к кучке, где стояла Аксинья, и еще раз взглянул на нее. Ему было как-то приятно сознавать, что вот уж он кое-что знает о ней, и она от этого показалась ему еще ближе. Ему думалось, что она очень мила. Он оглядывал других девушек, сравнивал ее с ними и ни в одной не находил того, что было в Аксинье. Он еще раз обошел вокруг хоровода; ребята, свои и чужие, знавшие его, приглашали его вступить к ним в круг, с этим же приставали к нему и девки, но он загадал себе: «Если она пойдет, и я пойду и выберу ее; если она не пойдет, и я не пойду», отшучивался от товарищей и наблюдал, не станет ли Аксинья в круг; но Аксинья не становилась, не пошел в хоровод и Гаврила.

IV

Когда гулянье кончилось и Гаврила с своею молодежью пошел домой, он думал, что дома забудет все. Но он ошибся. И дома он представлял себе ее лицо, ее взгляд, ее голос. Это

было и на другой день и на третий. И когда неделя прошла и подошел снова праздник, он уже сам стал собирать молодежь на гулянье.

На этот раз ему удалось ходить с Аксиньей в хороводе и перекинуться несколькими, совершенно незначительными словами. В следующий праздник Гаврила, при встрече с ней, поклонился ей особо и получил в ответ улыбку. Сердце его разгорелось, и когда гулянье кончилось, он подговорил своих ребят провожать сельскую молодежь. Дорогой он очутился рядом с Аксиньей, опять заговорил и успел сказать ей в шутливом тоне, что она, должно быть, имеет приворотный корешок — его раз от разу тянет к ней все больше и больше. Аксинья, приняв это за шутку, ответила тоже шуткой. Когда грядковские ребята очутились в селе, то сельская молодежь продолжала гулять и завела хоровод у себя. Аксинья в своем селе в хороводе не выступала, а села у сторонки на лежавшие тут бревна и стала глядеть на гуляющих. Гаврила подсел к ней и проговорил:

— Ты что же отстаешь от подруг?

— Так, что-то охоты нет.

— Веселиться охоты нет; девичье дело такое, чтобы веселиться.

— Хорошо, когда тянет к веселью, а если не тянет — тогда что же поделаешь?

— О чем же ты грустишь?

— Ни о чем особенно, а так невесело.

— Со мной это тоже бывает,— вздохнув, сказал Гаврила,— когда разгуляешься, а то вот лучше в углу просидеть.

— Я, бывало, этого не чувствовала, а вот как тетушка умерла, после этого стало находить, думы разные в голову лезут, особливо за работой да когда одна.

— Какие же думы?

Да всякие: и о живых, и о мертвых думаешь. Иной раз такое придет в голову, что в глазах зарябит...

Гаврила, подумавши, проговорил:

— Знать, тетка-то твоя хорошая была?

— Хорошая. Тихая такая, богобоязненная, вот только недужилось. Сколько она всего видала! Она ведь и в старый Ерусалим ездила, и в Соловки. Каталась и на машине и по морям. Бывало, рассказывает-рассказывает, где какая сторона, какие люди, как живут, какое одеяние у них. Наслушаешься — и рада бы сама пойтить куда: очень уже любо-

пытно-то. А как по морю-то ездят! Господи, думаешь, живешь ты вот тут, только и видишь свое место да неба на три версты, а белый свет-то каков, людей-то в нем сколько!

— Я хоть нигде не бывал, зато читал много, потом, у нас в училище глобус был... Так учитель по нем показывал, где какая сторона, как на нее светит солнце, какие люди живут, какие звери,— очень занятно.

— А я только знаю, что от нее слышала. Просилась я раз у нее взять в Киев меня, она собиралась, да не пришлось.

— Может быть, теперь придется.

— Где ж придется, с кем я пойду? Да и дядя не пустит. Так, должно, и прокоптишь весь век, ничего не увидя.

— Да, насчет этого вашей сестре плохо; нашего брата хоть в солдаты возьмут, что-нибудь увидит, а вы что?

— Оттого-то наша сестра такая. Что она знает-то? Ни понять она ничего не может, ни слова путного сказать. Вон, бывало, тетушка: она видала кое-что да грамоту-то знала,— бывало, в разговорах-то любого мужика загоняет. И какие она рассказы рассказывала!

В это время грядковские ребята, окончив песню, вышли из хоровода и подошли к Гавриле с Аксиньей.

— Вы что тут, сказки, что ль, друг дружке рассказываете? — воскликнул один парень и громко засмеялся.

— Бобы, должно быть, разводят,— тоже со смехом вымолвил другой.

— Ну, а мы домой хотим отправляться. Пойдешь, что ли, Гаврила?

Гаврила встал с места и оборвал таким образом беседу.

Сельские девки пошли провожать грядковцев. На конце села они распрощались. Сельские просили грядковцев опять приходить к ним как-нибудь вечерком, тем более что наступали петровки, подходила навозница, и на барском дворе, по случаю рабочей поры, сборища должны были прекратиться до будущей весны. Ребята обещались, а Гаврила несколько раз повторил:

— Непременно придем.

V

Но прийти в село еще раз молодежи не пришлось. Навозница, потом пахота, а там покос захватили всю деревню. О гулянье уже некогда было и думать. Работа была всем даже в

праздники. Гаврила несколько раз порывался пойти в село, но он не находил себе товарищей. Все они были чем-нибудь да заняты. Да их и не тянуло туда так, как Гаврилу. У других уже не осталось никаких воспоминаний о том, что происходило весной, и только Гаврила все ясно помнил и переживал в своих воспоминаниях каждый день. Перед ним возникал пестрый круг хоровода, ходившая в нем Аксинья, ее лицо, ее голос. Гаврила вспоминал последний разговор с ней, и все ему казалось в ней так мило и хорошо, как ни в ком из других девушек.

Время проходило, но эти чувства все сильней укреплялись в его сердце. К концу покоса они овладели им так сильно, что Гаврила уже не мог заглушить их. Ему захотелось хоть издали увидать Аксинью, но он не знал, как ему это лучше устроить. Тогда он надумал сходить в село к обедне, надеясь в церкви встретить ее, и в следующий праздник он пошел. До села от Грядок было верст десять, и грядковские редко посещали приходскую церковь. Особенно мало усердников бывало летней порой. Гаврила пошел один.

По случаю рабочей поры в церкви было немного народа. Причт, видя это, быстро делал свое дело, не желая задерживать и этих немногих. Гаврила машинально помолился и стал глядеть направо и налево. Но та, которую он так горячо хотел увидеть, не попадалась ему на глаза. Он прошел с одной стороны церкви на другую. Совсем отвертел голову, оглядываясь на каждого входящего, но Аксинья не показывалась. Гавриле стало скучно, он вышел на паперть, сошел со ступенек и сел на камень у ограды. Вслед за ним из церкви вышла одна сельская девушка и, проходя мимо, поклонилась ему.

Гаврила не утерпел и спросил:

— Что же это так мало сегодня ваших в церкви?

— Работают,— отвечала девушка,— у батюшки рожь жнут. Все поголовно ушли.

Гаврила понял, что ему Аксиньи не увидать. Ему стало досадно. Он вздохнул и проговорил:

«Ну, что же, и ладно. Взглянуть на нее очень хотелось бы, а говорить стоит ли? Как и что я ей буду говорить? Надо брать сватов да ехать на дом к ним. Там и сказать, что хочешь, можно. Напрасно я сам себя терзаю».

И он почувствовал какую-то легкость на душе и бодро зашагал из села. Июльское солнце ярко сияло, поспевающая

рожь блестела от его лучей и уже не волновалась, как это бывало, когда она цвела. В траве на межниках еще не выпарилась роса, от шагов по дороге поднималась легкая пыль; становилось жарко, но Гаврила чувствовал себя очень легко. Он думал, что вот он придет домой и объявит старикам, что он нашел себе невесту и что нужно сватать ее. И они пойдут ее сватать, а потом сыграют свадьбу, и Аксинья будет его — его на всю жизнь. Она будет с ним и дома и в поле на работе. С ней он будет ходить на улицу, ей будет рассказывать, что он знал и что вперед узнает. Жить они будут не как другие, а в любви, согласии, чтобы, глядя на них, им завидовали люди и ставили их в пример другим.

VI

Дома Гаврила сразу ничего не мог сказать старикам. У него как-то не хватало смелости и не повертывался язык, но вечером, за ужином, зашел подходящий разговор, и Гаврила, преодолевая свою робость, проговорил:

— А вы меня думаете нонче женить?

— Как же, как же! — поспешно заявила Дарья.— Надо женить, чего же ждать? Слава богу, года вышли, человек нам нужен. Мы теперь люди немолодые, как-никак, а век доживаем. Мне-то вот трудненько становится. Нужно и стряпать, и вас обшить да обмыть, и на дворе уходить,— помощница вот как нужна.

— Мне хотелось бы в селе одну девку посватать.

— У кого?

Гаврила сказал.

— Что же, если девка подходящая, где хошь можно. Вот я как-нибудь утречком доеду туда да спрошу у церковной сторожихи, опа мне подругой в девках была; баба хорошая, душой кривить не станет — все выскажет.

У Гаврилы как гора с плеч свалилась, так ему стало легко. Значит, главное сделано — старикам объявлено, скоро и дело пойдет. И он опять стал думать о будущем и весь ушел в эти думы.

Дарья среди недели рано утром, истопивши печку, отправилась в село. Она поехала как будто нанимать жней. Они всегда брали посторонних работниц на жнитво. Гаврила думал, что эта поездка только для виду, но, оказалось, вышло

совсем не то. Старуха вошла в избу, перевела дух и заговорила:

— Ну, была я в селе, расспросила про эту девку... Чем это, сынок, она тебе так полюбилась?

Гаврила был огорошен. Странное дело,— чем? Полюбилась и полюбилась — очень просто. Он даже не нашелся, что бы ответить матери. Старуха продолжала:

— Мне ее показывали издали. Шла она за лошадьми в стадо; сторожиха-то меня и кликнула. Так себе, не то чтобы очень дурна и не красива. Сирота, жила у бобылки, по хозяйству что едва ли хорошо знает. Нет у ней ни наряду хорошего, ни одежи. Тетка-то кой из чего перебивалась; и у дяди живет первый год: если ему награждать ее, то не из чего.

— Коли так, то завидного мало,— согласился Илья,— это какая же невеста!

— Сторожиха говорит, что от ней еще никто не видал ни зла, ни добра. Девка как девка.

— Сторожиха по-своему рассуждает, а я по-своему гляжу,— в сильном волнении проговорил Гаврила.— Не ей с ней жить-то, а мне.

— Знамо, тебе,— воскликнула старуха,— только всякое дело нужно делать с рассудком, нужно рубить подходящее дерево. Нешто нам, сынок, такую невесту надо? Нам надо первую из околотка. Ты у нас один, живем мы слава богу. Расчетливый человек, коли хошь знать, нам с наградой невесту-то даст: выложит два ста или три ста, только возьмите.

— Никакой мне награды не нужно, мне человек дорог.

— И человека дадут. Ты думаешь, с деньгами-то овцу нарядят? Такую дадут, что из-под ручки поглядеть.

— Надо обстоятельно брать,— поддерживал бабу Илья.— Как-никак, а в сам деле, что же это мы к такому дому да кой с чем-то приведем? Нужно порядок блюсти. Мы помрем, вы двое только останетесь; твое-то вон какое имущество будет, а с ее доли что? Это тоже не дело.

— Да что говорить, уж эту возьмешь прямо на все попеченье, потому у ней ни мать, ни отец. Дяде-то только с шеи ее стрясть. Ни тебе у него погостить, ни совета какого спросить. Другие вон из-за жениной родни-то на ноги становятся, а тут уж надеяться не на что!

— Все ты не то, матушка, говоришь,— сказал Гаврила.— Мы не до того дожили, чтобы нам поправляться от свадьбы.

Мне думается, женитьба дело не такое... Зачем все рассчитывать?

— А то как же, по-твоему,— без расчета?

И старуха опять заговорила, повторяя уже сказанное и приводя новые доводы. Гаврила спутался в мыслях и не находил нужных слов. Поэтому, что он ни говорил, старуха все опровергала. Гаврила решил не сдаваться. Старики, видимо, стояли на своем; так они ни до чего и не договорились.

VII

Рожь была сжата, обмолочена, и посеяно озимое. Осталось убирать одно яровое поле. Всем стало вольготней. Народу как будто полегчало. Прошли жары, так допекавшие летом людей, ночи становились длинней, можно было вволю и высыпаться. Обновились харчи: в огородах поспел картофель, капуста, кое-кто резал ягнят и начинал питаться убоиной. Все стало выглядывать веселей.

С окончанием главных работ пошли и другие интересы: кто подумывал о свадьбе, кто о солдатчине. Старики Скворцовы, к великой досаде Гаврилы, разговора о свадьбе больше не заводили, точно они совсем раздумали парня женить. Гаврилу разбирала злость, и он все думал поднять снова об этом разговор и добиться во что бы то ни было согласья на брак с Аксиньей. Он чувствовал, что разговор будет решительный, и выжидал удобного момента.

В одно воскресенье, в конце августа, Гаврила после обеда пошел в лес, чтобы поразмяться и чтобы поосвежить мозги, как думал он. В лесу он прошлялся очень долго. Там было так хорошо! Год был не грибной, и ему там не попалось ни одной души. Трава была давно скошена, и нога ступала свободно по мшистым площадкам. По вершинам деревьев шел легкий шум от ветра. Листья, начавшие кое-где краснеть и желтеть, обрывались и, медленно крутясь, тихо падали на землю. Щебетали дрозды, шуршали ящерицы. Гаврила и не заметил, как прошел день. Стало свежеть, по деревьям пробивались уже совсем косые лучи солнышка. Парень отправился домой. Он шел не спеша, и когда пришел в деревню, совсем завечерело. Скотину пригнали домой, и на середину улицы высыпала уже толпа девушек. Девушки о чем-то громко рассуждали. Гаврилу взяло любопытство, и он подошел к ним, напустил на себя веселость и крикнул:

— Что за шум, а драки нет?

— Бить некого,— бойко ответила ему одна.

— Вот их собрать всех да отколошматить,— проговорила другая.

— За что такое? — спросил Гаврила.

— За старо, за ново, за два года вперед, что не по совести делаете: хороводы водить да плясать — к нам, а как невесту сватать, то в чужую деревню!

— Плевать,— сказала еще одна девушка,— пущай их поездят, лучше нас не приведут.

— Кто же такой за невестой ездил?

— Приятель твой, Арсений. А ты и не знаешь?

— Почем же я знаю? Спасибо, что сказала.

— Ну, вот! А в селе энту новенькую знаешь? Вот сироту-то?

— Аксинью? — спросил Гаврила и почувствовал, как в груди у него точно похолодело.

— Вот, вот! Ее сосватал и зарушники взял.

— Вот одним человеком в деревне прибудет!

— Лиха беда начало, а то, може, за одним-то другой да третий. И уж повеличаем мы!

Гаврилу точно ударили по голове обухом, и он стоял, не зная, ни что ему делать, ни что говорить. В глазах у него забегали красные круги, и ему думалось, что под ним земля вертится. Постояв с минуту около девушек, он воспользовался первым удобным случаем и ушел от них. Он пришел в избу, лег на коник.

«Что они сделали! — думал он про стариков.— Оттянули! Упустил я девку! Да как же это так?»

И парень чувствовал, что сердце у него разрывается на части и в голове все идет кругом.

«Нет, я сам виноват, чего я ждал? Надо бы приставать к ним, вынуждать их, чего на них было глядеть? И теперь бы не у Арсения, а у меня были зарушники. Нешто меня сравняли бы с Арсеньем?»

Арсений был маленький, невзрачный, недалекий умом. И по дому у них хуже жили. Отца у Арсения не было давно, а была только мать-старуха да девка-невеста. Они тоже жили без нужды, но все-таки у них далеко не то, что у Скворцовых.

И как этого тихоню только толкнуло к ней посвататься? И нанесло же его! Если пойти наперебой, то как же это сделать?.. Ах, если бы у него не такие были старики! Они

ни за что не пойдут на скандал. Они теперь обрадуются этому. Господи, какой он несчастный!

На душе Гаврилы так было нехорошо, что он готов был застонать от внутренней боли. Он перевернулся и опять стал думать.

«Так что же делать? Что же делать?»

И у него стали зарождаться в голове совсем безумные планы. То он надумал пойти к Арсению и объявить ему, что он не допустит жениться его на этой девушке, то ему представилось, что ему нужно прямо заявиться к Аксинье и ей высказать все. Но это недолго умещалось у него в голове, ему пришло на ум: а что, как Аксинья совсем к нему так равнодушна, что и слушать его речей не будет,— тогда каково ему будет?

В избу вошла старуха. Она рыла картофель к утру. Гаврила поднялся ей навстречу и проговорил:

— Что вы со мною наделали? Девку-то просватали!

— К кому?

— К Сушкиным.

— Ну, вот и слава богу,— спокойным голосом сказала старуха.— Тут она и к месту, а нам она не невеста.

— Конечно, вам кукла нарядная лучше человека! — сквозь слезы воскликнул Гаврила.— Век вы доживаете, а не понимаете, что нужно понимать!

И он не мог уже больше говорить от подступивших рыданий, а взял с коника одежину, накинул ее на голову, вышел из избы и прошел в сад к себе в шалашик.

VIII

Свадьба Арсения, как и всякая свадьба в серенькой деревенской жизни, внесла оживление. Застоявшаяся жизнь всколыхнулась. Началось движение, толки, разговоры. Всякая мелочь вызывала такой интерес, который для человека из другой среды показался бы непонятным. Прежде бегали глядеть платки, какими невеста обнесла жениха и его родных в рукобитье, потом провожали жениха с гостинцами. Когда же наступило время свадьбы, то у двора Сушкиных столпилась вся деревня. Девушки величали гостей, бабы глазели во все глаза на происходившее; мужики пришли за обычной четвертушкой водки и пивом и, распивши их, помогали справ-

лять поезд: вплетали ленточки в гривы лошадей, улаживали пристяжи, помогали надевать хомуты. Кто служил делом, кто словом. Тут же толпились ребята, и только Гаврилы никто не видал за все время. Он как-то сторонился от всей этой суетности и ни разу не подходил к двору Сушкиных. Арсений, справляясь с гостинцами, пришел звать его с собою. Гаврилу сначала очень соблазнило это приглашение: «Поехать, поглядеть на нее, перемолвиться словом, сказать ей, что он чувствует». Но эта мысль только мелькнула в его голове, и он сейчас же вслед за этим подумал: «Зачем? К чему? Что из этого выйдет? Только свое сердце терзать?» И он решительно отказался от поездки, как его ни упрашивал Арсений.

И только на другой день свадьбы, когда раскрыли молодых, он не вытерпел и пошел взглянуть на них. Изба была набита народом. В ней было душно и темно. Он только втиснулся в задние ряды, но ему и из толпы удалось увидать молодых. Они сидели за столом. Со всех сторон их окружали гости. Гости все точно бесновались: кричали, пели и пили вино и пиво, требовали подсластить. Молодые казались всем не простыми, обыкновенными людьми, а гораздо значительней. Что-то поднимало их в глазах всех. Такими они показались и Гавриле. Арсений, обыкновенно тихонький, не шустрый паренек, теперь казался молодцеватей, в глазах его сверкал какой-то огонек, все лицо сияло торжеством и счастием. Аксинья же прямо заставила сжаться сердце Гаврилы тяжелой болью и тоской. Как она была мила в этом новом платье и голубом кашемировом платке! Она сидела с опущенными глазами, выражение лица ее было сконфуженное, но все-таки она выглядывала как будто расцветшею. Она теперь казалась ему милее, чем когда бы то ни было. Какое чувство зависти поднялось в его груди к счастию Арсения! В нем все закипело, заволновалось, к глазам подступили слезы. Он повернулся, вышел из избы, ушел домой, но и дома поднявшееся в нем чувство все бурлило и омрачало ему белый свет.

На первых порах, чтобы заглушить все в своем сердце, Гаврила надумал самому пойти по следам Арсения: поехать и посватать какую-нибудь девушку, жениться и жить, как заживется. Тогда, может быть, скорей забудется все, что теперь разрывает ему сердце. Но, думая дальше, Гаврила понял, что это будет безрассудно. Нужно придумать что-нибудь другое, что помогло бы затянуть душевную рану. Не лучше ли

ему теперь на время уйти из деревни, скрыться от всего, ну, хотя поехать в Москву? Этот исход показался ему самым лучшим. «Поживу там, испробую новой жизни, погляжу, как другие люди живут; там, може, скорее горе забуду».

IX

Осень кончалась. У Скворцовых был уже перемолочен хлеб, и все прибрано на свое место.

Раз как-то вечером все рано собрались в избе. Мужикам было делать нечего, и только старуха что-то хлопотала около суденки. Гаврила взглянул на сидевшего в простенке отца и, опускаясь сам на другую лавку по конец стола, проговорил:

— Я вот что надумал, батюшка: хочу пачпорт взять да отправиться на годик в Москву пожить.

У Ильи дрогнули мускулы на щеках. Он точно испугался этих слов. Изумленно взглянул на красивое, с прямыми, твердо очерченными чертами лицо сына и, слегка заминаясь сначала, проговорил:

— С чего это ты выдумал-то?

— А с того и выдумал,— уже более твердо проговорил Гаврила,— что это для меня самое подходящее.

— Подходящее это тому, у кого хлеба не хватает, а у нас, слава богу, всего вдосталь! — опять проговорил старик.

— И хлеб есть, и оброк заплачен, и обуться-одеться есть во что, чего тебе еще надо? — вмешалась в разговор старуха, бросая свое дело и оборачиваясь к сыну.

— Я знаю, что все это есть, да дела мне на зиму нет,— по-прежнему проговорил Гаврила,— а в бабки играть с ребятишками уж стыдно.

— Зачем в бабки играть,— скотину будешь убирать, и то занятье, а нам бы с матерью спокой; а то теперь ну-ка кто захворает из нас, что будем делать?

— Скотину пока ты уберешь, а трудно захвораете, мне весть дадите, я приеду тогда.

— Ну, где уж приехать! В людях не своя воля, не отпустят,— проговорила старуха и, пригорюнившись, села на лавку у среднего окна.

Старик помялся с минуту, собираясь с духом, чтобы высказать то, что он хотел сказать, и проговорил:

— А как же невесту-то сватать да свадьбу играть, ведь про это думали?

Лампа в избе горела тускло, но и при ее бледном свете можно было заметить, как на лице Гаврилы появилось страдальческое выражение. Он отпрянул от стола, привалился к стене и уже совсем другим голосом проговорил:

— Что же это вы, смеетесь надо мной, что ли? А где же вы раньше-то были?

И Гаврила оперся левой рукой о стол, поднялся с места и, подойдя к приступке, сел там.

— Раньше, сам знаешь, работой были связаны,— прежним тоном и как будто совсем не замечая волнения сына проговорил Илья.— И теперь время не пропущено, до филипповок-то пять свадеб сыграешь.

— А невеста-то где?— дрогнувшим голосом и не поворачивая головы проговорил Гаврила.

— За невестой, сынок, дело не станет,— опять ввязалась в разговор Дарья.— Дело за тобой, только пожелай, где хошь найдем.

— Негде теперь и искать — упустили! — глухо проговорил Гаврила и совсем отвернулся в угол.

— Опять ты, сынок, свое! Коли так вышло, значит — не судьба тебе ей владеть; надо тебе этому покориться, что ж самому себя зря расстраивать.

— Не судьба! — вскрикнул Гаврила и вскочил с места.— А в чьих руках эта судьба была? В ваших! Вы не захотели дело уладить. Вам всякие тряпки дороже сыновнего счастия...

— Ах, глупый! — опять заговорила старуха и начала снова приводить свои резоны.

Старик поддерживал ее, и долго они говорили свое.

Гаврила подсел опять к столу, уперся на него локтями, прижал виски ладонями и сидел, ничего им не возражая. Он все-таки не убедился их речами, а когда они кончили, он решительно поднял голову и резко проговорил:

— Нечего теперь мне зубы-то заговаривать. Я не ребенок, могу и понять и рассудить, что нужно. Не женюсь я теперь, вот и все тут! Давайте мне пачпорт, я поеду в Москву.

Старики насупились и долго молчали. У старухи загорелись огоньки в глазах, она взглянула на старика и с раздражением в голосе сказала:

— Ну, что ж, пущай поживет в Москве, пущай! Если худо выйдет,— никому, а ему. Мы-то, как-никак, домаячим свой век, а он пусть попробует...

— Я сам себе не враг,— проговорил Гаврила,— и худого

не желаю; мне хочется, чтобы и мне и вам было хорошо, а вы сами не понимаете, чего вы хотите!

— Знамо, не понимаем, где нам понять! — с неудовольствием проговорил Илья.— У тебя голова на плечах, а у нас котел пустой.

— Ну, будет, оставь! — оборвала старика старуха.— Пускай сам себя потешит, в Москве поживет.

X

Гаврила, отправляясь в Москву, больше всего желал заглушить свою сердечную муку, вытравить всякое воспоминание о своей неудаче. И это ему удалось. Лишь только он очутился в Москве, все деревенское, пережитое им, как-то отошло на задний план. Сначала его захватили впечатления от одного вида громадного города. Все в нем было для него удивительно: дома, улицы, бульвары, памятники, магазины, экипажи, люди. Потом началось хождение по землякам, свидания с ними, разговоры. Земляки его встретили очень радушно. Один артельщик, ровесник ему, бойкий парень, несколько раз высказывал свое одобрение, что он приехал в Москву.

— Вот это прекрасно! Хоть поглядишь, как люди живут. А то что в деревне? Там буквально никаких удовольствиев; лес и лес темный; с деньгами и то некуда деваться.

Земляки начали хлопотать о месте Гавриле. Хорошего места они не надеялись найти ему теперь: наступала зима, когда всякий за хозяина держится. Гавриле было все равно, куда ни поступить, и его вскоре определили в возчики при овощной лавке; при этой же лавке была хлебная пекарня.

Место было немудреное, но Гаврила был рад и этому. Он старательно принялся за дело, стал присматриваться, ко всему приучаться. Обязанности его заключались в том, чтобы по утрам развозить хлеб из пекарни по мелочным лавкам, ездить с хозяином на базары, разносить по домам то, что у них покупали, ухаживать за лошадью. На первых порах ему казалось очень трудно, работы много и суетливо, и харчи неважные, и помещение плохое. Ему пришлось устроить себе постель в конюшне, где стояла хозяйская лошадь; и когда было не очень холодно, он спал там; когда же его пробирал холод, он уходил в пекарню. В пекарне было тепло, но очень шумно: ночью в ней шла самая усиленная работа, и ему приходилось

долго привыкать, чтобы спать под крик и стук пекарей. Целый день ему приходилось быть на ногах, не раздеваясь. Не раздеваясь он обедал, не раздеваясь пил чай, не раздеваясь ложился спать, когда спал в конюшне. От этого белье на нем быстро тлело, одежда его замаслилась, и в ней уже неловко было куда-нибудь показаться, если бы он вздумал отправиться со двора.

Но ко всему этому Гаврила скоро привык. Только не мог он привыкнуть к тому, как с ним обращались. В деревне все обходились с ним по-человечески: одни его уважали, как трезвого, умного парня; другие считали его завидным женихом; поэтому в обращении с ним никто никогда не допускал чего-нибудь обидного, и он привык к такому обращению. Тут же с ним не церемонились ни в чем. Никто почти не звал его по имени, все кричали просто: «возчик». Хозяин, толстый, бородатый ярославец в широком двубортном пиджаке, глухой жилетке и коленкоровом фартуке, всегда относился к нему полупрезрительно. Он терпеть не мог, когда Гаврила шел куда-нибудь с порожними руками.

— Эй ты, деревенщина,— кричал он,— выкидай навоз-то. Смахни пыль-то со сбруи! Что ходишь зря, все бы тебе лодырничать!

Хозяйка, толстая баба с маленькой головой, похожая всей фигурой на копну ржи, то и дело кричала, чтобы он принес дров в квартиру или угольев, заставляла его выносить помои, и когда парень, занятый чем-нибудь, отговаривался, она брюзжала на то, что он так нескоро поворачивается: должен бы быть пошустрей, ему не даром жалованье платят да хлебом кормят. Дети их, две девочки-погодки, всегда пышно одетые, чванные, надутые, при встрече с ним не отвечали на его поклон: или отворачивались, или опускали вниз глаза.

Гаврилу это очень обижало, и он однажды пожаловался на такое положение зашедшему земляку. Земляк более его знал московскую жизнь и ничуть не удивился этому, а сказал, что здесь такой порядок, ничего тут возмутительного нет. «Нанялся — продался», гласит пословица,— все надо терпеть». Гавриле по его службе больше всего приходилось видеть дворни, и везде положение ее одинаковое. Везде хозяева помыкали наемниками, а те старались дать о себе знать чем приходилось. Шла глухая, упорная борьба,— борьба грубая, постыдная, не считающаяся ни с какими понятиями о чести и правде. Гаврила до сих пор очень уважительно относился к чужой

собственности. Он видел, что у них в деревне хорошие мужики тоже так, как и он, понимали, что пользоваться чем-нибудь чужим — грех. Тут же была совсем другая политика. Из служащих все, кому только представлялся случай, без зазрения совести пользовались хозяйским добром. Брали, что только можно. Молодцы забирались в выручку, из товара тащили чай, папиросы, мыло; кухарки безбожно набавляли в счетах на провизию; кучера пользовались от сена и овса. Это называлось доходом, и некоторые даже хвастались им. Хозяева знали это и относились по-своему. На фабриках и заводах практиковался обыск всякого выходящего со двора; в других заведениях в окнах были, как в остроге, железные решетки; у них в пекарне окна были затянуты проволочной сеткой.

«А тут еще живут люди умные,— думал Гаврила,— все хорошо знают».

И ему порой так бывало тяжело, что хоть бы бежать. Но при мысли о деревне тотчас же выплывало наружу то, почему он очутился здесь. Сердце его начинало ныть, на него нападала какая-то угрюмость. Он тогда считал себя очень несчастным и начинал ненавидеть все: и условия своей жизни, и окружающих людей. Он стискивал зубы и делал усилия, чтобы сдержать язык и не сказать окружающим того, что он думал и чувствовал.

XI

Однажды, весной уже, Гаврила, приехавший с вокзала, очень устал, так как наваливал и сваливал там тяжелые мешки. Убрав лошадь, он пришел в пекарню, сел на окно и стал просматривать газету, взятую из лавки пекарями на папиросы. Руки его точно онемели от тяжести, пальцы еле держали газету, в них чувствовалась дрожь; в спине, между лопаток, стояла поющая боль. Гаврила ожидал обеда. Он очень углубился в газету. В это время в пекарню вошла хозяйка и, увидев сидящего на окне возчика, проговорила, растягивая слова:

— Гаврила, чего ты без дела-то сидишь, пошел бы в садочке грядки взрыл, а мы бы там горошку посеяли.

— Ладно, после обеда взрою,— буркнул Гаврила, досадливо нахмурив брови и не отрываясь от газеты.

— Чего ж после обеда; ты сейчас иди, небось не велико дело-то делаешь.

— Кому не велико, а мне большое,— грубо сказал Гаврила.

— Чего хотеть — газетину читать! Зачитаешься — с ума сойдешь. Я вон девок своих и то браню за это.

— Ну, это напрасно,— сквозь зубы процедил Гаврила,— им-то сходить не с чего.

Старший пекарь, ворочавшийся у квашни, одобрительно взглянул на Гаврилу, другие насторожили уши и стали внимательно прислушиваться к беседе хозяйки с возчиком. Хозяйка, видимо, раскусила смысл слов Гаврилы и окрысилась.

— Как это не с чего? Что же они, дурее тебя, что ли? Как это ты только сказал? Можешь ли ты про хозяев так говорить?

— А если бы не мог, и не говорил бы,— сказал Гаврила и, бросив газету, встал с окна и потянулся.— Что ж, если они хозяева, так их теперь в затылок целовать?

— Хозяева не тебе чета,— совсем вышла из себя хозяйка,— ты их уважать должен, они тебе жалованье платят да хлебом кормят.

— Не задаром! Заплатят рубль, а на десять вытянут. А то кто же бы им велел держать нас!

Пекаря бросили свое дело и с загоревшимися глазами прислушивались к схватке. Хозяйка побагровела, у ней задрожали губы; Гаврила же был совершенно спокоен, только брови его были сдвинуты да глаза горели диким огнем.

— Ах ты, злая рота,— не выдержала и заругалась хозяйка,— вытянешь с вас что! Да за вами, мошенниками, только гляди, вы только и думаете, как хозяев оплесть. С вами у хозяина-то день и ночь сердце сохнет!

— Сердце сохнет, а сам чуть не лопнет!

Пекаря не удержались и фыркнули. Хозяйка выкрикнула еще какое-то ругательство и с шумом вышла из пекарни. Старший пекарь проговорил:

— Молодец! Отбрил ты ее как нельзя лучше; так ее и надо.

— Она теперь хозяину нажалится,— сказал один из помощников.

— Наплевать! — хладнокровно проговорил Гаврила и снова потянулся.

— Конечно, чего бояться! Теперь скоро лето, место-то еще получше найдешь.

Через минут пять в пекарню прибежал мальчик и позвал Гаврилу в лавку. Гаврила пошел и вернулся через чет-

верть часа. В руках его были паспорт и деньги. Ему выдали расчет.

XII

Через неделю Гаврила жил уже на новом месте. Он поступил дворником на дачу в Петровский парк. Это место было не то, что в возчиках, а гораздо лучше по многому. Работы было меньше. Ему нужно было только размести дорожки в садах, изредка сходить с паспортом в участок и кое-когда дежурить по ночам у ворот. Все эти работы были очень нетяжелы; у него было много досуга, а так как хозяева на этой даче не жили, а жили на другой, то он мог пользоваться им по своему усмотрению. На первых порах Гаврила вволю спал, выспавшись, уходил в ближайший трактир попить чайку и почитать газеты. Потом он опять приходил домой и опять разваливался на постели и читал какую-нибудь книжку или бродил между дач и наблюдал за жизнью дачников. Дачников на даче жило много, и это были люди всяких сословий: и богатые и бедные, и шумливые и скромные; одни были семейные, другие одинокие. Гаврила на первых порах очень внимательно присматривался к каждой семье, вызнавал, к какому сорту людей они принадлежат и что из себя представляют. Одни напоминали его прежнего хозяина, ярославца, другие были какие-то непонятные, не то хорошие, не то дурные. Жили они очень шумно: то собирали у себя гостей, то сами ходили в гости. Они занимались музыкой, пели, играли в карты, танцевали. Гавриле ни те, ни другие не были по душе.

Его только притягивала к себе одна семья. Глава семьи был какой-то профессор, старик, с седою подстриженною бородою, длинными волосами и в очках. Его жена была молодая, красивая женщина. Они имели сына, мальчика лет девяти, которого наемный студент подготовлял уже в училище. Все они были очень добры, вежливы и деликатны. Гавриле думалось, что они никогда никого не могли обидеть. Они даже с ним, дворником, держали себя необычайно ласково. При встрече первые здоровались, говорили ему «вы», спрашивали, как он поживает, как у него идут дела. Это было так приятно Гавриле, что его всегда как-то поднимало от общения с ними. Ему хотелось самому быть лучше, честней, благородней. Он внимательно приглядывался к каждому шагу профессорской семьи

и изучил, когда они встают, когда пьют чай, когда обедают, когда уходят гулять. Они ходили кое к кому в гости, но к ним собирались чаще. Собирались к ним люди разных возрастов, ходили по саду или усаживались на террасу и вступали в разговор. Гавриле очень хотелось узнать внутренний мир этих людей, и он пробовал несколько раз, забравшись в сад и укрывшись за каким-нибудь кустом, послушать их разговор. Но это был напрасный труд. Их речи были совсем ему непонятны, несмотря на то что он целыми десятками минут напрягал все свое внимание, вслушивался в каждое слово и все-таки, за исключением отдельных слов, ничего постичь не мог. Слова были большею частью русские, но такие «чудные», и фразы из них были так составлены, что Гавриле они казались китайской грамотой. Всякий раз Гаврила покидал свой наблюдательный пункт с тяжелым вздохом и уходил в свою комнатку грустный, неудовлетворенный.

«Нет,— говорил он сам себе,— стало быть, у меня не тем струментом голова обтесана, чтобы понять то, что они говорят».

Но это вовсе не отбивало у Гаврилы охоты уяснить себе смысл этих речей. Он думал, что у них говорят непременно что-нибудь дельное и важное.

Чтобы удовлетворить своему любопытству, Гаврила решил употребить другое средство: сойтись поближе с профессорской прислугой и от нее попробовать что-нибудь узнать.

У профессора были три прислуги: кухарка, горничная и няня. Самой подходящей для этого была горничная, она стояла ближе всего к господам. Но она была меньше всех доступной. Ее звали Верой. Она была очень хорошенькая, всегда чистенько, даже нарядно одетая, всегда веселая. Она была лучшей из всех дачных прислуг. Гавриле приятно было встречаться с нею, лестно перекинуться словечком. Вера на слова с ним была, однако, как-то скупа. Она как будто не замечала его. Гаврилу это немного раздражало. Он подумывал, чем бы ему лучше обратить на себя ее внимание, но ничего придумать пока не мог.

XIII

Делу помог случай. Как-то Гаврила шел утром мимо профессорской дачи со стороны кухни. Только что он поравнялся с кухней и повернул голову к открытому окну, надеясь

увидать кого-нибудь из прислуги, чтобы поздороваться, как из окна что-то выскочило и моментально хлестнуло его по лицу, и что-то полилось по щеке, за шею, по одежине. Гаврила мгновенно остановился и услыхал возглас: «Ах, боже мой!» Потом послышался смех, мелькнуло розовое лицо и розовое платье Веры, и она подскочила к Гавриле с полотенцем в руках и, сыпля извинения, принялась вытирать ему лицо и пиджак, которые она облила водой.

— Простите, пожалуйста! — по-кошачьи заглядывая ему в глаза и лукаво улыбаясь, говорила ему Вера,— я совсем не предвидела, что вы здесь пойдете. Я хотела воду вылить в ведро, а кухарка унесла его куда-то, я и плеснула в окно, а вы тут и есть. Вы уж извините, пожалуйста.

Гаврила, растопырив руки, повертывался перед ней из стороны в сторону, когда она вытирала его, и не знал, что сказать. Но он никакого неудовольствия не испытал от того, что его так бесцеремонно облили. Он в душе даже был рад этому случаю.

— Что вы извиняетесь, стоит того! С кем оплошки не бывает. Я сам виноват, зачем меня сюда понесло,— проговорил Гаврила, стараясь быть как можно вежливее.

— Нет, чем же вы виноваты? Одна моя вина.

— Ну, вот и все, почти незаметно,— говорил Гаврила, осматривая свой пиджак, обтертый полотенцем,— чуточку просохнет, вот и совсем.

— Так зайдите к нам, посидите немного у плиты.

— Нет, зачем же, он и на мне высохнет,— отговаривался Гаврила.

— А у плиты все-таки скорее. Она у нас уж топится. Или вы гордитесь, не желаете с нами знакомства иметь?

— Что вы, с какой стати! — проговорил обрадованный и сконфуженный Гаврила.

И он, не возражая больше, направился за Верой. Горничная ввела Гаврилу в кухню и, поставив табуретку к плите, посадила его. Гаврила покраснел, а горничная начала осыпать его вопросами: откуда он родом, давно ли в Москве, где он раньше жил. Гаврила рассказал. Вера разъяснила, что она попала в Москву раньше его и живет в Москве вот уже сколько лет, переменила несколько мест, что у нее тут ни родных, ни знакомых, ни подруги, ни друга. Гаврила совсем растаял от ее речей. Он чувствовал, что теперь завязалось желательное ему знакомство.

Когда Гаврила обсох и они обменялись с Верой первоначальными сведениями друг о дружке, Гаврила стал прощаться, а Вера просила его почаще заходить к ним; Гаврила обещал и ушел из кухни с целым роем пылких дум в голове. Но он уже теперь не думал разузнавать о профессорской семье, как хотел раньше. Это желание как-то вдруг отхлынуло от него и заменилось другим. Ему хотелось поближе сойтись с Верой для себя.

«Как она хороша! — думал он.— Нешто она чета какой-нибудь деревенской красавице. В деревне, може, одна Аксинья для меня лучше ее. Только что ж Аксинья, она теперь для меня пропала!»

И эти мысли занимали его весь день. Перед вечером он нарочно прошел мимо профессорской дачи, надеясь увидеть Веру. Он втайне думал, что она, как увидит его, непременно позовет к себе, но Веры в кухне не бвло. Не было ее видно и на террасе. Он прошел весь дачный двор и вышел в переулок.

Выйдя в переулок, он сел на свое место у ворот и стал рассеянно глядеть по сторонам. Вдруг он увидел Веру. Она шла по переулку, нагруженная разными пакетами, видимо из лавки. Заметив Гаврилу, Вера весело улыбнулась и кивнула ему головой; поравнявшись с ним, она предложила ему горсть кедровых орехов.

— Благодарю вас; кажется, не к чему,— стараясь сохранить принятый им в обращении с девушкой тон, стал отговариваться Гаврила.

— Берите, что вы ломаетесь: мне лавочник дал,— потчевала его Вера.

Гаврила взял орехи, и обуявшее его чувство поднялось в нем с новой силой.

XIV

В новом чувстве Гаврилы была разница с его прежним чувством. Когда его занимали думы об Аксинье, он весь уносился мечтою в будущее. При мысли о Вере в нем поднималось другое, он один раз всего и подумал о ней как о невесте, а потом уж мысли его пошли по-другому. Ему стало хотеться так как-нибудь сойтись с нею, и мыслью об этом он только и стал жить. Он представлял себе разные случаи сближения, и вероятные и фантастические, и весь горел в небывалом огне.

Он каждую минуту думал о ней. С мыслью о ней он стоял на дежурстве или проходил по двору, он подстерегал: не пойдет ли она куда, не встретит ли он ее как-нибудь случайно. И когда он встречал ее, то весь расцветал, на лице у него появлялась радостная улыбка. Она тоже отвечала ему на улыбку улыбкой и ни разу не проходила мимо него, не кинувши ему какого-нибудь словечка. Он подхватывал это словечко и отвечал ей в свою очередь. Таким образом они сближались все больше и больше.

Прошло с неделю. Однажды вечером семья профессора вся куда-то разбрелась, а на даче осталась одна прислуга. Она расположилась, с самоваром на воздухе, под тощими березками около черного крыльца. Гаврила в это время шел мимо. Пожелавши приятного аппетита, он услышал приглашение: «Милости просим». Он ответил: «Кушайте на здоровье». Но его стали звать за стол. Гаврила так обрадовался этому, что не сразу выразил согласие. Вера повторила приглашение с некоторою настойчивостью; тогда Гаврила подошел к столу и уселся. С каким удовольствием он принялся за этот чай! За столом были Вера, кухарка — тощая, с длинным лицом и бледными губами пожилая женщина,— и няня, деревенская баба лет под тридцать, разъевшаяся на московских харчах. Все они были в веселом настроении — шутили, смеялись. Мало-помалу это настроение передалось и Гавриле, и он тоже стал веселый, шутливый. Кухарка рассказала, как она раз попала впросак. Это было, когда она жила в деревне. Сеяла она со свекром озимое. Свекор ходил с севалкой, а она бороновала. Лошадь была кобыла, с жеребенком. Жеребенок отбился от матери и убежал. Она думает, не забежал бы куда, как бы его позвать. А у свекра не хватило семян. Он кричит ей с конца полосы, чтобы она захватила ему с другого конца ржи. А кухарка подумала, что он заставляет ее ржать, чтобы позвать жеребенка. Она остановила лошадь и кричит: «Шешка! шешка! И-и-го-го!» Свекор махает ей рукой и во все горло кричит: «Ржи давай, ржи!» А она, не разобравши, выводит свое: «И-и-го-го!»

Все этому очень смеялись. После этого рассказал анекдот Гаврила про одного плотника. Работал плотник в чужой деревне. Деревня была староверческая. Никогда плотник не видал староверческой службы, и захотелось ему поглядеть. Он и говорит хозяину: сведи, говорит, меня к себе в моленную. Хозяин согласился. «А что я,— спрашивает,— там могу де-

лать?» — «Да што наши, то и ты». Вот пришли они в моленную. Началась служба, и в одном месте все, что были, повалились ниц. Растянулся и плотник. А у него в это время у кафтана подол заворотился. Один старовер заметил это и дернул его сзади за кафтан. Плотник думает: «Меня сзади дергают, надо, значит, и мне дернуть»,— протянул руку, а впереди какая-то баба лежала. Он ее за юбку! А баба брыкнула ногой и задела его по носу. Плотник брыкнул заднего. Тот поднялся да ему в сугорбок. А плотник кулаком бабу. Та заблажила. Все повскакали с ног и бросились на плотника. Плотник еле ноги убрал.

Все смеялись пуще прежнего. У Веры даже слезы заблестели на глазах. Она так умильно стала поглядывать на Гаврилу и так потчевала его, что няня заметила ей:

— А ты не очень глаза-то на него пяль, а то твой страдатель узнает — не похвалит.

— Какой такой мой страдатель, что ты мелешь? — вся вспыхнув, проговорила Вера и изменилась в лице.

— Ну, вот — какой. А ты словно не знаешь! Что хитрить-то!

— Пустяки городишь! Никакого у меня страдателя нету,— тем же тоном проговорила Вера и совсем сконфузилась.

Гаврила тоже сразу осекся. Вся веселость его исчезла, как будто ее и не бывало. Кухарка и няня попробовали было поддержать прежнее настроение, но у них ничего не вышло. Гаврила с трудом допил налитый ему чаем стакан и, вдруг поднявшись с места, стал прощаться со всеми.

XV

Этот вечер Гаврила провел очень нехорошо.

«Так у ней есть другой,— думал он.— Как же она говорила, что у ней ни подруги, ни друга? Стало быть, она ему врала. Ах, какие эти девицы обманщицы! Чего ради ей было мне врать? Подурачить меня хотела? Пусть, дескать, пострадает, а потом я ему кукиш покажу? А я-то, дурак, растаял и подумал незнамо что! И зачем я сам себя в беспокойство ввел?»

И в таких думах он провел весь вечер. На утро он проснулся словно в угаре. В нем даже не ожило, как прежде, сердце, когда он проходил мимо профессорской дачи. Когда

он увидал в этот день Веру, ему не захотелось ей улыбнуться, и он прошел мимо, понурив голову и лениво приподняв картуз. Она тоже с смущенным видом прошмыгнула мимо него, проговорила: «Здрассте!» — и больше ничего.

Вечером этого дня Гаврила лежал у себя в каморке и, чувствуя на душе вчерашнюю тяжесть, опять думал невеселую думу. Вдруг дверь дворницкой отворилась, и на пороге показалась Вера.

— Вот вы где живете-то, а я давно собиралась поглядеть, да все случая не выходило.

Гаврила весь затрепетал. Он мгновенно вскочил на ноги и не знал, ни что ему делать, ни что сказать, а только вытаращил глаза и уставился ими на Веру.

— Что глядите. Или не узнаете? — улыбаясь, проговорила Вера.

— Как не узнать! Я очень обрадовался, язык даже отнялся,— проговорил Гаврила, силясь улыбнуться.

— Чему же обрадовались? Долг платежом красен: вчера вы у нас были, а нонче я к вам пришла.

— Покорнейше благодарим! Чем же угощать вас?

— Ничем не надо. Вот пустяки!

— Нет, нельзя.

— Глупости, разве за угощением друг к дружке ходят? Я пришла просто поглядеть, как вы живете.

— Нечего у меня глядеть! Я живу один, сиротой, никого у меня нет.

— Так кого ж вам — прислугу надо?

— Не прислугу,— проговорил Гаврила, подставив гостье табурет.

— Так кого же, подругу? Заводите: нашей сестры в Москве много.

— Легко это сказать! — вздохнув, проговорил Гаврила; потом взглянул на Веру, уселся сам на табурет и спросил: — А что, вы замуж не собираетесь?

— Нет,— сказала Вера, взглянула на него и улыбнулась.

— Отчего же?

— Охота себя кабалить! Еще какой муж попадется; попадется пьяница: он тебя, не доживя веку, иссушит.

— Можно хорошего выбрать.

— Как его выберешь-то? В него не влезешь.

И Вера почему-то совсем рассмеялась. Чем дальше, тем она становилась веселей.

— Я век в девицах останусь, а под старость в монастырь пойду,— продолжала она и встала с места, оправила на себе платье и вдруг запела:

Надену черно платье — в монашки я пойду.
Любила я, страдала я, а он, подлец, сгубил меня.

Гаврила почувствовал, как к горлу его что-то подступает. Он встал, близко подошел к Вере и нетвердым голосом проговорил:

— Какая вы веселая! Глядя на вас, завидки берут.

На щеках у Веры выступил румянец, и она тоже изменившимся голосом проговорила:

— А то как ты быть? Успеем еще повеся нос-то находиться, будет время.

И она вдруг махнула Гаврилу рукой по лицу и громко рассмеялась.

— Это ты что же? У меня же в гостях да меня же и обижаешь,— проговорил Гаврила, оскалив зубы, и, совсем забыв свою политичность, своими сильными руками обнял Веру.

Она слегка взвизгнула и снова громко засмеялась.

— Оставь, медведь!

— Нет, не оставлю!..

XVI

Гаврила никогда не ощущал того, что теперь испытывал. В нем точно прибавилось какой-то силы. Он был доволен всем на белом свете, ходил бодрей и глядел таким козырем. Иногда у него что-то шевелилось в глубине души и сжимало сердце тоской, но Гаврила не давал расходиться этому чувству.

«Ну, чего там самого себя терзать: не я первый, не я последний. Здесь в этом никто спуску не дает, значит, штука хорошая»,— думал он и подавлял в себе угрожавшее спокойствию чувство.

Вера заходила к нему довольно часто. Она была всегда очень веселая, сидела у него, шутливо болтая; иногда она обнимала его голову, перебирала волосы и глядела ему в лицо. Она говорила ему, какого цвета у него глаза, что означает

такое-то расположение бровей, говорила, что у него красивый лоб, и никогда между ними не было ни серьезного разговора, ни гаданья о будущем. Они были как дети, играющие любимой игрушкой. Но дети иногда спорят, между ними же не было никаких споров, так как игрушка захватывала обоих одинаково — Гаврилу потому, что это для него было совсем ново, а для Веры потому, что она была влюбчива.

Лето проходило. Кончался август. Дачники, не имевшие в Москве постоянных квартир, ездили подыскивать себе квартиры. Лавочники ходили к некоторым жильцам и приставали с просьбой о расчете по заборной книжке. Некоторые дачники уже переехали. Везде было оживление, и только Гаврила ходил какой-то вялый, точно сонный. Ему было скучно, неизвестно отчего. Отношения с Верой у него были все те же, но он уже не испытывал от этого никакого удовольствия. Ему приелись и праздные речи, и одни и те же шутки.

«Одно баловство,— думал он.— Какой в этом толк?»

Вера ему стала надоедать. Иногда она казалась ему просто ненавистна, хотя все была та же: такая же нарядная, чистенькая, веселая. Ему подчас было противно на нее глядеть. И ему становилось стыдно при мысли, какою он представлял ее себе на первых порах и как по ней мучился. «Деревенщина я необразованная! — костил он сам себя.— Все мне кажется новым. Хорошо, что она замуж за меня не захотела, а то я и жениться бы на ней мог. Вот бы я тогда влопался!»

И он делался угрюмей с каждым днем. У него уже не хватало веселости при встречах с Верой. Поэтому он часто хмурился и молчал, а иногда просто грубо осаживал ее. Вера заметила это, догадалась, что его прежние чувства остыли, и как будто оскорбилась. Она сама стала холодней и начала избегать встреч с ним. При встречах дулась. Гаврила криво усмехался на это. «Хоть бы никогда не видать тебя»,— подумал он однажды совершенно искренно.

Как-то Гаврила возвращался домой из Москвы, куда он ездил по разным делам. Когда он подходил к своей даче, то заметил, как из ворот вышла Вера. У нее был узелок под мышкой, и она направилась прямо навстречу ему. Гаврила уже давно не видал ее, и ему захотелось перекинуться с ней словечком. Он уже приготовился спросить ее, куда она идет, как она, заметив его, круто свернула с тротуара, перешла на другую сторону и быстро-быстро пошла по переулку.

Гаврила остановился и с удивлением стал смотреть ей вслед. «Чего она шарахнулась?» Вдруг он увидел нечто неожиданное. На углу переулка к Вере подкатил откуда ни возьмись извозчик; в пролетке сидел какой-то молодой человек. Он соскочил с пролетки, помог Вере усесться с собой, и они покатили по направлению к Москве.

Гаврилу это немного кольнуло в сердце. «Что ж это, она другого нашла или, може, это прежний какой? Ловко делает! Ну, что ж, пущай, значит — полная развязка». И он был этому чуть ли не рад.

В эту ночь Гаврила дежурил. Он с любопытством ожидал, когда Вера вернется. Она вернулась около полуночи. Когда она входила в калитку дачного двора, Гаврила сидел на лавочке. Она как будто не заметила его и хотела пройти мимо, но Гаврила встал ей навстречу и загородил дорогу:

— Где это, барышня, гулять изволили?

— А тебе что за дело? — грубо сказала Вера.

— Так, малость любопытство взяло. С каким-то кавалером были?..

— Конечно, не с таким сиволапым, как ты. Пусти!

Вера быстро прошмыгнула в калитку. Гаврила не мог сразу опомниться от удивления; так поразил его ее тон.

«Ну, значит, мне теперь совсем отставка», — подумал он и не знал, радоваться ли ему или печалиться.

XVII

В последних числах августа с дач уже многие съехали. Стала перебираться в Москву и профессорская семья. Гаврила помогал им укладываться и выносить вещи. Ему много приходилось работать вдвоем с Верой, но пробежавшая между ними черная кошка совсем разъединила их. Вера глядела на него хмурясь, говорила сквозь зубы, и когда молчала, то нарочно делала такое лицо, какое бывало при встрече с ним у дочерей ярославца, его первого хозяина.

Гавриле это было обидно. Он чувствовал, что такого отношения к себе не заслужил, тоже хмурился и чуть не с негодованием глядел на Веру. Оковавший их лед даже не растаял при прощанье, точно между ними ничего не было.

К половине сентября из занятых дач только на трех еще жили жильцы. Это были самые бедные, которым полмесяца не

платить за квартиру составляло расчет; но к покрову и они покинули летний приют, и Гаврила остался на дачах один.

Хозяин оставил Гаврилу и на зиму. Он прибавил ему на это время жалованье. Гаврила согласился и стал приготовляться к зиме. Он заколотил у всех дач окна досками, все, что нужно было вычистить, вычистил, привел в порядок и запер. И когда наступила зима, то ему ничего не оставалось делать, как дежурить да прорывать себе дорожку к дворницкой. Он стал придумывать, чем ему наполнить праздное время, и решил, что нужно больше читать. Он стал искать книг. Соседний дворник принес ему три книги, должно быть забытые жильцами. Две книжки назывались учебниками, а одна — романом. Гаврила охотно купил их и взялся было за учебники, но один был «алгебра», другой — «тригонометрия». Гаврила поглядел, поглядел на них, и его охватило чувство какого-то отчаяния. Ему было обидно за себя и за подобных себе. «Сколько всего есть на белом свете, а мы думать-то об этом не можем,— а еще людьми зовемся». Он хотел было приступить к просмотру третьей книжки, как в дворницкую вбежал мальчик из трактира и сказал, что какие-то двое непременно велели ему приходить в трактир. Гаврила очень удивился этому и расспрашивал, какие из себя это люди. Мальчик сказал, что это молодой мужчина и женщина. Гаврила все-таки не мог догадаться, кто они. У него не было никого знакомых. Земляки не ходили к нему. У него даже мелькнула мысль — не подвох ли тут какой-нибудь, но, подумав хорошенько, он решил, что подвохи делать не для чего: дачи все были пустые, в них нечем было пользоваться. Он снял фартук, причесался, оправился и пошел за мальчиком.

Дача, где жил Гаврила, была в переулке, а трактир помещался на большой улице, на которой жизнь не приостанавливалась и зимой. В отдельной комнате трактира действительно его ждали двое. Мужчина был молодой, лет двадцати пяти, с темными усами, маленькой бородкой, по манерам и по костюму не чернорабочий. Женщина была Вера. Они оба были подвыпивши и очень веселы. Молодой человек сейчас же вскочил навстречу Гавриле, вытаращившему от изумления глаза, протянул ему руку и, как будто они давно были знакомы, заговорил:

— Что удивился? Это вот кто тебя видеть пожелал: моя невеста, Вера Исаевна. Знакомы, чай? У вас на даче жила.

Он потряс руку Гаврилы и притянул его к столу. Гаврила вгляделся в его фигуру, и она показалась ему знакомой. Он имел сходство с тем молодым человеком, который тогда подкатил на извозчике к Вере. Гаврила поздоровался с Верой и спросил ее жениха:

— А вы кто ж такой?

— Я — Иван Ильич, механик, мастер своего дела — не скоро другого такого сыщешь.

— Давно вы с ним сосватались? — спросил Гаврила Веру.

— Мы с ней давно,— ответил за Веру Иван Ильич,— больше года вожжаемся. Любить — любила, а замуж идти не хотела, а теперь идет. После свадьбы мы с ней в Питер поедем: я там место получил, хорошее место. На прощанье мы и решили кутнуть. Она тебя захотела пригласить. Ты что выпьешь?

— Я ничего не пью,— задумчиво сказал Гаврила, не будучи в силах понять, для чего же, собственно, пригласила его Вера.

— Ну, вот пустяки! — воскликнул Иван Ильич.— Черт не курит, не пьет, а все в аду живет!

— Выпей, поздравь меня; можно рябиновочки, а то кагору,— промолвила Вера.

И она так ласково взглянула на Гаврилу, что тот, подумав, проговорил:

— Нешто для вас только!

— Вот и отлично! Сейчас закажем,— обрадовался Иван Ильич,— деньги у нас есть. Я летом в Нижнем на пароходах работал, копейку зашиб. Прокутим все, а там время будет — и деньги будут. Эй, малый!..

Гаврила выпил. У него зарябило в глазах и зашумело в голове. Он заговорил, но что он говорил, он не помнил. Только вспоминалось ему на другое утро, что он жаловался на свою судьбу, целовался с Иваном Ильичом, и они все трое плакали, потом пели песни, потом Вера куда-то посылала Ивана Ильича и целовала его, Гаврилу...

XVIII

Когда Гаврила выходился после пирушки, то ему стало как-то скучно. Чтобы разогнать скуку, он принялся за чтение третьей купленной им книжки. И только он прочитал

несколько глав, как она захватила его всего. Эта книжка была из тех, в которых люди рисуются со всеми присущими им человеческими свойствами, и читающий видит свою душу такою, какою она есть, видит пятна на своей душе и проникается пламенным желанием смыть их. Такие чувства испытывал Гаврила. Он тут впервые сознал, сколько в нем накопилось нехорошего во время его знакомства с Верой и этой жизни в одиночестве, когда в голову приходили разные дикие фантазии. Да и если бы и пе одному жить,— от кого тут хорошему научиться? Он за все время только и встретил одну семью, которая заставляла биться сердце такими чувствами, которых никогда не пришлось бы стыдиться. А остальные? Глядя на них, он в одно лето вон куда шагнул. И немудрено: около чего потрешься, того и наберешься.

И Гаврилу вдруг потянуло в деревню. «Что мне теперь жить здесь?» Он мог теперь уж без сердечной боли думать об Аксинье, о своей несбывшейся мечте и жениться на другой. С ним сделалось то, что делается со всеми. Время многое сгладило.

С каждым днем это настроение в нем усиливалось. Наконец Гаврила не вытерпел, поехал в Москву к хозяину и заявил, что ему, молодому парню, жить в таком одиночестве — неподходящее дело. Хозяин его удерживать не стал и выдал ему расчет. Гаврила поехал в деревню.

XIX

Домой приехал Гаврила перед рождеством. Он очень хорошо почувствовал себя дома. Он обошел усадьбу, сходил в сарай, в амбар. Вид знакомых предметов, среди которых он вырос и столько прожил, вызывал в нем массу воспоминаний и доставлял ему истинную радость. «Нет, и в деревне хорошо жить»,— подумал Гаврила. Радость его омрачалась, только когда он вспоминал, что подруга в его жизни будет уж не та, которую он так желал. Но он покорился и этому: «Что ж делать! Что сделано — то сделано, и этого не воротишь».

Не менее Гаврилы обрадовались и старики. Сейчас же пошли разговоры о том, что в мясоед непременно нужно сыграть свадьбу. Гаврила не отнекивался и предоставил старикам искать ему невесту. Старики имели в виду несколь-

ких. Все эти невесты были из зажиточных домов. У одной была шубочка с куньим воротником, у другой — шелковое платье и несколько шерстяных, у третьей — богатые дедушка и бабушка. Чтобы подступиться к таким невестам, Гавриле решили справить суконный тулуп с барашковым воротником и полуямскую сбрую на лошадь. Гаврила этому не противился. К нему теперь во всей деревне относились как-то иначе, чем прежде, называли по имени и отчеству, выказывали знаки особого почтения, и это ему как-то кружило голову.

После Нового года Скворцовы все втроем отправились глядеть невест. Сначала они решили поехать к той, у которой были богатые дедушка с бабушкой. Эта невеста была в селе, откуда взяли Аксинью. Гаврила, хотя и смутно, помнил всех девушек, но не мог догадаться, кто же та, к которой они едут. Он не узнал ее и когда ее увидел: должно быть, он на нее не обращал внимания, да и не на что было обращать. Она была старообразная, с низким лбом, рябоватая и с какими-то точно выцветшими глазами. Их приняли очень хорошо. Невеста все усилия употребляла, чтобы понравиться: она наряжалась в лучшие платья, три раза переменяла дорогие шелковые платки, предупредительно крошила баранки в чай Гавриле. Но Гаврила остался к этому равнодушен. И когда он вышел со стариками совещаться, он решительно заявил, что он не возьмет эту девку. Старики запросили большое приданое у родителей невесты; те сказали, что им это не под силу, и дело расстроилось.

После этого Скворцовы поехали к той, которая имела шубочку с куньим воротником. Эта невеста была «поприглядней», высокая, статная, с довольно смазливым лицом. Вела она себя не так, как первая, а гораздо проще: не модничала, глядела на всех равнодушно. Гавриле подумалось, что она потому себя так держит, что знает себе цену, и это ему понравилось. Старикам же девка понравилась как нельзя больше. Гавриле жутко стало при мысли, что вот он должен будет связать свою судьбу с девушкой, которую только один раз видал. В нем защемило сердце, и он не мог решиться сразу; но старики пристали к нему:

— Полюбилась — так говори, что полюбилась, а не полюбилась — еще поедем.

— Полюбилась! — сказал Гаврила и почувствовал, как у него закружилась голова.

На другой день к ним приехали смотреть дом. Дом родителям невесты понравился, но они это не высказали и говорили, что им понравились люди.

— Вы нам очень полюбились,— ласково говорила мать невесты,— а не то мы бы ни за что не отдали. Наша девка не засидится. Хвастаться не хотим, а думаем, такую не скоро найдешь.

Скворцовы принимали это за чистую монету и на третий день справили рукобитье. Скворцовы на рукобитье созвали всех своих родных — и дальних и ближних. Все они напились пьяными у невесты, и когда приехали домой, то долго катались с песнями по улице.

Свадьба была действительно на удивленье. В поезде было десять подвод, из которых две были тройками гусем, а три парами. Колокола звенели под дугами, как не звенели прежде у станового. Ленты у лошадей горели и в гривах и в хвостах. Вина вышло зеленого шесть ведер да красного два ведра; пива, говядины, ситного пошло,— как говорила старуха, и не выговорить. Действительно, как хотелось старухе, у их двора целыми днями толпился народ, об их свадьбе говорили по соседним деревням, церковь во время венчания была битком набита. В этом желание стариков было исполнено. И они очень радовались этому. Не печалился особо и Гаврила. Он за все время понемногу выпивал. Все пили, принуждали и его,— он не отказывался. На другой день после свадьбы он вздумал угостить водкой всех бывших в избе из своих рук. В толпе была и Аксинья. Она казалась все такою же, как и в девках, только немного похудела. Когда Гаврила подошел к ней, то все прошлое вдруг встало перед ним во всех подробностях. Сердце его как-то защемило, ему сделалось грустно, и он глубоко вздохнул. Он пристал к Аксинье с водкой и умолял ее выпить хоть полстаканчика. Аксинья выпила. Он спросил, каково вино. Аксинья сказала, что горько. Гаврила допил остатки, сказал, что и ему горько, и что если жена не подсластит, то эта горечь останется у него на всю жизнь. Ни Аксинья, ни другие не поняли смысла этих слов Гаврилы.

XX

Гаврила, говоря эти слова, подразумевал, что его прежнюю горечь может подсластить его молодая жена. Если

она скажется хорошей подругой, будет такою, какую Гавриле хотелось иметь и какою, по его убеждению, могла быть Аксинья, он все забудет. Но его желания не осуществились. В первый же год Гаврила убедился, что все достоинства его Маланьи заключались только в шубочке с куньим воротником да смазливом лице. Она была очень грубая, неуважительная. Со стариками она с первых пор завела войну; к Гавриле она только тогда относилась хорошо, когда он обращался с ней ласково. Работать она не любила, в рабочие дни всегда была не в духе; в домашней жизни отличалась страшной неряшливостью: платок у ней был повязан коекак, лицо плохо умыто, руки растрескавшись, платье заношено до невозможности. На замечание, что так нехорошо, что нужно держать себя аккуратнее, она огрызалась и говорила:

— Для какого это черта-то? Что мы, барыни, что ли?

Она была очень лживая, любила тайком поесть послаще, для чего воровала сметану, яйца, и если на нее падало подозрение и ее пробовали уличить, то она клялась всеми святыми, что она знать не знает и ведать не ведает. Говорила, что хорошо бы не иметь детей; и когда однажды у ней появились признаки беременности, то она сделалась какою-то потерянной; однако она проносила всего месяцев пять и потом выкинула. У младенца оказались помятыми ножки и бочок. Гавриле дело показалось очень подозрительным, но он никак не мог дознаться истины.

На первых порах Гаврила думал, что от того Маланья такая, что ничего не знает: не слыхала и не видала в жизни хорошего. Он пробовал мягко и ласково указывать ей, что хорошо и что худо. Но Маланья всегда как-то при этом делалась угрюмая, лицо ее принимало тупое выражение, и она слушала молча. Гаврила не раз старался вызвать ее на разговор о таких вещах, которые ему казались важными: об отношении к старикам, к людям,— но она и тут отмалчивалась. Он пробовал нарочно в вечера под праздники или в самые праздники что-нибудь почитать ей подходящее, приглашая ее слушать. Она соглашалась; но только он прочитывал несколько страниц, как она засыпала. Пока Гаврила ничем не выражал своего горя, но с каждым днем его как-то отталкивало от окружающих людей. При виде спокойного лица, при звуке счастливого смеха у него сжималось сердце от неопределенного, но, во всяком случае, бес-

покойного чувства. Некоторые людп вызывали в нем злость, другие — зависть. Больше всего он завидовал Арсению. Арсений жил теперь только вдвоем с Аксиньей: старуха, мать его, умерла, сестру выдали замуж; но, несмотря на это, у них все шло хорошо, все было в порядке, и все это по милости Аксиньи. Не особенно бойкая на словах, но шустрая на деле, она поддерживала весь дом. На покосе она шла бойчее Арсения, в молотьбе ударяла цепом сильнее его, везде она поворачивалась быстро, ловко; характер же она имела «золотой». Она не только ни с кем не ссорилась, но, кажется, была и неспособна на это. С равными она была шутлива, со стариками ласкова, с мужем на людях она вела себя так, как будто бы он с ней не постоянно дома жил, а откуда-то на побывку пришел. Глядя на нее, не один Гаврила, а и другие мужики указывали на нее своим женам, как на пример, и говорили:

— Вот баба, так баба,— что бы все такие были! А то что у нас?

Когда Гаврила раскусил Маланью вполне, то его стало как-то отбивать и от дома. Он начал тянуться туда, где ему было приятней. Таким местом для него был дом Сушкиных. Там он испытывал необычайное удовольствие, глядя на Аксинью, слыша ее голос. Он часто начал ходить туда и перекидываться с Арсением кое-какими незначительными разговорами. Говорили они о прошлом, о холостой жизни. Иногда он шутил с Аксиньей, говорил, что когда у них с мужем родится ребенок, то они должны будут позвать его в кумовья. Арсений, что бы ни говорил Гаврила, соглашался с каждым словом его.

«И такому простаку досталось такое счастие! — думал Гаврила.— Мне бы такую жену, вот я тогда бы человеком был. Эх! И как это только случилось?»

Ему стало невыносимо глядеть па счастливую судьбу своего соперника. И он, чтобы не терзать себя, круто прервал посещение. Сушкины удивились было этому, а потом привыкли.

XXI

Прошло несколько лет. Семейная жизнь Гаврилы с каждым годом делалась несчастнее. Маланья не только не ис-

правлялась, но делалась хуже. Ее уже возненавидели и старики и говорили, что их сыну в ее лице бог наказание послал. Они утверждали, что его бог за то наказал, что он с ними бывал не всегда почтителен. Старики под старость делались брюзгливей, и Гавриле часто и от них приходилось тяжело. Он не раз думал, не уехать ли ему опять в Москву, но у него на это не хватало решимости.

Один раз, уже в начале осени, Илья с Гаврилой перекрывали сарай. Делали они эту работу пока до завтрака, после же завтрака они намеревались пойти в поле дорывать картофель. Кончивши крышу, они пошли в избу и спросили есть. Старуха, топившая печь, встретила их недружелюбно. Она заявила, что завтрак еще не готов и что они очень торопливы к еде. Гаврила не вытерпел и проговорил:

Да ведь вы двое тут стряпали, неужели не состряпали?

Старуха, услыхав это, каким-то звенящим голосом прокричала:

— Да, настряпаешь тут с твоей барыней! От нее только расстройства жди! Господи, что же это за человек такой уродился: измучила она меня совсем, измучила — хоть в гроб ложись!

И старуха вдруг бросила ухват, опустилась на суденку и завыла. Маланья с тупым выражением глубоко сидящих глаз и насупленными бровями, придававшими такое выражение ее здоровому красивому лицу, будто бы она не выспалась, сидела на лавке под окном и сердито толкла вареный картофель на яблочник.

— Что, или опять ни свет ни заря схватку устроили? — с ноткой горечи в голосе проговорил Илья и, подойдя к рукомойнику, стал мыть руки.

— Что ж с ней поделаешь,— продолжала всхлипывать старуха,— срамила-срамила меня, словно я не мать ей, а какая-нибудь...

Гаврила, бледный, с загоревшимися глазами, стоял посреди избы и глядел на жену. Та, опустив голову, продолжала делать свое дело. Во всей ее фигуре сквозило столько упрямства и дикости, что Гаврила сразу вспомнил эту ее особенность, вспомнил, как она бесила его этой чертой своего характера, и вдруг его охватила жгучая злоба, и он хриплым голосом проговорил:

— Ты что ж это думаешь: нас нет дома никого, так и твоя воля во всем?

— А она что? Что я ей таковская далась? — угрюмо, не поднимая головы, проговорила Маланья.

— Да что я тебе сказала? Воды-то ведро велела принесть?! А ты и набросилась: «и лежебока и ленивица, с вечера воды не приготовила, люблю, мол, на чужой шее ездить!» На чьей я на чужой шее езжу? Кого я измытарила? Я век прожила в заботе да хлопотах,— а она меня ленью попрекает, не дает мне порядку спросить! — кричала старуха.

— Ты спрашивай порядок-то с себя, а не с других: другие сами свой порядок поведут,— сказала Маланья.

— Нет, я и с других спрошу, которые мне подвластны, а ты мне подвластна. Я хозяйка в доме, а ты незнамо кто, вот что!

— Хозяйка-то ты своей барыне, а я сама себе госпожа.

— Нет, ты слуга мне, а я тебе мать.

— Мать-то ты вон кому,— сказала Маланья, показывая на мужа,— а мне-то ты все равно, что тьфу!..

— Вот и говорите с ней! — кричала старуха.— Она все так! Матушка, царица небесная, да за что ты наказала меня таким наказаньем?

Гаврила сидел уже на лавке и сделался еще более бледным. Увидев выходку жены, он топнул ногой и неестественным голосом крикнул:

— Замолчи, проклятая! Вон из избы!

Маланья обернула голову на мужа и увидала такой свирепый взгляд, что мгновенно съежилась и вышла из избы.

Старуха, по уходе ее, долго еще перебирала то, что она слышала сегодня от невестки. Наконец она немного успокоилась и стала собирать на стол.

XXII

Маланью завтракать никто не позвал, и она сама не входила в избу. Ели без нее. Все молчали и были крайне угрюмы. Видно, у каждого было растревожено больное место. Позавтракав, сейчас же стали собираться в поле. Гаврила вышел из избы и пошел искать Маланью, чтобы позвать ее на работу.

Маланья лежала в пологу в сенях, лицом вниз. Гаврила открыл полог и сквозь зубы проговорил:

— В поле пойдем, будет валяться-то!

— Я в поле не пойду.

— Отчего?

— Мне нездоровится.

— Что у тебя схватило? Гляди, я лекарство найду: вот возьму вожжи — и вся хворь выскочит.

— От тебя только этого и жди,— проговорила Маланья и заплакала.

Гаврилу опять охватила злоба, и он, чтобы не давать ей ходу, с досадой закрыл полог и вошел в избу. В избе он сказал, что Маланья в поле не пойдет. Старики, услыхав это, еще более нахмурились. Всем было так тяжело, что не хотелось глядеть на свет божий.

Через несколько времени, однако, и Гаврила и старики были в поле на полосе. Но когда пришли на полосу, то оказалось, что в расстройстве забыли мешки под картофель. Гавриле пришлось бежать за ними домой. Дома Гаврила увидал, что Маланья была не в пологу, а в избе. Она сидела за столом и аппетитно ела сливки с молока с мягким хлебом. Гаврила, увидав это, опустился на лавку и уставился на нее.

— Ты что же это делаешь? — с дрожью в голосе и весь краснея, как кумач, проговорил Гаврила.

— Ем, нешто не видишь! Вы-то налопались, а мне-то так и быть?

— Так что же ты с людьми вместе не садилась?

— Тогда не хотела.

— А теперь захотела! Докуда ж ты это будешь мудрить-то?

— Я ничего не мудрю, это вот вы мудрите-то. Измываетесь все трое надо мной, благо все родные.

— Что-о?

— А то, я знаю што: вам изжить меня хочется.

Гаврила вскочил на ноги и со всего размаха залепил Маланье оплеуху.

— Кара-ул! — что есть мочи заблажила Маланья.— Убить меня хочет!

Гаврила осатанел; он уже окончательно не помнил себя; за первой оплеухой последовала вторая, за второй — третья. Маланья металась, блажила, ругала мужа самой мерзкой бранью; но это только подливало масла в огонь. Гаврила тогда только бросил ее бить, когда выбился из сил.

Маланья глухо рыдала.

— Пес, душегуб! — выкрикивала она.— Опротивела я тебе, так зачем же держишь, и что ж ты мытаришься надо мной!

— Уходи! Ради Христа, уходи! — крикнул вне себя Гаврила.— Развяжи ты мне только голову!

— Ну, вот искалечил всее, а теперь кричит «уходи». Нет, издохну в вашем доме, а никуда не пойду.

Гаврила хотел еще что-то крикнуть, но голос у него оборвался. Он только махнул рукой, схватил мешки и бросился вон из избы. Очутившись на огороде, он бросил мешки наземь, кинулся на них ничком и, закрыв лицо руками, проговорил:

— Господи, до чего я только дошел!

Больше он ничего не мог проговорить: к горлу подступили жгучие слезы, и он глухо зарыдал...

XXIII

На другой день был праздник. В деревне собралась сходка. Один старик принимал к себе в дом зятя и просил «мир» приписать его к дому. Общество согласилось, и старик за это поставил ему два ведра водки. Полтора ведра мужики взяли на свою долю, а полведра на бабью. Сходка кончилась к обеду, и тотчас же послали за вином. Многие предвкушали удовольствие от разгула и, волнуясь от нетерпения, ходили по деревне. На улице между мужиками пестрели и бабы. Маланья встала в этот день как ни в чем не бывало. Она уже не жаловалась на хворь и, будто бы не было побоев, ходила бодрая и веселая. Гаврилу это страшно возмущало. Он чувствовал, что она даже неспособна понять, что надо, и глядел на нее с каким-то омерзением.

«Ну, что это за чадушко уродилось!» — думал он, и сердце его грызла глубокая скорбь.

День был ясный, веселый. Деревья на начинавшем бледнеть солнце пестрели уже разноцветными листьями. От легкого ветерка в воздухе носились нити паутинника. Год был урожайный, и все выглядывало весело, довольно; только Гаврила был пасмурен, как дождливая туча. Когда принесли вино, то на сходку пошел и Гаврила. Он разделил со стариком приходившуюся на их дом долю вина и выпил в на-

дежде, что хоть выпивка прогонит обуявшую его хандру. Но водка на него пе действовала. Он точно не пил ее, хотя на других та же водка производила совсем другое действие, Гаврила видел, как оживляются лица мужиков, как развязываются языки. Вместо тихих речей стали слышаться крики, то и дело раскатывались взрывы смеха, и когда бочонок был осушен, мужики совсем преобразились. Поднялся шум, галдеж. Кто-то попробовал запеть песню, но у него не вышло. Наконец из толпы выделились три мужика, взялись за руки и пошли по деревне, запевши: «В непогоду ветер».

Голоса были хорошие, пели стройно. Особенно отличался один подголосок; от этого песня выходила сильнее. Гаврилу она задела прямо за сердце.

«Нету-у сил, уста-ал я-а с этим горем биться!» — пели мужики.

Эти слова так близко касались души Гаврилы, что вызвали в нем целую бурю жгучих ощущений. У него закипело внутри и в глазах больно закололо.

«Как это верно говорится в песне,— думалось ему,— словно это про меня. Это у меня не хватает сил с горем биться. Все вон веселы, у всех легко на душе, а у тебя вот словно камень навалился и ничем его не сдвинешь, ничем!»

«Доля моя, до-о-ля, где ж ты запро-о-пала?» — донеслись до него новые слова песни, и Гаврила почувствовал, что его опять начинают душить рыдания. Он, однако, превозмог себя, вскочил с завалинки, на которой сидел, и встряхнулся.

«И чего я раскис! — подумал он.— Словно я ребенок».

И он твердою поступью вышел на середину улицы и начал осматриваться кругом. На него наскочил куда-то бежавший ровесник его, Петр Старостин, в красной рубахе, в пиджаке нараспашку, с ухарски сдвинутым набок картузом. Поравнявшись с Гаврилой, он проговорил:

— Милый друг, хороший, па всех зверей похожий, пойдем-ка, возьмем мою гармошку да развернемся, чтобы чертям было тошно.

Гаврила с завистью поглядел на молодое, дышащее весельем лицо Петрухи, и вдруг ему страстно захотелось самому развеселиться, забыть свою, так гложущую его тоску, хоть не надолго, хоть один день прожить с легким сердцем. Но он чувствовал, что так он развеселиться не может, а ему еще

нужно подвинтить себя, нужно еще выпить. Взглянувши на Петруху, он проговорил:

Мне выпить хочется.

И выпить можно. Пойдем со мной и найдем.

Гаврила не противоречил.

XXIV

Веселье в деревне все разрасталось. Бабы меньше вы пили, но они разошлись не хуже мужиков. Столпившись в кучки, они оживленно болтали между собою, пересыпая речь бойким смехом. Которые помоложе, те собрались в отдельную артель и с песнями стали ходить взад и вперед по улице. Одной из баб в этой артели надоело пенье, и она проговорила:

— Ну, что мы улицу-то меряем: что ни мерь — больше не намеряешь; давайте лучше попляшем!

— И то дело! Давайте, давайте! — поддержали ее другие.

— Только подо что ж? под сухую?

— Под сухую, так под сухую!

— Подождите, мы найдем подо что,— вызвалась одна баба,— я вам сейчас принесу.

И она отвернулась от толпы и скрылась в первой избе. Через минуту баба вернулась оттуда с железным ведром и рубчатым вальком. Продевши валек под дужку ведра, она начала быстро водить им. Ведро загремело, получилась музыка, не особенно приятная, зато громкая.

Бабы под эту музыку запели:

У Катюши муж гуляка,
У Катюши муж гуляка.
Ах, барыня ты моя,
Сударыня ты моя!
Муж гуляка!..
Он гуляка, запивака!..

Когда песня наладилась, две бабы выступили в середину круга и пустились в пляс. Отплясала одна пара, выступила другая.

Вдруг раздались звуки гармоники. Бабы бросили свою музыку и обернулись. Это играл Петр Старостин. Он шел медленно вдоль улицы и, подыгрывая себе, громко пел:

Ты, гармошка, матушка,
Слаще хлеба, батюшки!
Ты скажи, гармонь моя:
Не прокормишь ли меня?

Рядом с ним выступал Гаврила. Он не пел, но вид его уже был другой: глаза казались немного помутившимися, лицо выражало некоторую беспечность. Несколько ребятишек и девчонок бежало за ними. Со всех сторон показались мужики. Бабы, как мухи на мед, поспешили на звуки гармоники.

Когда Петр с Гаврилой, дойдя до кучки баб, остановились, то через минуту вокруг них образовался широкий круг. Петр продолжал выводить свою разухабистую песню.

— Будет тебе,— крикнул ему кто-то,— заводи плясовую!

— Играй «барыню»!

— Плясовую, так плясовую! — крикнул Петр.— Кто плясать будет — выходи!

И он опустил гармонику, переправился, потом снова взялся и заиграл плясовую. И только гармоника зазвенела, как один высокий, белокурый, длинновязый мужик выступил из ряда других, упер руки в бока, притопнул ногой, подпрыгнул кверху, выскочил на середину круга и начал, семеня ногами, «откалывать» в такт музыки. К нему выплыла одна баба и, слегка приседая и повертываясь из стороны в сторону, пустилась вокруг него.

Эх, теща моя, доморащенная! —

припевал плясун и, стащивши с головы картуз, трепал им во все стороны.

Три-та-ту, где была?
Три-та-ту, на рынке.
Три-та-ту, что купила?
Три-та-ту, ботинки,—

выводила баба и хлопала в ладоши. Все замерли кругом с веселыми улыбками на лицах. Кто прямо-таки хихикал от восторга. У некоторых подергивало поджилки, и им самим хотелось пуститься в пляс. С веселым лицом стоял Гаврила. Забористые звуки гармоники и пляска загнали в глубь души его печаль, и она как будто уснула там, и на смену ей выплыли совсем противоположные чувства и наполнили его грудь какой-то давно небывалой теплотой.

Гаврила стоял в первом ряду. Сзади его напирали любопытные, желавшие ближе увидеть плясунов. Кто-то чем-то толкнул его. Он оглянулся, но не мог уже разобрать, кто его так толкнул; зато он увидел неподалеку от себя стоящую Аксинью. Лицо бабы, как и у всех, дышало весельем, и на губах скользила довольная улыбка. Сердце Гаврилы снова забилось тем чувством, которое он испытывал и раньше при виде этого лица, и он с любовью взглянул на нее, улыбнулся и крикнул:

— Что, каково разделывают-то?

— Очень гоже! — тоже улыбаясь, ответила Аксинья.— Так и подмывает самое пойти.

— А ну-ка пойдем.

— Пойдем.

— Отлично! Давно не плясал, а теперь разомну ноги,— весело сказал Гаврила, подавая руку Аксинье.

Когда первая пара утомилась от пляски, пошли Гаврила с Аксиньей. Хотя они плясали не очень мастерски, но и их пляской все были довольны.

После пляски Гаврила с Аксиньей встали вместе к стороне и, поглядывая друг на друга, перекидывались коекакими словами. Гавриле так было приятно стоять с ней рядом, что он давно не испытывал такого удовольствия.

— Ну, вот и хорошо! — говорил он.— А то сколько годов в одной деревне живем и ни разу плясать не удавалось.

— Вольно тебе! Давно бы пригласил, вот и поплясали б.

— В голову не приходило, ей-богу! — говорил Гаврила, и видно было, как в глазах его появился небывалый блеск, в голосе слышались нежные, мягкие нотки.

А гармоника все звенела. Пляшущие сменялись пара за парой; народ, стоявший около, громким смехом выражал свой восторг, но Гаврила ни на что другое не обращал внимания. Он только видел перед собой смуглое раскрасневшееся лицо Аксиньи, ее улыбку, обращающийся к нему взгляд. И вдруг это лицо с этим взглядом сделалось для него так мило и дорого, что ничего для него милее и дороже в свете не существовало. В жилах Гаврилы заходила кровь и ударила в голову. В голове на минуту помутилось, сердце забилось реже, но удары его чувствовались сильней. Вдруг улыбка на лице Аксиньи исчезла, она отвернулась от Гаврилы и что-то сказала. Гаврила оглянулся: оказа-

лось, неподалеку стоял Арсений выпивши и звал Аксинью домой.

— Я обедать хочу, поди собери,— говорил Арсений.

Аксинья исчезла из круга. Гаврила почувствовал себя точно осиротелым. Другие лица казались ему ненужными, неприятными. Гармоника резала уши, пляшущие были жалки, и их веселые окрики показались Гавриле настолько противными, что он не захотел даже стоять здесь, протолкался сквозь толпу и пошел от нее прочь.

XXV

Гаврила пошел домой. Медленным и нетвердым шагом вошел он в избу. Изба была пуста. Не было ни Маланьи, ни стариков. Очевидно, все были и где-нибудь на улице. Только кошка играла на полу с недавно выведенными котятами да поздние мухи жужжали на стеклах окон. Гаврила скинул пиджак, картуз и лег на коник. Ему хотелось успокоиться, привести свои чувства в надлежащий порядок, но это ему не удавалось. Кровь в нем продолжала бурлить, сердце по-прежнему билось неровно, в голове вихрем носились то одна, то другая мысль, хотя все они вертелись около одного предмета, и этот предмет был — Аксинья.

Немного спустя все в нем уходилось, в голове прояснилось. Он уже ясно и отчетливо сознавал то, что сознавал. А сознавал он, что в Аксинье заключается все его счастье, а без него для него ничего нет ни дорогого, ни привлекательного... Опять сердце его забилось реже. В груди у него что-то сдавило, и ему стало больно и тяжело.

«Да, это так! Я не увижу больше ни покоя, ни радости, если не вырву ее из своего сердца. А вырвать как? Он вот сколько уже пробовал избежать ее, но чувство к ней не глохнет, а делается все сильней... А зачем загушать? — пронеслось в его голове.— Зачем самому себя мучить? А если пойти вот и рассказать ей все: все рассказать — с самого начала. Она ко мне ласковая, может быть, и у ней есть ко мне что-нибудь в сердце, и она меня полюбит. А если нет — один конец! Значит, была не была — повидаюсь. Эх, где наше не пропадало, так и сделаю!»

И Гаврила исполнился твердой решимости пойти к Аксинье и объявить ей о своих чувствах. Он стал переби-

рать в голове, с чего он начнет свое объяснение. Вдруг хлопнули калиткой. Кто-то вошел в сени, подошел к ушату с водой и стал пить. Гаврила притих и невольно прислушался. Дверь отворилась, и в избу вошла Маланья. Увидя ее, Гаврила повернулся к стене и закрыл глаза.

— Ты что это лежишь? — сказала баба и, подойдя к мужу, присела на край коника.

— Так, лежу и лежу,— сквозь зубы проговорил Гаврила.

— С улицы все ушли, должно, вечер скоро.

— Ну, и ладно, пусть вечер.

— Мякохинские ребята нашим девкам пряников прислали, а наши ребята узнали это, перехватили да съели их. Девки на это осердились страсть.

— Ну, и пущай их сердятся, мне-то что? — вскрикнул Гаврила и вскочил с места.

— Что ты такой злой? — с неудовольствием проговорила Маланья.— Или тебя блохи заели, и слова сказать не потрафишь...

И баба встала с лавки, отряхнула рукой ярко-красное платье, вышла из избы и легла в полог. Гаврила поднялся с коника, снял с колышка пиджак и начал одеваться.

«Вот и любуйся весь век на такое сокровище! — думал он.— Господи, да что же это за наказание-то?!»

XXVI

Солнце склонялось к западу. На горизонте образовалась густая длинная полоса темно-синих облаков, в которых оно должно было скоро потонуть, как в мягкой постели. На улице стояла тишина, только па нижнем конце ее было видно, как кишел народ, перебегая с места на место, и слышались гомон и смех: там играла молодежь; да из-за овинов неслось нескладное пение совершенно пьяных мужицких голосов; это какие-нибудь не удовлетворившиеся мирской выпивкой ходили в другую деревню, где была винная лавка, «поднимать градусы» и теперь возвращались домой. Гаврила постоял с минуту, поглядел кругом, потом вдруг сорвался и твердым шагом пошел наискось через улицу в ту сторону, где стояла изба Сушкиных.

Подходя к избе и кинув взгляд на окна, сквозь которые широкою рекою лились лучи заходящего солнца и ярко освещали все, Гаврила увидел, что в избе Арсения нет, а только виднеется у окна Аксинья. Но он нарочно опустил голову, чтобы не дать заметить, что он видел это, и быстро вошел в калитку. И только он вошел в калитку, как сердце в нем как-то защемило, в руках и ногах почувствовалась дрожь. С усиливающимся волнением он прошел сени, дрожащими руками отворил дверь в избу и, перешагнув через порог, стараясь, но не будучи в силах, прямо взглянуть на Аксинью, он каким-то сдавленным голосом проговорил:

— А вот и я к вам! А где ж хозяин? — Но тотчас же понял, что так вести себя в том случае, зачем он пришел сюда, нельзя, нужно быть смелей, развязней: «смелость города берет», и, собрав в себе все силы, он по возможности твердо подошел и сел неподалеку от того места, где сидела Аксинья, которая только что перестала что-то есть и смахивала с суденки крошки.

— Вот тебе хозяин — был да сплыл! — проговорила Аксинья и, собрав в горсть крошки, поднялась и бросила их в лохань, а потом повернулась и опять села на прежнее место.

— Нет, правда, где ж он? А я было к нему в гости пришел,—сказал Гаврила и как-то несмело взглянул на Аксинью.

— Куда ему теперь гостей принимать, ему вряд до света отваляться. Спать ушел в сарай.

— Ай да дитятко! В такое время, да в сарай! Что теперь, покос, что ли? — сказал Гаврила.

— Я его туда послала. Там, говорю, скорей хмель пройдет. Сена много, заройся и спи.

— А как простудится он там да захворает да помрет? — говорил Гаврила и страшно досадовал внутренно на свою ненаходчивость и стыдился ничтожности тех слов, что ему подвертывались на язык.

— Ну, так тебе и помер!

— Нет, а если правда помрет?

— Помрет — похороним,— окончательно впадая в шутливый тон, проговорила Аксинья.

— А будешь тужить-то?

— Что ж тужить: одна голова не бедна, а хоть бедна, да одна.

— Ну, неправда; а самой небось жалко будет?

— Мужьев — да жалеть! За что? Они-то нас жалеют?

— А може, жалеют, почем ты знаешь?

— Оно и видно что!

Гаврила вдруг облегченно вздохнул. Так бессвязно начатый разговор вдруг пришел к такому направлению, что ему легко можно было высказать то, зачем он сюда пришел. Он очень этому обрадовался и, переходя с шутливого тона на серьезный, проговорил:

— Каких жен; другую жену-то на руках бы весь век проносил.

Аксинья по-прежнему шутливо проговорила:

— Будете вы жен на руках носить! Понимаете вы о них, как о летошнем снеѓе.

— Опять говорю — о каких. Если бы я Арсений был... Да я бы, кажись... Э, да что тут говорить-то, этого не выскажешь!

Гаврила вдруг махнул рукой и весь изменился в лице. Лицо Аксиньи залило густой краской, и она, в свою очередь, стала серьезная.

— Если бы у меня такая жена-то была б,— проговорил Гаврила,— я бы на нее глядеть не нагляделся б!..— Гаврила вдруг подвинулся к Аксинье и взял ее за руки.

— Ну, будет тебе, что не дело говорить!..— строго сказала Аксинья и вырвала руки у Гаврилы.

— Нет, дело. Ей-богу дело! Помнишь ты тот вечер, как я еще холостой был, а ты в девках? Мы у вас в селе на бревнах сидели около хоровода и разговаривали; ты еще о тетке своей вспоминала — помнишь?

— Ну, помню, так что ж?

— Ну, вот, этот вечер я первый раз только счастливым человеком был, и вот после этого сколько годов прошло, и я ни разу такой радости не испытал. Я ведь на тебе жениться хотел, да сперва-то мои старики заартачились, а потом тебя у меня Арсений перебил... Я ведь и в Москву-то уходил с этого горя... Эх, Аксюша, если бы ты знала да ведала!

— Что знать-то, ну? — спросила Аксинья и, казалось, была вся не своя. Все лицо ее то бледнело, то краснело, глаза сделались глубже, грудь высоко поднималась.

— Да люблю я тебя, так люблю, что мне без тебя жизнь не в жизнь. Я бы рад вырвать тебя из своего сердца, да ничего пе поделаю. Чем дальше, тем больше меня тянет

к тебе. И сейчас вот до чего дошло — хоть в омут полезай. Окроме тебя, мне все постыло...

Аксинья молчала и сидела, уже опустив голову. Гаврила опять взял ее за руки и совсем уж пересевшим голосом проговорил:

— Что ж ты молчишь? Что ж ни словечка не скажешь?

— Что же я тебе скажу? Напрасно ты все это мне говорил,— сказала Аксинья и встала с лавки, но рук от Гаврилы не отняла.

— Как напрасно! Почему напрасно? — уже не помня себя проговорил Гаврила.

— Ни к чему...

— Как же ни к чему? Мне нужно тебе это было сказать! Опять говорю — по тебе у меня все сердце изныло.

— А сердце изныло — зачем его больше бередить? Себя-то ты растревожишь да другого с покою собьешь.

— Как с покоя собьешь?..

— А так...

Гаврила догадался, всего его как будто повело, и он уже совсем неузнаваемым голосом скорее прошептал, чем проговорил:

— Стало быть, и я люб тебе?

Аксинья побледнела, по телу ее пробежал трепет, она пошатнулась на месте, потом отодвинулась от Гаврилы и стала вырывать от него руки; Гаврила ее не выпускал.

— Скажи хоть что-нибудь. Ну? Хоть что-нибудь скажи! — шептал он.

— Ну, люб, чего тебе надо? — строго сказала Аксинья и, вырвавши у него руки, перешла на другую лавку и опустилась на нее, тяжело дыша.

Гаврила опять подошел к ней и хотел ее обнять; она отвела его руки и поглядела на него не то с укором, не то с сожалением. Гаврилу этот взгляд пронял, и он немного отрезвился.

— Милая моя, ну, чего ж ты отбиваешься? Значит, неправда, что я тебе люб? — переседающим голосом проговорил Гаврила, опускаясь рядом с ней на лавку.

— Нет, правда. А вот я-то тебе, должно быть, не очень. Чего ты от меня хочешь?

— Аксюша!..

— К чему пристаешь? Я мужняя жена,— па что ты меня подбиваешь? И сам-то ты ведь не слободный человек!

Гаврила отрезвлялся все больше и больше.

— Да ведь люблю я тебя, вот как люблю!..

— Ну, и люби! И я тебя буду любить.— Голос Аксиньи вдруг сделался нежный и ласковый, она взглянула своими глубокими глазами прямо в глаза Гавриле, отвела от себя его руки и, держа их, проговорила: — Голубчик, Гаврилушка, не приставай ты ко мне этак никогда, ради бога! Не тревожь напрасно себя и не смущай ты мою душу... Тебе меня не склонить,— к чему? У тебя свой закон, у меня свой. Видно, что сделано — не переделаешь, а только нагрешишь. Жизнь наша от этого не полегчает, а если полегчает — только на время, а там опять все так же пойдет, а грех-то повиснет... Ты с умом человек и хороший человек,— подумай-ка только об этом!

Гаврила и то уже думал. В голове его прояснилось, охватившее его желание проходило, он уже был способен здраво рассуждать, и вдруг ему стало как-то стыдно, лицо его снова заволокло краской, и он опять не мог глядеть прямо в глаза Аксинье. Она как будто поняла это и продолжала:

— Любить можно друг дружку без этого. И так хорошо будет — не то что хорошо, а много лучше. У нас ведь никто никого не любит, а живут всяк по себе: в одиночку мучаются, в одиночку радуются. Кто к кому с горем пойдет? Никто его не пожалеет: над горем не потужат, а радости позавидуют. А если бы человек о другом, как о себе, понимал, тогда б другое дело.

— Так вот — ты бы меня поняла, не то бы ты и говорила.

— А нешто я тебя не понимаю? Понимаю хорошо, поэтому так и говорю. Если ты такой, как я думаю, то ты еще мне сам после спасибо скажешь, вот попомни мое слово!

— Поживем — увидим! — сказал Гаврила и попробовал улыбнуться.

Аксинья, заметив его улыбку, улыбнулась сама и снова ласково взглянула ему в глаза. У Гаврилы стало много легче на сердце, у него уже прошло и чувство стыда и неловкость. Он почувствовал себя свободно, и в голосе его появилась небывалая твердость.

— Поешь-то ты хорошо, другая так не сможет; поэтому я и крушусь по тебе. Если бы нам бог привел парочкой-то быть, я бы тогда не тот человек стал, а то пропадает моя голова без корысти, без радости.

— Все обойдется. И мне самой нелегко было первое время. Ты хоть в своем доме,— кругом родные, как был ты, так и остался; а я пришла к чужим людям, нужно применяться к другим обычаям. Арсений-то вон он какой: дела от него нет, а тоже с норовом; мне грустно, а он меня допекает. «Ты меня не любишь»,— говорит. Тоже слез-то пролила — одна подушка знает. Бывало, думаешь: господи, зачем все это так делается?.. А потом думаю: знать, так нужно, коли делается; видно, тут строится не человеческим умом, а божьим судом. Я-то еще сирота, у меня дома-то переменные были, а кто от отца то с матерью идет, от родного-то дома,— тем-то каково? — а ведь привыкают? Привыкла и я.

— Да, вашей сестре худо,— подумав, согласился Гаврила и почувствовал, что он теперь не в силах добиваться того, чего ему так хотелось добиться.

Между ними завязался разговор о том, что худо, что хорошо. У них во всем были почти одинаковые понятия,— что один намекал, другая разъясняла; и так они проговорили очень долго. Стало смеркаться. В деревне показалась бегущая из стада скотина, замелькал народ. Гаврила поднялся, чтобы уходить. Ему было так легко и хорошо. Он чувствовал, что Аксинья все-таки стала к нему ближе, и сердце его наполнила давно небывалая теплота.

— Ну, так прощай, значит, спасибо на добром слове! — сказал он, протягивая руку.

— Не на чем. Опять ходи,— улыбаясь и подавая ему руку, сказала Аксинья.

Гаврила вышел из избы.

XXVII

Весь вечер Гаврила проходил спокоен. Он был всем доволен и весел, па душе у него было так легко и ясно, как никогда не бывало. «Золотой она человек, как она рассуждает — дельно, верно». И он был рад тому, что они именно только так сошлись с Аксиньей. «Будем с ней так прятствовать, и ничего нам с ней больше не надо».

На другой день, вспомнивши, что произошло вчера, Гаврила решил, что это очень постно и что этим ему себя не уходить. Опять в нем защемило сердце, и он стал думать:

«Все это хорошо, да все не то; соловья баснями не кормят. Что она мне рассказывает? Любит — а опуститься боится. Коли любишь, надо на все согласным быть, а это какая же любовь?»

И он забыл все вчерашние чувства, все то, что у него было на душе, когда они так дружески говорили между собой. Опять ему запало в сердце одно желание: добиться от нее полной любви. Его снова заглодала тоска, и он опять стал думать: «Не пройдет она, если он не добьется своего».

Прошло несколько дней. У Гаврилы почему-то появилась уверенность, что он своего достигнет.

«Не может она противиться»,— думалось ему, и казалось, что вот только он увидит ее, поговорит, и она отдастся. Он захотел ее опять увидеть и один раз вечером пошел ко двору Сушкиных. В избе у них был огонь. Они собирались ужинать. Гаврила притаился у угла, прислушиваясь, что они говорят, но они говорили мало; Арсений, должно быть, был очень утомлен работою, и Аксинья казалась что-то пасмурною. Он стал ждать, не выйдет ли она за чем из избы. Поужинали; Аксинья, собравши со стола, постлала постель, Арсений повалился на подушку, Аксинья проговорила:

— Ну, я, коли, дров принесу.

У Гаврилы захватило дух, он подумал: «Увижу — сердце сердцу весть подает»,— и бросился к крыльцу. Действительно, дверь избы, а потом калитка скрипнули: это выходила Аксинья. Гаврила с замирающим сердцем шагнул к ней навстречу. С крыльца послышался пугливый оклик:

— Ктой-то?

— Это я, я! — громко шепнул Гаврила и протянул было к ней руки, но калитка опять скрипнула, захлопнулась, и Гаврила услышал, что ее запирают.

Гаврила снова подскочил к окну и увидел, что Аксинья вошла в избу, но лицо ее было еще пасмурней. Она положила дровяницу на приступку, сказала на вопрос Арсения,— что же она не принесла дров,— что очень темно, и, покопавшись что-то у печки, погасила лампу и легла спать.

Гаврила тяжело вздохнул и, несолоно хлебавши, отправился домой.

После этого Гаврила порывался увидеть Аксинью не один раз, и ему все не удавалось. Ему стало наконец невмоготу. В голове его раз от разу становилось дурнее. В ней такие забродили мысли, которые вызываются только отчая-

нием. На Гаврилу действительно порой находило какое-то отчаяние.

А время шло и шло. По деревням повестили, чтобы по дорогам ставили вешки, пока не замерзла земля. Гаврила пошел в лес рубить вешки. Идучи туда, он вдруг услыхал, как за ним кто-то бежит и кричит, чтоб его подождали. Гаврила обернулся: кричал и бежал Арсений. У Гаврилы как-то дрогнуло сердце, и ему сделалось нехорошо. Нахмурясь, он остановился и стал поджидать мужика. В его душе вдруг поднялись к нему недобрые чувства.

«Вот кто моим счастием пользуется»,— впервые почувствовал Гаврила, и сердце его закипело еще больше.

Арсений поравнялся с ним. Он был веселый. Поздоровавшись с Гаврилой, он проговорил:

— Подожди, пойдем вместе, найдем двести и разделим,— и выпаливши эту истрепанную прибаутку, он затянулся самодельной папироской и стал выпускать дым.

— Пойдем,— сквозь зубы проговорил Гаврила.

— Вам где досталось ставить-то?

— Левая рука поля, через огорок.

— А нам по большой дороге. Староста говорил, что урядник непременно велел скорей ставить.

Оба помолчали. Арсений докурил папироску и отбросил ее в сторону. Он почему-то вздохнул и опять проговорил:

— А это ты верно говоришь. Я сам тоже думаю иной раз, зачем вот, примерно, зима? Было бы у нас, как вот, говорят, в других землях, без зимы, тогда совсем другой разговор.

Гаврила улыбнулся и проговорил:

— Ну, вот, надоумь тебя, а сам-то ты не догадаешься!

— Не догадаюсь: не та голова у меня... А отчего ты к нам перестал ходить? Бывало, придешь и придешь, а теперь тебя словно бабка отворожила. Пришел бы когда чайку попить...

Гавриле вдруг очень понравилось зто предложение.

«Вот где я с ней опять увижусь-то»,— подумал он, и у него вдруг пропало неприязненное чувство к Арсению, он сразу повеселел и проговорил:

— Да так: не ходил и не ходил — очень просто.

— А я думал, на что обиделся.

— На что ж мне на тебя обижаться?

— А коли так, то приходи сегодня вечером. Посидим, покалякаем, а то почитаем что.

— Приду,— сказал Гаврила и окончательно развеселился.

XXVIII

Вечером Гаврила пришел к Сушкиным. В избе у них было прибрано, над столом горела лампочка. Арсений сидел за столом, а Аксинья ходила по избе, прибирая кое-что. Гаврила как-то жадно взглянул на нее и заметил, как она за это время преобразилась: она как бы помолодела, сделалась красивее, в глазах казалось больше жизни. У Гаврилы, при взгляде на нее, затрепетало сердце, и он сделался сам не свой.

Аксинья же, как только Гаврила вошел в избу, подхватила его взгляд и вдруг нахмурилась и укоризненно качнула головой. Это увеличило неловкость Гаврилы. Он уже чувствовал себя не так свободно, не выказывал ни своей бойкости, ни находчивости. Этим он даже огорчил Арсения. Арсений думал, что он внесет в его дом оживление, веселость; однако вечер прошел как-то кисло: пили чай, кое-что говорили, но все это было натянуто, неловко. Посидевши немного после чая, Гаврила стал прощаться. Аксинья вышла, чтобы запереть за ним калитку. Очутившись в сенях, Гаврила взял Аксинью за руки и притянул к себе. Аксинья сердито прошептала:

— Что это ты, опять? — и она стала вывертывать руки.

— Опять, опять! — чуть не задыхаясь, прошептал Гаврила.— Сил моих не хватает, ей-богу, голову потерял... измучился совсем!

— Вольно тебе себя мучить! Вспомни, что я тебе говорила. Зачем же ты это забываешь? Я своего слова не изменю вовеки, как хошь ты про меня думай.

Гаврила этого никак не ожидал. Все, на что он рассчитывал, опять улетучивалось. Он растерянно прошептал:

— Значит, я не люб тебе?

— Люб, люб, сокрушитель ты мой! Ты бы знал только, что со мной делается-то... Только все-таки не надейся, на что надеешься. Голубчик, родимый, пожалуйста!..

И она притянула к себе его голову и поцеловала, потом вытолкнула его за калитку и щелкнула засовом. Гаврила очутился на улице, как в тумане.

«Что это тут творится?» — подумал он и в глубокой задумчивости остановился у крыльца. Он долго стоял, потом тяжело вздохнул, махнул рукой, поднял голову и тихо зашагал ко дворам.

XXIX

Давно уже прошел покров. Стали чаще выпадать заморозки, по утрам кое-где перепадал снежок. В Грядках все уже приготовились к зиме. В одно утро в деревне вдруг появился какой-то человек в дрожках, па хорошей лошади, в жеребковой дохе. Он собрал мужиков и объявил им, что в селе Песчаникове, верстах в тридцати от Грядок, предполагается строить новый завод. Туда нужны люди с лошадьми и без лошадей на зиму для подвозки камня, кирпичу, лесу, цементу с железной дороги. Работа будет всю зиму; желающие, условившись, могут хоть сейчас получить хорошие задатки. Многие поспешили подрядиться на работы. Гаврила тоже решился на зиму наняться туда. Переговорив с человеком в дохе, он поступил к нему десятником по приемке подвозного материала. Гаврила был этому очень рад. Во-первых, на зиму ему открывался хороший заработок; во-вторых, он может там отдохнуть от того, что он переживал за это время. Его всей душой тянуло к Аксинье, но Аксинья все отстранялась от него и только наделяла его ласковыми словами. Иногда он очень понимал ее, а другой раз готов был разорваться от досады. Когда он подрядился, то сказал сам себе:

«Вот и отлично: поживем вдали друг от друга, а после разлуки-то, може, скорее дело сделается».

И в надежде, что это рано ли, поздно, а должно случиться, и он будет любиться с Аксиньей, как любился с Верой, Гаврила, как только открылись заработки на заводе, отправился на завод.

Жизнь на заводе для Гаврилы пошла интересная. Занятия были не очень трудны. Он ходил по будущему двору завода с книжкой и следил за подвозкой материала, принимал его, выдавал возчикам квитанции, по которым они могли получать в конторе деньги, а вечером отдавал в конторе отчет. В том и состояли все его занятия. Жалованье ему назначили довольно приличное. Кормили их

хорошо. Они жили вместе в одной каморке с десятниками и конторщиками. Помещение было чистое и теплое. Народ был веселый. По вечерам кто играл в карты, кто в шашки, кто читал что, кто рассказывал. Время шло весело, а поэтому скоро. Незаметно прошли все филипповки, и наступило рождество.

XXX

За три дня до рождества все работы на заводе были прикончены до Нового года, и рабочие, конные и пешие, стали распускаться домой. Начался расчет их. Конторщики и десятники освободились только накануне праздника, и то уже во второй половине дня. За Гаврилой приехал в этот день отец. Он расспросил его, что дома, как в деревне, и, услыхав, что все благополучно, не стал ничего более расспрашивать и ехал всю дорогу молча. Он был в каком-то полудремотном состоянии. Но лишь только он очутился дома, как в нем снова поднялось все то, что занимало и волновало его до отъезда на завод. Милый образ Аксиньи пронесся в его воображении, и ему страшно захотелось увидеть ее, и увидеть ее наедине. Но как это сделать? Теперь не лето. Летней порой всюду можно встретиться, а где столкнуться зимой? И Гаврила ломал голову целое утро; и у него составился такой план: он после обеда пойдет к ним на дом, как будто затем, чтобы предложить Арсению работу на заводе, и если застанет его дома, то так и скажет ему, если же нет, то тем лучше. Он увидит Аксинью, а с предложением может прийти в другой раз.

И действительно, отдохнувши после обеда, Гаврила пошел к Сушкиным. Арсения не было дома. Сердце Гаврилы сильно забилось от радости, и он, весь дрожа, попытался обнять Аксинью и притянуть к себе.

— Голубушка ты моя, как я по тебе соскучился-то!

— Неужели правда? — сказала Аксинья, улыбаясь.

Но улыбка ее была только наружная. В глазах Аксиньи виднелась какая-то забота. Она даже спала с лица и подурнела. Но Гаврила не обратил на это никакого внимания. Она по-прежнему была для него самое дорогое существо.

— То есть вот как,— продолжал Гаврила,— не будь у меня такой работы, ей-богу, сбежал бы, не вытерпел бы.

Аксинья опять улыбнулась, подняла на него глаза и доверчиво взглянула ему в лицо.

— А где же Арсений?

— В Назаровку к портному поехал. Шубу себе затеял шить; да портной-то замешкался, вот до самых праздников и дотянул.

— Вот как? Ну, каково же тут поживала?

— Каково? — нешто не знаешь нашу жизнь: день да ночь — сутки прочь.

— Обо мне-то вспоминала когда?

— Вспоминала.

— Может быть, надумала за это время милостивей быть?

Аксинья отрицательно покачала головой.

— Неужели все будешь упираться? — сказал Гаврила и потемнел из лица.

— Теперь поневоле будешь.

— Почему так?

— Я забрюхатела.

Гаврила весь опустился, у него глаза даже потускнели.

— Что ты так пригорюнился? — улыбаясь, спросила Аксинья.

— Пропащее дело! — вздохнувши, проговорил Гаврила.

— Чем пропащее?

— А тем... Значит, ты с своим связана теперь на весь век: потому — будет у тебя ребенок, ты и об отце его больше будешь думать, а обо мне-то ты и позабудешь!

— Зачем забывать? А я думаю, мы ближе друг к дружке станем. Набивался ты в кумовья-то, вот мы тебя и позовем.

— Не в кумовья бы мне к тебе хотелось...— мрачно сказал Гаврила.

— Какой ты самолюб! — тихо вздохнув, проговорила Аксинья.— Только ты о себе и помнишь, а не подумаешь... ну, хоть обо мне. Каково бы мне было, если бы я с тобой согрешила да забрюхатела?

— Как каково?

— А так! Родился бы ребенок, считаться он стал бы Арсеньев, его и отцом звать, по нем по отчеству называться,— и Арсений на него, как на свое дите, радовался б. Ведь это обман! Опять — мое дело: всегда б он мне стал глаза колоть да о грехе моем напоминать. Вот, мол, грех-то твой, вот он грех-то! А нешто сладко на душе грех-то иметь?

Да велик ли тут грех! воскликнул Гаврила. Я тут ничего и греха не вижу, в чем тут он?

Как в чем! Скажу примером: твоя жена тебе не очень мила, а ну-ка сделай она то, на что ты меня подбиваешь, что ты на это скажешь?

Гаврила прикусил язык и долго-долго молчал. Потом он поднял глаза на Аксинью и дрожащим голосом сказал:

Аксюша, голубушка... ах, как я тебя люблю!

И он схватил ее голову, поцеловал несколько раз в лицо и, взявши шапку, вышел из избы.

XXXI

Гаврила оставил мысль добиться с Аксиньей таких отношений, о каких он так пылко думал раньше. Это решение засело в нем прочно, и он перестал думать об этом. Он уж больше не добивался увидеть ее наедине, и они ни разу не видались так за все святки. Зато при людях они виделись чуть не каждый день. По случаю праздника грядковцы собирались то в одной, то в другой избе, сидели там, переливали из пустого в порожнее. Ходил туда и Гаврила, приходила туда и Аксинья, и им всегда было радостно видеть друг дружку. Мысли их всегда текли в одном направлении. Так, сидя у кого-нибудь в избе и принимая участие в каком-нибудь разговоре, они замечали, что лишь только кто из них что подумает, другой уже об этом говорит. Это несколько раз случалось и приводило их в веселое настроение. Они обменивались взглядами, горящими лаской и любовью, и были несказанно счастливы.

Один раз Маланья заметила ему:

— Что это ты на людях веселый, разговорчивый, а как дома — словно волк какой?

Гаврила смешался и не знал, что сказать.

— Или оттого, что у нас Аксиньи Сушкиной нет?

Гаврила кинул взгляд на Маланью: но та поспешила отвернуться в сторону. Гаврила изменившимся голосом проговорил:

— Ты к чему это сказала-то?

— А к тому, что ты с ней больше разговорчив, а тут от тебя слова не вытянешь.

— А ты попробуй заставить говорить.

— Где уж там!
— Ну, так и нечего локотать незнамо что.

XXXII

Святки прошли. На другой день Нового года с раннего утра Гаврила отправился опять на завод и, как только приехал туда, снова принялся за дела. После святок работа кипела. Для Гаврилы она была все та же: подсчет товаров, приемка, выдача квитков, отчет в конторе,— но она была более утомительной. Дни стали прибавляться, наступили мясоедные морозы, и все десятники и приказчики очень уставали и вечер уже проводили не так, как до святок, а сидели мало и, поужинав, скорей заваливались спать.

Гаврила и до святок ни с кем близко не сходился, после святок же он совсем стал держаться особняком. Ему не по душе был весь этот народ: они все очень легко относились к жизни; в разговорах они подчас шутили над такими вещами, над которыми смеяться было нельзя. Он тогда ввязывался в разговор и пробовал навести его на серьезный лад. Но никто не поддавался его настроению: одни отшучивались, другие говорили, что такая скучная материя под стать только монахам. Гаврилы стали избегать, некоторые подтрунивали над ним; он тоже откачнулся от всех.

Зима шла быстро. Дни заметно прибавлялись, ночи делались короче. С прибавлением дня всем прибавлялось работы. Наступил март месяц. В этом месяце работа закипела как никогда. Нужно было до распутицы закончить заготовку всего, а заготовлять было нужно кое-чего много; бросились искать подвод, набавили возчикам цену. По дорогам целый день просто стон стоял. Так шло недели три. Потом небо заволоклось облаками, сделалось тихо и тепло. В ночь на Алексея божия человека пошла изморось; к утру изморось превратилась в дождь; за день дождь все делался крупнее и крупнее. Снег как-то потемнел и около дорог осунулся. Дороги начали чернеть, на них образовались просовы. В низинках показалась вода. Напрасно возчики говорили: «Постояло бы еще денька два, пошли бог морозца»,— дорога быстро начала портиться.

К благовещенью все получили расчет. Гавриле тоже осталось делать нечего, и он отправился домой.

Старики были очень довольны его хорошими заработками. Маланья тоже как будто расцвела. Она стала увиваться около мужа, как кошка. Гаврила недоумевал. Она редко когда была такой ласковой. Но недоумение его продолжалось недолго. Вскоре он узнал причину всех ее ласк.

— Гаврила! а Гаврила! Что я хочу тебе сказать,— проговорила раз Маланья, заглядывая ему в глаза.

— Ну, что? — спросил Гаврила.

— Ты теперь денег-то много заработал, давай наймем на лето работницу.

Гаврила криво усмехнулся.

— Следует, конечно, что об этом говорить.

— А что ж? Ты теперь стал вроде приказчика, а жена твоя во всякий след бегай,— зазорно ведь.

— Знамо, народ осудит.

— А то не осудит?

— Ну, ладно, оставь, что пустяки говорить! — резко сказал Гаврила.

— Какие же это пустяки? — насупившись, проговорила Маланья и бросила на мужа сердитый взгляд.

— А я говорю — пустяки! — еще резче проговорил Гаврила.— Надо бы прежде с башкой собраться, чем такие речи-то поднимать.

— Господи, вот идол-то зародился! — воскликнула огорченная Маланья.— Никаких резонов от тебя не принимает. У других мужья как мужья, а это — шут знает кто такое.

И она захныкала и вышла вон из избы. Гаврила проводил ее долгим взглядом и глубоко вздохнул. Он ясно почувствовал, как далеко он стоит душой от жены, и ему стало жутко.

XXXIII

На третий день после приезда домой Гаврила решил сходить к Сушкиным. Когда он пришел в избу, то и Арсений и Аксинья были дома. Арсений лежал на печи, а Аксинья сидела у окна и разбиралась в каких-то тряпках. Аксинья теперь очень переменилась. У нее заметно выделялся живот, щеки осунулись, лицо как-то посмуглело, и на нем были заметны «матежи», эти характерные признаки беременности, бывавшие у некоторых баб. Только глаза ее

остались неизменными: такие же глубокие, такие же ласкающие, чистые и приветливые.

Гаврила поздоровался с ними; Арсений соскочил с печи и подошел к нему.

— А, будущий куманек! Добро жаловать, добро жаловать, садись на лавку! — говорил он, добродушно ухмыляясь.

— Проведать пришел,— проговорил Гаврила, садясь на лавку и устремляя взор на Аксинью,— как-то вы тут поживаете?

Аксинья медленно повернулась к нему и с легкой грустной улыбкой сказала:

— Поживаем помаленьку. Как-то ты там пожил?

— Я жил хорошо,— проговорил Гаврила.— А ты чего же к нам работать не приезжал? Какая заработка была! — обратился он к Арсению.

— Ну, где нам! — махнул рукой Арсений.— Наше дело, видно, сиди дома да точи веретена.

— Отчего ж? Там всем дело нашлось бы.

— А дома-то кто? Баба моя раскоклячилась, брат,— ни на что не похоже, куда что девалось.

— Что же это ты? — спросил Гаврила с деланной улыбкой, тогда как на душе его, от жалости к ней, скребли кошки.— Аль горшок не по себе?

— Бог его знает! — проговорила Аксинья.— Так тяжело, так тяжело ношу — не дай господи! Кого ни спрошу рожалых баб, никто так не мучился, особливо с этих пор.

— Вот узнаешь, каковы ребята-то! А то все: дай бог ребеночка, дай бог ребеночка,— вот и дал! — проговорил Арсений.

— Что же делать,— сказала Аксинья,— видно, что будет, то и будет.

— Знамо, так. А что ж, чай, надо самоварчик поставить да будущего куманька-то чайком попоить? — встрепенулся Арсений.— Ты похлопочи тут,— обратился он к Аксинье,— а я за баранками сбегаю. Так, что ли?

— Ну что ж, ступай,— сказала Аксинья,— а я пока поставлю.

Арсений быстро оделся, взял шапку и вышел из избы.

Гаврила просидел у Сушкиных долго. Они пили чай и говорили о разных разностях. Гаврила чувствовал себя так хорошо, как редко когда бывало. Когда кончили чай, то в окно с улицы постучались.

— Что такое? — сунулся к окну Арсений.

— Гаврилу пошли! Домой пора.

Гаврила узнал голос Маланьи, и ему стало неловко. Попрощавшись с Сушкиными, он вышел из избы. Маланья стояла у угла, потупив голову. Когда Гаврила показался из калитки, она исподлобья взглянула на него и злобно проговорила:

— Засиделся! Давно не видал свою милую!

— Что ты бормочешь? — с забившимся сердцем и глухим голосом проговорил Гаврила.

— А то... Теперь будешь шляться сюда! Пойдем домой.

— На что я дома-то понадобился?

— А тут-то что тебе делать?

У Гаврилы мелькнуло было в уме все рассказать жене, все объяснить: вот, мол, тут что; но когда он представил себе, что такое за существо Маланья, ему стало стыдно за свой порыв. «Да разве она поймет это!» — подумал он, и глухая тоска зашевелилась в его груди, и он поглядел на жену с нескрываемой ненавистью.

XXXIV

Пришла и прошла святая. Наступила полная весна с ее работами. Жизнь Гаврилы пошла обычным чередом, как и в прежние годы: он так же принялся со своими семейными за работы, так же выезжал в поле, так же выходил на улицу; но он сам был уже совсем не тот. Он чувствовал себя точь-в-точь как, бывало, в беззаботной холостой жизни: везде ему было весело, за все он брался охотно. Животное чувство к Аксинье в нем больше не пробуждалось, а вновь пробудилось горячее желание — заснувшее в последние годы — делать все как можно лучше, добиваться перехода с худого на хорошее. Ему стали видны упущения и в своем хозяйстве и в общественном. Конопля плохая стала родиться — надо переменить место, где ее сеять. Во ржи пропрядает костерь — нужно хорошенько провеять семена. Следует заняться садом, а то одни яблони захирели, другие зажирели, да и кусты требуют пересадки. Нужно подбить общество почистить пруды, а то все они заплыли, заросли,—

нам же от этого хуже: скотине неудобно пить, пеленок негде выстирать. На сходке он восставал против того, что мужики всегда, как бешеные собаки, бросались грызться, и этим только озлоблялись друг против друга и тормозили всякое дело. «К чему ругаться? — говорил он.— Если кто сказал что несогласное со мной, надо спокойно рассудить, что лучше, а не схватываться». Он горячо волновался, видя, как некоторые мужики — особенно старые, испытавшие еще барщины — плохо относятся к общественным делам. «Ладно, как сделается, так сделается: не наша забота — мир велик»,— говорили они. Вследствие такого равнодушия бывало много общественных промашек, от которых терпели виноватые и правые. Прошлой осенью пришлось покупать мирского быка: выбрали кое-кого, те пошли и купили такого, который никуда не годился. Зимой его сменили; за нового заплатили вдвое дороже, но он оказался очень озорноват. Мужики ругались на тех, кто покупал, те ругали того, кто их посылал,— общее неудовольствие, и все понесли убытки. Зимою оказалось две десятины березового леса. Одни говорили, что нужно им самим свалить, другие — продать, а деньги употребить на подати. Староста съякшался со старшиной, тот приехал в деревню — слово за слово, купил лес за триста рублей, кое-кого грядковцев же нанял спилить его на дрова, и вот теперь ему наставили двести саженей дров, по три рубля с полтиной за сажень; а сучками он мог покрыть все расходы. Упустили четыреста рублей. Гаврила вслух возмущался этим и заручился такими голосами, которые сочувствовали ему. Можно думать, что в будущем дело могло идти складней: по крайней мере, Гаврила думал, что этого нужно будет добиться.

Старики, видевшие, что парень их меняется и находит на ту «стезю», на которой Илье было очень желательно его видеть, радовались. «Ну, вот и слава богу! — говорили они.— А то мы думали то и то, испугались, что он с пахвей собьется, а он опять на прежнюю дорогу выходит; все перемололось, значит».

Только Маланья ничем не изменяла себя: она такая же была грубая, сварливая. Гаврила не раз подмечал в ее взглядах такую ненависть, какую только можно испытывать к лютому врагу. Было ли это следствием того, что Гаврила так равнодушно относился к ее замыслам насчет работницы или другого чего?

XXXV

Весна приближалась к концу. Отсеяли яровое. У Гаврилы в саду зацвели несколько яблонь и обещали дать плоды. Чтобы сберечь эти плоды, Гаврила надумал обнести сад плетнем; и один раз, около полден, он вышел со двора и направился к амбару, где у них лежали дрова, чтобы выбрать и вырубить там кольев. Копаясь в дровах, он вдруг заметил, что мимо него, направляясь от сараев ко двору, поспешно прошла Маланья. Увидев его, она как будто испугалась, взглянула на него тревожным взглядом и быстро шмыгнула за амбар. Гаврила хотел окликнуть ее и спросить, где была, но раздумал и, мурлыкая песню, начал разбирать кучи хвороста, выбирая из него пригодное для плетня.

Вдруг за сараями послышались крики. У Гаврилы как-то екнуло сердце. Он бросил топор и прислушался. Крики повторились. Кто-то заставлял кого-то держать. Гаврила опрометью бросился за сараи, и когда выбежал туда, то увидел, что по лужку, раскинувшемуся среди поля, неслась лошадь с бороной, за ней бежала другая. За первой лошадью, запутавшись в вожжах, тащилась волоком баба, бороновавшая на них. Как кричала баба, было не слыхать, но к лошадям с разных полос неслись еще не отсеявшиеся мужики и бабы, крича друг дружке, чтобы держали лошадей. Но держать было некому. Лошади кругами носились по лужку, и их нелегко было не то что остановить, но даже догнать.

У Гаврилы екнуло сердце, и он со всех ног бросился по полосам. Когда он выбежал на лужок, то ему показалось, что первая лошадь была Сушкиных. Сердце в нем забилось еще сильней, и он в свою очередь закричал изо всех сил:

— Держи, держи!

Одному мужику наконец удалось схватить лошадь, волочившую бабу. Все направились к тому месту, где остановили лошадь. Поспешно, с лицами, охваченными ужасом, отвожжали вожжи и стали распутывать валявшуюся без движения бабу. Баба была Аксинья.

Аксинья была без чувств. Она вся всколотилась, волочившись по полю. Вожжи перехватили ее поперек груди и затянулись на одной руке. Они так впились в тело, что это место было синее.

Распутавши Аксинью, стали разглядывать, как ее изуродовало. Послышались оханья, вздохи. Бабы застрекотали одна за другой, спеша высказать свои соболезнования. Одна передавала, как случилось это несчастие:

— Ведь совсем отбороновала она, домой ехала. Я еще сказала ей: теперь ты чайку всласть попьешь, а она говорит: «Некогда, еще на полдни нужно идти». Только она поравнялась вон с ручейком-то, словно оттуда кто выскочит — как шарахнутся лошади-то, и пошли и пошли. Я рта не успела открыть, гляжу — уж она волочится, сама-то благим матом кричит.

— Надо ее домой несть!

— Знамо домой, там чем-нибудь пособить можно будет.

Мужики и бабы подняли Аксинью на руки и понесли ее в деревню.

У Гаврилы в глазах все помутилось. Он не сознавал себя и не мог понять, что такое случилось, и только чувствовал, что случилось нечто страшное, ужасное. Ему кто-то сказал, чтобы он вел лошадь Арсения в деревню; он взял лошадь и повел ее в поводу. Лошадь была вся мокрая; она тяжело дышала, раздувая ноздри; глаза ее как-то осовели, уши ослабли, и она шла поникнув головой. Гаврила снял с нее хомут, привязал за повод к воротам и пошел в избу, куда перед этим внесли Аксинью. Но из избы уж выходили все, говорили, что туда ходить нельзя, и кричали, что нужно Гомониху скорей позвать. Гомониха была деревенская повитуха.

Одна баба побежала за повитухой; другие столпились у ворот и, перебивая друг дружку, на разные лады обсуждали только что происшедшее событие. Гомониха скоро пришла; бабы несколько притихли, и некоторые из них, а также все мужики, стали расходиться. Гаврила прошел на мостенки, ведущие к омшанику, сел на них, облокотился на колени и закрыл ладонями лицо.

Все внутри его ворочалось, он испытывал невыносимую боль. Он бессвязно забормотал:

— Господи, что это случилось? Господи, что это случилось?

Он долго-долго сидел так, и ему было очень тяжело. Он хотел плакать, но слез не было. Что происходило в избе, он не знал. Вдруг он почувствовал, что его кто-то трогает за плечо. Он поднял голову: перед ним стоял Арсений. Арсений всхли-

пывал, и все лицо его было мокро от слез. Когда Гаврила взглянул на него, то Арсений проговорил:

— Кум... Кумане-ек, пойдем в избу.

— Что Аксинья? — спросил Гаврила, поднимаясь на ноги и чувствуя необыкновенную сухость в горле.

— Трудно ей, не разродится... Бабка совсем измучилась.

В это время в избе раздался нечеловеческий крик. Гаврила и Арсений остановились как прикованные. Через минуту из избы вышла бабка. Увидав мужиков, она проговорила:

— Погодите немножко,— и шмыгнула в горенку; через минуту она вышла оттуда с каким-то полотном и опять скрылась в избе. Гаврила оперся на перила и уставился глазами вниз. Арсений плаксивым голосом говорил:

— Ведь вот какой грех! Если бы я это знал, нешто я пустил бы ее в поле? Я и то говорил ей: давай я буду бороновать, а она говорит: «Нет, я сама: лучше разомнусь»,— говорит.

У Гаврилы точно свернуло жгутом все внутренности в груди и держало так, не отпуская. Ему трудно было дышать, ноги отказывались его держать; он ни одним звуком не отозвался на слова Арсения.

Прошло несколько минут. Бабка отворила дверь и сказала, чтобы они вошли. На конике, головой в угол, лежала Аксинья. Она была снова в забытьи и лежала страшно бледная. На лбу у ней виднелись большие ссадины: видимо, ей приходилось волочиться лицом вниз. Старуха-бабка держала в руках сверточек и казалась очень взволнованной.

— Что, бабушка? Что? — убитым голосом проговорил Арсений.

— Да что, живенький, дышит, только очень уж плох. Есть ли у вас теплая вода-то? Да плошку какую-нибудь надо: придется погрузить.

Арсений засуетился, доставая нужное. Гаврила сел на лавку в головах Аксиньи и уставился ей в лицо.

XXXVI

И когда он увидел вблизи эти хотя искаженные, но дорогие ему черты лица, то в груди его заклокотала целая буря. Он понял, что в этом существе, с неправильным и некрасивым теперь лицом, заключается все, что ему было мило

и дорого на белом свете. Она одна, из всех близких к нему, имела родную с ним душу и осветила последнее время его жизнь, которая могла выбиться совсем из колеи и завести его бог знает куда. В глазах Гаврилы закружилось, и он как-то сразу забыл, где он находится. Вдруг слабый, хриплый звук заставил его очнуться. Он догадался, что эти звуки произнесла Аксинья, и уставил на нее глаза. Он увидел, что Аксинья очнулась; но ее лицо, за минуту перед тем спокойное, исказилось страданиями. Страдания эти, очевидно, были настолько трудны, что она не могла их побороть. Она опять издала слабый звук, потом протяжно и мучительно застонала.

— Аксюша, Аксюша! — лепетал Гаврила и почувствовал, как все лицо его обливается слезами.— Что ты, родная, что ты, голубушка?

— Ну, зачем ты себя терзаешь так? — с нежностью в голосе проговорил Арсений; глаза его были полны слез.— Очнись, тебя теперь распростал бог, може, полегчает.

Аксинья уставилась на него помутившимися глазами и несколько раз прерывисто вздохнула; потом медленно, останавливаясь на каждом слове, проговорила:

— Гаврила... тут... ты?

— Тут, тут, моя голубушка! — поспешил сказать Гаврила.

— Оче-е-нь м-н-е т-р-у-дно. Ка-а-к я му-у-чилась,— совсем не своим голосом, чуть не со стоном, протянула Аксинья.— Я... ему... нарочно ве-ле-ла тебя поз-вать, что-бы ска-а-зать те-бе... это... Ты по-жа-ле-ешь меня... Ты ведь же-ла-а-нный... Ты ведь заместо ро-одного мне бу-у-дешь... Нико-го у ме-ня ближе тебя нету здесь... Да и прости-ться с тобой хочется... Про-о-сти, родимый бра-а-тец! Мо-же, мне и не вы-жи-ть...

— Что ты, что ты! — воскликнул Гаврила, и вдруг слезы брызнули из его глаз.— Тебе еще можно помочь, что ты говоришь! Рази таких случаев не бывает? Я сейчас в больницу поеду, доктора привезу. Подбодрись немножко, моя голубушка, кумушка моя, сестрица богоданная!..— И Гаврила взял бледную и холодную руку Аксиньи и задержал ее в своей. Аксинья лежала, устремив глаза на него, но, должно быть, ничего уж не видала и не слыхала. Бледное лицо ее с посиневшими губами было искажено страданиями. Грудь прерывисто поднималась, и она дышала тяжко-тяжко.

Гаврила еще раз взглянул на нее, вышел из избы и отвязал привязанную у ворот лошадь и стал ее запрягать.

В больнице доктор и фельдшер отказались с ним ехать, но отпустили фельдшерицу. Когда они приехали в Грядки и вошли в избу к Арсению, то у образов горела лампадка. По всей избе носился какой-то особый запах. У Гаврилы дрогнуло сердце и помутилось в глазах. Он невольно покосился на коник, где до этого лежала Аксинья, но коник был уже пуст.

Аксинья теперь лежала за столом на лавке, и лежала спокойно, неподвижно, а в головах у ней так же неподвижно лежал какой-то сверток.

— Что, неужели? — с замирающим сердцем спросил Гаврила.

— У-у-мерла! — пролепетал дрожащими губами Арсений, и из глаз его градом хлынули слезы...

XXXVII

Неделю спустя после похорон Аксиньи Гаврила на выгоне встретился с Арсением. Арсений был необыкновенно мрачен. Остановивши Гаврилу, Арсений, не своим голосом и путаясь в словах, проговорил:

— Вот что! Я хочу тебе слово сказать... Это нехорошо, если люди правду говорят... Так не годится!

— Что такое? — с дрогнувшим сердцем от предчувствия чего-то недоброго спросил Гаврила.

— Выходит — ты всему нашему горю причина...

— Как я?

— Ты, говорят, любился с Аксиньей, из-за того твоя жена и лошадей нарочно испугала.

— Что ты говоришь? — весь бледнея, упавшим голосом вымолвил Гаврила.

— Не я это говорю, а люди говорят: вся деревня об этом болтает, и Маланью твою перед тем Анютка Махалова в овраге видела, она всем это говорит.

Гаврила вдруг вспомнил, как в тот день, когда он копался в дровах, из-за сараев пробежала Маланья, вспомнил и ее странный взгляд,— и ему все стало ясно. У него закружилась голова, но он сейчас же преодолел себя и проговорил:

— Я за бабу не спорю! А сам я виноват перед тобой только в мыслях. Верно,— я добивался того, что ты дума-

ешь, но она меня одолела! Не такая, брат, она была, чтобы на то пойти, и если ты веришь богу, то я чем хочешь тебе побожусь, что я ничего не имел с ней... Слышишь ты меня?!

— Слышу! — глухо проговорил Арсений и тяжело вздохнул.— Говорят: «Зачем он так хлопотал?.. Зачем в больницу ездил?.. Это неспроста...» Вон что они понимают.

— Ну, и пусть их понимают... А я не виноват перед тобою... Знай это и не терзай своего сердца... Понял?

Арсений промолчал. Гаврила, стиснув зубы и с исказившимся лицом, повернулся и пошел с выгона. Он торопливо шел домой. Подойдя ко двору, он решительно вошел в калитку. Войдя в сени, он ясно почувствовал запах мыла и пара. Что-то копошилось в сенях: это Маланья принималась стирать белье и намыливала его в корыте. Гаврила, весь дрожа, молча подошел к ней, взял ее за плечи и повернул к себе лицом.

— Говори, ты испугала лошадей? — весь трясясь, спросил Гаврила, впиваясь в ее глаза своими светящимися, как у волка, глазами.

— Гаврила! – начиная плакать и со страхом глядя на разъяренного мужа, протянула Маланья.

— Откуда ты шла, как я тогда у амбара был?

Маланья ничего не сказала, а вдруг рухнула перед мужем на колени, обвила руками его ноги и, поднимая к нему полные слез глаза, проговорила:

— Прости, прости, ради Христа! Виновата!

И она вдруг завыла и рухнула головой вниз. Гаврила оперся рукой на перила и с минуту глядел на рыдающую жену.

— Зверь ты, а не человек! — воскликнул он не своим голосом, пхнул жену ногой в спину, чуть не шатаясь вышел из сеней, пошел на задворки, бросился ничком под куст на траву и долго-долго лежал так...

XXXVIII

На другой день с раннего утра Гаврила оделся в чистый пиджак и хорошие сапоги и, никому ничего не сказав, куда-то ушел. Он ходил до обеда. А вернувшись, он велел собирать ему котомку и сказал отцу, чтобы он завтра подвез его до города.

— Да куда ж ты пойдешь-то, дитятко? — с испугом плаксивым голосом спросила его Дарья.

— А там увижу, когда подальше от дома отъеду...

— Что ж тебе от дома уезжать в такое время? Самая горячая пора наступает, а ты нас покинуть хочешь?

— Справитесь и без меня, а не справитесь — наймите кого.

— Что тебе так захотелось-то вдруг?.. То жил-жил, а то на-поди.

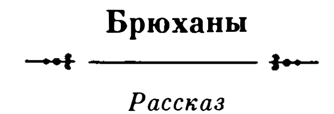
— Хоть бы до осени подождал,— поддержал старуху старик.— Вот убрали бы все, и ступай с богом хоть в Москву опять, хоть еще куда...

— Мне до осени не дождаться,— выговорил Гаврила и больше уж не отзывался на стариковские уговоры.

Весь вечер Гаврила собирал, что ему нужно было положить в котомку, потом он пошел в садик и просидел там до рассвета. А как только рассвело, он отправился в ночное, привел сам лошадь, сам запряг ее, толкнулся, чтобы разбудить старика, и стал укладывать котомку в телегу.

Бабы вышли провожать его, как рекрута, с плачем, но Гаврила только поморщился и отвернулся. Он торопил старика, чтобы тот скорей усаживался. И когда они уселись, Гаврила снял картуз, простился с бабами и тронул лошадь. И пока проехали все село, Гаврила сидел, не поворачивая головы и не поднимая глаз. Ему ни на что не хотелось глядеть, ни о чем думать. И впереди у него ничего не было определенного.

1904 г.



Брюханы

Рассказ

I

На одной окраине Москвы, близ Сокольников, есть Гуменная улица. Улица эта глухая, малонаселенная, с кое-какими деревянными домиками, набитыми разным сбродом. Изо всех построек улицы выделялась небольшая красильная фабрика, приютившаяся на конце улицы. Постройки ее состояли из двух двухэтажных корпусов — одного каменного, другого деревянного. Оба корпуса выходили на улицу только боком и тянулись параллельно внутрь двора, образуя между собою довольно порядочное пустое пространство.

В каменном корпусе окна были широкие, как у казарм, и закоптелые, у деревянного же — обыкновенные, украшенные белыми кисейными гардинами.

По улице между корпусами тянулся деревянный забор с воротами посредине. На столбах ворот красовались два полинявших железных листа, на которых тусклыми буквами обозначалось, что дом принадлежит московскому купцу Е. Ф. Жарову и что он «свободен от постоя».

Лучше жаровской постройки был только дом напротив. Он принадлежал, как значилось на доске, И. X. Тейхер и напоминал своим фасадом особняк: он немного вдался внутрь двора, перед окнами его каждую весну разбивался цветник, а на фронтоне красовались настоящие часы. Но этот дом тоже не был барским домом: изнутри его двора поднималась огромная светло-коричневая железная труба, коптившая небо каждый день, и из ворот его во время обеда и по вечерам выходили люди; старый, седой сторож в белом фартуке заставлял распахивать полы одежды выходивших мужчин или женщин и проводил руками по бедрам. Из жаровской фабрики люди выходили только под праздники или в праздники. Тут людей жило не так много, и они по закону могли помещаться там, где работали.

Работали и помещались жаровские рабочие в одном каменном корпусе. Весь верх одной половины корпуса был занят кладовой и спальней красильщиков, внизу же была красильня. В красильне всегда кипели котлы, стоял удушливый запах растворенной кислоты, употреблявшейся при отбелке товара, клубился густыми облаками пар, сквозь который трудно было что-нибудь разглядеть с непривычки. В тумане мелькали люди, слышался говор, крик.

В другой части этого корпуса, в той, которая выходила на улицу, внизу помещалась клеильня и лежали камни для курченья окрашенного товара — гаруса и бумаги, а вверху — сушильня и спальня клеильщиков.

Спальня клеильщиков считалась более аристократическим местом, чем помещение красильщиков, так как мастерство клеильщиков было высшего разряда. Они получали больше жалованья, и им, как и красильному мастеру, ездоку и дворнику, полагался два раза в день хозяйский чай, а по праздникам по пшеничному пирогу, тогда как остальные рабочие не видали чаю всю неделю и пили его только в праздничные дни в трактирах. Сюда чаще, чем в красильню, заходил позубоскалить хозяйский брат, ведущий весь надзор за фабрикой, Иван Федорович, красивый русак лет пятидесяти, с длинной, серебристой бородой, прямыми чертами лица и твердым взглядом больших голубых глаз. Он ходил в высоких опойковых сапогах, в белой с крапинами рубашке, глухой жилетке, в люстриновых шароварах и при часах.

Его старший брат, хозяин этой фабрики, разнился с Иваном Федоровичем и фигурой, и чертами лица. Они у него были не так правильны: лоб низкий, нос луковицей, и в выражении лица и глаз не было той прямоты и твердости, как у Ивана Федоровича,— в них всегда скользила лукавая усмешка. Эта усмешка не сходила с его лица ни в разговорах с семейными, с давальцами, ни когда он делал какое-нибудь распоряжение насчет работы; только когда он сердился, усмешечка пропадала, и то ненадолго: стоило ему вылить свой гнев,— и лицо его принимало опять обычное выражение, говорившее, что обладатель его никогда не испытывал больших забот и невзгод и никогда в нем не возникало мучительных, неразрешимых вопросов.

II

Братья Жаровы были природные мужики. Они выросли и женились в деревне, где-то в Дмитровском уезде. Жены их до сих пор повязывали головы платком. Жена старшего, толстая бездетная Соломонида Яковлевна, надевала в торжественных случаях зеленое шелковое платье с массой оборок и рюшек, сшитое лет двадцать назад; но сморкалась всегда в руку, причем руку вытирала об изнанку платья, поднимая для этого подол. Жена Ивана Федоровича иногда ходила с непокрытой головой и умела шить на машине. У нее была дочь Капа; ее уж Дарья Ивановна одевала, как барышню, и посылала учиться в начальное училище.

В Москве Жаровы поселились лет двадцать пять назад. До этого они жили в Москве набегом, поступая то на одну, то на другую фабрику. В одно время они поступили ручными ткачами к фабриканту Курчавому. Курчавый был фанатичный старообрядец, не любивший немецкого платья, табаку и всех «щепотников», никонианцев. К рабочим церковным он питал враждебные чувства и давал им основы похуже, к своим же единоверцам чувствовал неограниченную слабость. Жаровы были церковные, но трезвые, грамотные и оба жадные до работы. Один раз Егор Федорович пришел к хозяину в контору по делу. Хозяин был занят разговором с каким-то неизвестным на фабрике господином. Он укорял его за то, что от него пахнет табаком. Гость с улыбочкой защищался.

— Ну для чего ты сосешь это дьявольское семя? для чего, скажи? — горячо приставал к неизвестному Курчавый.

— Я курю табак, а не дьявольское семя,— мягко говорил гость.— У нас ничего нет от дьявола, а все от бога. Что растет, то богом создано; дьявол же не создает, а разрушает.

— А на что же он растет?

— Видимо, «на потребу» людям.

— Какая же это потреба — сатане уподобиться: изо рта дым изрыгать? Это мерзкий грех, а не потреба...

Жаров решился вмешаться в разговор и заметил:

— Вы говорите, что табак богом сотворен, а почему же на табачный цвет пчела не садится? На всякий цвет садится, а на табак нет!

— Да, вот скажи-ка! — поддержал ткача и хозяин.

— Должно, ей взять там нечего,— очень просто,— сказал гость и засмеялся.

— Нет, тут совсем другое дело...— молвил, качнув головой, Жаров и многозначительно поглядел на гостя.

Курчавому понравилось такое вмешательство ткача, и, когда гость ушел из конторы, он спросил Жарова:

— Ты что же, парень, стало быть, нашего согласия?

— Нет, я церковный, только в куреве не вижу никакого толку и думаю, что оно грех.

— Знамо, грех... А ты грамоту-то знаешь?

— Малость морокую.

— Може, и Писание читал?

— Приходилось. В деревне у меня книжки есть, а тут вот некогда, да и книг с собой не захватил.

Курчавый немного подумал, потом проговорил:

— Приходи ко мне когда; у меня книги хорошие, старинные,— почитаешь побольше, узнаешь, в чем грех-то.

Жаров взял у хозяина книгу, почитал, и когда возвращал ее, хозяин опять затеял с ним разговор. После этого разговора Курчавый иногда сам стал завертывать к его стану, обходя фабрику, а через несколько времени перевел его в контору, дал какое-то пустяшное дело, назначил хорошее жалованье и стал уговаривать:

— А ты бы, Егорушка, бросил своих никонианцев да перешел к нам. Парень ты мозголовый, а молишься щепотью и молитву не по правилу говоришь. Зачем ты называешь богородицу «благодатная Мария», когда ее следует величать «обрадованная Мария»?

— Мы, Николай Григорьевич, народ темный; чему нас, значит, учили, к тому мы и притвержены.

— И учили вас дураки, и живете вы дураками; а ты послушай-ка тех, кто с умом; може, складнее дело-то выйдет.

Жаров не устоял и «перековырнулся». Хозяин приблизил его ещё более. Через год он умер и завещал наследникам выдать Жарову тысячу рублей. Наследники выдали ему тысячу рублей, но нашли его службу в конторе ненужной и хотели перевести его опять на стан. Егору Федоровичу это не понравилось. Он взял расчет, снял в Черкизове квартиру, переманил с фабрики брата и одного земляка, знавшего красильное дело, и открыл свою фабричку. На помощь братья выписали жен. Через год фабричка имела столько давальцев, что одни еле успевали справляться с рабо-

той. Для дела оказалось неудобным и место и помещение, и через несколько времени на фабричке случился пожар. Красильня сгорела. Жаров получил страховку и нанял более подходящее помещение; обставил его как следует, застраховал в двух обществах, и через три года и это помещение сгорело. На этот раз страховки Жарову вышло более десяти тысяч. Жаров перебрался на Гуменную улицу, купил этот дом и повел дело еще успешнее. А так как дело было очень простое,— при помощи Ивана Федоровича ему не нужно было ни конторы, ни администрации, а потребности у них были очень скромные,— то Егору Федоровичу оставались такие барыши, какие редко кто получал от фабричного предприятия в таком размере.

Старообрядчества Егор Федорович не кидал. Иван Федорович пробовал говорить ему,— зачем он держится такой веры; но Егор Федорович возражал ему тем, что по переходе в эту веру его бог удачей взыскал,— значит, эта вера богу приятней. И он, как и его бывший хозяин, стал пренебрегать «щепотниками», никонианцами и отдавал предпочтение старообрядцам.

III

В клеильне работало трое. Клеильный мастер, дядя Алексей, старый артиллерийский солдат, высокий, светлобородый, немного кривоногий, трезвый, семейный. Он хотя имел в спальне уголок, но ночевать ходил на вольную квартиру, где у него жила жена. Он был богомольный, каждый праздник ходил к обедне, покупал копеечные листки и читал их. Он и другим советовал читать их, но его как-то мало слушали.

Другой клеильщик был Федор Рябой, действительно рябой, высокий, с бельмом на правом глазу. У него тоже была жена, но работала на другой фабрике. Иногда она приходила к нему, а то он отправлялся к ней.

Третий был Гаврила, живший в Москве одиноко. Жена и дети его находились в деревне. Он был маленький, худощавый, но жилистый, с редкой белокурой бородой, всегда в синей заскорузлой рубахе и рядновом фартуке. Кроме клеильщиков, тут помещались курчаки. Курчаки обязаны были выкрашенную и заклеенную бумагу курчить, то есть

бить ее о камень до тех пор, пока она не сделается курчавою, как мелко завитые волосы. Потом бумагу вешали в сушилку, она там просыхала, и ее опять запаковывали в пачки.

Курчаков у Жарова было пятеро. Двое были совсем незаметные, но трое несколько выделялись из них. Один был Сысоев, тоже бывший солдат, коренастый, одутловатый, с бритым лицом и густыми черными усами. Он прежде жил в пожарных, в маленькой типографии вертельщиком, в трактире кубовщиком, но пропивался, и его отовсюду прогоняли. К Жарову он поступил года два тому назад, прижился и чувствовал себя пока хорошо. У него были в деревне братья, но он от них отбился, как пришел со службы. Они не удерживали и его жену; жена пошла в Москву, связалась здесь с одним приказчиком и уехала в Одессу. Сысоев горько жаловался на братьев и все грозился, что он пойдет к ним и потребует свою часть, особенно когда бывал пьяным. Но он уже несколько лет не был дома; завел себе приятельницу, какую-то Бурлиху, женщину без определенных занятий, и, получивши жалованье, ходил к ней, кутил с нею весь праздник, прокучивал все и опять работал до следующей получки.

Другой курчак был Абрам. Этот и родился в Москве, и брал паспорт в мещанской управе. Он был очень вялый, после работы всегда охал и держался за те места рук, которые выше локтей, жалуясь, что они у него болят. И по лицу было заметно, что он не совсем здоров. Оно было бескровное, глаза воспаленные, черная всклокоченная борода торчала как-то беспомощно. Он знал грамоту, любил божественное и имел семью. Его жена и маленькая дочка ютились где-то на Немецкой улице и занимались нищенством. Жена, маленькая, юркая, оборванная бабенка с необыкновенно красными пятнами на щеках, часто приходила к Абраму, приносила ему ситного, черствых пирогов, которые ей подавали в купеческих домах, и все соблазняла его бросить фабрику, идти жить с ней и заниматься ее ремеслом, которое было легко и прибыльно. Но Абрам не соглашался.

— Вот в монастырь я бы пошел,— говорил он иногда,— только жена связывает.

— Чем она связывает? Иди,— она без тебя проживет,— говорили ему товарищи.

— Где ж проживет! Соскучится.

— Соскучится — другого найдет,— велика штука!

— Другой не то: она меня любит,— с уверенностью говорил Абрам и мечтательно задумывался.

— Любит, как собака палку,— смеялись над ним.

Абрам с негодованием оглядывал своих товарищей и начинал горячиться.

— Нет, не так,— она меня вот как любит!.. Вы бы поглядели, как она меня жалеет!..

— Есть кого жалеть! Она лицемерит! Тебя жалеет, а сейчас, поди, с кем-нибудь за сороковкой сидит.

— Ну уж нет! Она — честная баба: с кем-нибудь не пойдет! она не Бурлиха...

— Что ты Бурлиху задеваешь? — вскидывался на Абрама Сысоев.— Что она тебе — таковская далась? Ты смотри, брат, не очень...

Затевался спор, в котором Абрама доводили до белого каления, и все над ним смеялись...

Третий курчак был Ефим. Он отличался от всех необщительностью, сосредоточенностью и трудолюбием. Работал он усердно и всегда молчал, ни над кем не смеялся, ни с кем не ссорился. Он был сектант, но какой секты — никто не знал. Из себя он был коренастый, среднего роста, с большой бородой, строгим, бледным лицом. Он ни с кем не дружил, и его как-то мало любили.

Спали клеильщики и курчаки прямо на полу, расстелив ряднины, и на день сваливали все свои постели в кучу в углу, так как в помещении приходилось паковать бумагу и постели могли помешать. Только над лестницей в уголке были устроены небольшие нары. Это место принадлежало ездоку Егору.

Егор был тульский, жил у Жарова много лет и никогда не ездил в деревню; только один раз к нему приезжала жена, маленькая, худая, сморщенная бабенка, в паневе и лаптях. Егор, крепкий, мускулистый, с бородой лопатой, в кумачной рубашке, в жилетке и при часах, все время пилил ее и говорил: «Ну, зачем ты приехела? Ну, зачем? Ведь я деньги вам шлю,— чего же тебе еще надо?..» Жена прогостила у него три дня, и он опять проводил ее домой. После этого вот уже лет пять прошло, как она у него не бывала...

В будни все были заняты работой. Ночью спали. Так шли

дни за днями. Перед праздником будничное однообразие несколько нарушалось. Все мылись в красильне, заменявшей им баню, надевали чистое белье и шли мирно о чем-нибудь беседовать или слушали чтение. Читал больше Абрам. Он или открывал «Жития», или брал у Ивана Федоровича получаемые им «Полицейские ведомости». «Жития» все слушали благоговейно, без замечаний, без рассуждений. «Полицейские ведомсти», наоборот, вызывали массу толков. До войны любимым местом газеты был отдел о городских происшествиях, о кражах, убийствах и самоубийствах. Потом читался отдел объявлений: «Продается дом», «Пропала собака», «Нужна прислуга»... Когда же открылась война, читались телеграммы, велись обсуждения военных действий; причем дядя Алексей и Сысоев, как бывшие солдаты, говорили всегда авторитетно и внушительно. Но кончилась война, прошли дни свободы, и снова все вошло в прежнюю колею.

Каждый день в спальню заходил дворник Михайла. Он был белобрысый, рябоватый, большой зубоскал и щеголь — всегда в чищеных сапогах, в пиджаке и белом фартуке. Он пользовался большою любовью у женского пола. С ним любилась одна моталка с Тейхеровской фабрики, зубоскалила прислуга из соседних домов, была любезна хозяйская кухарка, молодая солдатка Авдотья, и артельная стряпуха Марфа, мужественная вдова лет сорока. Он всегда откровенно говорил о своих похождениях или рассказывал сказки. На сказки он был большой мастер и знал их многое множество. Он был всегда весел, шутлив, и при виде его многим самим как-то становилось веселей. Его на фабрике почти все любили.

IV

Наступал весенний вечер.

На соседнем дворе был сад. Он только что распускался и благоухал. По заборам из земли пробивалась молодая зеленая травка. По улицам дребезжали легковые извозчики и гулко стучали ломовые, перевозившие москвичей на дачу. В красильне сегодняшняя партия была окончена, и красильщики высыпали на двор в одних опорках, в фартуках, кто с синими, кто с красными руками, которые не отмывались никогда, и если кому хотелось видеть их белыми, нужно было вытравлять их кислотой. Кто сидел на ступеньках

лестницы, ведущей наверх; некоторые бродили по двору; двое боролись между собою. Все наслаждались чистым воздухом и давно небывалой теплотой. Ожидали партию на завтра, которую должен был привезти ездок и которую нужно было разобрать и заложить в котлы для варки. По времени ездоку уж нужно было вернуться. Иван Федорович несколько раз выходил за ворота и глядел, не едет ли он; но его все не было.

Вдруг часов в семь приехал из города Егор Федорович. Он приехал на извозчике, тогда как в другое время всегда ездил на конке. Лицо его было встревожено. Иван Федорович вышел к нему навстречу и с удивлением взглянул на него.

— Иван! — торопливо проговорил Егор Федорович, доставая из кошелька деньги извозчику,— пошли скорее когонибудь из ребят в Красное село за лошадью,— она там на дворе у трактира стоит,— Егор себе ногу сломал.

— Как так? — испуганно спросил Иван Федорович.

— На полке ехал, повстречался с каким-то извозчиком, зацепился, хотел его кнутом стегнуть, а сам не удержался и полетел с воза, попал под заднее колесо,— всю мослыжку раздробило.

— Где же он теперь?

— В больницу повезли.

Иван Федорович стоял бледный и с минуту не знал ни что говорить, ни что делать. Наконец он повернулся, пошел во двор и проговорил:

— Эка оказия! И случится ж, прости господи!

Сейчас же был отправлен человек за лошадью. На фабрике этот случай произвел сильное впечатление.

На другой день ехать в город было некому.

Иван Федорович вошел в красильню и долго глядел то на одного, то на другого из красильщиков, думая, не подойдет ли кто в ездоки; но в ездоки нужен был человек смышленый, и из красильщиков никто для этого не подходил. Из клеильни же нельзя было взять: все были там на месте и все необходимы для дела. Приходилось нанимать на стороне.

Егор Федорович, по обыкновению, отправился в этот день в город, и после обеда в ворота жаровского дома вошел молодой, рослый парень в пиджаке, с загорелым лицом, с умным и осмысленным взглядом, с белой котомкой за плечами. Иван Федорович, увидев его, тотчас же сошел с крыльца и окликнул парня:

— Тебе кого?

— Меня Егор Федорович прислал,— приподнимая картуз, ответил парень,— я в ездоки нанялся.

Иван Федорович окинул парня пытливым взглядом. Очевидно, он ему показался подходящим, так как глаза его сверкнули довольством, и он веселым голосом проговорил:

— В ездоки? Ну и славно: ездок нам нужен. Пойдемка, я тебе покажу, где сумку-то положить.

И он повел его в клеильню. В клеильне шла самая горячая работа, и когда они поднимались по лестнице, никто на них не обратил внимания. Спальня была пуста. Иван Федорович подвел парня к постели Егора и сказал:

— Вот тебе и место, отдельное ото всех: тут ты и спать будешь. Эту-то постель убери под нары, а я тебе свежую тару дам. У нас, брат, никто, кроме ездока, таким раздольем не пользуется. Тебя как звать-то?

— Захаром,— сказал парень, снял с плеч сумку и положил ее на нары.

— Ты жил раньше-то где?

— В Москве — нет еще.

— А в деревне-то хозяйствовал?

— Как же...

— Значит, с лошадьми умеешь обходиться?

— Умею.

— Ну, пойдем, я тебе укажу, где у нас лошади...

Они пошли опять по лестнице, прошли через двор и скрылись в конюшне, стоявшей в заду двора между корпусами. Минут через пять они вышли из конюшни и остановились под навесом, где стояли полки. Потом они прошли в каретный сарай, где была спрятана сбруя и стоял ларь с овсом. Иван Федорович растолковывал Захару его обязанности, а тот слушал.

— А воду поить лошадей в красильне бери,— там колодцы есть... А бадейка-то — видал, где висит? Возьми-ка ее да попой лошадей,— сейчас время уж.

Захар пошел поить лошадей, а Иван Федорович прошел к себе в дом.

V

Напоивши лошадей, Захар прошел опять в спальню, устроил себе постель и начал разбирать котомку. В котомке было

несколько пар белья, хорошие сапоги, брюки, несколько фартуков и связка книжек. Сапоги и брюки он повесил на колышек над постелью, белье спрятал в уголок рядом с подушкой, а книжки пока остались на окне, приходившемся как раз около нар. Потом он сел на нары и стал переобуваться.

По лестнице раздались чавкающие шаги. Захар повернул туда голову и увидал, что наверх шел дядя Алексей, шмыгая опорками по железным ступеням. Он только что кончил клеить и вымыл руки. Войдя в спальню, он взглянул на Захара и проговорил:

— Здорово, милая душа! К нам жить пришел?

— Да, в ездоки нанялся,— проговорил Захар.

— Хорошее дело,— промолвил дядя Алексей и, близко подойдя к парню, опустился на один из стоявших у стены сундуков...— А раньше-то где жил?

— В деревне.

— А ты чей сам-то будешь?

— Ржавский.

— Что ж, тебе в деревне-то жить надоело?

— Захотелось Москву поглядеть...

— А у тебя в Москве родные-то есть?

— Тетка у Гаврилы Петровича, вот у давальца здешнего, в няньках живет.

— Гаврила Петрович тебя рекомендовал?

— Да.

В спальню поднялись Федор Рябой и курчаки. Они с любопытством глядели на нового ездока; кто здоровался с ним, кто так располагался на окнах и сундуках. Дядя Алексей потянулся за лежавшими на окне книжками и стал разглядывать их. К нему подошел Абрам и, опускаясь с ним рядом, проговорил:

— Что это, никак, книжки?

— Нет, пироги! — проговорил дядя Алексей и, прочитав заглавие одной, стал разбирать другую. Переглядев книжки, он спросил:

— Где же это ты таких набрал?

— Тут купил.

— Знать, охоч читать,— спросил Абрам,— коли первонаперво книжек купил?

— Да, люблю,— проговорил Захар.

— Где ж ты учился-то?

— У нас училище там есть.

— Сколько же ты годов учился?

— Три года.

— А свидетельство получил?

— И свидетельство, и похвальный лист.

— Молодец!

— У нас один такой даже в учителя вышел,— промолвил вошедший перед тем в спальню Гаврила.— Кончил одну училищу, его в другую да в семинар. Пробыл он там сколько-то, а теперь двадцать пять целковых в месяц получает и лето ничего не делает.

— Ах, братец мой, мало ли какие головы бывают! — вымолвил дядя Алексей.— У нас в батарее фирверкин был, так он тебя по чему хошь, бывало, загоняет. Бывало, офицер не всякий сговорить с ним мог. Кончил службу, его на вторичную оставляли, только он сам не захотел. В Питер, говорит, уехал да там в околоточные и поступил.

— А у нас дьячковский сын в становые вышел,— сказал Гаврила.— Отец-то, старичок, в покос сам сено убирает, а он на паре с кучером; картуз с кокардой. И жалованье, говорят, хорошее, и доход большой.

— А все-таки он не то что наш хозяин,— проговорил Федор Рябой,— и из простого звания, и нигде не учился, а вон какие капиталы нажил. Намедни дворник говорил, потребовали его в участок. Приходит, а пристав-то ему руку подает да стул подставляет. А ведь мужик!..

— Про нашего-то хозяина что и говорить! — сказал Гаврила.— Таких и в Москве-то, чай, не много.

— И не мало,— опять промолвил Федор.— Их сколько из мужиков-то: Курчавые из мужиков, Носатый — дедушка лапотником был, Коняшины тоже, Числяковы тоже, и Морозов, сам старик-то, ткачом, говорят, был.

— Ври! — строго промолвил дядя Алексей и покосился на Федора.— Морозов-старик пастухом был.

— А как же он капиталы нажил?

— А так, его, видно, бог счастьем захотел взыскать. Пас он раз скотину и заснул в поле. И видит он во сне, что на берегу ихней реки в песке лодка с золотом зарыта. Проснулся он и взмолился: «Господи, открой мне, где эта лодка!» Ему во сне и явилось опять: «Откроется тебе лодка, только ты счастья и здоровья не увидишь вовек». Он опять говорит: «Я не увижу, дети мои увидят». Тогда ему лодка и открылась.

Забрал он все золото и возвел дело, а сам, говорят, после этого тридцать лет чах: жить не жил и умирать не умирал.

— Сам помучился, зато детей сделал счастливыми,— сказал Гаврила.

— Да еще как счастливыми-то! — промолвил дядя Алексей.

— Ну, вот,— опять проговорил Федор,— выходит, какой кому талан. Не родись пригожим, а родись счастливым, а наука тут ни при чем. Коли тебе не дано, то будь у тебя хоть вот какая голова, а все ничего не выйдет.

— У Коняшиных вон, как были живы старики-то,— молвил Гаврила,— и неученые дела вели, а как подросли сынки-то да обучились всему, от дела-то отбились. Один в заграницу уехал, другой на какой-то цыганке женился, третий пулю в голову пустил, и пошло все прахом. Бывало, кто под Девичьим гремит? Коняшины. А теперь и дома-то их незнамо кому попали...

— А Гусаковы-то: тоже сынки растрясли. Какие корпуса, братцы мои, стоят, а без окон, без крыши!.. Пройдешь мимо, жуть берет, а что прежде в этих корпусах делалось?!

В разговор ввязались курчаки, и пошли воспоминания о прежнем, оценка теперешнего. Захар встал, незаметно вышел из спальни и прошел опять под навес еще раз посмотреть, где и что как расположено.

VI

Вечером Иван Федорович позвал Захара в дом и дал ему выписку своих давальцев с их адресами, рассказал, когда к кому являться и к кому обращаться. А чтобы ему легче было все разыскать, он обещал дать ему на первый раз мальчика из красильни, который иногда ездил с прежним ездоком.

На другой день утром Захар стал справляться в город.

Во время закладывания лошади вышла заминка. Захар не мог легко закинуть ломовую дугу, и ему трудно было стягивать хомут. Иван Федорович, глядя на это, сурово сдвинул брови, но ничего не сказал.

— Смотри не перепутай, кому что,— крикнул вслед выезжавшему со двора Захару Иван Федорович.

— Будьте покойны! — уверенным тоном ответил Захар.

Он вернулся поздно, так как на первых порах ему пришлось делать большую объездку: наверстывать вчерашний

день, но он все сделанное роздал и, где что было, снова взял. Он привез пять кип, рассказал, как какую кипу делать, и пока красильщики таскали бумагу, он выпряг лошадь, убрал ее, напоил, задал корму другим двум лошадям и пошел в артельскую кухню обедать. Кухня помещалась в подвале под хозяйским домом. В кухне в это время пили вечерний чай дядя Алексей, красильный мастер, Василий Федоров, угрюмый, пожилой мужик, раскрашенный, как попугай, во всевозможные краски, дворник Михайла, Гаврила и Федор Рябой. Захар сказал им: «Чай да сахар»,— и попросил кухарку собрать ему с мальчиком обедать.

Кухарка подала им большой ломоть хлеба, чашку щей и один паек говядины на большом деревянном кружке. Паек полагался Захару, мальчику говядины не было. Захар и мальчик с жадностью набросились на еду и ели долго, молча. Пока они обедали, все отпили чай и ушли из кухни, остался только дядя Алексей. Захар тоже подвинулся к самовару, налил себе чашку. Дядя Алексей подсел к нему и спросил:

— Ну, что, милая душа, съездил в город?

— Съездил.

— Разыскал давальцев?

— Разыскал.

— На чаек нигде не попало?

Захар вопросительно взглянул на него.

— Что глядишь? Ездокам ведь дают: сложит товар, а ему где пятачок, где гривенник. Егор так много нажил.

— Мне нигде не дали,— сказал Захар.

— Стало быть, не просил, а ты проси; как отделаешься, так и проси: пожалуйте, мол, на чаек.

Захар на это ничего не сказал.

— А еще больше, душа милая,— продолжал дядя Алексей,— он наживал вот как... хозяин-то не по всем давальцам ездит, с маленьких-то велит ездоку получать. Вот получит тот сто или полтораста рублей и сейчас на эти деньги купит сериев или еще каких бумаг, отхватит у них за год купоны и говорит: «Мне их за настоящую цену уплатили». Хозяину-то бы только получить,— он не погонится за тройчаткой или пятеркой; а у ездока-то от этого в кармане и припухнет.

— Всякие дела делаются! — вздохнув, проговорил Захар.

— А то как же! хорошо жить захочешь — все увертки выучишь...

— А это нешто хорошо? — спросил Захар.

— Не хорошо, да выгодно,— невозмутимо проговорил дядя Алексей,— грех, да сладко. На белом свете, милая душа, один бог без грехов, а нам, грешным, правдой-то не прожить.

— Особливо если не будешь стараться,— слегка покраснев, проговорил Захар.

— И стараться будешь, на правде ничего не добудешь. От трудов праведных не наживешь палат каменных... А как маленько прилукавишь, оно и того... Вон Михайла-дворник семь рублей получает, а ходит щеголем да еще «Дюшес» курит, то и дело в пивную летает. Что же это он — с одного жалованья?.. Так-то, милая душа! А ты, что мимо рук плывет,— не упускай. Лови галку и ворону, а руку набьешь — и сокола убьешь. Обидеть ты этим никого не обидишь, а у тебя все будут денежки водиться.

Дядя Алексей встал со скамейки, истово помолился на иконы, надел картуз, вздохнул, запрятал руки за грудь фартука и медленно пошел из кухни. Захар остался один.

VII

Захару приходилось ездить в город каждый день. Он вставал в пять часов, выкидывал навоз из конюшни, поил лошадей, засыпал им овса и шел пить чай. Потом он подмазывал полок, накладывал готовую бумагу, увязывал ее, закрывал брезентом и выводил запрягать лошадей.

В городе он только два раза сделал ошибку: один раз позабыл, в какой цвет красить заказ, а в другой — не заехал к одному давальцу. В остальном же у него все шло хорошо. Он быстро понимал, что ему хотели сказать, толком разъяснял всякое дело из города. Кроме этого, у Захара оказались другие достоинства. Иван Федорович любил иногда вечерком, во время ужина рабочих или в чай, заходить в кухню и сообщать им то, что он сам узнавал из отрывного календаря, который он очень любил читать, или из Капиного учебника. Он останавливался в дверях и говорил, например:

— А что такое за слово «елемент»?

Рабочие разевали рты и оглядывались на него. Если Иван Федорович знал слово сам, то он объяснял, а если

нет, то добродушно сознавался, что и он не знает. Иногда он загадывал загадку, иногда говорил арифметическую задачу; фабричным никому это не было по силам, и они обыкновенно молчали, смеялись и говорили: «где нам?», «не нашему уму»; но с появлением Захара дело изменилось. Один раз Иван Федорович вошел в кухню и спросил:

— А ну, скажите, где небо без солнца?

— Во рту,— послышался быстрый ответ.

— Кто это сказал?

Оказалось, Захар.

— А кто отгадает вот какую задачу: «Мужик шел в город по три версты в час; до города было тридцать шесть верст; он шел двенадцать часов. Оттуда он ехал на лошади и проезжал по восемь верст в час. Во сколько часов он доехал?»

— В четыре с половиной,— не задумываясь, ответил Захар.

— Молодец! — проговорил Иван Федорович.— А не знаешь ли ты, что за слово «кооперация»?

— Знаю.

— А «инду-видуум»? — затрудняясь в выговоре, опять спросил Иван Федорович.

— Индивидуум — человек, отдельный человек.

Иван Федорович даже слегка покраснел и опять похвалил Захара и вышел из кухни. Один из красильщиков, Матвей, неуклюжий, белобрысый, весноватый молодой мужик, взглянул на Захара и проговорил:

— А ты, должно быть, собаку съел: что ты знаешь-то!

— Что знает, а где живет! — проговорил еще один красильщик.— Жить бы тебе в боярском саду.

Послышался взрыв хохота, от которого Захара, видимо, покоробило. Но он ничего не сказал, а только сморщил брови и уставил глаза вниз на одну точку.

VIII

Поужинавши, курчаки и красильщики пошли по спальням. Дядя Алексей отправился на свою квартиру, а Захар опять пошел к лошадям. Поглядев лошадей и задавши им на ночь корму, он почувствовал, что ему не хочется идти на люди и захотелось побыть одному. Не долго думая, он полез на сеновал и лег напротив слухового окна.

Через минуту Захар услыхал, как кто-то вошел под навес и вступил на лестницу. Он изумленно поднял голову

и увидал, что к нему лезет Ефим. Увидав его около себя, Захар удивился.

— Ты здесь, друг? — мягким, певучим голосом сказал Ефим.— И я к тебе. Ты что тут делаешь?

— Ничего,— сказал Захар,— так вот, полежать хочу.

— Тут хорошо лежать, особенно по вечерам. Я и прежде сюда ходил.

Он растянулся с Захаром и добавил:

— Ну что, брат, как дела?

— Да ничего...— промолвил Захар, не зная, что больше сказать.

— Привыкаешь помаленьку?

— Привыкаю.

— Привыкнешь... Как ты хорошо давеча Ивану Федоровичу ответил,— высказал свое удовольствие Ефим.

— Что ж тут мудреного? — сказал Захар.

— Все-таки... я, брат, таких люблю. У нас мало таких. Боятся их, как бы забастовку не устроили. Подобрались Тюха да Матюха да колукай с братом, а ты, я вижу, настоящий...

— Что ж у вас, настоящих никогда и не было?

— Не было, не держали. Как чуть заметят, так и выживут.

— Ну? — недоверчиво сказал Захар.

— Ей-богу!.. Да вот сам увидишь... Идолы у нас тут, а не люди. Брюханы... Все в одну утробу живут, ничего дельного не понимают и понимать не хотят... Зачем ты к нам приделился?..

— Куда ж мне было деваться? Я и такого места две недели ждал.

— Еще бы подождал... А из-за чего ты в Москву-то попал?

— Да так,— уклончиво ответил Захар.

— Аль нужда прогнала?

— Нет, мы нужды не видали...

— А из-за чего ж?

Захар, увидавши, что Ефим настойчиво хочет знать про него, и, очевидно, не найдя причины, чтобы ему скрытничать, ответил:

— Надоело. Больно уж глухо у нас. И серо и скучно. Народ у нас неотесанней здешнего.

— В деревне народ одинаковый,— согласился Ефим.

— Выйдешь на артель,— продолжал Захар, видимо ярко вспомнивший все свое прошлое и желая вылить все накипевшее своему собеседнику,— начнутся разговоры,— стоишь, слушаешь... Господи боже! Уши вянут: до того все глупо, пустяшно! Ну еще старик какой что-нибудь про старину расскажет... А молодые!.. У нас есть там один: семьдесят раз встретится и семьдесят раз спросит: «Что новенького? Не родила ль какая голенького?» Больше и сказать не знает что...

— Ну, да ведь не всем же таким, как ты, быть,— вздохнув, проговорил Ефим.

— Отчего же? Нешто я какой отменный? Все такой же, как и все: человек и человек.

— Все-таки вот рассуждаешь... А ребята у вас каковы?

— Ребята славные,— криво усмехаясь, проговорил Захар,— учились вместе, дружили, пока росли, водились, книжки читали, а чем дальше, тем больше врозь да врозь, теперь их не соберешь никого.

— Куда же они делись?

— По другой дорожке пошли. Есть там у нас один солдат; у него сын — жених. Отец приучил его летом торговать в городе ягодами, грибами, яблоками. Вот он торгует, напасет на зиму денег себе, приедет в деревню и давай хороводиться. Под мышку гармошку, подзовет ребят, да с ними в другую деревню. Там одна баба шинок держит, так они к ней; напьются, пойдут, «Марсельезу» поют, народ полошат, к встречным придираются.

— Д-да, делаются дела!.. А бунтов у вас не было?

— Нет. Господ у нас мало, земли много, засеваем довольно, скот есть.

— И в вашем доме хорошо?

— И у нас порядком; только отец у меня безалаберный. Жил, жил, как следует — то, се,— под старость форсить вздумал: сбрую не сбрую, тележку не тележку... все деньги незнамо на что идут.

— Чего ж он рыскует?

— Сын — жених... У меня, говорит, вон какой сокол,— нужно за него невесту хорошую искать; перед хорошими людьми нужно и себя в грязь лицом не ударить... А хорошие люди-то это какие? Один жил в Москве, обобрал пьяного хозяйского сынка, приехал домой с деньгами,— вот и хоро-

ший человек. Другой урядником служил; в его участке лесную контору ограбили; он погнался за грабителем, пристрелил его, а деньги-то себе взял; след замел,— тоже богачом сделался. У обоих у них по дочери,— вот отец с ними и начал хороводиться.

— Что же, не подошло дело?

— Я отказался. Мне, говорю, эти невесты не нравятся, и я жениться на них не буду,— как хотите.

— Из-за этого ты и ушел?

— Из-за этого и ушел. Поживу вот,— домашнее маленько отстанет, а здешнее, може, пристанет; здесь, думаю, все полегче.

Захар замолчал и задумался. Ефим тоже молчал.

Смеркалось. На дворе было пусто и тихо. Из сторожки вышел дворник и, надевши на шею свисток и на фуражку бляху, отправился за ворота.

— Михайла, ты куда? — спросила его, глядя в окно сверху, Соломонида Яковлевна.

— Дежурить.

— Ты бы шубу надел,— ночью-то, чай, свежо.

— Ничего, стерпим,— проговорил Михайла и скрылся за калиткой.

— Как же, дежурить! — сквозь зубы проговорил Ефим,— обирай сайки с квасом. Небось в ночевку куда-нибудь.

И, поднявшись, он добавил:

— Нет, брат, пожалуй, и в Москве тебе не задастся. Если вот, как Михайла, поведешь себя, ну, еще туда-сюда, а то ни себе, ни людям...

Сказавши это, он спустился с сеновала и пошел в свою спальню. Захар немного погодя направился вслед за ним.

IX

Наступил канун праздника. Красильщики раньше обычного пошабашили, и кто мылся, кто чистил себе ваксой сапоги, кто пришивал пуговицу к пиджаку, кто чинил рубашку. В клеильне тоже покончили работу, и все собрались наверх. Одни сидели, другие лежали, перебрасываясь меж собой кое-какими словами. В этот вечер должна была быть получка. У всех были приготовлены книжки; только ожидали хозяина, который должен был выдать деньги. Он еще не приезжал из города.

— И ты сегодня пойдешь получать, милая душа? — спросил дядя Алексей, обращаясь к сидевшему на своих нарах Захару.

— Мне еще книжки не выдавали.

— Выдадут и книжку и деньги; наш хозяин вперед дает.

— Мне денег не нужно пока.

— Как не нужно, милая душа? а попойку-то ставить? Ты к нам в артель поступил, а у нас, брат, такое положение: кто в артель поступает, должен четвертную поставить как-никак.

Захар этого не знал и удивился. Дядя Алексей доказал ему, что это правило ненарушимое, и всякий должен ему подчиняться. Захар убедился.

— Вот ужотка, как все получат, ты, значит, и веди их. Я-то, братец мой, не пойду,— я в трактиры не хожу: водки не пью, а чаем-то у меня и дома хоть залейся. А другие пойдут.

В клеильню кто-то вбежал и крикнул:

— За получкой! хозяин приехал.

Курчаки и клеильщики быстро повскакали с мест и, взявши книжки, торопливо пошли из спальни. Захар не знал, сейчас ли ему идти или после. Подумавши, он решил, что пойдет после, перешел к окну, выходящему на улицу, и стал глядеть сквозь него на Тейхеровскую фабрику, кто проходил тротуаром, кто ехал по улице. Так он провел все время, пока клеильщики получали получку.

Получивши получку, фабричные приходили уже не такими, как шли туда. Все были довольны, весело побрякивали деньгами, говорили, волновались, один натягивал пиджак, другой поддевку, третий сапоги. «В трактир! в трактир!» — галдели некоторые. Захар никогда еще не видал среди них такого оживления.

Позвали и Захара в дом. Иван Федорович подал ему новенькую книжку, и Егор Федорович спросил:

— Сколько тебе?

— Рубля три...— робко сказал Захар.

Егор Федорович взял от него книжку, написал в ней: «Дано три рубля»,— и подал ему деньги и книжку. Лишь только Захар вошел в спальню, как его встретил там Матвей. Он был артельным старостой. Обратившись к Захару, он проговорил:

— Ну, милый гусь, справляйся попойку ставить,— мы ждем.

Захару неприятно было и самое лицо Матвея, и тон его речи. Он нахмурился и сквозь зубы вымолвил:

— Вы возьмите с меня деньги, там и делайте что хотите, а меня ослобоните.

— Это, брат, нельзя,— сказал Федор Рябой,— закон порядок требует; сам с нами пойди!

— Ты что же это, чуждаться вздумал нас? Это, брат, нехорошо: один семерым не указ. Они в трактир — и ты в трактир; у нас хозяин этому пе препятствует,— сказал Гаврила.

— А ты постником-то не будь,— сказал Захару, ударяя его по плечу, дворник,— со всеми водись; мы тебя, брат, куда следует произведем. Жениться захочешь — женим...

Курчаки, которые хотели идти в трактир, все уже подправились. Гаврила проговорил:

— Ну, идем же, что ль?

— Идем, идем!

Красильщики уже стояли кучей на дворе, ожидая Матвея. Всех собравшихся в трактир было человек тридцать.

— Смотрите вы, чтобы завтра утром «варку» закладать, а то я вас! — крикнул на выходившую со двора толпу Иван Федорович.

— Заложим, Иван Федорович, нешто не знаем!

Из Тейхеровской фабрики тоже выходил народ. Там жили мужчины и женщины. Жаровские были серые, неуклюжие, некоторые в деревенских кафтанах, больших сапогах. Там все были чище, подбористей, одеты в пиджаки, только лица у всех были бледные, испитые. Михайла, увидав их, заломил картуз на макушку, заправил руки в карманы, остановился и крикнул:

— Луша! милая моя, что ж не здравствуешься! Ведь неделю не видались.

— Здравствуй! — крикнула с противоположного тротуара рыжая и весноватая девушка, в старом, светлом платье и кофточке внакидку.

— Как я, здоров? — опять крикнул Михайла.

— Подойди поближе,— я погляжу...

— Мигом! — крикнул Михайла и вприпрыжку побежал на тот тротуар.

X

Трактир, куда пришли фабричные, был обширный, низкий. Они прошли в самый грязный, но просторный зал и стали усаживаться за столы. Садились группами по четыре, по пять и по шесть человек. Все сначала требовали чаю, и когда чай подавали, заказывали: кто водку, кто пиво; непьющие требовали меду и клюквенного квасу. Всякий хотел как-нибудь спрыснуть получку. Захар уселся с Михайлой и Матвеем; к ним присоединились Федор Рябой и Гаврила. Они заказали пять пар чаю. Увидав, как другие заказывали разную выпивку, Матвей крикнул:

— Погодите вы, дайте попойку сперва выпить.

— Есть что,— отвечали ему.— Четвертной-то всем только губы мазать; мы уж на свои.

Матвей все-таки заказал четвертную. Захар спросил газету и только что хотел развернуть ее, как Михайла вырвал у него газету из рук и отложил в сторону.

— Вот чертовину выдумал! — с неудовольствием проговорил он,— читать тут! Зачитаешься — с ума сойдешь!

Захару было это очень неприятно, но он смолчал и, вздохнувши, стал наблюдать за тем, что происходит кругом.

Четвертная была подана и выпита. Все принимались за свое. Лица оживились еще больше, голоса возвышались, сыпались смех, шутки, делалось жарко. В зале зажгли лампы «молния». То и дело раздавался энергичный стук чайников; половые метались от стола к столу, чуть не высунув язык.

— Машину, машину заводи! — требовали фабричные.

— Нельзя: завтра праздник.

— Под праздник-то и повеселиться!

Компаньоны Захара тоже после четвертной выпили бутылку. Гаврила вынул деньги, отсчитал рубль с мелочью и сказал:

— Вот это можно прожить, а то домой послать. Пишут, чтобы присылал.

— И мне пишут,— проговорил, оскалив зубы, почесывая в затылке, Федор,— да нешто мы не знаем, как тут-то их прожить? И тут, брат, их за настоящую цену возьмут.

— Оно верно; только твое особое дело: у тебя жена здесь, детей нет, а у меня, брат, все дома...

— Там они за глазами...

Михайла поминутно выскакивал из-за стола и бегал в другую залу. Там сидели тейхеровские. Один раз он вернулся, ведя за собой ту Лушку, с которой зубоскалил при выходе с фабрики. Он усадил ее рядом и потребовал отдельно полбутылки. Гаврила с Матвеем переглянулись между собой и лукаво улыбнулись. Федор сказал:

— Вот и у нас бабой запахло...

— А то что ж, зевать, что ль? Ну, вы-то старичье, вам простительно, а вот этот-то,— кивнул Михайла на Захара,— совсем монахом сидит.

— Какое ж мы, в рожь те зарыть, старичье? — обиделся Федор.— Что ж мы, из годов, что ли, выжили? Мы тоже, брат, коли захотим, себя не выдадим. Знаешь пословицу «Старый конь борозды не портит»?

— Верно,— сказал Гаврила.— Что ты очень бахвалишься, куренок!..

Михайла, глядя на них, захохотал.

— Тоже топорщатся! Луша, нет ли у тебя подруг каких, поди позови: все равно гулять, а они попотчуют.

— Не беспокойся, сами найдем; мы тоже в редьке скус понимаем,— проговорил совсем захмелевший Гаврила.

Матвей только посмеивался. Наконец он потянулся к Гавриле и что-то шепнул ему. Тот радостно заржал. Оба они встали из-за стола, положили деньги за чай и, надвинув картузы, вышли из трактира. Захар тоже поднялся и стал рассчитываться.

— Что же это я один остаюсь? — опять выругался Федор.— Нешто можно одному! Луша, милая, не подыщешь ли мне товарку?

— Найдем! — уверенно сказал Михайла.— Лушка! Поди зови Федосью, ступай!..

— Сейчас,— сказала Лушка и, поднявшись из-за стола, вышла в другую залу.

Столы больше и больше пестрели: между поддевками и пиджаками появлялись и разноцветные платья. Жара в трактире увеличивалась. За столами уж не выговаривали, а выкрикивали слова. У всех были раскрасневшиеся лица, помутившиеся глаза. То здесь, то там затягивалась песня. Юркий, сутуловатый, белобрысый буфетчик выскакивал из-за стойки и просил не петь. Он говорил ласково, вежливо и доказывал, что это не его воля, а начальство велит.

XI

Когда Захар пришел домой, на дворе было темно и тихо. У хозяев вверху и внизу горели лампадки. В спальне красильщиков тоже виднелся огонь. Захар зашел туда поглядеть, что делается. Вся спальня почти была пуста, только в самом заду сидело несколько человек. На нарах был поставлен большой сундук, на сундуке стояла лампа. Вокруг него сидело пятеро красильщиков и дулись в карты в три листа. Они так были увлечены игрой, что не обратили никакого внимания на вошедшего Захара. Захар постоял, постоял, повернулся и пошел назад. Взглянув на лошадей в конюшне, он пошел в свою спальню. Там тоже было тихо и темно. Захар чиркнул спичку и заметил в углу фигуру спавшего человека, но когда он зажег свечку, то человек, оказалось, не спал. Он зашевелился и бодрым голосом проговорил:

— Что, не разрешил московского-то?

Захар по голосу узнал, что это был Ефим.

— Нет,— сказал Захар.

— Небось те-то назюзюкались?

— Кто как...

Ефим немного помолчал, потом проговорил:

— Вот всегда так: за копейкой гонятся, шут знает как — работают, ломают, обрывают себя во всем, а когда попадет эта копейка в руки, сейчас ее ребром.

— Погулять хочется,— чтобы сказать что-нибудь, молвил Захар.

— Да какой от этого гулянья толк! Налопаются, ходят как мухи отравленные, начнут козла драть, с похмелья мучаются... за свои же деньги да так себя терзать?.. Дурачье безголовое!..

— А ты сам-то нешто не пьешь? — спросил Ефима Захар.

— Бог миловал.

— Куда ж ты деньги-то деваешь?

— Домой посылаю.

— У тебя кто же дома?

— Жена, старуха мать, детей четверо.

— Что же, они хорошо живут?

— Хозяйствуют помаленьку, три души земли пашут.

— А с тебя деньги-то очень спрашивают?

— Еще как! Наши земли тощие,— в них больше вобьешь,

чем с них получишь... Держат они теперь трех коров да двух лошадей, а зачем держат? чтобы больше навоза было, а их зиму-зимскую нужно прокормить. Меняются они работой: скотина на них, а они на скотину...

Захару вспомнились подобные условия ихней деревенской жизни, и это ему показалось очень верным.

— Отчего же ты не велишь им сократить, коли ты так понимаешь?

— Отчего? А что ж им тогда будет делать! У меня два парнишки растут, одному семнадцать, другому четырнадцать лет; теперь они скотину убирают, а тогда что им делать?

— Сюда бы их взял да приделил бы куда.

— В эту пропасть-то?! Господи упаси! У меня баба говорит это, да я ее не слушаю. Пока жив, здоров, не пущу их сюда,— нечего в соблазн их вводить.

— В какой же соблазн? Може, они по трактирам-то ходить не будут, зададутся в тебя, будут трезвые.

— В трактир не пойдут, по другим местам будут шляться: в киятры да в цирки. В Москве блудных мест много...

— Театр не блудное место, там, говорят, иной раз плачут, как представляют.

— Все одно — притон: музыка да актерки. За последнее время вот их сколько развелось. Про Москву говорят, что она второй Вавилон,— Вавилон и есть.

— Зачем же ты живешь в этом Вавилоне? Ругаешь его, а сам живешь.

— Я живу тут только телом, а душа моя не принадлежит ему. Я душой, брат, далеко от Москвы. Во мне душа божья, она около бога и живет.

Стали возвращаться из трактира клеильщики и курчаки. Все были подвыпившие, некоторые совсем пьяные. Пьянее всех оказался Федор Рябой. Он шел шатаясь и говорил:

— Да, братец ты мой, дела! Фу-ты, черт возьми! Хо-хо-хо!

Пошатываясь, он стал снимать с себя сапоги и копался с этим чуть не полчаса.

Другие курчаки шумно разговаривали и ругались. Одного замутило. Захар, расположившийся было на нарах, встал и вышел из спальни. Он прошел в конюшню, забрался на сенник и решился там провести ночь. Там ему никто не мешал, но все-таки ему долго не спалось; сегод-

няшние впечатления были для него, должно быть, сильны, и он не сразу переварил их.

XII

После этого Захар из всех фабричных дружественнее стал относиться к одному Ефиму, от остальных же сторонился. Где бы то ни был с ними, он больше молчал, отвечал только на вопросы, сам же никогда почти их не задавал. Дядя Алексей, прежде ласково было к нему относившийся, стал теперь охладевать. Один раз, работая, он проговорил:

— Ездок-то у нас — парень с душком.

— Форц имеет,— сказал Федор.— Книжки читает да рихметику-грамматику знает,— думает: кто я есть!

— Ученые-то, брат, все такие,— вмешался в разговор Гаврила,— они только и видят что себя, а об других-то и не понимают.

— Вон наш Ефим не много читает, и то уж о себе только думает; ишь с нами и не говорит,— вымолвил, косясь на Ефима, Сысоев.

— Ну, тоже указал на кого,— пренебрежительно сказал Федор,— нешто он человек?

— Ты делай знай свое дело-то; тебя не трогают! — с неудовольствием заметил Ефим.

— Я и делаю,— продолжал, плескаясь в корыте, Федор.— Вином брезгует, убоины не ест. Что зря мудрить — все человеку на радость сотворено.

— А коли на радость, ты и радуйся, а другие в другом радость находят,— сказал Ефим.

— В чем другом-то? Заберут себе в головы да других смущают, больше ничего. Отчего же это вся смута-то в простом народе пошла? Уставы нарушили... не я градоначальник,— я всех бы таких связал да в Яузу...

— Вот то-то бодливой корове бог рог не дал,— смеясь, опять сказал Ефим.

В клеильню вошел Иван Федорович и проговорил:

— Старый ездок открытое письмо прислал. Пишет, что очень скучно ему; нога в лубках, а еще четыре недели держать будут: просит, кто-нибудь пришел бы навестить его.

— Кому ж идтить? — вздохнув, проговорил дядя Алексей. Все промолчали.

— А что скучно, то это верно,— опять сказал дядя Алексей.— Человек здоровый, все небось как следует, а нога не пускает. Кому хошь доведись...

Иван Федорович вышел из клеильни. Вошел Михайла; он сел на ступеньки лестницы, вынул коробку папирос и, закуривая, проговорил:

— А какую я сегодня историю видел!

— Какую? — с загоревшимися от любопытства глазами спросил Федор.

— Да стою я это, значит, на дежурстве, а из Сокольников идет, значит, парочка. Он подвыпивши, справный такой, вроде как из приказчиков; она в мантилье и в шляпке. И вот он ее ругает, вот ругает, а она плачет, коровой ревет. Вот и встречает их молодой человек один. Увидал, что он ее обижает-то, да как крикнет: «Как вы смеете!» А тот: «А тебе какое дело?» — «Она, говорит, женщина».— «А я, говорит, мужчина»,— размахнулся да как раз его по скуле! Тот его за ворот. А мымра-то подскочила это к нему — да его за руку, а обидчик-то ему еще... Что смеху-то было!

— Ха-ха-ха! — смеялись клеильщики,— ловко! свои собаки грызутся — чужая не приставай!

XIII

Пришел еще праздник. Канун этого праздника и самый праздник прошел, как и первый. Все удовольствие для Захара состояло в том, что он походил по Сокольникам. На другой день этого праздника, вечером, когда все управились, поужинали и собрались в спальни, дядя Алексей хотел уходить, другие стали готовиться на спанье, Федор Рябой тоже начал справляться со двора.

— Ты куда? — спросили его.

— Да бабу навестить,— захворала она у меня.

— Что такое?

— В Косино вчера ходила; ну, оттуда-то жарко сделалось, она и спросила у одной бабы попить. Та ей водицы подала. И только, говорит, выпила, сразу почувствовала нехорошо.

— Стало быть, не благословясь выпила,— сказал Абрам.

— Может быть, не благословясь.

— А баба-то нехорошая: подпустила она ей,— ну, и взяло.

— Неужели это, братцы мои, порча? — спросил озадаченный Федор и сел на окно. На лице его выразился испуг.

— Видимое дело,— проговорил Сысоев,— подсудобила злодейка.

Захар, улегшийся было на своих нарах, поднялся и стал внимательно слушать, что говорят.

— На худого человека, милая душа, наскочить недолго,— проговорил дядя Алексей,— хорошего не скоро отыщешь, а на лиходея, того и гляди, нарвешься.

— Да вот я был нонче на святой в деревне,— стал рассказывать Гаврила,— у одного мужика даже лошадь испортили. Мужик богатый, лошадь хорошая, доморощенная, поглядеть — картина. Ехал он из города, а на дороге в одной деревне баба воду достает. «Дай, говорит, матушка, моей лошади попить».— «Изволь»,— говорит. Напоила она лошадь. Приехал домой; пришел к ней на другой день, а она не подпускает, бьет ногами, зубы оскаливает, а сама, говорит, так и дрожит. Ведь вот какая паскудница!

— Диви бы попользовалась чем,— молвил Сысоев,— а то ни себе, ни людям.

— Так как же теперь быть-то? — испуганным голосом спросил Федор.

— А так: завертывай целковый да к той бабе ступай,— посоветовал дядя Алексей,— если она сделала, она и снимет.

— К доктору иди, а не к бабе! — сказал, невольно вмешиваясь в разговор и бросая недружелюбный взгляд на дядю Алексея, Захар,— как тут может помочь баба?

— А то доктор поможет! — покрасневши от раздражения, сказал Сысоев.— Много твои доктора в этих делах понимают!..

— У меня шурин в третьем году... Кил ему, братец ты мой, на руки насажали,— промолвил дядя Алексей притворно равнодушным голосом и даже не удостоив взглядом Захара.— Ну, пухнет и пухнет рука, желваки по ней пошли. Он к доктору-то и пошел. Ну, тот резать ему руку-то. Резали, резали — ничего не помогает: болит и болит. Тогда его научили: «Съезди туда-то: есть человек такой, наговорит тебе на соль — все пройдет». Поехал, и что же, братец мой,— прошло!

— Это враки! — воскликнул Захар.

— Ну, вот и возьмите дурака! — злобно выругался дядя Алексей.— Ему говорят дело, а он — собака бела. Коли тебе говорят, так, стало быть, не враки!..

— А я говорю — враки! — уже не сдерживаясь, воскликнул Захар.— Как это можно килу присадить!

— А так! — уставясь гневно горящими глазами на парня, сказал дядя Алексей.— Вот скажет слово, и где задумает, там, значит, у тебя и вскочит: на глазу — на глазу,— под носом — под носом, а ты ходи да почесывайся...

— Ну, это скажи кому-нибудь другому,— проговорил Захар.— Как же это от слова что сделается? У кого такая власть есть? Чем это объяснить?

— Мы тебе это объяснить не можем, а что есть, то есть. Мало ли людей чахнут!

— Зачахнуть можно по разным причинам, только сдуру это сваливают на колдовство.

— Нет, не сдуру. Тебе еще скажут, как тебя повредить-то хотят: «попомни», скажут,— ты и вспомнишь.

— У меня приятель один был,— сказал Сысоев,— встретилась с ним цыганка, поглядела на него: скоро, говорит, скоро в твоей жизни перемена выйдет. Если, говорит, в то воскресенье тебе будет кто что-нибудь давать — не бери, а возьмешь, говорит, покаешься. Правда, прошло две недели, придрались к нему хозяева — разочли. Вспомнил он цыганку и вспомнил, что в это воскресенье кухарка пирогом его угостила, а с кухаркой-то он жил не в ладу. А место-то какое было!

— Нечистый-то силен!..

— Так это все нечистый делает? — спросил Захар.

— Ну, а то кто ж?

— Так это что же, по-твоему, нечистого нет? — спросил дядя Алексей.

— Я его не видал.

— А ты почитай «Жития»,— сказал наставительно Абрам,— вот и узнаешь. Как же к преподобному Исаакию Печерскому бес в образе самого господа являлся да плясать заставлял?.. А Иоанн Новгородский на черте в старый Ерусалим к заутрене ездил.

— Это кто как понимает...

— Всем по-одному понимать должно.

— А я, може, это понимаю по-своему.

— Так ты, стало быть, этого признать не хошь? — испуганно проговорил Абрам и даже поднялся с места. Дядя Алексей уставился на Захара и ледяным тоном проговорил:

— А я думал, милая душа, ты из порядочных, а ты вон из каких! Забастовщик ты, видимое дело. И наберет же в голову, тьфу!.. пойдем, Федор.

— Верно, забастовщик,— с явным презрением сказал и Сысоев и, севши на свою постель, стал скидывать сапоги.

— Еще царь Давид писал,— вздохнув, проговорил Абрам,— «Рече безумец в сердце своем: несть бог», а нынче этих безумцев-то расплодилось...

— Мы, кажется, о боге не говорили,— промолвил Захар.

— Не говорили, да видно, что кто думает.

— Коли думаешь не по-ихнему, значит, бога не признаешь,— подал свой голос из угла Ефим,— а ихний-то бог — кто? Утроба!..

— Ты еще заступись! — зыкнул на Ефима Абрам.— Ты тоже такой колоброд!

Ефим смолчал; промолчал и Захар. В спальне мало-помалу успокоились.

XIV

На другой день утром, когда Захар уехал в город и курчаки паковали наверху бумагу, а клеильщики полоскались в своих корытах, в клеильню вошел Иван Федорович. Он был в добродушном настроении и, держа в руках листок отрывного календаря, проговорил:

— Календарь сегодня вот что врет: по Брюсу — жарко, так велит есть ботвинью из малосольной рыбы, карасей да свежие ягоды. Как думаете, не плохо?

— Это не про нас писано,— сказал Федор.

— Мы в этом столько же скусу понимаем, сколько немец в редьке...

— А не пишут там, как забастовщиков отличать? — спросил дядя Алексей.

— Нет, а что?

— У нас такие завелись.

У Ивана Федоровича сделалось испуганное лицо, и он дрогнувшим голосом спросил:

— Кто же это?

— Новый ездок. Вы послушали бы, что он вчера говорил! Вот они — свидетели,— кивнул дядя Алексей на других клеильщиков,— солгать не дадут.

— Что же это он за выродок?

— Выучился хорошо. Все от ученья это.

— Это надо Егор Федрычу сказать,— проговорил Иван Федорович и, вставши с окна, медленно пошел из клеильни.

Вечером, когда Захар вернулся из города, Иван Федорович пристально и внимательно глядел на него, насупив брови. Захар, заметив его взгляд, почувствовал себя неловко. И пока Захар выпрягал лошадь, раскрывал воз, потом убирал полок, Иван Федорович все не спускал с него взгляда, хотя ничего не говорил. Когда же ездок убрался совсем, Иван Федорович вздохнул и с глубоким сожалением проговорил: «Эх, люди, люди!» — и медленно направился в дом.

XV

После утреннего чая Захар только вышел из кухни, как натолкнулся на Егора Федоровича. Лукавая усмешечка на лице хозяина исчезла, и он казался необычайно суровым. Захар снял картуз и сказал обычное «здравствуйте». Егор Федорович еле приподнял свой картуз и гневным голосом сказал:

— Долго прохлаждаешься, барин! пора и воз накладать: сегодня всех надо объехать.

— Успею, объеду.

— Ан, пожалуй, и не успеешь. Надо бы пораньше позаботиться: сперва воз наложить, а потом уж чай пить. А вы вперед насчет своего мамона заботитесь-то, а потом уж о хозяйском-то деле!

Захар растерялся. Он ничем не заслужил подобной проборки. Войдя под навес, он быстро выкатил полок, развернул брезент и крикнул в клеильню:

— Бумагу носить!

Курчаки стали носить и укладывать на воз бумагу. Захар вывел из конюшни лошадь, надел на нее хомут и стал запрягать. Хозяин заглянул в конюшню и, увидевши там валяющийся клок сена под ногами, опять заругался:

Что же это у тебя сено-то по навозу раструшено?

Видно, тебе не жалко хозяйского добра! В навоз стелют солому, а не сено; сено-то небось в три раза дороже...

В этот день Захар объехал всех давальцев, набрал у них столько работы, что к нему на полок все не поместилось, и он должен был нанять ломового. Приехав домой и убравшись совсем, он пошел наверх. Ему было как-то не по себе, отчего-то щемило сердце, как будто предчувствуя что недоброе. Он лег на свою постель и в беспричинной тоске пролежал вплоть до ужина.

Во время ужина в кухню вошел Иван Федорович. На губах его играла улыбка, и глаза светились лукавым огоньком. Остановившись в дверях, он громко крикнул:

— Ну, кто знает, что за слово «суприз»?

— Кому ж больше знать, окроме ездока! — проговорил Матвей.

— Знаешь ты, Захар?

— Знаю,— нехотя нроговорил Захар.

— Что же это за слово?

— Сюрприз — неожиданность.

— Так вот зайди после ужина в дом; хозяин хочет тебе суприз поднесть.

И Иван Федорович повернулся и вышел из кухни. Все примолкли, как будто бы задумались, что может преподнести Захару хозяин. Гаврила первый нарушил молчание:

— Чем же это он хочет тебя удивить?

— Може, жалованье прибавит,— сказал Федор, очевидно чувствовавший, что Захара ожидает нечто нехорошее, и засмеялся.

— Прибавит два белых, а третий как снег,— проговорил Сысоев и тоже усмехнулся.

Захар потемнел, и у него пропал аппетит. Он съел ложки две каши, потом отер рукой рот, перекрестился и полез из-за стола. Взявши картуз, он вышел из кухни и направился в хозяйский дом.

Пока фабричные доедали кашу, пили квас и топтались в кухне, прошло с четверть часа. Ефим один из первых поднялся в спальню. Захар в это время уже был там и копался что-то у своей постели.

— Ну, зачем тебя хозяин требовал? — спросил Ефим, подсаживаясь на его постель.

— Книжку велел приносить,— расчет хочет выдать,— дрожащим голосом проговорил Захар.

— Расче-от? — протянул Ефим. — За что-о же?

— Ничего не объясняет, а только сказал: «Принеси книжку и получай расчет».

Ефим с минуту молчал, потом в сильном негодовании воскликнул:

— Ну, не правду ли я тебе говорил? Не идолы ль они? Это они не стерпели — Ивана Федоровича настроили, а тот хозяина... Облоеды!..

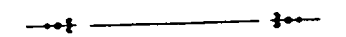
Захар только махнул рукой и с книжкой в руках пошел в дом.

Когда он вернулся с паспортом и деньгами, Ефим горячо заговорил:

— Ты этим не печалься: бог не выдаст — свинья не съест. Москва не клином сошлась, — найдется такое место, где за тебя обеими руками ухватятся, а на этих-то и плюнуть стоит...

Утром на другой день Захар со своей котомкой за плечами, но уже не такой белой, вышел из спальни и направился со двора. Ефим проводил его до калитки и долго прощался с ним, всячески утешая. Захар благодарил его и обещал не прерывать с ним знакомство. Распростившись, Ефим пошел на работу, а Захар опять к своей тетке, от которой он сюда поступил.

1905 г.



Из жизни Макарки

Повесть

I

Наступила весна. В воздухе появились синие краски, и невидимая теплота целый день разъедала заваливший улицу снег. Сугробы оседали и становились рыхлей. Отчетливей вырисовывались безлистные деревья, появились лужицы воды на дороге. Зима доживала последние дни. В деревне торопились развязаться с зимней работой.

У Савельевых ткали. В избе стояли два стана и совсем загромоздили ее. Стол придвинули к конику, и трудно было пробраться к печке.

Девки — восемнадцатилетняя толстуха Фенька и, на два года помоложе ее, Машка — стучали набилками от утра до вечера. Иногда их сменяла мать. Макарку, гулявшего всю зиму без дела, теперь тоже заставляли работать: то посылали в сарай за сеном, то велели привезти воды. А когда он, управившись на дворе, показывался в избу, мать усаживала его за круг и велела сучить цевки.

— Привыкай... В Москву пойдешь, шпули там мотать будешь.

— С кем я пойду? — сдерживая вздох, проговорил Макарка, вспоминая об умершем осенью отце, который по зимам ходил на фабрику.

— С вороной... Прицепим тебя к хвосту, она и снесет. По крайности, дома хлеб есть не будешь.

Мать сказала это грубо. Небольшая, крепкая, с красным мясистым лицом и маленькими живыми глазами, она всегда была груба с теми, кого не любила. А Макарку она не любила, как не любила покойного его отца. Отец и сын были похожи друг на друга, как две капли, «все лычки обрезочки». И как Савелий был «незадашный» и только обременял собою семью до тех пор, пока не умер. Таким, мать думала, будет и Макарка. Макарка не помнил от нее ни ласки, ни теплого слова. Она всегда обращалась с ним срыву, часто награждала шлепками.

Девки, более похожие на мать и более любимые ею, тоже обходились с ним как с забежавшей на двор чужой собачонкой.

Несмотря на обычный тон матери, Макарка не обиделся. «Ну что ж,— с радостью подумал он,— он там так устроится, мое почтенье! Он будет стараться работать и заживать деньги; тогда увидят, что он не совсем неспособный, а может быть, лучше Феньки с Машкой».

При мысли о Москве у него всегда заметнее билось сердце. По рассказам покойного отца Макарка представлял Москву самым лучшим, что было на свете. Там все живут в фабриках, а фабрики эти каменные, и в них всегда тепло; едят там всякий день жирные щи и кашу с салом, и кто ни живет, всем деньги платят.

Макарка старался насучить цевку как можно лучше, всякая цевка, по его, и выходила хорошей и казалась ему, как курице яйцо, а девки были недовольны.

— Ну, что ты насадил? Как я такого борова в челнок всажу? — ворчала Фенька, а Машка в это время бросала набилки и смеялась.

И за этим часто случалось, что какая-нибудь из девок вылезала из-за стана и принималась сама сучить цевки.

Макарка краснел; глаза его наливались слезами; он забивался в угол и, понурив голову, глядел, какие теперь выходили цевки,— цевки, по его мнению, были не лучше.

«Придираются»,— думал Макарка, и слезы текли из его глаз. Эта несправедливость казалась ему невыразимо обидной. Он не понимал, отчего к нему так неласковы девки. Ведь он еще маленький, ему всего одиннадцать годов; может быть, он выйдет лучше всякого, когда вырастет.

И он начинал грезить, как он пойдет в Москву, будет стараться и покроет всю домашнюю нужду, что лезла из всякой щели, и они увидят, что он хотя и похож на отца, да не такой. У того все из рук валилось, а у него и зубами не вырвешь.

Задумывался он о будущем все чаще и чаще; забывал все обиды, что получал от домашних, не замечал и не чувствовал наступавшей весны, яркого, теплого солнышка, проталин, скворцов и жаворонков. Его ровесники носились по улице, как сорвавшиеся с цепи, копались в лужах, устраивали запрудки, мосточки, гоняли по канавкам плоты, грелись где-

нибудь на припеке... Макарка же был занят одною мыслью: когда и как его отправят в Москву.

Выяснилось все на пасхе. К пасхе в деревню пришли москвичи, и на второй же день Макаркин крестный, Павел Демидов, зашел проведать свою куму. Он жил на фабрике круглый год, приходил домой только к пасхе и не знал еще подробно, как умер Савелий.

Павел был небольшой, коренастый, ходил с перевалкой и говорил всегда с улыбочкой. Похристосовавшись со всеми, он сел на лавку и, заложивши нога за ногу, стал спрашивать, как они живут.

Мать рассказала, как тогда пришел домой отец, как думали, что он уйдет «с водою», а он протянул до осени. Как он последний раз закашлялся, и у него хлынула кровь.

Павел выслушал это, слегка вздохнул и, подумавши, спросил:

— А крестник как?

— Крестник, что ж... бегает без дела да сапоги топчет. Думаю в Москву послать.

— Что ж, хорошее дело,— степенно одобрил Павел.— В Москве теперь можно устроиться. На зиму труднее, а теперь возьмут.

— Ты его не возьмешь ли?

— Ну что ж, сведу. Куда только?

— К Матрене, сестре. Она у немцев живет за Смоленским, небось знаешь?

— Как не знать. Ну что ж, справляй, отведу. Нужно к делу приучать... все пить-есть хотят. Пойдешь, что ли, в Москву-то? — спросил крестный Макарку.

— Пойду,— улыбаясь, ответил Макарка.

— Вот и молодец! Вот тебе пятачок на бабки. Небось бабок-то нету?

— Где же у него быть! Нешто он когда выиграет? Такую простоту и поменьше обыгрывают.

— А ты приучайся. Глаз верней наставляй и чтобы в руке тверже. И меться-то всегда в одно гнездо. Как попадешь в середину — оно и расскочится. Другой раз полкона сшибешь.

Когда крестный ушел, Макарка подал пятачок матери и сказал:

— На тебе его, мамка.

— На что он мне?

— На, возьми, на что-нибудь загодится. Я в бабки играть не буду.

— Ну, подсолнухов купишь.

— Не надо! На! Возьми.

Мать взяла пятачок, и Макарка, довольный и радостный, побежал на улицу.

С одного раза для него открылась весна, и стал заметен праздник. Мысль, что он пойдет в Москву и станет на свои ноги, окрылила его, и картины будущего, одна другой заманчивее, стали носиться перед его глазами.

II

Отправлялись они в Москву на фоминой. Вечером девки пели всем уходящим из деревни старинную песню: «Ах ты, Ваня, разудала голова, сколь далече уезжаешь от меня». А утром на рассвете все москвичи, с котомками за плечами, выходили на конец деревни, собирались в одну артель и, распростившись с деревней, тронулись в путь. До города пришлось идти пешком, так как снег хотя и растаял, но дорога еще не просохла, и по ней нельзя было ехать ни на санях, ни на телеге. Макарка шел за своим крестным.

Девки простились с ним дома, а мать проводила его до выгона. Суровым голосом и глядя на него сухими, холодными глазами она проговорила:

— Ну, смотри там у меня, живи смирней, к делу приучайся, а не баловаться.

Она нагнулась, чтобы поцеловать его.

Макарка впился в ее губы, охватив шею руками, но мать оторвала его ручонки и подняла голову.

— А ты, куманек, наведывай там его,— сказала она Павлу.

— Ладно,— с улыбкой ответил Павел.

Провожавшие вернулись домой, а москвичи пошли дальше.

На небе расходился огромный полумрак утренней зари, делавшийся все бледнее и бледнее. Безлистый березняк гребнем торчал на этом фоне; из него разносилось щебетание ранних птиц. Земля, подернутая инеем за морозную ночь, казалось, еще дремала; ее окружала такая тишина, что гулко разносился шелест шагов идущих москвичей. По краям леса

белели еще сугробы снега, но уже не такого чистого, как зимой.

В стороне послышалось курлыканье журавлей.

— Журавли прилетели, пахать скоро,— сказал кто-то впереди.

— Говорят, сколько застанут снега первые журавли, столько еще выпадет,— произнес другой.

— Немного застали.

— Все-таки есть.

Макарка шел сзади и чувствовал туман в голове. Ему мало спалось ночью. Перемена в его жизни занимала его мысли, и с вечера у него пронеслись тысячи думушек и не давали ему заснуть.

Он заснул, только когда запели вторые петухи, и, когда надо было вставать, еле продрал глаза. И сейчас он не мог ничего схватить отчетливо, что перед ним происходило. Все было затянуто какой-то сеткой.

— А походили мы по этой дорожке! — опять сказал кто-то.

Пошли воспоминания, рассказы о всякого рода случаях, вспоминались смешные приключения, за ними следовали страшные.

В полдень пришли в город. Город был небольшой, стоял в яме; посредине улиц тянулась каменная мостовая, а по бокам мостовой шли дощатые тротуары. Везде чернела грязь, липкая и скользкая после мороза. Уставшие ноги скользили, и идти было трудно.

Посредине города, на площади, тянулись два ряда деревянных лавок, а каждый из окружающих площадь домов занимал трактир и постоялый двор. Над дверями трактиров красовались вывески с нарисованными на них самоварами и чайниками. У дверей и ворот толпились люди, стояли подводы; на подводах были навалены мешки с овсом, горшки, тесовые гробы. На двух подводах Макарка увидал живых телят. Головы их были перевешены через грядку, и они с отчаянием глядели кругом. Так их возили до самой Москвы. Стояло много и пустых телег, они предназначались для седоков. Только артель поравнялась с одним двором, человек шесть мужиков в полушубках, несмотря на тепло, с обветренными лицами, с всклокоченными бородами, окружили и стали рядиться везти их.

— До Тверской?

— До Тверской.
— Рупь с четвертью.
— По рублю будет.
— Мало... дорога-то какая. Опять время... Это тоже надо понять.
— А с ребят?
— Ну, с ребят по три четвертака.
— Дорого. Много ль в них мозгу-то!
— Ну, чаем напоим.
— Ну, ладно, бог с вами!

Один мужик, высокий и сутуловатый, вытянул вверх кнутовище, и все шестеро стали хвататься за него, плотно нажимая рукой на руку. Верхней руке достался седок. Владелец ее был приземистый старик в высокой овчинной шапке с суконным верхом. Он подвел их к телегам. Из кошеля ели сено две лошади — каряя и рыжая.

— Вот какие орлы, как на крыльях полетят! — хвастливо сказал старик.

— Где уж лететь! — вздохнув, вымолвил Павел.— Котомки бы довезти.

— И сами будете сидеть,— поспешил уверить извозчик.— На гору, знамо, слезете, а под гору и того...

— А когда лошади трудней: на гору или под гору? — спросил извозчика молодой смуглолицый парень из той артели, где был Макарка.

Извозчик запнулся, потом нашелся и сказал:

— Надо в ее шкуру влезть, тогда и узнаешь.

После этого пошли в трактир, достали деревенских лепешек, яиц, свинины и стали есть. Ели медленно и много, потом пили чай. Макарка глядел на всю обстановку широко раскрытыми глазами. Ему все было ново: и буфетчик, с лицом как булка, в белой рубашке и двухбортной жилетке, и половой, носивший в одной руке по два подноса, а в другой по шести чайников, и диковинный шкаф, из которого выглядывали медные трубы и наигрывали «Над серебряной рекой». Между труб блестели два круглых блина и, шлепая друг о дружку, наполняли весь трактир дребезжащим звоном. А на стенах висели картины; на картинах были цари, генералы, сражения, монастыри, угодники, богородица в облаках, богородица с тремя руками.

— Ты чай-то пей, чего глядишь по сторонам,— говорил ему Павел.— В Москве не такие диковинки увидишь.

— А бабку-то ему придется целовать? — спросил смуглолицый парень, который задавал вопрос извозчику, когда лошади труднее.

— Обязательно. Потому без этого никак нельзя. Если бабку не поцелуешь, то его в Москве не примут.

— Какую бабку? — простодушно спросил Макарка.

— Сопливую. Так и зовут — сопливая бабка.

Все засмеялись, а Макарка не знал, верить ему этому или нет.

— Сидит она на бо-о-льших воротах и едет на шести конях,— стал описывать бабку смуглолицый.— Одной рукой правит, а другой калач держит: «Вот, говорит, еще калач не проглочу, а до Питера долечу...»

— И ты целовал? — опять спросил Макарка.

— Как же! Никак нельзя. Мускородно, а целуешь.

«Ну, так что ж, не помрешь от этого,— подумал Макарка и решил: — Будь что будет».

— Ну, молодцы, у меня лошади готовы, как ваши дела? — сказал появившийся перед ними извозчик.

— Наши дела не всегда добела, а иной раз и с прочернью,— ответил смуглолицый.

— Коли так, садиться можно.

— Давай садиться.

Началось увязывание сумок. Взвалив сумки на спины, москвичи потянулись к выходу. Трактирщик желал им всякого благополучия и во всех делах успеха.

III

Когда сумы были уложены, подводы одна за другой выехали со двора и потянулись вон из города по Московской улице. Дорога шла на гору. Седоки шагали по сторонам, разговаривая между собой, ребята плелись за ними. С Макаркой шел другой мальчишка, ровесник ему, шедший за Москву в подпаски. Он шел уже не первый раз, поэтому держал себя шустро, просил у взрослых покурить и хвастался, что он пил водку. Его разухабистость не нравилась Макарке, и он держался от него в стороне.

— Что ежишься? — подзадоривал его подпасок.— Не бойся, это сперва кажется страшно, а там ничего. Я бы теперь куда хошь, только бы деньги платили.

— А что ты с деньгами будешь делать, паршивый? — заметил смуглолицый.

— С деньгами-то? А у тебя их много? Давай мне, я покажу. У меня только рот разинешь.

— За виски тебя!

— А ты мне растил виски-то?

— А где мы ночевать будем? — спросил извозчика Павел.

— В Холупине, братцы, в Холупине,— отвечал извозчик, опираясь на кнутовище и шагая сбоку вытягивавших шею потных лошадей.

Выехали на ровное место, и все стали садиться в телеги. Сели плотно, но все-таки кое-кому пришлось сидеть только на грядке, свесив ноги, и держаться все время настороже, как бы не попасть в колеса. На подъемах они соскакивали и опять шли пешком. Так тянулись до самого Холупина. Холупино стояло на высоком берегу реки. Между его дворов росли старые вербы и березы, на которых, беспрестанно каркая, устраивали гнезда грачи. Уже спускались сумерки. На дворы надвигались вечерние тени, и только церковная колокольня еще ярко белела, освещенная угасающей зарею, и на кресте дрожали и искрились остатки лучей. Мост снесло, и через реку приходилось переправляться на пароме. Подвод к парому приходило много, но перевозили их всего по три; перевоз шел медленно. Пока дошла очередь до той подводы, где сидел Макарка, сумерки совсем окутали село, даже умолкли грачи. Только хороводная песня молодежи неслась стройно и звучно в вечернем воздухе и нарушала надвигавшуюся ночную тишину.

— Ко мне, ко мне, касатик, у меня всегда ночевали! — кричала толстая баба в кофте, подпоясанной веревкой, и с фонарем в руках.— У меня все хорошие люди ночуют. Двор у меня просторный, щи жирные.

— А тараканы есть? — сострил и здесь смуглолицый.

— Нешто у тебя дома нет? — ответила бойкая дворничиха.— Если нет, то и тараканами награжу... для заводу...

Лошади втянули телеги под навес двора, освещенного фонарем на столбе, и остановились, отдувая бока, как кузнечные мехи. От них шел пар. Извозчик уставил обе телеги в ряд и стал отпрягать лошадей, а седоки забрали сумки и поспешили в избу занимать места.

В просторной, как сарай, избе была настлана солома.

Москвичи бросили на нее свои котомки, и одни раздевались, другие сговаривались идти в трактир, третьи просили ужинать. А Макарке так хотелось спать, что он еле держал голову на плечах.

— Поисть-то хочешь, что ль? — спросил крестный.

— Нет...— протянул Макарка.

— Ну, так ложись. Вот забирайся под лавку и ложись.

Макарка скинул с себя поддевочку и, не разуваясь, лег головой на сумку. И тотчас же заснул...

На другой день после обеда показалась Москва. Из-за леса в одну прогалинку резнул глаз огонь лучей, игравших на куполе храма Спасителя, и задрожал в туманной синеве. Другие говорили, что видели какие-то дома, Симонов монастырь. Макарка же ничего разобрать не мог; ему мерещились только большая серая стена с неровными зубцами и горел этот огонь.

— А скоро мы придем?

— Не скоро, еще двадцать верст.

Подводы въехали в село с чистыми, нарядными домиками, с крашеными наличниками и палисадниками. В селе строилась большая новая церковь и обносилась каменной оградой. Чувствовалась зажиточность, почти богатство.

— Д-да, матушка-Москва-то и людей кормит, и на стороне жить дает!..

Дорога пошла под гору; лошади побежали рысью, поднимая колесами пыль. Земля и по сторонам совсем просохла; уже кое-где зеленела молодая травка, распускались почки на деревьях, мужики пахали. Дальше по сторонам дороги пошли дачи. Шла уборка, разбивались клумбы, сажали цветы. Навстречу то и дело попадались ехавшие господа, сытые, чистые, в чистых колясках, на таких чистых и сытых лошадях, что они блестели, как плис. И перед этой чистотой и сытостью обветренные, заскорузлые, измятые седоки, ехавшие из деревни в Москву, казались такими жалкими, несчастными. Их нельзя было назвать и людьми, как охваченные морозом опенки не похожи на настоящие грибы.

— Какие все богатые! — не утерпел чтобы не сказать Макарка.

— Гладкие, черти! — согласился подпасок.— Ничего не делают, живут.

— Нешто ничего не делают?

— Ничего... У них все прислуга. Постель ему постелет,

утром полотенце подаст, самовар поставит и чаю нальет. Кушай, ваше степенство, да не обожгись.

— А ты видал, как господа живут?

— Еще бы! За Москвой их прорва... На дачи выезжают... Днем спят, а вечером гулять выйдут. Сам идет и барыню под ручку ведет. А то двух еще. А какие у них собаки. Стриженые, с ошейниками... Барыни их на руках носят... целуют... говорят, едят с одного блюда.

— А им поп причастье-то дает?

— Стало быть, дает, когда мать сыра-земля носит.

Подъехали к огромному парку. Среди парка раскинулся обширный каменный дом с башней, и на башне красовались настоящие часы, выбивавшие всякую четверть. Переехали мостом через пруд, дорога пошла по краю соснового леса. Подвод тянулось уже столько, что им не видно было и конца.

Настроение у всех переменилось, меньше шло разговоров, не стало слышно песен и смеха, которые часто вырывались до этого, на лица набежала тень заботы, каждый ушел в себя, и ему меньше было дела до другого. Не стало разговорчивости, смеха, шуток. Одни задумывались, как им удастся устроиться в Москве, вспоминали, кому кого нужно повидать, что передать. Макарка же глядел на невиданную жизнь с удивлением и любопытством.

Дорога разделилась на две, и середина ее была засажена раскидывающимися липами. Поехали одной стороной, которая шла по краю необъятного ровного поля. Потом пошли опять постройки, сады, дорогу пересекли рельсы; когда рельсы переехали, то подводы очутились около огромных ворот; наверху ворот на лихих конях, подняв в одной руке круглый калач, летела та самая баба, про которую говорили, что ее нужно целовать. Наверх вела небольшая железная лестница. У Макарки екнуло сердце, и он оглянулся кругом, но седоки были настолько погружены каждый в свое, что совсем забыли создавшуюся дорогой шутку.

«Слава богу, забыли»,— подумал Макарка и легко вздохнул.

— Ноги-то подбирай, чего вытянул! — сердито крикнул на его крестного рыжеусый солдат с красными веревочками на плечах и с саблей на боку.

Павел торопливо подобрал ноги и закинул их в телегу.

IV

Несмотря на долгую езду по тряскому шоссе, Макарка не чувствовал усталости или забыл про нее. Он шагал за крестным по тротуару и с раскрытым от удивления ртом глядел на лавки, магазины, дома. Все тут было так не похоже на то, что он до сих пор видел. По улице тянулись двухэтажные коробки огромных размеров, и в них сидели люди наверху и внизу. Люди в бесчисленном количестве шли им навстречу, обгоняли их, многие с любопытством взглядывали на него с крестным и шли дальше. Потом пошли дома еще выше и богаче. Они как будто стиснули улицу и сделали ее уже: по ней конки не ходили, но пешеходы текли рекой.

Прошли одну площадь, подошли к другой, попались ворота в два пролета с часовней посредине, за воротами развернулась площадь, очень широкая, с одной стороны которой тянулась высокая кирпичная стена, а в конце возвышалась расписанная разными красками церковь. Потом они подошли к мосту через широкую реку...

Макарка спросил:

— Крестный, это Москва-река?

— Москва-река.

Перейдя мост, они свернули налево и пошли новой улицей, уже не такой оживленной, как первая. В конце этой улицы направо возвышалась огромная каменная труба, выше деревенской церкви, а около нее краснела другая, круглая, железная. Трубы окружали белые кирпичные корпуса с бесчисленным количеством окон. Это и была та фабрика, на которой работал крестный.

Ворота фабрики стояли на запоре. В будке у калитки сидел дворник в белом фартуке и с медной бляхой на картузе и, держа на растопыренных пальцах блюдечко, пил чай. Павел поклонился дворнику и прошел в ворота.

На мощеном дворе ходили рабочие, каменщики, плотники в холстиновых фартуках. Молодой мужик в пиджаке распоряжался ими. У одного угла стояли два господина в белых каленых воротничках и в шляпах и о чем-то говорили между собой.

— Немцы! — шепнул мальчику крестный и, снявши картуз, низко поклонился.

Один из немцев, с рыжими усами, дотронулся до козырь-

ка круглой фуражки; другой же совсем не заметил поклона.

Пройдя двор поперек, крестный направился в низкую широкую дверь и стал подниматься по каменной лестнице на первый этаж. Через другую такую же дверь они вошли в обширное помещение с окнами на две стороны, обставленное нарами из голых досок. На этих нарах кое-где были раскинуты постели, сидели люди кучками и в одиночку, но далеко не все места были заняты.

Павел уверенно прошел в один угол, сбросил сумку на пустые доски и стал раздеваться.

— Демидычу почтение, с приездом! — крикнули Павлу из одной кучки, помещавшейся па другой стороне спальни.

Знакомые стали перекидываться с ним словами. Но были и незнакомые. К пасхе на фабрике давали общий расчет; одни оставались в деревне, другие переходили па другие фабрики, поэтому вновь вместе со старыми приходило много новеньких. Павел, разговаривая, скинул с себя поддевку, потом сапоги; сбросив портянки, он полез под нары, достал оттуда запылившиеся опорки и сунул в них ноги. Потом выдвинул оттуда же небольшой деревянный сундучок, отпер его висевшим на поясе ключиком и достал жестяной чайник.

— Вот я сейчас пойду, чайку заварю... Да раздевайся, что ли... Дальше мы никуда не пойдем, здесь и ночуем, а утром там поглядим... Утро вечера мудренее.

Макарка нехотя расстегнул крючки у своей поддевочки и стал ее скидывать. Ему не хотелось ни раздеваться, ни оставаться здесь. Он совсем не так представлял себе московское житье. Спальня страшила его своей неуютностью. Шевелившиеся в разных местах люди казались такими озабоченными, как седоки, подъезжая к Москве. У них не было той простоты, как в деревне, где у человека часто что на уме, то и на языке. Темные тени лежали на всех лицах, и они напоминали Макарке их старосту, который ругал всегда его отца и гонялся за ребятишками, если они забивались в чужой горох или разводили огонь в лесу.

Макарка робко оглядывался кругом, боясь глядеть прямо в лицо, несмотря на любопытство. Неясное, давящее чувство закрадывалось ему в сердце. Неужели он будет жить среди таких людей, среди которых нет ни одного близкого сердцу? И дома у него после отца никого не было, но там хоть знакомые углы. Есть места, в которых поднимаются сладкие воспоминания.

Крестный принес чайник кипятку, от которого шел пар, и угол мягкого ноздреватого хлеба с блестящей коричневой коркой. Поставив это на сундучок, он проговорил:

— Ну, давай-ка поправляться. Гляди, здесь хлеб-то какой, не как у нас в деревне.

Хлеб был действительно вкусный, а горячий чай так приятно согревал внутри, но чувство, запавшее в душу Макарки, все еще не проходило. Он рассеянно глядел по сторонам. Крестный тоже был озабочен и мало говорил. Когда напились чаю, он убрал посуду и сказал:

— Ну, когда-то у нас прием начнется, да на что поставят — на сатин или кашемир?.. А ты ложись,— посоветовал он Макарке,— сыт, и слава богу.

Макарка подвинул свою сумку к стене, сбросил сапожонки и лег на голые нары. Сверху он накинул поддевочку. Несмотря на простоту ложа, Макарка не чувствовал никакого удобства, все члены его сладко заныли после дороги. Усталость сказалась так, что, когда он немного полежал, ему уже трудно было шевельнуться. Но все-таки ему не спалось, билось сердечко и стучало в висках; тяжесть, сдавившая ему грудь, все не проходила, и он не знал, как от нее освободиться. Москва и фабрика, так заманчиво казавшиеся ему издали, когда он увидел их, так испугали его, точно он попал в клетку страшного зверя. Зверь еще не показывал ему своих зубов, но Макарка чувствовал, что ему с ним будет не сладко, а между тем убежать от него нельзя и покричать некому. Был бы отец — совсем другое дело.

И чем дальше, скоплялось больше горечи. Она подступала к горлу, и ему хотелось плакать. Он прислушался, что делал крестный. Крестный лежал навзничь, закинув руки назад и положив ладони под голову, и тоже не спал. Он тоже, должно быть, думал о звере, хотя и знал уже, как с ним обходиться, и ему легче вырваться из клетки. В сердце у Макарки закипело. Он увидел себя покинутым, одиноким, которого никому не жалко; от него хотят отделаться и послали сюда. То его спихнула с шеи мать, а завтра стряхнет крестный. Сведут к какой-то тетке, а она, может, такая же, как мать.

Макарке стало жалко себя, и он заплакал. Слезы поднимались у него из глубины души и давили горло. Он рыдал глухо, как воет скучающая собака. Несмотря на то что он закутал полою свою голову, крестный все-таки услыхал его.

— Ты что это, дурашка? Али скушно стало? Вот тебе на! Только ввалился, как слезами залился.

Макарка ничего не сказал, зато теперь, чувствуя, что ему уж нет возможности скрываться, дал волю своим слезам.

— Ну, будет, перестань! Вот утром к тетке сведу, она тебя приголубит. На первых порах, знамо, скучно. Это со всеми бывает, а потом обойдется.

«Нет, не обойдется,— думал Макарка.— Как мне здесь жить одному, с кем слово сказать?..»

V

Утром Павел с Макаркой пошли к его тетке. Павел говорил мальчику названия улиц и замечательных мест, провел через Кремль, где они дивились на соборы, дворцы, царь-колокол, царь-пушку. Спустившись в одни ворота, из Кремля они пошли по новым улицам.

Они долго шли и подошли к Москве-реке. Через реку налево тянулся длинный мост, огороженный в клетку широкими полосами, а направо был изгиб реки; по ту сторону постройки были редкие, низкие, перемежались пустым местом; по эту же — дома были частые и большие. Из-за них росли вверх высокие трубы. Особенно велики трубы виднелись вдалеке на холме, и корпуса там поднимались высокие, чернея сеткой бесчисленных окон.

Они остановились у одних ворот. Ворота, как и везде, были заперты. Около них, как у той фабрики, где они ночевали, стояла будка, а в будке сидел рябой мужик с медной бляхой на картузе.

— Кого надо? — поднимаясь, спросил сторож, окинув взглядом мужика и мальчика.

— Пошли, сделай милость, Матрену-монашку,— попросил Павел.

Сторож провел рукой по бороде, расправил усы и, выйдя из будки, приотворил калитку и стал глядеть во двор. Вот там что-то мелькнуло, и сторож крикнул:

— Эй, милый, бежи-ка в женскую спальню да спосылай Матрену-монашку!

Он захлопнул калитку и опять влез в будку.

А Павел стоял задумчиво, засунув руку в карман.

Макар глядел по ту сторону, где на холме, как крепость, возвышались огромные постройки. Павел поглядел на него и сказал:

— Три горы — это вон прохоровские корпуса, а это, вишь, часть...

— А что же это за рога? — спросил Макарка.

— На них шары вешают, когда пожар. Днем — шары, а ночью — фонари. А из этого места,— показал Павел на круглый купол,— ученые звезды считают; как ночь, так они выставят подзорные трубы и считают.

— Да, вот считают, считают, а никак не сочтут,— заметил сторож,— не дается им господня планида.

— А вот там внизу Зоологический... Зимой там бега бывают, а летом всякое зверье... Вот сходишь когда-нибудь, поглядишь.

— Коль пятиалтынный приготовишь, а то и погодишь,— опять вмешался сторож.

— Заработает,— уверенно сказал Павел,— затем и в Москву пришел, чтобы деньги зарабатывать.

За калиткой послышались торопливые шаги. Щелкнула щеколда, калитка отворилась, вышла среднего роста женщина, худая, с продолговатым лицом, покрытым веснушками. На голове ее был накинут черный платок, а на плечах — ватная кофта. Она с удивлением глядела на пришедших, не узнавая их. Павел снял картуз и, улыбаясь, проговорил:

— Здорово, землячка! Небось не узнаешь, мы с Надеина... Вот это твоей сестрицы сынок.

— Какой сестрицы?

— Устиньи.

— Это Савелья, покойника?

— Да-а.

— Ах ты батюшки!.. Ну, здравствуй!

Она подошла к Макарке и поцеловала его тонкими, холодными губами.

— В Москву пришел?

— Прислала мать. На твое попеченье... Може, говорит, приделит.

Матрена глядела на мальчика, но ничего не выражалось на ее бескровном лице, потом проговорила:

— Очень он мал да худ-то. Как его в контору-то вести?

— К резинщикам возьмут: там и такой справится.

— Стой у машинки да гляди,— дал совет сторож.

— Попробовать свести... что скажут... Как тебя звать-то?

— Макарка.

— Ну пойдем, Макарушка; сумку-то пока здесь оставь, контора-то, она вот где.

Макарка снял с плеч котомку и, передав ее крестному, пошел за Матреной.

Двор был меньше, чем на той фабрике, где жил крестный, и сама фабрика была не так велика. Налево возвышался двухэтажный корпус с огромными окнами; в конце корпуса была кочегарка и поднималась высокая железная труба, окрашенная в коричневую краску, за кочегаркой по забору лежали наваленные дрова, длинные, толщиной в половину бревна, а направо тянулось здание с кухней, спальнею, кладовыми. Контора помещалась в особняке, выходившем на улицу.

В конторе за разными столами сидели несколько молодых людей и что-то писали. Тетка подвела его к небольшому человеку в кожаной куртке, с большими усами на маленьком лице, курившему фарфоровую трубку с душистым табаком; поклонившись ему, тетка проговорила:

— Здравствуйте, Герман Карлович! Не возьмете ли вы мальчика за машинку?

Мастер уставился на Макарку черными глазами, с минуту глядел прямо в лицо ему, потом проговорил:

— Мальшик ошень плох. Он слябый...

— Ничего, он выносливый: в нужде жил. У него отец фабричный был, да помер.

Мастер взял Макарку за подбородок, открыл рот и поглядел ему в зубы. Потом отнял руку и проговорил:

— Карашо. Пишите, Николай Борисов.

— Покорнейше вас благодарю! — поклонилась опять Матрена мастеру и подвела Макарку к столу конторщика.

Конторщик, кудрявый, с бойкими глазами, взглянул на Макарку, открыл книгу и спросил:

— Как звать?

Макарка ответил.

— Пачпорт.

Макарка вынул из кармана поддевки свое свидетельство и подал конторщику.

— Ступайте.

Матрена и Макарка вышли снова за ворота.

— Ну, приняли, слава богу,— заявила Матрена.

— Слава богу! — согласился и Павел.

— Теперь пойдемте спрыски сделаем. Вы подождите маленько, я сейчас выйду — в трактир сходим.

Матрена ушла и вернулась минут через десять. Она была в свежем платье, драповой кофте и новом платке на голове. В этом наряде она казалась миловидной.

— Ну, пойдемте.

Они пошли какими-то переулками, пока не вышли на перекресток с огромным дикого цвета зданием. Здесь и был трактир. Поднялись по лестнице, вошли в огромную темную залу, уставленную столами и стульями. Ящик с трубами был гораздо больше, чем у них в городе, и половые все в белом.

— Чайку прикажете? — подскочил один к ним.

— Три пары, — сказала Матрена.

VI

Когда напились чаю, Павел распростился с Матреной и крестником и пошел к себе, а Макарку Матрена повела с собой.

— Знала я твоего отца хорошо, — говорила Матрена дорогой. — Больно он плох был, ни в чем ему не задавалось. Как только он на свете жил! Тебе его жалко?

— Жалко.

— Жалеть всех нужно и поминать почаще. Покойнику молитва — одно утешение.

— Я понимаю.

— Молитв-то много знаешь?

— Три молитвы.

— Надо больше знать, весь начал... Ты читать-то умеешь?

— Нет.

— Как же так? Без грамоты человек, как без глаз. Надо учиться. Я вот женщина, да и то знаю, и бога благодарю. Через грамоту я знаю, как святые отцы жили, как преподобные жены себя спасали, и мне легко. Я в миру без опаски живу... И сестры твои не знают?

— Нет.

— Слепые. В слепоте и сгибнут. Вот, говорят, на фабриках скоро училища будут. Смотри, учись тогда...

— Только бы допустили.

— А что, на фабрике трудно работать? — спросил немного спустя Макарка.

— Будешь стараться — не трудно. Тут все машины.

— И ты за машиной?

— И я... за самоткацким.

— А давно ты работаешь?

— Давно, с малолетства. Сперва в моталках, а там присучать выучилась и за станок стала.

— А как это присучают?

— А вот увидишь, когда фабрика пойдет.

Матрена сначала провела его в мужскую спальню. Эта спальня была много тесней, чем у крестного, но народа в ней тоже было немного; на нарах между постелей фабричных пестрели пустые места. При входе их с первых нар поднялся небольшой, худощавый фабричный в белой крапинками рубашке и двубортной жилетке, взглянул на Макарку и спросил:

— Здравствуйте, Матрена Ильинична! К нам, что ли?

— К вам. Племянник мой, сиротинка, несмышленок еще. Где бы мне его получше поместить?

— Вон там ребята-то спят, с ними и пускай ложится.

— А они озорничать не будут?

— Ну вот...

Они подошли к углу, где было устроено несколько постелей, и положили сумку рядом на пустое место. Это было недалеко от окна, выходившего на двор. Напротив на стене висели большие часы с медным широким маятником и звучно отбивали удары. Несколько кучек ткачей, молодых и старых, занимались кто чем — одни играли в карты, другие читали; около того окна, где они остановились, сидело трое мальчиков; один был в ситцевой рубашке, а двое в самотканых, грязные,— видно, тоже недавно приехавшие из деревни. Макарка пытливо взглянул на них. Ребята обратили на него внимание.

— Вот еще новенький! — сказал мальчик в ситцевой рубашке, самый большой из троих.

— Смотрите, не обижать его у меня, а то уши надеру! — погрозила Матрена.

— Зачем обижать! Нешто вздуем когда, только и всего! — воскликнул другой мальчик, с копной белокурых волос на голове и втянутыми щеками.

— Вздуешь своими боками!

Из всех троих Макарке больше всего понравился последний коренастый, с черными блестящими волосами и веснушчатым лицом. Он глядел на него без всякой насмешки, а скорее участливо.

— Вот сейчас пойдем в сторожку, ряднину попросим, а кучер соломки даст, и постель будет,— сказал Лаврентий.

— Похлопочи, Лаврентий Иванович, а я подушечку ему принесу, у меня есть лишняя.

Через несколько минут у Макарки была постель с подушкой. Вместо одеяла должна была служить поддевка. Сумка висела над головой на стене. Рядом с ним помещался черноволосый, которого звали Мишка; средний, Похлебкин, и старший, Митяйка, спали напротив, на других нарах.

— Ну вот и знай свое место,— сказала Матрена,— а сейчас пока пойдем, у меня посидим.

Пошли в женскую спальню, которая была в этом же корпусе, на другой лестнице. Она была очень похожа на мужскую, с такими же окнами, нарами, только нары все были застланы постелями, подушками, одеялами ярких цветов или из лоскутов; на стенах висели иконы, платья, завешенные платками. Под нарами торчали сундуки. Здесь было тесно и шумно, во всех углах сидели женщины и девушки; они шили, штопали, говорили, пели песни.

— Глядите! — крикнула одна девушка в кумачовой рубашке и французском сарафане, мясистая, с черными бровями и карими глазами, очень красивая, только говорила она в нос.— Монашке сына подкинули!

— Где, где? — подняла голову другая.

— Вон, гляди... Только какой плохонький — видно, недоносок.

— Ах ты, голубчик! Давайте его откармливать.

Макарка шел сквозь строй восклицаний и шуток; шутки ему были неприятны. Обиделась и тетка, у нее стало суровое лицо, и она проворчала:

— Озорницы, им бы зубы скалить.

Она сбросила с себя кофту и села на постель, подобрав под себя ноги, а Макарка уселся на краю нар. Они стали говорить о деревне, о матери и нужде, как помер отец.

Разговор увлекал обоих. Тетка вспоминала деревню, в которой она давно-давно не была, а Макарка — только что минувшие дни. Он забыл, что он в Москве, где все ему

кажется таким диким и чужим, как он плакал вчера с вечера.

Но это забылось, только пока они говорили. Когда же день прошел, Макарка ушел на свое новое место и остался один среди равнодушных к нему и чужих ему людей, ему опять стало так же скучно, как вчера; как вчера, подступали к горлу слезы.

VII

Макарка улегся спать всех прежде. Ему нечего было делать среди чужих людей, занятых всякий своим и которых Макарка почему-то боялся. Он пригрелся и было задремал, как сбоку у него зашевелилось, и слабый, не совсем чистый голос спросил Макарку:

— Мальчик, а мальчик! Как тебя звать?

Макарка откинул поддевку, покрывавшую ему лицо, и повернул голову. Его спрашивал лежавший с ним рядом Мишка.

— Макарка.

— Ты впервой в Москве-то?

— Впервой.

— И я впервой. Меня тятька привез, он в ездоках здесь живет.

— Ты когда же приехал-то?

— Третьевось.

— Вы как ездите — па подводах аль на машине?

— На машине.

— А к нам машина не ходит. Мы на подводах,— с сожалением проговорил Макарка.

— Ты что будешь делать?

— Шпули мотать, только я не умею.

— И я не умею. Похлебкин говорит — легко.

— А он нешто ваш, Похлебкин-то?

— Наш. Он уже третий год живет. Бойкий.

— Не дерутся здесь ткачи-то?

— Похлебкин говорит — нет. Это хорошо. Я очень не люблю, когда за уши таскают. Лучше голову ты мне оторви, а за уши не трогай.

— И за волосы не сладко.

— За волосы ничего. Выдерут — еще вырастут. У меня дома братишка есть поменьше меня, а такой бедовый — он за пятак дается. Дай ему пятак и берись за волосы, а он повернется и вырвется.

— Что ж, он дома остался? — спросил Макарка, и дремота с него свалилась, и ему уже не хотелось спать.

— Дома. Матке на помочь.

— А еще кто у тебя есть?

— Сестренка Матрешка, четырех годов — бедовая... Такая погонялка — куда ты, туда и она; я ее зимой все на салазках катал.

— А у нас маленьких нету,— вздохнув, заявил Макарка.

Мишка пропустил это мимо ушей и, увлеченный воспоминаниями, продолжал:

— Велела ей наряду принесть, а если, говорит, не принесешь, я с тобой водиться не буду.

— Девочки — они ласковые.

— Уж очень ласкова. Мы поехали на станцию, она с мамой провожать нас увязалась... всю дорогу братцем звала. Дома, бывало, Мишкой, а тут — братец...

— А опричь Похлебкина ваши деревенские есть?

— Нету. Да лучше. Похлебкин вон свой, да хуже чужого, и Митяйка озорник — все рвануть хочет. Большие, как женихи, а с маленькими вяжутся.

— У нас тоже в деревне Филька есть,— вспомнил Макарка про одного деревенского драчуна,— к чему привяжется, а отколотит.

— Самих, знать, не били,— вздохнув, проговорил Мишка...

Мишка замолчал, а Макарка ушел в воспоминания о прошлом. Вспомнился Филька, который отколотил его вскоре после похорон отца, и больно стиснуло ему сердце. «А вот его не отдадут в Москву!.. Вот бы пришел сюда, тут не стал бы ни за что ни про что драться. Тут и тебе укорот бы дали».

В таких думах Макарка заснул и видел во сне деревню. Будто бы стояла весна и цвела черемуха, а ребятишки наломали ольховых и березовых прутьев в дровах и сгоняли облепивших молодые деревья шершней. Макарка на одном стволе увидал вместо жука уцепившегося Фильку и стал бить его. Он бил, а Филька ругался, и чем дальше, тем больше. То, что Фильке было больно, задорило Макарку, и он стегал ожесточенней. Вдруг Филька сорвался с места

и шлепнулся на землю. И Макарка увидел, что вместо Фильки перед ним выросла мать. У Макарки похолодело в груди, выпал из рук прут, и он проснулся...

Когда Макарка понял, что это было во сне, сладко улыбнулся, потянул на себя поддевочку и опять заснул.

Утром он пошел к тетке. Матрена сидела на нарах, перед ней на сундуке стоял чайник и посуда, она поджидала Макарку. Напившись чаю, Макарка стал осматривать двор. Он ближе подошел к кочегарке и взглянул в открытую дверь. Там стояли две огромные печки с топками, в которые вошло бы по большой кадке. Топки были внизу в яме, а наравне с землей поднимались верхи печей. Потом он подошел к большому двухэтажному корпусу, где шла фабричная работа. Внизу, за окнами, в ворота величиною, стояли машины резинщиков, а вверху помещались самоткацкие станки. Корпус был заперт, и в нем была тишина. Макарка подошел опять к спальне и встретил Митяйку.

— Что шляешься? — спросил он Макарку полушутя-полусерьезно.

— На дворе глядел.

— Погляди, погляди. А в бабки играть умеешь?

— Нет.

— И в свайку нет.

— Э, плохой ты! — и пошел от Макарки прочь.

На двор выходили ткачи, другие ребята. В углу заводили игру в бабки. Постарше присаживались, кто на лестнице, кто на подоконнике, и глядели на играющих, вели разговоры. Из кучерской выбежал Мишка и, увидав Макарку, подошел к нему.

— Ты что здесь сидишь, пойдем за кочегарку.

— Пойдем,— согласился Макарка.

Они забрались за дрова. За забором, утыканным железными гвоздями, был чей-то двор с садом, в саду распускались листья, разные кусты. В одном месте какой-то человек копал грядку, а возле него стояла маленькая девочка в розовом платье и глядела, как он работал. С поленницы открывался вид на Три горы; они увидали опять ту фабрику, про которую говорил Макарке крестный, другие строения в той части и ниже — какие-то луга; на одном из них двигалась целая толпа людей.

— Солдат учат,— объяснил Мишка.

Они просидели на дровах до обеда, потом пошли в кухню.

К двенадцати часам стали собираться фабричные и рассаживаться за столы. Наевшись, ребята пошли из кухни, а кухарь, рыжий солдат с подстриженной бородой, стал убирать со столов.

VIII

Через несколько дней корпус отперли и фабрику пустили в ход. Утром, в половине пятого, над кочегаркой раздался пронзительный свисток. Спальня зашевелилась. Подымались все с лохматыми головами, мятыми лицами, у ребят были слипшиеся глаза. Все спешили зачерпнуть воды деревянным ковшом и умыться. Умывшись, накидывали на себя какую-нибудь одежонку и, покрякивая, спускались с лестницы и шли в корпус.

Корпус был длинный и высокий, как сарай. Посредине его вдоль тянулись железные столбы, а по сторонам стояли громоздкие и хитрые машины. Над ними вертелись уже пущенные в ход железные столбы со шкивами. Такие же шкивы были приделаны у машин, и верхние шкивы с нижними соединялись ремнями. В конце корпуса, за деревянной перегородкой, в четырехугольной яме, в которую вела лестница, помещалась паровая, приводившая в движение весь корпус. Уж двигалась огромная стальная рука и вертела маховое колесо таких размеров, какого Макарка еще не видывал. Рядом с маховиком было колесо поменьше, с него кверху бежал широкий кожаный ремень и вертел другое колесо, укрепленное на длинном стальном валу. Этот вал тянулся через весь корпус, с него шла передача по всей фабрике.

Машинки, к которым поставили мальчиков, стояли у наружной стены паровой. Устройство их было очень простое. На каждом станке было шесть веретен, на веретена нужно было надевать деревянные шпульки; на эти шпульки наматывались с катушек гарус или бумага. Были даже пристроены проволочные крючки, которые водили нитку во время наматывания от края до края. Мальчикам нужно было только вовремя вставить катушку, снять намотавшуюся шпульку и поставить опять пустую. Показывать, как это лучше делать, Макарке велели его сменщику, Ваньке, бойкому и насмешливому мальчику. Ванька наскоро рассказал ему, как что делать, и ушел.

Макарке было трудно приноровиться к делу сразу, и он не мог, как другие, ни вставить шпульку, ни снять ее. Они выходили у него какие-то неуклюжие. Митяйка или Похлебкин, бывшие с ним в одной смене, глядели на него и смеялись. К тому же ткачи один за другим пускали свои машины, и в корпусе поднялся такой грохот, что нельзя было разобрать, что говорят. Это еще более сбивало с толку Макарку, и он растерялся окончательно.

Мишка тоже стал за машинку первый раз, но у него дело наладилось скорее. Макарка с завистью поглядывал на него и разрывался от досады на свои неудачи.

Когда шпульки наматывались, их снимали и ставили на боронку. Боронки брали ткачи. Нужно было, чтобы боронки всегда были полные, иначе ткачи сердились и ругались. Макарка никак не мог загнать боронок, и ткачам приходилось его ждать.

— Ну, привыкай, привыкай,— сказал Макарке скуластый, с прямым пробором ткач.— Сперва немного пообождем, а там и того... не обессудь... Вот так будем подгонять...— И он всей пятерней схватил Макарку за волосы; у Макарки сразу же брызнули слезы.

— За что ты его? — как будто бы участливо спросил скуластого другой ткач, без бороды и сутуловатый, Семен.

— За волосы.

— Вижу, что за волосы, да зачем?

— Для порядку.

— Для порядку нужно таскать да приглаживать.

И он, в свою очередь, провел рукой по голове так, что у Макарки поднялся шум в ушах.

— Плачешь? — сказал, подходя к Макарке, Митяйка.— Москва слезам не верит. Плачь не плачь, а делать нужно.

А дело все не выходило. Наступила смена, а у него к смене почти все боронки оказались пустые.

— Ты что же это, паршивый черт, мух ловишь? Смотри у меня — и я тебе то же буду делать! — ругнул его Ванька.

Макарка ничего не сказал и печально пошел из корпуса.

— Ну что, дается дело-то? — спросила его Матрена.

— Нет,— насупившись, прошептал Макарка и готов был заплакать.

— Ну, ничего, наладится, все ведь помаленьку привыкали, сразу ни у кого не выходило...

Макарка ходил насупившись, сторонился от других и со

страхом ждал того времени, когда наступит новая смена.

Подошло время идти сменять; Макарка пришел в корпус и опять стал за свои машинки. В это время к нему подошел Лаврентий.

— Ну что, ладится? А ты — вот как! Гляди...

И он стал показывать Макарке, как обращаться со шпульками и катушками, как уставлять крючки. Случилось, что у него все машинки пошли в ход сразу, шпульки наматывались, а он стоял, сложивши ручки.

— Видишь, и делать нечего. Ничего не трудно...

Но только он ушел, у Макарки опять разладилось, и эта смена для него вышла так тяжела, что когда она кончилась, то ему не хотелось идти ужинать. Он хотел пройти прямо в спальню, лечь на постель и, закрывшись с головой, вылить в слезах досаду на свою неудачу, но Мишка его уговорил:

— Пойдем, будет тебе, на хлеб сердиться нечего.

После ужина другие ребята остались на дворе, где молодежь пела песни, а ребятишки играли в ловички.

Макарка же прямо лег и вскоре крепко и тяжело заснул и проспал без всяких сновидений.

IX

После полуночи в спальню прибежали его сменщики, Ванька и другой шпульник, Савка рыжий, и, идя по проходу и дергая за ноги всех спящих, кричали:

— На смену! На смену!

«Что такое?» — подумал Макарка и не понимал.

— Вставай, брат, на смену пойдем! — сказал Похлебкин.

Но Макарке не хотелось вставать; рядом с ним сидел и почесывался Мишка. Он было опять уткнулся в подушку и натянул на голову поддевочку, но Митяйка схватил его за ноги и крикнул:

— Чего нырять-то, выплывай! А то мы пойдем, а ты спать будешь.

Макарка, чуть не хныча, сполз с нар и, пошатываясь, побрел к ведру с водой, чтоб умыться.

С дурной головой, без мысли и с тяжестью на сердце Макарка пришел в корпус, где гремели машины, блестели

желтым огнем вонючие керосиновые лампы и пахло маслом, употреблявшимся для смазки машин. Половина боронок была пустая, нужно было их заставлять. Макарка быстро надел на веретена шпульки, шпульки завертелись и быстро начали толстеть. Макарка глядел на них, и у него слипались глаза, рот раздирало от зевоты, и он готов был упасть на пол и сейчас же заснуть. Митяйка, который стоял на боковой машинке и управлялся с восемью веретенами, вдруг подкрался к нему и брызнул на него изо рта водой. Макарка вздрогнул от испуга, но с него сон соскочил. Ему стало немного легче, и он вскоре заставил все боронки.

Около двери в паровую стоял большой ящик; в него складывали рвань, которая получалась с катушек, с испорченных шпуль. Эту рвань копили для чистки машин. Шпульники иногда забирались в этот ящик и спали там. Сейчас к нему подошел Похлебкин и забрался в него.

— Ну, вы поработайте, а я посплю, а потом я посплю, а вы поработайте.

Макарку разбирала зависть. Вот счастливый! Хоть бы на минутку вздремнуть теперь, а тогда бы за двенадцатью веретенами глядеть... и ему вспомнилось, что есть люди, которым не нужно вставать по ночам. Они спят до света и не испытывают таких мук, какие испытывает он... «Когда большой вырасту, ни за что не буду на фабрике жить; пойду куда хочешь, только не на фабрику...»

Мишка тоже страдал от вставанья по ночам. За одну неделю он похудел и побледнел, под глазами у него появились синие круги. Он, как только приходил вечер, старался скорее ложиться и засыпал. Он теперь меньше разговаривал с Макаркой,— очевидно, ему было только самому до себя.

Макарка же, на беду, не всегда мог сразу засыпать. Ему мешали одолевавшие его последнее время думы. Они наплывали на него всегда, как только он прикасался головой к подушке, и долго не давали покоя. Больше всего ему думалось, какая жизнь его ждет в будущем. Фабрика с каждым днем делалась ему противнее. Не по нутру ему были люди, работа и больше всего, конечно, то, что ночи не спать. Тут ведь не спят и малые и старые. Не только фабричные, а и те, кто живет в сторожах. Один сидит у ворот, другие ходят по двору. И там тоже так строго. По двору в разных местах были вставлены особые часы, и эти ча-

сы нужно было заводить каждый час. Если бы кто из них проспал и не завел часы, то часы остановились бы, а сторожу записали бы штраф.

Все чаще и чаще Макарка вспоминал, как он прежде думал о своей жизни. Прежде он думал, что вот он вырастет большой, выучится работать, будет пахать, а зимой — возить овес в город; лошадей он заведет крупных, сбрую с ошейниками. Он купит себе теплый тулуп с мягким, волосатым воротником и лосиные рукавицы. Еще у него будет суконная жилетка и карманные часы. И все до мельчайших подробностей вынлывало в памяти Макарки...

Иногда эти мечты сменялись другими. Его отдадут в слесаря. Он научится мастерству и будет таким искусным, что сможет сделать любую машину. И эти машины сами будут скидывать и надевать шпули, другие — без лошади ездить зимой и летом. Захочешь по воде — и по воде поплывет.

«А то пойду в солдаты,— вдруг решал Макарка.— В солдатах так буду воевать, что меня сделают набольшим. Позовет меня тогда к себе сам царь и скажет: «Макарка, чего ты хочешь?» А я ему скажу, чтобы Мишку на работе ослобонить, а на его место прислать из деревни Фильку... А скуластого ткача сослать в Сибирь».

Больше этого Макарка не мог использовать своего могущества. Но и это его удовлетворяло, и он, успокоенный такими думами, засыпал.

X

А вокруг развертывалась весна. Около Трех гор между строениями зазеленели целые острова деревьев. Становилось так тепло, что не нужно было одеваться, и ребята на дворе бегали в одних рубашках. Потягивало выбежать за ворота и поваляться на траве, по берегу реки, но за ворота выходить в будни не разрешали. Если кому была неотложная нужда, то он должен был выпросить в конторе пропуск, и тогда только ему позволяли выйти. Макарка с Мишкой часто забирались на дрова и, глядя, как за забором уже распускается сирень, а где тогда копал человек, что-то всходит, говорили о деревне.

— В деревне небось теперь щавель на лугу,— мечтательно говорил Мишка.

— А у вас есть щавель? — спрашивал Макарка.

— Есть... большой... Особенно по оврагам петухи такие... красноголовые...

— А у нас их столбунцами зовут.

— У нас еще ягода родится... земляника... У нас там господские леса валят — так они, братец мой, по пням-то...

— И у нас ягода есть и малина. Потом пьяница с черникой... в болотах.

— В болотах клюква.

— Клюква и черника... А грибы у вас есть?

— У-у! — И Мишка закрыл глаза.— Вот сколько! Подолами таскаем.

— И у нас грибы. Летом хорошо. Можно ничего не делать, а ходи грибы собирай. Насобираешь, продашь — вот и деньги.

— За деньги у нас на поденщину ходят. Пойдешь на барский двор и заработаешь — когда пятиалтынный, когда двугривенный.

— Зачем ты в Москву пошел?

— Отец взял. Он говорит, к делу нужно готовиться...

— А в деревне — не дело? Тоже сколько хошь...

— В деревне оброк платить...

— А тут трактиры. Нешто мало в трактирах-то проживают?

— Я в трактир не ходил. Меня отец не берет. Он и дома чай пьет, а мне не дает.

— Я пил чай. От чая хмелен не будешь. Вот вино нехорошо,— убедительно сказал Макарка.— Я пьяных боюсь вот как! Глядеть нехорошо... рвет их.

— Зато у пьяного силы прибавляется. Эна какие храбрые, да и веселые. Песни поют.

— Песни и так поют...

— Я бы в деревню сейчас поехал,— вздыхая, проговорил Мишка.

— И я...— сказал Макарка и печально замолчал.

Этот разговор растревожил ему сердце. Он вспомнил, что в деревне его стрясли с шеи; вернись он — пожалуй, и не примут. Мальчика охватила глубокая грусть.

«Что бы это такое сделать, чтобы меня мамка с девками полюбили?» — мелькнуло у него в голове.

Его не любили за то, что он напоминал отца. А отец был слабый, неспособный. И в нем поднялось желание быть сильным, шустрым, способным. Он мгновенно забыл отвра-

щение к работе за машинкой, бессонные ночи и загорелся желанием скорей втянуться в дело, чтобы все ткачи им были довольны и он стал первым шпульником. Молча они сползли с костра дров и молча разошлись. Мишка побежал в кучерскую к отцу, а Макарка стал бродить под окнами корпуса. Он бродил и думал: как же это ему сделать, чтобы быть ловким и шустрым? С таким желание он и заснул вечером.

А ночью опять послышалось: «На смену!» Опять всех обходили и дергали за ноги. Опять при тусклом свете керосиновой лампы замелькали серые, недовольные лица, опухшие от спанья глаза. Голова была тяжелая, и от желания спать даже тошнило. Когда приходишь в корпус, тошнота усиливается и делается едва выносимой. И вместо желания быть бойким и ловким давит одно желание: спать. Макарка стоит у станка, как испуганный цыпленок, неверной рукой надевает шпульки, долго возится с оборвавшейся ниткой.

«Господи, да неужто это всегда так будет?!» И ему хочется зареветь.

XI

Прошло уже несколько недель. В одно воскресенье Матрена за утренним чаем сказала Макарке:

— Ну, сегодня пойдем сходим к твоему крестному.

— Ладно,— согласился Макарка.

По воскресеньям он чувствовал себя много лучше. Фабрика останавливалась в полночь, и их на смену не будили; поэтому они спали всю ночь. Когда напились чаю, он пробрался в паровую, натер себе масленой рванью, которой вытирали машину, сапоги, отчего они стали черные и ясные, вымыл руки и опять пришел к тетке.

— Ну, пойдем,— сказала Матрена, нарядившаяся в люстриновую кофту и черный шелковый платок.

— Пойдем.

Они подошли к воротам. Их обыскали и выпустили Путь их был тою дорогой, какой они шли с крестным. Под ходя к Кремлю, они прошли мимо сада. Там зеленела трава, липы распустили все листья и давали густую тень. И вид этой зелени после коричневых стен, каменных мостовых настолько был приятен Макарке, что у него запрыгало сердце.

— Видишь, как тут... деревья-то все подстрижены, травка словно расчесана, любо глядеть. А нешто у вас в деревне так?

«Не так, а лучше»,— думал Макарка, и думал, что теперь делается в деревне. Небось собираются на лугах, где соберутся ребята и девки со всех деревень, и водят хороводы. А его ровесники бегают вокруг, кидаются шишками или бродят по реке, ловят огольцов...

Они вошли в Кремль. Тетка снова стала говорить о том, что в Москве лучше деревенского. Она говорила о святых угодниках, почивших в соборах. Какая им бывает служба и какой почет. Они лежат в серебряных и золотых раках, а венцы над ними в самоцветных камнях.

Макарка одним ухом слушал, что говорит тетка, а в другое выпускал; тетка, заметив его невнимательность, замолчала.

Вышли на мост, перешли его, прошли ту улицу, в конце которой стояла фабрика, где жил крестный, и подошли к воротам. Дворник спросил, кого им надо; Матрена сказала.

— Он в трактире, у Нагайкина.

Пошли в трактир. Трактир был набит фабричными, проводившими здесь свои праздники. Одни сидели пьяные, другие навеселе. Павел был подвыпивши. На их столе стояли полбутылки, чай, калачи и печеные яйца. С ним в компании гулял рябой, белоглазый парень, у которого волосы на голове и бороде были белые, как лен. Парень сидел, положивши обе руки на стол, и, уставившись на него пьяными глазами, говорил:

— Я тебя угощаю, а ты пей. Любишь ты меня али нет?

— Ну люблю, ну? — говорил Павел, и на его устах сияла его постоянная улыбочка.

— Ну и пей, больше никаких... Я за все отвечаю, и тебе нечего разговаривать.

Увидевши Матрену и Макарку, Павел, видимо, обрадовался; он живо встал им навстречу и воскликнул:

— А, мое почтение! Землячка с крестником! Добро жаловать!

Он ушел из-за стола белокурого и занял новый стол. Белокурый обиделся и, кидая ему выразительные взгляды, качал головой. Павел не обратил на это никакого внимания и стал угощать Матрену и Макарку. Он предлагал монашке

выпить, но та отказалась. Остановились на одном чае и сухарях. И два часа пили чай, слушали пьяную брань и песни, дышали табачным воздухом. У Макарки закружилась голова, и ему стало казаться, будто бы он сам выпил. Когда чай кончили, Павел пошел их провожать. Хмель еще не прошел у него, и улыбка играла на его губах. Он говорил:

— Я всегда могу вас принять... и угостить... Приходите ко мне в любое воскресенье, и я не только чаю, а чего хошь не пожалею.

— Много довольны,— говорила тетка,— нас навещай.

— Не забуду, приду. Будь покойна. Крестник, навещать приду... На тебе семитку, подсолнухов купишь.

Матрена и Макарка опять вернулись на фабрику. В спальне его ожидал Мишка; только Макарка вошел, как Мишка бросился к нему навстречу и заявил:

— А мы за заставой были.

— С кем?

— С Похлебкиным. По луговине ходили... лежали, как в деревне!

— Ну? — с загоревшими глазами воскликнул Макарка.

— Сейчас умереть! Очень хорошо... Хошь, в то воскресенье пойдем?

— Пойдем,— согласился Макарка.

XII

В следующее воскресенье Макарка, напившись у Матрены чаю, побежал к Мишке; Мишка как встал, так и ушел к отцу в кучерскую. Отец Мишки, Василий, высокий, жилистый мужик с бородою клином, ходивший всегда в розовой рубашке и холстинном фартуке, брал Мишку по праздникам к себе пить чай и давал семитку на ситничек. Мишка тоже отпил чай и сидел на отцовской койке и глядел, как отец с кучером режутся в шашки.

— Пойдем, Мишка? — несмело спросил Макарка, боясь, как бы отец его не остановил.

— Пойдем! — ответил Мишка, быстро соскальзывая с койки.

— Куда это? — равнодушно спросил Василий.

За ворота,— сказал Мишка.

Смотрите, не балуйтесь там, а то вихры нарву.

Ребята вышли из кучерской.

— Надо хлебца с собой взять, а то обедать-то не придется.

— Пойдем возьмем.

Набивши карманы хлебом, ребята выбежали за ворота. Утро было радостное. Солнце, весело смеясь, поднялось довольно высоко; ему улыбались белые стены и зеленые крыши домов, а кирпичные краснели от конфуза, что они не могут так ответить на привет его лучей. Главы же церквей так и сыпали искрами от восторга. В воздухе плавал колокольный звон, а в глубине города волны этого звона казались особенно густыми и сочными. Они заглушали треск извозчичьих пролеток и топот шагов идущих по тротуарам людей. Люди тоже шли с веселыми лицами, нарядные дамы и барышни все больше в белом. Сияла Москва-река, на которой укрепляли купальню, и сновали редкие лодочки. Мальчишки, еле переводя дыхание от радости, вбежали на мост и торопливо, точно боясь на что опоздать, устремились дальше.

Прошли улицу, которая тянулась за мостом на целую версту, и подошли к заставе. Эта застава обозначалась только двумя столбами и будкой. Около будки стоял городовой. Постройки за заставой пошли меньше. Тротуары кончились, и вместо мостовой пошло шоссе. По бокам шоссе тянулись узенькие, плотно утрамбованные дорожки, окаймленные такой травой, какая росла в деревнях на улице. Они сейчас же сошли с шоссе на боковые дорожки, а Макарка сказал:

— Давай разуемся?

— Давай.

Они сели на траву и стали стягивать сапожонки. Связав сапоги за ушки, они перекинули их через плечо и, осторожно ступая освобожденными ногами, которые отвыкли от прикосновения к земле, побежали вперед.

В стороне раскинулось кладбище, огороженное оградой, а ограду окружала луговина. Луговина была свежая, мало потоптанная, с мягкой, нежной травой, влажной от росы. Ребятишки бежали по траве, и восхищенный Макарка воскликнул:

— Как в деревне!

— Да,— согласился Мишка.

Макарка бросился на землю, растянулся навзничь и зажмурил глаза. И вдруг его поразило, что здесь в земле

не было тишины, как у них в деревне. Она явственно гудела. Огромный город, полный движения и суеты, передавал по земле свой гул, и этот гул заглушал все те шорохи в траве, которые обычно слышатся молодому чуткому слуху на деревенском лугу. Макарка невольно вскочил и поглядел на этот шумевший и гудевший город.

А в городе продолжали сыпать искрами главы церквей, разливался колокольный звон, вздымались красные трубы. Некоторые и сегодня, несмотря на праздник, дымились, и их густой темно-сизый дым тянулся в сторону, как хвост плети, которой замахнулась невидимая рука на людей, живших в городе.

— Мишка, отчего это дымятся трубы? Нешто там и в праздник работают? — спросил Макарка.

— Не работают, а паровые топят. Их загасить нельзя. Похлебкин говорит, что если загасить, то только разжечь обойдется сто рублей.

— Как дорого!..

— Да, дорого... Тут все дорого. Отец говорит, что в Москве одна лошадь стоит, что у нас двадцать... По-купечески.

— Отчего это все так неравно? — задумчиво спросил Макарка.

— Так богом установлено: кому купцом быть, кому мужиком, а кому господином.

— А мы не можем в господа выйти?

— Как ты выйдешь? Господа ученые, и у них земли много, а мы что?

— Вот если денег найтить мно-о-го, будешь тогда господином?

— Купцом будешь, а господином нельзя. В господа царь жалует.

— А кого царь больше любит — купцов или господ?

— Господ. Господа к нему ближе! У нас вот есть барин, он в Питер к царю ездит, а купец-то сам перед ним без шапки стоит. Господ царь крестами да палетами награждает, а купцам только медали да орлы.

— А орлов где, на шее носят?

— Не знаю... Медали так на шее.. Отец говорил — одному купцу царь чугунную медаль повесил, три пуда. И он без нее никуда показываться не мог... так и притворялся больным.

— За что же?

— Говорят, очень народ притеснял. Заводы большие, народу тыщи, а распорядку никакого.

— Все хозяева народ притесняют.

— Хозяева да еще мастера с приказчиками.

— Трудно жить на фабриках! — вздохнув, воскликнул Макарка.

— Везде трудно — и в лавке, и в трактире, и в ученье. У нас одного мальчика в пекарню отдали, а он взял да убежал. Отодрали его да опять послали, а он опять убежал. Так в подпаски и отдали.

— В подпаски — последнее дело.

— Чем же, все равно...— заметил Мишка.

— Очень отпетые выходят, я с одним дорогой ехал. Вот угар!

— Угары и из фабричных выходят. Вон у Похлебкина брат. Здоров на бильярде играть, до чего доходит: то купцом нарядится — часы, калоши, а то продуется, останется в одной рубашке.

— Нет,— мечтательно проговорил Макарка,— а хорошо бы так устроить: кто бы где родился, тот там и жил! Кто в деревне, тот в деревне, а кто в Москве — тот в Москве.

— Московского шпули мотать не заставишь. Поставь-ка вон господского сына к машинке да таску ему дай. Так его отец тогда велит и фабрику закрыть.

XIII

Солнце поднималось выше и выше. Становилось немного жарко. Мальчики поднялись и стали огибать кладбище. За кладбищем простор был еще больше — виднелась река.

— Пойдем к реке! — поднимая голову, сказал Макарка.

— Пойдем,— согласился Мишка.

Они подошли к самому берегу реки; берег был песчаный; нога чувствовала, что песок еще не нагрелся после росы и покалывал подошву. Коричневая вода местами была гладкая, а местами струилась, и отражавшиеся в ней солнечные лучи играли, как живое золото. Кое-где по ней скользили лодки. На том берегу виднелась около воды сидящая группа людей, а другая группа шла по берегу, срывая цветущие травы. Стояли избы с тесовыми крышами, картофельные поля. Картофель уже взошел, и его темно

зеленые листья грядами тянулись по полю. Паслась белая лошадь, дальше бродило стадо коров. Все это напоминало деревню и заставляло усиленно биться сердце.

Оба мальчика стояли молча, глядя на открывавшиеся картины, и грудь у обоих высоко вздымалась, дышалось медленно и глубоко; оба они были расстроены, и им не хотелось говорить.

Макарка первый пошел по песку, Мишка покорно последовал за ним. Макарка заметил зеленый бугорок и свернул к нему. Опять они сели и стали глядеть на гладь реки.

— Если покупаться? — сказал Макарка.

— Рано еще.

— Чего рано, тепло ведь!

— Тепло, да не время. Еще духов день не пришел.

— А нешто до духова дня нельзя?

— Нельзя. До духова дня на землю ложиться не велят. Земля еще не отошла, простудиться можно, а как простудишься, так и шабаш.

— Вот, говорят, еще пить в принадку нельзя. Горсточкой можно, а если приляжешь, то и вред. У нас говорили — один мужик помер от этого.

— А у нас сказывали — водяной за бороду схватил. Он нагнулся, а тот его — как хвать.

— Ну и что же? — с загоревшимися от любопытства глазами спросил Макарка.

— Окрестил его, тот и отпустил. Испужался как! Как кого с бородой увидит, так и закричит.

— А старый мужик-то?

— Старый, седой; тоже скоро и помер.

Ребят разобрала жуть. Оба забыли, где они находятся, и унеслись воображением в родные деревни, к стариковским сказкам и басням. Перед ними стали неясные тени, окружавшие их с первых шагов жизни, которые нагоняли жуткий трепет. Вдруг вдали послышался звук паровозного свистка. Ребята встрепенулись и повернули головы в ту сторону, откуда послышался свисток.

Налево через реку был большой железнодорожный мост, на него взбежал поезд и, громыхая так, как будто он наносил частые удары молотком по железу, быстро пронесся и скрылся вдали.

— Вот, говорят, и на машинах есть... их ночью видят,— сказал Макарка, неясно вспоминая слышанное где-то.

— Известно,— живо согласился Мишка,— а то отчего же в них такая сила-то...

— И куда это она понеслась? — поглядывая в сторону убежавшего поезда, проговорил Макарка.

— В нашу сторону,— вздохнув, ответил Мишка.

— Вот бы тебе сесть!

— Не сядешь, должно!

— А без денег можно по машине проехать?

— Похлебкин ездил. Забьется под лавочку и лежит.

— А если найдут?

— Найдут — небось оттаскают, а то ссадят.

— Теперь домой пешком ушел бы,— решительно сказал Макарка и поднялся с места. Он поднял с песка круглый камешек и пустил его в реку; камень, щелкнув в воде, пошел ко дну.

— Мы к петрову дню поедем... нам велели.

— А мне мать ничего не сказала,— глубоко вздохнув, вымолвил Макарка.

Ребята отошли с песка и пошли опять по бугроватой луговине. Достали хлеба, стали его есть, прикусывая щавелем, что попадался на ходу. Убравши хлеб, они стали рвать бубенцы лугового мака и украшать свои картузы.

И долго они бродили по лугу, то присаживаясь, то опять поднимаясь. Время перешло в обед, а им все еще не хотелось возвращаться на фабрику. Но идти было нужно, и они пошли. Они обошли кладбище с другой стороны и стали подходить к шоссе. Кладбище, заросшее густыми лиственными деревьями, казалось волшебным островом — столько было здесь зелени и тени.

— Придем когда-нибудь сюда,— сказал Макарка.

— Придем,— согласился Мишка.

Они выбрались на шоссе и взглянули вперед. Застава была далеко-далеко. Теперь им встречались уже идущие и едущие из Москвы. Между пролетками и шарабанами попадались маленькие лошади, простые телеги, загорелые мужики и бабы в платках. И вид этих подвод, напоминавших деревню, снова заставлял сильнее биться сердце.

Обратно ребята пошли не так уже бойко, не было давешнего оживления. Они мало говорили между собой, а когда вошли во двор фабрики, сейчас же разошлись. Мишка пошел в кучерскую, к отцу, а Макарка прошел к тетке.

XIV

Подошла и прошла троица. Мишка все больше и больше мечтал, как он поедет к петрову дню домой, а Макарка всякий раз печально вздыхал; его часто охватывала тоска. Неделя после троицы пошла такая, когда им опять приходилось вставать на смену с двух часов. И это было очень тяжело; тем более наступали самые длинные вечера, трудно было рано улечься. За заборами зацветали первые цветы, воздух был мягкий и пахучий. Вся смена высыпала из спальни; молодые ткачи и ребята побольше водили хороводы; те, кто постарше, занимались разговорами, забывали о гремящих в корпусе машинах, о том, что в два часа нужно вставать, и торчали на дворе, пока не начинало смеркаться, а смеркалось уже в одиннадцатом часу.

Макарка по утрам чувствовал себя так, что лучше бы ему не давали есть, лучше бы мать и девки били его каждый день, посылали на побегушки, но не поднимали его в эту пору. Его всегда тошнило, кружилась голова, слипались глаза. Два раза он падал головой на машинку и один раз расквасил нос, а другой содрал висок. Митяйка каждое утро обрызгивал его водой, но это не помогало. И он плакал. Плакал он украдкой, отчего слезы ему никогда не были так горьки, как теперь. Он молил бога, чтобы кто-нибудь из ткачей захворал или у него сломалась машинка, тогда он мог бы замотать боронки и хоть на пять минут залезть в ящик с рванью, куда залезали Митяйка с Похлебкиным. Но вместо приостановки у ткачей пришлось остановиться ему самому. Смазывая машинку около ремня, Макарка попал маслом на шкив. Ремень вдруг соскочил, и машинки стали. Макарка растерялся и взглянул кверху; ремень подпрыгивал на валу, и мальчик не знал, что ему сделать. Митяйка заметил его испуг и засмеялся.

— Эх ты! — насмешливо сказал он.— Что ты наделал-то?

У других это случалось много раз, а у Макарки впервые; он не знал, как поправить беду.

— Что глядишь-то? Надо надевать.

Макарка попробовал надеть ремень — ремень наделся, но сейчас же соскочил снова.

— Что! Испортил совсем! — начал злорадно дразнить Макарку Митяйка.— Достанется тебе на орехи. Приделают ручное колесо и заставят вертеть.

— Ну, будет глумиться-то! — заступился за Макарку Похлебкин.— Ступай к паровому мастеру, проси канифоли.

— Какой канифоли?

— А там увидишь какой; ступай проси.

Макарка не знал, всерьез ли ему говорят или смеются.

— Ступай, чего глаза-то выпучил? — пихнул его в спину Похлебкин.— Из-за тебя теперь и нам стоять!..

Макарка спустился в паровую. Паровой мастер, рыжий старик в очках, с грязным лицом, в синей блузке, стоял около маховика и, покуривая папиросу, глядел, как огромная стальная рука, бесшумно сгибаясь в локтевом суставе, ворочала машину, как серьезно вертелся блестящий маховик, приделанный только для того, чтобы легче ходить машине.

Макарка спросил, как его научили, канифоли.

— Что, аль ремень соскочил? — спросил тот глухим голосом.

— Да,— ответил Макарка.

— Масло, знать, попало?

— Да...

— Дерут вас мало, вшивых чертей, вот вы и не имеете осторожности... Держи руку!..

Он взял из ящика большую щепоть желтой прозрачной смолы и всыпал ее в руку Макарке. Макарка повернулся и вышел из паровой.

— Принес? — спросил Похлебкин.

— Принес.

— Давай сюда!

Он взял смолу на ладонь и стал натирать ремень; протерев ремень, он накинул его на верхний шкив, попридержал рукой, машинки снова зажужжали.

— Макарка, а Макарка! — шепотом сказал Макарке Мишка.

— Ну?

— А если под ткачевы ремни масла пустить?

— Ну что ж?

— Тоже слезут, а пока они ворочаются, мы боронки загоним да в ящик.

— А как он узнает?

— Можно сделать, что не узнает...

На другой день у Мишкина ткача Кобелева, молодого парня, который сам недавно был шпульником, поэтому относился к шпульникам особенно строго, машина вдруг оста-

новилась, ремень соскочил с нижнего шкива, а вверху за него задело винтом, которым был прикреплен шкив к оси; ремень вдруг натянулся и стал поднимать всю машину вверх; но тяжелая машина, кроме того, была крепко привинчена к полу — тогда ремень лопнул и оборвался, замотавшись наверху оборванными концами, он вдруг начал хлестать по стене. По корпусу раздались мерные, звучные шлепки, как будто бы кто давал оплеухи.

Кобелев, бледный от испуга, уставился вверх и не знал, что ему делать. Соседние с ним ткачи остановили свои машины и, подойдя к Кобелеву, глядели, что у него случилось. К машине бросились и Митяйка с Похлебкиным; Макарка тоже хотел было пойти, но Мишка его остановил:

— Стой знай на месте да заматывай боронки, а там отдохнем.

— Что там сделалось?

— Ремень соскочил.

— Отчего?

— Я знаю — отчего.— Мишка сбоку взглянул на него и замолчал.

А ремень хлестал все яростней и яростней. Кто-то крикнул, что нужно позвать парового мастера и остановить паровую, и, пока разматывали, доставали оборвавшийся ремень, прошло полчаса, ребятам нечего было делать, и Макарка с Мишкой, забравшись в ящик с рванью, подремали. Такой остановкой остались довольны даже старшие мальчишки. Похлебкин сказал:

— А если бы почаще так случалось, хорошо бы.

— Хорошо-то хорошо, да ткачам убыточно, они ведь сдельно,— заметил Митяйка и качнул головой.

— А нам-то что, мы ведь помесячно.

XV

Недели сменялись неделями, а жизнь мальчиков все казалась не легче, а тяжелей. Макарке все опротивело на фабрике, каждый угол казался ему ненавистным. Ненавистный Митяйка с Похлебкиным, его сменщик Ванька, ткачи; когда слышал запах душистого табаку идущего по корпусу мастера, ему делалось тошно. Если же его кто-нибудь задевал, он болезненно вскрикивал:

— Ну, что ты! Я тебя не трогаю.

— Еще бы ты меня тронул! — хмыкал тронувший его ткач и давал ему подзатыльника.

Однажды к нему пристал Похлебкин. Макарка раскричался на всю спальню. Один ткач схватил Похлебкина за волосы и дал ему здоровую трепку, чтобы он не вязался с ним. Макарка отходил все дальше и дальше от всех. Его уже теперь не тянуло к Матрене. Прежде он ходил к ней охотно, отвечал на вопросы, смеялся, когда было смешно, но теперь он сидел как бука, понурив голову, говорил «да» или «нет» и сам уже ничего не рассказывал. Только с Мишкой он отводил душу. Мишка уже начинал жить деревней, воображал, как он поедет домой, как его мать будет посылать на покос носить завтрак, как они с Матрешкой станут расстрясать копны и пойдут по грибы. Он мечтал, когда ему выдадут расчет, он пойдет на Смоленский и купит ей зеленые стеклянные бусы и бисерное колечко.

— А когда большой буду, я ей шерстяное платье куплю,— говорил Мишка, лежа навзничь на подушке и уставившись глазами в потолок.

— А тот-то браток водится с ней? — спросил Макарка.

— Не-е, он ее все колотит... И я его колочу. Зачем обижать поменьше себя!

Макарка думал, какие есть счастливые люди, и только вздыхал: а у него ничего этого нет, а есть только он один, никем не любимый и никому не могущий выказать свою любовь.

Макарка делался все печальнее, а Мишка веселей, у него стал свежее цвет лица и ярче горели глаза. Он ловчее справлялся с шпулями и кое-когда помогал ему, и тогда они вместе забирались в ящик.

За неделю до петрова дня ночь выпала ненастная. По небу бродили тучи, и сеяло землю дождем. Всех морило ко сну. На смену с неохотой вставали даже ткачи. Они кряхтели, долго чесались, прежде чем слезть с нар, громко зевали, когда шли умываться, и никто ни с кем не говорил. Ребят же пришлось будить по два раза. В голове Макарки точно был насыпан песок, который при всяком движении сыпался и заволакивал глаза, и он не чувствовал, как он шел по двору, вошел в корпус, что ему говорил Ванька. Все было в тумане перед ним, и он не сознавал хорошо что вокруг него происходило.

Одинаково чувствовал себя и Мишка. Только он стал за станок и надел шпульки, как принялся клевать носом. Не было обычной бодрости у Митяйки с Похлебкиным. Даже ткачи и те плохо разминались, и работа шла вяло; одни ходили курить, другие — на кухню пить воду.

«Господи, покуда ж это мы так мучиться будем?» — подумал Макарка, и слезы закапали у него из глаз.

Ткачи были сердитые и, когда брали боронки, ворчали. Митяйка с Похлебкиным все-таки скоро заставили все боронки и сели на площадке лестницы и стали играть в бирюльки. За ними развязался и Мишка и улизнул куда-то; за станком остался один Макарка и с тоскою думал, что ему и отойти нельзя. Но вот и у него все шпульки были замотаны; он поснимал их, перевел ленточки на холостые валики и подумал об ящике с рванью.

— Ну, вы, расселись тут! — послышался грубый голос парового мастера, который пошел в кочегарку пить чай.

Митяйка и Похлебкин дали ему дорогу. Макарка отошел от них и направился к ящику. Он думал, что Мишка там, но Мишки не было. Макарка удивился, но сейчас же в нем поднялось шкурное чувство — ему просторнее. Он остался даже доволен этим и, свернувшись калачиком, закрыл глаза. Но только он закрыл глаза, как почувствовал — чья-то рука лезет под него; он поднял голову и увидал Мишку. С лихорадочно горящими глазами он теребил из-под него рвань и зажимал ее в ком.

— Ты что? — спросил Макарка.

— Молчи знай, увидим...— таинственно прошептал Мишка и все теребил рвань.

«Опять что-нибудь задумал»,— решил Макарка, и у него слабее забилось сердце и сперлось дыхание, дремота пропала, и ему уже не хотелось больше смыкать глаз. Мишка отошел от ящика и изчез.

«Куда он пошел?» — подумал Макарка.

Вдруг что-то звякнуло в паровой. «Кто там? — подумал Макарка.— Паровой мастер ушел, ему рано еще воротиться». Стенка паровой из стояковых досок имела щели, сквозь них можно было видеть, что там делается. Макарка прислонился лицом и одним глазом сквозь щель стал рассматривать внутренность паровой.

Вертелось колесо, стальная рука мерно махала, приводя его в движение, кружились стальные шарики, и все это

делалось мягко, бесшумно. А в углу, около большой жестяной банки с маслом, стоял Мишка; он окунал в банку ком рвани, выжимал и опять окунал, чтобы набрать как можно больше масла.

«Что он хочет?» — подумал Макарка, и у него остановилось дыхание и в руках и ногах появилась дрожь.

Мишка вытащил последний раз рвань и, уж не выжимая и неся ее в горсти так, чтобы с нее не капала капля, и метнув взглядом на дверь, шагнул к машине. Он осторожно приблизился к широкому ремню и, протянув руку, мазнул по нем рванью; масляное место быстро взлетело вверх, но на ремень это не подействовало. Мишка мазнул еще, но и это оказалось бесполезным.

Макарка с замирающим сердцем и боясь дышать следил за его движениями. «Что же он не скидается?» — думал он и уже представлял, как сейчас соскочит ремень, остановится фабрика, пойдет суета, а они свернутся здесь клубочком, и им долго будет не нужно выходить из ящика...

Мишка было бросил весь ком па ремень, но ком сорвался и шлепнулся на пол. Мишка поднял его и, вновь протянув руку и сжав ремень в кулаке, изо всех сил стал ее выжимать. Масло потекло струею. Вдруг Мишка пошатнулся и прикоснулся к ремню; у ремня точно выросли руки, и что-то цепкое схватило мальчика за рубашку и быстро потянуло вверх. Макарка видел, как болтнулись его ноги, раздался дикий крик, потом что-то мягко стукнуло, хрустнуло и ударилось в стенку, через которую глядел Макарка. Стена вздрогнула, что-то шлепнулось на пол, и все притихло.

Макарка вскрикнул и бросился вон из ящика. Ящик опрокинулся, мальчик быстро вскочил на ноги и, весь дрожа, в ужасе крикнул:

— Мишка в ремень попал!..

Одна за другой останавливались машины, и подбегали ткачи. Похлебкин, взглянув в паровую, метнулся стрелой в кочегарку и через минуту вернулся с паровым мастером, у которого посинели губы и лицо. Он спустился в паровую, а за ним полезли ткачи и шпульники.

В паровой же как будто бы ничего не произошло. Попрежнему махала стальная рука, кружился маховик, танцевали шарики. Ремень, потрескивая и подрагивая, быстро бегал снизу вверх и сверху вниз.

— Поди скажи, чтобы свисток дали! — крикнул паровой мастер Митяйке и поспешно стал останавливать машину.

Ткачи и мальчики стояли в стороне, испуганные, бледные, и не знали, что делать, а в дверь лезли новые лица.

Раздался свисток, сначала хрипло, как будто бы он тоже не выспался, потом все звучнее залился, тревожа утреннюю тишину и поднимая всех спящих в неурочное время.

Народ собирался изо всех углов. Вскоре в паровой были мастер, конторщик; все были перепуганы и бледны и плохо соображали, что произошло. Василий пришел в корпус одним из последних. Когда ему сказали, что его сын попал в ремень, он стал бледен, как мука, глаза его блеснули, задрожали руки, и злобным голосом он воскликнул:

— Что же это он, подлец этакий, сделал!..

XVI

Приехал частный пристав, следователь, доктор. Изуродованное тельце Мишки перенесли в кладовую, а потом отправили в часть, кровь вымыли горячей водой проходчицы из самотканкой, паровую пустили вновь, фабрика пошла, а в конторе начался опрос.

Макарку расспрашивали всех подробнее. Мальчик рассказал все, что знал. Следователь спросил:

— Зачем же он хотел это сделать, как ты думаешь?

— Очинно спать хотелось.

— И тебе трудно бывает?

— Всем трудно.

— Конечно,— сказал доктор,— набрали таких малышей да заставляют в полночь подниматься... Конечно, не легко...

— Ми по закон...— сказал мастер.— У нас два смен... Шесть час работайть, шесть час спайть...

— Спят, да не высыпаются...

Когда Макарку спросили и он стал выходить из конторы, мастер догнал его и проговорил:

— Ти, мальшик, в корпус не ходийть, ступай на спальня... там будешь.

Макарка, услышав это распоряжение, побежал чуть не бегом в спальню. Придя в спальню, он бросился на постель и вскоре заснул как убитый и спал до двенадцати часов.

Когда он проснулся и вспомнил, что произошло сегодня утром, он весь вытянулся и остолбенел. Не может этого

быть! Но это было. Ему хотелось, чтобы это было во сне, но это было не во сне, и у мальчика упало сердце и грудь защемило тоской. Ему было невыразимо жалко Мишку; он представлял себе его мать, Матрешку, как они об этом узнают, и его начали душить слезы.

К вечернему чаю его повела к себе Матрена и подробно расспрашивала, как все это случилось. Когда Макарка рассказал и ей, Матрена сообщила ему:

— Тебя на работу больше не пустят.

— Совсем не пустят? — бледнея, спросил Макарка.

— Совсем. Говорят, мал очень и слаб; пусть, говорят, в деревню едет и еще подрастет.

Испуг, вызванный словами тетки, мало-помалу разошелся, и сердце Макарки стало биться ровней.

Если так, то что ж... это хорошо... Он поедет в деревню, а если его будут ругать, то он скажет, что его держать не стали, он очень мал и слаб. Он забыл, что мать его именно не любила за его слабость и как ему самому часто хотелось быть большим и сильным. Теперь же слабость сделала то, чего жаждала его душа, и он радовался.

На работу его действительно больше не посылали, но и расчета не давали. Только еще начали счет — не знали, сколько вычитать с него за харчи.

Через несколько дней счет был закончен. В контору представили «ерест», по этому «ересту» контора должна была разнести все расходы по книжкам ткачей и шпульников.

У Макарки жалованья было написано тринадцать рублей с копейками, а за харчи, как с мальчиков, с него вычли около пяти рублей — ему приходилось на руки больше восьми рублей.

Мысль, что у него на руках такие деньги, вскружила ему голову. Он отнесет эти деньги матери и отдаст ей. Мать увидит, что он хотя маленький и слабый, а о доме заботится. И может быть, не так будет ругать, что он пришел домой, и по-другому будет глядеть на него. И ему замерещилось, что с ним будут обходиться, как с девками, будут по-человечески говорить, смеяться. Что бы это в самом деле? И, несмотря на то что каждое воспоминание о Мишке кололо его в сердце, как шилом, у него стало больше светлого в думах, больше спокойствия на душе. Он уже решил, что домой пойдет пешком. Тратить деньги будет только на самое необходимое и, как придет домой,

все до копейки отдаст матери. Ах! Скорее бы выдавали расчет!

Рассчитывать стали в последнее воскресенье перед петровым днем. Макарку рассчитали из первых, выдали ему новую пятерку, трешницу и восемьдесят шесть копеек мелочью. У Макарки пошли круги в глазах и задрожали руки. Выйдя из конторы, он опрометью бросился к тетке и показал ей деньги.

— Вот и славно! Пятерку-то матери снесешь, а это на дорогу да на гостинцы.

У Макарки вытянулось лицо.

— Так много! Я дорогой пешком пойду.

— Устанешь, дурашка!..

— Нет, ничего.

— Ну, заблудишься.

— Мне только до заставы, а там столбы идут да канавы.

— Ну, хоть по платочку всем купи.

— Они сами купят, я им деньги снесу.

— Ну ладно,— согласилась тетка,— по платочку-то я им от себя куплю.

— Тетя?

— Ну-у?..

— А мне бы спрятать деньги... Дай тряпочку, я заверну их да на крест повешу.

— Давай, я устрою.

Макарка подал Матрене бумажки, она завернула их, обвязала ниткой крепко-накрепко и стала привязывать на гайтан.

— Крепок ли он у тебя?

— Кажись, ничего.

— Ну, вот тебе, смотри... А если тебе мелочи мало... хватит?

— Хватит. Я поем-то хлебушка.

— С одного хлеба-то ноги не пойдут — хоть чаю где попей.

— Ну, где-нибудь попью.

Матрена отсыпала в бумажку чаю, сахару, завязала в узелок и положила в сумку Макарке.

Потом пошла на рынок, купила три платка и белых хлебов.

— Вот, им все будет приятней. Хоть что-нибудь да принесешь.

Когда Макарка собрался совсем, пошел в свою спальню и стал прощаться с ткачами и шпульниками.

— Прощай, милый, час добрый! — пожелали ему ткачи и ребята.

Выйдя из ворот фабрики, Макарка кинул взгляд через постройки Заречной слободы в ту сторону, где было кладбище, вспомнил, как они отводили душу там с Мишкой, вздохнул — и пошел за теткой, по направлению к заставе.

XVII

У заставы Матрена купила Макарке вареной рыбы и ситник и накормила его, потом напились чаю, и она повела его мимо тех ворот, где баба ехала на лихих конях, с калачом в руке, и, несмотря на хвастовство, все еще никуда не уехала.

— Ну, вот и ступай с богом! — сказала Матрена, переводя его через железную дорогу.— Иди все прямо, а дома кланяйся матери, девкам, а опять в Москву придешь — меня не обходи.

Они расцеловались, и Макарка зашагал вперед, а Матрена, поглядев ему вслед, пошла обратно.

Макарка шел дорожкой между деревьев, а по сторонам шло обычное движение. Ехали господа в колясках на рысаках, тащились извозчики, визжала конка, переполненная пассажирами, плелись рабочие, прислуга, кричали разносчики. Макарка бросал глазами направо и налево, но ноги его без останову двигались вперед, и его ничто не интересовало, что у него оставалось за спиной, а все помыслы его устремлялись вперед, к деревне.

А две недели назад он не смел и думать об этом. О деревне мечтал Мишка.

Макарка охнул при воспоминании о Мишке, а сам шел и шел.

Пришел конец конки, прекратились деревья по сторонам, осталось позади широкое поле; налево дорога вместо двух рукавов пошла одним, потянулся лес, потом село, дачи, опять лес...

Вот деревня, хоть и не такая, как у них, по все-таки в ней много деревенского. Деревянные избы, соломенные крыши, огороды сзади, ребятишки босиком. Вот куча мальчи-

ков и девочек собралась у края шоссе и сгребает в кучки пыль. Набравши целую горку, трое из них набрали пыли в пригоршни и подбросили ее вверх; как дым, затуманила воздух, а они, как под дождь, подставляли под нее свои головенки и воображали, что это дождь.

— Что вы делаете, паршивцы? — не удержался, чтобы не крикнуть, Макарка, вспоминая, что он сам очень недавно еще играл так.

Макарка решил отдохнуть в этой деревне и, подойдя к одной избе, сел на завалинку.

«Разуюсь, легче будет»,— подумал Макарка и, сбросив с себя сумку, стал стягивать сапоги.

— Ты что тут расселся? — услышал Макарка грубый голос.

Он обернулся. У угла стоял невзрачный мужик в грязной розовой рубашке, коротких портках и босиком. Голова у него была взъерошена и глаза мутные, как вода в придорожной луже.

— Я, дяденька, отдохнуть.

— Отдохнуть?.. На чужой завалинке... Подай три копейки.

— Ах ты, штырман!.. Вот штырман-то... ребенка хочет обобрать! — раздался другой голос над головой Макарки. Макарка поднял голову; в растворенное окно выглядывала простоволосая баба; шея у нее была белая, а лицо коричневое от загара, точно на ней была надета маска.— Когда ты налопаешься-то? Все пропил, теперь прохожих хочешь обирать!..

— Изба моя, и я к ней никого не подпущу!..

— Да никто и не подойдет. Поди, касатик, прочь! Нечего его, пьяную харь, тревожить. Ишь он до чего дошел.

Макарка подобрал сумку и сапоги и пошел прочь. Когда он поднялся с завалинки, он почувствовал, что ему трудно подниматься — уже сказывалась усталость.

«Нужно не горячиться»,— подумал он и решил подольше отдохнуть здесь.

Макарка подошел к трактиру и подсел к стоявшему снаружи дощатому столу.

Трактирщик с выдавшимся брюхом и лысиной выглянул в окно и спросил:

— Ты что, пузырь?

— Дяденька, кипятку можно?

— Можно, только семитку стоит.

— Я отдам.

Трактирщик вышел к нему. Макарка достал семитку из бывшей у него мелочи и подал трактирщику. Трактирщик взял деньги, щепоть чаю и через минуту подал ему два чайника и чашку.

Макарка пил чай до тех пор, пока в обоих чайниках стало сухо. За чаем его усталость прошла.

И он опять пошел.

Ночевал он в селе, более чем за тридцать верст от Москвы. Он долго колебался, заходить ли ему на постоялый или не заходить. Ему жалко было платить за ночлег пятачок, а между тем он боялся устроиться в овине или сарае. А ну как опять нарвешься на такого хозяина, который прогнал его с завалинки!

Тогда он решил пожертвовать пятачком и зашел на постоялый. Теперь на постоялом было не так тесно, как после пасхи. Не все спали в избе, а кто на дворе в телегах, кто в сенях — спать было просторно, и Макарка мог лечь не на полу, а на лавке.

Он спал долго. Солнце высоко взошло и выпило почти всю росу. Ноги у него болели, и сначала он чувствовал каждый шаг, но понемногу они поразмялись, и он пошел по-вчерашнему легко.

Дорогой попадались ему попутчики, но он от всех сторонился, не разговаривался, боясь проговориться, что у него есть деньги и как бы их у него не отняли. Особенно у него замирало сердце, когда он встречался с кем-нибудь в лесу. Но все обошлось благополучно, и на третий день он был в своем городе.

XVIII

Теперь их город имел совсем другой вид, чем тогда, весной. Он не был так загроможден и казался чище, пригляднее. Пыльные улицы были сухи, везде — просторно. Он вышел на площадь, где стояли лавки, и стал искать глазами, куда ему лучше зайти. Вдруг он услышал над собой голос:

— Никак, Макарка?

Макарка поднял голову. Перед ним стояла их деревенская баба. Баба держала пустой мешок под мышкой и, видимо, шла в лавки что-нибудь покупать.

— Д-да! — обрадованно улыбнулся Макарка.— Здорово, тетя Анна!

— Ты что же это — из Москвы?

— Из Москвы.

— Знать, мать на покос наказала?

— Нет, меня разочли.

— Тебя, стало быть, и не ждут дома-то?

— Нет.

— Ты с кем же до города-то ехал?

— Я не ехал, а пешком.

— Пешком?! — воскликнула удивленная баба.— Ах ты, родимый, небось устал-то как! Ну, пойдем, я подвезу тебя. Иди, я тебе телегу покажу. Посидишь там пока...

Они подошли к телеге, у которой стояла понурив голову выпряженная лошадь; в телеге лежала свежая трава, и от нее распространялся сладкий запах. У Макарки сперлось в груди. Вся деревня, с ее лугами, полями и лесом, встала перед его глазами, и сердце его сильно забилось.

— Вот сядь, посиди тут пока, а я в лавку пойду. Как закуплю, так и поедем.

По дороге от города уже не было камня, и ее покрывала мягкая пыль, пушистым хвостом поднимавшаяся за телегой. По сторонам колыхалась серо-зеленая, выцветшая рожь; рожь сменялась серебристым овсом или нежным, бархатным льном, еще не начинавшим цвести. В других местах расстилались луга, цветущие разными цветами. Над ними сверкали птички, носились бабочки, где-то поскрипывал дергач. Так бы и соскочил с телеги, бросился в эту благодать, утонул в ней!..

Анна спрашивала его, хорошо ли жить в Москве, где он жил и что делал. Макарка рассеянно отвечал; он так далеко был от Москвы, что стоило немалого труда возвращаться к ней хоть мысленно... Кроме этого, у него зарождалась забота, как его примет мать. А ну-ка, и его деньги ее не подкупят, что ему тогда будет делать?

К деревне подъехали от сараев. Анна и лошадь остановила у своего сарая. Макарка вылез из телеги, вытянул свою котомку, закинул ее за спину и сказал:

— Спасибо, тетя Анна.

— Не за что, родимый.

Макарка зашагал к своей усадьбе. Увидевши свое гнездо, он почувствовал, как у него застилает глаза и ноги ступают

уже не так уверенно. Вот и амбар. Около тына стоит Машка и развешивает белье. Она повертывает к нему лицо; оно все такое же, только загорело очень.

— Никак, Макарка?! — воскликнула Машка, и Макарка заметил, что в ее глазах блеснул какой-то огонек. И этот огонек осветил его сердце, ему стало легче, и он попробовал улыбнуться.

— Где Макарка? — послышалось из амбара, и в растворенную дверь амбара показалось лицо матери.

Она взглянула на мальчика, но Макарка не стал вглядываться в ее лицо и бросился к ней. Сняв картуз, он обвил ее шею и потянулся к ней губами.

— Вот я сегодня во сне чай-то пила — нечайно и вышло,— говорила мать, целуя его.— Ты что же это, аль нам помогать пришел?

— Я, мама, денег принес,— поспешил заявить Макарка.

— Денег? Что ж ты — зажил?

— Зажил. Восемь рублей. Еще тетка Матрена вам всем по платочку прислала.

Оторвавшись от матери, Макарка поцеловался с Машкой.

Мать растерялась от неожиданности. Она скрылась в амбар, взяла там лукошко с мукой и стала запирать амбар.

Макарка стоял около Машки, и Машка спрашивала его:

— Пешком аль на подводе?

— Пешком.

— Ах ты, возгряк этакий, небось ноги-то отбил?

Машка глядела на него, и глаза ее смеялись; Макарке стало совсем легко.

— Ну, пойдем в избу,— сказала мать.— С кем же ты шел-то?

— Один,— храбро заявил Макарка.

— И не боялся?

— Не-е... чего же?

— Мало ль худых людей.

— Я убег бы.

Они вошли в избу. Изба Макарке показалась и ниже и теснее, чем она была прежде, хотя все в ней было по старому. Сбросив сумку и оставив у порога сапоги, Макарка сейчас же расстегнул ворот, вытащил гайтан и стал отвязывать от него узелок. Отвязав узелок, он подал его

матери. Та дрожащими руками стала его развязывать и вынула две бумажки.

— Машка, гляди-ка, новенькие! — радостно проговорила мать, и Макарка впервые заметил у нее такое выражение лица, и сердце его запрыгало, глаза загорелись и на щеках появился румянец. В нем зародилась уверенность, что его желание исполняется — на него теперь будут глядеть по-другому.

Машка поглядела на деньги и вдруг поймала левой рукой Макарку и прижала его к себе.

— А мы ломали голову, где что взять. А теперь — без заботы. Пятерку старосте отдадим — пусть не грозит, что землю отнимут, а на трешницу травы купим, накосим — телку пустим, у нас и на тот год деньги... да навоз... Добышник объявился,— трепля Макарку по спине, сказала Машка.

— Вот и слава богу! От отца толку не было,— может, от него дождемся,— проговорила мать.— Хоть отдохнем немного.

Она говорила не тем тоном, как прежде, и взгляд у нее был другой. Макарке было и радостно, и отчего-то грустно.

Фенька была в рядах. Когда она пришла и ей сообщили, что из Москвы пришел Макарка и принес денег и по платочку, она вбежала в избу, обхватила его и крепко поцеловала.

И весь этот день Макарка чувствовал сладкий туман, который окутывал его и нежил, как ничто не нежило его никогда в жизни. За все время после смерти отца в первый раз Макарка лег спать счастливый и удовлетворенный. Он теперь не чужой для своих кровных, на него не будут уже глядеть как на лишний ком, попадающийся под ноги на дороге. И он хотя чувствовал, как в будущем, чтобы поддержать себя на этом положении, ему опять придется идти в Москву, опять работать немилую работу и вставать на смену, но это не важно. Важно, что он испытывает сейчас вот, а будущее еще далеко.

И с этим радостным и приятным ощущением Макарка заснул.

1908 г.

На мельнице

Рассказ

I

...Переселившись на мельницу, Тихон очень быстро превратился в Тихона Ивановича и постепенно стал меняться во внешности, в образе жизни, в характере. У него не стало уже мелких, изнуряющих забот, которые — как слепни лошадям летом — не дают покоя крестьянину. Жизнь пошла сытая. Он завел хорошую лошадь, поросят, гусей, уток. У него стало расти брюшко; подернулась жирком и баба; дети вволю спали, не ходили в поле на работу, сытно ели. Деревенские им завидовали и говорили, что они попали к Христу за пазуху.

Эта осень обещала Тихону Ивановичу большую прибыль. Лето было дождливое, и воды в реке стояло много. Хорошо вычиненные за лето снасти работали так, что дрожали стены. Помольщики ехали гужом и только в субботу к вечеру приостанавливались. Тогда колеса запирали, откидывали вешки. Сутуловатый работник Савостьян, с курчавой, всегда запыленной мукою бородой, отчего она казалась чалой, с овечьими глазами, выгребал из-за обечайки насыпавшуюся туда муку, и все шли домой. Тихон Иванович первым делом шел в баню, потом они ужинали остывшими жирными щами, от которых сало налипало на ложку и липло к усам, а потом ложились спать.

В воскресенье Тихон Иванович с мальчишкой-сыном, ходившим в церковноприходскую школу, и подростком-дочерью ехал в церковь на высокой лошади, в рессорном тарантасе. Пешеходы сторонились с дороги и кланялись ему, а он степенно обнажал голову, бесстрастно говорил: «Здорово»,— и, надевши картуз, хлыстал по лошади вожжой и обгонял их.

По приезде из церкви они пили чай, ели пироги со свежей капустой. К чаю мельничиха ставила на стол густого кипяченого молока. Когда вылезали из-за стола, то Тихону Ивановичу вдруг делалось скучно и он не знал, куда ему себя девать.

«Экие счастливые бабы! — думал он. — У них все дело; а тебе вот и делать нечего... да и не хочется...»

И он заваливался спать.

Выспавшись, он отправлялся опять в село, но уже пешком. Теперь он шел в трактир, садился за стол, приглашал к себе трактирщика, бледного, остроносого, с синевой под глазами и редкой черной бородой, и заказывал рябиновки. И они пили и закусывали мелкими мятными пряниками. У трактирщика был сынишка-гармонист; они подзывали его и заставляли играть. И мальчик играл весь свой репертуар, в который входили «Дунайские волны», «Марсельеза», «Славься» и все новые песни. Тихон Иванович все слушал с одинаковым удовольствием. К вечеру в трактир приходили ребята из соседних деревень. Они пели, плясали, на них собиралось глядеть все село. Глядел на ребят и Тихон Иванович. Он уходил только тогда, когда трактир пустел.

В понедельник же с третьих петухов Тихон Иванович поднимался и шел на дело. С деревянным фонарем с закопченными стеклами он выходил из своего дома, шел в темноте, освещенной сверху яркими ночными звездами, и скрывался в холодном мельничном амбаре, где пахло кисловатой мучной пылью. Савостьян смазывал все оси, а мужики, подъезжая один за другим, втаскивали свои мешки наверх и укладывали их около деревянных жерл корцов, в которые засыпалось зерно. И как только Савостьян кончал смазку, мельницу пускали в ход.

II

Молоть привозили все больше мешками. Рожь застоялась в поле, все запасы подъели и у себя, и у соседей; поэтому как только установилась погода и началась молотьба — на мельницу ехали почти из каждого дома. Подводами набивали весь двор, стояли на улице; некоторые размещали свои телеги вокруг дома мельника. Каждому хотелось вовремя смолоть; поэтому каждый зорко сторожил свой черед. Помольщики были мужики, бабы, молодые парни. Они сидели на мешках, на стенках закромов, на обрубке, где обтесывались кулаки, на лестнице, которая вела к жерновам. В полусвете, что шел от семилинейной лампочки с запы-

ленным стеклом, все эти фигуры, поеживающиеся от предрассветного холода, имели большое сходство с курами, сидящими на насесте.

«Д-да, вот приехали,— размышлял Тихон Иванович, стоя около первой снасти у ящика, в который сыпалась теплая душистая мука,— поесть захотели; а коли человек хочет есть, он и другого кормит. Не будь у них зерна — что бы мне молоть тогда? А не будь у меня мельницы — пришлось бы им, как свиньям, пареную рожь есть...»

На мельницу приезжали его односельцы, с которыми он, когда сидел на тягле, водился чуть не за воротки, или такие, что судили обо всем совсем противоположно тому, как думал Тихон Иванович. Тихон Иванович старался обходиться со всеми с уважением. Он говорил мягко, участливо, расспрашивал, как у них поживают, что у них нового.

В амбаре заводился разговор. Старый рыжий мужик, в огромной шапке, поместившийся на верстаке, тонким, жидким голосом говорил:

— На все божье соизволение. У моего шурина книга такая есть, в ней все предсказано. Последнее время, говорит, будут глады, моры, земные трусы... Восстанет народ на народ, брат на брата. Все объяснено.

— Брат-то на брата давно восстает,— заметил другой мужик хриповатым голосом, и на его красном лице с толстым горбатым носом появилась хитрая усмешка,— а вот чтобы мужик на барина пошел — об этом в Писании не сказано.

— Все есть,— горячо уверял рыжий,— ничего не упущено, там высчитана всякая планида.

— Ну, стало быть, Хвостоногов этого не читал, а то он не стал бы этак сурьезничать...

— Они этого не читают,— степенно заметил стоявший у весов односелец Тихона Иваныча, Герасим Храмцов, молодой еще мужик с большой белокурой бородой.— Они по-другому курс держат. Святое писанье нужно, мол, для мужиков... Они, мол, дураки, головы у них не завострены, а они — сами себе напишут.

— Вот это так! — согласился хриповатый.

Его тон и смех были неприятны Тихону Ивановичу: в них чувствовалось зло, а злых он стал бояться. Прежде, когда он жил с мужиками на одном ряду, они ему казались безразличны, теперь же у него екало сердце.

«Злой человек — бесшабашный, от него всего жди; он

только голому не страшен, а у кого кое-что есть, он и того... может и вред принести».

Еще ему неприятно было такое пренебрежительное отношение к господам. «И господа — люди... Если они наверху, а не внизу, так им такие таланты даны. У них так голова поставлена. Они все могут и устроить, и содержать. И всяк их слушается, а наш брат дома не укрепит, не удержит в руках своих кровных. Нашего брата родные сыновья не слушаются — как же нас с господами равнять?»

Но он только думал, а не высказывал своих мыслей. За последнее время у Тихона Ивановича появилась полная способность к этому и укреплялась. «Зачем держать все на ладони? — думал он.— Попадешь на озорника, он у тебя же вырвет да тебе в глаза бросит. Лучше промолчать».

И он или молчал, или поддакивал. Начистоту же он говорил только дома с своими. Там у него что было на уме, то и на языке.

III

К рассвету двор набивался так, что новым приезжим не было места, и они ставили своих лошадей вокруг мельникова дома. Мужики шли в амбар, а бабы забирались в кухню. Мельничиха, небольшая, в темно-серой карусетовой кофточке и бумажной юбке, простоволосая, топила печку. Она всегда была довольна, когда на кухню набивались бабы. Они разговаривали между собой, рассказывали новости, бывшие в их деревнях. Все это развлекало и вносило в одинокую жизнь некоторый интерес.

— А я эту молодуху-то не знаю,— сказала мельничиха, взглянув на вошедшую в кухню бабу лет тридцати, высокую, с тонкими щеками, прямым носом и гладким лбом. У нее были большие глаза, опушенные черными ресницами, глядевшие необыкновенно печально. И все ее худое, когда-то красивое лицо казалось грустным, как дерево, потерявшее листья.

— Наша свибловская, со мной приехала,— поспешила объяснить долголицая старуха с большим носом.

— Раньше-то, должно, не ездила. Чья она?

— Самойлова дочка... Она в другую деревню отдадена, ну и не ездила.

— Во-от! — поняла мельничиха.— То-то я смотрю, не-

знакомое лицо. Ты что ж, к отцу-то с матерью погостить приехала? — обратилась мельничиха прямо к молодухе.

Та взглянула на мельничиху, как бы желая дать ей понять, чтобы к ней не приставали, но мельничиха этого не поняла. Молодуха отвернулась в сторону и сквозь зубы проговорила:

— Погостить.

— Пускают тебя свекры-то, ничего?

— Ничего...

Баба встала и, нервно шагая, направилась к двери и вышла из избы. Мельничиха, удивленная, поглядела ей вслед и, обратившись к старухе, спросила:

— Что это она такая, аль с придурью?

— Не говорится ей. Она очень грустит. У ней ноне девочку убили.

— Убили? Ах ты господи, вот несчастная-то! — забеспокоилась мельничиха.— А я, дура, пристала к ней.

— Да, как колосок подкосили,— грустно вздохнув, подтвердила старуха.

Мельничиха бросилась вон из кухни. У двора за углом, где выпряженная лошадь ела из кошеля сено, стояла молодуха. Она приникла головой к грядке телеги и стояла, закрывши лицо руками.

— Родимая, а родимая! — участливо трогая за плечо, говорила мельничиха.— Ты меня не обессудь, ведь я спроста тебя спросила-то.

Молодуха подняла лицо, сделала усилие взглянуть на мельничиху, но сейчас же отвела взгляд.

— Я ничего, что ж!

— Отчего ж ты из кухни-то ушла? Твой черед — не скоро еще; поди-ка к нам, посиди — там теплее.

— Мне все равно.

— Ну, как все равно? У нас там и тепло, и светло. Пойдем... Ах, какое горе-то... А я ведь и не думала.

Вернулись в кухню.

— Може, разденешься? — предложила Прасковье мельничиха.

— Нет, я так посижу.

Она расстегнула кафтан, и из груди ее вырвался глубокий, перерывистый вздох.

— Вот ведь горюшко-то какое! — проговорила мельничиха.— Сколько ей годов-то было?

— Семь годов. Первая девочка, второй грудной был...— стала понемногу разговариваться Прасковья.

Дочь мельника, убравши посуду, затворила шкаф и, повернувшись к нему спиной, устремила свои узенькие глаза на Прасковью.

Мельничиха подсела к столу и стала внимательно слушать.

— Как же это вышло-то — бунтовали у вас, что ль?

— Не бунтовали, а заартачились... Не повезли барину испольного сена; ну, барин-то и прислал этих...

— Пьяных, что ли, подобрал, коли они таких дел наделали?

— Кто их знает-то... Дело было утром, наши еще с покоса не пришли, я на пруду пеленки мыла... и Аксютка это со мной... веселая такая, все время как воробей верещала... Идем с речки-то, а из имения-то и едут... в двух тарантасах, а за ними — человек двенадцать верховых, с ружьями. Остановились у магазеи, слезли с лошадей... из тарантаса господа выходят, один с золотыми пуговицами и воротник белый такой, а с ним господский управляющий. И мужики, глядим, с покоса идут... Стали в заворках, глядят, что за гости приехали. Из деревни это бабы высыпают... Старухи печки топить побросали... Вышли из тарантаса... вышел вперед этот с пуговицами-то, а конные слезли с лошадей и ружья в руках держат... «Староста,— кричит набольший,— выходи сюда!..» Староста, как был с косой, к нему. «Брось косу!» — кричит начальник. Староста отдал сыну косу. «Шапку долой!» — «А что ж,— говорит староста,— нешто иконы несут?» Начальник как закричит: «Я тебе покажу, такой-сякой, иконы!» — да в скуло́ ему. Ну, мужики это зароптали. «Это что ж, кричат, ничего не видя, бить!» — да с косами к тому-то. А начальник как крикнет: «Заступайся за начальство, стреляй!» Мы думали, он это для острастки, а стражники-то правду — как наставят ружья, да в народ. Брызнули — кто куда. И я бросилась в заворки... Мне надо бы в поле, а я в заворки, куда весь народ. Опять ружья — гро-о-х! Гляжу, моя Аксютка взмахнула ручонками да так ничком и тяпнулась... И как закричит не своим голосом. Гляжу, а у ней из спинки кровь забила... Батюшки, пуля попала...

Прасковья остановилась и заморгала глазами. Щеки ее покрылись бледностью и грудь волновалась.

— Схватила я ее на руки. Милая ты моя, голубушка ты

моя! уже упавшим голосом и с остановками продолжала Прасковья. А она вытаращила на меня глазенки,— у ней такие большие глаза-то были. Уставилась на меня, словно спрашивает: «Что же это, мол, такое?» А там опять как закричит: «Маменька, больно...» Зажала я рукой спину ей да домой. Принесла, положила на лавку, стала глядеть...

Лицо Прасковьи покрылось краской и глаза налились слезами. Голос совсем пересекся, и она смолкла. Мельничиха и Анна жалостливо глядели на нее, а девка у шкафа загородила рот рукой и стояла, потупившись, с глазами, полными слез.

— И долго она мучилась? — спросила Анна.

— До самого вечера. Сперва-то кричала, металась и все твердила: «О, мамушка, больно! О-о, больно». Потом моченьки-то уж не стало, стала как плеть и только откроет временем глаза, упрется это в меня, словно я ее это убила,— и опять закроет. Все сердце она у меня этим взглядом-то выворотила...

Прасковья не удержалась и начала глухо взрыдывать. Девка вдруг сорвалась с места и бросилась из комнаты. Мельничиха поглядела ей вслед и утерла концами платка набежавшие на глаза слезы...

IV

Обедали порознь. Сначала приходил Савостьян. Мельничиха наливала ему горячих щей, клала белой, не упревшей еще каши, и он ел наскоро, усердно дуя и часто хлюпая, чтобы остудить обжигаемый «поднаряд» во рту. Он часто припадал к высокой глиняной кружке с квасом и, напившись, опять ел. От еды у него приливала кровь к щекам, и щеки, покрытые мучной пылью, казались лиловыми, а борода — совсем седой.

Наевшись, он отваливался, вставал, тяжело крестился, натягивал одежину и делал цигарку. Закуривши, он выходил из кухни медленно, раскидывая по сторонам глазами, и шел снова в амбар.

После Савостьяна приходил Тихон Иванович. Теперь за обед садились уже всей семьей. Иногда приглашали когонибудь из приезжих близких знакомых и родственников.

На этот раз обедали одни. Тихон Иванович в начале обеда всегда был сосредоточен, угрюм, малоразговорчив, но

по мере того, как наедался, он делался благодушнее, веселее, в нем пробуждалось желание поговорить, он прицеплялся к чему-нибудь и начинал.

Взглянувши на жену и дочь, он подметил, что они чем-то рассеяны. Тихон Иванович встревожился.

— Что это вы такие?

Мельничиха вздохнула и, вставая из-за стола, направляясь в кухню за кашей, проговорила:

— Так, ничего.

— Как ничего, а я не вижу?..

— Расстроила тут нас одна: рассказывала, как у ней девочку убили.

— А-а,— протянул, успокаиваясь, Тихон Иванович.— Я думал, что у нас случилось.

— А это нешто случай?.. Сердце переворачивается.

— Ну, на погосте жить да по всяком покойнике тужить — слез не напасешься...

— Это не всякий; ты бы послушал...

— А я мало слыхал... Меньше твоего?

— За что только страдают?.. Господи!.. Неповинная душа...

— Не наша с тобой.

Мельничиха чуть не вскрикнула, у нее зарделись щеки и загорелись глаза.

— Вот тоже скажет!.. Неужели только своих и жалеть? Жалко всех мучеников.

— Теперь она не мучается.

— Не мучается, а матери-то каково?

— У матери еще будет.

— Удивительно, что ты за человек стал! — уже с негодованием воскликнула мельничиха и ударила руками по бедрам.

Тихон Иванович спокойно ел кашу. Он ел не как Савостьян, а медленно, тщательно пережевывая. Наевшись, он утер полотенцем рот и, откинувшись к стенке дивана, почесывая рукой голову, проговорил:

— Сама себя раба бьет, коль не чисто жнет; и пенять тут не на кого.

— Как же не на кого? Зачем они стреляли-то?

— Они стреляют, а ты не подвертывайся. Две собаки грызутся, а третья не приставай.

— Да если бы она это знала?

А не знала, так будет знать; другой раз умнее будет.

Мельничиха волновалась все больше и больше, слова мужа ее раздражали.

Чурбан ты, как я вижу! с негодованием воскликнула она. Тебя как борова хозяин в закром посадил, а он весь свет забыл.

Тихон Иванович внимательно поглядел на нее и промолвил:

Какой был, такой и остался; только больше живешь — больше понимаешь.

Ничего ты не стал понимать.

Нет, понимаю. Умному тот кусок мил, от какого откусить можно; а где взять нечего, я своего сердца надрывать не стану...

И довольный, что он ловко выразил свою мысль, и чувствуя свое превосходство, Тихон Иванович поднялся с дивана и снова стал одеваться.

1909 г

Алешка

Рассказ

I

После пасхи Алешка узнал, что отец его не пойдет в Москву, и у него запрыгало сердце от радости. Отец был фабричный, до этого жил в Москве круглый год, домой приходил только к пасхе и кое-когда летом на покос. Когда он приходил домой, то приносил гостинцев — какую-нибудь игрушку, рассказывал ему про Москву, где так много диковинок, про фабрику, про людей, что из разных мест набивались в Москву на заработки. За этим шли разные истории-сказки. И Алешка так это любил, что для него приезд отца в деревню всегда был праздником.

Но радовался отцу только один Алешка. Мать, старшая сестра Наташка, подросток, когда узнали, что отец в Москву не пойдет, опустили головы. Они жили бедно, ихнее поле было тощее, родило плохо. Главной поддержкой их было то, что отец зарабатывал и присылал им из Москвы. Теперь этот источник прекратился, и они начали коситься на отца и грубить ему на каждом шагу.

Отец был маленький, худой, бледнолицый, всегда печально глядевший серыми впалыми глазами. Он чувствовал недоброжелательство семейных и стал сжиматься. Эту весну он был менее разговорчив, реже смеялся и только на Алешку глядел все с той же нежностью; чаще вздыхал и кашлял. Кашлял он чем дальше, тем сильнее и становился худой, как скелет, лицо делалось землянистое, под глазами выступила синева. Кашлял он все страшнее и страшнее.

В поле он никогда путем не работал, у него ничего не выходило. Его никто и не считал крестьянином. Когда он жил дома, с ним неохотно складывались косить и молотить. Это же лето он совсем не брался за земельную работу, а ходил в лес за прутьями на загородку, собирать грибы. В покос он разбивал сено у сараев, осенью сушил овин. Алешка всегда был около него. Он тащился за ним в лес, в сарай,

в овин. Отец, по обыкновению, больше всего говорил только с ним, все ему рассказывал, хотя к осени ему и говорить стало трудно. У него начал пропадать голос. И вдруг он совсем свалился.

Пролежавши несколько дней, он устал лежать, вышел из своего угла, накинул полушубок и подсел к окну, чтобы поглядеть на улицу. На улице было светло. Только что выпал снег. Отцу, видимо, приятно было глядеть на эту белизну. В это время мать принялась мыкать лен. В избе поднялась пыль. Отцу стало трудно дышать. Он оглянулся на мать и сказал:

— Нашла время. Не можешь подождать-то...

— Чего ждать-то? Дело-то нас не ждет! — грубо ответила мать.

Отец вдруг закашлялся. Кашель поднялся такой глубокий, точно изнутри его хотело все вылезть, но никак не могло. Алешка никогда не видал такого кашлю. Отец изо всех сил тужился откашляться, но не мог. Вдруг у него подкатились под лоб глаза и изо рта хлынула кровь. Он стиснул зубы, но кровь просачивалась сквозь зубы, текла по бороде. Он положил голову на руки на стол, на столе вскоре кровь собралась целой лужей. Кашлять отец перестал, но он уже не шевелился. Когда мать подошла к нему, отец был мертв.

II

Смерть отца прошла незаметной для деревни. Никто этому не удивился, никто не пожалел. Хотя снег выпал, но дорога до села не установилась. Встречались частые глыбы, сани, на которых везли гроб, подскакивали, и тело в гробу сбилось набок. В церкви его пришлось перекладывать.

Когда возвратились с погоста, в избу стал набиваться народ на поминки. Алешку мать выгнала из избы, чтобы он не мешался. Он пошел к овину, потом за сарай. За сараем был пруд, уже покрывшийся льдом, и на нем катались на ногах ребятишки. Все они были румяные и веселые. Одному Алешке было невесело. Он робко подошел к одной кучке и поглядел, что они делают. Ребята играли в коровку. Все до того разрезвились, что понурый вид Алешки казался им обидным. Николка Хромов, всех больше из артели, смелый и бойкий, мазнул Алешку по губам холодной рукавицей и крикнул:

— Ну ты, сиротинка, бешеная скотинка, чего нос-то повесил?

— Не трожь! — плаксиво крикнул Алешка, и у него сейчас же выступили слезы.

— Что ж, отцу, что ли, скажешь, так его теперь нету... схоронили...

— А отец-то его что сделал бы? — сказал Васька Лопух.— Он и был-то дохлый.

— Отец дохлый, а он дохленок!..

— Дохленок! Дохленок! — стали дразнить Алешку ребятишки.

В это время еще один мальчишка разбежался по льду и поехал на ногах прямо на Алешку.

— Держись! — крикнул он и тотчас же сбил его с ног.

Алешка больно стукнулся об лед затылком. В глазах у него пошли радужные круги. Боль и обида проникли до самого сердца. Он с трудом поднял голову и, оставаясь в сидячем положении, заплакал. Плач его раздразнил разыгравшихся ребятишек.

— Ты что плачешь? — крикнул Николка.— Тебя еще не били, а ты плачешь? Вот тебе, чтоб не задаром!

Он подскочил к Алешке и со всего размаха дал ему в спину.

— Так и надо,— крикнул Васька,— вот и с моей доли!

Алешка выл, пока не обессилел. Затем он поднялся на ноги и, шмыгая обмерзлыми сапогами, пошел ко двору. И дорогой он выл. Старик Нефед шел в сарай за сеном. Увидавши ревущего мальчишку, он остановился и спросил:

— Ты что это, а?

— М-меня прибили! — захлебываясь с слезах, простонал Алешка.

— Кто?

— Филька с Васькой!

— А-ах собачьи дети!.. Вот подлецы-то! Да с их за это стащить порчонки да в снег голышом так и посадить... Нешто можно... Я бы им задал!..

Алешка пошел дальше. Он шел ко двору, но ему не хотелось домой. Отца у него теперь не было, а мать с сестрами его не пожалеют. Представив себе это, Алешка снова завыл.

Он дошел до своего амбара, забрался на его мостенки, запрятал руки в рукава и, улегшись головой на порог, долго еще выл. В его вое иногда можно было разобрать слова. Этими словами он упрекал отца, зачем он умер и оставил его одного.

III

Проснувшись на другой день и вспомнив, что у него отца уже нет, что он никогда его не увидит, Алешка особенно сильно почувствовал эту потерю. Неужели он никогда его не увидит? Будет жить без него? Ему подумалось, что это сон, в нем теплилась надежда, что он проснется и увидит отца.

Но вот хлопнули двери. Мать в масленом полушубке вошла в избу, впустив облако холодного пара, с охапкой хвороста, готовясь затопить печку. Курносая, весноватая, с ямочками Наташка сидела на лавке и, запустив себе руки в копну волос на голове, с ожесточением скребла там. В окно глядел бледный ноябрьский день, и эта бледность живо напомнила ему, что отец умер, и убедила его, что он умер.

Снова его сердце стиснуло болью и обидой, и все чувства его спутались. В глазах у него стояла ломота от прихлынувших слез, а в груди закипала злоба, и злоба эта была и на судьбу, и на Николку с Васькой. До сих пор Алешка никогда не ненавидел. Он боялся матери, Наташки, некоторых мужиков. Но сейчас в нем проснулась еще непонятная ему хорошо ненависть, и он стал придумывать, что бы с ними случилось такое в отплату за обиду его.

«Вот если бы лед провалился... Они разбежались, а лед — хряск, и они в воду».

«А то язык бы к железу приморозить».

Алешке пришло в голову об языке потому, что такой случай был с ним. Одной зимой он вышел из избы. На водяной кадке у двора висел железный ковшик, а на него налипли снежинки всякие: звездочки, крестики, так красиво... Он хотел слизнуть эти снежинки, но теплый язык пристал к холодному железу и сейчас же примерз. Пришлось оттаивать его теплой водой.

«Вот бы им так!» — вздохнув, подумал Алешка и стал представлять, как бы они заплясали в этом случае.

Но в это время раздался голос матери:

— Выспался, что ли, так вставай, опоражнивай угол, а не выспался — полезай вон на печку, а здесь убирать нужно.

Алешке стало особенно больно сейчас, что мать так грубо говорит. Отчего она не скажет ласкового слова, нешто это так трудно? Ведь ласковую речь так приятно слушать. Вот как отец, бывало...

Ребята-обидчики вылетели у него из памяти, и их место

опять занял отец. С думой об отце он скатился с постели, влез на печку и забрался за трубу.

На печку влезла кошка и задела Алешку хвостом по носу. Алешка открыл глаза, протянул к ней руку и хотел привлечь к себе. Но кошка выскользнула из его рук и прыснула на полати.

«С кем я летом в лес пойду?..» — думал Алешка

Грудь его давило все больше и больше. Ему становилось невыносимо больно и хотелось так кричать, как кричит человек, когда на него что-нибудь навалилось.

— Вставай, что ль, завтракать! — опять послышался грубый голос матери.

Алешка спустился с печки, пошатываясь, подошел к рукомойнику, взялся за его дудочку и, намочив ручонку, стал мазать ею свое лицо. Потом утерся и, обратившись лицом к окошку, стал молиться.

— За отца помолись! — сказала ему Наташка.

Алешка усердно заколыхал головою и размашисто сделал земной поклон, потом второй и третий.

— Ну, будет уж! — остановила его мать.— А то сразу в рай попадет. Уходи с дороги.

Накрыли на стол. Завтрак был обильный — оставшиеся от поминок селедки, каша, кисель с медом. Но Алешке не хотелось есть. Он еле возил ложку, сидел за столом молча и ни на кого не глядел. Когда кончили завтракать, мать сказала:

— Ну, ступай, на улице побегай, нам в избе прибраться нужно.

Алешка натянул на себя полушубок и вышел из избы. Идти ему было не к кому. Ребята после вчерашнего ему опротивели. Нечего было и делать. По двору все управляла одна Наташка, и его ни до чего не допускали. Алешка опять вспомнил отца и, забившись в соломенную шалашку у двора, где прятали сено, лег грудью на одну корзину и опять заплакал, как вчера.

IV

Подходило рождество. Ребята готовились ходить по дворам и славить Христа. Алешка тоже знал рождественские тропари и тоже пошел. Ему, как сиротинке, подавали везде охотно. Он набрал пятнадцать горстей льна и семнадцать копеек. Мать, узнавши о его добыче, одобрительно сказала:

— Вот и ладно... пригодится. Лен Наташка отпрядет — новые портянки ко святой отрежет.

Алешка стал думать, что ему делать с деньгами. Был бы отец, он отдал бы их ему,— матери же отдавать деньги Алешке не хотелось.

Мысль об отце опять разбередила его сердце. Все радостное испарилось из его души. Его опять охватил тот холод, который все время леденил ему грудь. Не к кому ему прильнуть ни в горе, ни в радости. Никому он не дорог, не нужен без него.

Вдруг у Алешки мелькнула такая мысль: помянуть на эти деньги отца. Он знал, что за покойников служат обедни, подают нищим, за отца же ничего такого не делали, и ему небось там плохо. Он хотя усердно молился за отца сам, утром и вечером твердил на молитве: «Помяни, господи, душу усопшего новопреставленного Михаила... И небесному царствию сопричти...» Он молился, чтобы отец снился ему во сне, но отец во сне ему не являлся. Стало быть, его молитва не доходит...

Алешку как огнем озарило. Он даже затрепетал. Раздать все, пусть помолятся... У Алешки закружилась голова.

Христославенье шло до рассвета. Когда рассвело, ребята, сложивши дома лен, выходили на улицу, собирались в кучки и хвастались друг перед дружкой, кто сколько наславил, куда они денут деньги. Одни хотели прожить их на пряниках, другие — беречь к весне на бабки. Один Алешка молчал. Его деньги назначались совсем на другое, и он ждал только случая, как бы их употребить.

Совсем рассвело, и в деревню пошли нищие. Они шли бойко, поеживаясь от мороза. Вот Сеня Косой: косой и кривобокий, у него была коротенькая шубейка, чуни и большая сумка. Только он вошел в улицу — Алешка подбежал к нему, сунул две капейки и сказал:

— На, помяни тятьку.

Сеня сбоку взглянул на Алешку, улыбнулся и сказал:

— Ладно, а как его звали-то?

— Михайлой.

— Дело. Помяни, господи, раба Михаила.

За Сеней пришла Мариша-дурочка, и ей попала копейка...

Когда у Алешки остался один пятачок, в деревню входили двое «убогих» — подслеповатый Яков с плоским лицом и рыжей щетинистой бородой, повязанный под шапкою плат-

ком, и его поводыриха Лариса, маленькая, сморщенная, как сморчок, старушка, закутанная в десять одежонок. Алешка подбежал к ним и, сунув в руку Ларисы последний пятачок, крикнул:

— Нате вам...— помяните раба Михаила.

Лариса взяла пятачок, поглядела на Алешку и сказала:

— Ладно, помянем.

И она толкнула Якова. Тот снял шапку, перекрестился, точно он гонял мух с носа, и резким, скрипучим голосом запел:

Ай-дда-воспо-мя-янет господи!
Ро-одителей ваших срод-ников...

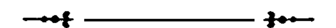
Когда пенье кончилось, Алешка почувствовал, что у него точно гора с плеч свалилась. Ему думалось, что он сделал что-то хорошее для отца, и от этого ему было легко-легко. Веселый, с сияющими глазами, он опять побежал домой.

— Ну, где ты там шляешься-то? — встретила его мать.— Разговляться пора.

Мать говорила всегда грубо, но ее тон уже не задевал Алешку. Он взглянул на сидевшую за столом Наташку. У ней был повязан новый ситцевый платок с желтыми цветочками, она в этом платке почему-то походила на бабу. Но Алешке и сестра казалась миловидной.

Радостный, с ровно бьющимся сердцем, Алешка принялся за еду. Горе его было забыто.

1913 г.



Беженка Луиза

Рассказ

I

Стуловы всей семьей сидели за завтраком. И старые и малые друг за другом протягивали ложки к блюду с обжаренным картофелем и молча усердно жевали. Глядели все спокойно и довольно; у подростков на щеках выступил веселый румянец и в глазах сверкал задорный огонек. Сегодня у них помолотки. Обмолотили все остатки. Послезавтра пропустят ворох, оправят омет, и можно будет загораживать овин и забыть к нему дорожку до другой осени.

И пора. Зима уже дает себя знать очень настойчиво. Все продолжительнее заморозки по утрам, солнца не видно по целым дням. По небу то в одну, то в другую сторону медленно и низко движутся густые, как будто перегруженные чем тучи и точно выбирают место, где бы им остановиться и разгрузиться. И если они выбросят то, что их обременяет, тогда плохо будет тем, у кого останутся необмолоченные снопы или неубранная на усадьбе солома... Да и другие дела ждут. Поговаривают, что нужно делить дрова и валить участок...

— Ну, вот и сыты, слава богу,— проговорил, положив ложку и обтряхивая рукой свою густую темную бороду, Мартын.— Налей-ка нам, хозяйка, чайку.

— И мне,— блестя глазами и чему-то улыбаясь, заявил шестнадцатилетний Ларька.

— Подождешь, не всем сразу, постарше тебя есть,— оговорила мальчика Татьяна и перевела глаза на большака Андрея, с явным отпечатком перенесенной боли на худом и бледном лице.

Андрей был ратник, со второй мобилизации пошел на войну, ходил с своей дружиной вблизи передовых позиций, участвовал в наступлении на Восточную Пруссию, при отходе был ранен в ступню ноги и левый бок, долго лежал

в лазарете и только недавно пришел домой, освобожденный от военной службы навсегда.

Дома Андрей пока отдыхал. Ходил он с костылем, поэтому работать ему было трудно, но ему не сиделось на месте; он шел в овин, когда молотили, в сарай, когда туда шли за кормом, встречал скотину, когда ее пригоняли из стада. Мать его удерживала, но Андрей не слушал ее и совался во всякий след. Сегодня он еще до свету отправился в овин и был там с молотильщиками до конца.

— Наливай ему, я подожду,— взглянув на Ларьку, улыбаясь, выговорил Андрей.

— И он подождет, не велик барин...

— У нас никого господ нет,— огрызнулся Ларька.

— Всем достанется, не торопитесь,— степенно сказал Мартын, наливая в блюдце желтый дымящийся чай и с наслаждением схлебывая его. Но Ларька, не обращая внимания на слова отца, продолжал ерошиться:

— Молотельщикам надо вперед увагу сделать.

— Ах ты... молотельщик! — упрекнула его мать, но все-таки подала ему чашку прежде Андрея.

— А что ж, нешь мы не молотельщики? — заступилась за брата Наташка.

— Все помощники, что тут говорить,— примирительно проговорил отец.— Если бы не они, нам нешь теперь развязаться? Протянули бы до Николы.

И сознание, что они развязались с этой работой, привело всех опять в покойное состояние, посыпались шутки, зазвучал смех...

С улицы доносились удары в чугунную доску. Сначала звуки неслись издалека, но дальше они слышались ближе. Это был созыв на сходку. Мартын прислушался и проговорил:

— Зачем это такое?

— Небось какие-нибудь новости,— сказала Татьяна.

— Новости из волости! — выговорила Наташка и вдруг фыркнула на свои слова, на нее глядя захохотал Ларька. Татьяна только поглядела на них, но ничего не сказала.

Ясно, что звали на сходку, но теперь сходка не тревожила их. Будет, потревожились они прошедший год, как только объявили войну. Каждый день они встречали со страхом, не объявили б призыва. Призыв наступил, Андрея взяли, тогда пошло ожидание известий. Каждое полученное

письмо заставляло сжиматься сердце у отца и матери. А потом сколько горя пережили они, когда пришло известие, что Андрей ранен. Татьяна думала, что не придется уж ей больше и увидеть своего кровного... А он вот, дома. Правда, не таким, каким пошел, но все-таки жив, и больше его не потревожат. И это сознание не только прочно успокоило их, но породило какое-то тупое довольство. Какие беды ни будь теперь ихнему дому, они не так страшны. Их семья будет стоять от них в стороне...

— Давай-ка, наливай еще,— выговорил Мартын.— Нужно будет сходить узнать, что там такое?

— И я пойду,— решительно заявил Ларька.

— А тебе что там делать?

— Так, постою да послушаю.

— А в овине убираться?

— Что ж я, один пойду?

— Ладно, все сделается,— опять примирительно проговорил Мартын и, допив стакан, двинулся из-за стола.

— А ты ложись, полежи,— предложила Андрею мать.

— Я не устал.

— Как не устал? Ни свет ни заря со двора пошел, зачем было ходить?

— Нужно ж разминаться.

— Придет время — разомнешься.

Андрей хоть и отговаривался, но все-таки подошел к конику и лег; когда он вытянулся, то по всему стало видно, что ему гораздо лучше в этом положении. Мать почувствовала это и опять сказала:

— Вот и ладно. Лежал бы так больше, скорей бы оправился. А то ходишь, куда тебя не спрашивают. Только себя трудишь.

— Скучно все лежать да молчать...

— Скучно здоровому.

— И я здоров.

— Здоровый, а калекий,— выговорила Наташка и опять засмеялась.

II

Посуда была перемыта и убрана в шкаф, самовар унесли в чулан. Татьяна совсем развязалась с печкой и заставила девочку мести пол. В это время в избу вбежал Ларька,

еще более румяный, запыхавшийся. Он только переступил порог, как торопливо проговорил:

— Беженцев в деревню привезли.

— Откуда?

— Из города, на житье размещают. Нам двоих наставили.

– Кто ж они такие?

- Не знаю. Отец сейчас приведет.

– Милые мои! — взвизгнула Наташка и выпустила веник из рук.

Андрей приподнялся с изголовья. Татьяна стояла, растерявшись, не зная, как принять ей неожиданно свалившуюся новость. О беженцах говорили давно. Опрашивали, сколько деревня может принять и поместить их. Составили список. Но пока говорили, тогда об этом и думали, а разговор прекратился — и все вылетело из головы. И вдруг вышло, что их пригнали, нужно их принимать. Отводить им место, стесняться, беспокоиться, да еще в такое время, когда у них неоправившийся больной.

Но сейчас же Татьяна вспомнила все, что говорилось про беженцев, сколько им пришлось перенести муки, страданий. У них разорили все и самих их выгнали из родных мест. Что, если бы это случилось с нами? Растерянность Татьяны сразу исчезла. Сердце ее всколыхнулось, и она ясно поняла, что им нужно делать. Быстро повернувшись, она окинула взглядом избу, какие в ней непорядки. Забросила на печку валенки, тряпье, поставила на место скамейку и спросила Ларьку:

— А кого к нам назначили-то, мужиков али баб?

— Какую-то старуху с дочерью. Два узла у них с добром да ящик. Ящик на подводе везут.

— А к другим кого?

— К Коробкиным старик сам-третей, к Павловым две бабы...

Ларька рассказывал, Татьяна одним ухом слушала и соображала, как и где им разместить нечаянных квартирантов. Правда, у них есть другая изба,— так ее нужно отдельно топить, лишние дрова тратить...

Послышался стук отворяющейся калитки и шаги, в сенях что-то тупо стукнуло, и отворилась дверь в избу. Вошел Мартын, а за ним две женщины. Женщины обе внесли в избу по узлу. Одеты они были в теплое, головы укутаны в шали. Первая женщина была небольшая, худоща-

вая; она сейчас же сложила узел и глухим, печальным голосом, не чисто выговаривая по-русски, проговорила:

— Здравствуйте.

Вслед за нею «здравствуйте», и так же не чисто выговаривая, сказала и молодая.

— Просим милости,— ласково и приветливо вымолвила Татьяна.— Скидавайте с себя одежу. Уж если к нам жить приехали,— робеть нечего, я сейчас самовар вам подогрею.

— Спасибо,— опять плохо по-русски сказала старшая и стала развязывать узлы шали на спине.

Молодая быстро освободилась от одежды и осталась в вязаной шерстяной кофте и серой плотной, из чего-то домотканого, юбке. Она была статная, круглолицая, с большими серыми глазами и целой шапкой белокурых волос на голове. Несмотря на здоровье и красоту, глаза ее глядели печально. Старая же женщина была худая, изможденная, с лица ее сбежали все краски, и в глазах было только горе...

— Дочка моя, Луиза звать,— объясняла старшая, кто ей будет младшая.

— А самое тебя как?..

— Меня Анна.

— Хорошее дело,— одобрила Татьяна.— А это вот мои детки.— И она назвала своих детей.

Андрей первый захотел узнать, из каких они мест:

— А откуда вы будете?

— Из Курляндии. Под Митавой у нас ферма была. Латышки мы,— сказала старшая.— Жили целой семьей,— хозяин, сын молоденький. А остались мы только двое с дочкой... Только двое...

Неожиданные рыдания оборвали слова старухи. Она опустилась на лавку к столу. У Луизы только глаза сразу налились слезами. Но она быстро повернулась и подошла к матери.

— Будет, мама. Зачем себя тревожить, нужно забывать.

— Как забывать? — с рыданием воскликнула Анна.— Когда в один год столько бед...

И она стала перечислять свои несчастья. Когда открылась война, они не думали, что на их край нападут немцы. В их местах стояло много солдат. Они все ехали на прусскую границу, передвигались целую зиму. Но вот наступила весна, и все вошло по-другому — солдаты хлынули

назад, стали летать немецкие аэропланы. Пошли слухи, что немцы вблизи. Их сын, подросток, пошел раз в лес, лес вдруг заняли немцы. Мальчик испугался и забрался на дерево. Немцы увидали его, заподозрили, что он следит за ними для русских, и застрелили. Отец после этого вступил в латышскую дружину добровольцев. Ему хотелось отомстить за смерть сына, но в первой схватке убили и его... Ферму сожгли, имущество разграбили. Они прежде жили в своих городах, то в одном, то в другом, но их край все заполняли немцы. Тогда они согласились поехать внутрь России. И вот их назначили сюда.

— Уж эта война, чтобы ей ни дна ни покрышки! У нас вот тоже парня искалечили,— глубоко вздыхая, проговорил Мартын.

— Тоже на войне? — поднимая заплаканные глаза на Андрея, спросила Анна.

— На войне.

— В ваших местах,— вмешался в разговор Андрей.— Мы у вас долго стояли, пока не погнали в Восточную Пруссию. Потом назад мы шли тоже этими местами. Сраженья принимали.

— В эти сраженья у нас, говорят, всю землю изрыли и сады и поля погубили.

— Верно,— подтвердил Андрей,— ничего не миловали, не один народ изуродовали, а и землю. А какие ваши места хорошие, земля какая, порядок, аккуратность! Мы еще глядели да думали: вот молодец народ, живет не по-нашему.

III

Татьяна подогрела самовар, Наташка накрыла на стол. Подали хлеба, свежего картофеля, гостей усадили за стол и принялись угощать. Беженки все вспоминали про свою жизнь, о многом говорили. Стуловы внимательно слушали их и жалели, а Ларька с Наташкой, как ни были весело настроены с утра, но при рассказах беженок у Ларьки стали серьезные глаза и как будто старше лицо, а Наташка поминутно вздыхала.

— Д-да,— вздохнув, выговорил Мартын,— у вас от такого житья было больше ко всему привязки. От этого вам везде будет скушно. И у нас вам трудно покажется... Нешто во

что, баба,— обратился он к Татьяне,— чтобы им поспокойнее у нас помещаться, отвести им ту избу?

Та изба у Стуловых была поменьше. Ее оставили от старой стройки на всякий случай, втайне подумывая, что вот, может, женится Андрей, и тогда в той избе поселятся молодые. А когда война отдалила эту надежду, избу пустили под всякую всячину, в ней лежало кое-какое добро, лишняя сбруя.

— Что ж,— согласилась Татьяна,— ее разобрать недолго, разобрать да вытопить — и пусть живут на здоровье.

— Желаете, что мы вам отведем отдельную избу? — спросил Мартын у латышек.— Будете вы жить, как захотите, никто вам не помешает.

— Спасибо, это было бы очень хорошо. И мы вам тогда не помешаем.

— Вот-вот, будем друг к другу в гости ходить,— уже весело воскликнул Мартын и, обратившись к Татьяне, добавил:— Разбери им, хозяйка, избу, принеси дров, а мы на свое дело пойдем. Ларька, Наташка, идемте овин освобождать...

Татьяна показала беженкам избу. Они вынесли из нее, что там лежало, и попросили Татьяну больше не беспокоиться. Они сами взялись и вытопить избу и вымыть ее. Татьяна не перечила.

День прошел, и надвигался вечер. Когда смерклось и Мартын с ребятами вернулся домой, то ни беженок, ни их узлов, ни ящика с их добром, оставленного давеча в сенях, не было. Татьяна сказала, что они совсем устроились в старой избе и, кажется, очень довольны.

— Ну и слава богу, а у избы авось углов не обгрызут.

— Что ей доспеется. Только и расчет, что лишние дрова.

— В дровах как-нибудь обойдемся. Для такого случая можно будет потерпеть.

— Случай случаем, да и народ, кажись, хороший.

— Там все больше хороший народ,— вспоминая латышский край, сказал Андрей.— Надежный, хозяйственный. Когда мы у них стояли, нам даже дивно было: живут люди на той же земле, а все у них отменно. И сами серьезные, зря слов не кидают, и земля в уходе, и скотина в аккурате, сытая, чистая. Куры и то не то, что у нас. Бывало, кто-нибудь из наших согрешит: поймает украдкой какую птицу, так и в птице другой скус...

— Видать, что на других дрожжах замешены. Каков-то другим кому народ попал?

Про других пока не знали. Всех беженцев в деревню пригнали двенадцать семей. Всех их распределили по домам, но как у кого кто устроился,— было еще неизвестно.

— Узнаем еще,— проговорила Татьяна и зажгла лампу.

В это время в сенях послышались нетвердые шаги малознакомого с ходом человека. Татьяна подошла к двери и отворила ее. В избу вошла Луиза. На щеках ее горел румянец и глядела девушка много веселее, чем утром. Улыбаясь, она проговорила своим неправильным выговором:

— Пожалуйте к нам на новоселье. Мы с мамой хотим угощать вас, только захватите с собой чашки, у нас не хватит.

— Да что вы, бог с вами, нешто мы хотим от вас какого угощенья? — стала отговариваться Татьяна.

— Нет, пожалуйста, мы будет соседями. Вы нас хорошо приняли, спасибо вам. А теперь пойдемте к нам, получше познакомимся.

— Что же мы всей семьей к вам привалим?

— Ничего, так лучше. Что есть, тем и угостим.

— Ни к чему бы,— попробовал упереться Мартын.

Но Луиза опять стала упрашивать и не отставала. Делать было нечего, пришлось согласиться.

— Хорошо, пойдем, вот только маленько оправимся.

— Так дайте мне пока ваши чашки.

Татьяна собрала Луизе посуду. Наташка вызвалась помочь Луизе донести ее. Когда она ушла, Ларька проговорил:

— Вот так дела, в своем дворе в гости пойдем.

— Ты-то, пожалуй, не ходи, ступай к товарищам на улицу,— полушутя сказала Татьяна.

— Да как же, что же я, не из этого дома? Вы пойдете, а я в стороне?

— Пойдем, пойдем,— заступился за братишку Андрей,— всем-то охотнее будет.

Татьяна оправилась, принарядилась, Мартын надел поверх рубашки пиджак, и все гурьбой двинулись к своим новым жильцам.

IV

Когда Стуловы вошли в свою старую избу, то были поражены происшедшей в ней переменой. Изба эта считалась старой. У ней были маленькие старинные окна, потемневшие стены и потолок, закопченная печка. Сейчас же изба имела совершенно другой вид. Все в ней стало белей — и потолок, и стены, и лавки. Печка выбелена мелом, на окнах появились занавески. В среднем простенке из ящика с добром латышек вышел шкаф. Стол оказался покрытым чистой скатертью с бахромой, на судинке горела керосинка, на которой стоял большой эмалированный чайник с водой. На столе лежали, видимо привезенные с собой латышками, булки, яблоки и сыр. Луиза же успела расставить принесенную от хозяев посуду.

— Батюшки, как у вас хорошо-то! — воскликнула восхищенная Татьяна и даже руками всплеснула.— Та же изба, да стала не та.

— Как же, мы в ней жить будем, мы о себе и позаботились.

— И у нас сами живут, да мало о себе понимают,— вздохнув, выговорила Татьяна.

— Это совсем неправильно,— наставительно проговорила старая латышка.— В доме нужно все хорошо держать, чтобы в нем всегда было и тепло, и светло, и чисто. Когда хозяин придет с работы, ему бы было приятно сесть отдохнуть. А когда в доме не убрано, грязь и плохой обед, и кто работает, им не хочется дома отдыхать. Они идут в трактир, а в трактире часто видишь худые дела и слышишь худые речи. И для трактира деньги нужны...

— Верно, верно,— охотно согласилась Татьяна.— Все правда твоя, только не доросли мы до того. Смолода нас к этому не приучали, а под старость ломать себя трудно...

Вскипел чайник. Луиза усадила всех за стол и стала наливать чай, а Анна разрезала и раздала всем по куску булки, по яблоку и потчевала сыром. Вся семья сидела за столом, восхищенная обстановкой и обхождением своих нечаянных жилиц. Даже на бледном лице Андрея появились краски и засверкал новый огонь в глазах.

Татьяна расспрашивала о каждой вещи, попадавшейся ей на глаза. И почти все у беженок было домашней работы — и скатерть, и полотенца, и материи на юбках.

— Какие же вы рукодельные! — удивлялась восхищенная Татьяна.

— У нас девочка ко всему приучается. И это ей много помогает. Покупать все — нужно деньги, и много денег, а лучше, чем покупать, самим сработать. Время свободного всегда много есть.

— Сработать надо уметь, а у нас, что и умели-то,— забыли. Бывало, наша сестра и пряла и ткала, а теперь пошли эти ситцы, и прясть разучились.

— Прясть нет выгоды, можно еще что делать. У нас в школах многому обучают — и шить и вышивать. И кройки учат и как чулки штопать, опять — грамотные все, грамотная девушка все легче поймет.

— А у нас, как грамотный станет, от черной работы бегут,— сказал Мартын.— Я, говорит, не затем в училище обучался, чтобы топор в руках держать, давай мне что полегче...

— Совсем неправильно. Работа всякая хороша, а кто поучится, тот лучше ее сделает. У вас земля плохо родит. Потому у вас земля плохо родит,— не умеют ее обработать. Земля — как корова. Корми ее хорошо, чисти ее — и она больше молока даст. Вот Андрей видел землю у нас. Разве у нас в таком она виде?

— Где же, совсем отменно,— подтвердил слова латышки Андрей.— Я уже говорил своим...

— Стало быть, по-вашему, и нам нужно учиться? — спросил Мартын.

— Очень много учиться. И всем учиться — и старым и молодым.

— Старых-то прежде в котле выварить нужно, чем их учить,— вздохнув, сказал Мартын.

— Старых учить, что мертвых лечить,— поддержала мужа Татьяна.

— Тогда старым не надо мешать молодым,— вмешалась в разговор Луиза.— Пусть они больше в школу ходят, в экскурсии ездят... Чем больше молодой увидит, больше будет знать.

— Несподручно все это. Училище у нас в другой деревне, иной раз погода,— отвезти, лошадь занята. Да и к чему нашей сестре учиться, говорят, теленка-то и без записи не растеряешь.

Луиза стала оспаривать такое понятие. Она не пони-

мала того, как это у русских деревенских детей такое равнодушие к тому, что делает человека выше и благороднее. Пусть на это нужны будут деньги, пусть люди потратятся на детей, да обученным детям легче придется в жизни. Они будут стоять на высшей ступени.

То, что говорила Луиза, было новостью для всей семьи, и каждое ее слово принималось к сердцу. Задумались Татьяна и Мартын, озаботился Андрей, даже Ларька с Наташкой сидели притихшие, и у них по-новому светились глаза.

— Знамо, правда это,— наконец согласилась Татьяна.— Говорят: ученье свет. Вот вы поученее, и у вас уж все другое. А что я хочу тебя спросить,— вдруг переменила тон Татьяна.— Если бы наша Наташка вздумала бы учиться кой-чему у ней, приняла бы ты ее?

— Чему же поучиться?

— Да вот так: вышивать, вязать...

— Очень хорошо будет.

— А если с ней, для охоты, подруги две-три придут?

— Это еще лучше. Тогда настоящая мастерская выйдет,— засмеялась Луиза.

— А ты, Наташка, пойдешь? — спросила мать у дочери.

— Пойду,— решительно проговорила девочка.

Луиза любовно взглянула на Наташку.

— Вот и хорошо. Тогда набирай себе подруг и приходи.

— Ничего, если побольше ее которые...

— Все равно. Хоть совсем взрослые.

Когда Стуловы пришли домой от беженок, то все они были в каком-то приподнятом состоянии. Татьяна покачивала головой и приговаривала:

— Ну, народ, вот так народ!

— Этот народ заведет огород,— соглашался с нею Мартын,— и сам сыт будет и других накормит.

V

Весь вечер Стуловы толковали, кого можно позвать вместе с Наташкой учиться рукоделью, гадали, как пойдет это дело и что из этого выйдет, а утром Наташка пошла по намеченным дворам подбирать себе товарок. К вечеру к Стуловым пришли три ровесницы Наташки и две девицы взрос-

лые. Наташка своими рассказами о беженке закружила им головы, и они хоть сейчас готовы были садиться и делать все, чему их будут учить. Но, несмотря на такую готовность, они боялись идти прямо к Луизе, а сидели и пережимались у хозяев.

Когда зажгли огонь, пришла Луиза. Увидав собравшихся девиц, она почему-то повеселела, свободно и приветливо поздоровалась с каждой и спросила:

— Это что, подруги Наташи?

— Подруги. Вот им всем желательно на твое мастерство поглядеть да позаняться,— объяснила Татьяна.

— Очень рада. С такой компанией и заниматься будет весело. Тогда пойдемте ко мне, там лучше познакомимся.

— Они давно хотели идти, да не смеют.

— Чего же? Совсем напрасно. Никогда не бойтесь людей... Люди не звери. Пойдемте.

Девицы приободрились и пошли за Луизой.

У беженок все было так же, как и вчера, хозяева были изумлены чистотой и опрятностью, которые завели латышки. С любопытством начали разглядывать бывшие у них вещи, а Луиза все им показывала и объясняла.

Потом Луиза отдельно спросила каждую, кто что знает, кто чему хотел бы выучиться и к чему у кого лежит больше сердце. Все признали, что и простое шитье, и вышивки, и вязанье у ней очень хороши, и всем захотелось все так же уметь делать. Луиза засмеялась.

— Нельзя сразу всему... Нужно по порядку. У нас в Митаве...

И она начала объяснять, как у них в Митаве обучают рукоделью.

Повозившись насчет порядка, Луиза записала каждую, кто с чего будет начинать, рассказала, какой кому нужен материал, и когда деловая часть была закончена, началась общая беседа.

— Ну, теперь давайте ближе знакомиться, расскажите, из какой кто семьи. Ну, хоть ты? — обратилась Луиза к первой взрослой девице с большими глазами, весноватым, но приятным лицом.

Девушка эта была Ольга Михайлова, одна дочь у матери, мать ее вдова. У нее есть старший брат, живет в Москве в приказчиках. Он там женился, и у него есть дети, которые ходят в городское училище.

Вторая девица Матреша из осиротелой семьи. У ней умерла мать. Она была старшая. На ее руках два братишки и еще сестренка, которых она обшивает и обмывает. Ей в первую голову хотелось обучиться получше шить и хотя как-нибудь кроить. Она сказала, что и ее сестренка будет сюда ходить, только на смену. Когда сестра, когда она.

Подростки были из больших семей. Когда Луиза узнала эти подробности, то стала еще веселей.

— Очень хорошо. Всем это будет на пользу. Вот скорей добывайте материалу, да и за работу.

Материалу можно добыть только в городе, куда больше ездили в базарный день, раз в неделю. Этот день подходил скоро.

— Может быть, я с вами бы поехала. Мне самой кое-что нужно купить, да и вам помогу что лучше выбрать.

— Вот хорошо-то,— хором одобрили все девицы.

Разговор разгорался, девицы делались смелее. Давешняя робость их прошла, и они уже бойко отвечали на вопросы, сами задавали их. Незаметно пришло время, когда запели петухи.

— Батюшки, как поздно-то! — всполошилась Матреша.— Мне еще ужинать собирать было надо.

— Ну, чай, без тебя поужинали.

— Все-таки надоть итить, хозяевам покой давать.

— Ничего, ничего,— ободряла их Луиза.

Девушки поднялись и стали прощаться. Луиза радушно простилась с ними, просила не забывать ее и проводила всех на улицу.

Девушки разошлись счастливые. Они впервые так хорошо и как-то совсем по-новому почувствовали себя каждая.

На другой день перед обедом к Стуловым пришла девочка из семьи базарных торговцев Смолиных. Звали ее Марфуша. Она была на год постарше Наташи. Как из богатой семьи, Марфуша льнула больше к девицам постарше. Стуловых удивило то, что она к ним пришла. И пришедшая чувствовала себя не совсем ловко. Она сейчас же подошла к Наташке и шепнула подруге, что ей нужно сказать два слова. Наташка отошла с ней в чулан.

— Наташа, миленькая,— сейчас же просительно заговорила Марфуша,— говорят, ваша жиличка девок учить собирается?

— Собирается.

— А меня она не примет?

— Не знаю. Чай, примет.

— Нельзя ль узнать как?

— Поди сходи к ней.

— Да я одна-то боюсь.

— Чего ж бояться, нешь она кусается?

— Все ж таки не свой человек. Пойдем ты со мной.

Наташка немного подумала и согласилась:

— Ну, что ж, пойдем...

Они сейчас же отправились в ту избу. Луиза сидела за столом и писала какое-то письмо, а по другой конец стола сидела Анна. Девушка отложила писанье в сторону и пытливо взглянула на вновь пришедшую.

— А я тебе еще одну ученицу привела.

— Очень хорошо,— окинув с головы до ног Марфушу, одобрила Луиза.— Тоже рукоделью?

— Да.

— А грамоте знаешь?

— Немного знаю.

— Отчего немного? Нужно было больше знать. Твои родители тоже крестьяне?

— Они богаче,— пояснила Наташа.

— А богатым скорей надо учиться, им доступно. Твои родители хорошего тебе не желали. А что ты по рукоделью можешь?

— Что же я могу, я ничего не знаю.

— Ну, как же, если связать что или сшить?

— Мы привыкли во всем купленном,— смущенно заявила Марфуша.

— Купленное — это когда новое, а если починить что? Да опять, всего не накупишься.

— Ты прими уж ее,— заступилась за Марфушу Наташка,— она и научится.

— Конечно, приму, пожалуйста, приходи. Запаси только материала.

Она рассказала, чего сколько Марфуше нужно, и эта девочка ушла от Луизы с закружившейся от радости головой. Когда они пришли в избу Стуловых, Ларька заметил:

— Лафа вам, девкам, будете вы в кучку собираться пойдут у вас каждый день посиделки.

— А тебе завидно?

— Завидовать нечему, а немножко жаль, нешто мне в платье нарядиться да платком повязаться.

— Только попробуй, мы тебя так турнем...

VI

Подошел базарный день. Луиза съездила с своими ученицами в город. Запаслись материалом. Будущие рукодельницы на другое утро пришли к беженкам и стали подготовляться к работе. С первого же дня работа началась, и кто начал вязать, кто вышивать, кто просто приучаться шить. Дело у всех спорилось, наука давалась каждой. Прошло каких-нибудь две недели, как Татьяна зазвала к себе одну соседку, вынесла из чулана отрезок холстины с цветисто расшитыми концами и проговорила:

— Погляди-ка, как моя Наташка научилась расписывать.

Соседка взяла в руки богато расшитое полотенце, долго любовалась им, потом охнула и вздохнула:

— Жалко, у меня никого нет, а то и я бы отдала в эту науку.

— А вон Андрею какую шарфу связала,— еще похвасталась Татьяна.

— Вот они, золотые ручки-то! А мы что?!

— Мы зато черную работу ломаем,— в утешенье соседки сказала Татьяна.

— Ломать-то можно, да что из этого толка? И медведь ломает, да из его ломанья выходит одна валежь.

Все ученицы ходили к Луизе очень охотно, просиживали все положенное время, нередко забегали и в неположенное или в сумерки или вечерком. Квартира беженок стала для них самым притягательным местом. За работой они разговаривали, шутили, пели песни. Луиза более всего подбивала их на песни, внимательно вслушивалась в каждый стих, что они пели. Иногда она пела и сама, но она пела по-латышски и все более одну песню с заунывным мотивом. Эту песню Луиза пела с большим увлечением. Однажды девицы пристали к ней и стали просить рассказать, о чем поется в песне. Луиза рассказала, что в песне поется про народ, у которого в песнях нет веселья, а только одно грустное. Эти песни щемят сердце и навевают тоску. И вот спрашивается, докуда же будут люди петь так грустно, когда же грянет

у них веселая и могучая песня о вольной воле? И никто не знает, когда наступит такое время.

Однажды перед михайловым днем, когда вся компания, по обыкновению, сидела за рукодельем, в избу вошел Андрей. Он был немного смущен и нетвердым голосом проговорил:

— А я пришел к вам с газетой, хочу новенькое вам прочитать. Вот тут описывается, как трое наших из немецкого плена ушли.

— Это очень отлично,— ободрила Луиза.— Я сама хотела тебя просить. Ходил бы и читал нам. А мы будем слушать да спасибо тебе говорить.

Ободренный такой встречей, Андрей отложил костыль в сторону, сел на лавку и вынул из кармана газету. Началось чтение. Девицы, не отрываясь от своих занятий, внимательно слушали, что им читали, и когда история кончилась, одна за другой стали высказывать свое удовольствие.

— Это хорошо. Ты, правда, приходи почаще да принеси чего-нибудь.

— А я не помешаю вам?

— Совсем нет,— уверила его Луиза,— даже очень хорошо выйдет.

— Ну, так ладно. Съезжу в училище за книгами.

— А ты сам-то любишь читать? — спросила Луиза.

— Прежде не любил,— признался Андрей.— Не то чтоб не любил, а не понимал, правильнее сказать. Когда учиться ходил, читал еще, а как перестал — и читать бросил. То некогда, то погулять хочется. Товарищи тоже никто не читал. А вот как полежал в лазарете, понял и в редьке скус. Сперва другие читали, а дальше сам стал. Да как, бывало, зачитаешься-то, до полуночи не спишь. Огонь погасят, а все лежишь да думаешь. Ведь с книжкой-то что ни что перечувствуешь, где ни где не побываешь.

— Да, да,— горячо подтвердила Луиза,— все это правда.

Она ласково взглянула на Андрея и добавила:

— Так когда ж ты нам добудешь книжек?

— Да хоть завтра, запрягу лошадь да съезжу...

VII

Между книгами, которые привозил из школы Андрей и читал в избе девицам, попалась одна, где выводилась старая барская семья с различными характерами. Одни были смеш-

ные, другие благородные. Луиза после чтения спросила: не знают ли девушки кого из живых людей, похожих на описанных? Девицы задумались; наконец Ольга засмеялась и сказала:

— Я знаю одного.

— Кого?

— А вот Петра, Марфушина брата, очень он на Митрофанушку похож.

Все рассмеялись; смеялась и Марфуша. Она подтвердила, что у ее брата есть сходство с Митрофанушкой. Он был уже взрослым, но жил дома, ничего не делал, собирался жениться и искал богатую невесту. С тех пор как у Луизы начались занятия с девушками и когда девушки собирались к ней по вечерам, ему некуда бывало деваться. Ребят в деревне никого не оказалось, и он ходил один, раздраженный и скучающий.

Вскоре после того как про него говорили в избе Луизы девушки, один раз перед обедом, когда шла самая живая работа, в избу вошел Петр. Это был статный, сытый парень, одетый в хорошую поддевку. Мать с дочерью, не зная, кто это, смутились, когда увидели его. Петр тоже чувствовал себя не совсем свободно. Он неловко снял шапку и нетвердо проговорил:

— Бог помочь.

— Спасибо, Пахомыч! — смеясь, ответила Ольга.

— Что, Пётра, пришел сказать, когда будет вёдро? — спросила вошедшего другая взрослая девица, Катерина Ганькина, поступившая на обучение после.

— Он разе Петр, его, кажись, окрестили Митрофанушкой? — напомнила одна из подростков.

— В самом деле Митрофанушка!

Поднялся смех и шутки. Вспомнилось, что говорил Митрофанушка, что делал. Луиза оговорила девушек и спросила Петра, что ему нужно.

— Я за сестренкой пришел,— ответил Петр, немного оправившись.— Наши обедать собираются, велели ее звать.

Петр говорил, а сам оглядывал избу, сидящих девушек, хозяек. Первоначальная робость его проходила. Он становился смелей. Приметив кое-что из обстановки неизвестного ему, он спрашивал, что это и на что. Ему объяснили. Он подошел отдельно к каждой, посмотрел, кто что делает; девушки опять стали было над ним шутить:

— А ты небось думаешь, зачем это они глаза портят, сидели бы по домам на лавочке да болтали ногами?

— Мне ваших глаз не жалко.

— Верно. Это он про себя только думает: не хочу учиться, а хочу жениться, а об других-то ему горя мало.

Послышался новый взрыв смеха. Этот смех заразил даже Петра; он, улыбаясь, проговорил:

— Что это вы про меня столько складываете?

— Это не мы складываем, а так в книжке написано.

— В какой же это книжке?

— А вот ты узнай попробуй.

Петр присел на лавку, достал папиросы и хотел закуривать.

Луиза заметила это и поспешно проговорила:

— Здесь курить нельзя.

— Чего же? — покраснев, изумился Петр.— У меня хорошие папиросы, не махорка.

— Все равно. Нас здесь много сидит, и нам нужен чистый воздух.

— Что ты лезешь в чужой монастырь с своим уставом? — посмеялась ему одна девушка.

— У вас, правда, тут монастырь,— обиженно проговорил Петр, пряча в карман папиросы.— Ну что ж, спасайтесь тут, а мы обедать пойдем. Пойдем, Марфуша.

— Подожди, поспеем.

— Чего годить, когда начал поп кадить.

Марфуша поглядела на Луизу. Луиза пожала плечами, и Марфуша накинула на себя одежину и вышла за братом. Когда они ушли, Луиза, удивленная, проговорила:

— Почему он такой самолюбивый? Ему сказали правду, а он ее невзлюбил.

— Богатые они, к почету привыкли, и вдруг ему осадка.

— Богатый больше должен понимать, что нужно.

— Он много понимает, только об себе.

— И у вас много таких парней?

— Были такие, были и другие,— только теперь все они на службе.

VIII

Наташка за обедом рассказала, как к ним приходил Петр Смолин и что из этого вышло. Отец с матерью посмеялись,

но Андрей сделался серьезным. В его глазах появилось смутное беспокойство, зто беспокойство зашевелилось в его душе. Он вдруг забоялся: а ну, как латышкам выйдет из этого какая неприятность?

За последнее время Луиза стала одной заботой Андрея. Все, что его занимало последнее время,— это была Луиза; он только о ней и думал и этими думами и жил. Он видел в девушке то, что ему представлялось самое хорошее и самое нужное в жизни. Все, что она говорила, что делала, как объясняла, что нужно делать и что делали другие, ему казалось безусловной правдой. Когда про Луизу что-нибудь рассказывала Наташка, у него всегда усиленно билось сердце. Бывать у них в избе, читать девушкам книжки было для него самой большой радостью. Еще более было радостно парню, когда Луиза приходила к ним в избу, заводила разговор с отцом или матерью и как отец с матерью, слушая ее, забывали свои дела. Разговор же с ним, советы о чтении поднимали Андрея до небес. У него появились такие чувства и надежды, в которых он пока боялся признаться себе. Он не знал еще хорошо, что это такое.

Не знал хорошо Андрей, что его обеспокоило и сейчас, когда он узнал от сестренки, что у них был Петр Смолин, но тревога, поднявшаяся в его сердце, не проходила. Оно смутно ныло.

Пообедали. Отец с Ларькой поехали в лес доваживать оставшиеся там сучья, а Андрею нужно было сходить к сапожнику. Он уже теперь ходил не на костыле. Ему купили новые валенки, и один валенок немного давил больную ногу, нужно было его расколотить на колодке. У сапожника сидело два мужика, зашедшие к нему покурить. И Петр пришел тоже с докукой, вырезать ремешок на напальник у гармоники. Увидев вошедшего Андрея, Петр насмешливо сказал:

— Отцу игумену. Как в твоем монастыре дела идут?

Андрей понял, на что парень намекает, и ответил:

— Да идут себе, а ты что, хотел бы поступить туда?

— Нет, спаси Христос. Там настоятельница очень строга. Один раз зашел, и то курить не позволила. Этаких порядков я еще нигде не видал...

— Стало быть, так надо.

— Мало ли что ей так надо, да нам-то зто не отрада.

— Зачем тогда ходить?

— Неволя заставляет. Она к себе всех девок перема нила, не с кем стало и язык почесать.

— Девок она к себе привадила не напрасно,— проговорил один из сидевших у сапожника мужиков.— Она их всех на дело наставляет.

— Дело делом, и гулянью должен быть час. Бывало, каждый вечер у чьих-нибудь ворот стоят, гогочат, сыграешь на гармонике, попляшут... А теперь иной вечер и не сберешь никого.

— Ступай и ты с ними в избу.

— В том-то и дело, что не подходит. Плюнуть не потрафишь. Тоже народ. Забивает голову, чтобы все нос драли, только и всего...

— Что же она, худому кого учит?

— Не худому и не хорошему. Кроить да резать все полезут; а ты вот научи чему-нибудь путному.

— Чего же еще путней для нашей сестры?

— От них такая путь, какой у нас не было,— заступился за латышек другой мужик.— Они все люди с большим понятием. У моей отдельной снохи корова захирела. Сохнет и сохнет, а жилец латыш посмотрел да и говорит: как ее кормишь? А ты, говорит, попробуй так вот да так. Растолковал, показал. Баба послушалась, и что ж? Поправилась корова, стала на скотину похожа.

— С понятием люди,— проговорил и сапожник.— Мне Мануйло говорил: валялось у него железо разное, так, лом. Подобрался к нему латыш — замок к замку, личина к личине, где смазал, где ключ подобрал, вышла добра целая полка...

— Как нерусский человек, так во всем другая ухватка,— сказал опять первый мужик.— Я тоже смолода в солдатах служил, в Финляндии. Так тоже, что они делают только! На камнях хлеб растет, а уж на огороде-то что у них родится... Куда до них нашим.

— Нашим никакой науки не было,— согласился с этим Петр.

— А когда наука началась, ты против нее на дыбы? — подхватил его Андрей.

— Это не наука. Какая это наука, наука должна быть настоящая.

— Все равно, хоть маленькое стеклышко в угол вставишь, все больше свету войдет.

— Лиха беда начало!

Петр промолчал, но, видимо, он с этим был не согласен. Андрей ушел от сапожника все с тем же смутным чувством.

В сумерки, когда Андрей стоял у двора, он заметил, как по дороге шло несколько девушек, и вдруг навстречу им вышел Петр и остановил их. Пошло зубоскальство, смех. Вдруг рявкнула гармоника, и вся компания повернула назад и пошла на тот конец деревни. Андрей долго стоял, думал, что девицы оторвутся наконец от Петра и придут к Луизе. Но с того конца продолжало доноситься пение, и хор делался все разноголосей. Видимо, к нему прибавились и другие, вышедшие на улицу.

У двора появилась Луиза; она вышла налегке, с жакеткой внакидку. Увидав стоящего Андрея, Луиза спросила:

— Не видно, не идут девушки?

— Они и не придут...

— Почему?

— Их перебивает у тебя давешний твой гость.

— Какой гость?

— Марфушин брат Петр. Он обиделся на тебя и вот погляди, будет отбивать от тебя учениц.

— Неужели это правда, Андрей?

— Думается, что правда.

— Ой, как это печально. Неужто он такой нехороший человек?

— Человек-то он хороший, да нрав у него не совсем гожий,— криво усмехаясь, выговорил Андрей.

Луиза помолчала, постояла, постояла немного, повернулась и ушла в свою избу, а Андрей пошел домой.

IX

На другой день в обед к Стуловым пришла Луиза. Она была грустная, взволнованная и как будто чем обиженная. Это бросилось в глаза всем, и Татьяна спросила:

— Что с тобой сделалось?

— Со мной ничего, а вот только я на неприятность нарвалась. Никак я такой неприятности не ожидала.

И Луиза стала рассказывать, что сегодня к ней не пришла Марфуша. До сего время она приходила вовремя, усердно работала, что ей давали, была очень довольна — и вдруг сегодня не пришла. Отпустив девушек на обед, Луиза решила

сходить к Смолиным и самой узнать, почему девочка осталась дома. И вот посещение дома богача так на нее подействовало.

— Ой, не хорошо! — воскликнула Луиза и закрыла лицо руками.— Никак я этого не ожидала. Я думала: богатые люди — больше светлые люди, а они так же темны, как бедняки, а то и хуже. Сам хозяин грубый, хозяйка грубая, а парень этот сидит за столом, и у него глаза горят, как у волка. А Марфуша, как я вошла, отвернулась и спряталась. Я спросила их, отчего сегодня Марфуша не пришла, а хозяин говорит: она у тебя ничего хорошего не нашла. Я говорю, что же ей нужно. Обучаю я тому, что всем полезно, а он говорит: а нам это ни к чему. Мы, говорит, что ты учишь делать, все купить можем. Я сказала, что купленное не прочно. Так что ж, говорит хозяин, не прочно — скорей сносится, а на ее место свежее заведешь, все с обновой. Да еще, говорит, ты нехорошо заводишь: учить учишь, да людей мутишь. Какие там еще чтения заводишь? Твоих книжек-то начитались да нашего Петра на смех подняли. До тебя над нами никто не насмешничал, а от тебя стали насмешничать. Я, говорит, на тебя в волость могу подать.

— Да неужели ж так и сказал? — всполохнулась Татьяна.

— Так и сказал. Девчонки, говорит, к себе не жди, и платить за ее науку ничего не будем — потому не стоит.

— У него хватит совести и на это,— проговорил Мартын.— Чванный мужик. Любит, чтобы во всем его верх был.

— Но чем я виновата? Дочери его я желала добра. Она даже заплакала сейчас, как слова отца услыхала. Сына его я не знала. Разве я знала, что он на Митрофанушку похож?

— Они это от непонятия,— стараясь успокоить Луизу, проговорил Андрей.

— Нет, они понимают. Это они оттого, что дурные люди. У вас кто сильный, тот и дурной. Нужно от вас сниматься да ехать в другое место...

— Что ты, бог с тобой! — испугалась Татьяна.

Андрей сразу побледнел, а у Наташки вдруг потемнели глаза и стали заволакиваться слезами.

— Ну, всякое лыко нельзя ставить в строку,— успокаивающе сказал Мартын.— На всякий роток не накинешь платок.

— Зачем же они так поступают?

— Настолько совести хватает. Только не все люди равны. Одни такие, другие и другие...

— А в других ни зла, ни добра... обидят тебя, и никто не заступится.

Луиза разволновалась, встала и пошла вон из избы. Хозяева остались подавленные, невеселые.

— А ну, как он, правда, в волостное подаст? — высказала свое опасение Татьяна.

— Ну, вот еще! — уверенно выговорил Мартын.— С какими глазами-то? Будет того, что поговорит.

— В волостное подать он не имеет права,— убежденно проговорил Андрей.— Чем она виновата? Что она, окромя хорошего, кому что сделала? Она нас на прямую дорогу выводит, мозги всем протирает, а тут какой-то самодур незнамо что говорит. Это совсем без совести!

— Знамо так,— согласилась Татьяна и, вздохнувши, добавила:— А ну, как они, правда, из нашей деревни уедут?

— Что ж, уедут и уедут. Не привязанные,— равнодушно выговорил Мартын.

Наташка быстро вскочила с места и убежала в чулан. И Андрей поднялся и стал надевать полушубок.

— Ты куда? — спросил Мартын.

— Так,— не своим голосом ответил Андрей и вышел.

— Сохрани это бог, если они уедут. У нас у одних что пойдет! — вздохнувши, выговорила Татьяна.

Мартын задумчиво молчал. Ему, видно, что-то пришло в голову, и он соображал.

Татьяна поглядела на него и, помолчав, промолвила:

— Если попытать их под свое крыло взять?

— Как?

— А как следует, честным манером. Не миновать парню жениться: вот ему и невеста.

— А она ему пара?

— А чем не пара? Девка парню всегда пара, а хорошая девка тем паче.

— Не нашей природы-то она.

— Природа не важно, было бы согласье. А то будут жить-поживать да добра наживать.

— Чего с такой не жить,— согласился Мартын. И, подумавши, опять проговорил:— Что ж, можно закинуть слово. Какие речи услышим от них?..

— Вот сберусь с духом, схожу...

X

Но собралась с духом Татьяна не сразу. Выпустила она слово легко, но начать, что задумала она,— вышло тяжело. У ней как-то прошла смелость. А в самом деле, подходящее ли это дело? Про Андрея она чутьем понимала, что для него в Луизе все, а для девушки будет ли в этом какой выход? Все-таки их семья серая, мужицкая. Все у них просто, не так, как они привыкли. Придется переиначивать весь уклад. И чем дальше, тем больше пропадала в ней уверенность в удачном окончании того, что она задумала. И у бабы меньше становилось смелости.

Но развязывать узел было надо. Андрей вернулся угрюмый. Ни слова не говоря, лег на коник, отвернулся к стене. У матери сжалось сердце, и она решила пойти к латышкам и завести разговор.

И только начало смеркаться, Татьяна тихонько перекрестилась и пошла к беженкам. Опа шла с трепещущим сердцем. И когда вошла в избу, у ней немного отлегло в груди. В избе стоял сумрак. Беженки еще не зажигали огня. Они молча коротали время. Анна сидела на печи, а Луиза лежала на конике. Татьяна усиленно веселым голосом проговорила:

— И вы сумерничаете. И у вас ничего не делают. А я пришла к вам было скуку разогнать.

— У нас тоже много скуки,— проговорила Анна, но осталась сидеть, как сидела.

— А вам чего скучать была нужда?

— Все беды. И дома беды, и здесь не радость. Какая может быть радость? Ведь только подумаешь...

— А вы не думайте. От дум, говорят, сердце сохнет.. Вы вот лучше послушайте, что я вам скажу...

Татьяна села на лавку, и хоть последние слова она выпустила свободно, но в груди у нее как-то похолодело· Говорить дальше нужны были большие усилия. Но она все-таки силы нашла и продолжала:

— Мои мужики, как узнали, что с Луизой плохо торговцы обошлись, очень обиделись. И вас стало жалко, и на тех злоба. Правда, когда худой человек захочет кому зло сделать, он сделает. Особливо таким, у кого поблизости твердой заступы нет.

Татьяна почувствовала, что она подошла к тому когда

можно сказать самое главное, и ее опять взял какой-то страх, и она опять сделала усилие и решила скорей высказать то, зачем она пришла.

— Вам нужна хорошая заступа. Зачем вам жить на бобыльском положении? Полезайте-ка вы под крепкое крыло. Мы вот что надумали: пусть-ка Луизушка выходит за нашего Андрея. Повенчаются они, и уж тогда никто к вам подступа не сделает. Будут с нами со всеми, в чем нужно, считаться.

Татьяна высказала эти слова и вдруг почувствовала большое облегчение. Она даже глаза закрыла от радости, что свалила с себя эту обузу. Ей сразу стало много спокойнее, и она легко могла ждать, что ей скажут на ее слова.

Первое, что увидала Татьяна, это то, что Луиза сейчас же поднялась с изголовья и, выпрямившись, осталась сидеть в своем углу. Шевельнулась на печке и Анна, но сразу никто ничего не сказал. Татьяна ждала, кто первый из них отзовется на ее слова, но они почему-то ничего не говорили. Тогда Татьяна опять развязала язык:

— Аль я не к месту эти слова выпустила? Тогда не обессудьте, коль вам это не во нрав. Мы от простоты сердца. Вы, мы думаем, вы люди хорошие, породниться с вами за честь... Опять Луизушка нашему парню по душе пришлась, вот мы и отважились.

— Нет, нет, нам это не обидно,— поспешила успокоить Татьяну Анна и соскользнула с печки.— Только все это скоро, неожиданно. У нас такое время, такой год. Сколько бед перенесли! И вдруг девушка замуж.. Нам в голову не приходило. Надо об этом подумать хорошенько.

— Да, подумать,— согласилась с матерью Луиза.— Так сразу нельзя. Мы посоветуемся.

— Ну, что ж, посоветуйтесь,— легко согласилась на это Татьяна.— Известно, с бухты-барахты нельзя, дело не шуточное. Только глядите одно. Мы сватаем Луизу не то что там что. Мы не глядим, что у вас есть, что нету. Мы видим одно — люди хорошие. Нас всех и тянет к вам. Мы все будем рады, коли бог благословит делу свершиться, и старые и малые.

— Хорошо, хорошо. Спасибо, мы вам дадим ответ. Если не сегодня, то завтра утром...

— Ну, дай вам бог хороший разум,— пожелала Татьяна и вышла из избы.

И после того как Татьяна вышла от латышки, если бы она могла незаметно опять вернуться к ним в избу и если бы понимала по-латышски, то она увидела и услыхала вот что.

Как только Татьяна вышла, Анна сейчас же подошла к дочери и села с ней рядом. Луиза не шевельнулась. Она сидела, плотно сложив на груди руки и опустив голову.

— Вот какая наша судьба. Каждый день новость за новостью,— выговорила, вздыхая, старая латышка.

— В такое колесо попали; чем дальше, тем больше захватывает. Должно быть, хочет судьба совсем нас переделать.

— Если принять то, что нам теперь предлагают, то что тогда от нас останется?

— Не знаю, мама.

— А ты все-таки как думаешь?

— Мне трудно тебе сказать.

— Андрей человек хороший.

— Они все хорошие, да чужие нам.

— У нас родных-то и не осталось никого.

— Да, никого...

Наступило молчание. Оно долго не прерывалось. Наконец Анна проговорила:

— Если уехать в какой-нибудь город, устроиться где тебе,— тебе место найдется.

— Опять в чужой семье. Трудно это, мама! — вырвалось невольно у Луизы.

Мать как будто оживилась, она поспешно выговорила:

— А коли трудно в чужой — надо свою заводить, слу чай есть.

Луиза опять замолчала.

— Андрей послушный. Если кончится там, освободится место, можно опять на родину поехать, и он за нами пой дет. А нельзя будет вернуться, здесь устроимся.

— Туда нам ехать не придется.

— Тогда здесь устроимся. Жить здесь будет можно. Нуж но только приложить старанье. В русской деревне простор большой. И люди простые.

Луиза вдруг склонилась к изголовью и всхлипнула, Анна обеспокоилась и проговорила:

— Тогда не нужно. Как-нибудь иначе проживем Пока здоровье есть да ум в голове, нужды не увидим

— Я это не оттого. Я так. Очень много скопилось всего. Я не отказываюсь от того, что они предлагают. Андрей хороший человек, честный, отзывчивый, с ним легко будет жить. Только так все это неожиданно...

— Значит, ты согласна?

— Согласна,— легко ответила Луиза.

— Ну, я очень рада,— не удержалась, чтобы не высказать своего чувства, Анна.— Мы тогда покойны будем. То гнездо разорили, это будем обвивать. Когда будет что делать, легче станет горе забыть.

— Да, да,— подтвердила Луиза.

XI

Стуловы обрадовались согласью Луизы много раз больше, чем ее мать. Заликовали старые и малые. Андрей забыл все свои недуги и сиял, как будто бы не переносил никаких болезней. Не меньше его были счастливы и Ларька с Наташкой. Луиза, чувствуя, с какой любовью глядит на нее ее будущая родня, еще более казалась красивой и еще более деловитой и ласковой во время занятий с деревенскими девицами.

Подходили святки. После святок сейчас же была назначена и свадьба. Свадьба не могла быть хлопотливой. Невеста была под боком. Это тоже представляло большое удовольствие. Мартын как будто помолодел. Он только иногда приговаривал:

— А жалко, вина нет, а то такой бы кутеж можно было устроить, что небу жарко!

— Будет тебе,— оговаривала его Татьяна.— Говори слава богу, что нету-то. По крайности облика человеческого не потеряешь. Нешто хорошо перед нашей молодой да в такую скотину обратиться?

— А она небось не видала?

— Видала, да не близко. Ты вот лучше бы подумал, как их после свадьбы обстроить.

— Ну, уж это они сами лучше нашего сделают. Они больше нашего порядки жизни понимают. Как им надо будет, так и устроятся. Нам бы только не мешать.

— Зачем мешать? Нешь мы им лиходеи,— говорила Татьяна и вся горела неописуемым довольством.

1916 г.

Односельцы

Повесть

I

В отделении вагона, где было место у Константина Ивановича, стоял сумрак. Притушенный огонь в фонаре брезжил сквозь накинутый чехол слабыми, мелкими искрами; глухо закрытое парусиновой шторой окно не впускало света снаружи, хотя по расчету Константина Ивановича должно наступить уже утро. Было и душно. Другие пассажиры — агент табачной фабрики, ехавший из Питера в провинцию, и два прасола, привозившие гурт скота из степей,— крепко спали. Слышался свист и храп. Мельников хотел было опять заснуть. Он вытянулся, улегся поудобнее, закрыл глаза и сделал напряжение, чтобы вызвать дремоту, но дремоты не было. После короткого, тяжелого сна, охватившего его, как только он отъехал от Петербурга, сонный туман вылетел из его головы, зарождались ясные мысли. Через несколько минут Константин Иванович убедился, что ему больше не заснуть, и потихоньку, чтобы не разбудить соседей, спустился с своей полки и вышел в узкий коридор.

В коридоре уже было светло. За окном, справа от поезда, зеленая равнина с серебряным туманом над извивавшейся рекой дышала такой сочной свежестью, что от одного взгляда на нее распирало грудь. Константин Иванович открыл окно и стал втягивать в себя прохладный и душистый воздух.

Поезд шел быстро, то убавляя, то прибавляя ходу. Временами он постукивал и изгибался по звенящим рельсам, как змея. Был он похож на разошедшуюся молодую лошадь, в хорошо пригнанной сбруе бегущую по твердой укатанной дороге и испытывающую удовольствие от ровного бега и доставляемого удовольствия ездоку.

Лошадь сейчас же заставила вспомнить Мельникова о деревне, а с мыслью о деревне встало опять то, что заставило Константина Ивановича взять у хозяина трехмесяч-

ный отпуск, поставить вместо себя заместителя и ехать домой в июне, а не в августе, как он рассчитывал раньше. Сердце его снова заныло, и он сунул руку во внутренний карман пиджака, достал оттуда уже довольно помятое письмо и снова впился в знакомые, крупные, с трудом выведенные рукою отца строчки:

«Еще, милый сын, уведомляем тебя, что дядя Андрей в тайности от всех заявил себя наследником на нашу купленную землю и выхлопотал утверждение. Теперь он не хочет давать нам косить и рубить дрова. Очень это нас тревожит. И просим мы тебя: приезжай сам домой и пособи, как лучше устроиться. Мы потеряли голову, и я ночи не сплю, все думаю, как нам лучше теперь быть».

Надежда найти в письме, что дело обстоит не так, как он понял, опять исчезла. Все ясно, дело обстоит именно так, что дядя протягивает руки к их семейному добру. И отец недаром тревожится: дядя может это сделать. И Мельникову вдруг вспомнились далекие годы, когда он был еще подростком, а дядя жил у них в семье. Домашнее хозяйство вел отец с дедом, а дядя ходил на заработки. Отход его приходился на весну и осень. Осенью он набирал артель мужиков и уходил с ними на пригородные фабрики, где он брал подряды рубить капусту, а весною он нанимал народ «подбирать сучки» и на торфяные работы в тех же фабричных лесах. И когда он приходил домой, то на целую неделю нарушался весь порядок в доме. Дядя начинал придираться, что без него все не так, много истратили, мало сделали, и покойник дедушка и отец едко ругались с ним, бабы ходили молчаливые, и только когда дядя уставал от грызни, все начинало успокаиваться.

Вслед за этим вспомнился раздел с дядей. Раздел вышел из-за него. Когда Костька кончил учиться, его против воли дяди отдали в Москву мальчиком в оптовую мануфактурную торговлю. Дядя переругался с дедом и отцом и потребовал выдела. Во время раздела дядя выказал столько злобы и жадности, что измучил всех, и чтобы только отвязаться от него, ему отдали и лучшую скотину, и постройку, и разные снасти. Старик остался на старом месте, а дядя вышел на новое С прикопленными раньше деньгами он построился и все поставил на хорошую ногу, а они долго замазывали нанесенные разделом раны. Помогло делу то, что мальчик хорошо пригляделся к своему делу в магазине, вызвал к себе

доверие, и ему дали хорошее место, и прибавляли каждый год жалованье. Он вырос, женился. Жена была деревенская, из хорошего дома. Мало-помалу они поставили дом опять твердо, купили в товариществе с другими мужиками пустошь, из которой на их долю приходилось пятнадцать десятин.

И вдруг дядя опять подкрадывается к их благополучию и, главное, без всякого основания. Как это он может идти на такое дело, по какому праву — для Константина Ивановича было неразрешимой загадкой. Он жил на одном месте. По службе был всегда вдали от всяких тяжебных дел. Никаких законов не знал, никогда ни с кем не судился. Ему даже не верилось, что дядя завел дело всерьез. Всем известно, что земля куплена ими. Это знает вся деревня. Неужели в самом деле ее можно отбить?

Понемногу тревога его стала проходить и опять зарождаться уверенность, что его тревога напрасна; дядя ничего им не сделает, а только погрызет их, как, бывало, грыз, и отстанет...

II

Станция, где слезал Мельников, была небольшая. Вокруг нее раскинулся поселок из железнодорожных служб, частных же домов была одна чайная. Извозчиков здесь не было, и разъезжались на приезжавших из деревень подводах. Мельников не написал, чтобы за ним выезжали, и, вспомнивши, что здесь нет извозчиков, вдруг забеспокоился.

Но только он вышел из вагона и сложил свои вещи на платформе, к нему подошел высокий сухой мужик с серой редкой бородкой и спросил:

— Поедете куда?

— А ты откуда?

— А вам куда нужно-то?

— В Охапкино.

— Это мне по дороге,— вдруг обрадовался мужик.— Я из села попа привозил, хотел было уезжать, да думаю — дай подожду, може, попадет кто.

— Вот и подвези.

— Давай, это все твои вещи-то?

Он взял вещи и понес через вокзал. Мельников шел за ним, а словоохотливый мужик говорил:

— У меня и телега большая, попа со всем добром привез, что покрупнее-то вперед отправил, а сейчас всю мелочь забрал.

На площади у коновязи из старого ржавого рельса стояла привязанная, опустивши голову и отвесив нижнюю губу, сивая лошадь. Большая крюковая телега была так просторна, что весь багаж Мельникова поместился в ней и осталось место для сиденья. Мужик накрыл багаж веретьем и спросил:

— Может быть, чаю попить желаете — так я подожду?

Константин Иванович взглянул в сторону чайной, глядевшей на них раскрытыми окнами. Ему представились грязные скатерти, мухи, духота, и хотя ему хотелось есть и пить, но, взглянув на опустившееся к земле солнце, он решил скорей ехать.

Когда подъехали к Охапкину, был вечер. Бледный мрак заменил блеск и ясность светлого дня, и все охватывало молчаливая дрема. Не шелохнувшись, стояли ветлы и липы. В проулке у пожарного сарая, опустив гибкие ветки, спала белоствольная береза. Посреди деревни между дворами возвышался старый вяз, на нем темнели пятнами гнезда грачей, и в них поминутно шел тревожный шорох. Вскрикивали спросонья молодые грачата.

Избы стояли, глядя на улицу окнами, как мутными глазами. Улица была пуста, и на ней устанавливалась мертвая тишина, лишь из-за овинов доносилась дружная песня молодежи, которой, очевидно, тесна стала улица, и ее потянуло на простор в поле.

Грудь Мельникова сжало, и он заволновался, предчувствуя, что скоро очутится в своем углу среди родных и близких, а подводчик придержал лошадь, не зная, где ему останавливаться. Мельников указал на прочный пятиоконный дом под дранковой крышей, и они подъехали к нему.

У Мельниковых не было огня, но подъехавших скоро почуяли; Константин Иванович еще не вылез из телеги, как на крыльце появился высокий, седобородый, слегка сутуловатый старик, отец Константина Ивановича. За отцом, торопливо накидывая на голову платок, вышла Софья. Софья была ровесница Мельникову, но такая свежая, красивая, непохожая на деревенскую. Она поспешно подошла к мужу и обняла его шею крепкими, мягкими руками.

Появилась коренастая круглолицая работница и, гремя ведром, побежала на колодец за водой. Через минуту в доме Мельниковых горела лампа. Константин Иванович расправлял усталые за дорогу члены и отвечал на вопросы, как он доехал, где нашел подводчика. В дом вошел и подводчик, он сидел на приступке, дожидаясь чаю, и, конфузливо улыбаясь, глядел на чужую радость.

— Ну, а у вас что делается? — спросил Мельников.

Старик стал рассказывать. Все шло чередом и по дому и в поле, только рожь шла плохо у всей деревни.

— Везде плохая рожь, прогневали господа,— подал голос подводчик и глубоко вздохнул.

— А скоро покос?

Вот вывезем навоз, запашем, тогда и за покос...

Мельников редко работал мужицкую работу, но любил ее, и сейчас он представил, что будет косить, и сердце его приятно стукнуло.

Поспел самовар, и стали пить чай, и за чаем разговор шел о посторонних делах: кто играл свадьбу, где снимали аренду. Софья, уехавшая в деревню от мужа еще весною, спросила про питерских знакомых и рассказала про ребят. Подводчик опять вставил про ребят:

— Ребятам нынче житье, не как нам бывало; нам, бывало, с ягнятами одна честь, а нынче их в красный угол.

— У человека одна радость — ребята,— сказал Константин Иванович.

— Радости-то с ними много, да и заботы ой-ой-ой!

Он опрокинул стакан вверх дном, положил на него огрызок сахару и, перекрестившись, стал благодарить.

— Ты ночуй у нас,— предложил Константин Иванович.

— Нет, спаси Христос,— лошадь передохнула и я перехватку сделал. Поеду по холодку.

— Да ночь ведь.

— Кака теперь ночь — с воробьиный пос: из деревни не выедешь — светать начнет.

Мужика проводили. И когда он уехал и все уселись по своим местам, как-то само собой у Константина Ивановича выскочил вопрос насчет главного. И только стоило ему помянуть о дяде, у старика пропало все благодушие, лицо стало жесткое, в голосе послышались новые ноты.

— Как же это он обдумал такое дело? — спрашивал Мельников про дядю.

— Кто его знает! Только, говорит, я теперь этой земли хозяин, и вы не можете на нее шагу ступить.

— Вот как! — невольно улыбаясь, сказал Константин Иванович.— По какому же это праву?

— Никаких у него правов нет, а смелости много. И напорист очень. Задумал и полез. Ведь у нас никто во всей округе на такое дело не отважится, а у него хватило духу.

— Что же он говорит, по крайней мере?

— А вот сходи к нему завтра и послушай. Он того наскажет, что и не подумаешь.

— И ничего, не робеет?

— Что ж ему, он словно хорошее дело сделал. Еще хвалится.

— И сам он до этого додумался?

— Кто его знает, може, кто научил.

— Вот как ухитрился! — с грустью в голосе вмешалась в разговор Софья.— Мы обдумали, все выплатили, для детей старались, а он выправил там какую-то бумажку, и стало все его.

— Ну, еще не его,— твердо и спокойно проговорил Константин Иванович.— Это он только говорит, а мы посмотрим, почему он это говорит.

У Константина Ивановича сейчас явилось еще более уверенности, что дело, больно встревожившее его семейных, не так-то уж опасно. В самом деле, какие у дяди на это данные? И его уверенность передалась и старику и Софье. Понемногу стали успокаиваться. Через несколько времени они перестали говорить об этом и опять перешли на другое. И перед тем как ложиться спать, ни у кого уже не было никакой тревоги, а все были, как в первую минуту свидания, спокойны и веселы.

III

Мельников после дороги спал так крепко и сладко, что у него прошла вся дорожная усталость, и он проснулся бодрый и веселый, с ясной головой. Сейчас же он вспоминал, что ему нужно поскорей сходить к дяде, и решил не откладывать дела.

Софья и работница хлопотали с стряпней, старик что-то делал за двором. Завтрак еще не был готов, и Констан-

тин Иванович сказал, что он пока до завтрака сходит к дяде, и вышел из избы.

День был солнечный. Яркая глянцевитая листва на деревьях сладко нежилась и как будто радостно улыбалась. На траве еще блестела роса, ходили куры, наседки с цыплятами. У соседнего двора поправлял телегу молодой мужик Протасов, хозяйственный, трезвый и хороший сосед. Увидавши Константина Ивановича, он бросил топор, весело улыбнулся и, приветливо сняв с головы старый выгоревший картуз, подал ему свою заскорузлую руку.

— С приездом! — весело и радостно проговорил он.

— Спасибо, как поживаешь?

— Да живем хорошо, ожидаем лучше...

Константин Иванович расспросил подробно, как и что у него идет, как в семье, и пошел дальше.

На той стороне улицы тоже попались еще два мужика. Константин Иванович и с ними обменялся приветствиями.

Несмотря на давившую всех Мельниковых заботу, Константину Ивановичу было так радостно. Попадавшиеся ему односельцы были так приятны, как будто они были ему близкие родные. Константин Иванович хотя жил в городе, но все его симпатии были на стороне деревенской жизни. И жил он в городе только потому, что место у него было хорошее, оно помогало и укрепить их дом, и дать возможность отложить запас на будущее. Пошатнись его дела на этом месте, он, не раздумывая, вернулся бы в деревню, стал бы наряду с другими работать. Он часто мечтал об этом, но мечты пока оставались мечтами.

Двор дяди Андрея был немного похуже, чем их собственный. На улицу выходила большая в четыре окна изба с крыльцом, хорошо проконопаченная, окрашенная, с белыми наличниками на окнах. Но окна были закрыты и крыльцо заперто. За первою избой было другое крыльцо в проулке, и за ним другая изба, но меньше. В этой избе и жили дядя с теткой зиму и лето. Было непонятно, на что дяде лишняя изба, когда у них не было ни детей, ни близкой родни. И сами они были уже в преклонном возрасте. У двора было тихо. Запертое с улицы крыльцо, закрытые окна, затворенные ворота придавали всему дому вид необитаемости. Но когда Константин Иванович обогнул угол и зашел в проулок, увидал, что в сенях стоит тетка и вяжет себе бечевкой новое помело.

Тетка была все такая же поджарая, как и тогда, когда жила в семье. У нее было морщинистое лицо и облупившийся от загара нос. Она так заботливо делала свое дело, что не заметила, как в сени вошел племянник. Она даже вздрогнула, когда услышала его голос, и быстро подняла голову. На ее лице отразилось изумление.

— Константинушка, батюшка! А я и не видала. Здорово, родной! — Она бросила помело и повернулась к племяннику, но вдруг что-то вспомнила и изменила тон и уже менее радостно добавила: — Когда приехал-то?

— Вчера вечером.

— К дяде, что ль, пришел?

— Да, хотел его повидать.

— В сараюшке он вилы ладит. Пойди, пройди к нему.

Константин Иванович вышел из сеней, прошел через улицу в огород дяди. В конце огорода стоял амбар Андрея Егорова, к нему примыкала небольшая сараюшка. Ворота в сараюшку были полуотворены, и оттуда доносился мерный дребезжащий лязг.

Как ни готовился Константин Иванович быть спокойным, спокойствие его все-таки пропало. Он чувствовал, как к горлу его что-то подкатывает и ему трудно становится дышать.

Дядя скоро заметил его, стук прекратился, и в раствор ворот показалась его голова. Голова эта напомнила Мельникову отца, но мясистый навес над бровями, глубоко сидящие тусклые глаза и какие-то морщины около носа делали лицо дяди непривлекательным. Встретившись со взглядом племянника, глаза дяди еще более спрятались вглубь, и вся его фигура приняла выжидательно-оборонительное положение.

Константин Иванович с усилием сказал дяде приветствие и зашел в сарай. Дядя ответил на приветствие как-то нескладно. Племянник спросил, что дядя делает; дядя сухо сказал. Константин Иванович оглянулся, увидел крюковую телегу у стороны, присел на нее и уже более твердо проговорил:

— Ну, я тебе мешать не буду. Я только спросить тебя кое о чем хочу. Скажи, пожалуйста, что ты с нашей землей надумал делать?

Дядя тоже оправился; он взглянул на племянника, и во взгляде его было изумление.

— С вашей? С какой вашей? Я к вашей земле не касаюсь. Да и на что она мне. У меня, слава богу, свой надел.

— Я не про надельную, а про купленную. Ты, говорят, нашу купленную присвоить хочешь?

— Купленную? Купленная — дело другое. Только купленная пе ваша, она осталась после нашего отца.

— Ее не ваш отец покупал, а мы. Мы ее сторговали, мы за нее и в банк выплатили.

— Ничего не знаю. В бумагах опа числилась за покойником отцом, а теперь я перевожу ее на себя.

— Зачем же ты ее переводишь?

— А чтобы отца помянуть. Вам после отца остался дом, а мне — земля.

— А у тебя дома нет?

— Мой дом я сам завел. Мне никто не помогал, а вам отцовский остался, и плант и усадьба.

— А ты на выдел не получал?

— Что я получил, то от того и званья не осталось.

— Мы землю-то после раздела купили.

— Не вы купили, а покойник отец. Им она куплена, на его имя и записана. А коли на его имя — он, стало быть, и хозяин.

— Тогда мы твой дом себе припишем?

— Приписывай, если можешь,— вдруг весь загораясь, воскликнул Андрей Егоров.— Я препятствовать не буду. Заявляй, где следует, и приписывай.

Константин Иванович почувствовал, что он сказал глупость, и ему стало досадно на себя; он покраснел, и голос его стал жестче.

— Мы этого делать не станем, нам чужого не надо.

— Да и ничего не сделаете — потому не по правилам.

— А твое дело по правилам?

— Стало быть, что... А если не по правилам — нешто бы меня к ней подпустили? Такой бы от ворот поворот показали... а то приписали и в хозяева введут.

— И все будет по закону?

— А то как же? Неужто без закону? Я без закону не могу. У меня тоже, чай, душа, а не головешка.

— Да ведь земля-то наша, вся деревня это знает!..— весь закипая и переседающим голосом воскликнул Константин Иванович.

— Ваша?! Да как же суд за мной ее утверждает. Нешто суд может чужую собственность утверждать?

Дядя уставился на Мельникова во все глаза и долго глядел не моргая. Этот наглый взгляд проник в самую глубь души Константина Ивановича, и он, весь дрожа и еще более изменившимся голосом, спросил:

— Так ты хочешь владеть этой землей?

— Може, владеть, а може, продам кому. Я буду хозяин — что хочу с ней, то и делаю.

— И совесть твоя это позволяет?

Дядя вдруг обозлился, глаза у него загорелись, и затряслась голова; он злобно взглянул на племянника и дрожащим голосом воскликнул:

— Что ж ты думаешь, я против совести могу пойтить?.. Да я отродясь ничего против совести не делал!.. Что ты меня тычешь-то? Это вы с отцом неправдой жизнь уставили, дедушкиным домом завладели и землю под себя забрать хотите. Что ж, я отцу-то не такой же сын? Скажи на милость?

Константин Иванович окончательно был сражен этой наглостью и растерялся. Приходя в себя, он почувствовал, что тут говорить больше нечего, у него нет средств, чтобы заставить этого человека отозваться на его доводы по-человечески. Видимо, предстоящая выгода закружила ему голову, и он ради нее пойдет на все. Он соскользнул с телеги и вытянулся.

— Очень жаль тогда... Я хотел с тобой по душе поговорить, а ты не хочешь слушать. Ну, что ж, будем разговаривать по-другому...

— Не грози.

— Я не грожу, а вот что тебе скажу: мы тебе своей земли не уступим... Всю силу положим, а ограбить себя не дадим...

IV

Когда Мельников вышел из сараюшки опять на улицу, то увидал, что по улице кто-то ехал. Лошадь была высокая, вороная, в полунемецкой сбруе, запряженная в дрожки. На дрожках верхом сидел широкоплечий мужчина с серебристой бородой, в картузе с лаковым козырьком и в двухбортном

суконном пиджаке. Поравнявшись с Константином Ивановичем, он попридержал лошадь и крикнул:

— Константину Ивановичу, с приездом!

Мельников узнал своего односельца Пряникова, ходившего старшиной. Он, видимо, отправлялся на службу. Пряников был старше его. Их семья считалась издавна богатой. Отец его когда-то торговал лесом, и сын помогал ему, потом его выбрали в старшины; он ходил в старшинах уже не одно трехлетие. Человек он был чванный, недоброжелательно относившийся ко всем, кто поднимался в достатке в деревне и становился с ним на одну ногу, и в то же время большой мастер показывать себя не тем, что он есть. В волости он пользовался большим уважением, как примерный человек, хотя человек он был далеко не примерный. Потому ли или потому, что сейчас у Константина Ивановича было уже не то настроение, как давеча, этот односелец, встретившись, не внес в сердце Мельникова приятных чувств. Все-таки он остановился, ответил на рукопожатие, и когда Пряников с сладкой улыбкой на своем сытом лице, лукаво поблескивая узенькими вороватыми глазами, расспрашивал, как он там в Питере поживает, как идут дела, что хорошего, Мельников, машинально отвечая на его вопросы, вдруг и сам решил задать ему вопрос.

— Все хорошо,— сказал наконец Мельников,— вот только дома плохо: дядя обидеть хочет.

— Какой дядя? — делая сразу недоумевающее лицо и как бы не понимая, о чем идет речь, уже серьезно спросил Пряников.

— Андрей Егоров; землю отбивает.

— Какую землю? — точно ничего не зная, опять спросил Пряников.

— Купленную, вот что вместе с Машистым да Рубинскими-то у нас. Объявил себя наследником после дедушки и хочет завладеть.

— Это не через нас... То-то я не припомню сразу. Купленная через Окружный идет, мы этих делов не касаемся.

— А что ж теперь делать нам? — спросил Мельников, думая, что Пряников, как должностное лицо, более знает такие дела и может дать добрый совет.

— Ничего, брат, не знаю,— делаясь вдруг фамильярным, изменил он тон.— Это в Окружном надо справиться, а нам эти дела неподсудны. Нам подсудна только надельная

земля, и слава богу! По нонешним временам с одной наделной сколько возни, укрепляются да выделяются, судятся да тягаются... Приходи как-нибудь чай пить. Я недавно большую половину в избе отделал, новую небиль купил...

— Спасибо,— еле выговорил Константин Иванович.

— Приходи как-нибудь вечерком, а то в праздник, а пока до увиданья, надо в контору, делов много...

Он ударил вожжами по лошади и покатил из деревни, а Константин Иванович направился домой.

Дома, как только он отворил дверь, ему бросились под ноги уже проснувшиеся детишки: шестилетний Колька и трехлетняя Манька. Они жили с ним по зимам в Петербурге и только месяц как приехали, но успели загореть, обрасти волосами, и их объели комары; они обхватили его и, прыгая, наперебой кричали:

— Папася, папася, папася!

— Ах вы... дачники этакие! — забывая всю неприятность и радостно улыбаясь, воскликнул Мельников и поднял с пола обоих ребятишек.— Я думал, они встретят меня, а они спят без задних ног.

Он сел на лавку и, прижимая их к себе, стал болтать с ними, а Софья, убравшаяся у печки и собравшая чай, пытливо поглядывала на него, стараясь узнать, что вышло у мужа из разговора с дядей.

— Я посылал вас работать в деревню, а вы только шалите да спите до полдня.

— Сколо ягодка поспеет,— сказала вдруг Манька.

— А ты будешь ходить за нею?

— Буду.

— А я косить пойду,— заявил Колька.

— Вон они какие работники, а ты говоришь,— сказала Софья.

— Работников-то много, а работать будет не на чем, отобьет дядя землю.

— Все-таки отобьет?

— Хочется ему.

— Мало что хочется.

В избу вошел старик и, опустившись на конике, спросил:

— Ну, что, как дядя принял?

— Дядя принял — другой раз не пойдешь.

— Что ж он говорит?

Константин Иванович рассказал про разговор с дядей.

— Я уж с старшиной хотел посоветоваться, да от него ничего не добьешься.

— Захотел тоже! — сердито хмыкнул отец.— Я думаю, не он ли и настроил дядю. Ему, може, в голову не пришло бы, а тот научил. Его хлебом не корми — только кляузу какую заведи...

— Какой ему толк?

— Такая натура: не хочется, чтобы кто хорошо жил... норовит кого разбить да попутать...

Собрали чай, поставили селедок с зеленым луком и пшеничного киселя. Начался завтрак.

— Ну, хорошо,придираются к нам, но у нас, слава богу, зубы есть, а кто ломалосильнее-то, те-то как же?

— А вот так: было у Курочкиной вдовы полторы души земли — пасынок отбил; у Звонаря половину усадьбы отрезали.

— И негде защиты искать?

— Защита-то есть, да добиться-то ее трудно...

— Дела делаются!..— крутнул головой Константин Иванович и, вздохнув, вылез из-за стола.

V

У Мельниковых за двором был разбит садик. Завел его Константин Иванович. Когда он после раздела с дядей устроился в Москве, ему попалась книжка по садоводству; он ею заинтересовался и решил попытать устроить садик у себя. И когда приезжал на побывку, он все свободное время проводил за двором, и там появились грядки с ягодными кустами и молодые плодовые деревца. И кусты и деревья он привозил из Москвы из питомника. Они прижились и разрослись и года через три уже стали давать урожай. К саду привыкли, и старик и Софья наблюдали за ним и поддерживали его в таком виде, в каком хотелось Константину Ивановичу.

После завтрака Константин Иванович сказал ребятам:

— Ну, вы, хозяева молодые, идите, ведите меня в сад, покажите, что там у нас делается.

— А хозяева молодые и не знают,— улыбаясь, проговорила Софья.— Я их не пускаю туда, а то они того наделают, что ничего не получишь...

— А там разве крапива не растет? — крапивой можно.

— Мы ее выпололи.

— Ну, я тогда их сведу. Пойдемте-ка, только чтобы не баловать, цветов не рвать, травы не топтать, как у нас в Питере.

— Не, не будем,— согласилась Манька.

— Ну, так идем.

Ребятишки быстро выбежали из избы и скрылись за двором. Сад был огорожен тыном. И когда Константин Иванович взошел в него, то сразу же увидел, как хорошо все идет. На яблонях зазеленела обильная завязь. Смородина была обсыпана кистями изумрудных ягод, пестрели белыми звездами лапчатые букеты клубники; стояло жужжание пчел. Мельникова охватило сладкое восхищение; он радостно вздохнул и громко сказал ребятишкам:

— Эва, какое добро у нас, сопляки этакие!

— А смолода поспела? — спросил Колька и рванулся к кусту.

— Нет, еще не поспела, и ты к ней не лезь, помнишь, что я вам говорил...

Он останавливался у каждого куста, любуясь его видом, и ему вспомнилась его петербургская жизнь в тесной темной квартирке, служба в каменных стенах с постоянным табачным дымом вместо воздуха, и эта жизнь показалась ему такою бездушною, скучною и неприятною, и ему жалко стало многих своих сослуживцев, у которых не было никакой связи с деревней.

«Такое раздолье иметь дорого стоит»,— с тайной гордостью подумал он и вдруг вспомнил опять дело с дядей, и его радость сразу отуманилась.

За тыном что-то мелькнуло, потом скрипнули воротца, и кто-то вошел в сад. Константин Иванович встрепенулся и увидел, что к нему приближаются две мужицкие фигуры, еще неясные за кустами.

— Где он, питерский-то? — раздался сильный сочный голос.— Приехал да в кусты; нет, брат, у нас так не водится, а ты выходи нарузь да говори: я никого не боюсь.

Мельников по голосу узнал Харитона Машистого, товарища Мельникова по купленной земле. Он был высокий, с прямо сидящей головой, на загорелом лице его под высоким лбом светились умные, думающие глаза. Ему было за сорок, но ни в черной продолговатой бороде, ни на голове

еще не было седых волос. За Машистым шел Протасов. Протасов улыбался, и по этой улыбке Мельников догадался, что это он после давешней встречи известил Машистого о его приезде и привел сюда.

— Здорово, с благополучным прибытием! — добавил Машистый, подойдя вплоть к Константину Ивановичу и крепко пожимая ему руку.

— Спасибо,— ответил Константин Иванович.— Как вы тут живете?

Все трое подошли к лежавшему у изгороди столбу, на котором Иван Егоров отбивал косы, и стали усаживаться.

— Да у нас тут какая жизнь! Вот как у вас там? У вас там дума.

Колька с Манькой тоже подошли к столбу и, увидавши голубые глазки какой-то травы, припали к ним. Константин Иванович хотел было послать их домой, но, заметив, что они увлеклись разглядыванием цветов, решил ничего им не говорить.

— Дума что у нас, что у вас.

— А к вам все-таки ближе, небось кто-нибудь из членов и в магазин заходит.

— Покупатели нам все равны.

— Как же так? Они не кто-нибудь. Тоже небось за нашего брата работников. Мы здесь ломаем, а они потеют.

— Эх, думушка-дума, никак ты нас поднадула, какой уж раз собирается, а ничего у нас не меняется! — вздохнув, проговорил Протасов.

— А ты думал — от думы хлеб лучше станет родиться?.. Хлеб родится от погоды, а не от думы.

— Не хлеб... а думали, что она нам даст, что мягче хлеба... Мы ждали от нее земли да воли, а выходит — не проси ничего боле...

Протасов сдержал новый вздох и полез в карман за табаком. Он был двухдушник. У него была старуха мать, жена и трое детей. Жил он от одной земли, на сторону отлучиться не мог. Земли ему не хватало, и он или снимал у кого-нибудь пустые полосы, или брал угол у Машистого, Мельниковых или еще у кого из многоземельных.

Машистый был одинокий, жил вдвоем с женою, зимою он, кроме того, столярничал; он не бедствовал, может быть, поэтому и не понимал постоянного беспокойства Протасова о земле.

— Землю-то она нам дала,— спокойно и уверенно сказал Машистый.

— Где она дала-то?

— В миру. Нужна она тебе — бери да вырезай.

— Мне не от мира нужно-то, а от других.

— Ты сперва научись с мирской справляться.

— Я справляюсь.

— Справляешься, а по чужим полосам таскаешься. Зачем же это?

— А что ж я сделаю, когда свое поле, что мне надо, не дает?..

— А ты добейся, чтобы давало. Вот в этом-то вся и загвоздка. Одни из коровы одно молоко берут, а другие и молоко берут, и на этой же корове это молоко на рынок везут.

— С одного вола две шкуры не сдерешь.

— Три можно, а не то что две,— убежденно проговорил Машистый.— Ты думаешь, тебя большое поле прокормит? Коли ума не приложишь, и на большой земле зубами нащелкаешься, а с прилежностью и малое больше даст.

— На малом не развернешься.

— Еще как развернешься-то! Был бы разум да старанье. Поглядите на усадьбы-то: вон у других на таком же добре одна трава растет, а у Константина Ивановича чего хочешь. Ишь, и смородина, и клубничка, и огурчик. А это чего стоит-то? Вон какая полоска, а с ней на всю семью добра хватит. Собери ты свою землю в одно место да постарайся над нею, она тебе так же, как усадьба, отплатит.

— Наши земли и в одно место соберешь — не воскреснешь. Достанутся пустыри да межи — совсем останешься без ежи.

— Усдобишь. Усдобишь пожирней — все сравняется. Будет, как господская.

— Над господской землей наши отцы да деды старались.

— Отцы да деды над чужой старались, а мы будем над своей. А то как рыба на песке бьемся, а к воде не подберемся.

Протасов затянулся цигаркой и замолчал, а Машистый обратился к Константину Ивановичу и стал дальше расспрашивать его о петербургских делах — надолго ль он приехал. Мельников сказал, чем главным образом был вызван его приезд.

— Слышал, слышал! — сказал Машистый.— Вот как люди добрые дела делают, а ты,— обратился он снова к Протасову,— от думы земли ждешь. Ты бы сам не зевал, вроде как Андрей Егоров, с своего же коня да долой посреди дня!

VI

Протасов бросил окурок в траву, поднял глаза и равнодушно проговорил:

— Это дело известное. У нас примера не было, чтобы кто своими руками хорошего житья добился, а таким-то порядком сколько хошь.

— Да, начинаются дела,— вздохнув, вымолвил Машистый.— Из овечьего стада еще волков не выходило, а из мужицкого уж появляются. Вот твой дядя. Теперь еще Восьмаков.

Константин Иванович вспомнил Восьмакова. Он был старше его, жил прежде в Москве молодцом в рыбной лавке. Раз его послали на вокзал выкупить товар и дали ему четыреста рублей денег. Деньги его соблазнили, и он объявил, что потерял их; хозяин заявил полиции, молодца отправили в сыскное, и после этого деньги нашлись. Восьмакова посадили в тюрьму, и когда выпустили, он не стал жить больше в Москве, вернулся в деревню и взялся за крестьянство. Хозяин из него вышел плохой; вел он себя пока незаметно. У него было три сына; двух он отправил в Москву, а третий жил при нем в деревне.

— А что ж Восьмаков, он разве что? — спросил Мельников.

— Тоже мироедом становится; пока ребята росли да вошь кусала — был тише воды, а теперь вшей стряхнул маленько — гляди-ка, как нос дерет: над всем миром большину взять хочет.

— Да он и порядков-то деревенских не знает,— удивился Константин Иванович.

— Порядков не знает, а на сходке орет во всю ивановскую. И где свою пользу увидит — в лепешку расшибется, а своего добьется.

— У нас на всем миру так пошло,— заговорил опять

Протасов,— всякий думает не как лучше, а как слаще. У каждого стала одна забота — как бы повернуть краюшку к себе мякишем, а другой хоть зубы поломай...

— Слабнуть народ стал.

— Не слабнуть, а крепнуть... только крепость-то эта идет на худые дела. Поджил мужик стройку, надо перетрясать, а он под нее красного петуха. Дескать, пожар стройки не портит. У него-то не испортит, а соседу-то будет каково? Али теперь, с этой собственностью: другой покупает, всю семью по миру пускает, а ему и горя мало.

— Своя рубашка к телу ближе,— заметил Машистый.

— Известно,— согласился Протасов,— только мы в училище ходили, нам хорошие истории читали, старались нас выучить не рубашку на теле держать, а душу не потерять. Для того нам мозги-то прочищали, чтобы нам друг друга душить?

— Друг друга душат и неученые.

— Неученый хоть меньше сделает — от него ни путного, ни беспутного.

— Ну, тоже не скажи. Ты думаешь, кто темен — он ни туда ни сюда; раскуси-ка его хорошенько, ан и ошибаешься. Попробуй-ка подбей наших стариков вон Бержеловое болото высушить? ан и не подобьешь. Всем от этого польза, а они не пойдут. А помани Пряников косить за вино, найдутся охотники?

— Найдутся.

— Стало быть, они разбираются. Идут туда, где сейчас по губам помажут.

— Это оттого, что на хорошее дело-то мало зовут.

— Оттого мало и зовут, что знают, никто не пойдет и никто хорошего слушать не будет, а Восьмакова с Пряниковым послушают.

— Стало быть, не все ладно у нас в деревне? — спросил Константин Иванович.

— В деревне никогда ладно не было, да и быть не может,— опять заговорил Машистый.— Какой тут может быть лад? У вас, в Питере али в Москве, каждый знает, что ему делать и что за свое дело ожидать. В такие-то часы на работу идет, в такие-то на обед, тогда-то получка, а тогда-то праздник, а мы никогда ничего не знаем. Ты думаешь ехать пахать, а тебя гонят по дороге заплатки латать. Ты собрался косить, ан, глядь, дождик моросит. Осенью какая зелень —

сила, думаешь — вот с хлебом будешь, а пришла весна — вместо ржи-то синюшник растет.

— Это всегда так велось, нужно бы привыкнуть.

— Плохая привычка, когда на каждом шагу закавычка. Никогда путем думки не соберешь: ты задумал об одном, а тебя высадит на другое, вот и ходишь весь век с разинутым ртом.

— Вы с разинутым ртом ходите оттого, что у вас дышать свободно,— проговорил Константин Иванович.— Ишь какая благодать; что ни дыши — еще хочется!

— Дышать-то у нас есть чем,— усмехнулся Протасов,— вот только иной раз, что жуют, не хватает.

— Как так не хватает, когда вашими трудами другие кормятся!

— Другие-то наше едят, а мы на них только поглядываем. И вы считаете, что нам жить хорошо, а мы думаем — вам не плохо.

— Вот ты и разберись,— вдруг засмеялся Машистый,— не пришлось бы на веревке тянуться, чья сильней. Так как же теперь быть-то? Мы пришли к питерскому, думали — с него по случаю приезда щетинку сорвать, а никак приходится нам его в чайную-то вести да из своего кошелька угощать.

— Зачем в чайную?

— Обмыть тебя по случаю приезда. Эх, дела, дела! Видно, там хорошо, где нас нет. Ну, что ж, если у вас там так плохо, а у нас хорошо, пойдем, мы тебя угостим, где наше не пропадало.

— Я угощу,— улыбаясь, проговорил Константин Иванович.— Я от этого не отказываюсь, только я хочу сказать, у вас тут трава, зелень, а у нас кругом камень, да еще шлифованный, а среди камней и сам, того и гляди, каменным сделаешься.

VII

Чайную в Охапкине содержал Бражников. Прежде, в молодости, он ходил на заработки. В Москве на одной фабрике стали вырабатывать бумажное полотно, похожее на голландское. Находчивые люди стали разъезжать с этим полотном по глухим местам и продавать его за настоящее.

Барыши получались большие. Таким торговцем стал и Бражников и в два года нажил две тысячи. После этого он снял трактир на большой шоссейной дороге и заторговал на славу. Он отрастил брюхо, завел золотые часы, жена его сшила шелковое платье, и он уже хотел выписаться из общества и приписаться к купечеству. Но рядом с шоссе вскоре провели железную дорогу; езда по шоссе упала, трактир Бражникова опустел, хозяевам пришлось сокращаться во всех своих замашках, и они стали быстро проживаться. Часы были проданы, платье заложено, и вот, когда стало ясно видно, что прежнего житья не воротить,— Бражников запряг лошадь в тарантас, усадил жену, десятилетнего сынишку и, сказавши работнику, что он едет в гости к попу,— уехал из села навсегда, оставив кредиторам все свое заведение и имущество. После этого в Охапкино лет пять ездил становой с исполнительными листами, но у Бражникова никакого имущества не находилось; становому такая езда надоела, и он оставил Бражникова. А Бражников вырастил сына, женил его на одной сироте, у которой было трехсотрублевое приданое; на это приданое он открыл чайную и стал тайком приторговывать водкой.

У двора Бражникова росло несколько кудрявых берез. Под ними стояли столы, и летом под березами были лучшие места.

Когда компания подошла к чайной, под березами был занят только один стол. За ним сидело три мужика. Старый согнутый старик Быков, хозяин большого дома, с деньгами, на которые он скупал зерно во время беспутья, скот, лес; он сам уже не работал, так как у него была грыжа, но крепко держал большину в руках. Другой был старовер Васин, с курчавой бородой с проседью и востренькими маленькими глазами; третий был высокий, белокурый, с широкой бородой и вдавленной переносицей, тягольщик Осип. Осип первый заметил подошедших и воскликнул:

— Господину питерскому наше почтение! С приездом!

На безобразном лице мужика мелькнула широкая улыбка, выражавшая как будто бы добродушие и вместе с тем и лукавство.

Мельников стал здороваться с односельцами. Быков и Васин отнеслись к нему не так фамильярно. Быков степенно ответил на его рукопожатие, Васин же встал и поклонился при этом.

— Погостить приехал? — спросил Быков.

— Да, своих повидать.

— Надолго?

— До успенья проживу, а может быть, подольше.

— Тоже как дело пойдет, а то не скоро отпустят,— двусмысленно улыбаясь, сказал Осип.

Быков сурово взглянул на Осипа и сказал:

— Погоди ты, не суйся не в свое дело,— и обратился снова к Мельникову: — Редко бываете в деревне-то, надо бы подольше...

— Я и то хочу все лето пробыть.

К столу подошел Машистый, ходивший заказывать чай, и, усевшись рядом с Мельниковым, скинул картуз и стал вытирать пот со лба.

— А что я хочу вас спросить,— заговорил вдруг Васин, пытливо глядя на Мельникова своими вострыми глазами,— вы там видали народу с разных местов; в тех-то местах так же, как у нас, живут али по-другому?

— Живут везде по-своему, только нужду терпят одинаково.

— Стало быть, не лучше нашего?

— Не лучше.

Васин качнул головой и щелкнул языком.

— Вот оно дело-то какое!.. Стало быть, такое крестьянское положение... На роду нашему брату написано век кукушкой куковать...

— ...да кулаком сопли утирать,— ввернул Осип и громко загоготал.

— Да погоди ты! — уж прикрикнул на него Быков.— И что мелет! Тут об деле, а он об хмеле, чудак!

— Я к слову, што ж... а не надо, так и не надо, не велика беда,— сказал Осип и замолчал.

В палисаднике появился Бражников. Ему было лет пятьдесят. Он был высокий, прямой, с густой белокурой бородой, подернутой проседью, и высоким лбом; но нос у него был крупный и тупой, и от этого портилось все благообразие его лица. Он чуть не бросил на стол поднос с посудой и, схвативши руку Мельникова, встряхнул ее.

— Константин Ивановичу, с приездом! Чем прикажете, окромя чаю, потчевать? Может быть, пивца али кваску? Есть хороший, в погребе лежит, холодный.

— Ничего не надо; вот чайку попью, и ладно.

— Да вы не стесняйтесь, я с вас ничего не возьму, только скажите.

— Да мне ничего не хочется, благодарю.

— Ну, так я сейчас сухариков к чаю принесу.

VIII

Бражников ушел, а в палисадник вошли два новых гостя. Один широкоплечий, плечистый, с чалой бородой и багровым самоуверенным лицом. Это был Восьмаков. Другой, много моложе, с мягкой шелковистой бородой и чистыми глазами, Костин. На первый раз он казался таким тихоней, но был совсем не тихий, а в пьяном виде даже жестокий человек. Когда он напивался, то становился грозой семьи и соседей. Буйствуя, он бил всех, кто попадется; он не щадил ни свою мать, ни жену, ни детей. Особенно он измывался над женой: он ее клал на лавку или на стол и колотил от головы до пяток и выпускал только тогда, когда ему надоедало. К нему в это время нельзя было никому подойти, потому что он набрасывался на того и тоже избивал до беспамятства. Жену часто отливали водой; она была уже не в своем рассудке и в тридцать лет казалась старухой и жаловалась на боль в костях. Запуганные росли дети, и боялись встречаться соседи.

Восьмаков и Костин поклонились совсем одинаково, чисто формально, и уселись за столом под окном. Васин опять обратился к Мельникову и спросил:

— А не приходилось вам слышать, как в других местах на хуторах живут?

— Не одобряют, — вдруг вставил замечание Осип.

— Кто не одобряет-то? — вдруг спросил Осипа Машистый.

— Те, кто понимают.

— Эти понимающие-то, може, вроде тебя: табак с перцем различить не могут. Как это не одобрять хорошего?

— А по-твоему в хуторах хороштво? — бросил из-за своего стола Восьмаков, и в тоне его чувствовался задор.

— Известно. Чего ж еще хотеть: вся земля в одном месте, под руками!

— И ко рту поднесешь — не проглотишь, тоже как задастся.

— На хуторах, говорят, лучше живут,— сказал в ответ Васину Мельников.— Земля близко, обработать ее много легче.

И только он это сказал, как неуловимый огонь промелькнул в глазах Восьмакова. На лице его выступила краска, в голосе задрожали едкие, злые ноты.

— И близко, да склизко, а далеко, да дорого... Что в ней, в близости-то, если достанется, что никуда не годится.

— Вблизи всякую землю сделаешь, что будет годиться.

— Скоро ее сделаешь-то, когда в ней ничего нет?

— Вложишь.

— Когда в нее вложишь-то?

— Люди совсем пустые земли на путь наводят.

— Где такие люди-то?

— Везде, и у нас, и за границей...— поддержал Машистого Константин Иванович.

Все лицо Восьмакова стало вдруг чугунное, в глазах появилась дикая враждебность, даже изменился, как будто бы пересел голос.

— Какие в загранице люди? Там не люди, а нехристи. Они леригию отвергают... Нешто можно нам глядеть на заграницу?

В тоне Восьмакова чувствовалась вражда; она дрожала в каждом слове его. Это задело Мельникова, и вдруг его стало разбирать раздражение.

— Отчего же не поглядеть, где есть хорошие примеры? На худые дела нечего обращать внимания, а хорошему учиться везде можно.

— Учиться! Вот от ученья-то и идет беда; забьют люди в голову, от дела-то отвыкнут и ищут, что полегче; работать чтобы меньше, а получать больше. Нет, ты соблюдай себя без хитростев.

— Хорошему урожаю никто не рад не бывает.

— Урожай от бога, а вы хотите, чтобы все от самих себя. Нет, на это у вас еще кишка жидка...

Мельникову непонятно было такое отношение Восьмакова к самому себе, и вообще непонятна душа таких людей, как Восьмаков и его дядя. И он опять почувствовал свое бессилие найти хотя какой-нибудь подход к их сердцу, и ему стало нехорошо.

А с Восьмаковым схватился Машистый, и у них завязался спор. К спору прислушивался Протасов; он молча пил

чай, но по тому, что горели его щеки и часто вспыхивали глаза, видно было, что он относился к спору не безучастно.

Снова появился Бражников с тарелкой сахарных сухарей и, подсаживаясь к Мельникову, заявил:

— А я тут горлофон купил.

— На что же?

— Играть. Собирется народ в нраздник, и заведу, очень здорово выходит. Штука головоломная! Бывало, какую машину нужно ставить, а этот всего ничего. Не угодно ли, угощу?

— Я слыхал их в Петербурге.

— У нас послушайте.

— Другой раз когда, сейчас вот разговор идет любопытный.

— Насчет земли-то? Пустое дело. По-моему, земля как она ни есть — одно наказанье. От земли сыт не будешь, даже тела не нарастишь, а только нешто горб. Да вы и сами, чай, понимаете. Вы вот как живете-то? А на земле добьетесь вы этого?

Подошел еще гость — Андрей Егоров. Мельников почувствовал, как его разбирает волнение. Он взглянул, куда же подсядет дядя, но дядя, не замечая никого, прямо прошел к столу Восьмакова и Костина.

— Эй, хозяин, еще пару! — крикнул Бражникову Восьмаков.

И он пренебрежительно отвернулся от Машистого и заговорил с Андреем Егоровым.

Машистый поглядел на Мельникова долгим взглядом и так же, как Протасов, стал пить чай...

IX

Из чайной Мельников опять прошел прямо в сад и стал оправлять смородину, которая была мало обсыпана землей. Он работал руками, а в голове его начиналась другая работа, вызванная впечатлениями сегодняшних встреч. Бражников, Восьмаков, Быков с Васиным. Это были старые односельцы, заметные мужики, влиявшие на весь ход деревенского хозяйства. Были они простые мужики, но в сердце Мельникова не появилось тепла от встречи с ними. Они были не то, что Машистый и Протасов, родственные ему, при встрече с которыми на сердце делалось теплей и подни-

мались радостные воспоминания о прошедших временах. И сейчас же в воспоминании Мельникова выплыл давнишний, забытый всеми случай.

Весеннее утро, ясное, теплое, солнечное. Ярко блестит на солнце свежая, молодая зелень. Воздух полон густым туманящим запахом цветущих деревьев. Уже кончен сев, и забрызганы огороды коноплями. Бабушка подняла его гонять кур с этих конопель; он вышел на огород и с покойным Арсюшкой, старшим братом Протасова, которого задушила после гнилая жаба, начал мастерить шалашку из соломы. куда бы им можно было прятаться от солнца. Вдруг раздается звон доски, сзывающий на сходку. А сходка всегда была интересна для ребят; на ней и брань, и попреки друг дружке, и самые веселые разговоры, и смех артелью. Ребята забывают, зачем их послали на огороды старшие, и бегут на сходку. А на сходке уже собрались все мужики, а посреди других молодой мужик Федот. Он жалуется, что отец выгоняет его без всего, а у него жена и двое ребят, без земли и крова; ему придется идти по миру. Федот, с реденькой бородкой, с втянутыми щеками, был похож на ощипанного куренка, а его отец, приземистый, пузатый, с густыми усами и бородой, как затесанный клин, стоял в стороне и siповатым басом кричал на весь мир:

— Ребят наковырял, а на добывку расторопности нет; твои дети, а я их корми да одевай. Што я, двужильный, што ли?

А Федот жаловался, что отец сам же сманил его с хорошего места в городе. Он бы весь дом поставил на ноги, а отец потребовал его летось на покос, и парень потерял место. Когда Федот кончил, все стали на его сторону и все стали осуждать старика. Они потребовали, чтобы старик дал сыну выдел, и тут же прибавили к отцовской душе надел одну душу мирскую и отвели место для постройки. И со сходки расходились все, возбужденно разговаривая, и ребятишки побежали веселые; они тоже понимали, что мир поддержал обиженного человека, и это дело было хорошее.

«Сделает ли деревня теперь это? — подумал Константин Иванович,— когда в ней командуют Восьмаков, Пряников и его дядя?» И он не знал, что ответить. Если выйти на мир с его делом и попросить его поддержки, что ответит мир? Опять Мельников ничего не знал, и опять в представ-

лении Мельникова все смешалось, и на сердце его стало тяжело.

В сад пришла Софья и, любовно глядя на мужа, спросила:

— Ну, наработался? А мы там обедать собрали.

— А я в чайной был.

— С кем же?

Мельников сказал, и сказал, что там был дядя и в компании с Восьмаковым и Костиным.

— Он всю весну с ними якшается. Костину картошки дал на семена да конопель.

— Чего это он с ними задружил?

— Что-нибудь неспроста. Костин-то никогда ему по характеру не был, а теперь-то и дело вместе в чайной.

— Может быть, думает попользоваться им?

— Что ж, Костин на что угодно пойдет, ему только поднеси, разве он пощадит кого.

— Посмотрим, что дальше будет.

В избе стояло жарко, пахло каким-то варевом. На столе была накрыта скатерть, лежали ложки и хлеб. Работница в чулане у печки чистила селедки, а Колька с Манькой сидели у среднего окна и ели хлеб. Константин Иванович подсел к ним, и ребятишки оба забрались к нему на колени и стали ласкаться.

— Что, все балуетесь? — улыбаясь, спросил Мельников, чувствуя, что тяжесть у него в груди пропала и ему становится легко и весело.

— А мы на леке были,— пролепетала Манька.

— Что вы там делали?

— Купались.

— А не боитесь утопиться?

— Я плавать умею,— поспешил заявить Колька.

— Хорош пловец! — насмешливо проговорила Софья.— Держится за кладки, а сам ногами брызгает и думает, он плавает.

Вошел старик; он разбирал хлевы на дворе. Расправив засученные рукава, он подошел к рукомойнику. Константин Иванович и ему сказал, в какой компании он видел дядю.

— Это всегда так: коли воровать человек собирается, то хорошего человека к себе не позовет, а подберет такого, который ему под стать бы был.

И, вытерев руки об утирку, он рассучил рукава, одернул рубашку и, подойдя к столу, прежде чем сесть за него, решительно проговорил:

— По-моему, раздумывать долго нечего, а надо с ними свое зачинать; поезжай завтра к земскому, у тебя язык помягче, расскажи ему все, пусть заступу дает.

— А где у нас земский живет?

— В Белоконье, барин тамошний,— говорят, ничего.

— Съезжу завтра, узнаю, что и как,— проговорил Константин Иванович и полез за стол.

X

Вечером, когда пригнали скотину и над деревней опускались сумерки, в окно к Мельникову постучались. Константин Иванович высунул голову и увидал стоящего под окном Быкова.

— Выдь на улицу, посидим маленько, да я с тобой поговорю кое-что.

Мельников вышел. Они сели на завалинку. Быков садился, осторожно приловчаясь, как бы ему поудобней сесть, чтобы не повредить свой «календарь», как он называл грыжу. Когда они уселись, Быков заговорил:

— Вот что, Константин Иванович: послушал я давеча ваш разговор; у тебя голова посветлее нашего. Правду говорят, вырезанная земля лучше?

— По-моему, лучше,— ответил Мельников.

— Давай и мы с тобой хлопотать.

— Что ж вдвоем? — удивился Мельников такому быстрому решению мужика.

— Зачем вдвоем, только начни, еще кто-нибудь пристанет. Не худое это дело, я думал, думал. Что это раньше такого закона не было? Я бы давно из деревни ушел. А я умру — у сына духу не хватит, не та голова у него.

Быков вздохнул. Видимо, воспоминание о сыне растревожило его сердце, хотя сын его был старательный работник в поле, умел кое-что поделать топором; у него было два взрослых сына, которые жили дома, и Быков собирался их женить за один стол. Загуливал он редко, но у него не было отцовской сметки и настойчивости, за что его старик и не любил.

Мельников сказал, что если выделяться, то нужно собрать всю землю вместе, а у них о купленной земле заводится спор, что, наверное, помешает выделу.

— Спор — дело кляузное. Его приостановить можно; съездишь к начальству, и дело к развязке.

— Хорошо бы так.

— Да, верно, так. Неужели правда такое дело сделать можно, чтобы на виду у всех чужое добро отбить?.. А тогда и всю землю сбивай; округлишь-то ее всю — вот как важно будет! Правда, Иван Егоров? — обратился Быков к выглянувшему в окно старику Мельникову.

— Мне все равно,— равнодушно сказал старик,— не мне теперь хозяйствовать. Как хотят молодые: хотят — в миру живут, хотят — выделяются.

С выгона, где паслись в ночном лошади, возвращались мужики, ходившие пускать лошадей. Между ними были Протасов и Машистый. Увидавши сидевших на завалинке Быкова с Мельниковым, они подошли к ним. Протасов сел на завалинку и стал крутить цигарку, а Машистый остался на ногах.

— Вот на выдел Константина Иваныча зову,— сказал Быков.

— Хорошее дело,— одобрил Машистый,— и меня в компанию примите.

— А ты пойдешь?

— Чего ж не пойтить, по крайности на работу по своей воле ходить будешь.

— Работать-то будешь по своей воле, да один, а одному и у каши не споро,— вдруг возразил Машистому Протасов.

— Не один,— сказал Быков.— Я вот зову Константина Иваныча, а там еще кто-нибудь выищется.

— То набирать нужно, а то уж мы собраны.

— Собраны, да земля неудобна, в разбросе да межниках.

— Есть и без межников.

— Так та в кочках да кустах, год от году становится хуже.

— Насчет мостов и дорог хорошо.

— Мосты и дороги и впредь будем держать, как держали,— сказал Машистый.— Одно затрудненье с пастбищем.

— И с пастбищем справимся,— выговорил Быков,— мож-

но вместе не пасть, а вывел за двор да привязал. Я вон весной продал корову. И была-то она ободранная, а попала к лесному сторожу, он ее на веревке стал держать,— гляди-ка, сколько молока стала давать!

— У вас земли много, вам можно. А вот как у меня всего две души,— опять сказал Протасов.

— Если с малой землей отходить нехорошо, то в миру с ней еще хуже. В миру она наполовину в бороздах да в кочках.

— Что говорить! — уверенно сказал Быков.— Шесть десятин в разбросе и не видать, а в одном-то месте будет — вон какая лопатина!..

— Шесть десятин — шесть полей. Тут тебе и рожь, и овес, и лен, и клевер — всего вдоволь, и работать легко и сработаешь много.

Сумерки сгущались. Тишина охватывала всю деревню, и под влиянием этой тишины голоса становились тише, задор пропадал. Вдруг Протасов оборвал Машистого и, обратившись к Мельникову, спросил:

— Константин Иваныч, а что, левые в Государственной думе хорошие люди?

— Больше хорошие,— не запинаясь, ответил Мельников.

— Об нашем брате они понимают кое-что?

— Другой раз больше, чем сам наш брат.

— Отчего ж, когда вводился новый закон, они против него шли?

— Позволь, я тебе на это скажу,— вызвался вдруг Машистый.

— Ну, скажи,— не совсем охотно согласился Протасов.

— Оттого они против закона шли, что больно хорошо о нашем брате понимали. Они думали, что мы — большая сила, а у нас была сила, когда нас мать на руках носила, а теперь эта сила-то незнамо куда ушла. Они думают, что мы в обществе-то живем все для одного, а один для всех, а не видят, что мы в своей семье друг другу волки, а не то что в деревне. Нешто у нас есть понятие о своем брате? Есть у нас друг к другу сочувствие? Ничего у нас этого нет, все друг другу враги. Если мы живем скопом, так это нас в крепостное право господа сбили, а сбили они нас потому, что в кучке легче на барщину собирать!..

А когда барщина кончилась - чего же мы не расходились?

- Становые не пускали, так же горячо и убедительно выкрикнул Машистый.— Им нужно с нас было выкупные да подушные собирать, а с деревни-то легче. По хуторам-то езди, а тут приехал к старосте, сбил сходку,— давай, такие-проэтакие, а то всех под арест...

Быков засмеялся.

- Что ж, не правда? — спросил Машистый.— Неужели нам самим лучше было в тесноте? Пожар у соседа — гори и ты. В деревне не работают — гуляй и ты. Мир запьянствовал — пьянствуй и ты, а то все равно долю пропьют. А как на хорошее стань подбивать — тебя по рукам, по ногам свяжут.

Протасов молчал, сидя согнувшись. Мельников взглянул на него, но Протасов не пошевелился. Он сидел так с минуту, потом вздохнул, медленно встал, потоптался и как бы про себя проговорил:

— Да, это вещь мозговитая!.. Надо все хорошенько обмозговать, а то как бы впросак не попасть.

— Не думамши, брат, ничего хорошего не сделаешь, а все семь раз примерь, а один отрежь,— деловито сказал Быков.

— Кому другому можно и не думамши, а маломочный почешет в голове.

— Чего ему чесать-то?

— Как бы не прогадать. Маломочный да непонятливый в миру, на другого глядя, что-нибудь в голову возьмет, а как выделится-то?..

— А как выделится-то, скорее увидит, что другие по-человечески живут, да и сам на их дорожку потянется.

— Известно! — поддержал Машистого Быков.— Идешь артелью по грязи, все как попало шлендают, а найди один посуше тропу — так за ним и потянутся один за одним.

— Ты сам давеча говорил,— обратился к Протасову Машистый,— что нет у нас хороших примеров и не от кого нам поучиться, а тогда скорей эти примеры-то появятся.

— Может быть, ваша и правда,— задумчиво проговорил Протасов.

— Да уж верно, что наша правда, ты этому поверь,— твердо проговорил Машистый и, обратившись к Мельникову, спросил, как он думает с своим делом быть.

— Надо начинать разузнавать. Вот завтра поеду.

— Поедешь об этом и насчет выдела узнай. Как и что делать, с чего способнее начинать,— попросил Быков.

— Хорошо, узнаю,— обещал Мельников.

XI

На другой день Мельников выехал из дому еще по холодку. До Белоконья, где жил земский начальник, было верст двадцать, и вряд ли можно было доехать до полден. Становилось уже довольно жарко, на лошадь налетели слепни, па бóках появилась пена, когда показалось Белоконье.

Белоконье было большое село с хорошими постройками, с обширными усадьбами у крестьян, на которых отцветали яблони и жужжали пчелы. Крестьяне давно уже взяли в аренду всю помещичью землю, дружно ее обрабатывали и хорошо жили; но насколько жизнь крестьян была исправна и хозяйственна, настолько была опущена помещичья усадьба. Посреди старого парка, обнесенного еще в крепостные времена теперь разваливающейся стеной, белел старый дом. Известка на нем облупилась, крыша проржавела, большая часть окон была загорожена ставнями, а верхнее полукруглое слуховое — забито досками. Кругом дома росли крапива, репейник и густая лебеда. И только щебневые дорожки еле светились посреди зелени. Напротив большого дома приютился небольшой флигелек, тоже, как и дом, облезший, с вывеской «Канцелярия»; у флигелька была коновязь, но у коновязи лошадей не было. У Мельникова зародилось беспокойство, а ну-ка земского начальника нет? И он торопливо вылез из тележки, привязал лошадь и пошел к дверям канцелярии.

Дверь была отперта. В канцелярии на Мельникова пахнуло спертым запахом какой-то сухой острой пыли, особенно чувствительным после свежего воздуха. Комната была просторная, с барьером, перегораживавшим ее поперек, с царским портретом на стене и столом под запыленным и запачканным чернилами сукном. В передней части комнаты около окна сидел на табурете вихрастый парень с худощавым прыщеватым лицом и курил. Кислый дым дешевого табаку густо висел в углу. Перед ним стояли два мужика. Один маленький, весь облезший, с выцветшими выпуклыми глазами, другой высокий, рябой, с черными глазами и не-

правильной левой ноздрей. Они что-то рассказывали пар ню, а тот внимательно слушал. Увидавши вошедшего Мель никова, парень выбросил окурок за окно и лениво поднялся к нему навстречу

— Что скажете?

— Земский начальник принимает сегодня?

— По какому делу?

Константин Иванович замялся. Ему не хотелось рассказывать парню, зачем он приехал, а тот не отвечал на его вопросы.

— Мне нужно видеть земского начальника.

— Подождите немного.

— Может быть, к нему туда пойти?

— Зачем же? Он сюда придет.— Парень пристально поглядел на Мельникова, потом прошел мимо замолчавших и посторонившихся мужиков к раскрытому окну во двор и с минуту вглядывался, как будто бы кого поджидая. Вдруг он закричал:

— Груша, Груша! скажи барину, что в канцелярию пора, народ есть.

— Садитесь,— указал парень Мельникову на свою табуретку, а сам прошел за барьер и стал разбирать какие-то бумаги.

— Так как же думаешь, выпалит наше дело аль нет? — заговорил опять облезлый мужик.

— Как барин взглянет.

— Что ж барин, барину как разъяснят.

— Ну, как сумеешь разъяснить.

— Где уж нам, ты ему расскажи, тебя он легче поймет, будь такой добрый.

— Да, уж похлопочи, Митрий Карпыч,— просительно заговорил высокий,— а то никакого ходу, твердит одно — она в ренде, а какая это ренда?..

Писарь ухмыльнулся и сказал:

— Ладно, помолчите, там посмотрим. Вот сейчас барин придет.

Дверь быстро отворилась, и в канцелярию вошел среднего роста господин в белой пикейной куртке с петлицами и белой фуражке с бархатным околышем. Несмотря на солидную форму, во всей фигуре вошедшего не только не было солидности, но сквозило совсем противоположное. На смуглом лице его, с широким бритым подбородком, выделялся с ва-

лившейся переносицей нос; в темноватых глазах чувствовалось полное отсутствие мысли. Казалось, что это какой-то глуповатый парень нарядился в непристающую к нему одежду и щеголял в ней. Но вошедший повел себя не как ряженый. Он свысока поглядел на бывших в камере и, не ответив кланявшимся ему мужикам, прошел за барьер.

— Ну, как дела? — спросил земский, кидая фуражку на стол и опускаясь на кресло.

— Вот вас ждут,— сказал писарь совсем уже другим тоном, кивая на Мельникова.

Мельников подступил к барьеру и вдруг почувствовал волнение. Запинаясь, он начал рассказывать, зачем он приехал. И по мере того, как он говорил, на тупом, некрасивом лице земского разливалась какая-то беспомощность; глазки его загорались беспокойным огнем. Он то впивался ими в Мельникова, то беспокойно кидал взгляды на вихрастого писаря, который спокойно и внимательно, не моргнув бровью, слушал, что говорит Мельников.

— Ну, да так что же вы хотите? — спросил земский и зачем-то взял цветную обложку с делом и переложил ее на другое место.

— Я хочу узнать, как можно воспрепятствовать дяде взять нашу землю?

— Судиться с ним хотите?

— Как вы найдете лучше, по закону...

Земский совсем испуганно взглянул на Мельникова и вдруг полез в боковой карман за папиросами. Писарь посмотрел в свою очередь на Константина Ивановича и спокойно проговорил:

— Это к нам не относится. Земля куплена в частную собственность?

— В частную, через нотариуса.

— Так, о таком имуществе все споры ведутся через окружной суд.

Выражение лица земского сразу изменилось. Беспокойный огонек в глазах быстро исчез, и все лицо его приняло выражение самоуверенности.

— Да, нам подсудны дела, только касающиеся крестьянского надельного имущества и земель, купленных через Крестьянский банк.

— Наша земля куплена при помощи банка,— заявил Константин Иванович.

Беспокойный огонек снова появился в глазах земского; он оглянулся опять на писаря, но тот по-прежнему спокойно спросил:

— А вы долг-то банку выплатили?

— Выплатили.

— Так она теперь частная собственность.

— Да, да, — начал уверять Мельникова земский,— теперь всякие споры о такой земле подлежат окружному суду.

— Так, стало быть, нужно ехать в губернию?

— Поезжайте в город к члену окружного суда и спросите у него.

— Я живу в Петербурге, судебных дел до сих пор не вел...

— Так вот вам письмоводитель расскажет. Дмитрий, объясни,— уже по-начальнически приказал земский и, отвернувшись от Мельникова, перевел глаза на бывших в камере мужиков.

Мужики подступили к барьеру, и оба наперебой стали излагать свое дело.

— Постойте! кто-нибудь один говорит, не могу я слушать сразу вас обоих! — крикнул земский начальник, и начальнический тон его стал значительно тверже.

XII

По словам писаря, член окружного суда находился сейчас в городе, и Мельников сегодня же мог получить от него все разъяснения. Он подвязал лошадь, подобрал положенный и еще не съеденный ею корм и поехал в город.

До города было недалеко, но и эта короткая дорога казалась Мельникову чересчур длинной. Он сильно волновался. Дело, казавшееся таким простым, оказывалось довольно сложным. Хотелось скорее эту сложность выяснить.

Он подгонял лошадь, и лошадь уже тяжело дышала, и на пахе у нее опять была пена...

Через час Константин Иванович был в городе. Хотя ему хотелось есть и пить, но он прежде стал отыскивать, где уездный член. Жил член в глухом немощеном переулке; канцелярия его выходила на поросший травою двор, и на этой траве расположилось несколько имевших к члену дело мужиков и баб. Мельникову пришлось долго ждать, пока дой-

дет до него очередь. И когда очередь дошла, молодой сухощавый господин с пушистыми усами поглядел на него через очки и спросил, что ему нужно.

Так же, как и у земского начальника, не совсем связно Мельников стал объяснять свое дело. Член молча и сдвинув брови выслушал его, потом кивнул головой в знак того, что он понял, и проговорил:

— Ваш дядя укрепился в правах наследства и хочет отобрать вашу землю?.. Единственное средство помешать этому — подать на него иск на определенную сумму и просить наложить на это наследство запрещение. Это необходимо для того, чтобы помешать ему продать или заложить вашу землю.

— Разве он может это сделать?

— Очень легко. За ним наследство утверждено, он получил исполнительный лист, его введут во владение — и он сделает с нею что ему угодно.

— Но ведь земля-то наша?

— Земля была Егора Мельникова, а Андрей Егоров — его сын, законный и прямой наследник. Вы говорите, есть другой наследник, так докажите это суду, и суд признает за ним такое же право.

— Но у дяди на это наследство никаких прав нет. Землю покупали мы с отцом, и уж после раздела.

— Она записана за Егором.

— Это сделал банк; банк требовал, чтобы хозяином записывался старший в доме, а старшим был дед.

— Тогда этому старшему нужно было составить завещательное распоряжение, а раз он этого не сделал, то его имущество по закону переходит к его законным наследникам в равной части.

— Стало быть, дяде часть земли должна перейти?

— Непременно. Может быть, вам удастся убедить суд в том, что дядя не участвовал в покупке, и суд сумеет подействовать на дядю так, что он откажется от своих притязаний... Все может быть,— но по закону его право на половинную часть неоспоримо.

Константин Иванович был так ошеломлен этим, что долгое время не знал, что ему сейчас делать и что говорить; член суда помог ему.

— Вам нужно немедленно предъявить к дяде иск и просить о наложении запрещения. Сделать это можно так...

И член суда стал разъяснять, что и как им нужно делать... Иск к дяде мог даже приостановить выдачу исполнительного листа, потом дело пойдет не скоро, а они пока будут пользоваться своим имуществом. Мельников поблагодарил судью и пошел из канцелярии.

По городу шел Мельников как в тумане. Он не замечал, что вокруг него делалось, позабыл, что он еще ничего не ел, не пил сегодня, а шел опустив голову, и смутные мысли тяжело шевелились в его голове. Его убивало не то, что, несмотря на предстоящие хлопоты и расходы, у них все-таки отнимут часть земли, а изумляло то, как могла быть такая законная возможность, при которой одному предоставляется взять принадлежащее другому? Его понятия о вещах были самые простые, хотя он и был потерт достаточно городскою жизнью. А такие простые понятия никак не допускали, что отсутствие такой-то отметки на бумаге о таком-то действии меняет все значение действия и лишает его силы. Раз есть веские, простые и ясные доказательства, что дело так, а не этак, то дело и должно быть так,— а выходит, что легко может быть и не так и это подтверждает затеянное дядей дело.

Мельников задал себе вопрос: кто же внес неясность в их дело? Почему закон не допустил записать землю на того, кто ее покупал? Он считал то лицо неответственным, неполноправным, а если есть люди неполноправные, то от них нельзя требовать и точного выполнения требований закона?

Чем больше Мельников думал, тем больше путался, внутри его разливалась горечь, а в голове его стоял туман, его это начинало мучить, и он не знал, как от этого освободиться.

Его лошадь на постоялом дворе доела весь корм и стояла, понуро опустив голову. Константин Иванович вспомнил, что ее нужно напоить и дать овса. Он позвал дворника, и пока тот хлопотал около лошади, Мельников немного отвлекся от своих дум, вспомнил, что и он голоден, и пошел в трактир.

XIII

Когда Мельников приехал домой и рассказал все дело своим, то у отца вытянулось лицо, потемнели глаза, и он подавленно проговорил:

— Да неужто это может быть?

Говорят, так.

— Тогда как же это жить? Если человек до чего не додумался или сделал промашку, и его за такую промашку могут обобрать? Отобрать ни за что ни про что половину добра. Неужто это законно?

— Стало быть, законно.

Старик угрюмо замолчал и, когда лег спать, долго ворочался и вздыхал.

Была огорчена и Софья; она тоже не понимала, как это все выходит.

— Ну, а если бы мы не покупали землю, а эти деньги положили в банк, то тоже дядя отбил бы их?

— Тут похоже, что деньги положены не в банк, а на дороге... А на дороге всякий взять может.

— А землю-то берет не всякий?

— Землю берет родственник. На землю есть другое правило.

— Какое же это правило! Человек наяву у всех тебя обирает, а закон за нас не заступается?

— Он заступается, если мы возьмемся доказывать свои права. Суд в том и состоит, что укрепляет за всяким, что ему принадлежит.

— А дяде земля принадлежит?

— Ему принадлежит отцовское имущество, каким отец не распорядился.

— Да не отцовское было имущество-то!

— Нами всеми было сделано ошибочно.

— А как же говорится: ошибка в фальшь не ставится?..

Константин Иванович чувствовал, что понятия жены правильны, и ответы его стали неуверенны. В нем опять поднялся глухой протест против утверждения закона, и стала появляться надежда, не возьмет ли силу действенная жизнь. И как только он дал волю расти надежде, то со всех сторон появились новые подпорки, и то, в чем уверил было его уездный член, показалось ему бледным и неубедительным. Он, как и отец с Софьей, стал думать, что не может быть, чтобы закон считал сделанную оплошку непоправимою.

Но все-таки в город нужно было ехать: составлять и подавать прошение в окружной суд, просить о запрещении. Нужно было ехать с отцом, так как отец был наследник после деда. Опять целый день забот, хлопот и колебание уверенности, что их право на спорную землю имеет твер-

дый фундамент. В этом убеждал их составлявший прошение секретарь члена суда. Он говорил, что одно дело — жизнь, другое — закон. Закон управляет всем, и ему нужно повиноваться, иначе люди за это платятся. И у отца, и у сына опять была каша в голове, и они измучились за этот день больше, чем за самой тяжелой работой.

Секретарь стал успокаивать их.

— А вы все-таки не тревожьтесь. Землей вы будете владеть. Пока дело пойдет — много воды утечет.

Когда Мельниковы приехали домой, к ним пришел Машистый. Он знал в подробности, как обстоит дело с землей, и у него, очевидно, все время работала голова, чтобы придумать что-нибудь на пользу своих товарищей. И он что-то придумал. Когда Мельниковы убрали лошадь, стряхнули с себя пыль и сели пить чай, Харитон Петров заговорил:

— Коли так стоит закон, то закон должен всего касаться. Заступаться за правду и всякую неправду давить, как змею. Что, если я на дороге с кого армяк сниму — какое это дело? разбой? похвалят меня за это? А Андрей Егоров почище армяка стянуть хочет. Только ему это не удастся.

— Удается вот.

— Удается потому, что вы не как следует вступились. Вы подали одно прошение, а вам следует еще подать другое, притянуть его, как обманщика. Ведь он обманул суд, коли себя одним наследником-то объявил? Что же, он не знал, что у него другой брат есть? Ведь он знал это хорошо, а утаил потому, что это ему невыгодно; вот за эту-то утайку на него и следует другое прошение подать, беспременно! Подайте это прошение, а к новому прошению припишите меня в свидетели. Я покажу, что землю покупали одни вы, а что Андрей Егоров в то время в отделе был, мы и у мира приговор возьмем.

— А если мир приговор не даст?

— Как же это он не даст? Что же это он не знает? Да мы в волости все книги подымем и увидим, когда Андрей Егоров был отделен и когда земля была куплена. Мало того, в Крестьянский банк толкнуться можно, чай, там остался семейный список, по нем и увидим, кто тогда в вашей семье числился.

Опять надвинувшееся в городе уныние у Мельникова стало проходить, опять стала подниматься уверенность, что дело не совсем проиграно. Кроме того, Константина Ивано-

вича радовало такое участие в их деле Машистого, и ему снова стало легко...

XIV

В Охапкине начиналась навозница. Вся деревня поднялась еще до восхода солнца, привели из ночного лошадей и стали запрягать. По деревне потянулись пахучие и скрипучие возы и гужом шли в паровое поле. В поле воза рассыпались по полосам, где их встречали срывальщицы, сдавали водокам опороженные телеги, и те становились «на стойки» и гнали лошадей обратно в деревню. От возвращавших ся подвод стоял трескучий грохот, поднималась пыль. В воздухе пахло навозом, дегтем, в дворах слышался крик нарывальщиков. Работой были захвачены от старого до малого, все работали, и у хозяев все думы вертелись около этой работы. Хорошо, кабы выдержала погода, на все ли полосы хватит навоза, какова-то будет пахота.

Мельников тоже нарывал навоз. Ладони у него покрылись широкими мозолями, которые остро болели; тупая, ноющая боль стояла в пояснице, но ему было весело, никакой другой думы не шло в голову; он перебрасывался словами с другими нарывальщиками, принимал и заводил лошадей и позабыл и о Петербурге, и о своем магазине, и о деле с дядей — все это так было чуждо теперь, не важно...

А ночью он крепко спал, как никогда, и встал хотя весь разбитый, но опять с необыкновенной легкостью на душе.

Три дня возили навоз, а потом стали пахать. После пахоты раздался звон доски, сзывающей мужиков на сходку. Все знали, что на сходку зовут затем, чтобы уговориться насчет покоса, подобраться осьмаками и кинуть жребий, кому надо делить.

Сходка собралась дружно. У Мельниковых старик загораживал хлевы. На сходку стал собираться Константин Иванович. За ним зашел Протасов.

— Пойдем, сосед, потолкуем ладком с нашим мирком; небось давно на миру-то не бывал?

Мельников согласился, что давно.

— Ну, вот поглядим да послушаем. А я тут совсем в мыслях разбился,— перешел вдруг на деловой тон Протасов.

— Что такое?

— Да все об выделе думаю... Кажись, и вправду выделиться лучше. Из деревни-то не уходить, а сбить свою долю в одно место, и складней будет. Много меньше возни. А то теряешь навоз по бороздам, а полосы все голодные. Эва, нынче какая рожь-то, чем будем жить? Опять сейчас покос подходит, а что косить? Все луга заросли, замшились, трава год от году все хуже да хуже. Поправить что — миром не заботятся. Мир, правда, тогда хорош, когда люди понимающие да совестливые, а если народ плох, то и мир никуда не годится.

Уже подходили к месту сходки. Мельников ничего не ответил на слова Протасова. Сходка сбиралась на проулке между старостой и Пряниковым. Уже собралось десятка два мужиков, расположившихся на траве — кто сидя, кто лежа. Вышло несколько баб. Одни вышли за отсутствующих мужей. Но две бабы были самостоятельные хозяйки. Первая Аксинья, худощавая, с сплющенной в висках головой и выдавшимся вперед носом; у ней скрылся без вести муж и пропадал уже несколько лет. И она одна с четырьмя дочерями обрабатывала три души земли. Другая Настасья. Это была вдова. У нее выросли два сына, один жил постоянно в городе, где женился на мещанке, другой служил в солдатах. Жена последнего не хотела работать дома, раз старшая сноха не работает, и ушла к родителям. Настасья управлялась с дочерью-невестой. Она была еще моложавая, тихая, с задумчивым взглядом. Сейчас она стояла в стороне и не принимала участия в разговорах.

Староста, рябой мужик с редкой, выгоревшей на солнце, бородой, стоял, заложив руки в карманы пиджака, и разговаривал о чем-то с Пряниковым, бывшим сегодня дома. Пряников любезно поздоровался с Мельниковым и стал расспрашивать, как ему нравится в деревне, что он нашел новенького.

Староста смолоду работал на фабрике. Потом, когда у него подросли ребята, он устроил их там, а сам жил дома. Деревенской жизни он не любил, в землю не верил; мужиков-земледельцев не уважал. Для мира он ничего не делал, не заботился об его интересах. По должности у него была одна забота: собрать с мира подати и отчитаться перед начальством. Должностью он дорожил потому, что она приносила ему выгоды в виде жалованья и освобождения от

натуральных повинностей. Больше он ничего знать не хотел.

На сходку собиралось больше и больше. Пришел Андрей Егоров, молча снял картуз, надел его и опять отошел в сторону. Пришли Машистый, Быков, Васин, Костин, Восьмаков. Так как перед этим пахали, то большинство глядели угрюмо, были неразговорчивы. Только молодые держали себя поживей. Они перекидывались между собой шуточками и весело смеялись.

Подходить стало меньше и меньше. Староста окинул взглядом всех собравшихся и проговорил:

— Ну, вот что, братцы, кажись, все в сборе, советуйтесь, когда нам лучше косить зачинать.

На минуту все приумолкли. Казалось, каждый ожидал, чтобы заговорил кто другой, не желая начинать первым. Наконец Быков, как человек старый и более других самостоятельный, решил первый ответить и сказал:

— Что ж, пришла пора, так надо зачинать, чего ж ждать больше, надо скотине простор дать.

Эти простые слова Быкова сразу всех оживили. Лежавшие стали подниматься и сбиваться в кучу. Языки у всех развязались, посыпались восклицания. Все говорили, что нужно скорее косить, указывали и день. Вдруг Настасья, вдова, подвинулась на середину и проговорила, кланяясь:

— А меня, православные, ослобоните. Мне не с кем в миру ходить, отведите, ради бога, где-нибудь в одном месте.

— Это как же так? — удивленно спросил Восьмаков.— Всю траву тебе выделить?

— Всю траву. Много ль, мало ль отведете, видно, мое счастье,— только мне ходить весь покос не рука...

Послышался было протест, но Настасья еще добавила:

— Если подходящее место отведете, я поблагодарю за это.

Благодарить понималось, что после сходки будет угощение, и это быстро направило дело к определенному концу. Протестующие голоса были сразу заглушены голосами соглашающихся. Все закричали, что нечего вдову притеснять, надо отвести к одному месту; вскоре было и названо место. И когда вдова заявила, что она за такое место дает пять рублей, в два слова дело было кончено, и начали собираться осьма́ками.

XV

Осьмаки подобрали, кинули жребий, когда кому делить. Долго стоял шум и галдеж. Но и с этим скоро было покончено. Васин спросил старосту:

— А еще какие дела?

— Есть и еще дела. Ржи-то не уродилось, чем кто сеять будет: не разобрать ли нам магазей?

Теперь уж точно что прорвалось, все закричали: «Разобрать, разобрать!» Одни жаловались, что им есть сейчас нечего, другие ели уже заемное или покупное. Когда вдоволь накричались, вдруг раздался внушительный голос Машистого:

— Вы вот что послушайте!..— И когда все успокоилось, Машистый предложил составить приговор в земство, чтобы оно купило ржи на семена, а магазею разобрать, чтоб есть.

— Правильно! Так и надо! Самое лучшее! — опять послышались голоса.

— А коли лучшее, так составляйте приговор да переписывайте, кому сколько надо.

— Приговор писарь напишет, вы только перепишите, кому сколько,— сказал обществу Пряников.

Появился мятый лист бумаги и карандаш. Протасов уселся на валявшееся в проулке дерево, и началась переписка хозяев. Всех точно чем притянуло к одному месту. Все окружили Протасова тесным кольцом, нагибались чрез плечи передних, пристально глядели, как согнувшийся Протасов, поминутно мусля карандаш, выводил имена и отчества хозяев и ставил цифрою количество мер. Когда перепись была кончена, точно кто перерезал связывающую мужиков в кольцо веревку, и они легко рассыпались в стороны, и опять кто стал в кучку, кто в одиночку.

— Ну, еще что?

— А еще вот что...— и староста запнулся, и вдруг поглядел на Андрея Егорова; тот пошатнулся под его взглядом и отвел в сторону глаза. Староста вдруг полез в карман, достал оттуда бумажку, поглядел на нее и проговорил:

— Вот эта бумажка из окружного суда. В ней говорится, что земля, которою владел Иван Егоров, утверждена за Андреем Егоровым, и он может ею владеть.

Мельников почувствовал, как у него закружилась голова, и какие-то туманные клубки вдруг появились перед глаза-

ми и поплыли в разные стороны. Он чувствовал, как десятки пар глаз уставились на него, но не мог разобраться, какое выражение этих глаз. Яснее других он различил глаза Пряникова и Восьмакова, в которых сквозило явное и неудержимое злорадство.

Но это продолжалось одно мгновение. Сейчас же Мельников пришел в себя и оглянулся кругом, но уже ни одного взгляда он не встретил: каждый быстро отводил глаза в сторону. Константин Иванович отыскал глазами дядю и поглядел на него. Сейчас Андрей Егоров стоял твердо, покойно; неизменно было его лицо, и ничего не выражали выцветшие глаза: как будто дело шло о ком другом.

Мельников подошел к старосте и громко, раздельно спросил:

— Это какая же земля за ним утверждена?

— Вот тут написано какая.

Мельников взглянул на бумажку: действительно, в бумаге с бланком окружного суда говорилось, что земля за Андреем Егоровым утверждена, и от него требуют представления данных для составления вводной грамоты. Данные были у Мельниковых. Константин Иванович быстро сообразил, что дело дяди не так-то уж блестяще: без данных ему вводного листа могут не дать, а к тому времени успеет попасть в суд их протест против неправильного утверждения в правах на их землю. Он вдруг окреп и вздохнул свободно, и, обращаясь к обществу, твердо и спокойно заговорил:

— Господа!.. Что сказал сейчас староста — это неправда. Дядя Андрей нашей землей не может владеть. Он хотя обманно и укрепился в правах наследства, но он не упомянул, что, кроме него, после дедушки остались мы. А вы все знаете, что землю покупали мы, дядя в это время был отделен и ничем не помогал нам.

— Как же тогда ему приписали ее? — вдруг задал вопрос выдвинувшийся вперед Восьмаков.

— А так: он объявил, что земля его отца, а у того других наследников не осталось. Суд поверил ему и утвердил землю.

— Не может быть, чтоб суд так сделал! — бросая глаза то на Андрея Егорова, то на Пряникова, уверенно и развязно продолжал Восьмаков.— Суд не обманешь, суд не мы с тобой. Суд верно утвердил землю, что она следовает Андрею Егорову.

— Чужая земля-то?

— Не чужая, а отцовская. У вас после отца остались плант и усадьба да все имущество, а ему земля.

— Он за усадьбу-то на выход с нас получил.

— Ну, что он получил, кою тошну. Усадьба — дело большое. Усадебная сажень стоит десяти полевых при случае.

— Я, братцы,— вдруг выступил на середину сходки Андрей Егоров,— всю жизнь на отца работал. Я одинокий человек, а брату сына растить помогал. Братнина жена с брюхом ходила, а моя работала... Я по совести должен получить землю, тут никакого спору быть не может.

В толпе послышался гул, но одобряла ли толпа Андрея Егорова или осуждала — нельзя было понять. Мельников хотел возразить дяде, как вдруг около него очутился Машистый. Он был красный, как из бани, глаза у него горели. Он стал около Мельникова и сделал жест рукой, как бы призывая всех к вниманию.

XVI

— Братцы! — сильно волнуясь, воскликнул Машистый и вдруг остановился, пошевелил своими костлявыми плечами, высоко вытянул голову и обвел толпу возбужденным взглядом.— Мир православный! Испокон века считалось, что мир честной всегда заступался за правое дело и не давал в обиду того, на кого неправда напирала! За то и почитали мир, и дорожили им. Всяк верил, что в миру больше правды, чем у одного человека. И честь и слава такому миру! За такой мир можно везде постоять и даже обиду снесть за такой мир. Вот что!.. И если и теперь такой мир,— покажите вы, что не заглохла в вас мирская душа, что жива в вас правда. Давайте мы, никому не лицеприятствуя, скажем одно, как перед богом. Давайте напишем приговор Константину Иванычу!..

— Какой приговор? — подвигаясь к Машистому, вдруг спросил Пряников.

— О чем еще приговор? — крикнул недовольным голосом Восьмаков.

— А об том приговор, что Андрей Егоров был отделен от отца прежде, чем они покупали землю, что покупал землю

Иван Егоров с сыном, и записали ее на отца потому, что этого банк требовал. И подпишемся к нему все, ведь вы все это знаете?..

Опять поднялся трескучий крик нескольких десятков мужицких голосов. Одни кричали: «так и надо», другие — другое. Из всех кричавших выделялся голос Пряникова. У него вдруг сузились глаза и стали шире ноздри. Он кричал внушительно, с уверенностью, что его слова имеют больше значения, чем кого-нибудь другого.

— На этом покорно вас благодарим, только такого приговора мы давать не желаем. Как мы его дадим, когда мы ничего не знаем? Как покупали землю и кто покупал? За Андреем Егоровым утвердил землю суд, а что ж, братцы, суд-то нешто что-нибудь? Там ведь не пьяные мужики сидят да незнамо что решают, а все делается на основании закона, по статьям. И коли там решили, значит, они знают, почему решили, и наш приговор туда не примут.

— Правильно! Какой еще там приговор,— кричал весь красный, с злыми, бегающими глазами, Восьмаков.— Тут дело семейное, пусть сами, как хотят, и разбираются, а мир мешать сюда нечего, у мира другие дела есть.

На Восьмакова и Пряникова сочувствующе глядели тихий Васин и буйный Костин. Остальные стояли растерявшись, очевидно не зная, какой оборот примет дело и чем все кончится.

— Если это дело не мирское, то какое же мирское будет? В стадо волк забрался, хочет овцу схватить, неужели нам в кусты прятаться?

— Неизвестно еще, кто волк-то?

— Нет, известно: кто за бока хватает да клоки рвет.

— А може, он свое отбирает?

— Чужая шкура к другому не прирастет...

— Еще как прирастет-то. Другой весь век в чужих овчинах греется.

— Чужая-то теплее!..

— Го-го-го!

— Господа! — чувствуя себя совсем спокойно, твердо и громко заговорил Мельников.— Я не просил Харитона Петрова нам о приговоре хлопотать. Он это по своему соображению завел, но должен сказать, что такой приговор нам большую бы пользу принес. Теперь я от себя спрашиваю вас: можете ли вы дать нам такой приговор или нет?

— Не желаем! — поспешил выкрикнуть Восьмаков и, сложив руки под мышками, отодвинулся немного в сторону и поднял голову.

— Тебя не одного спрашивают, а всех, ты за всех отвечать не можешь,— крикнул на него Машистый.

— И другие не желают, что ж ты думаешь,— задорно накинулся на него старшина.

— Вам, известно, нежелательно, потому что вам до правды нет дела, вы по-другому живете, а може, есть кому и правда дорога... Кто еще скажет?

Все молчали.

— Говорите, ребята,— обратился к сходу староста,— так будем и знать. Даем мы приговор или нет?

— Какой же приговор, когда Степан Иваныч говорит, что приговору не надо,— поглядывая на старшину, вымолвил Васин.— Что ж нам соваться?

— Известно, не надо...

— Не надо, не надо! — послышалось уже несколько голосов.

— Ну, вот тебе мирская правда, Константин Иваныч, благодари обчество за нее,— обратился к Мельникову Машистый.

— Нас благодарить нечего, это тебя пусть благодарит, ишь ты как распинаешься,— съязвил Восьмаков.

— Я за правду распинаюсь, а не за благодарность, смоленая душа!

— Небось за какого-нибудь голыша так глотку не драл бы, а то знаешь, где раки зимуют.

— А ты не знаешь, за Андрея Егорова-то стоишь?!

— Андрей Егоров человек, как и все.

— И ты человек, только жалко, что у вас долог век,— криводушники вы!..

— То-то ты такой и длинный-то, что у тебя прямая душа,— опять съязвил Восьмаков.

— Людей осуждаешь, а на себя не взглянешь,— презрительно косясь на него, вымолвил старшина.

— Я какой ни есть, а живу от своих трудов, тем и кормлюсь, за то и бога благодарю, а вы только и знаете, что чужие куски хватаете. Глотайте, пока не подавитесь.

— Подавимся — тебя проколачивать не позовем.

— Плохо вышло бы, если бы позвали. Я бы вам так просадил, чтобы вы не дыхнули. Чужеспинники!.. Весь мир

изгадили. Отчего народ такой становится? Вы его сбиваете! У вас у самих ни на грош совести нет, вы и у других ее выкуриваете!..

— Ну, довольно! — вспылил вдруг старшина.— Староста, заставь его замолчать.

— Замолчи, Харитон Петров, будет...

— Ты сперва им рот замажь, чтобы они честной народ не мутили!..

Восьмаков подошел к Пряникову; к ним присоединился Андрей Егоров, Васин и Костин. Около же Машистого стояли Мельников и Протасов. Машистый, казалось, весь горел, в голосе его чувствовались сдавленные слезы, и он дрожал от распиравшего его негодования. Заступники Андрея Егорова, как будто не замечая этого, заводили между собой новый разговор.

— Ну, так, Андрей Егоров,— сказал вдруг староста,— я объявил о твоем деле на сходе, а там уж делай, что сам сделаешь.

— Ладно, сделаю, найду концы,— уверенно проговорил Андрей Егоров.

— Ну, так больше и говорить нечего, пойдемте, коли, в чайную, вдовьи деньги пропивать.

Мир оживился, смешался в одну толпу, и все направились в чайную.

XVII

Машистый пил чай большими глотками. Внутри у него горело, и он спешил утолить мучившую его жажду. От него не отставал и Протасов. Мельников же пил чай неохотно. Он все не мог отделаться от чувства, охватившего его на сходе, где так ясно выразилась наглость одних и бессилие других. Он еле понимал, что говорил Машистый.

А Машистый, отирая пот с лица, рубил:

— Вот оно что стало: сила-то стала не в силе, а в одном прутике; попадется в пук желамустовый прут, сам не гнется и других не пускает.

Через стол от них расположились Восьмаков с Андреем Егоровым и Костин. Перед ними стоял чайник, а вместо чайных стаканов был один маленький да тарелка с обваренными в кипятке снетками. У дяди Мельникова были веселые глаза, но он скрывал свое чувство. Он часто по-

глядывал на Восьмакова, а тот с сознанием своей силы и только что одержанной победы положил руки на стол и, презрительно поглядывая в сторону Мельникова, говорил:

— То, чего им хочется, не получат. Мир на это не пойдет. Они покупали землю в товариществе, в товариществе были чужие, деревенские. Кто у них сколько брал, ведь мы не знаем, какой же мы дадим приговор?.. Он орет, что мы такие-сякие, а он какой? Мы, слава тебе господи, живем не хуже его, а получше. У нас, за что ни возьмись, есть...

— Коли у тебя есть, зачем помогать в чужой огород лезть? — не вытерпел и крикнул Машистый.

— Я с тобой не разговариваю, что ты в чужую речь свои слова вставляешь? — презрительно фыркнул Восьмаков.— Ты хлебаешь чай и хлебай.

— А ты думаешь, что водку пьешь, так на казну работаешь?

— Може, ему хочется, чтобы и его угостили,— сказал, смеясь одними глазами, Костин и двинулся на месте так, что скамейка под ним затрещала.— Мы, пожалуй, угостим, что ж!

— Сиди уж, нечего с ними связываться,— проговорил Протасов,— ишь они какие хлюсты!

— А вы кто? — опять крикнул Костин.— Ах вы...

И он ввернул длинное скверное ругательство.

Мельников с товарищами пропустили мимо ушей придирку Костина, но это невнимание к нему еще более раззадорило мужика. Он налил себе стакан, опрокинул его в рот и, сплюнув в сторону вместо закуски, продолжал:

— Справедливцами себя считают. Вы справедливцы, а мы чем несправедливы? Мы пить-есть не хотим? Добра себе не желаем? Всяк себе добра желает, и кто чем может, промышляет: кто горбом, кто горлом, а кто простой сметкой. Раскинул сметку да поставил сетку, а ввалился кто — пусть не пеняет: ходи да в оба гляди.

Теперь стали уговаривать Костина.

— Ну, будет тебе, чего ты размололся-то.

— Размелешься! Чего они кичатся: совести нет; у всех своя совесть. Всяк живет и другим жить дает... Ты думаешь, вор добывает — добычу в землю зарывает? Он сейчас это в ход пускает, а около него и другие кормятся. И вору тепло, и другим не холодно...

Староста с Быковым и Васин сидели за третьим столом, а десяток мужиков толпились на крыльце чайной. Они совсем не хотели пить чай, а на свою долю взяли водки, распили ее, у них разъело губу, и они разгадывали, как бы еще выпить. Один из компании, модолой еще мужик, безусый и безбородый, Федор Нырков, подошел к столу Мельникова и, почесавши затылок, проговорил:

— Костинтин Иваныч, а оно как же это приговор вам дать, будет нам от вас какое угощенье?

— Ты что же, если за угощенье, то можешь и подписать? — спросил, улыбаясь, Протасов.

— Постой, я не тебя спрашиваю.

— Ты молод еще для моего приговора,— сказал Мельников,— ты тогда еще не хозяйствовал.

— Нам все равно, если будет угощенье, то приговор дадим.

— Ступай вон к Андрею Егорову: он для нужных людей за угощеньем не стоит,— вместо Мельникова сказал Машистый.

— И с тобой я не говорю.

— А я не желаю, чтобы ты к моему столу подходил; хочешь говорить с Костинтин Ивапычем — ступай к нему на дом, а здесь не желаю.

Он отстранил Ырка и подвинулся ближе к Мельникову.

— На правое дело не нужно подкупа, оно само за себя постоит.

— Ах, и поколочу же я когда-нибудь Харитона Петрова! Так взбучу, что до рождества припомнит! — воскликнул вдруг Костин.

Мельников взглянул на него. У мужика были уже мутные глаза, и он сидел па скамейке грузно, неподвижно, сжимая и разжимая пальцы.

— А Харитон Петров подставит тебе шею да будет мух ловить,— невозмутимо ответил на слова Костина Машистый.

— Там что хошь делай, а попадешься в руки — натерпишься муки.

— Вот посмотрим...

Староста наконец поднялся с своего места, подошел к столпившимся у крыльца мужикам и проговорил:

— Ну, гулять гуляйте, а дела не забывайте. Делильщики, становитесь-ка на линию да готовьте работы к завтраму.

— Знамо дело, чего тут околачиваться-то,— поддержал старосту Быков.

— Эх, не хочется мне в миру косить, вот как не хочется! — вздыхая, сказал Машистый.

— Что ж, хлопочите скорей на выдел, и меня к себе принимайте,— негромко проговорил Протасов.

— А ты не попятишься?

— Чего пятиться. В таком миру добра ждать нечего. Земли он не прибавит, а на мелких полосах в самделе скакать надоело.

У Машистого загорелись глаза.

— Сознался? А все спорил тогда! Да, я говорю, тогда другая жисть пойдет. Эх! Да что тут говорить-то, жалко, что я чаю напился, а то надо бы с тебя спрыски. Ты всю мою досаду рассеял, как весной рассаду...

— Как-нибудь другой раз,— уклонился Протасов.

XVIII

Делильщики травы наделили, и наутро Охапкино высыпало на покос всей деревней. Вышли такие хозяева, которых Мельников еще ни разу не видал, как приехал. Егор Чубарый, живший до 6-го года на фабрике в Москве, но в то время был вынужден уехать в деревню, где и остался. Прежде он был белолицый, франтоватый, много и свободно говоривший, теперь он оброс бородою, загорел и глядел как-то угрюмо; Кирилл, которого Константин Иванович помнил подростком, а теперь он был высокий, стройный парень, с белокурыми усами, державший себя степенно и уверенно; Прохор Овчинник, редко показывавшийся на люди. У Мельниковых косили: старик, Константин Иванович и работница. До этого Мельников косил года три, но забыл было подробности работы всем миром, и теперь присматривался и любовался, что делается вокруг. Картина была веселая. Бабы и девки в ярких ситцах, блеск кос на солнце, лязг брусьев, постоянные взрывы смеха, игривые слова. «А есть много хорошего и в миру»,— думал он.

Но когда разделенные полосы были скошены и стали сговариваться идти домой, все, что занимало Константина Ивановича это утро, вылетело из головы.

Староста отпустил домой молодежь и баб, остановил мужиков у выгона, чтобы обсудить порядок возки сена. Мужики с косами на плечах, ярко сверкавшими на солнце, сбирались в тесную кучу и начали сговариваться, когда лучше ехать — в три или четыре часа. Одни говорили, что начинать возить сено нужно в три, другие — в четыре. Более позднее время отстаивали потому, что легче лошадям: не беспокоил слепень.

— Небось, не съест,— бывало, все в три часа ездили.

— Бывало,— передразнил его стоявший за четыре часа Быков, на покос ходивший, несмотря на свою грыжу.— Бывало, овца поросят рожала, а нынче ягнят растить перестала. Бывало, травы-то нешто столько накашивали.

— Да, трава все стала хуже и хуже,— вздохнул староста.

— Бывало, народ попроще был, вот бог и посылал,— заметил как будто мимоходом Восьмаков,— а от нонешнего народа он отступиться хочет.

— А коли бог отступается, нужно самим хорошенько стараться. На бога надейся, а сам не плошай,— вдруг раздался задорный голос Машистого.

Все приумолкли и насторожились. Чувствовалось, что такие слова кинуты были неспроста. Невольно все поглядели на Машистого, а к нему подвигался Протасов и Мельников.

— Мы не плошаем, кажись,— опять сказал староста.

— Не плошаем, а добра все меньше собираем, и себя больше мучаем.

— Чем же мы себя мучаем?

— А вот тем, что такую траву косим да такой хлеб едим. У господ вон хлеб-то родится, хоть борону приставляй, а у нас колос от колосу — не слыхать человечьего голосу.

— Что ж поделаешь, когда лучше не родит.

— Можно добиться, что будет родить.

— Чего ж ты не добиваешься?

— А то, что я не один. У меня соседи. У соседей плохо, и у меня не выйдет хорошо. А вы вот выделите мой пай к одному месту, тогда я вам покажу.

Последними словами Машистый сразу раскрыл, чего боялся мир, когда послышался его голос; вся толпа вдруг заколыхалась, сгрудилась плотней, и вдруг у всех развязались языки и посыпались отдельные восклицания. Восьма-

ков и Пряников вышли из себя. К ним присоединился тихий и молчаливый Прохор Овчинник.

— Это тебя выдели, другого выдели, что ж тогда другим-то останется?

— Всякому своя доля.

— Свои доли-то разберут, а скотину пасть где будем?

— Отдельное пастбище выгородим.

— Так она и будет ходить в одном месте?

— И походит.

— Вон он куда гнет! — воскликнул староста, показывая мужикам на Машистого с таким видом, как будто бы тот предлагал что-нибудь невозможное.

— Это все зря,— презрительно фыркая, поддержал старосту Восьмаков,— нужно говорить об деле.

— А это нешто не дело? — вступился за Машистого Протасов,— нешто не правда, что у нас родиться стало все хуже, а миром мы ничего не делаем?

— Так что же ты один сделаешь? — горячо, с загоревшимися глазами воскликнул староста.

— А то! Отведи ты мне вон те кусты, я их в одну осень вырою, а к весне у меня тут поле будет. А мир сам не ест и другим не дает.

— Будет зря трепаться-то!

— Нет, не зря!

— Так, може, и тебя выделить?

— А что ж, выделяй, нас не мало найдется.

— Где они, найдутся-то?

— Найдутся.

— Сейчас узнаем... Эй, ребята,— крикнул староста,— помолчите немножко. Дайте слово сказать, послушайте. Коли заговорили о выделе, давайте узнаем, кто у нас желающие... Эй, кто хочет на выдел, подходите к Харитону Петрову, а кто не хочет, отстраняйтесь прочь...

Протасов и Мельников подошли к Машистому вплоть, Быков сделал было шаг вперед, но поднял голову, оглядел всю толпу и остановился в нерешительности. Тогда к трем приятелям с вызывающей улыбкой подошел было Осип и стал с ними в ряд, но сейчас же повернулся, съежившись, побежал обратно и смешался в общей толпе.

На Осипа засмеялись. Восьмаков, стоявший поодаль, насмешливо воскликнул:

— Ишь их сколько, не пересчитаешь!

– Може, не все осмелились, духу не хватает? Константин Иваныч, ты человек денежный, выкинь-ка на полведерки, авось еще кто-нибудь подойдет.

— Нам таких не надо,— огрызнулся Протасов,— пусть они другому помогают, а мы и без подкупных обойдемся.

— Ну, и обходитесь, а нам надо об настоящем деле говорить. Староста, кончай дело да домой распускай, что на них глядеть-то.

— Нет, поглядишь! — задорно проговорил Машистый.— Мы вот вам заявку делаем, что желаем на выдел, а вы нам ответ дайте, всем обществом, выделяете вы нас али нет?

— Об этом завтра поговорим.

— Нечего завтраками кормить, ты сегодня скажи, а завтра мы другую дорогу искать будем.

— Ну, и ищите, а нас беспокоить нечего: коль жили по-старому, так и будем.

— Все так говорите? — спросил у мужиков Машистый.

— Все, все! — поспешил за всех ответить Восьмаков.

— Ну так,так и знать будем,— сказал, почему-то делаясь веселым, Протасов.

Все понемногу успокоились и опять заговорили о том, когда лучше возить сено.

XIX

Сено перевозили и сложили у сараев в мелкие копны, приятно пахнувшие и вызывавшие в воспоминании счастливую детскую пору, когда они прыгали через такие копны, кувыркались, играли в палочку. По деревне всюду отбивали косы. Мерный стук в разных местах несся со всех сторон и напоминал, что и завтра, и послезавтра будет опять эта веселая работа, и протянется она долго-долго.

Константин Иванович сидел у двора и укреплял Кольке грабельки; Протасов только что выбил косы, повесил их на перекладину у крыльца и подошел к Мельникову.

— Что, тоже работать хочет?

— Как же, ворошить будет, огребать,— серьезно поглядев на мальчика, сказал Константин Иванович.

— И я буду,— поспешила заявить Манька,— и мне гьябьи сдеяй.

— Вот тебе на! Да когда же я успею-то?

Манька надула губы.

— Ну, ладно, не плачь, я тебе готовые завтра куплю, да еще какие — крашеные.

— Все-таки поедешь в город? — спросил Протасов, усаживаясь на завалинку.

— Надо съездить, узнать кой-что да об выделе заявить.

— Нет, каков Быков-то! — вдруг воскликнул Протасов; густая краска залила его лицо.— То вызывал, а то под телегу.

— Может быть, он так что...

— Нет, у него вор на животе, он что-нибудь да удумал с этим.

— Что же?

— Кто его знает. Он человек хитрый, его сразу не раскусишь.

Посредине улицы показалась мужицкая фигура; она ближе и ближе подвигалась к двору Мельникова; Протасов и Мельников оглянулись на него и узнали Прохора Овчинника. Он шел прямо к ним; подойдя, он остановился, снял картуз и проговорил:

— Мир вам, и я к вам.

— Просим милости.

Прохор не спеша уселся на завалинку и, обратившись к Константину Ивановичу, проговорил:

— А я тебе, Константин Иваныч, попенять хочу.

— За что?

— Да как же, какое дело затеиваешь; человек ты не потерянный, живете вы слава тебе господи, зачем же вам из оглобель лезть?

— Ты к чему это?

— А к тому, зачем выдел затеваешь? Ведь это разорит народ, на сколько годов без хлеба оставит.

— Почему без хлеба?

— Да ведь передвижка всем полям пойдет. То были так полосы, а то пойдет по-другому. Вместо мякоти-то пустыри да борозды достанутся, откуда тогда хлеба взять? У меня полосы-то вон какие. На них даже нынче рожь идет. У людей пропала, а у меня идет. А достанутся оне мне, эти полосы-то?

— Ну, погоди,— видимо сознавая правду слов мужика и начиная волноваться, перебил Прохора Протасов,— ведь раньше поля делили?

— Делили.

— Никто после этого с голоду не помирал?

— Помирать не помирал, а без хлеба сиживал.

— Ну, и теперь не помрем. И мы ведь себе не выгадываем; може, такое место отведут, где синица не сиживала, не то что...

— Так зачем затевать это? Жили и жили до этого, так бы и век кончили, а то давай к одному месту. А что тебе одно место-то даст? Тоже работать надо...

— Работать, да не задаром, а теперь часто бывает впустую.

— И там незадачи будут... да еще почище... На мелких полосах одна пропадет, другая останется, а там пропадет, так все пропадет... А я вам вот что скажу: коли вы заявили об выделе, примите и меня в свою канпанию.

Мельников сразу вытянулся от неожиданности.

— Это как же так: то нехорошо, а то тебя прими?

— Не от радости, друг. Ты думаешь, я от радости? Я бы никогда из мира не пошел. В миру и пастьба порядком, и работают все вместе... а своих трудов жалко... Теперь одни выделяются, а там другие... а ты все передвигайся. А уж с вами пойду — никто больше меня не сдвинет. Так я говорю!

— Так.

— Ну, вот...

Утром Мельников, не ходя косить, поехал в город. Ему хотелось узнать, насколько имеет значение заявление старосты о том, чтобы им не пользоваться их землей, а кстати зайти и в землеустроительную комиссию. Состояние его было беспокойное и тяжелое. Досада на дядю не проходила у него все время. Ему было не так жаль отбиваемой земли, как то, что затеянным дядей делом обижен старик и страдает; неспокойна и Софья. Самого же Мельникова больше всего огорчало то, что дядя не только отбивает их имущество, а что он в этом деле находит себе поддержку в деревенском миру. И поддерживают это явно неправое дело не какие-нибудь отбросы, а люди с положением, имеющие влияние на весь ход мирского хозяйства. Какие же порядки пойдут дальше, когда в деревне будут заправлять такие руководители?

Мельников глубоко вздохнул и подстегнул лошадь. Впереди, в синеватой дымке вырисовывались колокольни городских церквей, зеленели крыши белых домов.

«Да, выдел единственное средство перетрясть этот мир, а то сколько в нем плесени развелось,— подумал Мельников.— Побываю у члена суда и пойду в землеустроительную».

Мельников вспомнил вчерашнее заявление о выделе, как оно было принято, и его больно кольнуло внутри.

«Это Харитон Петров виноват. Очень круто ведет, надо бы полегче...»

Но ему сейчас же вспомнилось поведение односельцев, и он представил себе, мог ли он сам говорить с ними мягче, и вдруг почувствовал, что и у него, человека редко бывающего дома, пожалуй бы, не хватило нужной мягкости. Каково же тому, кто живет с ними все время?

XX

Письмоводитель члена суда сквозь очки взглянул на Мельникова и спросил:

— Что скажете хорошего?

— Хорошего ничего, а плохое есть, из-за этого и приехал.

И Мельников рассказал о том, что было у них на сходе.

— Какое же это имеет значение? Пусть у вашего дяди есть желание получить вашу землю, но пока у него не будет на руках настоящих документов, исполнительного листа, он все-таки ее не получит, а исполнительного листа он не получит ввиду предъявленного спора.

Мельников сказал, что общество на стороне дяди и, например, в выдаче приговора, удостоверяющего, что земля куплена после отдела дяди, оно отказало.

— И пусть себе. Приговор этот не имел бы никакого значения. Все равно, ваш дядя половинную часть земли получит, но это будет не скоро, а до того времени вы будете владеть, как владели.

Мельников ушел из канцелярии успокоенный, и все его тяжелые чувства пропали. Он свободно вздохнул на улице и уже бодро и легко направился в землеустроительную комиссию.

Насколько была тесна и неуютна камера члена суда, настолько широка и светла канцелярия землеустроителя. Стены и потолок нового дома, чисто выструганные, но ничем еще не оклеенные, блестели от обильно льющегося в широкие окна света. На стенах висели карты, плакаты, табли-

цы и аляповатая картина о старом и новом хозяйстве. Большой письменный стол был завален бумагами, другой стол в стороне был занят пишущей машиной, на которой работал молодой стриженый паренек. За большим столом с конца стола сидел плотный мужчина в куртке табачного цвета, с густыми белокурыми солдатскими усами, и подбирал какие-то бумаги. Кресло у средины стола, предназначавшееся для начальства, было незанято. Белокурый усач сейчас же поднял голову на Мельникова и спросил, что ему нужно.

— Заявление о выделе передать.

— Какой волости?

Мельников сказал и передал заготовленное и подписанное желающими выделяться заявление.

Усач пробежал заявление, поглядел на Мельникова и, держа лист в правой руке, пошел в соседнюю комнату. Минуты через две он вышел оттуда, а за ним шел высокого роста, полный и рыхлый господин, молодой еще, но с голой головою, рыжими усами и мешками под глазами. Лицо его было дрябло, нос подозрительно краснел, но в прищуренных глазах светилось такое высокомерное презрение ко всему, что как будто бы он ходит и занимается своим делом из сожаления к кому-то, а что для него есть другое, более высшее назначение. Однако он очень вежливо ответил на поклон Мельникова, быстро изменил свой внешний вид и любезно сказал, проходя к своему креслу:

— Садитесь, пожалуйста. Лазарь, дай стул!

Парень оторвался от пишущей машины и ловко подвинул стул Мельникову. Землеустроитель еще раз указал на него рукою и спросил:

— Вы что же, сами выделяетесь?

— Собственно, мой отец. Я сам живу в Петербурге.

— Прекрасно, а другие сами хозяева?

— Да.

— Очень хорошо. Мы это дело скоро можем провести. У нас как раз к осени будут свободные землемеры, мы и пошлем их к вам. Только я посоветовал бы вам просить об оценке всей общественной земли.

Мельников заявил, что им интересно было бы получить свои паи ближе к купленной.

— По оценке это будет легко. Тогда будет справедливей, и нас избавит от всяких нареканий.

— Что ж, мы на оценку согласны.

— Вот и великолепно. Мы очень охотно содействуем выделам,— признался непременный член.— Мы верим, что новая форма пользования землею — верный путь к крестьянскому подъему. Вы ведь несомненно понимающий человек, скажите, что можно добиться от работы на этих узких лентах с буграми посредине? Ведь сколько нужно потратить времени на одни переезды?

И землеустроитель, отведя глаза в сторону и только изредка взглядывая на Мельникова, с легкими запинками, как будто бы он повторял наизусть не совсем хорошо заученную историю, стал говорить о тех выгодах, которые может получить каждый хозяин, перейдя на отруб или хутор. Тут было и повышение урожая, и улучшение сортов продукта. Он переводил это на цифры, и цифры были очень внушительны. Мельников с интересом слушал его беседу, но он никак не мог понять, как это такой видный господин может так глубоко входить во все подробности крестьянского хозяйства. Неужели это искренно?

Землеустроитель, высказав все, опять перевел взгляд на Мельникова, закурил новую папироску и прибавил:

— Так вот-с. Вы и ваши компаньоны вступают на такой путь, который переустроит всю вашу жизнь. Могу пожелать вам самого полного успеха.

Мельников встал и поблагодарил. Землеустроитель, пожимая ему на прощанье руку, еще раз обещал, что сделает все возможное, чтобы скорей и лучше устроить выдел...

XXI

Из города Мельников приехал не только успокоившийся, но повеселевший. Но дома его опять встретила неприятность. Ему сказали, что сегодня все утро на покосе была брань.

— Кто же бранился?

— Да этот едун, Восьмаков. Он все утро кричал, что ты поехал в город кого-то там смазывать, чтобы делу помешать.

— Какая ж тут смазка? Тут без всякой смазки пойдет.

— Против закону, говорит, идут: закон присудил дяде землю отдать, а они артачатся. А Машистого с Протасовым как травили!.. Грозят отвести самую негодную землю.

— Что Восьмакову-то, много нужно?

— Расчеты не вышли. Год-то нонче будет бесхлебный, думал, у кого лишняя душа, скупать, а теперь, пожалуй, и не продадут; скажут, выделимся — подороже возьмем. В других местах такая земля-то по десятинам ценится.

— Да только один Прохор Овчинник хочет выделяться-то.

— Найдется еще. Это они сейчас боятся объявлять, а как приедет начальство, и они выступят.

Константин Иванович встал, чтобы идти из избы.

— Куда ты?

— К Харитону Петрову сходить.

— Не погодить ли. Он, кажется, не вытерпел сегодня, клюнул. Недавно я его видел: шел шатался.

— Что ж, доняли его?

— Кого такие дьяволы не доймут. Уж он на что зубаст, а как насели, отгрызнуться не мог.

— Все-таки надо сходить...

Он зашел прежде к Протасову. Протасов казался очень усталым. Лицо у него как-то вытянулось, глаза затуманились; он совсем равнодушно встретил Мельникова и вяло ответил на его приветствие.

— А я тебя пришел к Харитону Петрову звать.

— Что у него делать?

— Расскажу, что в городе узнал.

— Нет, тебе вот про деревню рассказать,— выговорил Протасов, и по лицу его пробежали судороги.

— Донимают?

— Просто сутерпу нету. Измываются, словно мы их крепостные. Что ж мы, правду, беззаконное что затеяли? Мы берем свое.

Он всю дорогу выливал горечь от обиды, нанесенной ему сегодня на покосе, и только перед домом Машистого успокоился.

Машистый, действительно, был пьян. Он сидел в проулке под деревьями, верхом на колоде, на которой он отбивал косы, и хотел бить их, но его жена, плотная и коренастая баба, казавшаяся моложе его, вырвала у него молоток и не давала.

— Отдай молоток,— моргая осовелыми глазами, кричал Машистый.

— Не дам, ты все косы испортишь; нешь у тебя в руке твердость есть?

— А ты думаешь, нету. Подставляй-ка спину, как я тебе закачу.

— Чужая у меня спина-то?

— А то и в рыло. Дам в рыло, скажу, так и было!

— Будет храбриться-то, погляди, вон приятели идут.

Машистый оглянулся, но долго не мог признать, кто подходит. Наконец широкая улыбка появилась у него на лице, и он воскликнул:

— Костинтин Иванычу, просим милости, как твои дела?

— Мои-то дела ничего, а твои-то, кажется, плохо,— весело проговорил Мельников.

— Мои-то?..— Машистый отбросил в сторону косу и стал подниматься на ноги.— Мои дела — сейчас Восьмакову всю рожу растворожу...

Баба взяла и повесила на дерево косу, а Мельников с Протасовым подхватили мужика под руки и пошли с ним к завалинке.

— Мои дела вот какие: живу я, слободный мальчик. Хочу, из буден праздник сделаю, а то из прздника будни.

— По какому ж случаю сегодня-то запраздновал?

— Пришли симопы, гулимоны да лентяи преподобные... Ну, только это сегодня... А завтра я и опохмеляться не буду. Выеду на покос, глотну лопатошник холодной воды, и небитой косой все утро прокошу, вот ей-богу!..

— В самделе?

— Ну, конечно! Что ж мне зря говорить.

— Так и надо. А то нам теперь забота: скоро землеустроитель приедет землю выделять; надо себя держать честь честью.

— Костинтин Иваныч! Дорогой мой, неужели это сбудется? Эх, и рады же мы тогда будем! Развяжемся со всей сволочью, не будем по кулацкой дудке плясать, будем сами себе господа! Да я тогда на хутор уйду, прощай, Харьков, до свиданья.

— Уйдешь ты на хутор,— сказала жена,— там тебя зимой снегом занесет.

— Отроюсь! Снег отскребу. А вот чем тут заносит живого человека — этого не скоро отскребешь. Здесь всякая свежина портится. Есть ли чего в свете хуже, как мужицкое стадо? Около таких чертей сам чертом будешь. Вы вот в Питере живете, ничего нашего не видите, а вы бы вот пожили с нами.

— Он небось теперь видит,— криво усмехаясь, сказал Протасов.

— Он видит временно, а мы постоянно. Из нас тут жилы тянут. Ты хочешь лететь, а тебе на ноги петлю накидывают. Ты желал бы показать, что ты человек, а они за человека-то вон Костина сочтут, а на тебя-то плевать не хотят. А чем я не человек? Что я, хуже Оськи Курносого? Зачем я ему должен подражать?

Хмель понемногу выходил из головы Машистого, и речь его становилась связной. Когда он высказал, что у него было на душе, Протасов сказал:

— Ну, погоди ты теперь говорить, послушаем Костинтин Иваныча; он тебе скажет, что в городе узнал.

— Спасибо Костинтин Иванычу, что хлопочет. Он для нас старается, а мы для него. Верно ведь?

— Верно.

— Ну, так вот. А то, говорят, опчество, мир. Нам нужно вот какое опчество, чтобы друг за дружку, да для хороших делов. Пусть будет нас меньше, да мы связаны: что ты, что я, что мое — то твое. Я свое буду стеречь, на твое не польщусь, а ты на мое не позаришься. И будет у нас крепость. А в миру какая крепость? Все, как арестанты, скованы, хлеб добывают, а сыты не бывают, друг дружку грызут, а никогда не наедятся, за стакан вина под стол лезть готовы...

XXII

На следующее утро Мельников опять пошел косить сам. Как и в первое, утро стояло ясно и тихо. Солнце, жмурясь в росистом тумане, играло лучами в мокрой листве кустов по ручью. Влажная трава сладко дремала, не предчувствуя близкого конца, и пугливо вздрагивала, когда ее подрезали предательской косой и безжалостно сваливали в густые высокие валы. Работа шла весело, стоял шумный говор и бодрые выкрики при дележке полос. Но как только подошел большой перерыв и из деревни пришли с завтраком, сразу почувствовалось, что владеет толпою не беззаботная игривость, а тупое, тяжелое раздражение, и многие под веселым балагурством скрывали едкие, враждебные чувства, каждую минуту готовые вырваться грубым, оскорбительным выпадом

— Блины несут! — крикнул безбородый, курносый, с тол

стыми губами, сын Восьмакова, Никитка.— Да никак еще масленые.

— По-твоему, може, пшеничные? — спросил его, усмехаясь, Осип.

— Могу сказать, и пшеничные.

— Ты-то скажешь, а ись-то их будет вон Костинтин Иванов, а мы-то с тобой и ржаной лепешкой утремся.

— Чего ж ему не есть, у него и муки и масла вдоволь.

— Да, братцы, маслить дано не всякому...

— А если бы всякому, тогда замаслишь и не отстираешь.

— Так и будешь в пятнах ходить?

— Так и будешь.

И эти двусмысленные слова перелетали от кучки в кучку, и везде их легко принимали и с такой же легкостью перебрасывали к другим. И это ясно показывало, что почти вся толпа объединяется в одном далеко не дружелюбном чувстве к Мельникову, и Мельникова это больно уязвило.

Мельников нахмурился и весь завтрак продумал, что же он такое сделал, чтобы так восстановить против себя односельцев. Неужели в том, что он не дает обобрать себя дяде, есть какой-нибудь грех, или он нарушает чьи интересы? Если же их пугает предстоящий выдел, то он никому никакой беды не принесет, может быть даже многие выгадают, получивши их хорошие полосы. И в нем зародились досада и раздражение; тяжело поднявшись с земли, он положил на плечо косу и пошел бесцельно мимо покосников.

Уже многие отзавтракали и тоже поднялись на ноги. Восьмаков стоял на конце своей полосы и сосал цигарку. Неподалеку от него стоял дядя Мельникова. Восьмаков не мог видеть приближавшегося Константина Ивановича, но, видимо, почувствовал это по лицу Андрея Егорова, и сейчас же преувеличенно громко заговорил:

— Деревенский мужик — дурак, мало свету видал. Оттого его и тянет в одну кучу, а кто посветлей-то, тот сейчас от него и в сторону.

— Конечно, тому несподручно.

— Вот я и говорю: что с вами валандаться, хочу гулять один. Зачем ехать в ворота, разбирай забор.

— Тоже, как проедешь,— выходя от куста и обтирая травой косу, собираясь ее точить, кинул Костин.

— Как ни проедут, а лошадь направляют.

— Гляди, тяжи не лопнули б.

Мельников прошел дальше и натолкнулся на спорящих Прохора с Васиным. Тихий и почтительный Васин был неузнаваем. Глаза у него были как у испуганного мышонка, щеки покраснели, в углах рта образовалась пена от слюны. Он, захлебываясь, кричал:

— Это ведь всем полям будет сдвиг; мы свои полосы выровняли, а после вас опять придется ровнять, нешто скоро завалишь ее, борозду-то?

Прохор, недавно возмущавшийся тоже тем, что возмущало сейчас Васина, видно уж решивши выделиться, помирился с этим. Он равнодушно говорил:

— И нам борозды понадут.

— Вас никто не гонит. Зачем вы лезете из мира?

— А затем, что в вашем миру стали большие дыры. Вот и идем туда, где получше.

— Думаете-то лучше, а не вышло бы с лучком. Иной свой век доживает, а вы его тревожить хотите.

За Овчинника вдруг вступился Кирилл.

— Кто доживает, об тех заботиться нечего, а заботься о том, кому долго жить.

— Тебе долго жить, а у тебя одна душа. Что ты на ней сделаешь?

— Дайте другую. Все равно не дадите теперь. Так уж лучше я сдвину свои ленточки да соберу себе одеяльце. Не широко оно, да глядеть будет на что: три десятины с половиною.

— Если огурцами засадить — урожай большой получишь! — насмешливо сказал неподалеку стоявший Бражников.

— Что ж, и огурцы хлеб дадут; пахомовский огородник на двух десятинах сидит, какую ренду платит, да получше нашего кормится.

— То огородник.

— Нужда заставит и веревочника шелком шить...

Кругом собиралась толпа. Спор разгорался, и народ позабыл про работу. Остановился, прислушиваясь, даже сам староста. Подошел Восьмаков и вдруг крикнул:

— Староста, что ты развесил уши-то? Дело работы ждет, а ты народ держишь. Жеребий давай!

— Что ты орешь-то, аль плохо наелся за завтраком? — сказал на него Машистый.

— Я-то всегда хорошо ем, вот ты-то под старость без хлеба не насидись,— огрызнулся Восьмаков.

— Авось бог милостив.

— Дураков и бог не спасет, слопает ваши доли ваш приятель, вот и останетесь без земли.

— Наш приятель не твоим чета.

— Еще почище. У него деньги вольные, он тебе в нужде поможет, а там при расплате и сгложет. Не далась дядина-то, утрется твоей.

— Дядина-то будет не у дяди, а у него.

— Это вы поете, а у нас будет другая песня.

— Посмотрим...

— Слушай жеребий! — зыкнул, покрывая спор, староста и стал выкрикивать, где кому досталось.

XXIII

Подошло воскресенье, а на другой день была казанская. Два дня миром не косили. Первый день бабы все-таки не вытерпели и после обеда растрясли у сараев сено, а мужики пошли на досуге в чайную.

Прежде других в чайную пришли Андрей Егоров с Восьмаковым. Они долго сидели, о чем-то совещаясь вполголоса,— стали оба красные. Наконец Андрей Егоров тяжело поднялся с места и нетвердым шагом ушел из палисадника, а Восьмаков остался один; ему принесли два больших чайника, и вдруг к нему один за одним стали подходить мужики. Чайник нагибался. Мужики принимали стаканчики, опрокидывали в рот и отходили в сторону. После этого все говорили повышенным тоном, в чем-то уверяли Восьмакова. А Восьмаков сам, с осовевшими глазами, не совсем твердым голосом, часто приговаривал:

— Вали валом, после разберем.

Больше других к Восьмакову липнул Костин. Сильный и напористый мужик часто, когда у него не хватало на выпивку, делался неузнаваем. Он мог воздерживаться от водки, но когда ему как-нибудь случайно попадал стаканчик, он входил во вкус, и ему хотелось еще. И когда у него не на что было выпить, он начинал выпрашивать. И когда ему не давали, он терялся, делался слабым и жалким, и тогда с ним можно было сделать что угодно: купить за бесце-

нок какое-нибудь угодье, нанять на работу или подговорить на такое дело, за которое не всякий возьмется. Такими случаями многие пользовались и покупали у Костина, кому была нужна или его глотка, или его кулак.

В этот день Костин косил у попа по найму, после косьбы было угощенье, только раздразнившее мужика, и он пришел в свою деревню с жаждой еще выпить, пришел в чайную с надеждою, не подойдет ли случай промочить горло еще, и увидал угощающего всех Восьмакова. Восьмаков по глазам увидал, как Костину хочется выпить, и сейчас же налил ему целую чашку. Костин недоумевающе поглядел на Восьмакова.

— На-ка вот, пей да поминай Андрей Егорова.

— Нешто он помер?

— Не помер, а за здравье поминай, да помни, что он хороший человек, а хороших людей в обиду давать не приходится.

— Зачем в обиду давать.

— Ну, вот то-то и оно-то! Пей другую.

Выпив подряд две больших чашки, Костин почувствовал себя по-другому. Он вдруг плотно уселся на табурете, положил руки на стол и, впиваясь в лицо Восьмакова начинающими мутиться глазами, вдруг воскликнул:

— Эх, жись немила, в доме непорядки! Одну выпил хорошо, другую — еще лучше, а если третью поднесешь, совсем на небеса меня вознесешь!

— А ты память-то не потеряешь?

— Зачем терять, я не девка.

— То-то! Знай пословицу: чай пила, баранки ела, помни свое дело!..

— Ты только скажи, что помнить?

— Помнить нечего, а только сегодня пей, а завтра иди к Андрею Егорову, он тебя похмелит,— многозначительно глядя в глаза Костину, сказал Восьмаков.

— Только и всего?

— Только и всего.

— Тогда и говорить нечего наливай, и вся недолга.

Восьмаков налил ему еще чашку, а другие, получившие свои порции, разместились, кто за соседними столами, и с завистью глядели на Костина. Все они были в кураже, раскинулись в непринужденных позах, и кто курил, кто жевал что-нибудь, на загорелых лицах блестела испарина,

глаза стояли нетвердо, и языки ворочались с трудом. Говор шел громкий и нескладный; говорилось с большим жаром по самому пустому поводу.

— Нет, это в старину было, кто кого сгребет, тот того и скребет, а теперь у всех когти выросли. Ты меня за гриву, а я тебя в бороду.

— А што в твоей гриве-то?

— Што ни на есть, а она моя.

— Што у тебя грива, што у теленка хвост.

— И у теленка хвост, што правильно, то правильно...

— А брусишь, брусило, про казанское мыло. А у пас и без мыла бело.

— А коли бело, так ступай на дело.

— Мы и пойдем.

— Потише, что зря язык ломать,— уговаривал их Восьмаков,— еще на дело загодится.

— На дело мы сами пойдем...

А под окнами чайной налаживали песню. Песню заводили не складно, и слова ее были непонятны. Но мужики, облокотившись на стол и склонив головы набок, выкрикивали эти чуждые им слова. Между ними откуда-то появились две бабы, одна старая бобылка Фросинья, торговавшая прежде водкой, толстая, дряблая, с волосами над верхней губой, другая молодая, горбоносая, сбоку походившая на лошадь, отделенная сноха Васина, и, напрягаясь из всех сил, подтягивала им. И дикие, напряженные звуки разлетались по деревне, долетали до бывших у сараев мужиков и баб, и те сердито говорили:

— Ишь, черти, орут!.. Веселятся! Нашли время веселиться!..

XXIV

На другое утро вдруг староста стал сбивать на сходку. Мужики не знали, в чем дело, и быстро шли к старостину двору, чтобы узнать, на что понадобилось так экстренно собрать мир, когда и без того мужики бывают все в сборе на покосе. Всех раньше пришедшим на сходе оказался Восьмаков. Он сидел на лежавших в проулке в костре бревнах, около него стали размещаться и подходившие мужики.

Пряников сегодня имел особенно важный вид. В двухбортном пиджаке, в степенном картузе с лаковым козырьком, с серебристой бородой лопатой, он был очень благообразен; глядя на него, трудно было допустить, чтобы он был способен к мелкому плутовству, подхалимству, грязным похождениям с волостными бабами, про которые всем было известно. Он был серьезен, как в церкви, и полон внутреннего сосредоточения. Мельников оглянулся кругом и заметил, как Машистый остановил на Пряникове пристальный взгляд, и вдруг на его губах прозмеилась лукавая улыбка. Он отвел взгляд и стал снова покойным, повернулся и сел на бревнах, поодаль от старшины. Староста, стоявший около Пряникова, окинул глазами толпу и вдруг выговорил:

— Что ж, братцы, больше ждать некого, должно быть. Давайте начинать. Народ-то созвал я, это верно. А зачем я вас созвал — скажет вам Степан Иваныч. Степан Иваныч, объявляй.

Старшину как будто бы охватило волнение; он сделал усилие, чтобы одолеть его, и полез за пазуху и вынул оттуда сложенную в четвертушку бумагу. Но он не развернул ее, а деланно равнодушно заговорил:

— Мы, православные, тогда составили приговор, чтобы земство купило нам аржаных семян. Земство теперь этим не заведует, а передало наш приговор в съезд. Уездный съезд рассмотрел наш приговор и теперь касательно этого отвечает, что он всецело готов купить для нас семенного хлеба, ну, только чтоб мы, с своей стороны, собрали им небольшой задаток...

— Какой небольшой? По скольку? — послышались голоса.

— Примерно, по четвертаку на пуд. А всю уплату не затягивать, а к новому году чтобы очистить...

Старшина кончил. Почему-то это объяснение было для него трудно, и у него пересохло в горле. Вынув из кармана красный платок, он стал вытирать им лоб, а в толпе вдруг поднялся худой, рыжеватый мужичонка, Михей Балдин, и, моргая подслеповатыми глазами, тоненьким голосом прокричал:

— По четвертаку с пуда? А где их взять? Такое теперь время деньги собирать? Придется с сеном на базар ехать, а самому тогда чем будешь кормить?

— Подожди ты, — одернул Михея Быков, — дай дальше дослушать.

— Деньги собирать не будем,— заявил староста.— Знамо, кто полномочен, тот отдаст. А кто не в силах, за того другие заложат.

— Кто же это другие-то, где они такие благодетели? — крикнул Протасов.

— Есть такие.

Многие мужики, очевидно знавшие, в чем дело, были спокойны. Горячились только некоторые, бывшие не в курсе. Мельников с любопытством ожидал, что будет дальше.

— Деньги эти небольшие,— вдруг опять заговорил Пряников,— а требуют их потому, что если кто откажется от своей доли, чтобы им не было убытков; а потом, если сейчас отдадим, тогда платить не будем, нам же легче будет, православные.

— Согласны на это, ребята? — спросил староста.

— Согласны, согласны! — закричало большинство.

— Теперь я вам скажу, кто у нас благодетелем открывается. Этот благодетель Андрей Егоров. Он, у кого не хватает, за того заплатит.

— Спасибо! Спасибо! — опять послышались голоса.

Поднялся Андрей Егоров. У него был какой-то неуверенный вид, и он нетвердым голосом проговорил:

— Я, братцы, готов пособить вашему горю. Я внесу, у кого сколько не хватает, только вы напишите мне приговор и проставьте срок, когда вы заплатите.

— Напишем приговор! Эй, грамотей, выходи!

Появилась скамейка, лист бумаги и счеты. Несколько мужиков помоложе окружили скамейку и стали считать, кто сколько занимает и записывает. Машистый отвел в сторону Мельникова и сообщил ему:

— Вот и гляди, как тут обирают нашего брата, дурака.

— Какой же тут обор?

— А вот какой. Эти деньги пойдут в съезд. Съезд купит рожь у кого-нибудь из своей братии по хорошей цене; добавят, что не хватит, из казны, мужики сами заберут ее, и все дело в шляпе. А к рождеству, когда за рожь придется платить, начнет действовать Степан Иванов. Платить-то многим и тогда нечем будет, вот они и пойдут набиваться ему, кто коровой, кто жеребенком, кто леском из осеннего подела. Он и будет забирать это по самой дешевой цене, да еще кобениться.

— А дядя мой чего раскошелился?

— А вот погоди, сам узнаешь, дай приговор подписать.

Приговор был написан, прочитан и подписан. Его передали старшине. Андрей Егоров опять заговорил, и тон его голоса стал просительный:

— Теперь я вам, братцы, еще вот что скажу: так как я вам сделал увагу, уважьте и вы мне. Пособите, кто может, скосить мне отцовскую пустошь, которую мне судом присудили...

Наступило молчание, которое долго никем не нарушалось. Нарушил его Мельников. С клокотавшим внутри негодованием, еле пересиливая себя, он вдруг подступил ближе к стоявшему со смиренным видом дяде и, обращаясь к сходу, крикнул:

— Вот что, господа! Дядя, может быть, сделал вам добро, но за это добро он подбивает вас на худое. Если вы послушаете его, вам же самим не поздоровится. Он хотя обманом и утвердился на нашу землю, да вводного листа на нее не получил. А без вводного листа он шагу шагнуть на нее не смеет.

С Андрея Егорова сразу соскочило его смирение; он вдруг ощетинился, затряс головой и, тараща глаза и брызгая слюной, закричал:

— Мне не нужно никакого вводного листа! Раз за мной суд утвердил, я и хозяин! А это одна придирка. Ты шустер да востер, так и хочешь против закону иттить...

Осип, Костин и еще кое-кто из мужиков поддержали Андрея Егорова; они подступили к нему и вместе с ним стали кричать:

— Известно! Как же можно против закону? Суд присудил, и на это бумага есть! Чего еще хотеть!

Они кричали громко и горячо, глаза у них стали круглые, и в раскрытые рты видно было, как болтались их красные языки.

— Я без всякого листа пойду траву косить!

— Ступай и коси, а то глядеть на него!..

— Чего глядеть-то, ишь чистяк какой! Против всех правил идет. Правила позволяют, а он не хочет давать!

— И не дам!

— А я скошу!

— Попробуй!

— И попробую! Объявляю, братцы, по рублю в утро. У кого слободные руки — выходите косить.

— Старшина...— обратился было Мельников к Пряникову.

— Я здесь не старшина,— грубо оборвал его Пряников.— Я здесь такой же крестьянин, как и ты; я здесь член общества, а хозяин схода староста.

— Так вы разъясните старосте.

— Старосту учить может земский начальник, обращайся к нему да жалуйся... А мое дело сторона.

И Пряников, заправив руки в карманы, пошел со сходки. Стали расходиться и другие мужики; только мужиков пять-шесть окружили Андрея Егорова и стали о чем-то переговариваться с ним...

XXV

Всю неделю шла горячая работа с покосом в лугу. Андрей Егоров, как человек одинокий, не мог выполнить своей угрозы выкосить спорную пустошь, не могли добраться до нее и Мельниковы, рассчитывая на следующее воскресенье.

В ночь под воскресенье Мельникову снился тяжелый сон, будто бы он ехал с покоса и попал в трясину. Он хотел помочь лошади и вдруг сам стал вязнуть.

Его охватил испуг. Он стал кричать, но у него пропал голос. Обливаясь потом и дрожа всем телом, Мельников проснулся и понял, что был сон.

Он облегченно вздохнул. В это время в горницу вошла взволнованная Софья и проговорила:

— Говорили, что сегодня-то на пустошь пойдете, вперед нас там косят.

— Кто?

— Известно, дядя,— Харитон Петров говорит.

— Где он?

— На крыльце стоит...

Мельников быстро вскочил, торопливо оделся, поплескал на лицо холодной воды из рукомойника и, прогнав сон окончательно, вышел на крыльцо. На крыльце, на лавочке, сидел Машистый.

— Вон как у нас! Вы еще спите, а на вашем угодье работа идет.

Неужто правда?

— Сам видел. Пошел было тоже с грехом покосить. Я себе-то немного оставил, ну все-таки на одно утро — на два хватит. Слышу, кто-то жвыкает за границей, думал, ваши, поглядел, а это твой дядя сам-шест.

— Что же теперь делать?

— Пойдем поглядим да отберем речи от них, а там можно присвидетельствовать, аль еще что...

И они пошли по усадьбе через поля по направлению к пустоши. Константин Иванович взволнованно говорил:

— Что теперь остается делать, как жить, когда пошли такие дела? Мой отец прожил — никому худого не сделал. Я всю жизнь только дышал деревней. Когда мальчиком попал в Москву, бывало, встретишь своего человека, как родному радуешься. В Питер попал, сколько думал, передумал, вот это бы деревне сделать, вот так-то, тому-то пособить, и вдруг ты оказываешься какой-то враг всем. Родной дядя на тебя поход объявил и себе помощников нашел!..

— Потому это,— сказал Машистый,— никто твоих думок не знает, доброжелательства твоего не видит, а Андрей Егоров вон какую помощь оказал да сейчас по рублю посулил. Вот за рубль-то этот и пошли к нему.

— А разве хорошо это?

— Все, что ни делается, к лучшему, говорят, а там кто ее знает, може, и не так...

Общественное поле кончилось, подошли к границе пустоши. Направо был бугорок и польце Машистого, где дремала, взбрызнутая росой, созревающая рожь, а налево, за дорогой, где стояли кусты орешника, дрожали редкие молодые осины, кудрявилась плотная лесная трава на половине Мельниковых. От дороги трава была не тронута, но только они прошли с десятину, как послышался отрывистый лязг косы, которую точили, и легкий свистящий шум подкашиваемой травы. Косили в несколько кос, и косили молча, заботливо. Не было слышно ни говора, ни смеха. Мельников с Машистым вышли на площадку и увидели косцов.

Косцов было пятеро. Сам дядя, Восьмаков с Никиткой, Костин, Осип и Михей. Они косили на главной поляне, и выкошено уже было много. Густые плотные валы травы, пахнувшей свежими огурцами, тянулись рядами, как огромные змеи. При виде выкошенного чужими их угодья, на котором они столько лет считали себя бесспорными хо-

зяевами, у Мельникова подкатило к сердцу, и он на минуту потерял способность что-нибудь сказать. Голова у него закружилась, и он чувствовал нетвердость в ногах.

— Молодцы, ребята, работаете хорошо, а перестанете, будет лучше! — насмешливо крикнул Машистый.

— Придет время, и перестанем,— метнув глазами на Андрея Егорова, сказал Восьмаков.

— А лучше бы было не начинать чужое добро трогать.

— Чужая у тебя забота, а не у нас работа,— огрызнулся Андрей Егоров и, взяв косу под мышку, вынул лопатошник.

— У меня забота своя, а здесь земля не твоя!

— И не твоя!

— Знаю это. Вот ее хозяин!

— Этого хозяина-то грязной метлой отсюда. Какой он хозяин, когда он и в деревне-то через два года на третий бывает.

— А ты думаешь, в деревне, так все под себя и подберешь?

— Ничего я не подбираю и подбирать не желаю. У меня, слава тебе господи, своего хватит. Я ни перед кем спины не гну, ни на кого не работаю.

— Это и видно.

— Знамо, видно; по-твоему в чужой монастырь не лезу.

— Ты сам за чужою ограду шагнул, да еще не один, а с другими...

— Что ж, эти другие-то,дешевле тебя стоют? — обиделся Восьмаков.

— Стало быть, дешевле, когда за грош чуть не на разбой идут.

Началась брань. Из кустов вышли и остановились, не зная что делать, остальные косцы. Андрей Егоров вдруг вспылил и решительно и угрожающе крикнул:

— Будет трепаться-то, давай доканчивать, а вы проваливайте, а то...

А то что?..

— Хошь, покажу? - вдруг зыкнул Костин и бросил косу на землю и сделал два шага по направлению к Машистому.

Покажи! - двигаясь в свою очередь к нему навстречу, не сробел Машистый.

Костин остановился и уперся руками в бока, вызывающе глядя на Машистого. Восьмаков крикнул:

— Коси, коси знай! Нечего не него глядеть... Ему можно сучить кулаки, он сегодня не работал...

Машистый с Мельниковым пошли прочь.

— Одно остается,— говорил Машистый по дороге домой,— запрягать лошадей, брать грабли да обирать траву. Они озорничают,— на их озорство только так и можно сделать.

Мельников так был расстроен, что готов был принять все, что предлагал Машистый.

В таком состоянии они пришли домой. Их встретил старик, ходивший в стадо путать лошадей. Он от соседей узнал, что их пустошь косят.

— Ну, что, правда косят? — спросил он.

— Косят.

— Вот разбойники! Как же с ними теперь быть?

— Я говорю, ехать, траву собирать, больше ничего не остается; готовьте телеги, Протасова позовите, да я поеду. Что ж на них глядеть, вправду?

XXVI

Две лошади Мельниковых, одна Протасова и одна Машистого были запряжены в телеги и стояли у сарая, готовые ехать. Дождались старика, который искал в сарае веревку. Вот веревка была найдена, старик сел на переднюю подводу, и телеги одна за одной тронулись, составив целый поезд.

Вдруг из проулка Андрея Егорова напересечку поезду выбежали, с красными потными лицами и мутными глазами, Костин, сын Восьмакова Никитка и Михей. По их виду можно было догадаться, что они выскочили прямо из-за стола, за которым, должно быть, Андрей Егоров не поскупился на выпивку. Они тяжело дышали, и от них еще издали несло сивушным запахом. Костин, грубо ругаясь, бросился к первой подводе и обеими руками вцепился лошади в поводок.

— Вы куда, такие-проэтакие? Мы косили, а вы возить?

— Это еще что? — вспылил старик и сразу встал на стойки в телеге и поднял ременный кнут на дубовом кнутовище.

— А мы вот покажем вам что! — крикнул Костин и стал сворачивать с дороги лошадь.

— Прочь пошел, стервец! — каким-то не своим голосом крикнул Иван Егоров и, размахнувшись кнутом, со всех сил вытянул им между плеч Костина. Костин съежился, глаза у него налились кровью, и он, выпустив узду, бросился к телеге и, навалившись на грядку грудью, стал ловить за ноги Мельникова, а Никитка с Михеем уже забегали с другой стороны.

Машистый, бывший на третьей подводе, быстро выпрыгнул из своей телеги и подбежал к первой подводе, за ним бросился Мельников. Работница, сидевшая в задней телеге, завопила во весь голос «караул». Этот крик донесся до улицы, и там началась тревога.

А старик отбивался от нападавших на него кнутом. Машистый и Константин Иванович подскочили к Никитке с Михеем и отбросили их. Потом Машистый перескочил на ту сторону и очутился плечом в плечо с Костиным.

Костин бросил ловить старика и, держась одной рукой за грядку, весь дрожа, с налитыми кровью глазами, с распухшими жилами на шее и багровым лицом, волчьим взглядом встретил горящий глаз Харитона и, злобно дыша, так что дыхание его вылетало со свистом, следил, что будет делать тот.

— Что, из-за угла нападать начинаешь? Вот как расстарался, продажная душа!

— Уйди прочь,— вдруг прохрипел Костин.

— Нет, не уйду. Ты убирайся прочь с дороги!

— Не ты ль велишь?..

— А хотя бы я?.. Прочь пошел, стерва!

— Поцелуй сучку сперва! — громко крикнул Костин и, оторвавшись от грядки, занес кулак на Машистого. Машистый ловко отстранился, и Костин, промахнувшись, потерял равновесие, не удержался на ногах и полетел на траву. Машистый только было хотел насесть на него, как Костин, не поднимаясь с земли, хватил его рукой по поджилкам. Ноги у Машистого подкосились, и он всем корпусом рухнул на Костина.

— Ага! — хрипел с пеной у рта Костин.— Попался, голубчик!

И он, как-то вывернувшись, подмял под себя Машистого и полез рукой ему под бороду. Машистый отмахнул его руку

и стал выбираться из-под врага: крепкие жилистые ноги напруживались, каждое движение его было полно силы и давило его противника. Противник чувствовал это и, чтобы подбодриться, хрипел:

— Нет, врешь! Теперь не уйдешь. Давно я до тебя добирался. Ребята, пособите!..

А ребята вцепились в старика Мельникова, не пуская его на помощь Машистому; работница продолжала блажить свое. Остановившиеся лошади пугливо озирались, раздувая ноздри. Из деревни бежали бабы, мужики, ребятишки, но они не подходили близко к схватившимся врагам и испуганно глядели на происходившее...

— Чего ж вы стоите? — закричал вдруг на мужиков прибежавший Быков. — Зовите старосту, нешто можно допускать такия безобразия...

Машистый, выбравшийся было наверх, неловким движением сорвался с Костина, и тот опять подмял его под себя. На этот раз Костин придавил грудь Машистому коленкой и так сжал ему правой рукой шею, что Машистому стало ни шевельнуться, ни крикнуть. Вдруг в руке Костина сверкнул нож и исчез куда-то...

Машистый почувствовал жгучую острую боль в боку и рванулся изо всех сил, но Костин держал его плотно и замахнулся еще раз ножом...

— Режут! — хрипло выкрикнул Машистый.

Константин Иванович повернулся к нему. В это время Никитка пригнул голову, как баран, и вдруг боднул Мельникова в спину. Мельников не устоял и полетел вперед. Он ударился виском о тележную чеку, влажная теплая влага залила ему левый глаз, все кругом него завертелось, и он потерял сознание...

Когда он очнулся и поднял голову, то увидал, как старик грабилищем сбивал Костина с Машистого. Машистый, с посиневшим лицом и широко вытаращенными глазами, лежал на земле и как-то странно выл, дрыгая ногами. Костина сейчас же схватили несколько мужиков и оттащили в сторону, но он, яростно ругаясь дикими, скверными словами, опять бросился к Машистому. Его еле могли удержать.

Народа собиралось все больше и больше. Толпа тесно окружила корчившегося на траве Машистого. Слышались оханья и аханья. Васин говорил:

— Натянули вожжи донельзя, вот и гляди теперь, куда повернуть...

Прибежал староста; он был бледный и глядел растерянно.

— Что они наделали, окаянные! Теперь и мне-то из-за них попадет.

— Чего стоите? — вдруг крикнул, не узнавая себя, Константин Иванович.— Набивай телегу сеном да клади в нее его!.. Нужно скорей в больницу везть...

XXVII

У Мельникова над виском была только разорвана кожа. Машистый же был изрезан в трех местах. У него в одну рану выползали кишки. Всю дорогу он был в сознании, придерживал рукой изрезанный бок; на лице его не было ни боли, ни страха, а какое-то недоумение. Он иногда вскидывал глаза на Константина Ивановича или на жену, ехавшую также с ним, и во взгляде его стоял вопрос:

— Что же это такое?

Это же думал и Константин Иванович. Он никак не мог помириться, что это произошло в действительности. Ему все казалось тяжелым сном, как давеча, но это был не сон.

Жгучая боль от обиды, жалость к пострадавшему ни за что ни про что приятелю, горе жены его терзали сердце Мельникова. Всю дорогу до больницы в голове его кружились разные черные мысли, в то же время ясно стало сознание, что ехать нужно скорее и в то же время ехать нужно спокойнее, чтобы ни толчком, ни встряской не повредить израненному, и он внимательно глядел вперед на дорогу.

А баба сидела подавленная, отвернув от мужа лицо. Она с трудом сдерживала рыдания; от этого у ней, как горох, сыпались слезы, вспухли веки и нос. Она то и дело стискивала зубы, чтобы не выкрикнуть, но все-таки в это время раздавался глухой отрывистый звук, похожий на взвизгивание скучающей собаки, и тогда Мельникову самому хотелось зареветь по-бабьи.

В больнице прием уже кончился, рыжий весноватый, гладко выстриженный доктор и мужиковатая помощница, с усталым, скучающим видом встретили нового пациента,

равнодушно велели положить его на кушетку, и когда Харитону Петрову заворотили рубашку и его раны обнажились, скучающее равнодушие сразу покинуло доктора. У него загорелись глаза, и все движения стали быстры и стремительны. Он копнулся в одном порезе, в другом, попробовал выпавшие кишки и сказал:

— Приготовь стол, воды и все, что нужно. Живо!..

— Где это ты так напоролся? — улыбаясь, как ребенку, спросил Машистого доктор, вытирая пальцы, которыми он только что прикасался к порезам.

Мельников стал объяснять.

Доктор поглядел на него.

— И вас хватили?

— Мне не больно.

— А все-таки размыть и перевязать не мешает. Марья Дмитриевна, займитесь-ка с ним...

Машистого унесли в другую комнату, а Мельникову стали промывать ушибленное место и накладывать повязку. Когда повязку сделали, Константин Иванович спросил:

— А мне можно туда пройти?

— Пройдите...

Машистый лежал на белом столе, и доктор зашивал ему последнюю рану. Едко пахло йодоформом и карболкой. Стоял таз с водой. Доктор работал быстро, на лице его было напряжение. Он мельком взглянул на Мельникова и проговорил:

— Вы удачно отделались, а ему вот несколько заплаток пришлось наложить.

— А большое поврежденье-то?

— Кишки целы, вправились хорошо, посмотрим, что дальше будет...

Когда была кончена последняя повязка, доктор велел унести Машистого в палату.

— Что же, он здесь останется?

— Обязательно, нужно хорошенько залечить: место-то плохое, где раны... постоянное движение... повязки трудно держать. Ну, да авось...

Доктор стал мыть руки.

— Пошли у нас ножи прививаться. За это лето шесть случаев такой расправы... А бывало, в два года раз. Точно Кавказ. Заботятся о просвещении народа, а он дичает, совсем Азия делается.

— Злей все становятся,— сказал Мельников.

— Злиться-то злись, да ножами не дерись, а то черт знает что выйдет. Ты, тетка, с мужем останешься?

— Если можно...

— Останься денек, другой, а там наладится, и уйдешь. Долечим без тебя...

Когда Мельников приехал из больницы, дома, в деревне, стоял дым коромыслом. Приехал урядник, задержал Костина и готовился отправить его в стан. Костина, связанного, держали около избы староста, понятые, а урядник дописывал протокол. Костин не признавался, что пустил в дело нож, а твердил, что ничего не помнит, другие показывали бестолково, протокол выходил нескладный.

Когда пришел к уряднику Мельников и стал давать свои показания, картина получилась совсем другая и определенная. Урядник стал переписывать протокол; он переписал протокол, отобрал подписи и, складывая бумагу, проговорил:

— Ну, я свое дело сделал, теперь пусть господин пристав поломает мозги.

Костина он отправил в стан. Ему снарядили подводу и дали двух провожатых, и когда Костина стали подсаживать в телегу, он вдруг заругался:

— Вы это куда меня суете? Думаете с своей шеи стряхнуть? Смотрите, не ошибитесь, как бы не стряхнул кого другого...

И, уже сидя в телеге, он опять погрозился:

— Вы не глядите, что вас много. Из стада овец много, а волк по одной их перерезывает... Это не забывайте!..

Мужики, слушая его угрозы, сжались, уныло глядели друг на друга, а Восьмаков вдруг заругался на Мельникова:

— Заварили кашу, черти не сытые, как ее хлебать будете!

И вдруг, совершенно неожиданно для Мельникова, на Восьмакова набросился Васин и еще один мужик:

— Кто это заварил-то? Не вы ли ее заварили, ненавистники поганые! Вам не живется в покое да ладу-то, сами корявые и других зашершавить хотите...

Как не был зубаст Восьмаков, но он не стал огрызаться, а потихоньку отошел в сторону и незаметно скрылся домой.

XXVIII

Покос доканчивали совсем по-другому, чем начали. Не было среди покосников Машистого, Костина и Андрея Егорова. Последний не вышел неизвестно почему. За Костина косили жена и мать. Бабы ничуть не жалели об отсутствии хозяина. Машистому же и Андрею Егорову пришлось выделить их долю. При выделе снова было обсуждение происшедшего. Вчера слышались отдельные осуждения дела Андрея Егорова, сегодня эти осуждения раздавались слышней и выставлялись в таком духе не отдельными голосами, а множеством.

— Отбивку земли надумал. Он бы у жены в углу что отбивал. А то полез, куда не положил. Правда ли, что это его земля-то?

— Мало ему своей-то, полез за чужой,— кричали мужики, которые недавно еще на сходке стояли горой за Андрея Егорова.

Мельников слушал это и не верил своим ушам.

Только пришли с покоса, приехал становой, пухлый, с крашеными усами и желтыми глазами. Опять созвали всю деревню ко двору старосты, вынесли на улицу стол. Началось составление нового протокола. В новом протоколе дело было взято глубже. Обращено внимание на захват Андреем Егоровым пустоши и на то, как он подбивал Костина, и что тот раньше грозил добраться до Машистого.

— Что же это тебя, дядя, побудило на эти дела?

— Утвердили ее за мной,— заявил Андрей Егоров.

— Кто утвердил?

— Окружный суд, вот бумага...

Пристав, шевеля усами, взглянул на бумагу и снова обратился к Андрею Егорову:

— Этой бумаги мало, а где еще?

— Чего еще?

— Исполнительный лист, вводную грамоту или еще что...

— Этого мне не выдавали.

— Так как же ты без документов можешь подступать к этой земле? Тебе сказали, что тебе с поездом ехать можно, а ты бы на него без билета попер? За это нонче не хвалят — не только с поезда ссадят, а еще двойным числом за билет возьмут.

Становой что-то вписал в протокол и добавил:

— Тебе теперь за это таких орехов насыпят, что не перегрызешь.

— И следует! — не вытерпел и крикнул Овчинник.— Все лето все общество мутил... Хорошенько ему да вот бы еще его поддужному Восьмакову.— Прохор оглянулся, вокруг него были одни сочувствующие взгляды.

— Я сообщу обо всем судебному следователю, а он там как хочет,— проговорил пристав.

То, что Андрея Егорова притягивают, дело пойдет к судебному следователю, и вызвало у большинства чувство злорадства. Стали гадать, чем это кончится, и нашлись такие, которые говорили, что его за это угонят, другие утверждали, что посадят в арестантские роты.

— Так и надо,— кричал Васин,— а то смутил всю деревню!..

Константин Иванович все это видел и слышал и не ждал такого оборота. Давно ли почти вся деревня заступалась за того, на голову которого призывается теперь гибель. Не эти ли люди отказывали им в поддержке самого законного и простого дела?.. И хотя создавшееся настроение было в пользу Мельникова, отвечало его давнишним желаниям, но он боялся радоваться этому. Никто не мог поручиться, насколько это прочно и устойчиво.

А новое настроение все поднималось и разрасталось. На следующее же утро, когда Андрей Егоров опять не вышел на покос, решили больше ему травы не выделять, а когда Восьмаков заступился было за своего приятеля и сказал, что надо выделить, на него набросился Кирилл:

— Это за кой ему черт выделить, что он боится на луг показаться! Не делал бы так... Черт его нес на дырявый мост!

— Он много на братниной пустоши накосил!

— Верно что! Жаден больно на чужой кусок: сожрать хотел, да подавился.

— И он ему помогал!

— И его бы надо прогнать с покоса!

— Возьми да прогони! — колко огрызнулся Восьмаков.

— Мы гнать не будем, дойдет дело до следователя, тебя и без нас уведут.

— Не по вашему ли уже наговору?

— Тут не по наговору, а по делам. Что веревочки ни вить, а кончику быть. Ты думаешь отлытаться!

Восьмаков замолчал.

XXIX

Матрена Машистая пришла из больницы,— Харитон поправлялся плохо: был слаб, часто бредил, в полном сознании он был только тогда, когда к нему приезжал для допроса становой, после станового он опять был несколько раз без памяти. Доктор за ним приглядывал вне очереди, но говорил, что он поправится.

— Ну-ка, умрет от такого злодея? — вздыхая, сказала Софья.

— А от кого же умереть-то, как не от злодея? — сказал старик.— Худой человек, как крапива: сам незнамо зачем живет да других еще жжет...

Покос кончился, готовились к жнитву, редкая рожь плохо поспевала, и жатва оттягивалась. Бороновали пар, опахивали последний раз картофель, пололи в огородах. Жизнь пошла будничная, серая.

Пришли повестки от следователя, и опять все взволновались. Вызывались многие, и видевшие дело, и не видевшие. Снова начались толки и разговоры. Кое-кто сговаривался, как лучше показывать; Андрей Егоров и Восьмаков о чем-то совещались с Пряниковым. Накануне поездки в город, когда уже смеркалось, Константин Иванович пошел в сарай поглядеть, в каком виде у него тарантас, на котором завтра ехать, как из-за угла сарая вышел Восьмаков и, подойдя к нему, поздоровался.

— Что скажешь? — холодно спросил его Мельников, вспоминая все неприятные минуты, которые пережил за это лето по его милости.

— Да к вам, поговорить,— мягко и просительно проговорил Восьмаков.— Вы человек хороший, и я хочу с вами по-хорошему. Вы тоже едете завтра к следователю?

— Еду...

Восьмаков вдруг оглянулся и, еще более просительно понизив голос, начал:

— Констинтин Иваныч! Коли вас допрашивать будут, вы уж не очень на меня нападайте. Я в этом деле ни при чем. Это дядя на вас, а я что ж... По темности я за него заступился, а как господин становой разъяснил, я вижу сам, на чьей стороне правда...

Мельников почувствовал, как у него закипает в груди,

и тяжелое, неприятное чувство к этому человеку встает во всей силе.

Восьмаков, ничего не замечая, продолжал:

— Дядя ваш, известно, жадный, а вы люди, не ему чета... И вы, и отец ваш. Одно, необразованность наша мешает нам, а то бы мы о вас всей душой...

Мельникову вдруг страстно захотелось вылить все негодование, что кипело в его душе, и то чувство, которое он испытывал к этому человеку, упомянуть о его подлости, двоедушии и той наглости, какую он испытал от него в это лето, но сейчас же у него явился вопрос: к чему и зачем? Разве его этим проберешь? Разве он поймет что-нибудь, что не касается его пользы или самолюбия? Он пришел к нему, чтобы защитить свою шкуру; об ней только он сейчас и думает.

Когда Восьмаков прервал свои уверения, Мельников сухо проговорил:

— Там как дело выйдет,— может быть, совсем ничего сказать не придется.

— Вам будет главный вопрос, и вам вся вера. Мне Степан Иваныч говорил, что в вас все дело... Так вы уж, пожалуйста.

Мельников промолчал.

— А насчет вашего дяди я подумать не знаю что... Какая ему земля и на что она? Ему всей земли три аршина... Ни детей, никого, чего ему еще не хватает. Да другие свою отдали бы, не то чтобы отбивать.

И, не получив ничего в ответ, Восьмаков опять запросил:

— Так как же, Костинтин Иваныч? Не забудете? Може, когда я пригожусь. Как-никак, мы односельцы, в одном обществе живем. Не знаем, кому в ком нужда откроется.

Мельников пожал плечами, не отдавая себе отчета, что-то буркнул Восьмакову, но тот и этим удовлетворился и ушел, а Мельников пошел к двору. У двора на завалинке ожидал его Протасов. Когда Мельников подошел к нему, Протасов весело сказал:

— А я кое-что новенького узнал.

— Что такое?

— Насчет нашего выдела; многие сговариваются завтра от следователя сходить в землеустроительную и записаться на выдел.

— Кто же это?

— Быков, Васин да еще кое-кто. Они говорят: оттого все зло в деревне, что люди намозолили друг дружке глаза. Везде вместе, в праздник вместе, в покос вместе, на сходке вместе, все друг в дружке видят,— ни почета никакого, ни уважения. А как разойдутся по отрубам, любезней станут.

— Неужели правда, так и говорят?

— Болтают, а там кто их знает. Може, кто один заправляет. Только если так, то это очень хорошо выйдет: эти старики пойдут, вся деревня не удержится, и тогда выделим общее пастбище. Вот скорей бы Харитон Петров выздоравливал.

— Когда так, и без него дело сделается.

— Сделается, да не так. Он больше других понимает, что как лучше будет, а то его нет, вы уедете, много бестолочи произойдет...

XXX

Следователь держал охапкинцев целый день. Опрос был длинный, подробный, некоторых вызывали по нескольку раз. Наконец все были допрошены, и следователь проговорил:

— Ну, можете ехать домой, да живите посмирнее, а вы двое,— отделил он Андрея Егорова и Восьмакова,— останетесь.

— А нам зачем же оставаться, ваше благородие? — весь красный, спросил Восьмаков, уставляясь в спокойное и сытое лицо судебного следователя.

— Вас я арестую.

— За что же?

— Сами знаете...

Андрей Егоров стоял молча, беспомощно моргая своими выцветшими глазами. Восьмаков же точно весь налился ртутью. Все в нем прыгало — и глаза, и щеки, суетливо двигались руки. Он не своим голосом часто забубнил, спеша как можно больше выпустить слов:

— Ваше сокородие, за какое же дело? При чем же тут я? Я ни к чему не касался. Андрей Егоров хоть отбивал себе землю, а я к этому в стороне. Если я с Андреем Егоровым компанию водил, так мы с ним сызмальства приятели.

— Вот вы по-приятельски-то и сделали это.

— Что мы сделали? Если я косил у него, так по найму. Меня наняли, я и пошел. Потом я не один. Нас пять человек. Отчего же тех не сажают в тюрьму?

— Те Костина ни на что не подбивали.

— А мы подбивали?

— Он показывает, и другие свидетели подтверждают.

— Неправда это.

— Мне показывают. А там какие показания будут на суде, суд и решит. Подтвердится — вас обвинят, не подтвердится — оправдают.

— Это до суда и сидеть? — ужаснулся Восьмаков.— Ваше сокородие, будьте милостивец!..

Восьмаков вдруг упал перед следователем на колени и плаксиво стал умолять отпустить его. Следователь неприятно поморщился и кивнул вызванным им полицейским:

— Уведите его.

Полицейские подняли с пола Восьмакова. Он вдруг злобно оглянулся на Андрея Егорова и угрожающе проговорил:

— Из-за тебя мне сидеть придется. Ну, если я из-за тебя буду сидеть, ты из-за меня совсем не выйдешь.

Андрей Егоров даже не повернулся к нему,— он как будто плохо сознавал, где он находится...

XXXI

Опять было несколько дней разговору об аресте и допросе следователя, о посещении землеустроительной комиссии, куда все-таки несколько мужиков успели сходить... Потом началось жнитво. Все разбрелись по своим полосам; сходиться для разговоров было некогда, и деревня снова понемногу успокоилась. Андрея Егорова и Восьмакова как заперли в тюрьму, так и не выпускали. Жены навестили их в первое же воскресенье. За это время обоим была очная ставка с Костиным, и Костин в глаза им заявил, что оба мужика подговаривали его убрать Мельникова, который мешал Андрею Егорову завладеть землей, и Машистого, который больше всего поддерживал Мельникова. Оба мужика не могли отклонить этого оговора. Вели они себя в тюрьме не одинаково. Андрей Егоров мало ел, отказывался от прогулок и ни с кем не говорил. Восьмаков же донимал всех уверениями, что он ничем не виноват и сидит напрасно. Всех покойнее чувствовал себя Костин. Он говорил, что здесь не каплет и хлебом кормят. Если же не дают водки, то это хорошо, от водки му-

жик дуреет и делает что не следует. А Матрена Машистая говорила о своем муже: раны его зажили, он выздоравливает, но когда выпишется из больницы, никто не знал.

В следующее воскресенье приехал непременный член насчет выдела и заявил, что заявлений о выделе поступило больше десяти. Кроме первых заявивших, присоединились еще: Кирилл, Чубарый, Быков и Васин, Анисья и Настасья вдова...

Староста и сход отнеслись к выделявшимся спокойней, чем при первом заявлении, и дело шло тихо.

— Ну, что же, все заявившие согласны на выдел?

— Мы все согласны, только вот Харитон Петров.

— И Харитон не откажется,— поспешила заявить Матрена.— Нешь он так будет бегать? В миру он теперь не работник.

— А когда так,— заявил непременный член,— сейчас составим приговор, проведем его через комиссию, а к осени пришлем к вам землемеров.

— А оценка будет?

— Если хотите, лучше бы.

— Желаем по оценке,— заявил Васин и отошел в сторону.

Непременный член подписал приговор, поздравил выделяющихся с наступлением новой жизни и уехал.

XXXII

Приближался конец отпуска Мельникова. Перед отъездом в Петербург Константин Иванович поехал навестить Машистого. Кругом было уже все другое в сравнении с тем временем, как он приехал в деревню. Ржаные поля были пусты, и по ним вразброд ходило стадо. Лен выбран, и бабки его были составлены так, что головки тесно прижались друг к дружке, как бы прощаясь перед разлукой. Овес становился желтым, и кисти его больше гнулись к земле, воздух был полон новых ароматов и поражал своей прозрачностью, благодаря которой все окрестности были видны совсем в другой перспективе. И как ни хорошо было кругом, теперь сердце Мельникова не трепетало от восхищения, как весною. В памяти у него ясно стояло только что пережитое, и бродили

различные неясные обрывистые думы. С этими смутными думами он приехал к больнице.

Харитон Петров, и так высокий и прямой, стал казаться еще выше. Мускулистый прежде, он сейчас походил на скелет, загар у него прошел, отросли волосы и появилось новое выражение в глазах. И вдруг он показался Мельникову похожим не на мужика, а на монаха постника, которому враг весь мир...

Он был в желтом халате и туфлях и сидел в коридоре с какой-то книжкой в руках; увидевши Константина Ивановича, он улыбнулся, в глазах его появился новый свет. Он встал ему навстречу и схватил за руку.

— Здорово, здорово! Спасибо, что навестил, а я думал, и не увижу вас перед отъездом. Все доктор не хочет отпустить. Верхнюю рану не совсем затянуло, боится, как бы не повредить.

— А здоровье-то ничего?

— Ничего... только силы прежней не чувствуешь. Бывало, так и видишь, вот то-то можно сделать, вот это, а теперь не знаю. Може, это от того, что я здесь, а може, и навсегда останется.

— Это плохо.

— Ничего. Да что ж мы здесь стоим, пойдем-ка в сад, там послободней.

Они вышли в березовую рощицу, которая росла вокруг больницы, и пошли рядом по дорожке.

— На работу еще силы хватит, а драться-то, може, и не придется.

— Не с кем больше, драчунов-то, должно, прижали крепко.

— Говорила Матрена, только на такое добро переводу не будет: одних убрали, другие вырастут, как на репейник у изгородки не бывает переводки. Дело-то совсем не в том, чтобы их одолеть, а в том, чтобы совсем их не было.

— Как же это так?

— А так, чтобы народ не такой был, а настоящий, и жил бы он, чем человеку от бога положено.

— Как только добиться этого?

— Дело нелегкое, знамо. Только нужно об этом вперед заботиться. И все сведущие люди, и все начальство... А то человеку и жить-то дано всего ничего, а он и этот срок не может провесть в радости: то забота, то работа, то эти вздо-

ры да вражда. Я вот тут одну книжку прочитал. В ней говорится про одного человека. Он добился, что ему все стало понятно, и мог он легко жить и другим с ним легко...

— Много от нужды еще темноты у нас,— сказал Мельников.— Вот выделяются мужики, будет у них все лучше родиться, меньше нужды станет, меньше и темноты.

— Ну, еще это как сказать? Надо, чтобы мужик понял свою темноту-то, вот в этом все и дело. Пойми человек темноту да возненавидь ее, тогда нужды у него меньше станет, и не так страшна она. Я тут много об этом думал. Не попади я в больницу, може, в десять годов того не выяснил, что сейчас. Вся беда, что мы сами себе путного не хотим и ничего не делаем. А ведь это можно делать и много, и по-настоящему. Укрепись человек, что это вот тебе можно, а это нельзя, и то легче. А то нас куда ветер подует, туда и покачнемся; твердости в народе настоящей нет, нужно еще в каждого по гвоздю от головы до пяток вбить, чтобы он не вихлялся.

— Это легко сказать! — вздохнувши, проговорил Мельников.

— Известно, не легко, что про это говорить. Ведь нас сколько вихляли-то. Ну, только пока такой державы не укрепишь, все, что ни делай, и нам будет тяжело, и детям нашим...

Помолчали. Машистый стал спрашивать, что еще делается в деревне, когда он едет в Петербург. Говорили долго и хорошо, и когда пришло время прощаться, то Мельникову вдруг стало грустно.

— Вот мы с тобой чужие люди, а ведь и с родными не всегда так бывает, как с тобой.

— Може, и родня должна бы по этому считаться, а не по тому,— мягко засмеявшись, сказал Машистый.

Они задушевно простились, и Мельников поехал опять домой...

В деревне его встретила новая неожиданность. У двора дяди стояла целая толпа народа, невыпряженная лошадь, а из избы его неслись бабьи вопли. Константин Иванович придержал лошадь, и к нему сейчас же подошел Протасов и проговорил:

— Ну, Константин Иванович, то у тебя хотели землю отбить, а вышло хоть бы и тебе об наследстве хлопотать.

— Что такое?

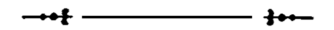
— Дядя твой приказал долго жить. Удавился в тюрьме.

— Нужели?

— Тетка сейчас домой его привезла. Даже мертвого не давали. Насилу выхлопотала.

Константин Иванович, бледный, полный смутными чувствами, тронул лошадь и поехал к своему двору.

1917 г.



Бедняки

Рассказ

I

Выложив на стол пятнадцать рублей, причитавшихся Степке за возку дров, приказчик записал выдачу в книгу, и Степке стало нечего делать в конторе. Все время перед получкой Степка испытывал сильное волнение. К тому же в конторе топилась печка. Степке было жарко, как в бане. Когда он, спрятав деньги, вышел на крыльцо и в лицо его пахнуло крепким, свежим холодком, парню вдруг стало так легко и приятно, что он остановился, раскрыл рот, вдохнув в себя свежую, холодную струю воздуха, сдобренного кисловатым дымком, вылетавшим из конторской трубы, и подошел к ожидавшему его Карьке.

Лохматый, брюхатый конь с маленькими ушами поднял голову от наваленного к березовому пню сена и поглядел на своего молодого хозяина. «Куда-то теперь поедем?» Но хозяину, видно, было не до него, он не ответил на взгляд своего товарища, а подошел к оглоблям, стянул со спины Карьки покрывавший его армяк и стал подвязывать чересседельник. Степка делал это быстро и ловко. Безбородое лицо его сияло. Он получил сегодня все, что у него было заработано. Кроме того, приказчик обещал выдать ему на свадьбу десять рублей вперед. Значит, свадьбу будет с чем играть. Для Степки сейчас это было самое важное изо всей его жизни.

Он подтянул повод, подобрал натрушенное вокруг пня сено. Хотя Степка освежился на воздухе, но у него так пылало внутри, что парень не захотел надевать армяка, а накрыл им сено в дровнях. Плюхнувшись в сани, Степка дернул вожжами, но Карька только вскинул голову. Еще при старом хозяине, умершем два года назад, он был приучен, чтобы, перед тем как ехать, ему втягивали вдоль бока. Этого конь ждал и теперь. Степка вспомнил эту неприятную привычку товарища и достал из-под сена кнут. Получивши положенную

порцию, Карька тронулся, обогнул контору и вытянул сани на большую дорогу, проходившую как раз краем рощи.

День уже кончился. Солнце опустилось за дальний лес, и сконфуженное небо краснело на том месте, как разогретый на огне чугун. Его краска отразилась и на соседних полях, раскинувшихся перед глазами Степки. И эти поля были полны жизни, тогда как небо вверху казалось бескровным и мертвенным. Степке вдруг захотелось направить лошадь целиком и ехать в ту сторону, где спряталось солнце. Но холодный рассудок взял верх. Он не мешал Карьке идти, где удобней, и Карька затрусил по гладким желобатым колеям, а сани заскрипели свою обычную песенку. Степка забыл свой порыв, привалился к сену и весь отдался обуявшим его мечтам.

«Значит, Агашка будет его». И сейчас же в воображении парня появилась небольшая коренастая девка, с ясным лбом, лучистыми глазами и пухлыми губами, красными, как спелая малина. Она стояла, сложивши на груди руки, и, посмеиваясь, глядела на него. Этак было в прошлое воскресенье во время смотрин. Они были в холодной избе, куда их послали поговорить. Вслед за этим Степка вспомнил, какого дурака он тогда разыграл. Он спросил, как его научили старшие, «полюбился ли он ей». И когда получил в ответ, что полюбился, он обнял ее мягкие, душистые плечи и стал целовать в губы. Он хотел поцеловать ее три раза, но, прикоснувшись к горячим губам девки, он уже не мог оторваться и целовал бессчетно. Он чувствовал себя как человек, которому хотелось пить и который вдруг напал на свежий родник. Он пил, а жажда разгоралась больше и больше. Агашке, должно быть, стало неловко от этого, и она сказала: «Будет».

Степка тогда оторвался и сконфузился. И сейчас, при воспоминании об этом случае, у него вдруг стало сухо во рту. Он зацепил на стороне горсть снега, взял ее в рот и подумал вслух:

— Погоди, дай срок, я тебе задам!

Задать он теперь мог вполне. Завтра они с матерью поедут на базар, куда выедут и сваты. Им нужно будет угостить всю невестину родню. Во время угощения они сговорятся, когда быть рукобитью и когда свадьбе. От мысли, что он скоро будет мужиком, у Степки кружилась голова, и выплывала картина за картиной его будущего благополу-

чия. Вот он после свадьбы, князь винображный, сидит с Агашкой рядом, а перед ним разная еда, гостинцы, вино. Есть и пить можно без опаски, чего душа просит. Но он вина пить не будет. От него в голове Степки поднимается шум, он стервенеет, и у него чешутся кулаки. Он будет только пригубливать, а потом, когда беседа кончится, он пойдет с Агашкой «гулять». Они уйдут куда-нибудь за сараи, сядут в обнимочку на бревна и будут целоваться...

У Степки опять появилась сухость в горле, и ему снова пришлось нагибаться за снегом.

...А потом они поедут к тестю в гости. Там он выпьет, увидит, что Агашка за ним не очень ухаживает, заломается и станет безо времени собираться домой. Его будут уговаривать тесть и теща, а Агашка станет грустная и с упреком скажет: «Что ломаешься-то, оставайся». Тогда Степка перестанет ломаться. Агашка засмеется, стащит с него одежину, сядет с ним рядом, и они опять будут целоваться.

Потом позже, уже весной, когда они наработаются вдоволь и она узнает все их полосы, в николу или троицу он выпьет как следует и под пьяную руку сошьет ей подзатыльник. Она заплачет и будет на него дуться, но продуется не долго, и они скоро сделают мировую...

II

Уже смеркалось.

Подошла деревня Грязева, в которой была лавка и трактир, так знакомые Степке. Лавка вдалась в глубину огородов и оттуда слабо подмигивала двустворчатой дверью. А трактир выпятился всем корпусом на перекресток и, нахально глядя во все стороны светлыми окнами, как разбойник, сторожил всякого прохожего и проезжего. Степка, проезжая мимо трактира, подумал, не заехать ли ему спрыснуть получку, но сейчас же решил, что не следует. Дома его ждет мать. Она не знает, что дело с приказчиком так хорошо кончилось. Ее надо скорей известить. Деньги у Аверкиных были редкие гости. Иметь в своих руках такой капитал, как пятнадцать рублей, было праздником, так пусть мать скорей узнает об этом празднике. Карька запнулся было у трактира, но, почувствовав, как его ожгли кнутом, потрусил дальше по деревне. На улице кишели ребятишки.

Увидавши проезжавшую подводу, ребятишки окружили ее и загалдели:

– Дядя, покатай!..

Подскочившие поближе разглядели, кто сидит в санях, и закричали:

— Какой это дядя, он дяде-то в племянники не годится. Это Степка новинковский.

«Степка,— подумал Степка, воображая, какие церемонии скоро пойдут по его милости.— Степка-то в люльке лежит, назовешь и Степан Анофрич».

Он поднял кнут и крикнул:

— Не лезьте, возгривые. а то вот!..

Он замахнулся кнутом, ребятишки шарахнулись в сторону, двое упали в снег. Один крикнул ему вслед:

— Какой не возгривый, у самого небось верхняя губа не просыхает.

— Уж ты, Степушка-Степан, разорвал себе кафтан,— запел, гонясь за санями, другой.

— Ладно, разорвал,— крикнул Степка и опять хлестнул лошадь.

«Жалко, лошадь не ремка,— подумал Степка, когда выехал из деревни,— а то они садиться, а я бы ее стегнул, так, как горох, и посыпались бы...»

За лошадью Степке показались недостатки в сбруе. На этом хомуте еще его покойный отец женился. И сани подъездились. Левый полоз не толще ладони. Если бы его старым шином подхватить. Да нету у них лишних шин. Все на своем месте.

За одними недостатками выплыли другие, и Степке вдруг стало скучно. Чтобы разогнать невеселые мысли, Степка стал думать, что в деревне живут многие хуже ихнего, а у них все-таки и лошадь, и корова, и телка. Ходят три овцы, а у многих по одной корове, да и то чужие, часто бывает нечего перекусить, а их еще, слава богу, из десятка не выкинешь. А вот когда он женится!..

Он опять развалился на сене, и опять в его воображении появилась Агашка, все в том же виде, с поджатыми руками, с мягкими, полными плечами и с веселым улыбающимся лицом. Он прищурился и взглянул вперед. Впереди, из-за темной стены барского леса, на Степку вдруг взглянула крупная дрожащая звезда и как будто улыбнулась ему. Степка подмигнул ей и поднял голову вверх.

Небо было уже темное, и только на западе светилась бледная полоса. В глубине его одна за другой загорались звезды, большие и маленькие, и их было так много, и все они глядели на Степку как будто бы с любопытством. «Ух, сколько вас!..» — проговорил Степка, и ему стало немного жутко. Он прижался плотнее к сену и подумал:

«Если бы у какого мужика столько овец было, сколько бы одной шерсти можно было настричь!..»

И ему почему-то неловко стало думать про Агашку. Он попробовал думать на другой лад. Но другие мысли не шли ему в голову. О чем он ни начинал думать, сейчас же ему становилось скучно, и дума застывала. Тогда Степка замурлыкал песню.

III

В Новинках на улице никого не было. В их деревне мясоедом молодежь сбиралась в избушку, где и коротала вечера. Степка подогнал лошадь, и Карька трусцою подкатил его к своему двору.

Изба Аверкиных была небольшая, кругом окутанная соломой и кострой. Из глубины такой закуты, как заплывшие жиром глаза, выглядывали два окна на улицу и одно в проулок. За окнами было светло и, верно, тепло. Степка, немного прозябший на морозе, уже чувствовал, как ему приятно будет в этом тепле. Он вылез из саней и стал выпрягать Карьку.

Карька стоял, покорно повесив голову. Степке захотелось пошутить над ним, и он ткнул его кулаком под салазки и крикнул:

— Ну, развесил губы-то,— небось не в солдаты отдают!

И он хихикнул своей остроте и проворно собрал вожжи, вывел лошадь из оглобель и стащил с нее хомут. Потом он отворил ворота и пустил лошадь во двор, ловко взял на руку хомут, седелку и дугу и понес их на место. Повесив каждую вещь на свой колышек, он вернулся в сани за армяком и тогда уже пошел в избу.

Февронья слышала, как он подъехал ко двору, как хлопотал, выпрягая лошадь, но не вышла к нему навстречу, не уверенная, с приятною ли вестью приехал сын. Контора была затяжная, платили деньги неохотно, могли от-

казать и сейчас, а тогда их дело расстроилось бы, и вместо радости у них стало бы горе. В сильном волнении она подошла к печке и стала наливать самовар.

Февронья была нестарая годами, но износившаяся от работы и заботы. Она была небольшая, худощавая, с когда-то красивым, но теперь ссохшимся, морщинистым лицом, немного сутуловатая. В ее стане уже не сохранилось ничего женственного. Когда в избу входил сын, она даже боялась сразу взглянуть на него. Но долго она не вытерпела, набралась храбрости и уставила на сына пытливый взгляд. Увидевши круглое, румяное лицо и светящиеся весельем глаза, баба почувствовала, как у ней отошло от сердца, оно чаще забилось.

— Приехал? — спросила она, выпрямляясь и опуская вниз руки с лучиной и спичками.— Ну, что тебе бог дал?

— Получил,— сказал Степка, бросая армяк на лавку и снимая шапку.

— Все?

— Что заработал, все, а если дело сладится, пообещал красненькую вперед дать.

Февронья почувствовала, что лампа у них как будто вспыхнула и стала гореть ярче, в избе стало веселее, а румяное лицо Степки показалось таким степенным, что Февронья прониклась к сыну небывалым уважением.

— Вот и слава богу! — сказала Февронья, и на лице у нее появился румянец и заблестели глаза. Она провела по губам рукавом и стала зажигать лучину.

И все время, пока она разводила самовар, ставила на стол чашки, движения у нее были неровные, суетливые, точно ей в голову ударил хмель. У ней дрожали руки, и к горлу что-то приступало, что мешало ей свободно дышать. А Степка, бросив шубу, сидел на лавке, поджав руки, о чем-то задумавшись. Мать мельком несколько раз взглядывала на него и, видя необыкновенную серьезность и сосредоточенность на его похорошевшем лице, испытывала тайную гордость, и в ее голове появлялись новые воображения чего-то небывало хорошего в скором будущем, и сердце ее радостно трепетало.

Когда на стол было собрано, Степка вдруг встал, подошел к висевшей на колышке шубе, достал из кармана опущенные туда давеча две бумажки, красненькую и синенькую, и положил их на стол. Февронья взяла деньги, раз-

вернула, поглядела на них, и глаза ее еще более разгорелись.

— А говорили: он сквалыга,— выговорила она, убирая деньги в самодельный шкапчик в углу.

— Когда сквалыга, а когда и нет, тоже кой-что понимает.

— Вот дай бог ему здоровья! — глубоко вздохнув, проговорила Февронья.— Теперь мы без заботы.

— Чего ж еще,— сказал Степка и полез за стол. Мать подала хлеба и картошки перекусить перед чаем. Степка, принимаясь за еду, сказал:

— Завтра мы в своей шубе съездим, а к рукобитью ты беспременно у крестного солдатов тулуп выпроси, все равно он ему теперь не нужен.

— На что тебе тулуп-то? Ты и без тулупа слава тебе господи!

— Все-таки, там народ нарядный, а я без тулупа,— зазорно.

— Молодуху приведем, побольше посеем весной,— на ту зиму свой справим.

— Это когда справим, а нужно-то сейчас: дорого яичко к красному дню.

— Ладно, выпрошу: не у крестного, еще у кого возьму.

IV

После чая дома нечего было делать, а спать не хотелось, и Степка решил сходить в «избушку». «Избушку» снимали у солдатки Дарьи, овдовевшей в японскую войну. Дарья брала с них рубль в месяц, и каждый вечер, когда собиралась к ней молодежь, залезала сама с ребятишками на печку и предоставляла молодежи делать, что им хотелось. Ребят и девок ходило в избушку душ двенадцать, ребят было меньше, девок больше. Парни были деревенщина, домоседы, девки держали себя с ними вольно, без церемонии, отчего в избушке всегда стояло веселье. Когда Степка пришел в избушку, играли в «редечку». Игра состояла в том, что вся молодежь усаживалась на пол гуськом, плотно друг к дружке, и каждый брал переднего под мышки и, сомкнув руки на груди его, крепко прижимал к себе. Тот, кому доставалось тащить редьку, подходил к самому заднему, заправлял так же руки и должен был оторвать его от других. Когда редьку тащили, другие пели:

Тяни, тяни редьку,
Выкинь ее Федьке,
Федька редьку вынет,
А кто у нас выйдет...

Тащить редьку было нелегко, гряда напрягала все усилия, чтобы не выдать редьку, особенно трудно было вытянуть первую, много поту, визгу, крику и смеха.

Когда вошел Степка, редька еще не начиналась. Молодежь только что уселась в гряду. При виде Степки вся артель закричала, что ему первому тащить редьку, так как он поздней всех пришел.

— Степану водить! Степану водить! — кричали все в один голос.

Степка не противился. Он скинул шубу, повесил ее на гвоздь, поплевал в руки и подошел к гряде.

— Што ж, и повожу, нешто испугался,— спокойно и с достоинством проговорил Степка.

— Ну, так начинай,— крикнула крайняя девка, самая веселая из всех. Ее звали Анисья. Она была румяна, как фарфоровая кукла, с черными блестящими глазами и тонким носом с горбинкой. Она была непохожа на деревенскую и очень гордилась этим.

— Сейчас начну,— ответил Степка и опустился на пол сзади Анисьи, обнял ногами ее бедра и стал просовывать руки под мышки. Анисья делала все усилия не пустить его руки. Но Стенка чувствовал себя необыкновенно сильным. Он пропихнул кисти рук ей под плечи, сцепил их на ее высокой, упругой груди и сильно потянул девку к себе. Анисья сразу разжала свои руки и отлипла от соседа. Степка кувыркнул ее на бок и выкинул, таким образом, из гряды.

— Ах ты, чертушка! — красная, как кумач, со сбившимся платком и горящими глазами, смеясь воскликнула Анисья, подымаясь с пола.— Вот медведь-то!

— Што, аль тащимши хвост оторвал? — спросил из гряды рыжий Артем, с весноватым, точно обрызганным охрой, лицом.

— Хвост не оборвал, а должно быть, хорошо подловчился,— сказал сидевший под очередью другой парень, Никашка.

— А вот как! — крикнул Степка и, схватив его за плечи, в один миг выдернул из гряды и тоже отбросил в сторону.

За Никашкой выскочила старостина Глашка, длинная, сутулая, с большими ногами, за Глашкой — восковая Полька, курносая Дунька. Как ни ухитрялся Артем удержаться за свою соседку Федосью, но и его постигла судьба тех, кто сидел сзади него.

— Тебе не редьку таскать, а разбирать дубовые бочки,— проворчала недовольная Федосья.

А у Степки, как нарочно, силы становилось еще больше. Он весело ухмылялся и проворно и ловко отрывал редьку за редькой. Его проворством залюбовалась даже лежавшая на печи солдатка.

— Ах, пес! Да сколько в нем прыти-то, а мы и не думали!

— Ага! — самодовольно хвастнул Степка,— ты только копни меня, во мне куча да бугор.

— Только в силу входишь, а женишься,— упрекнула его Анисья,— ты бы с нами хоть годок погулял.

— Я и женившись могу с вами гулять.

— На кой ты нам будешь нужен женатый-то?

— А вам не все равно? Все равно я вас всех замуж не взял бы.

— А зачем ты в чужую деревню едешь, чего своих не берешь? — набросилась на Степку старостина Глашка.

— Ешь собака, да незнамая,— спокойно ответил Степка.

— А мы нешь собаки? — крикнула вдруг Анисья.— Ах ты кочедык этакий! Девки, давайте ему салазки загнем! — И Анисья вытянула вперед руки, согнув крючками пальцы, и, вытаращив глаза, стала наступать на Степку. Степка повернулся спиной в угол, принял положение, чтобы удобней отстранить нападающих, проговорил:

— Гляди, как бы самой не загнули.

— Пособляйте, девки!

— Ребята, заступись!

Началась свалка, изба задрожала, визг, крик и хохот бил по ушам на печке Дарью, и она, глядя, как барахтались все свалившиеся в кучу ребята и девки, задыхалась от смеха, у нее тряслись плечи и, как угли, горели глаза.

— Экий стервец! — говорила на Степку, развязывая сбитый с головы платок, курносая Дунька.— Ишь как растрепал, леший, у-у!

И она замахнулась на него одной рукой, а другой поддерживала сбившуюся толстую косу.

— А ты не подвертывайся,— запыхавшись, красный, как кумач, говорил Степка.

Он видел, что сегодня к нему охотно льнут все девки, но это его нисколько не трогало. Он глядел на всех спокойно и равнодушно. Пусть льнут, он-то к ним не полезет. У него есть Агашка, вот кто сидит у него за подоплекой. Он представил себе Агашку и стал сравнивать с нею других девок. Большинство девок показались ему перед Агашкой такие нескладные, неуклюжие. У них не так глядят глаза, по-другому ворочается язык. Кое-кто и лучше ее, да не сравняться им перед нею в его сердце.

— Мы ему за все это отплотим,— грозилась меж тем восковая Полька, в самом деле желтая, как воск, без следа румянца на щеках и с бурыми губами.— Мы ему споем «болячку», как величать на свадьбе будем.

— А я вам подам старую подошву от валенка.

— А мы ее тебе назад пошлем.

— А я ее в дегтю вымочу да опять вам кину.

— А мы про твою невесту песню сложим.

— Да складывайте, эка чем угрозили!

— Ничего не боится, вот перец-то струковой! Вот не ждала от него такой прыти,— восхищалась Степкой на печке Дарья.

V

На другой день встали рано. Легкий мороз, собравшийся с вечера, окреп за долгую ночь и висел над полями густым туманом. Туман кольцом окружал деревню, и сквозь его гущину трудно было что-нибудь разглядеть. Только вверху ясно было видно и можно было еще разыскать следы светившихся ночью звезд, погасавших одна за другой, как догоравшие в паникадиле свечи. Но свечи гасли, и делалось не темней, а светлей, туман становился реже и прозрачней. И пока Степка запрягал Карьку, набивал дровни сеном, глаз дальше мог уйти в окружающее, вдали виднелся еловый лесок, другая деревня и высокий курган за этой деревней.

— Не опоздать бы,— сказала мать, выходя из избы в армяке сверх суконной шубы. Воротник армяка был поднят и подвязан красным платком.

— Небось,— сказал Степка и стал натягивать на руки серые четвертаковые перчатки.

Сегодня он был франтом. Шуба была вчерашняя, но Степка подпоясал ее новым кушаком, на шее у него красовался материн кашемировый полушалок, концы полушалка парень заправил за борт шубы. На ногах были новые валенки. Мать не могла удержаться, чтобы не полюбоваться, и, усаживаясь в дровни, проговорила:

— На что тебе, дитятко, тулуп добывать, ты и без тулупа куда хошь годишься.

— А тулуп все надо добыть,— упрямо настаивал Степка.

— Да добуду, за тулупом дело не станет, только я к слову: и без тулупа, слава тебе господи, не скоро другого подыщешь.

Степка хлестнул Карьку. Карька тронулся, волоча за собою пронзительно скрипевшие дровни. Проехали деревню. Десятины через три за деревней стоял, весь в серебре, еловый лесок. И чем ближе к нему подъезжали, тем сильней становился холод. Как будто бы старик-мороз скрывался на ночь в этом лесу и оттуда распускал свою силу на всю окрестность.

Но вот слева, где полнеба было окрашено в розовую краску, с густым слоем пурпура внизу, вдруг стал вырастать огненный полукруг. От полукруга во все стороны полетели золотые стрелы, и на белых полях вдруг исчез тяжелый свинец, и они колко засмеялись, заиграли ослепительной белизной, а на матовом серебре ельника откуда-то появились яркие алмазы. Алмазы переливались в глазах, и, глядя на них, исчезало ощущение холода, теплей делалось на душе, и легче становилось глазам. Степка почувствовал это скорей матери и проговорил:

— А ведь хорошо, матушка!..

— Что?..

— А вот...— сказал Степка и ткнул кнутовищем в сторону драгоценной оправы леса.

— И вправду хорошо,— согласилась Февронья и добавила: — Господь-батюшка, он провидец: что захочет, то и разукрасит. Вот и нам бы он пособил...

— А нам что ж?

— Чтобы невеста удачная задалась, а то ну-ко неудачная, намычешься горя.

Степка нахмурился.

— Что ж, ведь ты сама поднялась женить меня скорей.

Нешто я приставал к тебе? Я хоть бы еще год гулять. Мне все едино.

— Да нешто я што, господь с тобой! Я так, к слову. Дело-то это больно большое. Я ведь и сватов не хаю, и невесту не корю. По мне худого нет пока, а только что бог даст...

Еловый лесок остался позади. Въехали на огорок. С огорка открывался широкий вид на перерезавшую дорогу реку, покрытую льдом и сугробами, на две мельницы в разных местах и заречную сторону, покойную и безлесную, где было разбросано несколько деревень. А между этими деревнями выделилось то село, где сегодня собиралась ярмарка. Деревни на белых полях казались игрушечными, село же имело более внушительный вид. В нем стояла трехглавая церковь с горящим, как свеча, золотым крестом, возвышались двухэтажные дома... Белизна, расстилавшаяся кругом, придавала тон звонкой пустыне, самый воздух казался застывшим, стеклянным. Недаром кругом гулко раздавался всякий звук...

Теперь уж мать с сыном не замечали окружающей природы. Как только они увидали село, то обоих их заняли мысли о том, что им сейчас предстояло. Но и у матери и у сына мысли были несходные, и они стали думать их каждый про себя. Так молчком они проехали весь остаток дороги и въехали в село.

VI

По селу стоял гулкий визг въезжающих в него саней, хряп и скрип шагов, выкрики и говор. Люди и лошади были заиндевевшие, от дыхания валил густой пар, образовавший над площадью полосу тумана, как пелену росы над прудом весной. Всюду стояли подводы. Лошади были покрыты дерюгами, ряднинами, рогожами; перед каждой лежало сено. Посредине площади перед большим двухэтажным зданием с трехцветной вывеской расположились торговцы с съестным: калачами, лотками ржавой рыбы, мороженой клюквой, кипящей в жаровнях печенкой и колбасой, дразнившими аппетит. Торговцы другими товарами стояли в две линии вдоль села. И какого товара не было у этих торговцев! Готовая одежда, сбруя, корыта, горшки, сани, рукавицы и варежки, календари. Вот владимирцы, отец с сыном, привезли воз свежих икон и выставляют их. Иконы все в киотах с фоль-

говыми ризами, с венками, звездочками и другими блестящими украшениями, игравшими огнями на солнце. Февронья сейчас же вспомнила, что сыну нужно новое благословение, и окликнула пробежавшего было воз с иконами Степку.

— Погоди.

— Чего? — спросил, обернувшись, Степка.

— Давай святого поглядим.

Она обратилась к парню и спросила:

— Што, родимый, Степаны у вас есть?

— Какого тебе Степана? — вскинув на нее глаза, спросил парень.

— Святого какого-нибудь.

— А нешь есть такие святые?

— Ну, а как же, тетеря! — сердито крикнул от саней выбиравший оттуда иконы старик.— Неужели ты не знаешь: Стефан Пермский, Стефан Печерский, Стефан Новый, потом мученик Стефан, архидиакон Стефан. Или ты забыл... На вот тебе, погляди.

И старик нырнул в дровни, вытащил оттуда коричневый ящичек за стеклом, быстро протер стекло полой полушубка и подал Февронье. Февронья взяла ящичек, из-за стекла на нее взглянуло старое, изможденное лицо, с тусклыми, круглыми глазами и с расчесанной волосок к волоску седенькой бородкой.

— Кажись, стар очень,— боязливо проговорила Февронья и передала образ сыну.

— Святые все старые,— поспешил уверить их торговец.— Молодые мало кто о святости заботится. Вот он,— кивнул старик на сына,— о деле путем не думает, не то что о спасении души. Которые нешто из мучеников, те, конешно, помоложе.

— Може, у тебя мученики есть? — нерешительно спросила Февронья, подавая назад ящичек.

— Есть, есть, как же. На это имя даже первомученик имеется: святой первомученик архидиакон Стефан. Держика... Это не только помоложе, а совсем молодой.

Февронья взяла другой ящичек. Нарисованный в нем святой был действительно молодой, без бороды и усов.

— А это Степан будет? — робко спросила Февронья.

— Как же, господи! — горячо воскликнул старик.— Ведь там внизу и написано. Небось парень-то грамотный, пусть прочтет...

— Я к тому, иной раз обманывают. У меня кума покупала раз Аграфену-купальницу, а ей вместо Аграфены-то Прасковею подсунули.

— Это, може, кто из шляющих, залетных, а мы всегда в вашу сторону ездим, что ж нам обманывать? Опять, если бы у нас не было, а то у нас вон какой порядок: на всякое имя по пяти образов найдешь.

— Ну, ладно, мы ужо зайдем,— проговорила Февронья, возвращая торговцу первомученика.— Напоследях-то вы, може, посговористей будете.

— Ты на почин покупай, я тебе уступлю. Мы на свой товар не запрашиваем, на образах торговаться грех, а для почина почет могу сделать, потому почин дороже денег.

— Сейчас-то нам девать ее некуда, уж до ужотка.

Торговец махнул рукой и спрятал архидиакона в сани, а баба с парнем пошли дальше по рядам.

Они дошли до овсяного рынка и повернули назад. Им хотелось узнать, не приехали ли с той стороны. Но нигде не попадалось никого, похожего на них. Февронья уныло молвила:

— Споранились мы с тобой, они-то вот не так заботливы.

— Их-то больше,— ответил Степка.— Не скоро соберутся.

— Только что,— согласилась Февронья.

Они прошли до конной. На конной им нечего было делать. Степка предложил матери:

— Пока на слободе-то чайку попить.

— Что ж, пойдем погреемся, если приедут, сами нас найдут.

Но Февронья проговорила эти слова не совсем уверенно. В этом скопище людей, в пестрой, разношерстной толпе, где так много людей и богаче и сильнее их, понятия ее о себе умалились. Нужны ли они кому, такие бедные, малосильные, жалкие, не пошутили ль над ними, назначив им здесь встречу? У ней заколебалась уверенность в благополучном окончании намеченного дела, ей стало представляться, что названые сваты передумают и не приедут.

Такое же опасение закрадывалось в душу и Степки. И у него ослабла вчерашняя прыть, и он уже шагал мелко и нетвердо. Дойдя до площади, где торговали съестным, они свернули в этот ряд.

— Калачей бы взять.

— Давай, бери калачей.

Февронья долго выбирала калачи, пробовала их на вес, стараясь отобрать какие поувесистей. Потом стала торговаться. Торговец хотел взять девять копеек, она давала шесть. Торговец напомнил, какая дорогая мука и что с каждым годом дороже становятся права. Это убедило Февронью, и она накинула копейку. Торговец махнул рукой и велел вынимать деньги.

В трактире стоял гул. Слышался стук чайников. Метались с посудой половые, входили и выходили посетители, сидевшие за столом спорили, смеялись, делились новостями, у всех были румяные лица, влажные глаза. Глядя на них, и Аверкиным стало повеселей: опять у них появилась уверенность, что дело сладится, сваты приедут, и в таком состоянии они выбрали себе стол и заказали чаю.

VII

И они приехали. Когда мать с сыном отпивали чай, в дверях той залы, где сидели они, появился высокий рябой мужик с острым носом и пепельным клоком волос на подбородке. У мужика были светло-синие глаза, придававшие его лицу выражение какой-то беззаботности. Он был в новом армяке поверх полушубка. Остановившись в дверях, мужик стал оглядывать столы и увидал Аверкиных. На его лице мелькнула довольная улыбка, и он стал протискиваться к ним.

— Гляди-ка, Семен Иваныч! — толкнула Февронья Степку, оживляясь и сразу молодея в лице.

— Вот что значит: ранняя птичка-то носик очищает, а поздняя только глазки протирает,— воскликнул, приближаясь к ним, востроносый мужик.— Доброго здоровья, с приездом!..

Он протянул руку сначала Февронье, потом Степке и остановился около их стола.

Это был брат матери невесты, работавший вместе со Степкой в лесу. Он подбил Степку ехать смотреть невесту в первый раз, он вел все уговоры с невестиной стороны. Его появление означало, что приехали все: и мать и сын явно обрадовались его появлению.

— Садись с нами за канпанию,— предложила Февронья.

— Нет, благодарим. Я пришел не сидеть, а вас поглядеть, мы там всем гуртом.

— А мы вас по всему рынку глядели, видим — нету, пойдем, говорю, пока заправиться.

— Заправляйтесь, да и к нам, они там у саней ждут.

— Мы готовы, мы уж давно тут...

Мать и сын поднялись из-за стола и стали подправляться, а Семен Иваныч говорил:

— Приехали бы раньше, да все недружно. Сестра захотела печку протопить, а зять говорит — надо чайку попить, тары да бары на три пары, и проканителились.

— Хватит время, день еще только начинается.

Они пошли из трактира, и на Стенку опять нашел вчерашний раж. Опять в нем стало больше силы, твердости, и все вокруг, казалось ему, смеялось и пело, и он сам готов был петь. Он вспомнил, что он сейчас увидит Агашку, и ноги его неслись вперед, ему хотелось шагать через ступеньку, бегом выбежать на улицу, но его останавливало то, что он не знал, где находится его невеста с своими родными.

Когда они очутились на площади, Семен Иванов сказал:

— Они у одного двора вон там на проулке.

Толкаясь с встречными, минуя сани и палатки, Степка шел впереди всех, а за ним шагала Февронья с Семеном Ивановым. Вот они пересекли более просторное место улицы и вошли в проулок.

В проулке у крыльца большой каменной избы, где были привязаны две лошади, стояли названые Степкины тесть и теща, оба молодые еще, и оба одинакового роста, и оба на одно лицо, женатый сын их с своей бабой и Агашка. На Агашке была суконная шуба со сборами, обложенная на борту лисой, полосатый вязаный платок и бордовая шерстяная юбка. Степка немного замялся, увидавши такой наряд, и ему стало совестно за свою потертую твиновую шубу, а главное — за отсутствие суконного тулупа, что, по его мнению, должно быть обязательной принадлежностью всякого жениха. Но, взглянув в глаза своим будущим родным, он увидел, что все глядят на него так приветливо, никто не замечает его недостатка, и опять ободрился.

— Здравствуйте, Степан Анофрич! — первый кинул ему будущий тесть.

Степка покраснел и стал обходить всех, пожимая руки.

Подойдя к Агашке, он почувствовал, как ему хочется с ней поцеловаться, но сейчас целоваться было неловко. Он и с ней обменялся рукопожатием и стал рядом.

А Февронья продолжала здороваться. Слышались приветливые слова, добродушные пожелания. Степка взглянул Агашке в лицо и встретил тот взгляд, что ему всегда мерещился, и у него запрыгало сердце.

Степка чувствовал, что ему нужно говорить, но не знал о чем. Сразу переходить к делу было неловко. У матери с старшими пошли разговоры о погоде, о дороге, какой сегодня людный базар и как все дешево.

— Деньги дороги,— вставил слово Семен Иванович.— Самый дорогой товар деньги.

— И самый удобный,— подхватила невестка, смеясь черными глазами.— Им меньше всего места надо.

— Деньги дело наживное,— проговорил будущий тесть.— Потом деньги к месту, а не к месту — и от денег толку мало.

— Правда, сватушка, правда! — подхватила Февронья.— Было бы в голове что у человека, а то и сквозь золото слезы льются.

— Ну, вы видели базар-то, а мы еще не видали,— проговорил Семен Иванов.— Пойдемте-ка пройдемся.

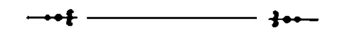
— Пойдемте, пойдемте! — живо согласилась Февронья.— Ярманка сегодня знатнеющая...

Всей компанией тронулись по базару, и Степка как-то само собою стал в пару с Агашкой, и они пошли рядом, а за ними потянулись старшие. Степка заговорил с Агашкой о каких-то пустяках. Агашка поддакивала ему. И хотя слова беседы были ничтожны, но и этими словами они передавали друг другу то значительное и важное, что у обоих лежало в сердце. И им обоим было легко и радостно. Особенно радостно было Степке.

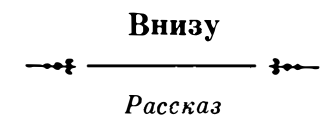
Через час вся компания сидела в трактире за двумя сдвинутыми столами. Столы были покрыты красными скатертями, и на них стояли бутылки с зеленым и красным вином. На тарелках были колбаса, ситный, пряники и конфетки. В компании было еще два парня с Агашкиной стороны и три девки. У ребят была гармоника и трензель. Все пили чай, водку, вино, смачно ели. Вперемежку играли песни. В одном углу трактира стояла толпа баб и девок, и у каждой во взгляде чувствовалась зависть к сидящим за столом. Пирующие чувствовали это, а Степка думал: «Если

кому и можно завидовать в застолице, так это ему». Счастливее себя он не видел человека. Агашка ему за этот час стала так мила и дорога, что, когда их заставляли «подсластить», он готов был всю ее втянуть в себя, так он сочно целовался с ней.

1917 г.



Внизу



Рассказ

I

В Москве, в Мамошинском переулке, в ветхом каменном флигеле, во дворе между различных заведений была одна квартира, занятая коечными жильцами. Она состояла из двух больших низких комнат во втором этаже и содержалась вдовой кучера, убитого лошадью, Ефросиньей Ермолаевой. В этой квартире, в задней комнате, что была темнее и грязнее передней, жили только коечники, а переднюю, бывшую и почище и посветлей, занимали такие жильцы, которые и харчевались у хозяйки. Этих нахлебников у Ефросиньи было трое: старший рабочий по устройству парового отопления Молодцов, переплетчик Золотов и швея Агаша. Кроме них, в передней половине была еще одна жилица, молодая дамочка без определенных занятий, Авдотья Ивановна Крамарева, но она занимала не угол, а каморку сзади печки и отличалась от всех жильцов некоторою зажиточностью. Она имела, кроме фигурной металлической кровати, комода с зеркалом, огромный сундук с разным добром. За квартиру она платила дороже всех, столовалась и пила чай отдельно.

После Крамаревой больше других движимости было у Агаши. Она жила прежде по барским домам, домовой швеей, но на последнем месте к ней привязался молодой барчук, она забеременела и, родивши девочку, потеряла возможность жить на прежних местах. У ней была швейная машинка и небольшие деньги, выплаченные ей отцом соблазнителя, при помощи чего она и существовала. Она работала на рынок мужские рубашки и женские кофточки. Ее работу брала у нее Ефросинья и продавала у Сухаревки, платя Агаше по пятнадцать копеек от штуки. Кроме ножной машинки, у Агаши была корзинка на колесах, в которой помещалась ее девочка, и тоже сундук. Постель ее была завёшена ситцевым пологом, и в головах возвышались две пуховые подушки.

Мужской элемент был беднее женщин. У Молодцова еще висел на стене небольшой шкафик с книжками и стоял небольшой деревянный стол, покрытый вместо скатерти газетой, у Золотова же, кроме сундука под кроватью, ничего не было.

Было праздничное теплое и ясное весеннее утро. В открытые окна квартиры доносился чей-то говор со двора, трескотня легковых извозчиков и колокольный звон. В квартире было светло и тихо. Из задней комнаты все жильцы разбрелись кто на рынок, кто к знакомым землякам. В передней же все, за исключением Крамаревой, были дома. Агаша сидела на табуретке около своей постели и, уставив в окно свое бледное и симпатичное лицо с прямым профилем, большим пучком волос на затылке, кормила грудью ребенка, а хозяйка, пожилая, коренастая, с жилистыми руками баба, с одеревеневшим от труда и заботы лицом, обвешивала в своем углу у печки нашитым за неделю Агашей бельем свою дочь Пашу, худощавую, плохо сформировавшуюся, несмотря на семнадцать лет, живущую в ученье у цветочницы, и отправляла ее к Сухаревой продавать его. Золотов же и Молодцов лежали на своих постелях. Золотов читал газету, а Молодцов, положивши под голову кисти рук, с мечтательным выражением на лице глядел в потолок.

Молодцов был молодой парень с густыми темно-русыми кудрями, светлыми усиками и говорящими о постоянной задумчивости темно-голубыми глазами. Принадлежал он к разряду тех молодых рабочих, для которых цель жизни была не в одном заработке. Он любил думать, размышлять, в свободное время много читал и за последние два года даже сам стал писать. Он пописывал стихи, выражая в них свои мысли и чувства, и его стихи были довольно гладки и содержательны. Писал он для своего удовольствия, почти никому не показывая из товарищей и ни с кем не советуясь о качестве своих стихов больше потому, что ему не с кем было посоветоваться. И только недавно, когда в Москве народился новый журнал «Друг народа», Молодцов, чувствуя к этому журналу необыкновенную симпатию, переписал свои лучшие, по его мнению, стихи в особую тетрадку и вчера понес их в редакцию.

В редакции его принял сам редактор, видный писатель Челбашев, и обошелся с ним необыкновенно сердечно. Он внимательно расспросил Молодцова, кто он такой, расхвалил

его стремления и в самом непродолжительном времени обещал рассмотреть его стихи и, если они покажутся ему годными, непременно напечатать их. Такое отношение очень взволновало Молодцова. Вернувшись из редакции, он весь вечер был в каком-то угаре, плохо спал ночь и сейчас, лежа от нечего делать на кровати, думал, какой он счастливый человек. Мысль, что он сам будет писателем,— которые в его глазах были всегда существами высшего порядка,— невыразимо его радовала. Писатели, по его мнению, принадлежали к кругу людей, делающих из всех человеческих обязанностей высшую, пробуждающую души людей работу. Ведь эти люди не те грубые, корыстные, ограниченные, с которыми он сталкивался до сих пор, а образованные и не кажущиеся только ими, а настоящие. А настоящие образованные люди для Молодцова были те праведники, на которых держится мир. Оп чувствовал к ним невыразимую слабость и всегда тянулся, как цветущий подсолнух тянется к солнечным лучам. Он верил, что если бы таких образованных со всеми представляемыми им свойствами благородства было больше на свете, то не было бы в мире ни той темноты, ни того зла, которые теперь гнетут мир. Они способны осветить все углы и этим светом оживить и правду и справедливость, так запуганную и загнанную людьми.

II

Золотов поднялся с места и поглядел в сторону Молодцова. Это был худощавый человек, среднего роста, с темно-русой бородой и серьезным выражением грубоватого мужицкого лица. Ему можно было дать лет пятьдесят. По рождению он был крестьянин, но давно жил в Москве и работал в последнее время, больше десяти лет уже, в переплетной при типографии товарищества Ныркова. Он был трезвый и хороший работник, что в нем ценилось в мастерской. Жилец он был скромный, отличительной чертой его характера была какая-то нервность. Иногда он разговаривался и целые недели говорил со всеми умно, дельно, высказывая редкие для рабочего познания во всех отраслях, а то на него находил такой стих, что он целыми неделями не обменивался ни

с кем ни одним словом, на всех косился чуть не с презрением, и если говорил, то говорил грубости. Молодцов и сам не знал, как он к нему относится,— не то он его боялся, не то уважал.

Увидевши, что Молодцов взглянул на него, он кинул ему газету и сказал:

— На-ка, почитай.

— Про что? — спросил, недоумевая, Молодцов, ловя газету и поднимаясь с места.

— Как нашего Ершова судили.

— Разве тут написано? — удивился Молодцов, начиная быстро развертывать газету.

— Написано, на последней странице... Рассудили, брат, по совести, ты почитай-ка, сам увидишь,— сказал Золотов, и в тоне его послышалась ядовитая желчь.

Молодцов, развернув газету, стал разыскивать указанную статью. Золотов начал вертеть из простой бумаги папироску.

Ершов был угловой жилец Ефросиньи из той половины, слесарь. Он был на одной фабрике в паровой подручным у мастера. Мастер любил выпить и небрежно относился к своим обязанностям. Вся забота ухода за машиной лежала на Ершове. Прошедшей осенью Ершов заметил, что у него расхлябался подшипник у шатуна, вследствие этого скалкой стало доставать до крышки цилиндра. Он обратил на это внимание мастера, но мастер не придал этому значения; он сказал, что «стучит» от образовывающейся в цилиндре воды, и велел почаще открывать краны.

Ершов краны открывал, но в цилиндре все «стучало»; тогда он опять пристал к мастеру, но тот обругал его и сказал, чтобы он не в свое дело не совался, что он лучше его знает. Ершов замолчал, но в одно утро после праздника, когда началась работа и машину только что пустили в ход и Ершов ходил и смазывал ее,— поршень так стукнул в переднюю крышку, что крышка лопнула и вырвавшимся паром обожгло Ершова. Машину остановил прибежавший мастер и до того перепугался случившегося, что когда на фабрику приехал хозяин и стал спрашивать, как это могло случиться, мастер объяснил, но отперся, что его предупреждал об этом подручный. Хозяин набросился на несчастного Ершова, ткнул его ногой и страшно ругался. Лечить ожоги Ершова отправили в больницу. Выйдя из больницы, Ершов

сунулся опять на фабрику, но его туда не приняли. Обиженный Ершов, оставшись без дела, подал в суд, взыскивая за увечье, но на суде хозяин при помощи адвоката и ложного показания мастера дал делу такой оборот, что беда произошла по вине Ершова и что не только Ершову ничего не следует, но еще с него бы нужно требовать хозяину, так как пока у паровой приделывали новую крышку к цилиндру, фабрика стояла, и от этого пострадали и хозяин и другие рабочие.

Молодцов дочитал заметку и, возмущенный до глубины души процедурой суда, побледнел, точно получил личное оскорбление, и, опустив газету на колени, сидел, широко вытаращив глаза.

— Что, ловко дела делают,— ехидно ухмыляясь, сказал Золотов.

Молодцов потер лоб и проговорил:

— Хорошо, нечего сказать.

— Показали свою образованность,— опять ухмыляясь, сказал Золотов.

— Тут не в образованности дело.

— А в чем же? — задорно спросил Золотов.— Если бы они поменьше знали, то Ершов свою обиду скорей бы доказал, а то небось он не успел рот раскрыть, а у них против этого двадцать слов готово — на основании того да этого, так-то да вот этак, ну и заговорили.

— У Ершова тоже защитник был.

— Был небось, да неопытный. Все эти защитники тогда за бедных идут, когда они неопытны, а как опытность приобретут, тогда пойдут к тому, кто больше даст... Все они господа, а у господ одна закваска,— с явным ожесточением проговорил Золотов и замолчал, сурово нахмурившись.

— И «Друг народа» составляют господа.

— Ну и что же? — задорно спросил Золотов и насмешливо уставился на Молодцова.

Молодцов смутился от этого взгляда и проговорил:

— А то, что они против нашего брата не пойдут.

— Против нас не пойдут, а за нашего хозяина живот кладут...

— Как так? — вскипел озадаченный Молодцов.

— А так. Журнал-то кто основал? Наш хозяин. А что ж ты думаешь, наш хозяин о простом народе вдруг печься стал?.. Как же! Обирай сайки с квасом! Ему нужно дать типографии работу. Типографии работу да бумажной фабрике

сбыт. У нашего хозяина и типография, и бумажная фабрика. Только типография-то называется «Товарищество Ныркова», а бумажная фабрика — «Товарищество Хорькова». Тут и там Нырков самый крупный пайщик, а делается это для того под разными именами: случись какая незакрутка, понадобятся им деньги — вот Нырков покупает у Хорькова бумаги на пятьдесят тысяч, а платит ему векселями, а Хорьков этот идет с этими векселями в банк и получает под них наличные. Нужды в оборотных капиталах у него никогда не бывает, вот он и выдумывает разные дела. Пришло в голову журнал издавать — давай журнал издавать, у него все пойдет. Журнал для простого народа, а читален тридцать тысяч открыто. Если да этот журнал разрешат в читальне, то он как хочешь себя оправдает... а ему разрешат. Он все ходы и выходы знает.

— Но ведь редактор-то у него Челбашев. Он благородный человек! — взволнованно проговорил Молодцов.

Золотов даже прыснул.

— Да неужто ему какого жулика в редакторы ставить? Что он за дурак... Ему нужно, чтобы везде его журнал с почтением встречали и в других журналах, а Челбашев для всех имя почтенное, ну вот он его и пригласил. Небось и за деньгами не постоял, и жалованье хорошее положил, и процент от подписчика.

— А что ж, по-вашему, Челбашев не знает, с кем имеет дело? — хмуря брови, спросил Молодцов.

— Отлично знает, да у них у всех на этот счет твердости нет; иной честный и благородный человек, думаешь, и в святых-то ему равного не найдешь, а всю жизнь помогает какому-нибудь мошеннику обделывать свои дела. Потому что те сила, а сила ломит и солому, а для успокоения себя они говорят: ну, что ж, не я — так другой, а отчего же не я? Я по крайней мере человек честный, а другой попадется — и хуже наделает. Вот поэтому они и мирятся.

Молодцов лег опять на свою постель и закинул руки за голову, у него сделалось страдальческое лицо. Кровь в нем бурлила усиленно, сердце билось неровно, а на душу опускался такой осадок, который не только помутил получившийся отстой, но все смутил так, как черная грязь мутит светлую воду.

III

Золотов докурил папироску, бросил ее и направился было на кухню, чтобы подогнать Ефросинью с самоваром, который сегодня опоздал, как дверь снова отворилась, и в нее ввалился Ершов. Он был в ситцевой рубашке без пояса, в сальной фуражке и грязном, рваном пиджаке. На худощавом бритом лице его торчали большие черные усы, глаза у него были мутные, на ногах он держался нетвердо, он был выпивши или в большом похмелье. После разбирательства его дела он еще не приходил домой, вероятно прокутив все время с неудачи. Войдя в квартиру, он стащил с головы фуражку и, обращаясь глазами в кухню, прокричал:

— Хозяйке почтение. С праздником тебя!

Ефросинья была польщена таким приветствием и, довольно улыбаясь, проговорила:

— Откуда ты явился? А мы думали, тебя судьи прямо в острог отправили.

— Меня в острог? Нет, брат, шалишь, мамонишь, на смех наводишь, как бы я кого не посадил. Да-с. У нас, брат, не покуришь, нет, шалишь. Мы тоже себе цену знаем!

— С какой же это ты радости пьян-то напился?

— С праздником, вот с какой радости,— ответил Ершов и, вдруг подняв руку кверху и размахивая, резким, визгливым голосом запел:

Уж мы праздничка дождемся,
Мы нарежемся, напьемся
И начнем шутить...

— Будет тебе, что не дело-то,— оговорила его Ефросинья и, прошмыгнув мимо него, вышла из двери.

Но Ершов, не обращая никакого внимания, продолжал:

А за эту-то за шутку
Нас посадят прямо в будку,
А потом и в часть.

— Перестаньте, у меня девочка спит, разбудите,— проговорила Агаша.

— Какая девочка? А мне што за дело? — И он было опять открыл рот, но Золотов взял его за руку и, потянувши его в другую комнату, проговорил:

— Будет тебе, ты пойди-ка, расскажи мне, как твое дело-то?

— Дело... Что ж мое дело?.. Мое дело в шляпе,— пробормотал Ершов, невольно шагая за Золотовым.

— В какой шляпе-то, черной или белой, а то, может, в такой, в каких деревенская попадья наседок сажает?

Агаша очень не любила пьяных и всегда при виде их возмущалась до глубины души... Возмутил ее и Ершов, и когда Золотов, уведя его в его угол, вернулся, она с раздражением проговорила:

— Что это за люди! Нужно бы плакать, а он веселится. Сам об себе подумать не хочет.

— Никто об себе много не думает,— наставительно проговорил Золотов.— Если бы люди больше о своих делах задумывались, очень просто, тогда у тебя и Шурки не было бы.

Агаша вспыхнула, глубоко вздохнула, откусывая нитку, проговорила:

— Шурка зародилась не по моему желанию, а ради удовольствия другого человека.

— Ну, не он один в этом деле виноват,— уверенно проговорил Золотов.

— Что ж, я, по-вашему, виновата? — опять обидевшись, спросила Агаша.

— А то что ж? Кто ее родил-то? Один ловчага раз на суде сказал: «Я падеж предложный, а она дательный, чем же я винительный, когда тот падеж вышел родительный?..» И оправдали его.

— Оправдывается не тот, кто прав, а кто умеет что в оправданье сказать,— уже спокойно сказала Агаша.

— Коли нечего, то и не скажешь, а у этого было что. Значит, ты одна и виновата. Ты должна вперед знать, что игра не доводит до добра.

— Где мне было знать!

— Знала. Да больно любопытство, чай, брало, ведь ваша сестра любопытством-то себя губит да других в погибель ведет.

Молодцову чрезвычайно неприятным показался весь тон в этом разговоре Золотова; он поднялся с постели и с раздражением проговорил:

— Как это вы, Иван Егорыч, любите всех судить. Всех расценить, а если вас ценить, как вам это покажется?

— Цени, пожалуй, на здоровье,— невозмутимым тоном проговорил Золотов.— На чужой роток не накинешь платок.

— Нет, вы тогда другое запоете... Судить-то легко, только судить-то надо, чтобы было справедливо. А то попался человек впросак, он и виноват. Задавила тебя коляска, значит, не попадайся. Оно, конечно, и мне нужно держать ухо востро, а тем-то разве дозволено вожжи распускать?

— Мне что за дело до них? — тем же тоном проговорил Золотов.— Мое дело — веди свою линию, а те как хотят.

— Ну, нет-с, а я с этим не согласен,— горячо возразил Молодцов.— Если от меня кто что-нибудь требует, то и я к нему требования предъявлю. И если мы их оба не исполним, оба и виноваты будем. А то это одному всегда придется густо, а другому — пусто. Нешто это справедливо?

— Взваливай на обоих, только от этого дело-то не переменится. Ребенок-то остался у Агаши; он-то про него и думать не хочет, а она вот расти его, страдай. То она жила на всем на готовом, была и тепла и чиста, а теперь в те места не возьмут, живи вот в этом углу, работай на сорок копеек в день. Да еще хорошо, что за нее вступились да обязали его как-никак обеспечить ее, у ней вот машинка завелась да на черный день копейка осталась. А не вступись добрый человек, значит, делай, как все,— отдавай ребенка в воспитательный, а сама иди еще добывай...

— А може, не стала бы еще добывать,— задетая уверенным тоном Золотова, проговорила Агаша.

— Ну, когда бельмо с глазу смахнула, не стала бы терпеть. Пословица-то говорит: крута горка, да забывчива,— внушительно сказал Золотов, поворачивая голову в кухню. Увидев, что там вскипел самовар, подошел к нему, снял трубу и, накрывши его крышкой, принес его на стол.

— По-вашему, должно быть, все люди — не люди, один вы порядочный человек,— не сдерживая своего раздражения, опять проговорил Молодцов.

— Говорить что хошь можно,— заваривая чай, проговорил Золотов,—только словами едва ли кому много прибавишь.

— Нет, прибавишь,— еле сдерживая себя, воскликнул Молодцов, и на лице его выступила краска,— теплое слово иногда многое может принесть.

— Какой толк в словах, слова — вода,— понимая, что малый начинает горячиться, но сам чувствуя спокойствие, сказал Золотов.

— И вода имеет силу, да еще какую.

— Сила не в силе, а в правде.

— А какая в вас правда? — запальчиво воскликнул Молодцов.— У вас никакой правды нет, а одно самолюбие. Вы только себя любите, а других ни во что не цените. Все у вас или дураки, или подлецы. Вы, конечно, умный человек, опытный, я вас очень уважаю. Мне не приходилось больше из своего брата встречать таких, но иной раз мне бывает тошно вас слушать.

Золотов громко рассмеялся.

— Где ж тебе меня слушать, тебе весь век своих божков не переслушать.

— У меня божков нет...

— Как нет! Я видел, какой ты вчера из редакции-то пришел. Тебя помазали там по губам, а ты втюрился, как голодный в кашу. Тебе теперь ради них хоть на стену лезть.

— Да хоть и так, нешто я не имею на это права? Я всегда за них заступлюсь, если их будет чернить кто...

— Кто их будет чернить, они сами себя чернят,— сурово перебил Золотов.

— Нет, вы их подчерниваете... Нў, как вы их ни черните, а ихнее при них и останется. Все-таки они самые благородные люди. Глядя на них, я другой свет увидал. Слышите ль, другой свет... Словно я вот поднялся на высокую гору или восхитился до седьмого неба. Я увидал и чувствую то, о чем никогда не думал и чего предполагать не мог. Я теперь где хошь скажу, что только такие вот и есть настоящие люди. А настоящие они люди потому, что образованные. Образованность важнее всего на свете. Человек только тогда будет на человека похож, когда он образуется. От невежества вся беда на земле, вся неправда, людская низость, трусость. А образование выведет все несчастия, и дикость, и грубость, которые угнетают людей. Оно всех поравняет между собой, всех примирит.

— Вот что-о? — серьезно и нахмурив брови протянул Золотов.— Вот какие песни ты запел.

— И буду петь... Сам буду петь и завещаю всем, кто хочет правды в жизни и стремится к ней.

— Ну, а мне сейчас хочется не правды, а чаю,— все более хмурясь, проговорил Золотов,— и я примусь-ка за него. С тобой говорить — то надо прежде горло промочить.

Золотов не спеша налил себе чаю, вылил половину из

стакана в блюдечко и, поднеся блюдечко ко рту, стал медленно, с видимым удовольствием схлебывать чай.

Молодцов как будто бы растерялся от такого неожиданного перерыва разговора, тоже подсел к столу и начал барабанить пальцами.

IV

Агаша, дошив шов, откусила нитку и, отложив шитье, в свою очередь подошла к столу и стала наливать себе чаю.

— А вам налить, Федор Николаевич?

— Налейте,— сказал Молодцов.

Подвинув налитый стакан Молодцову и выливая свою чашку на блюдечко, Агаша проговорила:

— Вы хорошо говорите, Федор Николаевич, про образованность-то, и верно это.

— Конечно, верно,— облокачиваясь на стол обоими локтями и подпирая рукой голову, вымолвил Молодцов.— В нашем быту только грубость и зверство. Я перевидал не мало всякого народу: и рабочих, и хозяев, и купцов. Какой из них ни умница, какой ни знающий, а все у них нет того, что у ученых людей. У них у всех на первом плане свои делишки, об них только они и думают, ими живут. А образованный человек живет и думает для всех. Он обо всем понимает и всякому желает добра. А это выше всего. Только когда один понимает об другом, смотрит на него с уважением, признает человеческое достоинство в нем,— только тогда возможна хорошая жизнь на белом свете, а без этого не жизнь, а мыканье, бойня или травля... А образованные и способны на это. Я думаю, эти люди — святые. Они никогда никого не могут обидеть. Я думаю, они никогда не сердятся, не ссорятся. Они всей своей жизнью другим светят...

— Никто никогда другим не светит,— опять подал голос Золотов, и в тоне его послышалась ирония.— Если будешь светить другим, то скоро сам ослепнешь,— это какой-то преподобный сказал.

— Если по-вашему рассуждать, то, може, ваша правда,— грубо проговорил Молодцов.

Но Золотов не обратил на его тон никакого внимания и добавил:

— Конечно, правда, светить другим дело невыгодное,— то ли дело нагревать.

— Вот и тот, что тогда заступился за меня, тоже, бывало, только и говорил о других,— сказала Агаша.— Придет он с ниверситета, окончит урок, зайдет к нам. Что вы, скажешь ему, все волнуетесь, себе в этом мешаете и другим дело делать не даете. Неужели нельзя спокойно учиться? Нет, скажет, нельзя, много непорядков среди людей. Благородный человек не может спокойно глядеть на это.

— Когда они учатся, все благородное говорят,— двусмысленно улыбаясь, проговорил Золотов,— а как учиться кончат да местечко получат, все хорошие слова забудут.

— Вы все насмешничаете, а у меня над этим смеяться духу не хватает. Они — наши просветители. Без них не было бы у нас ни настоящего порядка, ни благоустройства.

— А теперь они есть? — уставясь на Молодцова и хитро улыбаясь, спросил Золотов.

— Конечно есть.

— Будет болтать зря,— изменяя выражение лица и хмуря брови, отрезал Золотов.— Нет и не будет... Не будет от них, по крайней мере. Сделать на пользу другим что-нибудь можно тогда, когда ты сам видишь, в чем для тебя польза. А они ее не видят.

— Почему вы это знаете? — то краснея, то бледнея и совсем готовый потерять самообладание, спросил Молодцов.

— Я знаю... Я, брат, все хорошо знаю. Меня, как и тебя, господь наделил не глиняным горшком вместо головы, а настоящей головой. Мне с малолетства все узнать хотелось, и, на мое счастье, я попал в такое мастерство, где книг-то сколько хочешь и бери ты какую хочешь. Я занимался с двенадцати лет, а теперь мне пятьдесят два года, за сорок-то лет я перечитал, что умные люди пишут столько, сколько другой хлебопек за всю жизнь теста не перемесит. Сперва-наперво-то я на них бросался, как ворона на зайца. Бывало, выберешь, что позабористее, и сосешь ее до полночи, а под праздник-то и всю ночь. Все думал, вот дело найду, вот дело найду.

— А по-вашему, в книжках не дело? — иронически кривя губы, спросил Молодцов.

— Есть в иных и дело,— спокойно сказал Золотов.— Ну, только не во всякой... Я теперь и без книг вижу, что кто в самом деле хочет прожить правильно, тот найдет себе путь.

— Как же, по-вашему, нужно поступать, если кто хо-

чет жить по-человечески? — не без задора спросил Молодцов.

— Жить по-человечески,— ответил Золотов.

— Легко это сказать...

— Легко и сделать... Не ищи в селе, а ищи в себе. Живу только я, я и должен свою задачу разрешать. Нужно только мне человеком быть, а там весь мир по моей дудке запляшет...

— Как же, дожидайтесь, он на вас и внимания не обратит.

— Ну, в дураках не останется,— деланно засмеявшись, воскликнул Золотов.— Я устроюсь, как тому лучше быть нельзя, а он на меня внимания не обратит... Ну, черт с ним... Сама себя раба бьет, что не чисто жнет. Уж если я его хорошим примером не проберу, то другим-то средством я ничего не поделаю.

— Все это будто бы ясно и просто, а подумаешь — не очень просто,— задумчиво проговорил Молодцов и так присиротел, что его стало жалко Ефросинье.

— Будет вам языки-то чесать, дайте им отдыху,— сказала она.— Ишь Федор Николаевич голову повесил, что ты все смущаешь его.

— Ты, когда печку затопишь, на горшки больше внимание обращай, а на нас тебе глядеть нечего,— огрызнулся Золотов и, вылезши из-за стола, подошел к своей постели и стал снова закуривать папироску.

— Эх, карахтер,— вздохнув, проговорила Ефросинья,— умолила твоя жена у бога, что ты только гостить домой приходишь, что бы тогда было, если бы ты весь год дома жил?

Агаша налила Молодцову еще стакан и себе чашку. Она чай пила неохотно, но ее, должно быть, интересовала беседа, к которой она очень внимательно прислушивалась.

V

— Слуги нашему брату есть, и друзья имеются,— продолжал, уже сидя на постели, Золотов,— только мало их. Много званых, да мало избранных. Попадаются часто, которые зовут себя такими, а разберись в них — они совсем не слуги и не друзья, а те же господа. Они хотя и берутся за народную работу, ну, только так берутся, чтобы коман-

довать, а не служить. Они думают, что вот если они будут командовать, то другим, кем они будут командовать, так будет жить, как нельзя лучше, просто умирать не надо. А такие радетели всегда были. В старину они терлись около правителей и правители давали им вотчину. Ну, потом эти вотчины-то у них отняли, а закваску-то не отняли. Вот они в другом виде стали вотчины искать — и покормиться чтобы от них, и гонор свой ублажить...

— Вы думаете, к этому они только и тянутся?

— Непременно, а то что же. Как они зародились господа, так ими и подохнут. В них с материнским молоком всосалось это чужеспинничество-то, они от него отделаться-то и не могут. Для них вся честь — к другому на плечи залезть, а не то чтобы от трудов праведных хлеб есть. И вот кто какую вотчину получил, тот так курс держит, что отдай все — да мало, ну, а кому не досталось, тот ударится в тоску — в пессимизм. Все это, о чем недавно в журналах расписывали, ты думаешь, отчего пошло? Да оттого, что у этих господ крепостных нету, которые им бы все, что желательно, добывали, им приходится самим себя оправдывать; ну а кто привык на готовых хлебах весь век жить, тот уж за работой песни не запоет. Это ему уж несручно. Если бы ему банк открыть да за границу ход дать, и у него бы пессимизм пропал, а без этого он только ноет да страдальца из себя изображает. Мы, говорит, несчастные... Нет, вы не несчастные... вы паскудники... Вами бы нужно гати гатить, а не любоваться, как вы киснете. Несчастные те, кто вас поит, кормит да все ваши тягости на себе несет. Им за вас придется перед богом отвечать. Он скажет: я сам бесплодную смоковницу проклял, а вы ее питали, вы моей воле противились. Зачем, скажет, вы терпели таких гадов, дрянышей и поганцев, которые ненавидят труд, знать не хотят о страданиях через них других людей, которые не живут, а только коптят небо, которые пусты и глухи к божеской правде и не хотят думать о правде человеческой. Они пристают к тем, которые болеют о страданиях народа, а как только получается возможность забраться к кому-нибудь на плечи, то из них сейчас же выметают вон всякие понятия о братстве и равноправности, и они тотчас же становятся самыми образцовыми угнетателями.

— И вы думаете, все, по-вашему, такие? — спросил Молодцов.

— Все!..

Отрезав это, Золотов, весь красный и с широко раздувающимися ноздрями, остановился и замолчал. Он, видимо, устал от такого продолжительного словоизлияния, потому что на лбу и переносице у него выступил пот. Молчал и Молодцов, и это молчание было такое серьезное, что Ефросинья, захотевшая что-то спросить Агашу, подошла к ней и обратилась к ней совсем шепотом.

Из другой половины показался Ершов; давнишняя напускная храбрость с него соскочила, и он был как разбитый, с плаксивым выражением лица. Он, пошатываясь, подошел к висевшим на печном столбе часам и стал разглядывать, сколько времени.

— Что тебе время понадобилось — обедня уж отошла,— сказала, проходя мимо него, Ефросинья.

— Мне обедня не нужна, скоро ли казенник отопрут,— проговорил он и вдруг, сжав кулаки и подняв их кверху, со слезами в голосе воскликнул: — Только и осталось одно — водку пить, только и осталось.

И он, сдерживая рыдание, быстро скрылся в свою половину, откуда раздались его новые возгласы.

VI

Наружная дверь опять отворилась, и в нее вошла Крамарева, молодая и миловидная дамочка, в светлой кофточке, шляпке и с зонтиком. Среди жильцов Ефросиньи она выделялась, как яркий цвет среди сухих стеблей. Но на ее розовом лице лежали следы печали, и глаза ее были чем-то отуманены.

— Здравствуйте, господа! — сказала она с видимым напряжением.— Чай да сахар.— И она не пошла, как обыкновенно делала, в свою каморку, а подошла к столу.

— Просим милости, пожалуйте,— ответил на ее приветствие Молодцов.

— Где это ты, матушка, погуливала? — спросила Ефросинья, подходя к столу и нацеживая себе в кастрюлю воды из самовара.

— Не гуляла я, Ефросинья Ермолаевна,— вздохнув, проговорила Крамарева, опустясь на табуретку,— а по делам была. Знаете, какой мне сюрприз: решается моя судьба.

— Ну? — с загоревшимися от любопытства глазами воскликнула Ефросинья.— Место, что ли, какое выходит?

— Выходит,— чуть не простонала Крамарева.— Искала, искала да выискала.

— Куда ж тебе бог помог?

— Не знаю только, бог ли... Елена Игнатьевна рекомендовала, вот что наверху-то над нами живет. Приехал в Москву новый контролер, вон по винным лавкам, полковник, отставной. Пожилой уж, холостой, одинокий. Нужна ему молодая экономка, вот я и хочу поступить.

— Что ты, матушка, что ты? — удивилась Ефросинья.

— Ей-богу! Ну что ж я поделаю, куда я денусь,— со слезами в голосе проговорила Крамарева.— В горничные идти — тоже не лучше, все равно от этого не убережешься... Я все силы покладала, чтобы закон себе найти, да разве его найдешь, коли не суждено... Привела меня сегодня Елена Игнатьевна, вышел он бритый, в халате, мешки под глазами, вежливый такой... «Это вы, голубушка?» — «Я, говорю».— «Говорили вам мои условия?» — «Говорили».— «Согласны вы на них?» — «Согласна».— «Ну очень приятно, говорит, можете перебираться, только вы у меня во всем будете хозяйничать и чтобы у вас знакомых никого не было, особенно мужчин, я этого, говорит, не люблю. У меня, говорит, с моей стороны, достаточно мужского пола, а с вашей чтобы не было». Будет он за каждым моим шагом следить...

Крамарева всхлипнула, полезла за платком и, вдруг поднявшись с места, направилась в свою каморку. Агаша глубоко вздохнула, Ефросинья тоже изменила тон.

— Этакая несчастливая,— сказала она.— Вот молодая, красивая, здоровая, а не могла к настоящему делу пристроиться.

— Скажи лучше — не захотела,— подал голос с своего места Золотов.

— Как так не захотела? Она дня не посидела, все работы искала.

— Искала она, да не работы, работать хотела бы, в прачки пошла б, на фабрику поступила б... А то вон в содержанки идет.

Ефросинья свирепо взглянула на Золотова и хотела что-то сказать, но не успела. Крамарева вышла из своей каморки без шляпы и кофточки, в руках у нее была порожняя чашка.

— Ефросинья Ермолаевна,— обратилась она к хозяйке,— позвольте мне выпить вашего чайку, я одну чашку и выпью-то, а из-за этого заваривать не стоит...

— Хоть три выпей, господи боже, нешто жалко,— простодушно ответила Ефросинья,— все равно выливать-то, у нас уже все напились.

И Ефросинья налила Крамаревой подставленную чашку. Та снова села к столу и, отхлебнув, проговорила:

— Я ни на кого так в своей судьбе не жалуюсь, как на родителей. Зачем они меня не учили? Выучили бы, я бы себе службу нашла, в фельдшерицы, в конторщики, в телефонистки, все бы честный труд, а то выучилась читать, писать, больше и в школу не пустили. Вышла замуж, один год пожила, муж помер, а вдовой выйти труднее да еще с моим капиталом-то. Вот как скромно жила, а все прожила, от всего капитала только четвертной остался. Не пойди я к этому старикашке, мне бы через месяц хоть на бульвар идти.

— Ну что ты, матушка, городишь,— с неудовольствием проговорила Ефросинья.

— Где же я горожу, милая Ефросинья Ермолаевна,— опять со слезами в голосе проговорила Крамарева.— Ну, что ж бы мне осталось делать? Тятенька мой умер, маменька сама живет на шестирублевое пособие, родным мужа я не нужна,— ну куда же я денусь? Если бы у меня было побольше капиталу, я хоть бы кройке поучилась или еще чему, а то ведь не было у меня. Агаше вон как ни трудно, а она все работает, вон свое чувство лелеет, ребенка сама растит, а не знай она ремесла,— она этого не могла бы.

— Нас-то ты покинешь,— вздохнув, проговорила Ефросинья,— у нас жизнь-то скорей пойдет. Ты теперь у нас, как букет цветов, а тогда попадет какой-нибудь сиводуй и будет табачищем дымить.

— Это ничего,— отирая глаза, проговорила Крамарева.— Я к вам буду в гости ходить; не взаперти же он меня все время держать будет, как-нибудь вырвусь и прибегу.

Она быстро допила чай и встала.

— Ну, спасибо за чай, Ефросинья Ермолаевна.

Золотов тоже встал и стал натягивать на себя пиджак, намереваясь куда-то идти.

— Вы куда, Иван Егорович? — обратилась к нему Крамарева.

— К землякам пойду,— холодно сказал Золотов,— не был ли у них из деревни кто...

— Так еще увидимся, я с вами прощаться не буду.

— К вечеру приду, увидимся,— сквозь зубы сказал Золотов и, надевши картуз, направился к двери.

Крамарева обратилась к Агаше:

— Агаша, голубушка, а вы прикончите-ка ваше шитье и помогите мне уложиться. Мне нужно ведь сегодня собратья, чтобы завтра утром выезжать, а у меня все разбросано в беспорядке, пойдемте в мою комнату и Шурочку туда возьмите, я вам покажу, что делать.

— Хорошо,— сказала Агаша, спрятала шитье, за которое взялась было после чаю, и повезла корзинку в комнату Крамаревой. Ефросинья занялась стряпней. Молодцов остался во всей половине один.

VII

Бросившись в постель, Молодцов вытянулся, заткнул руки за голову и закрыл глаза. В висках у него сильно стучало и под черепом стоял тяжелый болезненный туман. Сегодняшняя работа головы его была очень велика, особенно после вчерашнего возбуждения, без сна проведенной ночи. Ему нужен был отдых и покой, чтобы прийти в нормальное состояние, и вместо этого он вдруг натолкнулся на Золотова, так беспощадно столкнувшего его с той высоты, на которую он поднялся в мечтах, и который влил целый ковш яду в его мед и отравил ему всю до сих пор еще не изведываемую сладость осуществлявшейся мечты.

«Не может быть, чтобы он во всем прав был. Ну, пусть они не ангелы, пусть и у них есть грехи. А у кого же нет грехов? Все люди, все человеки, но они свои грехи выкупают; выкупают работой на пользу и просвещение других, и эта работа разве маловажна?»

И он стал дальше думать о работе культурных людей, о тех результатах, каких они добились в последнее время, как он сам только прикоснулся к этой работе и воскрес, возродился и стал другим человеком, а сам Золотов? Откуда такое развитие получил — разве не от их работы. Не будь книжки, трись он около одной своей братии, что бы он тогда знал? Зачем же он их так унижает!

Если они неправду в своих писаниях говорят, не от души, а с расчетом говорят одно, а живут по-другому, тогда, конечно, нехорошо, а если бы они ничего не говорили, тогда что? Всякий бы ждал и молчал, когда он будет делать так, как говорить нужно,— тогда не вышло бы ничего, как, если бы затопили печку и не открыли бы трубы, дым не вышел бы и огонь не разгорелся.

Конечно, скверно будет, если они так непостоянны, мятутся, а жизнь идет, жизнь не улучшается; им нужно указывать путь другим, а они сами свертывают с правого пути. Зачем они свертывают? Как тут разобраться?

Молодцов точно уперся в тупик. Вперед идти было некуда, а назад ворочаться не хотелось, и это раздражало его нервы и заполняло душу тоской. Это чувство росло и охватывало все его существо, туманило его голову. Ему ничего пе хотелось, а было только тяжко, как в комнате, в которой не хватает воздуху. Сердце его часто билось, кровь текла быстро, что-то давило виски, ему хотелось застонать, как больному, и он сам не знал, что его удерживает. Это состояние так охватило его, что он не слыхал, как Ефросинья, убравши посуду, занялась стряпней, как Крамарева, опять в своей кофточке и шляпке, куда-то пошла, как у Агаши в комнате Крамаревой проснулась Шура и расплакалась. Очувствовался он только тогда, когда услышал посторонний голос, раздавшийся в дверях.

— Это квартира Ефросиньи Ермолаевой?

— Эта, батюшка, эта,— ответила от печки хозяйка.

— Живет здесь Федор Николаевич Молодцов?

— Как же, батюшка, живет, вот он...

Молодцов быстро открыл глаза, повернул голову и увидал стоявшего в дверях молодого человека в шляпе, светлом пальто и с тросточкой. Он вскочил с постели и, изумленно глядя на вошедшего, никак не мог сообразить, кто бы это был.

Молодой человек направился в его угол и, снимая шляпу, любезно проговорил:

— Вы меня не узнаете? Я секретарь редакции «Друга народа» — Никишин. Вы вчера были у нас.

— Здравствуйте...— сконфузившись и растерявшись, забормотал Молодцов, поднимаясь навстречу гостю и пожимая ему руку. Он подвинул ему табуретку, а сам сел на кровать.

Никишин сел, положил свою шляпу на газетный лист на столе и, доставши из кармана платок, стал вытирать запылившиеся очки.

— Мне поручили показать вам вашу тетрадь со стихами,— сказал Никишин и, спрятавши платок в боковой карман, полез в карман на груди и вынул оттуда знакомую Молодцову тетрадь.

— Николай Леонидович прочитал все ваши стихи и все нашел пригодными для печати. В некоторых он сделал поправки, но поправки самые незначительные, выправку стиля; ни содержание, ни характер стиха от них не меняются. Вот, потрудитесь посмотреть.

Молодцов взял тетрадь и стал ее перелистывать. Поправки действительно были очень малые, это его должно бы было радовать, но он остался к этому равнодушен и даже сам удивился этому.

— Что же, отлично, очень благодарен вам, очень доволен,— сказал Молодцов холодно и бесстрастно.

— Если так, то мы сейчас же можем их начать печатать. Еще Николай Леонидович поручил мне передать вам его просьбу: ему непременно хочется, при печатании ваших стихов, предпослать несколько слов о вас. Так он просит вас написать то, что вы вчера ему рассказывали. Напишите, как напишется, и, хотя не отделывая, представьте нам в редакцию. Мы возьмем там, что нужно, потом опять вам возвратим... А там вы можете развить это, обработать, и тогда уж мы будем печатать это вашими словами.

— Если угодно... я что ж... Мне это труда не составит...— пробормотал Молодцов.

— Только, пожалуйста, если можно, поскорее. Номер начнет набираться завтра. В пятницу он должен быть отпечатан, за эти дни вы и потрудитесь набросать...— Никишин оглянул внимательно всю квартиру и спросил:

— Где же вы, собственно, пишете?

— Где пишу? Да где придется,— сказал Молодцов.— Обдумываешь и слагаешь стихи тоже как придется, как на тебя найдет: дорогой, за работой, а потом за чаем или за обедом запишешь. А переписываю я вот здесь, за этим столом.— Молодцов ударил рукой по своему столику. Никишин улыбнулся.

— Очень оригинальные условия для писательства. Я никогда не воображал, и это вас не затрудняет?

— Чего ж? — просто ответил Молодцов.— В мой угол никто не касается, всякий сидит в своем.

— Но ведь тут могут шуметь, петь, говорить, шить на машинке, разве это вас не может беспокоить?

— Когда займешься как следует — ничего не слышишь.

Никишин радостно засмеялся.

— Вот что значит быть здоровым человеком, а у культурных-то людей, подите, какие утонченности... Флобер вон отдельную пристройку имел для занятий. Отдельно от всего — и ход к нему был устлан мягкими коврами, чтобы ни звука шагов, ни шороха к нему не долетало.

Молодцов продолжал удивляться на самого себя; он чувствовал в себе удивительную перемену. Перед ним сидел образованный человек из того круга людей, которых он больше всего уважал, и который пришел к нему с таким приятным для него известием, относился к нему любезно и внимательно, но в его сердце не было и следа тех чувств, которые охватили его при одном представлении о такого сорта людях. Он глядел на его довольно приятное и осмысленное лицо, и оно ему не нравилось: лоб казался слишком туп, глаза не чисты и способ выражения чужд ему и слова какие-то неприятные, особенно последнее выражение о культуре, неизвестно почему, оно его вдруг раздражило.

— Может быть, вашему Флоберу очень много выдумывать приходилось? — сухо и с неприятным огоньком в глазах проговорил он.

Никишин внимательно поглядел на Молодцова сквозь очки и, как показалось Молодцову, снисходительно-покровительственно улыбнулся и проговорил:

— Он был большой художник. Он не выдумывал свои вещи, а обдумывал, и тут не нужно было ему мешать.

Но это ничуть не просветило Молодцова; он не понимал разницы между выдумыванием и обдумыванием, также и того, в чем заключаются преимущества большого художника, и, краснея, слегка раздувая ноздри, проговорил:

— Довольно странно. А мне думалось, если поэт знает, что ему петь и когда песня созрела в нем самом, то ему стоит только рот раскрыть, как песня польется сама, и польется звучно и свободно.

— Конечно, так, но не всегда,— как будто совсем не замечая тона Молодцова и совсем серьезно проговорил Никишин.— Многим первоклассным поэтам каждая их строка

стоила больших усилий. Это зависит от личных свойств писателя, от их способностей. Конечно, есть и такие, которые сразу пишут набело, ну, да не в этом дело... Так вы, значит, напишите?

Молодцов почувствовал, что Никишин увиливает от разговора с ним, а ему очень хотелось выяснить через него многое, так беспокоящее его и так неясное для него. Причину этого увиливания Молодцов понял так, что Никишин не считает его достойным вести с ним серьезный разговор, и это совсем неприязненно настроило его по отношению к Никишину, и он уже чуть не грубо ответил на последний вопрос:

— Напишу.

— Ну, так я так и скажу Николаю Леонидовичу,— вставая, сказал Никишин, и, по-прежнему оставаясь любезным, он добавил: — Он очень будет этим обрадован, ему вообще очень приятно, что у «Друга народа» будет сотрудник из среды народа. При посредстве вашем мы гораздо легче приспособим журнал для того читателя, которому мы задались целью служить произведением человеческой мысли.

— Почему народу нужно служить только произведением мысли? — задорно спросил Молодцов.— Я думал, ему нужно служить всем, чем только можешь.

— Это и есть все,— наставительно сказал Никишин.— Духовное свойство человека есть вся его сущность, и если он отдает эту сущность другим, то что же от него больше требовать.

— Может быть, правильнее сказать — продает,— нахмурив лоб, проговорил Молодцов.

Никишин сделал гримасу на лице и каким-то не своим голосом проговорил:

— Ну, что же, если хотите, продает. В наше время, к сожалению, все должно необходимо продаваться, но ведь продавать себя можно всюду, но люди, так называемые порядочные, делали это с расчетом. Они шли, например, служить учителями и докторами и не шли в становые или земские начальники; очевидно, в этом признается какая-нибудь разница. Стало быть, и из материальных выгод считается гораздо почтеннее служить меньшему брату, а не давить его и угнетать... Но оставим это. Мне кажется, вы сегодня не в духе, а я чувствую себя не настолько в ударе, чтобы чем-ни-

будь просветить вас, поэтому лучше прекратить принципиальные разговоры.

— Я вас спрошу только об одном,— обратился Молодцов к Никишину,— в чем, по-вашему, главная суть служения людям поэтическими произведениями?

— Разве для вас это не ясно? — с легким укором и улыбаясь проговорил Никишин,— доставлять людям эстетическое наслаждение.

— И от этого может быть польза?

— Несомненная. От этого согревается человеческое сердце, внутренний мир человека наполняется новыми чувствами, увеличивается духовное богатство человека.

— И это имеет большое значение?

— Очень большое. При этих случаях человек ощущает жизнь в большей полноте, дорожит ею, как неоцененным даром, и держится в жизни бодрее, чувствует себя сильнее, могущественнее, а вследствие этого он ярче может проявить себя.

— Как проявить? — не понял Молодцов.

— Ну так, соответственно имеющимся у него данным.

— А я думаю,— волнуясь и путаясь проговорил Молодцов,— что и поэзия и искусство должны вести человека в одну сторону, помните Пушкина: «И долго буду тем народу я любезен, что чувства добрые в них лирой пробуждал». Вызывать чувства только добрые, а поэтому задача для всякого поэта должна быть направлена в сторону увеличения в человеке добра, приближения его к истине.

— Совершенно верно. Я и не допускаю, чтобы рост человеческого духовного богатства не значил бы то же, что и рост добра. Это богатство-то само по себе есть неоценимое добро. Все равно как солнце, поднимаясь выше, шлет больше тепла, так и человек, развивая душу, делается добрее.

— Вы это от души говорите? — спросил озадаченный Молодцов, не ожидавший такого оборота от совершенно случайно завязавшейся беседы.

— От всей души, поверьте,— мягко и тихо проговорил Никишин.

Он поднялся, взял шляпу и, обращаясь к Молодцову, добавил:

— Ну, мне пора уже идти. Вы позволите мне взять обратно вашу тетрадку...

Нет... подождите,— замялся Молодцов.— Я один тут

хорошенько все пересмотрю, а потом сам вам и доставлю, может быть, вместе с записками.

— Как угодно,— покорно проговорил Никишин.— А записки вы можете написать для легкости в виде письма, например, начнете так: «Милостивый государь, господин редактор. Ввиду вашего интереса к моей персоне, позвольте вам рассказать наивозможно подробно о важнейших моментах моей жизни» — и начинайте описывать все, что вы переживали выдающееся.

— Благодарю за совет, постараюсь им воспользоваться,— проговорил Молодцов.

Никишин подал ему руку и, надевши шляпу, направился к выходу. Молодцов пошел провожать его. Никишин подошел уже к двери, как дверь каморки Крамаревой отворилась, и из нее вышла Агаша. Увидав отворившего дверь Никишина, она почему-то вытянулась, побледнела и остановилась как вкопанная. Никишин, однако, не обратив на нее никакого внимания, вышел из двери. Молодцов затворил за ним дверь и обернулся лицом к девушке. Агаша подскочила к нему и, задыхаясь, схватив его за руки, спросила:

— Это кто у вас был?

— Из редакции журнала, где стихи мои будут печатать, секретарем там служит,— проговорил Молодцов.

Агаша подскочила к окну и впилась глазами в уходящего со двора Никишина.

Выйдя в отворенные ворота, Никишин остановился, подозвал к себе извозчика и стал садиться в пролетку. Агаша разглядела его лицо и, приседая на стоявшую у окна табуретку, воскликнула:

— Так и есть... Он!

— Кто он? — изумленно проговорил Молодцов.

— А тот, что заступился-то за меня. Ах, как бы мне повидать его хотелось!

Молодцов остановился с опущенными руками, он сначала побледнел, потом на лице его выступила краска. Ему стало невыразимо стыдно за свое поведение с Никишиным. Он подошел к постели, сел на нее и с минуту сидел, облокотясь правой рукой на подушку; наконец он энергично вскочил с места, сорвал с гвоздя фуражку и, надвинув ее на голову, быстрыми шагами вышел из квартиры.

VIII

Выскочив за ворота, Молодцов оглянулся направо и налево. Никишин, сидя в пролетке извозчика, был уже в конце переулка. Молодцов остановился, поглядел, как пролетка смешалась с другими пролетками и скрылась за углом. Он долго стоял, глядя ей вслед, потом глубоко вздохнул, стиснул зубы и, засунув руки в карманы пиджака и опустив голову, медленно пошел в другой конец переулка, выходивший на бульвар.

Пройдя переулок, он бесцельно повернул направо и пошел, не обращая ни на что внимания, по тротуару.

По улице дребезжали извозчики, звонила, визжа колесами, конка, слышался колокольный звон; по бульвару двигалась разношерстная толпа людей, всевозможная смесь одежд и лиц, но Молодцов ничего не замечал. Острое, мучительно щемящее сердце чувство глубокого стыда захватило его всего и жгло и мучило его невыносимо.

Он мучился тем, что, будучи расстроен Золотовым, попал в такой просак, что целые полчаса обливал враждебностью благороднейшего человека, не зная его и потому только, что он принадлежал к образованным, на которых он сам был до сегодняшнего утра способен молиться.

— И что же это я за орясина такая,— чуть не плача внутренне, восклицал Молодцов и изо всей силы упирал кулаками в карманы пиджака. Тяжелое, гнетущее чувство его все разрасталось. Ему хотелось с кем-нибудь поделиться своею мукою, но у него не было ни друзей, ни приятелей, равных с ним по умственному развитию. Он ходил иногда к некоторым землякам, но земляки-чернорабочие были чужды тем интересам, какими жил он. И чем больше он шел, тем больше увеличивалась его тоска, и не было исхода ей, не было средства, чем разогнать ее.

Изредка Молодцов бросал взоры направо и налево, и ничего веселящего глаз не попадалось ему. Толпы людей двигались навстречу и обгоняли его. Время перевалило за обед. Обедня давно отошла, открылись казенки и выпускали из своих перегородок бесчисленное количество светлых пузырьков с одуряющей жидкостью, действие которой сказывалось уже на многих встречающихся Молодцову, и Молодцова мутило от одного вида этих отравленных людей с отуманенными глазами, с потными лицами, неестественно жестикулирующих. Он

хорошо знал, что за чувство вызывает в этих отдыхающих в такие дни, после беспрерывной недельной работы, тружениках, и это представление только увеличивало его душевный гнет.

Встречались люди трезвые, франтоватые, с сияющими взорами, и Молодцова поражала безграничная пошлость, чванство. И тут Молодцову чувствовалось не меньшее отдаление от настоящей человеческой жизни, чем у встречных первой категории,— то же тупое довольство и то же отдаление от всяких духовных запросов и порывов. Он с желчью глядел на них, стискивал зубы, снова напирал кулаками на дно карманов и почему-то шел, уже ускоряя шаги.

Наконец такое состояние Молодцову показалось невыносимо, и он, чтобы избавиться от него, решил хоть выпивкой разогнать его. Он не пил давно ничего, принявши решение ничего не пить. И при мысли о выпивке с минуту в нем шло колебание; потом колебание исчезло, он решил, что лучше выпить, и завернул в первый же попавшийся трактир.

Трактир был полон народа. Каждый стол был усажен группами мастеровых, ремесленников, гуляющей прислуги. Перед большинством стояла красноголовая посуда всевозможных размеров, закуска, булки, чай. Шел говор, как на базаре, слышался животный смех, часто пересыпаемый крепкими словечками; хотя окна были открыты, но воздух был напитан винными парами, человеческим потом, едким табачным дымом и одуряющим чадом готовящейся еды. Половые, красные, возбужденные, летали, гремя посудой, расталкивая толкущихся в проходах гостей, кричали: «Пазвольте, абажгу!» У стены одного зала наяривала преображенский марш заведенная машина, за буфетом стояло несколько человек, отпуская чай, водку, закуску и получая деньги. Причем водку отпускал солидный внушительный господин, солидно выстриженный, в чесучовой паре и золотом пенсне, мало похожий на трактирщика, а скорее напоминающий собой владельца какого-нибудь крупного коммерческого предприятия, а деньги получала чрезвычайно симпатичная и красивая барышня лет шестнадцати, в модной прическе и великолепном платье.

В углу, за маленьким столиком, нашлось свободное место, и Молодцов сел за него, положа на стол фуражку, и начал ерошить волосы; к нему подскочил половой.

— Мерзавчика,— отрывисто проговорил Молодцов.

Половой сделал притворно недоумевающее выражение и завертел салфетку в руках.

— Аль не понимаешь,— вдруг со злостью зыкнул Молодцов и метнул горящими глазами на полового.— Невинность разыгрываешь. Живей!

Половой, повернувшись, побежал к буфету и через минуту вернулся с пузырьком и кусками какой-то снеди на дешевенькой тарелочке. Откупорив посуду, он с небрежным видом поставил ее перед Молодцовым и стал сметать с соседнего стола насоренные только что ушедшими гостями крошки.

IX

Молодцов, выпив водку, почувствовал, как она ударила ему в голову, но те надежды, какие он возлагал на нее, не оправдались. Водка не прогнала гнетущей его тоски, а еще увеличила его внутреннюю тяжесть: она ударила ему в голову и наполнила его тяжелым давящим туманом. В ушах у него поднялся неприятный шум, перед глазами его прыгало и сердце сжало точно чьей-то чужой грубой рукой, и это ощущение до того было неприятно, что Молодцов, несмотря на туман в голове, начал раскаиваться, зачем он прибег к этому средству... Он не стал больше допивать из посуды и застучал дном рюмки о поднос.

— Что вам? — спросил подбежавший половой.

— Сельтерской воды...

Он с наслаждением глотал кипящую, брызжущую мелкими каплями в лицо холодную солоноватую влагу и чувствовал, как у него освежается во рту, в горле, желудке. Через минуту ему было легче: голова стала свежей, исчез шум в ушах и уже не прыгало перед глазами. И вместе с тем прояснилось в его душе. Тоска проходила, и устанавливалось спокойное душевное равновесие. «Глупец я. Чего я хочу, оскотиниться? И зачем? Чтобы забыться? Надолго ли? Проспишься, а потом? Опять то же. Нет, это малодушие, не нужно робеть, не нужно опускать руки, когда и ошибку сделаешь. Эка беда. Сам человек, говорят, какая-то ошибка». И ему припомнились стихи из какого-то полушутовского солдатского рассказа:

Будь смелей, под пулей прыгай,
Честь поддерживай свою.
Умирай — ногою дрыгай.

«Вот надо как, а я размяк, как тряпка. Ну, сделал я промах, нехорошо поступил, так что же из этого? Я-то ведь остался? Во мне-то еще все цело? Нешто я не могу восстановить себя? Золотов говорит свою правду, а я буду искать свою. У всякого должен быть свой взгляд, только свой, этим человек и крепок, и имеет цену, и будет долговечен на земле...»

Тоска Молодцова стала расплываться, как облако в солнечных лучах, сначала разорвалась на кусочки, а потом разлетелась вся.

— Да, верно,— сказал он сам себе,— коли так, пусть его... Его при нем и останется, а мое при моем.

Он облокотился на стол, зажмурил глаза и почувствовал, как внутри его что-то всколыхнулось, и мысль потекла не беспорядочно — отрывками, а определенными законными созвучиями. Молодцов сделал напряжение, чтобы построить их в порядок, и совершенно неожиданно для него начала складываться целая картина, появился знакомый Молодцову процесс, и душа его затрепетала восторгом.

«Не нужно петь унылых песен»,— вылилась первая фраза. «Зачем плодить в душе печаль»,— появилась вслед за ней другая, и дальше пошло уже без остановки: «И так уж мир для многих тесен, и так уж многих тянет вдаль... Пусть хнычет тот, кому приятно весь долгий век скорбеть и ныть... Кому стремленье непонятно волне шумливой встречу плыть. Не в том живых людей призванье. Их долг — уснувших пробуждать, вселять в них радость упованья и дух упавший поднимать».

Молодцов открыл глаза, поглядел перед собою, чему-то радостно улыбнулся и повторил только что сложившееся стихотворение.

— Похоже,— сказал он сам себе радостно, полез в боковой карман пиджака, достал оттуда книжку и стал записывать.

Когда он кончил записывать и пробежал стихотворение глазами, то он увидал в некоторых стихах шероховатость.

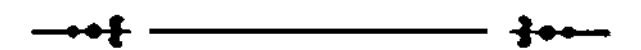
— Ну, что ж, отделаю, отделаю и пошлю в «Друг народа». Записки о себе буду писать. Ходить к ним буду, учиться

буду у них. Учиться! У них есть чему нашему брату поучиться...

И он почувствовал прилив такой необычной веселости, какой он и сам не ожидал после того, что он только что пережил... Он долго сидел в каком-то сладостном оцепенении, глядя в пространство и не видя, что кругом его творится, наконец опять постучал половому, заплатил ему и, надевши картуз, пошел из трактира.

Выйдя из трактира, он побрел без цели по первому попавшемуся направлению и долго бродил среди людей, но уже не с тоской и мукой, а с тихой сердечной радостью.

1922 г.



Содержание

Сергей Терентьевич Семенов

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

Редактор
Л. КУЛЕШОВА
Художник
Б. ЛАВРОВ
Художественный редактор
В. ПОКАТОВ
Технический редактор
Н. ДЕЦКО, Г. БОЙЦОВА
Корректор
Г. ГОЛУБКОВА

ИБ № 3057 Сдано в набор 28.02.83. Подписано к печати 19.09.83. А06713 Формат $84 \times 108/_{32}$. Гарнитура об. нов. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 36.12. Усл. кр.-отт. 36,17. Уч.-изд. л. 38,78. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2086. Цена 3 р. 40 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Отпечатано с диапозитивов Экспериментальной типографии ВНИИ полиграфии Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, К-51, Цветной бульвар, 30, на Калининском ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР
Калинин, проспект 50-летия Октября, 46